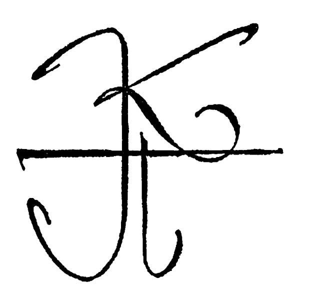
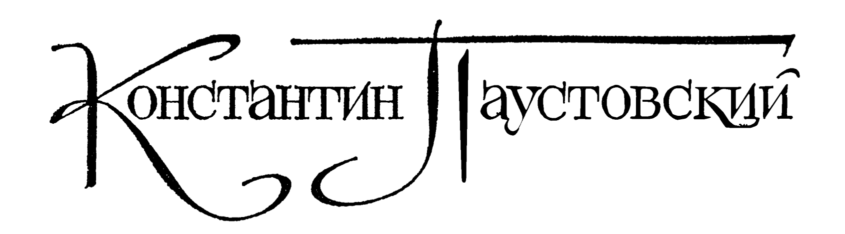
Константин Паустовский

9

Константин Паустовский 9





СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕВЯТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ДЕВЯТЫЙ

ПИСЬМА

1915-1968



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

Р2
П21

Составление, подготовка текста
и примечания
Л. Левицкого

Оформление художника
Е. Гольдина

П $\frac{4702010200\text{-}274}{028(01)\text{-}86}$ подписное


Письма
1915-1968

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

15 апреля 1915 г. Разъезд 7-й версты

Катя. Завтра мы едем в Демб, за ранеными. Говорят — этот рейс будет в Москву, чему я очень рад, так же как и все наши. Если пойдем в Москву, то будем там числа 22—23-го. Сейчас мы стоим в семи верстах от Люблина, где-то в полях. Вокруг тишина и безлюдье. Все население — начальник разъезда, стрелочник и крестьянская детвора. Ходили сегодня гулять по дорогам, обсаженным березами. Весь день — холодно, ветрено и ясно. Час спустя после вашего отъезда нас перевели в Люблин на обмерку. Вечером я ездил в город, был в Саксонском саду. Снова оркестр играл «Звезду северную». Пил с Романиным кофе в той кавярне, где мы ужинали. Город был весь в тумане и огнях.

Вчера я ходил с Таней в еврейский квартал. Жаль, что не было Вас. Улицы узкие, кривые, по горам, вымощены гранитными плитами. Дома все розового, желтого, белого цвета. В домах прорезаны глубокие ниши для дверей, высечены каменные ступени. Из дома в дом перекинуты балконы. На порогах сидят старые еврейки в шелковых шалях, бегают дети, спят кошки. Все залито солнцем, много света и густых нежных красок.

Вчера вечером нас перевели на этот заброшенный разъезд.

Каждый вечер мне так хочется писать Вам, писать много, много. Сейчас я в перевязочной, за окнами какой-то небывалый закат. Такого я еще здесь не видел. Весь запад в каких-то густых красных туманах, и в тумане висит белый, полный месяц. Почему Вы не здесь? В Моск-

ве, наверное, шум, пыль,— много встреч и лиц,— а здесь тишина и мы одни.

Романин сейчас в аптеке поет диким голосом. У него сидит Лева. Все по-старому. Мар. Сев. выздоровела. Теперь Романин и я — классные чины, изредка пьем чай в столовой, чем производим на команду потрясающее впечатление. Сейчас пришел major. Таня прислала его за мной — наверное, пить молоко или что-нибудь в этом роде. Надо идти.

Вероятно, больше писать не придется, хотя попробую написать из Галиции. Мы все часто говорим о Вас, где Вы теперь, что делаете. Как-то пусто на поезде.

Я так часто вспоминаю Вас, и мне почему-то становится так больно и вместе с тем так радостно на душе.

Ваш *К. Паустовский.*

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

18 апреля 1915 г. Галиция, М.

Написал Вам письмо, Катя, еще из Люблина, откуда мы ночью вышли в Д. Телеграммы послать не успели. Пошлем на обратном пути. Всю дорогу нас заносило песком, поезд шел, словно в тумане. В Р. я ходил с Романиным в город. Много интересного, но писать пока что нельзя. По Галиции шли весь день, все в цвету, много воды, много зелени и старинных костелов. Вечером третьего дня пришли в город М., где и стоим сейчас. Город уютный, маленький, все виллы и виллы богатых польских магнатов.

Сегодня утром нас разбудили частые выстрелы около вагонов, оказалось, на поезд шел немецкий аэроплан. Стрельбу открыли лихорадочную. Аэроплан сбросил девять бомб, некоторые разорвались довольно близко. Около получаса продолжался обстрел, быстрая ружейная трескотня, иногда были слышны глухие взрывы — разрывались бомбы. Начальник станции дал телеграмму в Л. о том, что наш поезд обстреляли с аэропланов, если об этом будут шуметь в газетах, не беспокойтесь. Особенно опасного ничего не было. Спустя несколько минут после обстрела мы узнали, что в деревне за городом ранено бомбами пять человек. Лида, Романин, Лева и я захватили перевязочный материал и пошли, вернее, побежали в деревню. Когда пришли — на месте, в избе оказался только один врач-по-

ляк, у которого ничего с собой не было. Весь пол был в лужах крови, кровати, стены — все в крови. Я с Лидой вначале перевязывал девушку-гимназистку, лет 17-ти. Раны смертельные. Разорван живот, грудь, обе ноги перебиты, открытые переломы, много глубоких рваных ран. 7 раз вспрыскивали кофеин. Она умерла несколько минут спустя после перевязки. Красивая, славная девушка. Потом перевязывали мальчика. Он лежал на постели, весь истек кровью. Подушки, простыни, матрац — все было липкое и ярко-ярко-красное. Я разрезал ему сапоги. Кровь лилась мне на руки, на куртку. Обе ноги перебиты, из ран текла каша из мелких раздробленных костей. Все просил пить, метался. Тоже умер скоро и тихо. Третий — студент — тоже смертельный. Его перевязали, думали спасти. Подали грузовой, военный автомобиль — перенесли студента и еще двух девушек, раненных в ноги. Когда я вышел из халупы мыть руки, они все были в кровяной корке. Кровь расползлась по брюкам широкими пятнами, стало страшно. Закружилась голова. Несколько спустя я чувствовал, что еще немного и я сойду с ума и закричу дико и страшно. Странно, несколько мгновений мне казалось, что я уже сошел с ума, что какая-то страшная тяжесть давит мне на мозг и у меня мутится рассудок. Но напряжением воли я заставил себя идти, не упасть. Это скоро прошло. Почему-то я подумал, что Вы должны быть здесь, что Вы здесь — было такое ощущение, словно Вы стоите где-то вблизи, словно я вижу Ваши глаза.

Везли их медленно и осторожно по улицам города. Появились любопытные, бежала детвора. Привезли на поезд, в перевязочную. Приготовили все к операции. Внесли студента. Хотели переложить его на стол — но началась агония. Впрыскивали камфору. Ничто не помогло. Умирал он долго, и все время в перевязочной стояла глубокая тишина. Была Мар. Сев., Агриппина Семеновна, Таня и я. Умер он у меня, в перевязочной. У него было удивительно красивое, хорошее лицо. Закрыли его простынями и унесли. На полу осталась лужа крови, которую я не могу отмыть. И сейчас, когда я сижу вечером в перевязочной и пишу Вам, мне жутко войти в операционную, потому что на дорожке большое, темное пятно. Девушек перевязали и отправили в Дембицу на автомобиле.

Работали все наши изумительно — хорошо, спокойно и ласково.

Умерло трое, все из одной и той же интеллигентной семьи. Мать прибежала, когда они уже умерли.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

23 мая 1915 г. Ходынка. Лагерь

Прости, моя нежная. Я так долго молчал. Но не хотелось писать о мелочах, не хотелось писать о том, что со мной, пока не закончится во мне этот глубокий перелом, которым я последнее время жил.

Сейчас я в лагерях на Ходынке. Уже вечер. Цветет сирень. Я один,— брат ушел куда-то, и мне так хочется писать тебе.

Ехали мы с Генрихом безалаберно, но интересно. Начали с того, что сели не на тот поезд. Завезли нас в Коренную пустынь около Курска. Здесь мы четыре часа томились на маленькой станции, бесконечно долго пили чай в буфете, собрали около себя толпу богомольцев, смотревших на нас с благоговением, словно на выходцев с того света. Было холодно, и в полях умирал закат, бледный и кроткий, какой-то чужой закат.

Вернулись в Курск поздней ночью. Ночью же выехали в Брянск. На вокзалах, в вагонах нас изводили расспросами. Бабы охали и жалели. Бледные-то какие, милые. Должно, страстей навидались. Древние старики похлопывали нас по плечу, называли «сынок», благодарили. Было много простой, мужицкой ласки.

В Брянске я заехал к своим часа на два и тотчас же уехал в монастырь Белые берега, верстах в двадцати от города, в леса. Сутки прожил в монастырской гостинице. Была там тишина, лес, бродили монахи, под окнами моей комнаты поблескивала лесная, быстрая речушка, на столе стоял букет полевых цветов, синих и белых. Я так много думал о тебе. Читал Северянина. «Какою нежностью неизъяснимою, какой сердечностью осветозарено и олазорено лицо твое...»

Я стал немного иным. Полусознательно, пока я ехал в Москву, в пыльных вагонах, днем и ночью шел во мне какой-то внутренний процесс, который завершился в то утро, когда я приехал в Москву. Лежала Москва вся в туманах, в дождливой мгле. Когда я ехал по Бородинскому мосту, словно марево взглянули на меня московские заставы, потянулся Арбат, Смоленский рынок, Кудрино — и все это было уже моим, родным и близким. И простой, широкой и свободной показалась мне моя любовь, словно я видел те радости и страдания, на которые она обречена. Странно, по-моему, даже загадочно встретились наши

жизни. Я увидел тебя, в начале такую недостижимо-далекую, озаренную, и я — бродяга, нищий, поэт с непонятной мне самому душой — полюбил тебя так чисто, так глубоко и больно, что даже если пройдет любовь, пройдет ее опьяненность, то останется на всю, всю жизнь жгучий след, дающий какую-то горькую сладость. Жизнь сплела вокруг нас причудливый узор войны, скитаний, весенних закатов, дымных рек, городов незнакомых, огнистых, шумных, человеческих страданий, глупости, скуки и гибели. Не правда ли странно, Катя?

Я полюбил жизнь, полюбил ярко и сильно, несмотря на то, что теперь в Москве мне скучно, невыносимо скучно. По целым дням я лежу, читаю, изредка пишу<...>

Прощай. С Генрихом пришлю письмо. Сейчас где-то далеко слышна музыка. Какой-то минорный, кружащийся вальс. И снова волна дум о тебе,

Твой *Константин.*

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

29 мая 1915 г. Москва

Мне больно, Катя. Я получил только что твое письмо. Все сложилось как-то странно и дико, и весь вчерашний вечер — как бред. Я приехал с Левой на поезд, я так мучительно ждал тебя. На Брянский вокзал я ушел к поезду незадолго до отхода. Тебя не было. На вокзале я сидел в зале около двери до полночи и все ждал и вздрагивал, когда появлялся кто-нибудь в сером. Давно ушел поезд, опустел вокзал, остался я один и со мною какая-то черненькая собачка, похожая на Тузика, она лежала у меня на коленях. Казалось, что моя тоска, моя глухая тревога передалась этому маленькому теплому зверьку. И было что-то жуткое и значительное в этой тоске человека и беспредметной тоске собаки,— она все время смотрела мне в глаза. Ушел я поздно, шел по Москве пешком, надеялся увидеть тебя на извозчике. Мешала тоска. Как-то сразу решил, что ты осталась в Москве, что завтра тебя увижу, и буйная радость заволновалась у меня на душе. Я пришел и уснул с этой радостью.

Сегодня утром звонил Каликинским, был уверен, что ты там, ответили — тебя нет. Я сразу понял, стало жутко — где же ты,— звонил на Брянский вокзал,— есть ли

ночной поезд на Киев, ответили — есть поздней ночью. Я стал спокойнее, думал — ты уехала с ночным. И было так больно — почему я не узнал раньше и не остался до ночного поезда. Теперь, после твоего письма, мне стало ясно — мы разошлись, разошлись на путях, на вокзале не могли разойтись, я сидел около единственного выхода на платформу.

Теперь у меня на душе глухая, дикая тоска. Может быть, я болен после вчерашнего вечера. Я не знаю. Сейчас у меня легкий жар, скоро пройдет. Так быстро меняются настроения. То боль, то покой светлый и радостный. Тогда я думаю, что бог дал мне высшее счастье. Говорю, словно сквозь бред. Мама пугается.

Посылаю стихи — тебе. Завтра напишу. Сейчас мне хочется все думать о тебе.

Я лежу. Все улицы затянуты гарью — горит Китай-город, Лубянка, Софийка и еще что-то. Везде — цепи солдат. Грабежи стихают.

Прости. Сейчас мне так хочется глядеть в твое лицо, в глаза. Лечь у тебя на коленях и отдохнуть, уснуть. Москва шумит за окнами, все серо, мутно.

Твой *Константин.*

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

29 августа 1915 г. Дер. Гинцевичи,
Минск. губ., около Барановичей

Уже больше месяца нет писем. Склад стоит теперь в Минске, но у нас со складом нет никаких сношений. Склад в 300 верстах от нас. Наш точный адрес — Действующая Армия, Штаб 4-й Армии, Врачебно-питательный Пункт № 4 В. С. Г. Уполномоченному Вронскому, для меня. Пишу сейчас в избе. Ревут дети, плачут бабы, боятся,— близко «герман», за окном тысячные обозы беженцев — все костры и костры,— грязь, вонь, дожди, холодный, сырой ветер с окрестных болот. И единственная острая мысль — уйти поскорее. Осталось 25 дней.

Каждый день, каждый час, в избах, в сараях, где мы часто ночуем, в дикие, черные ночи, которые у меня теперь почти все без сна,— бессонница,— в пути по ночам, так как мы всегда передвигаемся ночью,— все время думаю о тебе, Катя. По временам, словно в каком-то за-

бытьи, я слышу шум моря, так ясно, внятно, словно оно шумит здесь, за окном, слышу твой смех, вижу тебя так явственно, словно ты только что была здесь. Порой это достигает силы галлюцинации.

Я много думал о том, стоит ли тебе приезжать сюда, на позиции. Здесь скверно, противно, здесь, наконец, опасно, не потому что могут убить или искалечить, а потому, что так легко погубить свою душу, растоптать ее, загрязнить тем морем злобы и грубости, которые хлещут вокруг.

Нет, счастлив, по-моему, тот, кто не видел, кто не знает, что такое война вблизи. А раз увидишь — уже жутко думать о ней. Я понимаю те сотни «пальчиковых», которых мы возили в поезде, единственный исход для солдат — быть раненым.

Условия жизни — отвратительные. Если они тяжелы Романину и мне, то они невозможны для тебя, невозможны для каждой девушки. Чтобы выдержать здесь, нужно отупеть, закрыть глаза, перестать думать, видеть, чувствовать. Чуткий человек легко сойдет с ума — а процент сумасшедших очень велик. Романин и я изнервничались, издергались, стали почти, как это ни гадко, неврастениками.

Волнуют беженцы, в большинстве озлобленная, косная, небывало дикая масса. Из-за хлеба дерутся до крови друг с другом. Работают все на пункте вооруженными. Иначе, если не хватит пищи или возникнет какое-либо недоразумение, могут убить. Вчера едва не зарезали одного из наших солдат, к счастью, он очень ловко увернулся от ножа. Всюду грабежи, поджоги. Когда тысячи беженцев смешиваются с отступающей армией, во время перехода по дорогам, запруженным на десятки верст, когда каждый стремится унести свою жизнь, единственная защита для каждого — револьвер и нагайка. И их пускают в ход слишком часто. Каждое утро мы находим около своей избы брошенные трупы холерных. Холера растет. Нет ни одной беженской фурманки не зараженной. Все дороги — кладбища. Трупы слегка лишь присыпаются песком. Вонь нестерпимая.

Вот условия, в которых мы живем. И потому, несмотря на мою тоску, я не хочу, чтобы ты была здесь. Не только для тебя, но и для меня — так лучше. А я скоро вырвусь. И день, когда я отсюда уеду, будет самым радостным и озаренным днем за эти два глухих, жутких месяца.

Напиши мне хоть несколько строчек, немного, совсем

немного, и я буду так счастлив. Ведь я люблю тебя так ярко, нежно, так исключительно, моя радостная Хати-дже.

Пиши. Я буду ждать. Твой *Константин.*

С утра так тупо и глухо ноет голова; трудно о чем-нибудь думать, хочется лежать и лежать.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

4 ноября 1915 г. Смоленск. Вечер

В маленьком кожаном блокноте я стал записывать все свои дни, записывать бессвязно. Может быть, Вам все-таки будет интересно узнать запись сегодняшнего дня, миледи. Вот она — ночь почти без сна. Вся грусть, величие и блеск моей любви. Девочка нежная, светлая, любимая. На душе — глубокое спокойствие. Я верю в наделяющую, богоданную, одухотворяющую силу любви. Все мое лучшее, все мое высшее, чистое — все в ней и для нее. Провожали Хати-дже и Эмма. Встретились две грани моей жизни.

Святая боль. Снега на бурых полях. Я пускаюсь в новую, рискованную авантюру. Еду в Молодечно. Есть во мне дух флибустьеров, поэтов, безвестных бродяг. Жить так хорошо, так узорно прошлое, так осветозарено будущее.

Вот моя первая запись. Немного делового — Николаши нет в Смоленске, заеду к нему в Молодечно, быть может, там и останусь. Тоскливо, но легко.

Константин.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

5 ноября 1915 г. Молодечно, 11 вечера

Снова ночь без сна. Вагон напоминает ночлежку. В Минске оставил вещи и уехал в Молодечно. Там дождь, было холодно, чуждо и хмуро. В Молод. по дикой, небывалой грязи искал лазарет Сабашниковского отряда. Нашел за городом, в здании какого-то винокуренного завода. Никого не застал. Все наши — в летучке за 50 верст отсюда. Стало так одиноко и скверно на душе. Сижу сейчас в нетопленной, угрюмой комнате, пишу, здешние братья играют в «двадцать одно» и рассказывают скверные анек-

доты. Полное безделье, гнилая скука, какое-то глухое, провинциальное болото. Таким показался мне отряд. Сестры вульгарные и малосимпатичные. Через два часа, ночью придет какой-то случайный поезд, с которым я еду обратно в Минск. Из Минска выеду в Замирье. Очевидно, в Минске придется просидеть в ожидании поезда около суток. Все это очень рискованно, если принять во внимание, что у меня в кармане около пяти рублей. Пока это меня занимает. Хотя я от дороги немного устал. Из Замирья напишу все определенно. Для меня все яснее и яснее лишь то, что на рождество буду в Ефремове.

Пиши в штаб 4-ой армии, подвижной склад В. С. Г., для меня. Как Эмма? Я не могу вспомнить без улыбки те боязливые взгляды вскользь, которые ты на него бросала на вокзале. Право же, он не так уж страшен. Не надо боли. У меня такое чувство, что впереди ждет что-то хорошее, хорошее. Я этому так верю, миледи. Привет всем, даже Вас. Павловичу.

Твой *Константин.*

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

10 ноября 1915 г.

Романин тебе все расскажет. Ты поймешь, что ехать в отряд не надо. У нас теперь все новое и скверное. Приеду на рождество. Я спешу, ждет лошадь — еду в Снов, Стволовиж, Шевели-Ляховичи. Ищем беженцев.

Бывает радостное чувство выздоровления после тяжелой болезни, радостное чувство роста — то же и со мной. Никогда еще радость любить, радость жизни не были так сильны во мне. Вечером напишу побольше. Меня ждут.

Твой *Котик.*

Во мне что-то новое, и об этом новом я хочу говорить так много, много. Может быть, с непривычки.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

11 ноября 1915 г. Фольв. Зафилины

Вчера утром выехал верхом к позициям — искать беженцев. Ушел от грязной и противной отрядной жизни. Был первый мороз, лужицы подмерзли и звонко потрески-

вали под копытами. Сразу овеяло меня зимней свежестью, глубокой тишиной полей. Дорога все время шла перелесками, изредка погромыхивала канонада.

Заехал в Снов — там мы были с Романиным, там я написал «Далекие звоны усталого моря». Остановился отдохнуть на питательном пункте у земцев. В теплой уютной палатке пил у них чай. Говорил со скромным, застенчивым прапорщиком о Москве, о Художественном театре.

По путаным глухим дорогам, мимо заброшенных фольварков проехал в м. Своятычи. Тихо подремывал и пушил снег. Все сильнее и сильнее била артиллерия, наши готовились брать Барановичи.

В Своятычах меня пригласил к себе деревенский священник. Уныло и долго он рассказывал мне о своей семье, которую отвез в Рязанскую губернию, о разорении, голоде, о проигранной кампании. В комнате было накурено, жалобно дребезжали стекла. Зашли в церковь. Сквозь разбитые стекла дул по алтарям ветер, нес сухой, колючий снег.

И на душе было смутно, была какая-то тихая затушеванная радость. Вспомнилось почему-то детство и хотелось, как тогда, безотчетно и ясно верить.

По длинной липовой аллее проехал в Шевели, к Леве и Ляхману. В Шевелях отряда не застал, он куда-то передвинулся. Поехал искать ночлег. После оттепели деревья покрылись прозрачной ледяной пленкой и странно играли багровыми цветами заката. Леса тянулись, как сказка.

По дороге встретил Гуго Ляхмана. Встретились на улице глухой деревушки, в сумерки. Стояли и разговаривали около своих лошадей. На пустынной улице, в конце которой широко таял холодный зимний закат, в безвестной нищей деревушке мы вспоминали нашу встречу у Филиппова, мои проводы на Александровский вокзал. И снова меня поразила жизнь своей причудливостью. Ляхман затащил меня к себе в отряд. Стоят они в фольварке Зафилипы, среди леса. У них тишина и налаженная спокойная работа. Отряд симпатичный.

На следующий день утром прискакал на взмыленной, взъерошенной лошаденке Клим Фридриховский. Шумно и восторженно меня встретил. Он по-прежнему влюбляется в сестер, дурит, пускается в меланхолию, играет на скрипке. Со слезами вспоминали Одессу.

Поехал от них в метель. Сбился с пути — выручила моя лошадь. В вихре снега часто маячили по сторонам ветряные мельницы. Проехал в м. Ведьму, к позициям. Из-

редка немцы били по окраине деревни тяжелыми снарядами. Моя лошаденка испугалась — стала драться и становиться на дыбы.

Приехал домой вечером. У нас в комнате накурено, грязно и шумно. Приехал из Минска врач — К-ий... Показывал деньги, полученные за освобождение от воинской повинности. Говорил исключительно о деньгах. «Если я не украду — другой украдет» — вот один из его афоризмов. Он клептоман. Растаскивает наши вещи по мелочам. Открывают его чемоданы и отбирают обратно. Человек подлый, грязный, какой-то шершавый. Сегодня утром (12) уехал Романин. Стало хуже.

Теперь в отряде остался уполномоченный и фельдшерица, о которых я тебе уже писал, доктор и фельдшер, грубый животный парень из семинаристов.

Работать трудно. Если мне не удастся передвинуться на фронт со своим пунктом — я, может быть, уйду отсюда раньше 15 декабря. Едва ли я выдержу даже до 15-го. Здесь люди показывают свое настоящее лицо — и мне так гадко на душе, так физически противно их общество, что удерживает меня лишь одно,— мысль, что надо все пройти, все выдержать для того, чтобы создать себя...

Я часто думаю — неужели ко мне пришла та исключительная, небывалая любовь, о которой едва-едва мечтали поэты всех времен. Неужели это правда, девочка?

Должно быть, правда,— когда я думаю о жизни, о себе, о смерти, об искусстве и творчестве, о море — все мне кажется тусклым. Моя любовь сильнее. Значит, правда.

Твой *Константин.*

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

16 ноября 1915 г.

Сейчас глухая зимняя ночь. Я потерял чувство времени, мои часы показывают половину восьмого — значит, часа два-три ночи. Я только что проснулся после короткого странного сна. Я позабыл, что мне снилось. Когда я напрягаю память, мне смутно видится широкая знойная улица, ночь, прозрачная бесконечность огней, шелест листьев каштана, по сонной улице, где разлита чуткая тишина, какая-то особая тишина звезд, гулко звучат мои шаги, и я знаю, что где-то здесь близко, близко дышит

море. Весна прильнула к морю. И в шелесте листьев, в теплых ветрах, в шуме ночного моря, во всем я чувствую твою близость, я вижу твои глаза. Неуловимый сон, что-то, что было и чего не было. Может быть, образы Одессы.

По ночам я читаю Рабиндраната Тагора. Знаешь, как хорошо. Все, о чем он говорит, так гармонирует с моими порывами и настроениями. Я создаю себя. Неудержимый творческий порыв к высшему утонченью, одухотворенности, порыв увидеть свою душу изменчивой и прекрасной, тот порыв, который ты разбудила во мне,— он так силен, что порою мучит меня. И медленно, тихо загорается во мне, рождается та воля к жизни, которую я, быть может, на время потерял и думал, что ее у меня нет. Какой я глупый.

Теперь я знаю. Из корней и завязей горькой и дикой земли поднялся цветок утонченный, волнующий, слепительный. Это был человек.

И если он зол, грязен и скучен — во мне подымается гнев, но это не убивает моих сил.

У меня теперь так много дум. Мне кажется, что в покое снегов, в озерах заката, в игре солнца, в шуме мглистых величавых морей, в вечерах и багряном диске луны, в звоне ветра, в девичьих глазах, в любви и страсти, в красоте линий, в душе чистого человека, в его тоске и творчестве, в грезах и безумствах живет истина, наш Бог, Единая Воля, Фетовское Солнце Мира. Как-то сразу она открылась мне. Должна быть гармония между душой человека и душой всего Мира, ведь душа человека — высший утонченнейший элемент мировой души, заключающая в себе, как капля фонтапа — всю сущность воды, весь мир красоты и света.

Может быть, все это покажется тебе немного сухим, но это выписки из маленькой кожаной записной книжки. И все это правда. И вот дальше:

«Страшная сила в гармонии. Чувствовать ее во всем, как дыхание летнего ветра, быть окруженным, пропитанным этим сознанием, как окружающим нас воздухом, жить ею, знать ее во всем.

Теперь каждое слово, каждый образ для меня как-то особенно глубоки. Простые строки — «Я люблю тебя, как море любит солнечный восход». Несказанно-красивый образ, ведь правда — это не выдумка поэтов, это глубокая правда, что море любит солнце. Наитие, интуиция поэта так глубоки, что жутко и радостно загляпуть в глубины, которые он открывает. Одна из сверкающих граней жиз-

ни — море, море, влюбленное в восход солнца, в светотканые зори. Парча красок, ветры, свежесть, туманы, любовь к Хати-дже». Вот отрывки, заметки. Все это лихорадочно и несвязно. Все во мне бродит. Но у меня нет слов передать тебе, как все это сильно, ярко, как это волнует меня.

17. Вечер

Вокруг меня исключительно скверные люди. Мое презрение к ним доходит часто до физического отвращения. Живу я теперь в крестьянской избе, один, у меня чисто, пахнет смолой, кричат сверчки и постоянно топится печка. Изредка захожу к уполномоченному, в наш штаб. Маленький, но характерный случай. Сегодня утром уполномоченный прислал мне подряд три записки,— требует объяснений, почему мой солдат Артеменко опоздал на работы в чайную на 1 час 40 минут. Я ответил, что мои солдаты предназначены исключительно для обслуживания моего пункта, работать в чайной и бане они не обязаны, для этого есть свои люди. Если я даю людей, то это лишь товарищеская услуга, поэтому требовать у меня солдат из слабосильной команды, людей больных, которым я стараюсь давать минимальное количество работы, для посторонних работ никто не вправе. Давать какие бы то ни было объяснения относительно опоздания Артеменко на работу я считаю лишним. Уполномоченный возмутился и уехал в [нрзб.], повез мою записку Дьяконову. Вообще он глуп, и говорить о нем скучно.

Сегодня днем ездил в Мир. Поля все в белом. В Мире, очень похожем на Хенцины, остановился в грязной еврейской гостинице. Пили чай. Около нас терлись и мяукали голодные кошки. Звеня шпорами, ходили офицеры. Солнце пробилось сквозь замерзшие стекла, и обои загорелись красными и зелеными бликами. Тяжело и глухо где-то била артиллерия, и недалеко звонили в церкви. И мне стало немножко жаль, что нет тебя.

Ехали обратно вечером. Широко горела Большая Медведица. С полей острый, морозный ветер, и если бы не твой свитер,— я бы пропал.

Уеду отсюда числа 10—12 декабря, если меня раньше не выставят за независимое поведение и дерзость.

Константин.

Лучше всего писать так. Посад Горно-Городея, Минск. губ. Союз Городов, мне. Но надо посылать с маркой. От тебя писем еще не было. Жду.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

26 ноября 1915 г.

Последние дни я был все время в разъездах. Только что приехал из Несвижа, сегодня ночью уезжаю в Столбцы. Так больно, что я не мог эти дни писать тебе. В Несвиже была пестрая шумная ярмарка у костела, моросил дождь, и сквозь запотевшие окна кавярни виднелись фигуры понурых, промокших солдат. Чадила керосиновая лампа. Когда я уезжал, была дикая дождливая ночь, я не видел даже головы своего коня. Дорога оледенела, и мой конь сорвался по льду в ров. Я упал. Первое время было очень скверно, трудно было снова сесть на седло, кружилась голова. Теперь уже все прошло. Видишь, я не скрываю от тебя даже таких пустяков. Приехал я поздно вечером, едва ходил. Меня уложили — на следующий день нахлынули к нам (я живу с доктором) сестры и братья с Земского Союза, из Северпомощи. Много теплых слов, заботы и внимания. Совсем не то, что было раньше. Но как я был рад, когда все уходили, я оставался один со своими думами о тебе, моя далекая родная сестренка. Я читал Тагора, много писал, много грезил. И я сильно окреп.

Дни волнуют меня, потому что в них цветет какая-то высшая радость, словно я пришел из другого мира, так все ново — и молчание белых полей, и лица, и встречи, и тонкие думы.

Только что приходил ко мне мой солдат Андрей Андреев, старичок. Вытаскивал из-за сапога записочки и сдавал «отчетность». Со мной он возится и любит меня как-то по-товарищески. Когда я ухожу обедать в наш «штаб»-квартиру уполномоченного и слишком долго не возвращаюсь — он приходит будто бы по делу, а на самом деле, чтобы посмотреть, что со мною. Скучает и не может скрыть этого.

Есть у меня черный мохнатый пудель. Он тоже ни на шаг не отходит от меня. Когда я уезжаю — воет по ночам. Между этим пуделем и стариком Андреевым — большая дружба. Если бы ты знала, какая радость в том, что команда, простые кроткие люди, любят меня, берегут. Теперь у меня так много любви ко всему — как прежде еще в Киеве. Теперь я становлюсь таким, каким хочу быть.

Помнишь вечером у Филиппова,— я говорил тебе об этом. Если бы ты могла знать, ты хрупкая нежная девочка, какую глубокую силу ты мне дала, ты бы поняла всю радость творчества.

Как я жду писем. Еще пе было ни одного. Теперь есть простой адрес — посад Городня, Минской губ., Союз Городов, мне.

Я не знаю, где ты — в Москве или Ефремове. Пиши.

Твой *Константин.*

В декабре я проеду в Киев — оттуда или в Москву, или прямо в Ефремов — ты мне напишешь, как лучше.

С. Н. ВЫСОЧАНСКОМУ

<Ноябрь — декабрь> 1915 г.

Дорогой Сережа. Дядя Коля передавал мне, что ты собираешься поступить на военную службу, стремишься попасть на войну. Я пробыл на войне три месяца, перенес все ее тягости,— обстрел, и холеру, и голод, и отступление. И уехал оттуда, с фронта, с очень грустным сознанием, что счастлив тот, кто не видел войны и поэтому даже не может представить себе весь ее ужас и безобразие. Война — это голод, когда по два-три дня люди грызут черствые хлебные корки, это — бесконечные утомительные переходы по непролазной грязи, под дождем, переходы, которые всегда происходят ночью, все колодцы, деревни, избы заражены. Везде холера, сыпной тиф, дизентерия, черная оспа. Все озлоблены. На войне ты не услышишь ни разу простой человеческой речи. Всюду — злая брань и очень часто вместо слов употребляют нагайки. Война — это десятки тысяч беженцев, умирающих от голода и холеры, бесконечные военные обозы. Все дороги, как кладбища. Везде убийства, разбой, поджоги. И как наивно, по-детски думают некоторые, что в войне есть особая геройская, величавая красота. Я видел бой, был часто под обстрелом. Я думал раньше, что во всем этом должно быть что-то увлекательное. На самом деле — все это со стороны глупо, не нужно и жестоко. Лежат люди, закопавшись в грязной, сырой земле, а их медленно, расчетливо, я сказал бы даже надоедливо, убивают. И нет никакого в этом геройства. Самое скверное это то, что на войне каждый чувствует, что никому до него нет никакого дела. Если забо-

леешь или что-либо с тобой случится, то помощи не жди. Бросят куда-нибудь в грязный хлев, на навоз, и там будешь медленно умирать. Сколько таких случаев мне приходилось видеть.

Особенно безобразно отзывается война на таких молодых еще юношах, как ты. Мне случалось их встречать на позициях. Война развращает их. Вся грубость, злоба, безобразие войны слишком быстро заражает их. Умирает все молодое и хорошее, человек тупеет и по своим склонностям и поступкам больше становится похож на зверя, чем на человека. Человеческая жизнь, личность — то, что мы привыкли так глубоко ценить, человек, который действительно носит в себе целый мир, много прекрасных возможностей,— на войне теряет свою цену. Думают, что обидеть, ударить, убить — это пустяки. И этот дикий взгляд заражает даже сравнительно умных, хороших людей.

Если хочешь остаться молодым, сильным, если действительно ты стремишься к осмысленной, одухотворенной, красивой жизни,— тогда тебе незачем ехать на войну. Она все это убьет, а потом не вернешь, даже если захочешь. И геройство не там, на войне, а здесь, в нашей жизни. Жизнь очень часто и в пустяках и в крупном потребует от тебя геройства. Геройски умереть легко, но жить героем трудно. И гораздо лучше для тебя не гнаться за детской, мальчишеской славой, а сохранить себя, работать над собой, чтобы быть достойным того времени, которое наступит после этой чудовищной войны, которое потребует от каждого из нас много сил, знаний, смелости и, если хочешь, истинного геройства.

Пиши мне. Передай мой привет маме и тете Ане. Муську поцелуй.

Твой *Котик*.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

14 декабря 1915 г. Городня

Хатидже, моя далекая нежная девочка — почему так долго нет писем от тебя. Идут дни, и каждый день обесцвечен и сер, словно глуше и тревожнее становится мое одиночество, мои холодные вечера при свече, за чтением красивых и мудрых книг,— если нет твоих звонких, молодых писем.

Я был болен. Мне не позволяли ни писать, ни читать. Я лежал шесть дней в своей избе. Днем в окна глядело скучное зимнее солнце. По вечерам тускло горела свеча, у меня начинался жар, и это было мое лучшее время...

В серости дней, в долгих тягучих ночах, когда звезды мутно глядят сквозь старые стекла окон, среди сутолки войны, среди людей с дряхлой испуганной душой — я один. Я стал нежен и мягок, мне радостно дарить людям ласку и теплоту. Мне радостно ласкать всех,— и моего коня, кроткого и терпеливого, и черного кудлатого пуделя, который бегает за мной по пятам, ласкать глазами опаловую снежность полей, и небо, и звезды, те звезды, что летом горят над морем, фосфористые и дрожащие.

Я был болен,— я не писал тебе об этом, Хати-дже, пока все не определилось. К тому же это такие пустяки. Из ранки на ноге получилось воспаление, потом заражение и еще что-то. Все это остановили в самом начале. Теперь все прошло, дня через два уже одену сапог, через три — выйду отсюда.

Эмма пишет сдержанно-ласковые письма. Тоскует. Вспоминает тебя. Первый раз в своих письмах он заговорил о женщине — ты победил, Галилеянин!

Сегодня получил открытку от Елены Степановны. Ее открытка меня немного успокоила, я ведь тревожился,— было немного, совсем немного жутко ехать в Ефремов. Жутко и радостно.

Слушай, девочка, неужели я буду у тебя и будет топиться печка (как пишет сестра), а в соседней комнате на столе будет стоять ветчина и поросенок (об этом тоже пишет сестра). Есть у вас в Ефремове дети? Если нет, то я не приеду. Устраивают ли у вас в городе елки? Можно ли достать верховую лошадь? Если нельзя, то я не приеду.

Может быть, у Вас, миледи, очень чопорно, холодно и ходят на цыпочках, а в гостях бывают педагоги в золотых очках с безмолвными женами и воспитанными детьми. Может быть, у Вас живут учительницы с серьезными запросами,— марксистки и народницы. На открытке, которую прислала сестра,— курьезная улочка, лавочки Голоктеева и стоят лабазники в зипунах — все это очень занятно.

Только что Андрей долго и подробно докладывал о возмутительном случае, Маркиз укусил за ногу сивую кобылу — «он завсегда такую подлую физиономию (привыч-

ку) мает». Вопрос сложный. Теперь надо Маркиза наказать,— запречь его завтра в фурманку. Я слушаю его рассказы о лошадях, и мне досадно — как хорошо бы вместе с тобой скакать верхом по запушенной снегом лесной дороге.

Когда приеду — расскажу все. Близкий отъезд так радостно волнует меня, что я не могу писать,— все дни дурачусь и привожу в ужас фельдшерицу Софью Львовну, народницу. «Этот бедный, несчастный, слепой народ!» Лечила она меня очень заботливо, хотя и спорили мы с ней каждый вечер до головокружения. Приносился Вронский, «маленький рыцарь», верхом на надушенной лошади. Иногда у нас бывает весело.

Говоря по совести,— не стоило бы ехать к Вам,— Вы упорно молчите, миледи, и это действует на меня так скверно. Если бы я получил во время болезни хотя бы одно только письмо, маленькое, нацарапанное каракулями письмо, я выздоровел бы скорее и раньше бы выехал. Сестре пишу отдельно. Привет.

Боже, как скоро. Целую. Твой *Котик*.

Писать мне не стоит, родная. Я ведь такой непутевый, к тому же твои письма меня уже не застанут.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

8 января 1916 г. Ночь

С утра в Университете. В студенты меня зачислили вновь, но еще осталось много досадной возни с документами. Когда все определится — тотчас же напишу. Я думаю о том, что если мне удастся все сделать и меня не призовут,— я приеду к тебе в Ефремов или Севастополь. Ты знаешь,— сейчас я словно мертвый, говорю и хожу, как сквозь сон, ничто меня не занимает. Никуда не тянет идти. Такой боли у меня еще не было, глухими вечерами мне хочется плакать, хочется забыть все, уйти к тебе, взять твои руки, держать их и не отпускать. Все время странная внутренняя дрожь. Мне не стыдно сознаться в своей слабости, сказать тебе, что одну тебя, только тебя люблю я в этой чужой жизни, что теперь мне хочется опереться на тебя, сказать, как мне горько и жутко.

В комнате холодно, за окном мутное ночное небо над зоологическим садом. Жизнь вдали от тебя, без тебя свилась, словно серый, холодный клубок. Все лица чужие. Дома я по часам не выхожу из своей комнаты, никто ко мне не приходит, только по вечерам, уже два раза приходила мама, когда я уже лежал. Долго стояла, пе зажигая электричества, и смотрела на меня, мне казалось, плакала. Крестила и уходила.

Почему этого не было раньше? Почему раньше я мог жить два месяца вдали от тебя, а теперь каждая минута словно прожигает мне душу и давит, давит...

9-го. Утро

Только что получил твое письмо. Сумасшествие было ехать на вокзал. Ваши ефремовские доктора мало понимают — я боюсь, что у тебя не ангина. Разве бывает при ангине вдруг и такая высокая t°.

Пиши мне все, не скрывая. Если будет тяжело — я приеду. Никто не знает, как нужпо беречь тебя...

Я хотел оторвать, не посылать тебе все то, что написано ночью. Но я не могу ничего скрывать. Все, что было ночью, сдуло, как ветром. Теперь мне стыдно.

Слушай, девочка. Я прочел в эту ночь твои заметки. И я поверил в бога, я узнал впервые, может быть, как много любви Он дал тебе, твое каждое слово, каждое движение — любовь. «Больше сея любви не может быть, аще кто душу свою положит за други своя...» Сразу стало спокойно и ясно. Ты поднялась до этой любви, ты осветленная, у тебя на душе должна жить в моменты самой острой боли глубокая, яркая радость. И мне, девочка, мне, вброшенному в чуждый мир, в круговорот ошибок и печали, среди холода и слепой скуки, среди провалов жгучей тоски по небывалому и прекрасному, мне с замкнутой, непонятной мне самому душой хочется принять мир, мне много еще нужно творчества над собой, чтобы подняться до слепительных граней твоей жизни. Ты тревожишься за меня. Я здоров. Поправляйся скорей. И пиши. Если девочке нельзя писать в жару, то, может быть, сестра или Людмила напишут несколько слов о ней. Плакать в жару нельзя, да и не о чем. О том, что тебя все любят, или о том, что у тебя хорошая душа? А вся внешняя жизнь не стоит одной слезинки. Полюбил я сонный Ефремов. Привет сестре, Людмиле, Елене, Агафье, всем, всем.

Только что звонила Таня. Кричит, смеется — новость,— приехала «косопузая Рязань» — Фирсов.

Пиши каждый день и не болей долго, Хатидже.

Твой *Котик*.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

12 января 1916 г. Москва

Почему так долго нет писем? Мне все кажется, что ты в жару, в бреду и не можешь писать.

Напиши несколько слов — я жду целыми днями. Вчера (10) провел вечер у Татьяны. Маленькая седая бабушка долго говорила со мной о молодежи. Была сестренка — пустая, наивная, не в меру болтливая. «У нас в Кашире...» Была на праздники дома, ела моченые яблоки, все остальное время спала. Дело простое,— у ее отца кожевенная торговля. Я на сестренку зол за то, что она насказала разных ужасов про ангину,— последствия, рецидивы, истощение организма. Я ей не поверил.

Узнал новость. Союз предложил Болтянской представить к георгиевским медалям бывших сестер 225-го поезда Каткову и Загорскую (?). Болтянская, конечно, отказалась<...>

Нина предложила мне билет на Кусевицкого. Я пошел. Я слышал Дебюсси. Ты знаешь, Хатидже, я весь дрожал, так это было красиво. Nuaqes [1] — впервые я услышал, как поют облака. Сквозь неясные голоса ночи, пенистый шорох прибоя долетала тонкая, звенящая песня облаков. Фаготы пели задушевно и нежно, как далекие ветры в корабельных снастях — вдалеке над морем медленно падали ночные золотистые дожди, словно тысячи жемчужин причудливой вязью сыпались на упругие всплески волн, сыпались и звенели, звенели... И как ночами над морем свиваются капризными узорами и вновь развиваются облака, так радостно и просто сплетали скрипки и флейты свой прихотливый напев.

Словно я видел золотящийся мир, танец ночи. Я не знаю Ван Гога, но мне кажется, его полнота — словно музыка Клода Дебюсси.

Потом Fêtes [2]. Это в gala [3], в приморском кабачке. Дур-

[1] Облака *(фр.)*.
[2] Празднества *(фр.)*.
[3] Здесь: праздничное представление *(фр.)*.

манящие запахи смолы, соленой влаги. Звезды за окнами, словно китайские фонари, горячие и мутные. Огни дрожат, и дико, радостно поет хмельная джига. Блеск подведенных глаз, вино, праздник дерзкой томительной страсти. Нахальные скрипки, визгливые флейты — звуки словно дробятся в хрустальных зеркалах, изломах, плоскостях, звенят, уходят вдаль, растут и падают, и рассыпаются дразнящим зыбким смехом.

Я не умею передать — меня захлестнуло образами. Я изнемог, я весь дрожал. И на душе все звенели строки забытого поэта — Райнера Рильке. «...я так дрожал... И ты пришла так нежно, и ты как раз мне снилась перед тем... И ночь была так сказочно-безбрежна,— ночь белых хризантем».

Потом Сен-Санс.— Весь первый концерт для виолончели, словно песня об одной, только одной девичьей слезе, о блестящих от слез радостных глазах. Виолончель волнующе долго рассказывала о залитых светом бульварах Парижа, о тонких вдохновенных людях, о словах, что приходят, но никогда не уйдут, о золотоволосой девушке со стройным телом, с глазами, в которых затаилась возможность утонченной, пьянящей любви. Сумрачно и нежно плакал оркестр, и снова виолончель говорила о слезах, и нельзя было понять, я не понял, почему, словно в блеске слез, грезился мне весенний Париж и тонкие лица в экстазе.

Потом был ван-Бетховен, голландец. Мрачный и патетический. Траурный марш — крики медных труб, много дикого и томительного.

Вчера был у одного поэта, друга Альвинга, редактора «Жатвы». Познакомились странно. В Университете подошел ко мне изысканно одетый молодой человек с изможденным лицом. Заговорили. Говорили недолго. Пригласил к себе. Что-то потянуло меня — я пошел. Он живет в глухом переулке около Ордынки. Долго я был у него, долго говорили. Не думай, девочка, что у меня так много тщеславия, нет, я попросту не хочу ничего скрывать — и потом это так странно. Он сказал мне — это чуть ли не первые его слова.— Я никогда не ошибаюсь, я схватываю людей. Я увидел, что вы человек молодой и глубоко одаренный. Мне понравилась смелость вашей мысли. Я долго, слишком долго искал таких, как вы. Я не знаю, пишете вы или нет, но я знаю, что вы должны писать. Вы должны стать утонченнее Альтенберга, трагичнее Врубеля. Я уверен в том, что ваша жизнь будет глубоко трагична. Пото-

му что искусство, талант, жажда далекого — все это трагично и мучительно.— Вот все, дословно, что он сказал мне. В полутемной мансарде на Ордынке, при первой встрече. Я не могу забыть его горящий, суровый и ласковый взгляд. Не правда ли, дико? Приходит человек, чужой, незнакомый, и говорит мне обо мне, говорит о своей вере в меня. Когда я ехал домой — мне все это показалось болезненной фантазией, городским бредом. И так мучительно захотелось быть около тебя, чтобы ты могла заглянуть в мои глаза и увидеть, сколько в них блеска, веры и любви.

Я пишу много о себе, девочка. Но все, что я делаю, я делаю только для тебя — я не могу отделить свою душу от твоей.

Если бы я мог быть около тебя. Следить твой каждый взгляд и дыхание. Заботиться о тебе, ласкать твои руки и нежить.

Я прочел твои «заметки».— Я не могу писать о них — это будет слишком тускло. В одном ты не права — я писал тебе, что не рассчитал, слишком рано уехал. Ты меня не поняла, девочка, я не рассчитал, я не отдохнул, я слишком рано уехал, и потому ко мне возвращалась та большая усталость, во время которой мне было трудно писать, мне хотелось лишь думать о тебе. Вовсе не то, о чем ты думаешь, Хати-дже.

Пиши — хотя бы несколько строк. Где ты лежишь? В своей ли комнате? В ней я люблю каждую мелочь. Листья, и фотографии, и голубую лампу, и вышивки. Каждый пустяк.

Привет всем. В доме теперь, наверное, тихо, и слышно, как гудит телеграфная проволока.

Твой *Кот.*

С воинской повинностью дело медленно распутывается.

Ел. С. ЗАГОРСКОЙ

2 февраля 1916 г.

Елена Степановна, как ваша ангина? Помог ли чревовещатель Шорин?

После возвращения из Ефремова меня экстренно вызвали в действующую армию, в отряд. Я поехал туда с единственной целью отказаться и взять свои бумаги. Бросил отряд, и сразу стало легко на душе.

Возвратился в Москву и здесь узнал, что Катя проследовала в Севастополь, к месту своего нового высокого назначения. Я думаю, что ей там будет трудно. Нина Петровна распускает беспокоящие население слухи о том, что Катя страшно похудела и настроение у нее отвратительное. Правда ли это? Получали ли Вы вести из Севастополя. Здесь в Москве никто пичего не получал, даже неизвестен адрес.

Я вернулся в Университет — к общей радости всех родственников.

Привет всем ефремовским и всему ефремовскому. Всего хорошего.

Ваш *К. Паустовский.*

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

18 февраля 1916 г. Москва

Каждый день меня мучительно тянет писать тебе, каждый день я пишу, у меня уже накопилось несколько писем к тебе, но я не могу их отослать, так жалко и мелочно все, что написано, все слова в сравнении с тем, что теперь происходит со мной.

Каждый день у меня мертвый, потому что я не вижу тебя, и каждый день бывают порывы к тебе и часы тоски, такой широкой и еще небывалой, что я не могу оставаться на месте. Я ухожу, я брожу часами по городу, пока тоска не перейдет в глухую ноющую боль. Раньше я часто думал о тебе, теперь же не то, я даже не думаю, нет,— теперь у меня такое чувство, словно меня раздробили и все лучшее во мне осталось там, с тобой, словно я оторван от корней, от всего, что давало силу и возможность еще многих несознанных достижений. Маленькая хрупкая девочка сама не знает, какая в ней сила и любовь.

Ведь после Ефремова, когда я приехал в Москву, и потом в Минск, и снова в Москву, я так быстро и неожиданно стал меняться, радостно почувствовал, сколько еще юной силы и веры в себя заложено во мне. Я словно увидел свою душу. Озаренными стали дни, изменился даже голос, и увереннее стали движения.

А потом случилось то, о чем я писал тебе,— завод, военная служба.

Ты поймешь, Хати-дже, как тяжело и противно мне все это.

Пять дней я пробыл на заводе Акц. О-ва Г. Лист на Софийской набережной, против Кремля, потом меня перевели на Бутырский завод, за Марьиной Рощей. Здесь я пробуду недолго, числа до 24-го, потом — в Одессу. В Одессе, говорят, почти нет работы, и у меня будет много свободных часов. Мне предлагали Москву и Киев, но я отказался,— мне необходимо, больше всего мне необходимо теперь остаться хотя бы ненадолго одному.

Перед Одессой мне, может быть, удастся приехать па несколько дней в Севастополь, если же нет, то я напишу из Одессы. Если на пасху нельзя будет удрать — ты ведь сможешь приехать ко мне, Хати-дже. Ведь так?

В Одессе я буду писать. (Недоверчивая улыбка.) Напрасно Вы улыбаетесь, миледи. Это слишком жестоко с вашей стороны. Я пишу даже теперь, хотя все окружающее устроено так, чтобы мне помешать. Есть стихи. Есть стихи о поэтах и детях. Я люблю их за то, что в то время, когда

«Купцы плывут за пряжей к озерам диких стран
И рыболовы смотрят с тревогой в океан
И золото считают у хижины своей,
Лишь вы одни беспечны у солнечных морей».

Много стихов. В них солнце «жгучим золотом ласкает наши лица», и «море древнее качает в колыбели прозрачно-пепельный и золотистый шар», и девушка, которая бросила рыбаку свое венчальное кольцо, рыбаку, что чинил паруса у берега, где «жемчужный свет волны», усталость развенчанных сказок и пляски, в которых тела девушек «мне напомнили стебли увядших цветов». Я стал солнцепоклонником.

Я хочу написать об одном художнике (он похож на Ван Гога), который увлекался Японией, трепетными контурами Хокусаи, любил цветение садов и золотеющее солнце.

Я хочу сказать о том, что в тонких болезненных строчках его писем, в его жизни лихорадочной и сумбурной, в искании солнца и воздуха, в несбыточной грезе о творчестве, которое даст синтез чеканный и чистый нашей необычно хрупкой души, в тоске, в презрении к «белому» с его ужасной бутылкой спирта, с его деньгами и его болезнями, в каждом часе его разорванных несуразных дней мне была ясна особая строгая гармоничность. Гармоничность порыва, непримиримости, слабости и благородства, напряженного искания, ведущего к тысяче ошибок.

И в том немногом, что он успел создать, было много неудержимой тоски о небывалом, много шумов и звонов вечернего моря, много дикого очарования никогда не виданных стран.

«Звездное небо — единственное, что я хотел бы написать».

Но он не написал его. Я хочу узнать — почему.

Я еще не знаю, но меня тревожат некоторые строки его писем, написанных незадолго до смерти.

«Тоскующий взор мученика надрывает душу, как глаза извозчичьей лошади».

«Общество делает наше существование плачевным, и отсюда также наше бесплодие и несовершенство».

Своей жене, нежной и хрупкой, он писал.— C'est un emploi difficile, d'étre la femme d'un Poète![1] И, едва сдерживая слезы, он рассказал ей потрясающую правду о Христе.

Если бы Христос опять пришел, Его бы не распяли, нет. Его бы превратили в какого-нибудь несчастного приказчика мелочной лавки, подождали бы, пока у него будут жена и дети, чтобы заморить их голодом и заставить Его преклониться перед обществом и государством. Это было бы мучительнее. А в ответ на Его пророчества ты (общество) подослало бы к нему чиновника с исполнительным листом, чтобы взимать по векселям и описать последние платьица Его детей,— это язвит сильнее, это вернее, это мучительнее, чем просто умирать на кресте в продолжение нескольких часов.

Его друг говорит о нем: «Переутомление и нужда подточили его нервный организм, но нужда не озлобила его сердца». Этот человек сошел с ума. Он мечтал о том, что околдует жизнь и она станет непрерывным праздником творчества, молением солнцу и воздуху, молодой радостью. И как он верил, что у него есть сила дать солнцу и самому небу их яркость и блеск.

Может быть, такого художника не было, но во мне он живет, и судьба его мучит меня. И о нем я хочу написать.

И если бы я мог. Если бы я мог так написать о нем, чтобы каждый вздрогнул от острой, непереносимой боли, чтобы немногие поняли, как оскорбительна и нелепа гибель этого озаренного мальчика, полного той юной, творческой целомудренной радости и любви, которые мне кажутся единственным оправданием жизни, чтобы поняли,

---

[1] Это довольно тяжелая участь — быть женой поэта *(фр.)*.

как преступны и полны старой, прогнившей ложью все человеческие отношения, когда действительно человеку надо смертельно заболеть или подвергнуться большой опасности, чтобы иметь право на внимание и ласку.

Много, много я хотел бы написать. Напиши, Хати-дже, родная моя, что ты думаешь об этом. И напиши, если бы этот художник был жив и была бы большая, никому не нужная война, которую с таким тупоумием и упорством ведут люди; если бы его взяли силой и предложили ему умереть для выгод этих людей или заставили его сверлить гранаты, что бы он сделал?

Если бы ты знала, как мне больно, моя чуткая нежная сестренка. Почему ты так далеко? Я живу только тем, что увижу тебя на пасху, ведь ты не знаешь, девочка, того, что живу я только тобой и для тебя. Для меня ты неизмеримо ближе всех, кого я любил и люблю. Даже мамы и Эммы и всех, всех.

Почему ты не пишешь, родная? Я долго не писал, мне было очень скверно и трудно, очень трудно было писать. Теперь это прошло. И писать я буду очень часто.

На заводе грохот, лязг, огонь, над головой подъемный кран таскает сотни пудов, все станки стонут и визжат. И каждый день я думаю о том, что приду домой и мне передадут маленькое письмо от моей единственной сестренки, которая далеко у моря. Но писем нет. Пиши. Так тяжело ждать.

Была ли у тебя Катуар? Я был с Марусей Зеленцовой у Каликинских и видел Геннадия Петровича. Он очень славный, грустный, очень нервный и весь какой-то судорожный, как ребенок после плача. Проговорили мы с ним весь вечер.

Прощай до завтра.

Кот.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

20 февраля 1916 г. Москва

Сейчас уже вечер, я лежу, со мной то же, что было в Ефремове,— жар и озноб. Мама поставила около постели стул, и я пишу на нем, раскрыты Гитанджали, лежат твои письма, и веет от них звенящим солнечным садом.

Так легко думать — образы наплывают, и весь вечер я прожил где-то далеко, в невиданной стране, где все узор-

но, огни преломляются причудливыми иглами, звезды пламенны и беспокойны и город заливают фосфористые зарева, трепеты моря. Каждый раз, когда у меня жар, мне снится все это. Словно какая-то вязь затуманенных глаз, огней, душной ночной темноты, шелеста каштанов, бездумной околдованной жизни.

И теперь еще я весь во сне: словно в тумане. И не хочется думать о том, что мучило последние дни,— о военной службе. Мне кажется, что слишком большой жертвы от меня потребовала мама — словно душу свою я раздробил и отдал и это оказалось свыше моих сил...

...Если бог есть — то он должен быть добр. Я верю в это. Я верю, что увижу тебя скоро, очень скоро, и если бы не верил в это — не знаю, что сталось бы со мной.

Я писал тебе 18-го много, много, получила ли ты письмо?

Недавно я был у Мар. Сев. Были Николаша и Таня. Я плохо помню тот вечер — тогда я сильно устал, мы о чем-то говорили, и Таня, которая всегда так была холодна ко мне, была очень внимательна. Ей, должно быть, показалось, что я болен. Я не забуду, никогда не забуду того, что сказал Николаша, может быть, вскользь, ничего не думая. «Каждый цельный и порядочный человек должен или совсем отказаться от войны, или идти туда, где умирают другие».

Словно меня ударили. Голова у меня кружилась, и я думал только о том, чтобы не выдать свою слабость.

Как я хочу видеть тебя, Хатидже. Особенно теперь. Весь день сегодня думаю о том, что бога нет или он должен быть добр. Я, должно быть, написал опять много грустного. Ты не думай об этом, Хатидже, родная. Я немного болен — все это должно быть оттого.

Спокойной ночи, девочка. Какие холодные теперь ночи в Москве — так тихо и смутно, только на стенах ложатся бледные полосы от фонарей.

Я сейчас потушу свет и долго и нежно буду думать о тебе, может быть, всю ночь.

Кот.

21/II. Сегодня — твое письмо от 16-го.

Мне стало невыносимо хорошо, Хати-дже. Такой буйной, сумасшедшей радости я никогда не знал. Правда ли это? Неужели ты будешь моей маленькой, хрупкой женой? Но Вы знаете, миледи, c'est un emploi difficile, d'étre la

femme d'un Poète! Я ведь немного поэт. Сейчас я не могу ничего писать, у меня нет слов. Напишу завтра.

Что такое «приемщик»? Это человек, который работает четыре часа в сутки, имеет право не носить военную форму, живет на частной квартире. Завтра напишу подробнее.

Пришел Романин.

Прощай до завтра, девочка.

Кот.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

25 февраля 1916 г. Харьков

Проклятье! 23-го меня вызвали в Артилл. Управление и командировали в Екатеринослав, вместо Одессы. В Екатеринославе дадут дальнейшее назначение — Таганрог, Бердянск или еще какая-нибудь дыра похуже. В Одессу обещают перевести при первой возможности. Завтра напишу из Екатеринослава,— когда все выяснится.

Перед отъездом получил письмо от Ел. Степ. Письмо очень теплое, хорошее. Зовет в Ефремов.

Моя тоска по девушке с моря все растет, Хати-дже.

Кот.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

3 марта 1916 г. Екатеринослав

Сейчас туманная лунная ночь. Город словно преобразился. Весь голубеет. Я так глубоко и взволнованно рад — я ведь знаю, что скоро, очень скоро увижу тебя. Ты не сердись, Хати-дже, что я пишу так немного, я устаю с непривычки на заводе, устаю от грохота, грязи, темноты и дыма. Весь день и большую часть ночи я думаю о тебе. Думаю о том, что без тебя я не люблю жизни и не хочу ее...

Если бы ты дня два пробыла на заводе — ты бы увидела много занятного,— как тянут раскаленную проволоку и она быстрыми змеями вьется по мастерской, нужно все время следить за ее движением и вовремя отскакивать, как прокатывают броню, льют чугун из громадных доменных печей, как ловко рабочие бросают раскаленные гранаты от одного станка к другому, через головы стоящих.

Но все это хорошо лишь на день, на два. Быстро надоедает. Голова болит от серных паров, все покрыто тонким слоем зеленой медной пыли, и люди вокруг нудные, доведенные работой и шумом до предела тупости и усталости.

На заводе скверно. Когда я бываю на нем — всегда меня мучит боль, мучит порыв ко всему тонкому, радостному, свободному, и одна строчка стихов какого-нибудь поэта зажигает во мне столько тоски, столько жажды уйти от всего, от царапающейся в этих стенах, в выцветших людях жизни — уйти к тебе, забыть все, создавать высокое, быть радостным и молодым.

Теперь о деле, Хати-дже. Ты должна написать мне, сестренка, только поскорее, когда спрашивают пропуска в Севастополе — на вокзале или при прописке. У меня есть очень внушительная бумага от Артиллерийского Управления — за подписями генералов и ошеломляющими печатями. Здесь, в Екатеринославле, я узнаю у своего полковника и в градоначальстве относительно выезда — б. м., они дадут мне пропуск. Все образуется.

Пиши поскорее. Я писал тебе о том, что меня направили в Таганрог, что в половине марта, а может быть и раньше, я приеду в Севастополь, а оттуда проеду прямо в Таганрог...

Пиши, моя родная, единственная сестренка. Так тяжело быть одному.

Кот.

Адрес — Екатеринослав, Алексевская ул., 2-ая Чечелевка, д. № 45, кв. 3.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

22 марта 1916 г. Таганрог

Вчера я до глубокого вечера просидел на конце мола. Море здесь северное — палевое, все в затушеванных тонах. Вечером оно заволновалось, стало густо-фиолетовым и дымным от заката. Дул холодный восточный ветер. И большая двухмачтовая шхуна медленно ушла из порта в сумрачную, ветреющую ночь. Шхуна на черных парусах. Ты слышала, как кричат чайки? Вчера они весь вечер падали и звенели над волнами. И вошла ко мне в душу великая меланхолия моря, шум волн, безвестность морских путей и грез на темных палубах под парусами. Рубином зажегся

маяк над городом. Пугливо жались и дрожали от ветра огни на пристанях. Я много думал о тебе, я тосковал, и никого не было около меня, только мое родное море, все в туманах и криках чаек.

Порт чистенький, словно игрушечный, весь в зелени. Безлюдье. Я пробыл у моря несколько часов и не встретил ни души. Я был совершенно один.

Я смотрел долго, долго туда, где Севастополь, и старался увидеть, где ты, что делаешь, какие у тебя глаза. И мне казалось, что солнце золотом ложится на стенах твоей комнаты, но комната пуста. Ты, должно быть, на Историческом бульваре. Знай, Хатидже, родная, любимая моя девочка, что не было и, должно быть, не будет в мире такой любви.

Будет радость и солнце — еще много радости впереди,— я глубоко, по-детски, верю в это. И мне слегка только больно, что я не показал тебе еще многого, что волнует и возвышает меня, что я бессилен передать тебе всю молодость и по-человечески невозможность моей любви. Она — небывалая, она дает мне ту чрезмерность страданий, всю силу и боль которых знал, быть может, только Христос перед Голгофой, знал Уайльд, Multatuli, нежный Шелли, ту боль, которая возрождает меня. Еще до Севастополя началось во мне какое-то глубочайшее просветление,— нежность, тоска, неизбывная вера, моление солнцу и морю, простота и радость — вошли в меня, и я почувствовал, я знаю, что я вошел на путь, который ведет к бесконечному совершенству. Ты спрашивала меня в Севастополе, как я хочу жить. Когда я увижу тебя, я расскажу тебе об этом, это так хорошо, что писать трудно...

Сегодня пришел на завод. Телеграмма. «Приказываю Вам немедленно выехать в Юзово, на юзовский завод, для временных работ по приемке корпусов гранат. Полковник Панкин». Зачем они мотают и мучают меня. Я не успел еще устроиться здесь, и снова ехать в эту дыру, Юзово. Это между Екатеринославом и Таганрогом. В голой степи. Грязный поселок и фабричные трубы. Пыль и жара. Больше ничего. Если они задержат меня там до пасхи — я уйду. Мне противно все это, я живу в ином мире, я люблю тебя, и все, что будет мешать мне, я отброшу.

Но я думаю, что пробуду там дней шесть-семь, а потом вернусь в Таганрог. Здесь в комнате я оставлю все, книги и вещи, беру с собой немного. Пиши пока в Таганрог — Большой Биржевый пер. № 7 кв. Флакс — мне. Из Юзова я сейчас же напишу — выеду сегодня в полночь.

Еще много, много хотелось бы написать тебе. Но снова на душе глухая боль. У меня она то уходит, то вползает снова. Но самое важное, что я хочу сказать,— будь радостной и верь — мне так хорошо думать о том, что есть в Севастополе около тебя люди, которые любят тебя,— Клавдия Андр. и Коля. Больно то, что я долго не буду получать от тебя писем. А вдали от тебя для меня это все.

Твой *Кот.*

Не правда ли, глупо заставлять поэтов сверлить гранаты. Из этого ничего не выйдет. Вместо Таганрога они едут в Севастополь, вместо того, чтобы работать в мастерских, они пишут стихи и любят радостных девушек. Они глупо сделали, что приняли меня, но я надеюсь, что очень скоро они меня выпрут,— есть много данных.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

25 марта 1916 г. Юзовка

В глубокой яме, в выжженной степи, в туманах пыли — грязное, полуеврейское Юзово. Заводы и шахты. Желтое небо и черные от копоти люди, дома, деревья, лошади. Гиблое место. А завод напоминает одну из самых суровых и мрачных грез Верхарна.

У меня нет прежней мертвящей боли. На душе светлая печаль и нежность, потому что я увидел, что любовь — первая тайна мира, которую ищут мудрецы. И теперь я знаю, что еще много прекрасного ожидает нас. У меня нет сил передать тебе ту радостную веру в божественность жизни, в веяние чего-то высшего над нами, в основную красоту жизни, которая охватила меня после Севастополя. Об этом я напишу тебе сегодня.

Внешне все сложилось так — вызвали меня в Юзовку, на новороссийский завод, чтобы наладить здесь дело. Это меня-то! Пробуду здесь я до 3-го апреля — потом обратно в Таганрог. Здесь по распоряжению инженера отдела отвели мне номер в лучшей гостинице и взяли на себя все мое содержание. Видишь, какие мы важные. Пиши до 3-го сюда,— Юзовка, Екатер. губ. гостиница «Великобритания», мне. Привет морю и огням на Северной.

Кот.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

1 апреля 1916 г. Юзовка

Эти дни я много думал, но это были неясные, логичные законченные мысли — я думал и верил, жил и грезил неясно и радостно, я уловил в себе расцвет нового, более широкого и, может быть, более проникновенного отношения к жизни.

Я вспоминаю строки Саади, шейха ширазского,— «Будь щедрым, как пальма. А если не можешь, то будь стволом кипариса — прямым и простым, благородным»,— и эти слова вызывают во мне много дум и неуловимого, радостного волнения. Я могу думать об этом весь день, и со словами Саади сольются образы той забытой девушки-царевны, могилу которой мы видели в Чуфут-Кале, которая умерла, потому что слишком глубоко любила, образы голубей под солнцем у фонтанов, дымчатых морей, повторяя эти слова, я как-то сразу схватываю простую мудрость жизни, всю ослепительность солнца и красоту цветов в твоих руках и небывалую, мучительно-сказочную поэму нашей любви, которая так хороша, что если бы люди создали о ней самые нежные легенды, то даже этим не могли бы передать хотя бы тысячную часть ее очарования...

На заводе, в мастерской, есть мастер, пожилой человек с лицом англичанина и ласковыми светлыми глазами. Он любит повторять, что «каждый день человек должен совершенствоваться хотя бы на два миллиметра». И вот я понял теперь, что со мной, что я становлюсь лучше, лучше не в смысле человеческого пресного добра, нет, я чувствую по-новому, я, может быть, стал тоньше и глубже поверил в себя. Ты поймешь меня, девочка.

Как цветок раскрывается все шире только для того, чтобы больше солнца и влаги впитать в себя, так же и я хочу быть достойным тебя, чтобы дать тебе всю радость, очарование жизни. Я не умею писать об этом, но молчать так трудно.

Я говорю о поэме любви. Я помню тот звонкий миг, когда ты рвала цветы под солнцем у монастыря в Бахчисарае, желтые цветы с запахом влажной весенней земли, я помню, как шелестели листья над холодными прудами в Расторгуеве и низко над лугом, в дыму висел ущербный, ржаво-золотой месяц, звонили в монастыре, и твои губы были холодные, зимние, я вспоминаю, что ровно год тому назад я лежал в жару, усталый, бредящий в дождливую

глухую ночь где-то в Галиции, когда ты пришла ко мне. Тогда впервые я понял, что во всем холодном, пугающем мире у меня — ты одна.

Я вижу тебя у мамы, у измученной, ласковой, хорошей мамы, которая тихо, чтобы никто не слышал, плачет по ночам, когда думает о всех своих сыновьях.

Я как-то странно и властно люблю каждый день твоей жизни, твое детство.

Люди редко плачут от счастья, Хатидже, но это, может быть, самое прекрасное, что можно увидеть в жизни.

Люди редко плачут от счастья, но все-таки иногда плачут — и это не нервность, не усталость. Иногда, когда они думают о далекой, любимой сестре, глаза блестят у них, должно быть от слез.

Еще о многом я хотел бы написать тебе, о том, как близок и человечен стал для меня образ Христа, о том, что я теперь знаю, что те, кто стремится найти, увидеть свою душу, никогда не знают, куда они идут, и не могут знать, потому что душа человека — это конечная тайна. Но лучше, когда я увижу тебя, я расскажу тебе об этом.

Но когда я увижу тебя? Я боюсь, что Панкин задержит меня здесь на пасху. Пасха в Юзовке, в ураганах угольной пыли, в унылом диком местечке, где все дома похожи на гробы и даже нет названий у улиц, они все по номерам,— продольные нечетные, поперечные четные, где голая, грязная степь, шахтеры и фабричные, которые по вечерам грызут семечки на главной улице № 1.

На пасху я, должно быть, не смогу приехать к тебе. Все это выяснится к 5-ому апреля. И мы сделаем так, девочка. Пятого я дам телеграмму о том, что я выехал в Таганрог, или о том, что я остался в Юзовке, или, наконец, о том, что я приеду. Тогда ты будешь знать, как быть. Самое скверное то, что я не знаю, долго ли пробуду здесь, из Екатеринослава нет никаких известий, я жду каждый день.

Ты знаешь, ведь в Юзовку меня послали как в ссылку. В Таганроге меня ждали, потом дали телеграмму Панкину, что меня нет. Недавно приехал сюда инженер из Управления — оказывается, Панкин догадался, что я был «в бегах», вскипел и дал в Таганрог телеграмму перевести меня временно в Юзовку. Юзовка — это для браковщиков считается чем-то вроде Нарымского края.

Будь покойна и жди телеграммы. У меня глубокая тоска по тебе, но мне будет больно видеть тебя в этом гиблом, безнадежном месте.

Ты пишешь о серых днях над морем. Неужели нет особого очарования в пустых, прохладных днях над белым, замолкшим морем? Эти дни — словно ожидание, словно грусть земли о солнечности, о ярком небе, грусть, пронизанная верой.

В твоем маленьком письме я уловил много боли, оно неокончено, оборвано. Ты еще боишься, Хатидже, что тебя отрывают от дум обо мне, но разве этого можно бояться.

Прощай, до завтра. *Кот.*

2/IV. Я запечатал письмо и хотел уже отправить его, когда мне подали казенный пакет из Екатеринослава. «На днях выедет в Юзовку на Ваше место студент такой-то, который будет постоянно в Юзовке. Ознакомьте его день-два с положением дел и уезжайте в Таганрог. Полковн. Панкин».

Я ознакомлю его не в день, а в два-три часа, и в день отъезда дам тебе телеграмму. Заместитель приедет, должно быть, завтра.

И на пасху я, м. б., увижу тебя в Таганроге. Как хорошо, Хатидже.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

10 апреля 1916 г. Юзовка

Эти дни я ждал, Хатидже. Где-то глубоко жила надежда увидеть тебя, она затушевывала боль, окутывала дни светлой и грустной дымкой. Я не писал, я боялся, что мои письма могут вызвать у тебя слезы, сестренка,— когда мне больно, я пишу такие письма, которым не надо верить, а ты им всегда веришь,— поэтому я молчал.

Я думал о тебе, теперь я могу думать только о тебе; иногда большим напряжением воли я заставляю себя уходить в книги, в жизнь, но из этого никогда ничего не выходит. Оторвать меня от тебя — это убить меня, измучить медленно и жестоко.

Мама пишет мне — «Я хотела бы, чтобы Загорская знала и верила, как она мне бесконечно дорога. Я хочу написать ей об этом, пусть она простит мне, что я до сих пор не собралась — у меня такая тяжесть на душе, я ничего не могу соображать, я хотела бы, чтобы все забыли о моем существовании, точно меня нет на свете. Я никогда не успокоюсь и не хочу успокоиться, никогда, ни на одну

минуту не могу забыть Диму и Борю, жизнь для меня умерла, слишком велико горе».

А сегодня телеграмма из Москвы, которой я сразу не понял. «Если нет препятствий от воинского начальника — можешь приехать выяснить положение. Ходатайство об оставлении студентов-браковщ. возбуждено. Высочанский». Очевидно, дома напутали. Призваны студенты 9(IV) 1894 и 93 годов, а я 92 года. Моя очередь следующая. Служба на заводе, как разъяснил на днях Главн. штаб, не освобождает. Я подожду, пока все выяснится, и если окажется, что меня призовут, уйду. Последние дни перед тем, как меня окончательно свяжут, я хочу быть свободным, я хочу быть около тебя. 92 год призовут, очевидно, в конце мая, может быть в июне, в крайнем случае — в августе.

Моего заместителя все нет и нет. Каждый день я жду его. Ведь его приезд определит все и, может быть, даст мне возможность приехать к тебе. Дни уходят холодные, в дождях — каждый день так больно ранит меня. Пасха и одиночество, ласковые звоны церквей, Христос радостный и близкий. Временами я долго смотрю на ржавые крыши за окном, на слепое небо, на старые стены холодной комнаты и вздрагиваю. Что это, почему я не около Хатидже нежной, радостной, у теплого моря, осыпанного солнцем. Я немного писал. Вот последние «твои» строки —

Мои туманы синие, в огнях
Ты не увидишь ласкового моря.
Все — словно ткань, все в золотых дождях,
Плывут часы, и нежно плачут зори.
Я ведь одна Тебя я так ждала,
Мой юный брат, мой мальчик озаренный,
Как мягкий шелк, как тонкий сон, легла
Тоска в душе, и болью тают звоны
Минут и дней, встает прозрачный свет
В морской волне, и звезды и сирени,
Все мне дарит твой радостный привет,
И лепестки ложатся на колени.
Ты так любил ласкать в моих руках
Нарциссов грусть и целовать ресницы
И слушать зов в обманчивых морях,
Как весть любви — напевы синей птицы.

Вот другое, такое же простое —

Если падают нежно лепестки молодые,
Лепестки молодые на колени твои
И над полночью блекнут моря зоревые,
О сестра,— это грезы мои.
И плывут за оградой легковейные трели.
Легковейные трели затаенного дня —

Это дрема тоски, это лепет свирели,
Истомившей глубоко меня.
Я, тебя вспоминая, опускаю ресницы,
Но мерцает, как солнце, мой задумчивый взор.
Мне так больно, дитя, словно юной царицы
Услыхал я призыв и укор.
Если белою ночью вдруг запенится море,
Заволнуется море при Полярной Звезде —
Я — в огнях убаюканных, в зыбком просторе,
Я с тобою всегда и везде.

Есть еще о болтливых дождях, которые мешают спать цветам, об их шорохах, слезах и звонком смехе, есть песни тоски и гордости — «я сожгу песнопенья, я безумный и бледный истомлю свою душу, надругаюсь над ней». «Я плесну в золотые, вечерние дали дикий крик, что изранит мучительней стали всех далеких и чутких моих» — злые стихи и еще — насмешки над собой. «Когда чернеет день и космы дикой пыли Погасят радостно больного солнца свет — будь светел и пленен мерцаньем яркой были, сбрось мантию тоски, одежду долгих лет» — но это уже прошло.

Есть еще стихи о ночи, когда «в каштанах сон и в полночь звон воды», песни страсти — «в хмельном и дерзком зное глухих ночей как затаенна ты,— дай мне ласкать все тело молодое и губ твоих чуть влажные цветы. Я обовьюсь упругим шелком душным твоих волос, вдохну ночной дурман — и будут сны о бледных и воздушных иных ночах в тревоге буйных стран...». Есть строки о твоей комнате, о поэте — «грустной легендою, юным молением был его трепетный путь, странным порывом звенящие ландыши, словно отраву вдохнуть», о поэте — «не ведомый никем, забытый в звоне дня, всем чуждый и безмолвный, он знал всю дерзость дум и боль бессильных грез в ночах бессонных, когда у берега протяжный шум, когда под ветром дышат волны и говор зорь плывет в окно, свет сонных зорь в цветы влюбленных. Он не создал, он не создаст, едва намеченный и юный, нежный, он ускользнет, как золото огня»...

Все это очень долго переписывать. Вот самое коротенькое:

Корабли над заливами встали мачтами тонкими,
Тает древнее золото, никнет солнце морей.
Убаюканный грезами молодыми и звонкими,
Я уснул на камнях королевы моей.
Сквозь неясные призраки сна прозрачного, белого,
Кто-то шепчет мне ласково — спи, мой мальчик, пора.
И целует задумчиво мои губы несмелые
Несказанно-любимая, молодая сестра.

Хатидже, я верю, что увижу тебя. Слишком велика моя боль о тебе, порой она становится непереносимой.

Кот.

Напиши еще одно письмо сюда. Если я уеду, перешлют. Леле привет.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

20 апреля 1916 г. Таганрог

До полночи я пробыл на молу. Был свежий ветер. Звездное небо, сонные огни в воде и море. Я сидел на борту какой-то полупокинутой шхуны. Скрипели снасти, жаловалась вода, и снова покорила меня великая меланхолия моря, тоска безвестных путей. И в этот миг я поверил тому, что мы будем вместе у далеких морей, быть может, в Японии, я не знаю еще где. В небе была наша звезда, а там, где Севастополь, на море загорался и гас бледный огонь — шел пароход.

Как хорошо, что здесь газовые фонари в тени каштанов, пустынные улицы, сквозь плиты тротуаров пробиваются цветы и травы, а днем все усыпано солнцем и звонами птиц. Как больно, что нет тебя.

Айхенвальд прав, когда говорит о «трогательной» красоте, о дремлющих улицах этого белого городка.

Если я не смогу приехать к тебе — ведь ты будешь здесь? Когда окончатся занятия у тебя? Я ведь считаю дни, как мальчик, и жду.

Я загорел, я часто выплываю на шлюпке в море по вечерам, и дымное гигантское солнце смотрит мне в глаза и слепит. Я полон жизнью — любовью,— она, словно тонкое вино, разливается по всем моим жилкам, и лицо у меня перестало быть черствым. Я теперь член яхт-клуба, по этому случаю на днях одену матроску, сандальи и буду держать фасон. Хожу по Таганрогу без фуражки. Таганрожцы смотрят и изумляются.

Мои знакомые — прапорщик Литвинов, застенчивый, безвольный, мягкий, человек-рубаха. Москвич. Если бы я был подчинен ему, а не инженеру отдела — я бывал бы два раза в месяц в Севастополе. Осипов, его помощник — молодой инженер, прожигатель жизни, завсегдатай кофеен. Еще два-три человека.

Одного я боюсь, Хатидже. Я писал тебе уже о телеграмме Панкина. Вчера пришла бумага от военного министра — «Всех студентов, служащих в Главн. Артиллер. Управлении, уже призванных, немедленно освободить от работ и направить к подлежащим воинским начальникам. Никаких отсрочек и освобождений не допускается». Но есть еще одна надежда — через неделю-полторы все окончательно выяснится. Если будут призывать — я уйду, если оставят — останусь. Но об этом я напишу подробно немного позже. У меня немного тревоги и боли, что я буду призван раньше, чем ты сможешь приехать. По моим расчетам призовут мой год летом — в июне, июле. Сейчас мне надо идти на завод...

Кот.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

27 апреля 1916 г. Таганрог

Мне хочется позлить тебя. Знаешь, что я нашел в книге Гумилева «Чужое небо» — это так близко и понятно мне. «Я пробрался вглубь неизвестных стран, восемьдесят дней шел мой караван; цепи грозных гор, лес, а иногда странные вдали чьи-то города. И не раз из них в тишине ночной в лагерь долетал непонятный вой. Мы рубили лес, мы копали рвы, вечерами к нам приходили львы. Но трусливых душ не было меж нас, мы стреляли в них, целясь между глаз. Древний я отрыл храм из-под песка, именем моим названа река, и в стране озер пять больших племен слушали меня, чтили мой закон. Но теперь я слаб, как во власти сна, и больна душа, тягостно больна; я узнал, узнал, что такое страх, погребенный здесь в четырех стенах; даже блеск ружья, даже плеск волны эту цепь порвать ныне не вольны.— И, тая в глазах злое торжество, женщина в углу слушала его».

Не правда ли, это хорошо?

«Скоро я напишу тебе много, много».

Да, между прочим, я глубоко верю в то, что это последние месяцы моей жизни, меня скоро возьмут в строй и убьют. И не будет больше Кота. Не правда ли жаль?

Я только что пришел из порта. Лунная ночь, голубей бирюзы, вся дрожит, дымится, мерцает. Одинокие фонари на мачтах шхуны. Ты знаешь их красоту? И море, словно в далекой стране, где мы будем когда-нибудь с тобою.

Дым папиросы совсем голубой. Так прозрачно и сонно. Так много грез, так много углубленной тоски. Так нежна и любима моя Хатидже, смуглая, как татарчата в Бахчисарае, вся в золоте косы, маленькая девочка в белом саротіer и белых ботинках, с обманными глазами. Я не верю твоим глазам. Они слишком красивы, чтобы быть неизменными.

Если бы это не было только сказкой, я бы продал свою душу черту, как Фауст, чтобы быть сейчас в Севастополе. Я смеюсь. Но когда мне остается только смеяться...

Утро. Меня разбудили птицы. Сегодня я свободен, свободен весь день, весь день я могу бродить и думать, сидеть в таверне около порта, где играют в карты и кости, смотреть, как томится под зноем море и в окна заглядывают ветви каштана. Думать о тебе.

«Весь в цвету сирени Севастополь. Солнечно и тихо, как в Аттике»,— я прочел недавно в газете эти строчки Дорошевича, того Дорошевича, что сидел когда-то, еще в ноябре, в темной халупе, в Замирье, и пил со мной чай. За окнами ходили солдаты и ржали лошади. Вялый луч прожектора бродил в жутком, беззвездном небе. Мы говорили о России, о нищей России, в которой так лихорадочно стремление к совершенствованию, где мысль и надежда так сильны. Когда я провожал его, он крепко пожал мне руку и сказал о том, что хотел бы быть теперь молодым.

Слушай, Хатидже. Напиши мне, когда окончатся занятия в твоем училище?

Ты мало пишешь, и я не знаю, радоваться ли этому или печалиться. Маруся Зеленцова говорит, что «Катериночка, когда что-нибудь неладно, становится очень нежна, заботлива, часто пишет».

Больно, когда на столе нет конверта. Я возвращаюсь с заводов, я рвусь домой.

На заводах — бестолочь. Бельгийцы так далеки по своей грубости и невежеству от образа «веселой Фландрии и Бельгии». В Таганроге все люди какие-то мелкие, аристократия здесь приказчичья, много «хорошеньких», но нет красивых лиц. Студентов много, но, когда спросишь их об Уайльде, они хлопают глазами. Не знают. Читают Вербицкую и Баркова. В богатой Чеховской библиотеке — двести подписчиков. О Чехове многие даже не знают. «Да, кажется, был такой... На Чеховской улице у него дом...»

О призыве, о сроках, о возможности удрать отсюда напишу немного позже. Между прочим, на троицу приедет тетя.

Привет Клавдии Андреевне, немного «тургеневской», морю, сирени, твоей комнате.

Кот.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ

1 мая 1916 г. Таганрог

Я расскажу тебе об одном дне, только одном. Это я где-то списал, может быть у Петера Альтенберга,— я не помню.

«Небо безоблачно. Солнце отблеском меди заливает лицо. Свежие ветры; в них запах земли, почек, стеблей и цветов. Вода в колодцах хрустальная, льдяная.

Голоса детей в утренней тишине. Тишина земли, усыпанной солнцем. Светят голубые жемчуга — отблески моря. Любовь.

Он был у моря. Долго читал старинную, мудрую книгу — повторял одно место. «Глубины скал Он украсил изумрудами и рубинами. Изумруд зелени Он залил рубинами цветов. В безграничность океана Он бросил дождевую каплю и в грудь женщины заронил творческое семя: из дождевой капли родился жемчуг, семя же дало стройное прекрасное существо».

Волнорез. Песчаник нагрет и слепит глаза. Позади порт с желтыми трубами пароходов, стрелами мачт. Густой приятный запах длинной серебристой травы между камней.

Мальчишки ловят бычков.

Он перелистывает страницы. Стихи. Стихи о девушке, которая прислала яд любившему. Он спокойно и просто выпил его, он умер. Оставил несколько строк. «Знай, я больше не буду жестоким, будь счастливой, с кем хочешь, хоть с ним, я уеду, далеким, далеким, я не буду печальным и злым. Мне из рая, прохладного рая, видны белые отсветы дня... И мне сладко — не плачь, дорогая, знать, что ты отравила меня».

Потом он долго, долго сидел на деревянной террасе кофейни в порту. Много курил. И глаза были темные, печальные.

Дома на столе увидал три письма, три маленьких листка, на которых написано так много. Перечитал несколько

раз. Улыбнулся. Все письма опущены сразу. Долго думал о чем-то.

Встал, стал нервно курить, раскрыл старую, мудрую книгу и вдруг в порыве странного гнева и тоски швырнул ее в угол. Долго ходил. Лег. Встал. Закрыл ставни. Снова лег. Потом вскочил, снова перечитал все письма. В глазах была радость и непередаваемая боль.

Холодно смотрел на небо за окнами, на апрель, на дымки облаков. Может быть, он проклинал все это. Такое холодное и тоскующее лицо было у него. Он швырнул в угол старую книгу, потому что в ней было написано: «Ты страдаешь из-за женщины, но загляни в глубь души своей, посмотри, как золотится осенний виноград, как прозрачно небо и веселы люди, приникни к истокам мудрости, познания и творчества, и утишится твоя боль». Он думал о том, как невыразимо глуп был тот, кто осмелился написать эти слова. Он тосковал о хрупкой девушке в белом городе, где кипень волны, где ирисы, где он стал бы живым и юным. И проклял все, что окружало его. Снова отбросил книгу, изорвал много мелко исписанных листов. И такая острая, непереносимая боль билась в душе — одного только хотелось — забыться, уснуть, умереть. Он написал на листе бумаги, лежавшем на столе: «Я презираю Данте за его любовь к Беатриче — он слишком тускло любил, он создал на ее весенней могиле скрежещущий памятник своего Ада, он солгал перед собою и людьми, стремясь сохранить свою жизнь, чтобы творчеством своим создать ей бессмертие. Он еще мог думать, мог писать, мог смотреть в глаза людей и говорить тысячи слов, мог петь и спокойно спать в своей постели, когда умирала, умерла Беатриче. Он мог думать, что «Божественная комедия» возвысит его любовь. Шумом слов и скукой он убил ее, он, не знавший, что любовь выше жалкого человеческого творчества, выше его жизни. За это я ненавижу его».

Вспоминал любимых — вспоминал Уайльда, сказавшего так глубоко и просто о том, что неблагодарно и нелюбезно принимать мрачный вид, что человек должен научиться быть бодрым и радостным.

«Ждал вечера, темноты, тишины, забвенья. А день был долог и горяч».

Когда я пишу это, на окне у меня сидит черная кошка и смотрит на меня. Это единственное живое существо, которому я сегодня сказал несколько слов.

Вспоминаю первое мая в прошлом году. Первого мая ты приехала после отпуска на поезд. Где-то около Любли-

на. Мы уходили в Киев. У меня мучительное желание перечитать «Ингеборг». Я болен тоскою по тебе, по Севастополю, Таганрог стал, как тюрьма.

Хатидже, родная, напиши мне немножко побольше. И не сердись на меня за это письмо, право,— сейчас мне очень, очень больно,— детей отрывают от мамы на несколько минут, и они рвутся к ней,— то же, должно быть, и со мной.

С воинской повинностью скверно. Жду на днях письма от дяди Коли — тогда напишу подробнее.

Школа мор. прапорщиков — может быть, из той тупости и нудности, которую назыв. воен. служб. и которую можно только холодно и глубоко презирать, это лучшее; не знаю. Знаю только, что все это противно. Может быть, это мания величия, но я, как я ни скверно подчас думаю о себе, не хотел бы одевать форму, хотя бы и мичмана. Плохо дело того, кому для завершения его духовного облика нужно одеть красивую экзотическую форму.

Я предпочел бы быть бродягой, голодать, быть человеком без имени, без славы, без того определенного «положения», за отсутствие которого у меня так холодна ко мне Леля, быть презираемым всеми, но остаться чистым душою и сердцем, тем прежним Котом, которым я был раньше.

Прости, Хатидже. Я, кажется, пишу много дурного, но последние дни так измучили меня, истомила эта скверная, ненужная работа, истомили думы и ночи. Что-то болит у меня на душе, должно быть совесть.

Какая-то боль во мне, так бывает, когда сдержишь слезы и они клубком застрянут в горле и давят.

Пиши, девочка. У меня все это скоро пройдет, я снова принял мрачный вид, а это уж совсем не нужно.

Прощай. Я напишу скоро, очень скоро.

Кот.

Было письмо от Эммы.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

31 января 1917 г. Москва

<...> В дороге я спал. Сквозь сон слышал, как какой-то начальник станции рассказывал о том, что Пулковская обсерватория разослала по всем железным дорогам теле-

грамму о какой-то небывалой метели, ожидаемой на днях Мешал спать пьяный телеграфист. Всех спрашивал.— Куда я еду? В Волово, в Курск, в Москву? Под Москвой начался буран, но в заносах не стояли, только шли очень медленно...

Дома холодно, неуютно, тускло. Пахнем дымом. Наши мне обрадовались <...>

Правда, у меня теперь ощущение, что Москва — капкан, котел, где варятся и задыхаются тысячи людей в собственной злобе и наглости. Я ехал в трамвае не более $^{1}/_{2}$ часа и успел услышать о том, что кондукторша «подлая дрянь», что кто-то на кого-то «рычит». Две дамы подрались из-за места. На площадке какая-то чуйка плюнула на пальто инженеру. Плюнула и икнула.

Вспомнил о Северянине, о Шенгелли и как-то сразу полюбил их просто и сильно, полюбил не как поэтов, а как людей, чуждых действительности, измученных, прекрасных.

Ведь нужны смелость, безумие, фанатизм, чтобы сохранить теперь свою душу нетронутой. Я думал обо всем этом и все время знал и знаю теперь, что вдали от тебя, маленькой, мне совсем нечем жить. Так тяжело и временами хочется плакать.

Дома Галя мне дала справку адресного стола — Шенгелли, Георгий Аркадьевич, мещанин гор. Минска значился в доме № 8 по Владимирской улице и 12/I-17 года выбыл, не указав адреса.

Я дома напился чаю и поехал к нему. Это за военным госпиталем, на окраине, около Введенских гор. Фабричная улица вся в харчевнях и двухэтажных облезлых домах. № 8 — дом из красного кирпича, весь облупленный — внизу москательная лавочка. Лестница темная, деревянная, пахнет кухней и сыростью. Живут фельдшера, зубные техники, какая-то мелюзга. Мне сказали, что он уехал, куда неизвестно. Но я все-таки найду его. Когда я искал его по скользкой чадной лестнице — я думал о том, что он, должно быть, очень беден, и мне было больно до слез.

Был недавно Романин. Мама говорит, что спросила его, не пойдет ли он куда-нибудь на праздник. Он ответил — «мне не к кому ехать». Вид у него больной, опустившийся.

Пишу вечером. Улицы в темноте, теперь не зажигают фонарей. Холодно. Так больно вдали от тебя,— хорошо

только от мысли, что скоро я опять буду с тобой. Смотри, маленькая, не плачь, напиши сейчас же о себе и будь осторожна. Завтра напишу. Привет Леле и Елене.

Твой *Кот.*

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

1 февраля 1917 г. Москва

Утром уладил все с Университетом. Днем поиски Шенгелли; узнал лишь то, что 19 января он уехал в Минск. Напиши мне, маленькая, вот о чем — стоит ли некоторые стихи посылать Бунину, он ведь гораздо тоньше Г-го, а Горькому я пошлю отрывки из «Зыби». Бунин сейчас в Москве, я узнал его адрес.

Вечером — в Драматическом театре на лекции Максимилиана Волошина «Судьба Верхарна». Того Волошина, которого я читал в Таганроге, из книги которого взял это — «и стих расцветает венком гиацинта холодный, душистый и белый». Завтра напишу об этом подробно. Пока прощай. Я весь замер, я весь в каком-то холодном одиночестве, тоске, потому что далеко от Кроленка. И все думаю о нем, махоньком. Целую. Пиши, не вертись, ничего не посылай.

Твой *Кот*. Леле привет. Елене привет. Если ты осмелилась выйти без позволения старших — погладь за меня кудлатого наглеца.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

2 февраля 1917 г. Москва

Вчера я был в Драматическом театре на лекции Волошина «Судьба Верхарна». Я первый раз в этом театре. Он похож на загородный ресторан; залы с тропическими растениями, ковры, золоченые люстры.

Собралось человек сто. Зал был почти пустой. Был неизменный Вячеслав Иванов. Я влез в один из первых рядов и сидел между мамашей Волошина, седенькой старушкой, и дочерью Бальмонта, девицей с белыми ресницами, пухлой и застывшей. Много длинноволосых поэтов.

Волошин — маленький, толстенький, с рыжей шевелюрой, в пенсне и глухом шелковом жилете. В фойе он сует-

ливый, на сцене неподвижный, с глухим голосом и скупыми жестами.

Читал он хорошо. Говорил о страшном уделе Франции — гибели трехсот поэтов на войне, о смерти величайшего социалиста Жореса, убитого в ресторане за несколько минут до объявления войны, о смерти критика Леметра, который перед смертью внезапно разучился читать и пытался вновь научиться, разбирая по слогам; о Реми де Гурмоне, внезапно потерявшем вкус к искусству, с отвращением закрывавшем прежде любимые книги, убитом этой войной; о художнике «темных видений» старике Редоне, потерявшем всех сыновей, который сказал Волошину,— «Если бы Христос вновь пришел на землю, я бы сам приказал арестовать его», и, наконец, о фатальной смерти Верхарна с отрезанными ногами. Это все — война. Эти смерти — милосердие судьбы, унесшей лучших, чтобы избавить их от мучительного состояния ненависти, разлада и отчаяния.

Потом он говорил о творчестве Верхарна, о первом периоде — пророческой поэзии, отчаяния, предвидения войны в «Вечерах», «Крушениях» и «Черных факелах». «О, вечера, распятые на сводах небосклона». Символ отчаяния Верхарна — Лондон с его трагической красотой, город, где мозг поэта «застывал, как труп».

Второй период. Вера, всепрощение, любовь. Новая красота. Славит золото, пурпур и тело. Природа, ее шумы, призрачные селения человека.

Третий период.— Красота городов, где «пятна ватного света», где «жизнь алкоголем захватана», ночь — зарево меди, «газ мириадный мерцает золотою купиною». К городу несет деревня «сношенное белье своих надежд». В городе «сквозь эшафоты, казни и пожары» куется новая жизнь. В стихах этого периода заговорила испанская кровь Верхарна. Они все черные и золотые.

Четвертый период — благословление всего сущего. Спокойствие, мысль, воля к совершенству. И вдруг война.

Провидец, пророк — Верхарн ослеп. Гражданин заглушил поэта. Вместо ужаса перед совершавшимся и крика о безмерной любви он забыл свое поэтическое служение и написал «Окровавленную Бельгию» — книгу ненависти. Он изменил себе — и это не проходит даром поэту — и поэтому он умер.

Этим он кончил.

Это было вчера вечером. А сегодня праздник, и у меня большая тоска. Ездил к Романину, но не застал его,

вечером был у дяди Коли, обратно приехали на автомобиле.

30/II звонила Маруся Зеленцова. Просила зайти к ней. Был вечером, несмотря на смертельный насморк. Говорил очень мало. Маруся собирается на первой неделе поехать в Ефремов дня на два. Завтра напишу.

Целую. Леле кланяюсь, а еще кланяюсь Елене и всем ефремовским.

Твой *Кот*.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

12 февраля 1917 г. Москва

Кроленок глупый мой, хороший. Как я дико рад тому, что тебе лучше. Еще осталось немного дней, длинных, длинных дней...

Бунину стихи я послал еще до твоего письма. Послал я ему — Залит солнцем торжественный мол,— Дожди засеребрили в саду моем, венчальном,— Мои туманы синие в огнях,— Если падают нежно лепестки молодые,— Безбурное желание давно-давно истлело,— Эй, бубны,— У Ланжерона прибои пели,— Глаза огней,— Старый татарин нам кофе принес, улыбаясь,— Черный парус проходит у мола,— Взять тонкий шкот, дать легкий вольный ход,— Рыбалки проснулись на утренней серой заре,— Золотятся дожди, золотеют прозрачные воды,— Узор путей безвестных и седых,— Ты бродил у прибрежий, брат мой нежный и дальний.— Море сапфирное, мое родное море.

Все это — в «исправленном и дополненном» виде. Исправления пустяковые. Вот они. В «Бубнах» вместо «Пляшите, матросы, пляшите» — будет «Эй, бейте о бубны сплеча» — так нужно по самой «архитектуре» стиха. Впиши эту строчку вместо старой, прочти, и ты увидишь, что это так. Потом, в «старом татарине» — вместо «песни фонтанов пьянили, ласкали меня»,— «Песни фонтанов баюкали плеском меня». В «Море» — вместо «Мои глаза, как солнечные зори, ласкают сны разбуженных ночей» — «Мои глаза, как солнечные зори, горят огнем разбуженных ночей». Вместо «Парча тоски в напевах летних бризов» — «Дыханье вод в напевах летних бризов». Вот и все.

Видишь, каким я стал мелочным, как много пишу о скучных пустяках. Но ведь я хочу, чтобы Кроленок знал... Ты не сердись.

Я поговорю сегодня с Марусенькой о ремингтоне. Пишу

Мертвую зыбь. Привезу с собой, тогда прочтешь. Учись терпению.

В среду, 15-го, иду в «Дом Поленова» на Медынке. Там лекция о «русском писателе». Читает Бунин, участвуют Шмелев, Серафимович, Ал. Толстой, Телешов, Сумбатов, и еще, и еще. Одним словом, вся писательская Москва. Билетов всего триста, вечер «интимный». Приеду, тогда расскажу.

Я читаю Бунина. Прочел «Иудею». И подумал о том, что когда окончится война — первое место, куда мы поедем, будет Иудея, Палестина, Сирия. А поехать туда мы должны непременно. Вот первый попавшийся отрывок из «Иудеи». «Пахло морем. Ливан дышал мглою. Во мгле, как на краю земли, висели два мутных маячных огня. Дальний был красноватый. Я подумал: это Тир или Сидон... И стало жутко».

Маленькая, мне теперь не хочется писать о многом, мне хочется все это рассказать тебе. Так скоро, скоро. Я больше сижу у себя в комнате и пишу. Холодно. Но присылать вещи нет смысла — ведь я скоро приеду.

Был дядя Коля. Нашел в какой-то церквушке, в одном из переулков за Арбатом, диакона с «шаляпинским» басом, увлекается им и все время поет великую ектинью. Рассказывает много интересных вещей о планомерном, систематическом развале. Рассказывал в лицах свой разговор с Литвиновым (его перевели из Таганрога в Люберцы, под Москвой, помощником приемщика на тот же склад). Приеду, тогда расскажу.

Леле передай, что я ей за письмо и за то, что она зовет меня в Ефремов, «страшно» благодарен. Ведь я ее тоже полюбил поющую и добродушную. Только ты не проговорись. Елене привет. И Немчика погладь, «он очень ласковый, только пахнет псиной». Маленькая девчурка.

Кот.

Я послал тебе Сочельник. «Снеговые ночи с синими глазами» и еще одно. Получила ли ты?

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

16 февраля 1917 г. Москва

Вы сидите и коснеете в Ефремове, и мне вас жаль. Вчера я был на лекции о русском писателе,— Анна Ахматова прострелила меня своими египетскими глазами. Сиял лы-

синой и золотом зубов Серафимович с ужасающим, корявым лицом Квазимодо и хмельными глазами, по-английски строг, изыскан и стар был Бунин с глухим голосом и легким хохлацким акцентом. Тяжелый Сумбатов, величественный Телешов, пылкий и грассирующий Потемкин. Маленький неуклюжий старичок с крашеной бородой и блеклыми глазами все потирал руки и что-то тихо говорил голосом Марии Александровны. Это Короленко. И просто одетый, суровый, измученный, с презрительной складкой у губ и умным квадратным лицом Шмелев — самый молодой, резкий и отчеканенный. Изящный, как юноша, Станиславский и Лилина, Бурджалов, Осоргин и другие. Шайка репортеров и газетчиков,— сварливый, глупый, завистливый народ, щеголяющий дешевым цинизмом. Как сказал Потемкин — в публике было «электрическое» настроение. Много шумели.

Но почему-то все это показалось мне отжившим, старым, не волнующим. Для меня были только двое — Бунин и Шмелев. Бунин, спокойный, тонкий, задушевный,— чеканил свои стихи и волновал. У него редкие тонкие руки. Шмелев бросил публике в ответ на жалобы на оскудение литературы — «Каждое общество заслуживает своих писателей. Гения надо заслужить. Прежде чем говорить о нем, надо спросить себя — достойны ли мы иметь гения. Вы — косная масса под новыми сюртуками, вы — трусость, вы — душевная прострация и та человеческая пыль, от которой тошнит в уме. И если придет в Россию гений, то какое отчаянное, потрясающее проклятие он швырнет в лицо России и вам, ее «промотавшимся», оголтелым отцам».

А в публике говорили: «Возмутительно. Написал каких-то жалких два рассказа, изданных универсальной библиотекой за 10 коп., и смеет говорить такие вещи». Одна дама, сидевшая впереди меня, сказала, что «такого господина она бы не впустила в свою гостиную». Короленко обомлел. Как! Как можно! И зашамкал о редком единении в России читателей и писателей. Что вы, помилуйте! Разве можно. А Михайловский, Щедрин, Некрасов? Даже этот вечер — пример единения. Хорошо единение. «Я бы его в свою гостиную не пустила».

И Шмелев ответил о том, как затравили всех русских гениев, затравило общество, обыватель, вся дикая русская жизнь, и крикнул о несмываемом позоре и крови на руках русской критики, задушившей свободную мысль, убившей из-за угла безвестных гениев, которые были бы неизмери-

мо выше *всех* столпов русской литературы. Это подлость. Будьте прокляты вы, русские интеллигенты, с вашей критикой. Черт меня дернул родиться в России с душою и талантом.

Был у меня Р. В связи с ним я был в течение 3—4 часов в полосе катастрофических событий. Когда увидел кольцо — рассердился, что не пригласили его шафером в Слободу. «Ведь я был тогда в Москве, почему не сказали». О тете Кате сказал, что «одна она такая». Когда я сказал, что Вебер теперь думает о гибели Паустовского, он почему-то рассердился и ответил: «Вебер с... с... Его ничто не радует».

Это, должно быть, последнее письмо. Как хорошо, что ты здорова. Как хорошо, что я буду около тебя. Как хорошо — все...

Пишу Зыбь.

Твой *Кот.*

Напиши еще в Москву.

«Бдите, ибо не весте ни дня, ни часа...»

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

<Начало марта> 1917 г.

Две ночи у дяди Коли, почти без сна. За окном мутные пятна фонарей. Холодно, тоскливо. После тревожных дней я остаюсь один со своими думами о Кроленке маленьком и нежном. А Кроленок не пишет.

Был у Маруси Зеленцовой. Она теперь общественная деятельница. Вызвала она меня по экстренному делу — при Московском комиссариате будет издаваться газета, нужны сотрудники.

Вчера выдали мне репортерский билет. А сегодня — весь день в редакции. Редакция в квартире бывшего начальника охранного отделения Мартынова. На окне лежит забытая им во время побега каска. Всюду секретные телефоны. Весь состав редакции — редактор Алмазов, его помощник, секретарь, Марусенька, я и машинистка. Газета носит сухое название «Ведомости Московского комиссариата». Работы очень много. Все в кучу. Пишу статьи, репортирую, корректирую, ругаюсь с Марусенькой. Поступил я временно, до 24-го. После пасхи место за мной. Ре-

дактор почему-то ухватился за меня и уже два раза подбивал меня остаться на пасху, но я непреклонен.

У дверей, всюду стоят караулы. Обстановка революционная.

Был сегодня с Марусей в Совете рабочих и солдатских депутатов. Расскажу, когда приеду. Я дал себе слово с Марусенькой больше никуда не ходить.

Потом был один у Комиссара Временного правительства Кишкина в доме генерал-губернатора. Всюду золото, ковры, портреты. У всех внутренних дверей часовые. Кабинет весь затянут красным сукном. У дверей — караульные офицеры. Кишкин — красивый седой старик, весь в черном. Очень вежлив. Принимал он сотрудников всех московских газет. Все старики, толстые, гривастые, я один среди них — мальчишка. Самому стыдно. Слишком я молод для сотрудника. Только что пришел домой. Устал. Дома разгром. Мама укладывается. И такая тоска по Кроленку, по Ефремову. Пожалуй, в Ефремове живее и глубже идет переворот. Здесь больше сумятицы, больше нелепых слухов. Рождается новое, но пока еще очень громоздкое. Комитеты, комиссии, отделы, союзы, советы, бюро, комиссариаты, секретариаты, организации и прочее и прочее. Поэтому все, что случилось в Ефремове, чище и проще.

Получил письмо от Эммы. Предлагает служить вместе с ним в Харькове за 250 целковых.

Ты видишь, как я плохо стал писать,— это потому, что я немного устал.

Слишком много здесь говорят. И пишущие машинки стучат, как полоумные.

Кроленок, пиши. Когда я уехал от тебя — поблекла революция, из всех революционных комитетов почему-то самым хорошим кажется ефремовский. Дни идут, и я плохо замечаю их.

Целую *Кот*.

Привет Леле.

Несколько новостей для всей ефремовской публики.

Совет Рабочих Депутатов сбавил тон, успокоился и всех, кто призывает не доверять новому правительству, зовет провокаторами.

Москва наводнена газетами, листками, воззваниями. Газетчиков тысячи.

Сегодня по Москве носился таинственный автомобиль и стрелял по патрулям, милиции и зданиям, где помещаются комиссариаты. Патрули стреляли по нем залпами. За-

держали его где-то в Сущевской части. Завтра я буду при допросе арестованных.

Арестованные жандармы сидят в участках. Вчера в Тверском участке они добыли откуда-то оружие и из окон открыли огонь по проходящим солдатам, офицерам и студентам. Всех их перевели в Бутырку.

Образованы 2 следственные комиссии — одна для разбора дел об арестованных, другая по делам о контрреволюционных выступлениях.

Работа быстро налаживается. Заводы пошли. Войска произвели демонстрации перед Советом Раб. Деп. и требовали выдать тех членов, которые противодействуют новому правительству <...>

И, несмотря на все это, я жду, жду напряженно и остро, жду как ребенок, 24-го.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

17 марта 1917 г., ночь

Уже четыре часа ночи. Ночь светлая, влажная. Я медленно шел домой, прошел по Гранатному. Все спит.

Я был в доме генерал-губернатора на заседании Исполнительного комитета. Круглый зал, облицованный белым мрамором. Высокие узкие зеркала. Хрустальные люстры мерцают многоцветными вспышками. На широких мраморных лестницах, в залах, затянутых старинным шелком, у всех дверей — застыли часовые. Когда проходит комиссар правительства с красной гвоздикой в петлице — они бесшумно берут на караул.

В тихих разговорах, в тишине зал, в ярком свете что-то торжественное и новое. Мне отвели место за столом, рядом с президиумом. Старинные кресла красного дерева.

Я сидел, слушал, смотрел и писал. И напротив, в зеркале, сидел, слушал и писал студент с поразительно бледным лицом. И не верилось, что это я.

У всех красное в петлице. У меня тоже. Я слушаю. Как глубоко и страстно идет творческая мысль, воля уже окрепшая. Талантливо и просто решаются запутанные раньше вопросы. Говорят хорошо. Моментами вспыхивают напряжение, крики, но подымается комиссар — седой красивый старик,— и все смолкает.

И я думаю — конвент, французская революция, часовые с красными перевязями, слова о свободе во дворцах,

И не верю, что это Москва. Я пишу. Напряженно следить за многолюдным собранием и записывать — утомляет страшно. Заседание началось в 7 часов вечера, окончилось в три ночи без перерыва. Секретарь шепотом сказал мне, что можно курить. А на улице земля плывет под ногами. И сейчас я устал, буду писать завтра, Кроленок мой ласковый, ласковый. Я признаюсь тебе — я пропустил две речи, забыл записать. Я задумался о Кроленке, я вспомнил чьи-то громадные глаза, и у меня забилось сердце от мысли о том, что я буду у заутрени в тесной, темной ефремовской церкви.

Ел. С. ЗАГОРСКОЙ

25 апреля 1917 г.

Дорогая Елена Степановна. Едим ваши сухари, ветчину, оказавшуюся салом, и вспоминаем Ефремов. Да, теперь не то! Обедаем у толстой дамы в соседнем доме, обедаем, можете себе представить, довольно хорошо. Жарим яичницу. Катя что-то не худеет. Поневоле пришлось поселиться у Катуаров. Катину комнату топят, поэтому в ней сухо и тепло. У Кати нога не болит, конечно, если она не врет. Погода у нас истеричная,— то снег, то дождь, то еще что-нибудь. Оно конечно, тепло, но все же мы будем Вам необычайно признательны, если Вы привезете желтое одеяло.

Настроение в Москве поганое... 1-е мая напоминало похороны жертв революции. Если увидите Д., то передайте привет и скажите, что дня через два стану уже присылать корреспонденцию. Всего хорошего, ждем. Напишите, когда приедете.

Кот.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

25 января 1922 г. Севастополь

Крол, родной. Только на море во время страшного шторма, который перенес «Димитрий» около Тараханкута, я понял, как глупо и даже преступно оставлять друг друга.

Мы должны быть всегда вместе. Ведь мы совершенно одни в этой жизни.

Я, как и все пассажиры «Димитрия», перенес несколько действительно не выдуманно страшных дней. Ночь на пятницу мы простояли на рейде. Ушли только утром. К вечеру в открытом море начался шторм. Ночью он усилился. Утром весь пароход трещал и гудел от ветра и нырял в пену по самую палубу. Когда я вышел из каюты, я сразу ничего не понял — выше мачт, уходя в небо, шли водяные горы, и «Димитрий» едва карабкался на них, черпая бортами воду. Капитан говорил потом, что волны были океанские, каких он на Черном море не запомнит. Ветер по морскому выражению достиг 11 баллов — т. е. был «полный ураган». Ходить по палубе было нельзя. Вода застывала на бортах, и лед нарастал глыбами. Но мы все-таки шли — $^1/_2$ мили в час. К вечеру наступил момент, когда машина перестала выгребать, и пароход стало сносить и заливать. Было темно, все ревело так, что голосов не было слышно, волны перекатывали через палубу, и капитан дал в Севастополь радио о гибели. Ты не можешь, маленький человечек, понять, какую тоску я пережил в течение этого часа. Пассажиры плакали, молились, женщины выли от ужаса. Я сдерживал себя и думал только об одном, о Кроле, и думал о том, что Крол должен молиться обо мне, и все повторял про себя — Крол, молись, тогда все пройдет.

Нос дал течь и стал садиться в воду. Я ушел в каюту, чтобы не слышать дикого морского рева, и ждал, закрыв глаза, и думал о Кроле. И случилось чудо. Пришел матрос и сказал, что машину довели до крайнего напряжения и мы идем — $^1/_4$ мили в час. Так, карабкаясь, ежеминутно рискуя взорвать ветхую, дырявую машину, мы ночью подошли к Тараханкуту. Здесь волна у берега стала слабее, и «Димитрий» вошел в бухту Караджи, к северу от маяка — отстаиваться. Стояли там два дня. Потом пошли к Евпатории, шли до ночи все время в сплошном шторме и густом непроницаемом тумане. Ночью бросили якорь в открытом море. Качало сильно.

Утром прошли еще 10 миль и снова стали — над морем шли испарения (я это вижу впервые — все море кипит струйками пара, как вода в гигантском котле). Простояли еще ночь. Сегодня утром запросили Севастополь по радио,

и он ответил, что в 2 милях от того места, где мы остановились, никакого тумана нет. Мы пошли наугад, и здесь я видел второе чудо — за мысом Лукулл туман сразу словно бритвой срезало, шторм и ветер стихли в течение 2 минут, жарко полилось солнце и в необычайно чистом воздухе четко и радостно встали Крымские горы — Чатырдаг и Демерджи.

К концу шторма не хватило пресной воды, масса пассажиров отморозила себе ноги, почти у всех вышли все продукты (у меня все же остались), и на пароходе начался форменный голод. К Севастополю мы подходили словно к сказочному городу. С моря он необычайно красив. Здесь тепло. Райкомвод дал мне комнату на Садовой, 12, недалеко, почти рядом с Соборной, где ты жила. Я бродил по знакомым местам, зашел во двор (старуха Чуева жива), и все время мне было так хорошо и грустно, и я думал о моем зайчишке, вспоминал 16 год.

Послезавтра еду в Ялту на автомобиле. Вернусь к половине февраля. Готовься к этому времени к отъезду,— мы поедем на «Веге» — это спокойно и хорошо. А на «Димитрии» я дал себе зарок не ездить — грязно, пароход был набит битком, и в каюте (единственной) нас было 10 человек (вместо 4). Вши, рвота, спанье на корзинах — все это только на «Димитрии». Ехал я в компании Абезгуза и Зеленко и 7 очень славных моряков — о них я расскажу подробно. Послал с пути 2 радио в «Моряк» — получили ли? Почтение ко мне всюду необыкновенное.

Как уютен и солнечен Севастополь. Как тепло, ярко, южно! Уедем мы непременно. Все это страшно освежает.

Я здоров. Можешь гордиться. Твой Кот оказался хорошим моряком. Меня совсем не укачивает. Все пассажиры и часть команды, по выражению капитана, «травили якоря»,— я же ничего не чувствовал. Хотелось только есть.

Здесь дороговизна. Все, что нужно, я сделаю. Кое-что уже узнал.

Заходи в редакцию, береги себя, не голодай, жди меня и почаще обо мне думай... Кланяйся всем знакомым. Привет Фраерману и Коле. Пиши мне с каждым пароходом. Из Ялты снова напишу. Посылаю материал в редакцию. Дело с корреспондентами и подпиской налаживается.

Целую. Твой *Кот*.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

11 февраля 1922 г. Сухум

Крол, родной, маленький. Прочти внимательно это письмо и сделай все, что я пишу, спокойно и не спеша.

Последнее письмо я послал тебе из Туапсе, с «Димитрием». На следующее утро я проснулся от ослепительного солнца. Мы подходили к Сухуму. Я вышел на палубу, и у меня закружилась голова — такой красоты я еще не видел. Было жаркое утро, синь, блеск, и маленький город весь тонул в цветущей громадными гроздьями желтой мимозе, в громадных пальмах и эвкалиптах. А за городом — горы в сосновых лесах и ослепительная снеговая цепь Кавказа. Я был в летнем пальто, но было жарко.

На пароходе встретил меня Герман-Евтушенко, на пристани — все остальные. Радости их не было границ. Когда я сошел на берег, где одуряюще пахнет мимозой и чайными деревьями (здесь уже цветут азалии, розы, цикламены, фиалки), из десятков духанов и лавчонок — фруктами и вином,— я едва сдержал слезы от острой тоски, от того, что здесь нет тебя.

В последние дни я так стосковался, что малейшая мысль о тебе вызывает у меня слезы. Такой тоски, Крол, у меня не было еще никогда.

В Сухуме выяснилось, что если я сейчас же не останусь и не начну работать, то не только будет потеряно место в союзе кооперативов Абхазии, но и вообще пропадет всякая возможность нашего переезда сюда. Я колебался недолго и остался. И вот почему. Я присмотрелся, все взвесил, и мне ясно, что если мы хотим спасти себя от голода, изнурительной работы и вечных дум о завтрашнем дне,— то единственное, что нужно сделать,— это остаться в Сухуме. Это какой-то благословенный угол. Ты здесь отдохнешь душой. Работать тебе совершенно не падо. Вот тебе маленький пример. В день моего приезда, через два часа я уже получил первый паек — 3 фунта белого чудесного хлеба, прекрасный обед, вино. Г-в и И-ых ты не узнаешь. Г. стал похож на Варламова — толстый, добродушный. Все они помолодели на 10 лет.

Дальше, чтобы не разбрасываться, буду писать по порядку. Я уже начал работать в союзе кооперативов Абха-

зии (кооператив, попасть в который мечтают все). Паек выдают такой, что денег на жизнь не нужно. По крайней мере, и Г-ны и И-вы, хотя и живут по-старому, по-ефремовски, не тратят ни одной копейки. Несмотря на то, что я работаю всего два дня, я уже получил, не считая пайковых обедов, пуд чудесного древесного угля, 3 ф. масла, 6 фунтов сахару, 25 ф. керосина и каждый день по 3 фунта белого хлеба. В паек входит еще рис, табак, спички, кофе (настоящее мокко), мясо, вино, топливо и ряд других продуктов. Все это в больших количествах. Я получаю два пайка (на тебя тоже), но твой паек мне советуют пока не брать, а взять перед твоим приездом, потому что его «некуда девать». Кроме того, для служащих (их всего 120 человек) есть своя лавка, где очень дешево можно закупить все — и чулки, и белье, и фрукты, и пирожные, и колбасы. Приедешь — тогда я тебе все расскажу. А на восточном базаре все тонет в фруктах, вине и хлебе. Фунт яблок стоит 10 000 руб., и каких яблок. Масса апельсинов (10 000 фунт.), орехов, гранат, лимонов.

Когда я подумаю, что тебе совершенно не надо будет работать,— я радуюсь, как ребенок.

Кроме пайка, я получаю около 1 000 000 деньгами (по одесским ценам это равно 10—12 миллионам рублей). Кроме того, есть большая возможность побочного легкого заработка. Служба легкая и хорошая (в кооперативе). Председатель союза предлагает мне выписать бурку, но я подожду до твоего приезда. Теперь о комнате. Комнату найти нелегко, но к твоему приезду я найду. Уже есть одна, на горе Чернявского. Что такое гора Чернявского, можно понять, только увидев ее. В саду, около комнаты растут громадные кактусы, бананы и мандарины. За окнами — море (здесь необычайные закаты) и синие громады гор. Поют арбы, и по улицам ходят страшные, но безобидные, как дети, абхазцы в бурках, с головами, повязанными черными башлыками.

Здесь только тишина, как в Ефремове. Проживем одиноко до июля, августа, а потом в Москву. Отдохнешь ты очень. Здесь море густое, душистое, всюду веет какой-то древностью, по вечерам виден анатолийский берег.

Одно меня мучит, из-за чего я едва не уехал,— это то, что тебе придется одной уезжать. В дальнейшем я напишу, как тебе устроить все с отъездом и ликвидироваться. Как только кончишь читать письмо — сейчас же начинай действовать <...>

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

19 февраля 1922 г. Сухум

Крол, родной мой, далекий. Если бы ты могла знать, как мучительно проходят все мои последние дни. Я не знаю, что со мной творится. Вчера вечером я ночевал у Ивановых и три раза просыпался ночью в слезах. Никогда со мной этого не было. Я ищу одиночества, не нахожу места от тоски и временами плачу, как маленький ребенок. Я стал суеверен до глупости. Вчера уронил свою трубку, разбил ее и до сих пор не могу отделаться от тревоги.

Пишу это письмо с безумной надеждой, что оно застанет тебя в Одессе. Вчера у меня было такое состояние, что я хотел послать тебе телеграмму, чтобы ты оставалась в Одессе, что я вернусь первым же пароходом.

Теперь слушай. Я постараюсь логично и спокойно передать все, о чем я думаю дни и ночи здесь, думаю мучительно и никак не могу решить. Может быть, это влияние здешней тропической природы. Уже несколько дней идут тяжелые тропические дожди, и все затянуто сыростью. Не знаю, может быть, от этого.

Если бы я знал, что в Одессе, какова там жизнь, голодаете ли вы все, что у тебя с магазинами, не устраиваешь ли ты свое дело, о котором мечтала,— я бы легче все решил.

Теперь о Сухуме.

Первое впечатление было, конечно, обманчиво. Таковы здешние места.

Я перечислю тебе плюсы и минусы Сухума, все то, что открылось теперь и что я передумал.

Плюсы. Красота (тропическая зелень, горы), тепло, пока довольно сытно. Во всяком случае первое время ты можешь отдохнуть и не работать.

Минусы. Красота чужая, ее хорошо посмотреть, пожить здесь месяц-два, зная, что уедешь (наверное) отсюда. Во время всех моих скитаний (теперешних, последних) я понял, что единственный город, родной нам по душе,— Москва, рязанские деревни, все такое милое и родное. Тоска у меня по Москве страшная. Я все колеблюсь — может быть, лучше приехать сюда, если там такой страшный голод, как говорят здесь. Но не лежит мое сердце к Сухуму. А вместе с тем я все думаю о том, как ты устала, думаю, что, может быть, единственное спасение — Сухум. Ивановы и Германы относятся ко всему как-то просто, я

же не могу. Порой настроение такое, что хоть руки на себя накладывай. Я ведь знаю, что для переезда в Сухум мы реализуем все наше последнее, а чтобы вырваться отсюда на север — у нас ничего не останется. Реши ты, у тебя есть чутье и верный глаз. Решая, думай только о себе. Для меня нужно и хорошо только то, что нужно и хорошо для тебя. Пишу я урывками и плачу над этими строчками, как ребенок. Я совсем болен — нервы дрожат, как струны.

Целую. *Кот.*

Боюсь очень, что письмо опоздает и все будет кончено с Одессой.

Если решишь остаться и тебе будет неприятно говорить о моих колебаниях — скажи всем, что у меня, мол, тропическая лихорадка и оставаться мне в Сухуме нельзя, для меня это гибельно. Поэтому я решил вернуться. Между прочим, здесь сильная малярия летом.

Целую. *Кот.*

Я все не могу забыть туманный день в такой милой теперь Одессе, когда ты провожала меня и долго махала шарфом.

P. S. Телеграмму нужно адресовать — Абсоюз. Паустовскому. От тебя с 19/I — ни строчки. Тревога у меня страшная.

Н. Г. ВЫСОЧАНСКОМУ

21 июля 1922 г. Сухум-Кале, Абхазия

Дорогой дядя Коля. Пишу тебе из русских тропиков, куда нас загнал голод. Не знаю, в Москве ли ты. Чувство у меня такое, что мы не виделись десятки лет, хотя и прошло только четыре года.

Через месяц увидимся. Мы с Катей едем в Москву. Пора. Москва немного пугает своей перегруженностью, но дальше скитаться по России нет ни сил, ни смысла. Голод идет на убыль, возрождается, хотя и очень убого, культурная жизнь, и снова тянет в Москву.

Пережили мы столько, что хватит лет на 10. Этой зимой пришлось бежать из Одессы в благословенную Абхазию, наиболее нетронутый уголок Кавказа <...> Здесь очень красиво, это один из немногих уголков Южной Европы с

чисто тропическим климатом. За нашими окнами — пальмовый лес по горам, заросли бамбука и море, а в саду цветут кактусы, олеандры, магнолии, агавы и прочая чертовщина <...>

Из Москвы в мае мне надо будет ненадолго уехать в Одессу — сдать экзамен на штурмана дальнего плавания. Я не думаю делать из этого свою профессию, но это даст мне возможность иногда плавать, главным образом за границу. В главную же свою работу — чисто литературную — я думаю как раз в Москве уйти с головой.

У меня к тебе большая просьба — напиши, если можешь, сейчас же (письмо из Москвы идет сюда 2 недели и может меня не застать) вкратце твое впечатление о Москве, о московской жизни, делах и комнатном кризисе.

Катя по дороге в Москву заедет недели на три к родным, я же проеду прямо.

Напиши, что тебе известно о наших. Вот уже давно я пишу им, но не получаю ответа. О Проскурах тоже ни слуху ни духу.

Буду ждать твоего письма. Когда приеду — поговорим обо всем. Хотелось бы очень повидать тебя — постоянное одиночество и шатание среди чужих людей очень уж измучило.

Помимо прочих соображений уезжать отсюда мне нужно поскорее. Мы живем высоко в горах, и от этого у меня развилась пустяковая, но опасная в здешних условиях болезнь — энфизема легких. Климат здесь очень тяжел для европейцев. Вот уже две недели стоит жара, доходящая до 56 градусов, духота одуряющая, чувствуешь себя как в парилке. А внизу — поголовная малярия, от которой русские мрут, как мухи. Этот климат, когда воздух втягиваешь, словно сквозь повязку из ваты <...>

М. Г. ПАУСТОВСКОЙ

17 декабря 1923 г. Москва

Дорогая мама. Прости, что так долго не писал. Все это время был в разъездах и, кроме того, было очень много возни с комнатой. Теперь я окончательно устроился, материально окреп и буду регулярно посылать тебе денег,— пока посылаю червонец, в начале января пришлю еще. Думаю, к весне все у меня сложится так, как я бы хотел, и тогда я смогу помочь тебе по-настоящему.

О том, как прошли эти три года (после Киева), я вкратце писал. В Одессе жилось очень скверно, был голод, холод (у нас в комнате зимой было 2—3 градуса мороза), приходилось и мне и Кате очень много работать. Но физически это нас не подорвало. Сейчас я очень посвежел и выгляжу гораздо моложе и лучше, чем все мои сверстники. Может быть, это объясняется тем, что уже давно я стал закалять себя, обливаюсь каждый день холодной водой, одеваюсь тепло, но очень легко, в море (в Сухуме и Батуме) я купался круглый год без перерыва. В результате я окреп и забыл о простудах и насморках.

Из Одессы пришлось бежать в Сухум от голода, в январе 22 года. Я уехал вперед, на разведку, и десять дней наш пароход носило штормом по Черному морю, занесло в Босфор, мы уже дали радио о гибели, но, в конце концов, все обошлось.

В Сухуме я устроился быстро, хотя и не на газетную работу (в Одессе я в последнее время редактировал морскую газету «Моряк»). Сухум — места фантастические, русские тропики, жили мы на даче, окруженной пальмами, кактусами, бамбуком. На пасху угощали гостей апельсинами из своего сада, рвали их прямо с деревьев. Из Сухума часто ходили пешком в Новый Афон, Дранды, на главный хребет. Из Сухума я решил возвращаться в Москву, но так как не было денег, то пришлось добираться постепенно, кружным путем,— сначала в Батум, потом в Тифлис, а оттуда в Москву. В Батуме прожили немного, месяцев 5—6. Я работал в местной газете. Было много интересного, нового, прекрасного материала для наблюдений, но все испортила тропическая лихорадка, которой сначала заболела Катя, а потом и я. Первые несколько дней, пока мы не устроились в городе, мы жили у знакомых в турецком городке Барцханы (в 2 верстах от Батума), среди кукурузных заболоченных полей, по ночам под окнами стаями выли шакалы и шла непрерывная пальба,— две большие мусульманские семьи поссорились и по ночам обстреливали друг друга чуть ли не пулеметным огнем.

Тропическая лихорадка сильно изнурила и Катю и меня. В Тифлисе она прошла, но месяца через три возобновилась с еще большей силой, особенно у Кати. Припадки с жаром до 42° перемежались у нее через день.

В Тифлисе я редактировал большую газету, жили мы сравнительно хорошо. Почти каждый день у нас бывал Гюль-Назаров (ты его должна помнить). Из Тифлиса я ездил в Баку, в Муганскую степь, в Армению (Алексан-

дрополь, Эривань, Джульфу) и в Персию (Тавриз). Впечатление от этой поездки у меня осталось громадное, на всю жизнь. Особенно поразил меня Арарат — это действительно что-то сказочное, непередаваемое.

В Персии мы чуть не погибли от пустякового и смешного случая,— в городе Маку (на границе Курдистана) мы сидели в чайхане (кофейная) с глинобитными стенами и мирно пили кофе. Вдруг стены со страшным треском обрушились, мы едва выбрались из-под развалин, со страшными криками и гамом к чайхане сбежался весь город. Мы долго не могли понять в чем дело, потом выяснилось, что об угол чайханы почесался чесоточный верблюд и стены пе выдержали — рухнули.

Из Тифлиса мы проехали в рязанскую деревню, к родным Кати,— поправиться и отдохнуть. Только в Рязани нас окончательно бросила лихорадка.

Я уехал в Москву устраиваться. Первое время было довольно трудно. Теперь я работаю в двух журналах и газете, где редактирую общий и литературный отдел. Кроме того, работаю, но случайно в нескольких других журналах.

За последние годы (Киев — Одесса — Тифлис) я довольно много написал чисто художественных вещей и решил этой зимой начать всерьез печататься. Сначала я отдал мелочь в журналы. На днях, между прочим, будет мой рассказ в «Красной ниве» (я тебе пришлю и, кроме того, пришлю кое-что уже напечатанное в Москве и Тифлисе — надо собрать). На рождество еду в Петроград для окончательных переговоров с издательством «Петроград» об издании больших вещей (вероятно, выйдет 2—3 книги). Предварительные переговоры я уже веду.

Часто приходится сталкиваться и поддерживать связь с новыми писателями (Пильняк, Яковлев, Мандельштам, Ал. Толстой и др.). То, что я напишу тебе дальше, я не хотел бы, чтобы знали Проскуры и вообще кто-либо, кроме тебя и Гали. Дело в том, что все, кто читал мои вещи в рукописях, а также редакции, куда я сдаю их в печать, говорят, что помимо их «поразительного, красочного» стиля, помимо богатства образов они очень глубоки по содержанию <...> Я не люблю говорить об этом и пишу это только тебе, чтобы ты поняла, чем отчасти вызваны скитанья, и не сердилась на меня за то, что я живу, может быть, не так, как ты хотела бы.

Я смотрю на самого себя, быть может, немного странно с общепринятой точки зрения. Я думаю, что если мне правда дан талант (а это я чувствую), то я должен отдать

ему в жертву все,— и себя, и всю свою жизнь, чтобы не зарыть его в землю, дать ему расцвести полным цветом и оставить после себя хотя бы и небольшой, но все же след в жизни. Поэтому теперь я много работаю, пишу, много скитался, изучал жизнь, входил в жизнь людей самых различных общественных слоев.

В этих скитаньях я физически не мог поддерживать связь с тобой, хотя это очень мучило и мучит и сейчас. Но теперь мне надо подождать, привести все в порядок, отстояться, и, я думаю, очень скоро я смогу приехать в Киев...

Живу я сейчас в Пушкине, в 20 верстах от Москвы, в зимней даче. Вокруг лес, снега, тишина. Работать здесь — прекрасно. Утомляют только поездки в город. В городе я не нашел комнаты. Кроме того, платить по 10 червонцев за комнату я не могу, а дешевле в Москве не найти...

Уже поздно, три часа ночи, надо кончать. Скоро опять напишу. Знаю, что тебе тяжело очень, но до сих пор и мне было немногим легче. Теперь все проясняется, и я смогу помочь тебе и, может быть, скоро избавить тебя и от этой проклятой зависимости от других и от труда. Как Галя? Напиши все подробно, не сердись на меня и Катю. Целую крепко тебя и Галю. Катя целует.

Твой *Котик*.

М. Г. ПАУСТОВСКОЙ

2 апреля 1924 г. Москва

Дорогая мама и Галя. Вчера муж Маруси передал мне твое письмо. Он долго искал меня, т. к. я работаю уже не в «На Вахте», а в Росс. Телеграфном агентстве (Роста) вечерним редактором. Эта работа и легче и удобнее,— весь день у меня свободен, и работаю я от 5 до 9 вечера <...>

Писал ли я тебе о том, что я с Катей ездил в Петроград и мы провели там три дня вместе с Эммой Шмуклером. У него очень славная жена, он, когда увидел меня, онемел от изумления и восторга. Он сильно возмужал, живет неважно, работает у своего дядюшки, который его страшно эксплуатирует.

Прислать своих вещей с мужем Маруси как раз сейчас не могу. Пришлю через несколько дней. Дело в том, что у меня они в одном экземпляре. Я достану несколько экземпляров и тогда пришлю.

Прости, что не присылаю денег. Но пока еще это трудно. За годы скитаний у нас постепенно пропали все вещи, и в Москве пришлось снова одеваться и оборудоваться.

Катя на днях напишет. Она начала сотрудничать в берлинской газете «Накануне» — московским корреспондентом и потому находится в восторге.

Целую тебя и Галю. Пиши.

Твой *Котик*.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

8 июля 1925 г. Одесса

Кролик, махонький. Нижний Днепр — чудесное место. Розовые степи, ослепительные пески, богатые деревни, все пристани, пароходы и баржи завалены вишней и черешней, в Херсоне весь порт заставлен корзинами с вишней, пароходы на Одессу берут вишню чуть ли не в машину, по палубам нельзя пройти,— они липкие от вишневого сока. Какой-то вишенный потоп, народное бедствие. Везут эти вишни чудовищно-толстые торговки с засученными рукавами,— «тети», миллионерши, которые ругают капитанов, распоряжаются на пароходах, как у себя в лавке, и терроризируют пассажиров.

На Нижнем Днепре — в Каховке, Лепетихе, Никополе — сохранилась еще шевченковская Малороссия — дивчата по вечерам поют, парубки танцуют, народ богатый, ласковый и очень веселый. Алексей Николаевич хохочет без конца. Бабы-торговки его не понимают, он не понимает их. Особенно его смешит, что «кувшин» здесь называют «глэчиком».

В Херсоне была жара в 332 градуса, мы обедали в какой-то столовой, ели борщ, вареники с вишнями, отбивные котлеты, пили квас, черное пиво и закончили мороженым и за все это заплатили по 50 копеек. Из Херсона в Одессу шли на «Желябове». За Очаковом была качка. Алексей Николаевич не укачивается.

В Одессе остановились у Аренберга (семья на даче). За три дня загорели страшно, я весь коричневый. В Одессе я умышленно никуда не хожу, чтобы не уставать. Видел Багрицкого и Колю. Ловил сегодня бычков на 9-ой станции, на старом камне. Поймал 20 штук.

Море яркое, дни солнечные, жара тропическая. Едим страшно много. Я посвежел.

В Крым отсюда поедем на «Пестеле».

Почему ты не написала в Одессу? Приехала ли Саша. Отдай, ради бога, Матрешку, а то она вечно лазит под ноги. Береги девочку, она будет смешная. Обо мне не тревожься. Ал. Ник. очень хороший попутчик.

Целую. *Кот.*

Написала ли ты мне в Севастополь? Багрицкий спел мне песенку старых евреев с Молдаванки, я ее записал, ужасно смешная.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

27 июля 1925 г. Батуми

Крол, мохнатый. Приехали в свой конечный пункт — Батум и застряли, как в мышеловке. Идут ливни со шквалами и ураганами, все реки вышли из берегов, на море — жестокий шторм. Пароходы не идут, путь размыт, поезда тоже не идут, и я не знаю, когда ты получишь это письмо. Должно быть, на день-два раньше моего возвращения. Отсюда едем прямо в Москву и будем дома числа 4—5 августа. Я очень соскучился, с радостью думаю о Москве. Больше без Крола ездить не буду,— очень мне плохо без зайца и девочки. До сих пор я получил от тебя только одну телеграмму в Сухуме, которую ты послала 16 июля, получил я ее только 21 или 22-го. Так «хорошо» работает абхазский телеграф. Беспокоюсь очень и с каждым днем все сильней, боюсь даже всяких примет <...>

По пути в Батум <...> налетел ураган с ливнем, пароход («Севастополь») положило на борт, сорвало все тенты, на палубу хлынула вода, и мы уже собрались умирать, но через 10 минут все окончилось благополучно.

Живем в редакции «Трудового Батума». Спим на столах. Я почернел, как кочегар, несмотря ни на какую погоду, купаюсь в море. Море, как всегда, прекрасно. По утрам сидим в турецких кофейнях, я наблюдаю турок и окончательно убедился, что во мне есть турецкая кровь. Турки такие же ленивые, созерцательные и добрые, как и я. Вот видишь.

На пляжах и в городе я больше смотрю на детей, чем на взрослых, смотрю с каким-то новым, необъяснимым чувством. Временами они бывают трогательны до слез.

Когда вернусь, слегка переделаю все свои вещи, в которых есть Сухум и Батум. Эта поездка мне очень много дала, гораздо больше прошлогодней.

Напечатана ли «Лихорадка»? Здесь в газете меня встретили очень хорошо, прибежали наборщики, чтобы на меня посмотреть, хотели устроить выпивку, но я удрал. За все время мы выпили только бутылку вина, жара дикая, и вино почти все кислое, пахнет уксусом и бурдюком.

Сейчас ливень меньше. Говорят, что завтра он пройдет и придут поезда и пароходы. Денег у меня осталось еще достаточно, несмотря на то, что Ал. Ник. наполовину перешел на мое содержание. Он хороший малый <...>

С дороги еще напишу. Целую. Жди меня скоро, не таращь глазища. Выгнала ли ты Матрешку с котятами?

Твой *Кот*.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

5 августа 1925 г.

Кролик, мохнатый. Все время у меня какая-то большая радость сменяется большой тревогой за тебя и малыша и снова радостью. Будь спокойной и ничего не выдумывай, малыш худенький, но, очевидно, крепкий, я ведь тоже худой, но крепкий...

Хочется очень увидеть тебя, но не пускают. Лежи смирно, чем дольше пролежишь, тем лучше. Не спеши выходить.

Не знаю, как и благодарить Сашу. Без нее было бы очень трудно. В РОСТе я начну работать с 7-го, а может быть и позже. Работать много придется только первый месяц, пока не вернется из отпуска Розвал, а потом все войдет в колею. Когда малыш приедет домой, будем держать его почти весь день на воздухе — пусть крепнет. В своих последних письмах из Сухума я сознательно не писал о малыше — боялся. Вчера о малыше узнал Алексей Николаевич и очень много и хорошо улыбался. Вернулись мы вместе, так же как и всю дорогу провели вместе. Эта поездка дала мне очень много, гораздо больше прошлогодней.

С рождением малыша совпала еще одна, но уже маленькая радость — пришли «Сибирские огни» с «Лихорадкой». Я еще не видел книгу, сегодня достану и завтра пришлю

тебе. Те, кто видел, в частности Мускатблит, говорят, что она занимает $1^1/_2$ листа, значит — пустили без сокращений. Мускат в восторге. Этой осенью и зимой ты будешь возиться с малышом, а я буду возиться с малышом и со своими книгами, а весной надо повезти малыша на юг, в Крым, к морю. Он еще, должно быть, глупый малый и только таращит глаза. Брови у него вырастут, а нос у них у всех в это время одинаковый. Написать ли маме о том, что родился малыш? Или потом?

Сейчас еду на почтамт, получу деньги (25 р.), пришла вторичная повестка, оттуда в РОСТу, где получу жалованье. Эти 25 р., очевидно, из Моряка. На днях получу за «Лихорадку». Так что с деньгами все хорошо. Совестно, что я ничем не могу помочь Саше, живу барином, а она все делает. Напиши мне поподробнее. Не вертись, ты ведь страшная вертушка. Не знаю, что и делать с Матрешкой. Отдал ее Ал. Ник., пусть живет у Рудневых (если возьмут такую лахудру). А она все время лезет ко мне и тычет мордой в щеку.

Целую. Пиши. Твой *Кот.*

Я внешне очень спокоен, и Саша никак не может сообразить — рад ли я мальчишке или огорчен, что не девочка.

М. Г. ПАУСТОВСКОЙ

19 августа 1925 г. Москва

Дорогая мама. У меня 2-го августа родился сын, у тебя внук, а у Гали племянник. Мальчик маленький, но крепкий, назвали мы его Вадимом (в память Димы). Он очень похож на меня, отчасти на Диму. От Кати у него только брови, свежий цвет лица и независимый нрав. Возни с ним порядочно, но и радости много. Катя вся ушла в малыша,— почти не спит вот уже неделю.

Роды были тяжелые, пришлось делать несколько разрезов, Катя потеряла много крови, но теперь оправляется. С апреля я очень много работал с 9 утра до 12 веч.,— надо было собрать денег на малыша, потом ездил в командировку на Северный Кавказ и в Закавказье, вернулся лишь недавно. Писать было очень трудно, в Москве месяцы идут, как дни и часы, как недели. Пишу я мало, но это не

значит, что ты должна сердиться и не писать. Пишу мало еще и потому, что здесь в Москве вся жизнь идет по часам, по-американски и порядочно утомляет. Теперь я работаю гораздо меньше, и у меня остается больше свободного времени для своей работы, и я могу писать чаще.

В декабре будет готов дом, в котором у нас будет две комнаты, и в конце декабря или в начале января ты с Галей переедешь в Москву. Ты всегда боишься быть обузой,— вот нарочно и родили тебе внука, ты будешь наставлять Катю, как с ним обращаться, а то Катя страшно неопытна и теряется от каждого его вопля.

Так что твои опасения об обузе отпадают. Конечно, об этих твоих опасениях «быть обузой» я не говорю серьезно, т. к. хотя я и очень скверный сын (внешне), но я давно, очень давно, так же как и Катя, думаю и готовлюсь к тому, чтобы ты переехала к нам, отдохнула около нас, чтобы тебе наконец можно было бы совсем не думать о завтрашнем дне и не работать.

Два раза я собирался в Киев, но оба раза меня задерживали в Москве.

Относительно переезда в Москву все решено окончательно и никаким дальнейшим «дискуссиям» не подлежит. Если почему-либо ты не захочешь жить в двух комнатах с нами, тогда ты с Галей будешь жить в нашей теперешней комнате (тихой, теплой и удобной, но небольшой).

В смысле материальном беспокоиться тебе совсем нечего. С октября я буду зарабатывать около 300 рублей, работая по 5 часов в сутки (так мне повезло), а этого нам на четверых за глаза хватит. Кроме того, я получаю сносный гонорар (правда, не регулярный) за статьи.

Катя на днях напишет, как только придет немпожко в себя.

Целую тебя и Галю крепко. Привет от Кати.

Твой *Котик.*

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

4 июня 1926 г. Москва

Крол, родной. Получил сегодня твое первое письмо. Очень мне больно за тебя,— опять приходится метаться <...>

Как Димусик, здоров ли? Как он доехал? Хорошо ли ему в Богове? Напиши все подробно <...> Был у Лежне-

ва. Этикетки он еще не читал, прочтет к 8-му. Асеев сам взял у меня «Этикетки» для издательства «Мол. гвардии» (прислал ко мне Гехта за рассказом в один лист, я дал «Этикетки») так, что Этикетки пойдут или в «Нови» (через Лежнева), или в «Мол. гв.» (отдельной книжкой) через Асеева. От «Огонька» деньги надеюсь получить к отъезду.

Сейчас отделал первые три главы «Мертвой зыби» («Старый Оскар», «Мысли о творчестве» и «Пакость» (о смерти Оскара), отнесу их завтра в «30 дней» Регинину.

Квартиру я прибрал, полы горят. Шубу твою сдал. Костюм, новый шарф, все шляпы, все ценные твои вещи, меха и белье сложил в желтый чемодан и отнес к Фраерману, т. к. у них всегда дома бабушка и гораздо безопаспее. Обедаю в столовой (в Столешниковом пер.).

Очень тоскливо без Крола и без Димусика. Стоит жара, очень пыльно, душно, нечем дышать. Относительно Г.— держись особняком, не давай денег. Это — штуки, очевидно, система. Он ко мне не ходит.

Очень многие расспрашивают о Ефремове. Поблагодари от меня Гусевых. Я ему напишу отдельно.

Не скучай, не волнуйся. Как река? Сегодня вечером напишу снова. Не писал так долго, т. к. все время были дела (литер., комнатные). Сейчас почти все переделал и буду все свободное время писать. Поцелуй глупого гражданина. Целую. Пиши.

Твой *Кот.*

Малину Мальвине отнес. Гоф-н у меня не бывает.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

9 июня 1926 г. Москва

Кролик, родной. Получил твои письма (три), и сейчас у меня на душе спокойно. Сегодня вечером или завтра утром отправлю Димусику апельсины, лимоны и яблоки. Получила ли деньги? <...> Гофман собирается ехать 15-го. Я хотел приехать в четверг (праздник), но с 1-го июня повысили на 30% железнодорожный тариф, и поездка на два дня обошлась бы очень дорого.

Если у Шумского хорошо, то бери. Если же можно не менять дачу (чтобы опять не возиться с переездом), то лучше остаться у Г. Вс., тем более что писать я буду в

саду, а не в комнате. Только Синявского положить будет некуда. Собирается в Богово еще и Алексей Николаевич — рисовать, но вряд ли поедет.

Я заплатил за квартиру, свет, купил американский замок, взял у портного брюки и пальто и починил свои белые туфли,— видишь, как много. <...>

Литературные дела пока в прежнем положении. Лежнев даст ответ в пятницу (11-го). Отдал переписывать для Регинина. Почти каждый день бывает Гехт. Он предлагает мне войти в кружок писателей (Гехт, Асеев, Катаев, Кипен, Эренбург, Югов и я) для того, чтобы самим начать издавать свои книги.

Издательства лопаются, в связи с режимом экономии почти прекратился выпуск художественных вещей,— издают только учебники и политическую литературу.

Ты знаешь, 7-го на рассвете на Тверском бульваре застрелился Соболь. Третьего дня его хоронили. Он оставил письмо, в котором пишет, что настоящая литература сейчас не нужна, ее не печатают, лгать же и подхалимничать он не хочет, голодать тоже не хочет. Смерть его очень взволновала всю Москву (литературную). В общем, тяжело.

<...> В воскресенье ездил на ростовскую дачу, весь день лежал на солнце у реки, читал, хорошо загорел. Жду первого. Готовлю удочки. Напиши мне, какая рыба водится в Мече, чтобы я знал, какие снасти брать с собой.

Стосковался я очень. Хорошо, что осталось немного, всего 20 дней. Как ты? Посвежела ли и стала ли шумная? Димусик смешной, боится индюшат. Я его часто вспоминаю, уж больно он трогательный человечек.

У меня уже два дня ночует Мрозовский,— Софья Влад. на даче, а его выселили из комнаты, ему некуда деваться. Мне он почти не мешает, приходит поздно, человек он деликатный.

Кроме одного скверного и двух хороших твоих писем, я больше ничего не получал. Вот уже три дня как нет писем. Ты пиши почаще, Киц, иначе очень тревожно. Пришлю на днях папиросы Гусеву. Я не знаю, какие он курит,— крепкие или средние, боюсь ошибиться.

Напиши маме и пришли мне, я перешлю вместе со своим письмом отсюда.

Целую. Димусика поцелуй, пусть он поскачет. Я смотрю теперь на всех детей, но что-то не видел еще такого, как он.

Пиши. *Кот.*

Есть ли на Мече лодки? Если есть, узнай, нельзя ли на месяц лодку взять напрокат и сколько это будет стоить.

Синявский усиленно собирается.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

14 августа 1926 г. Москва

Крол, родной. Получил твое письмо от 12/VIII. Твой план возвращения в Москву в конце августа и потом, если будет хорошая погода, поехать в Абрамцево — очень хорош. Сидеть в дожде и холоде, конечно, не стоит,— Димушка даже запросился в теплую комнату. Береги его. Деньги я получу 23 и сейчас же тебе вышлю. Начинай понемногу собираться,— возвращать чужие вещи и складываться, чтобы в последние дни не спешить и не уставать.

В Москве тоже холодно и серо. Новостей (интересных) нет. Меня назначили в третейский суд по делу Славина с писателем Тарасовым-Родионовым (автором «Шоколада»). Тарасов напечатал в «Известиях» очерк о Баку, в котором очень долго и восторженно описывает памятник Карлу Марксу. Славин написал в ответ статью о фантастике в писаньях пролетарских писателей, в частности Тарасова. Дело в том, что в Баку памятника Марксу нет и не было. Тарасов привлек Славина к третейскому суду. Глупая история, и мне совсем не хотелось бы возиться с этим судом, но отказаться не удобно.

Синявский живет скромно, я его редко вижу, только по вечерам. Никого не встречал, да и не хочется встречать. В Москве скучно, в литературе еще скучнее. Просмотрел новые журналы, не за что зацепиться, очень все вяло и бесталанно сколочено. Был в «Красной нови». Воронский читает сейчас «Этикетки». Просил зайти в начале буд. недели. «Этикеткам» повезло, т. к. их передал Воронскому Лежнев с очень хорошим отзывом, поэтому Воронский читает их «вне очереди» (и все же через месяц). Секретарь показывал мне целые ящики рукописей, которые лежат «в очереди», говорит, что 90% — хлам.

Пять дней не могу найти Зозулю,— ни дома, ни в «Огоньке»...

В квартире чисто, уютно, днем только изводит грохот и серая московская толпа за окнами. Синявский, кажется,

подавлен чистотой. Сейчас он пишет статью о своем проекте рынка для архитектурного журнала.

Был вчера у Калинина, сдал прошение ефремовского арестанта. Расписку я отошлю его родителям <...>

Обедаю я в новой вегетарианской столовой (очень хорошей) на Советской площади в двух шагах от нас. Я здоров. Говорят, что посвежел, но, кажется, я уже спустил всю свою поправку <...>

Послал тебе вчера «Новый мир» и газеты. Завтра пошлю еще. Пиши. Расчеши Димушке пробор, пошепчи ему на ушко о папе,— я очень без него и тебя стосковался.

Привет Ник. Васильевичу. Я пришлю ему крючков и японский волос. Ловит ли он рыбу? Привет Гусевым.

Целую. *Кот.*

Не ешьте зеленых яблок; ведь у Любомудр. дизентерия.

Если будет хорошая погода и тебе не захочется уезжать — то, конечно, оставайся.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

30 августа 1926 г. Москва

Кролик, родной. Уже неделю нет от тебя ни строчки (последнее письмо было от 22/VIII — с сыном хозяина). Я очень тревожусь, уж не случилось ли что-нибудь с тобой или Димом. Я на этой неделе послал тебе два больших письма и деньги — и никакого ответа. Напиши поскорей.

Моя хандра прошла. Можешь поздравить себя и Димушку,— Воронскому «Этикетки» очень понравились, они пойдут к октябрьской книжке «Кр. нови». Я рад, и сразу ушла моя апатия и нерешительность. Я рад не только тому, что «Этикетки» будут напечатаны в лучшем журнале, но еще и тому, что в литературу я вошел не с заднего хода, без рекомендательных писем, друзей и подготовки, вошел как человек совершенно неизвестный.

Встретил Багрицкого. Он также оборван и нелеп,— нес в чемодане птиц, купил на Миуссах. Вчера с Синявским был у Митницкого. Митницкий очень восторженно отзывался о моих вещах (напечатанных). Говорит, что в писательских кругах меня знают и многие хотели бы посмотреть — какой такой я.

Был с Синявским (теперь он неизменный мой спутник) в Немчиновке. Там осень. Тянет меня очень в деревню.

1-го или 2-го получу деньги за вечернюю работу и пришлю тебе. Я боюсь, что у тебя совсем плохо с деньгами.

Дим, Дим, наш глупый сынишка, почему ты ничего не напишешь, дади. Ужасно хорошо ты написала про Дима, как он показал рукой ь пространство и сказал: «тям, да, да!» Напиши, когда думаешь приехать.

Целую. *Кот.*

Когда Дим ходит около столов — следи, чтобы он ничего не перевернул па себя. Будьте осторожны с примусом.

Привет Гусевым и полковнику.

Воронский уехал раньше назначенного срока в Кисловодск. Перед отъездом он оставил мне записку о том, что «Этикетки» он «оставляет исключительно за «Красной новью» для октябрьской книжки.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

23 июля 1927 г. Одесса

Крол, родной. Каждый день хожу на почтамт, но от тебя писем нет, и я пачинаю тревожиться. Живу у Аренберга,— можно писать на его адрес (Театральный пер., 14).

Подробно опишу тебе все свои дни. В среду 20-го был на даче у Аренберга (на Французском бульваре). Купался, катался на шлюпке в море. 21-го ездил на 9-ую станцию, на свой любимый камень, ловил бычков. Наловил уйму и отдал соседям-рыбакам. 22-го ездил с Гехтом, Верочкой и очень славным студентом Бондариным в Аркадию. В Аркадии встретил Крути, Незнакомца, они шумно меня приветствовали. На пляже играли часа три в домино — последнее одесское увлечение, я сгорел, ночью был жар, сейчас все прошло. За три дня я сильно загорел, лоб стал совсем медный. Хожу я без воротничков, в тюбетейке. Сегодня компанией (Гехты, Бондарин, Кирсапов (поэт) были на австрийском пляже, Кирсанов читал свою поэму. Обеды здесь изумительные — за 65 коп. дают много и очень вкусно. Абрикосы — 10 коп. фунт. Вместо чая утром и вечсром я пью местное стерильное молоко (жел-

тое), очепь вкусное. Газет не читаю. Читаю Замятина и Блока. Коля болен, лежит и хандрит. Одесса стала очень хороша,— напоминает 16 год, когда мы были с поездом. Новость — обочины улиц засеяны цветами, особенно много табаку, по вечерам он сильно пахнет. Дни стоят страшно знойные, в 3 часа жутко выйти, вечера — прекрасные. В городе много музыки, огней и открылось несколько казино, где играют сотни одесситов (в пти-шво). Я ходил два раза, наблюдал одесситов, один раз поставил 20 коп. и выиграл рубль, больше ставить не решился.

Напиши мне все подробно. Довольна ли Озерицами. Я очень соскучился, несмотря на то что прошла только неделя, и 11 августа думаю выехать, с тем чтобы 14-го быть в Озерицах. Я уже очень отдохнул.

Что привезти Димушке? Напиши о нем подробно-подробно, все новые его слова.

Целую. *Кот.*

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

<Август> 1928 г. Москва

Крол, родной. Получил вчера твою открытку от 24-го, из которой видно, что ты до сих пор не получила ни денег, ни холстов, ни двух моих открыток. Деньги я отправил 21-го, а холсты 22-го. Справься на почте,— почта в Горках безобразная.

Сегодня вечером отправлю расчетную книжку и кое-какие журналы.

В Москве очень одиноко,— одиночество свое я использую для того, чтобы писать. Часто вижу только Шторма (жена его уехала в Алупку), он почти каждый день заходит ко мне, или в РОСТу, или домой,— сейчас начал писать «Болотникова». Ездил с ним в Болшево к Фраерману, Шторм быстро скис от дождя, холода и плохо проведенной ночи. Поэтому хорошо отчасти, что он не приехал в Озерицы...

Фраерман толстеет, собирает грибы и ведет семейственную жизнь. От Озериц в восторге и собирается туда числа 8—9 сентября (дальше он не может).

Вчера Синявский потащил меня в Удельное (по Каз. дор.), где живут все его приятели-архитекторы. Сегодня он уезжает в Могилев к Мальвине, и вчера были его проводы <...>

Озерицы выветрили мне голову, и я как-то по-новому воспринимаю людей. Поэтому и опасения твои относительно Наташи оказались вздорными, как я и говорил. У меня здесь такое чувство, будто я в чужой стране, где меня никто не понимает,— я с радостью удрал бы сейчас опять в луга, на Оку, тоска у меня по воздуху, по воде — страшная. В Москве физически ощущаешь, как нездоровье, затхлость пудами вливаются в тебя. Буду писать.

Сейчас иду в «Пролетарий» за деньгами. Я писал тебе уже, что в «Мол. гвардии» вышли пробные экземпляры моей книжки. Издана она прекрасно, обложка (папка) очень красивая, но не цвета сольферино, как я говорил, а синяя (светло-синяя, матовая). Шрифт красивый, формат мне очень нравится. Я держал ее в руках, и мне даже не верилось почему-то, что это моя книга. На днях получу авторские экземпляры и сейчас же пришлю тебе.

Звонил Митницкий,— он теперь редактор «Крокодила», зовет в «Крокодил» писать очерки. Вряд ли что-нибудь выйдет,— к юмористике я не склонен.

С Регининым все уладилось,— торопил он меня по традиции. Я отделал очень тщательно первую половину рукописи и уже сдал ему.

Напиши мне большое письмо. Как Димушка? Когда ходишь с ним на горьковский пляж, переезжай только на пароме.

Я приеду в воскресенье утром в 6.30. Сейчас трудно вырваться,— редактора (Вельский и Волжин) очень несговорчивы, сговориться с ними и трудно и неприятно. Все делается с оговорками, с условиями, в виде большого одолжения,— противно.

Пиши. Привет всем. Димушке привезу солдатиков.

Целую. *Кот.*

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

12 сентября 1928 г.

Крол, я получил от тебя только одну открытку от 6/IX. С тех пор — ничего. Я начинаю беспокоиться.

Здесь опять стоят жаркие дни, и я пропадаю без воздуха. Езжу на лодке с Фраерманом, но помогает мало: Дмитровка наша отвратительна.

Напиши свои планы об отъезде. Ты молчишь, и я не знаю — высылать ли деньги?

Одновременно с этой открыткой отправляю тебе заказной бандеролью одну вещицу — *получи непременно*. Приехал Синявский. Еще его не видел.

В понедельник был на Толстовском торжестве в Большом театре. Скука была адская, но видел Цвейга и Келлермана. У Келлермана удивительное лицо — юное, загорелое, а сам он совершенно седой. Цвейг — изысканный венец (он австриец). Я получил приглашение от «Красной нивы» — дать рассказ.

Целую. Что болтает Димушка? *Кот.*

Хочется еще раз удрать в Озерицы.

Р. И. ФРАЕРМАНУ

3 июля 1929 г. Балаклава

...К Валентине Сергеевне у нас просьба — выслать заказным письмом справку о том, что я член профсоюза (меня уже приняли). Все написанное выше — совершенно правильно. За десятку сдают комнаты в бывшем дворце адмирала Апраксина у самого моря. Там очень тихо, пустынно, можно прекрасно работать (есть электричество). Приезжайте. Месяц (считая дорогу) обойдется Вам рублей 120—150 (с комфортом). Я купаюсь, ловлю бычков с затопленной шхуны и со скал, шатаюсь по горам, в лесах из туи, стал черный, как балаклавский Листригон. Познакомился с рыбаками, особенно любезные здесь старики-ворчуны — люди чрезвычайно болтливые, скептики и философы, бывшие матросы, пьяницы и в большинстве — неудачники. Особенно прославлен неудачами мой приятель Петро Димченко, бывший боцман. О нем я расскажу Вам подробно при встрече. Балаклава не похожа на весь остальной Крым — здесь много от Греции и от Палестины — серые камни и мак, полынь и сухость. Приезжайте. Первые дни проведете у нас, комната у нас громадная. Поменьше думайте и приезжайте. На письмо — ответьте. Привет Валентине Владимировне и Мусе. (Кстати, ключи от нашей квартиры у Заикиной, в темной комнате стоят удочки (я их не взял). Возьмите их в Болшево и ловите.

К. Паустовский.

Привет всем. Если приедете, обязательно привезите удочки, пока достал очень скверные. И. меняется три дня.

М. Г. ПАУСТОВСКОЙ

1929 г. Москва

Дорогая мама. Не сердись на меня за молчание,— жизнь в Москве идет с такой скоростью и с таким напряжением, что не замечаешь времени.

Посылаю тебе с Лерусей свою первую (первую, если пе считать книжки, изданной «Огоньком») книгу. В пей — всё старые вещи, тебе уже знакомые. В феврале выходит первая моя повесть «Блистающие облака» — книга большая, ее, должно быть, будут сильно брапить...

Книги дают мпе пока только литературное имя и моральное удовлетворение, материально же дают мало, т. к. издательства платят через час по чайной ложке, по 50—60 руб. в месяц. Жизнь же в Москве в материальном отношепии очень трудная. Сейчас пишу пьесу,— если она пойдет в театрах, то материально я окрепну и смогу выручить и тебя.

Катя много работает по раскраске платьев, но результаты пока что небольшие. Дим вырос,— болтун страшпый, весельчак,— вообще мальчишка очень хороший — добродушный и шустрый.

Шуры уже нет,— уехала в Сибирь выходить замуж.

Этим летом были опять в Озерицах, я отпуск тоже провел там. На следующее лето, если будут деньги, Катя с Димом поедут на юг, под Одессу (через Киев).

Был у меня Эмма Шмуклер. Собираюсь, если будет свободных три-четыре дня, съездить к пему в Ленинград. На днях была у меня его тетка — Регина Лазаревна,— ты ее, д. б., знаешь. Я много работаю, отдыхаю только на лыжах. На лыжах ходим каждый праздник очень далеко, по 15—20 верст.

Пиши. На меня за молчапие сердись, но не очень,— я все время занят. Хотелось бы бросить РОСТу,— служба мне очень и очепь мешает писать, по пока это, к сожалепию, невозможно.

Целую тебя и Галю крепко. Привет Проскурам. Ужаспая все-таки история с тетей Верой. Маруся рассказывала.

Котик.

Катя целует. У пее сейчас урок — опа обучает раскраске платьев.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

2 сентября 1929 г. Москва

Крол, родпой мой — послал тебе по телеграфу 65 руб. и боюсь, что мало. Сможешь ли ты на эти деньги уехать? <...> Я стосковался страшно — пишу даже рассказ о тебе и Димушке — бессюжетный,— там много солнца, моря и ребячества. Но если в Балаклаве хорошо и если тебе хотя бы немного жаль уезжать — оставайся еще на неделю-полторы (до 15-го). Уж очень тяжело в Москве, очень больно тащить тебя и Димушку сюда,— в грязь, в холод, в каменный мешок. У меня все время чувство тоски по тебе и радости за тебя,— наконец после стольких лет ты отдохнула. Поэтому обо мне не думай, и если тебе хорошо в Балаклаве — оставайся еще.

Я пишу, до сих пор купаюсь (вода уже ледяная), в общем, живу свободно и просто. Перемену в тебе и во мне я воспринял как перелом, который нам надо обязательно сберечь и закрепить.

Сделать это можно только одним путем — мне уйти только в писательство (бросить службу), тебе — в живопись. Поэтому я решил сентябрь и октябрь работать бешено, чтобы к ноябрю у меня была новая книга — «Коллекционер», и, кроме того, к ноябрю я соберу новую книгу рассказов (я подсчитывал — выйдет книжка листов в 6—7). Тогда я брошу РОСТу и, м. б., на месяц уеду зимой в Севастополь работать — там зимой работать чудесно. Только теперь я понял, какая, в сущности, сила у нас в руках (у меня, в частности) и как преступно я с ней до сих пор обращался. Вот, заяц! Я живу, как и всегда, в обстановке повышенного внимания ко мне, и это меня теперь уже тяготит (раньше занимало). Очевидно, Крол, я начал, хотя и поздно, умнеть <...>

Познакомился с Кончаловским. Из-за последних писем я не тревожился, глупая. Как я могу тревожиться, когда тебе хорошо. Ты маленькая дурочка, такая же, как Дим. Твои письма такие радостные, что мне здесь, в Москве, от них становится весело. Случай с рыбаком (помнишь — который бросился в море) обошел всю Москву...

В моем рассказе, в конце, мальчик с мамой едет к отцу, в Москву и всю дорогу волнуется и пристает к маме,— хватит ли в паровозе дыма до Москвы? Я уже начинаю выдумывать за Дима.

Если решишь приезжать сейчас, то напиши, когда при-

едешь, каким поездом, я приеду на вокзал... Из-за меня не торопись. Если бы ты знала, как я рад, что наконец у тебя есть возможность жить у моря, без забот, без всяких скучных дум.

Целую. *Кот.*

Не очень крути головы рыбакам — они народ простодушный, еще кто-нибудь из них из-за тебя бросится в море.

Как хорошо, что Дим начал поправляться. Между прочим, в Москве с продуктами очень слабо: молока мало, нет яиц, масла,— только помидоры и консервы. Кооперативы стоят пустые.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

1 августа 1930 г.

Крол, родной. Послал тебе сегодня открытку о том, что деньги в РОСТе получу только 2-го и сейчас же тебе вышлю. Вообще с деньгами в Москве туго,— раньше РОСТа никогда не задерживала платежей. Пришлю рублей 70.

С книгой дело плохо. «М. гв.» в последнюю минуту отказалась печатать книгу рассказов, а в Зифе ответ дадут только 10 августа. Сейчас идет реорганизация,— все издательства сливают в одно и работа в издательствах стоит. Поэтому надеяться на «Коллекционера» нельзя.

Завтра сдам конспект «Двух полуостровов», а через два-три дня соберу книгу очерков. (Из тех, что печатались в «30 днях».) Кроме того, напишу три-четыре очерка. Все это сделаю числа до 10-го, чтобы к отпуску быть с деньгами.

Теперь — насчет отпуска. Напиши, что ты думаешь. Я бы с радостью провел отпуск где-нибудь в Солотче, на воде, в лесах, ловил бы рыбу и очень бы отдохнул. Это одно. С другой стороны, если удастся заключить договор на «Два полуострова», то надо ехать в Керчь работать.

О Солотче я думаю еще и потому, что для поездки на юг надо много денег, т. к. там очень скверно с продовольствием. Все есть, но цены выше московских. Напиши, что ты об этом думаешь. Меня в последнее время срединная Россия, наши реки, луга и леса, даже дожди привлекают гораздо больше, чем юг. Кроме того, в Солотче мы могли бы быть с Димом.

Оля готовит обеды. Это обходится дешевле, чем в столовых, и лучше. По вечерам, большей частью, пропадает, но возвращается не поздно — не позже 11—12. Все время помалкивает. Квартиру она прибрала, мне стирает все, что нужно.

Сейчас у меня ночует Гехт,— у него какое-то недоразумение с комнатой. Часто бывает Мрозовский, сегодня даже обедал.

Ты знаешь, после ангины у меня был (29-го) припадок тропической малярии. Я день пролежал. Оля вызвала врача. Врач говорит, что сейчас ангина очень часто возвращает малярию, но на один-два припадка. Пью хину и чувствую себя хорошо. Очевидно, второго припадка не будет. Во время ангины и малярии у меня часто сидел Лабутин. Он мне очень помог. Он оказался очень деликатным и внимательным человеком — доставал мне лекарства и вообще очень со мной возился.

Как Димушка-мальчик? Меня очень волнует отсутствие писем. Не позволяй ему лазить по деревьям в саду. Я очень завидую тебе, что ты в Рязани. Здесь очень скверно.

Между прочим, отпуск я могу получить и раньше 15 — числа 12. 13 или 14 и позднее — все равно. Пиши — как лучше по-твоему.

Целую. Привет Павловым. *Кот.*

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

14 мая 1931 г. Саратов

11 ч. вечера.

Сижу на пристани, жду парохода на Астрахань. Навигация еще официально не началась, и пароходы ходят нерегулярно. Пароход должен быть через два часа.

Сегодня почти весь день провел на постройке завода комбайнов. Главный инженер 4 часа сам водил меня по заводу, прошли мы с ним верст 6. Очерк напишу на пароходе. С парохода напишу подробнее. Вот для Димушки песня здешних крючников: «Золотая наша рота тянет черта из болота, эх, дубинушка, ухнем» — и т. д.

Пиши в Астрахань до востребования. Целую.

Кот.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

16 мая 1931 г. Енотаевск (ниже Сталинграда)

Крол, вместе с этой открыткой высылаю спешной почтой очерк и инструкции. Завтра к полудню буду в Астрахани. Здесь уже начинается Азия — на пристанях появились калмыки в шапках, отороченных мехом. Все старики калмыки почему-то в очках. Волга разбилась на множество протоков, разлив и впечатление такое, что пароход идет по морю, лавируя между островами. Стало жарко, небо со странным красноватым оттенком. Питаюсь неплохо, хотя до сих пор истратил только 15 руб. Самый крупный расход — хлеб. (Французская булка — 1 рубль.) Мне на день хватает. Целую тебя и Димушку. *Кот.*

Позвони К. и можешь с ним передать мне письмо в К-бугаз.

Открытки я начал нумеровать.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

17 мая 1931 г. Астрахань

Крол, родной. Подходим к Астрахани. Вчера на закате шли дельтой Волги. Богатство красок здесь исключительное. Рыбачьи поселки тонут в зелени и в электрических огнях, пароход идет широкими протоками, как по каналам, проходят рыбачьи шхуны, доверху полные рыбой.

Сегодня ветер с юга, и волжский пароход покачивает как на море.

Посылаю первый (случайный) очерк. Я не хотел зря терять время в Саратове и осмотрел Комбайнстрой. Очерк надо переписать в двух экземплярах. Относительно него я ни с кем не сговаривался, но думаю, что его возьмут. Надо отнести его в журнал «Комбайн» (1—32—30) Алексею Ивановичу Евстигнееву (Черкасский 10), в «30 дней» и в «Соц. землю» Исаеву. Можно в крайнем случае сдать в «За Ком. просв.» Крути. Судьба этого очерка меня не волнует, т. к. он случайный и мне не нравится.

Тороплюсь, т. к. уже видна Астрахань. Здесь уже Азия — песчаные барханы и громадные колеса с ведрами на берегу Волги. Их вертят верблюды и перекачивают воду в оросительные каналы. Я чувствую себя очень хо-

рошо, уже загорел. Питаюсь неплохо — покупаю молоко, достал папирос. Истратил же за все время от Москвы до Астрахани 16 рублей. Из Астрахани сегодня напишу о том, как сложится дальше.

Как Дим? <...> В Астрахани жду письма.

Целую. *Кот.*

С очерком распорядись, как найдешь нужным. Я обещал его Евстигнееву, но думаю, что для его журнала он очень «квалифицирован». Ему нужно попроще.

Привет всем. Звонит ли Роскин?

Не волнуйся и не рвись со своими заметками.

В. К. ПАУСТОВСКОМУ

17 мая 1931 г. Астрахань

Дим-Передим, папа по тебе ужасно соскучился. Я видел вчера, как верблюд вытаскивал воду из колодца, сердился и плевал на своего хозяина потому, что верблюду не хотелось работать. Здесь много пароходов, а у одного парохода, очень старого, колесо приделано сзади. Послезавтра я поеду на автомобиле за 250 верст.

Слушаешься ли ты маму? Напиши мне письмо в Астрахань.

Целую. Твой *папа.*

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

18 мая 1931 г. Астрахань

Крол, не сердись, что я пишу только открытки,— очень много работы и много времени занимает подготовка к дальнейшему пути. Сегодня с 9 ч. утра до 3 дня был на громадном рыбоперерабатывающем комбинате и на фабрике жемчуга, потом на нефтяных разведках. Собрал много очень интересного материала. Завтра в 12 ч. дня уезжаю в Элисту (320 км). Ходят только грузовики с мягким полом — это называется автобусом. В пути придется ночевать на почтовой станции. От тебя нет писем, и я беспокоюсь. Пришли телеграмму в два слова, если все благополучно, на адрес Астрахань до востребования. Я получу, когда вернусь из Элисты.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

20 мая 1931 г. Яшкуль, Калмыцкая степь

Вчера в 2 часа дня выехали из Калмыцкого базара (под Астраханью), ночевали на сторожевом посту в степи, где я первый раз пил калмыцкий чай (с молоком и солью). Сегодня в 2 ч. дня будем в Элисте. На всем протяжении в 320 километров — только один глинобитный поселок Яшкуль. Степь изумительная — вся в грозах, радугах, в соленых необыкновенного бирюзового цвета озерах, в криках множества птиц. Машина объезжает стаи орлов на дороге (орлы никогда не улетают) и давит десятки сусликов. Сегодня утром впервые видел мираж — совсем не то, что мы себе представляем,— об этом напишу в письме из Элисты.

Очень пыльно, я весь посерел.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

24 мая 1931 г. Астрахань

Крол, наконец осталось свободное время, чтобы написать тебе большое письмо. Я вчера возвратился из Элисты и жду парохода на Гурьев — пароход должен быть завтра <...> Очерки я начну посылать в Москву более или менее регулярно, начиная лишь с 27, 28 мая. В пути писать трудно отчасти потому, что впечатления очень свежи, не отстоялись, и это осложняет отбор. Сейчас пишу очерк о Калмыкии для «Н. дост.», 26-го вышлю его тебе.

Теперь дальше — о Дербенте. Я напишу тебе из Дербента сейчас же, и тогда выяснится — поедем ли мы в Дербент (надо будет узнать прежде всего, как там с продуктами и жарой) или же в Сухум, где тоже не плохо <...>

Поездкой я очень доволен — она дает мне большой опыт и много материала. Ездить совсем не так страшно, как думают. Даже я, при всей своей непрактичности, ухитрился получить в Элисте полкило сахара и папирос. Нужна только выносливость и невзыскательность. Думаю, что Р. бы не выдержал. Одна поездка в Элисту на грузовой машине с пьяными шоферами, в самумах пыли привела бы его в трепет.

Калмыцкая степь прекрасна. Впервые я видел в ней миражи. Был полдень, шофер остановил машину и ска-

зал — «мираж дорогу закрывает, нельзя ехать». Шагах в ста степь переходила в море, в нем были видны пышные, зеленые острова. Потом мираж растаял, а острова оказались вершинами курганов. Второй мираж был еще интереснее — в воздухе, выше горизонта, шли сотни верблюдов исполинского роста. Потом мы видели этих верблюдов километров за 70. В степи (сейчас она вся покрыта ковылем и полынью) изумительный воздух, особенно утром. Видно на десятки верст. Пенье жаворонков превращается в сплошной гром. Журавли стоят генералами вдоль дороги, орлы сидят на грудах костей (вдоль дороги очень часто попадаются скелеты верблюдов и овец — последствия суровой зимы). Над степью необыкновенные облака, радуги, отдаленные грозы, а у калмыцких кибиток — стаи борзых. Я был в кибитках, и при мне калмыки варили похлебку из сусликов и калмыцкий чай (спрессованный из целых листьев, его рубят топором). Народ дикий, с загадочными бесстрастными лицами, очень молчаливый и мрачный. Ночевали мы в пути в сторожевых кордонах — глинобитных мазанках в степи — и расписывались в подорожной книге (совсем как в пушкинские времена).

Элиста поражает тем, что после 300 километров степи, где мы встретили всего 5—6 человек калмыков и ни одного поселка, вдруг в балке открываются белые кубические дома — точная копия домов Корбюзье. Сразу это кажется диким и неправдоподобным — бетонные воздушные балконы Корбюзье и к ним привязаны двугорбые верблюды, новейшие постройки и туземные заборы из камыша, чтобы задерживать летучие пески. Вокруг заборов нарастают барханы. В Элисте встретили меня очень хорошо — предсовнаркома отменил прием посетителей и три часа беседовал со мной. Калмыки — еще скифы, а русские в Элисте — всяческий сброд, много самозванцев и жулья. Кстати, если будешь ехать через Астрахань, то помни, что это единственный в СССР город, где собрались все воры и шатается множество бродячего шалого люда. На пристанях вырывают из рук вещи и каждый час — кровавые драки. Особенно будь осторожна с Димом при погрузке парохода — крючники не считаются с пассажирами и могут искалечить.

Если поедешь по Волге и возьмешь сахару, хлеба, печенья и колбасы, то отдохнешь прекрасно. Возьми одноместную каюту (I и II класса нет, их слили в один). На пристанях будешь покупать молоко и яйца. Обеды на пароходах очень дорогие (3 р.) и микроскопические.

В Астрахани я останавливался у нашего корреспондента Николаева. Он чудесный человек и принял меня прекрасно.

Какая чудесная здесь рыба — но только на промыслах. В городе рыбы нет и копченая вобла стоит 1 р.— 1р. 25 коп.

Как Дим? Напиши. Был ли Роскин? Передай ему привет. Не раздумал ли Новогрудский ехать в Дербент? Фраерману я послал открытку.

Я здоров, очень загорел.

Все, о чем не успел написать, напишу завтра. Меня очень мучает мысль, что в Москве скверно и жарко и вам трудно.

Целую тебя и Дима-Передима. Привет Драгичам и Оле.

Твой *Кот*.

В дорогу необходимо взять командировку, иначе трудно с билетами. Кроме того, кое-где командировочным дают немного продуктов.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

30 мая 1931 г. Гурьев

Когда это письмо дойдет до тебя, я уже, очевидно, буду в Астрахани. Отсюда письма до Москвы идут 20 дней. Во всяком случае, оно пойдет с первым пароходом, с которым и я уеду отсюда. Пароход придет 4 июня. Но все-таки пишу.

Сегодня послал тебе телеграмму о своем приезде в Гурьев.

В Гурьеве мне придется пробыть дольше, чем я предполагал, но я не жалею. Попал в такую дичь, что самому не верится. Я уже в Азии, или, как здесь говорят, «на бухарской стороне». Переход к Азии действительно очень резок и недаром Урал — граница Азии (Гурьев — на Урале, в 18 километрах от моря). Около Гурьева Касп. море совершенно прозрачное, зеленоватое и на нем — небольшие острова из чистого ослепительно белого песка. Азиатский берег виден очень далеко белой яркой полосой. В устье Урала — гигантские камыши выше бортов парохода. Река очень узкая, и пароход идет почти вплотную с берегами и спугивает из камышей множество цапель.

Гурьев открывается вдали весь в дыму кизяка, в глинобитных кубических домах в половину человеческого роста, как бы высыпанных из мешка, в тысячах верблюдов, облезлых псов, киргизов и рыбачьих лайб. Над всем этим стоит дикая пыль, закрывающая солнце.

Пришли сюда поздно вечером. В городе нет ни гостиницы, никакого ночлега и даже не берут на хранение вещи. Пришлось переправиться на азиатский берег и идти в городок Эмбанефти (тот самый, о котором есть очерк в «Наш. дост.»). Пришел в 12 часов ночи наугад, и мне повезло — отвели хорошую комнату в общежитии для инженеров (бесплатно). Сегодня был в Эмбанефти. Оказывается, я первый журналист, приехавший сюда, и мое появление вызвало сенсацию. Начальник Эмбанефти отдал приказ выдавать мне бесплатно завтраки, ужины и обеды из столовой для инженеров. Кормят очень хорошо, и за те пять дней, которые я проживу здесь, я, вероятно, поправился бы, если бы не жара. Весь день как в раскаленной печке. Завтра я еду с директором Эмбанефти на автомобиле в Доссор (на промыслы). Это в пустыне за 70 верст отсюда.

Сейчас я пишу, а мимо окон проходят с отвратительным рычанием (похожим на икоту) караваны верблюдов с водой — воду везут в Доссор, где в день на человека выдают $^1/_4$ ведра. Если бы ты знала, как я стосковался по чистой, холодной, пресной воде. Здесь вода теплая и не соленая, а кислая и притом грязная, совершенно серого цвета. Такая же вода и в Астрахани.

Сегодня послал тебе очерк (по счету третий) о Калмыкии для ЗКП или Страны Советов. Здесь я напишу три очерка и пришлю их сразу из Астрахани <...>

Завтра пошлю телеграмму в РОСТу с просьбой продлить отпуск без сохранения содержания на два месяца, а в случае невозможности освободить меня от работы. Впереди у меня только Карабугаз и Дербент. Хочу в Дербент заехать до К-бугаза, чтобы выяснить с твоим приездом. Я с радостью проведу лето в любом хорошем месте — даже в Солотче, если обстоят. скверно сложатся. Пока у меня все хорошо, если не считать, что я мало пишу — всего послал три очерка на 250 р., но писать с дороги очень трудно.

Целую тебя и Димушку. Привет Фраерману и Мрозовским. К-го я подвел. *Кот.*

Урал течет в плоских берегах, как глинистая густая жижа.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

1 июня 1931 г. Доссор

Крол, вчера на машине приехал с директором Эмбанефти в Доссор. 120 верст машина прошла по пустыне за три часа. На всем этом расстоянии мы встретили одного издыхающего верблюда. Солончаковая пустыня с серой и редкой горько-соленой травой и множество соленых озер (сор'ов). В Доссоре — непрерывный ураган, тучи солончаковой пыли, закрывающие наглухо солнце, жара, в день выдают кружку воды, нефть, вышки и потрясающий рев верблюдов (ревут они потому, что линяют). Впечатление тропической каторги. Завтра возвращаюсь в Гурьев, а оттуда в Астрахань (морем). Через день-два пришлю два очерка и доверенности.

О Дербенте еще знаю мало, директор Эмбанефти там бывал, но говорит, что очень малярийное место и как будто бы вредное для детей (жел. болезни), но это требует проверки.

Купил Диму киргизскую детскую книжку. Из Гурьева пришлю.

Целую. *Кот.*

Отсюда писать нет смысла — письма идут 12—20 дней.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

14 июня 1931 г.

Крол, родной. Сижу в Красноводске и жду парохода на Кара-бугаз. Пароход должен быть завтра. Посылаю второй очерк для «Голоса рыбака» (из серии скучных). Если не трудно — сними с него копию. Копия первого очерка у меня есть. Когда приеду, то соединю все эти очерки, слегка их отделаю и сдам книжку. Будет лишних 120 рублей.

Завтра вышлю третий рыбацкий очерк и, если успею, очерк об Эмбанефти для Эк. Жизни.

Очень стосковался по тебе и Димушке — до того, что с большим трудом заставляю себя закончить поездку и не уехать с первым же пароходом в Баку и Москву.

<...> Зной тяжелый, изнурительный, ни с чем не сравнимый. Над городом стоит синеватый угар, ночью все спят голышем и задыхаются от духоты. Мириады мух, все

нечистоты выливаются на улицы. Принципиально никто не чистится, т. к. через секунду платье покрывается густым слоем пыли. Население — туркмены, киргизы, очень небольшая прослойка на редкость культурных русских (большей частью инженеры) и подавляющее большинство подонков, авантюристов и людей с темным прошлым, заметающих следы на окраинах. Достал множество интересного материала о Карабугазе от местных старожилов. Живу в общежитии карабугазцев с топографами-москвичами. Обедаю в столовой ГПУ — единственное место, где можно обедать без всякого риска. По моим расчетам числа 30—1 буду в Москве. Очень тяжело и тревожно от того, что не могу получать писем от тебя. Когда получишь это письмо, я уже буду, должно быть, в Баку на обратном пути из Карабугаза.

Мечтаю о Солотче, прохладе и самой элементарной культуре.

Целую. О многом расскажу после возвращения.

Кот.

Привет всем. Уехал ли Фраерман?

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

14 сентября 1931 г. Ливны

Крол, с твоим отъездом в доме стало тихо и мертво, хозяева об этом очень сокрушаются. Оживление вносит только Дим. На следующий день после твоего отъезда он почти до темноты пробыл у Хворощиных, прибегал только обедать. Был чудесный жаркий день. Вчера весь день был холодный ураган, ливень с крупой, у нас повалило забор и сорвало часть крыши над хозяевами. Дим весь день был в комнате. Я ходил за хлебом в город и промок насквозь, только к вечеру обсушился. Сегодня солнце, но холодно. Сейчас иду в город — на почту и к Нине — все жду повестку. Кормят нас хорошо, хотя и просто. Дим ест, пожалуй, лучше, чем при тебе. Первые два дня он нет-нет да и заплачет: «Почему нету мамы». Очень горько он плакал в вечер твоего отъезда, закапал слезами всю книжку. Ведет он себя очень хорошо.

Посылаю конец рукописи заказной бандеролью. Прочти и если понравится, то сдай или в «Нов. мир», или в

«Красную новь», или в журнал «Октябрь» — в Москве виднее куда сдать. Исправлять можешь беспощадно.

Я спросил Димушку, что написать маме.

Вот его ответ:

«Чтоб она скорей приезжала, или присылала мне ружье, или заводной автомобиль. А если найдешь пистолет стреляльный в магазине, то тоже купи».

Хозяин очень просит прислать ему вместе с нашей посылкой две коробочки *питьевой соды.* Жду твоего письма. Если с деньгами выйдет задержка, то пришли хоть немного, рублей 10—15. У меня есть еще 3 рубля. Сегодня пойду к торговке, вчера она вещи из-за ливня не выносила. По случаю плохой погоды цены упали — бутылка топлен. молока дошла до 4 рублей. Дим меня очень торопит. Голова у меня прошла, но купаться вряд ли еще придется,— очень холодно.

Завтра напишу подробнее. Вчера начал писать книгу о Карабугазе. Напиши подробно обо всем — академии, денежных делах и прочем. Если дела сложатся неблагоприятно, то, может быть, лучше мне пораньше вернуться и отработать еще месяц-два в РОСТа, пока соберется гонорар.

Целую. Привет Фраерманам.

Кот.

Позвони Регинину насчет «Снегов» — берет ли он их или нет. Если нет, то надо отнести в «Кр. новь» (но не «Новый мир») или «Октябрь».

Очень тоскливо без тебя, даже не тянет ловить рыбу.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

19 сентября 1931 г. Ливны

Крол, получили твои открытки (последнюю о Фраермане). Два дня не был в городе,— снова стоят теплые, но уже осенние серые дни. Сегодня ходили с Димом на Адамовскую мельницу, поймали рыбы, хозяйка нам ее зажарила, и Дим был в восторге. Второе сегодняшнее событие,— он с Мишей Хворощиным поймал в нашем саду ежа. Насморк у Димушки прошел бесследно <...>

Я начал много работать. Выходит как будто бы очень хорошо, несравненно лучше всего прежнего, что я писал

о поездке. Очевидно, только сейчас я отдохнул как следует.

Вечера уже стали длинные,— я пишу, Дим рисует бесчисленные фабрики или срисовывает из книг отдельные слова.

У хозяев очень тихо,— все заняты, одна Анфиса и хозяйка бывают дома. Анфиса, по-моему, усиленно портит твой набросок двора. Хозяин сидит сиднем в закусочной и боится, что его «свезут на бугор», т. е. в тюрьму, т. к. до него всех заведующих закусочной сажали по очереди.

Вчера шел с Димом по нашей улице, Дим заставил меня читать фамилии домовладельцев, и неожиданно обнаружилась очень забавная вещь,— все фамилии до одной очень литературные — «Кольцов, Андреев, Федотов (худ.), Бунин, Леонов и даже Бабичев (герой «Зависти» Олеши).

Напиши об Академии. Неужели ты читаешь «Капитал»?

Большую посылку нам не присылай — пришли поменьше — у нас почти все есть. Деньги будут нужны только на дорогу и на мелкие долги (хозяйке за молоко с 12 сент., бабе из Крутого — рублей 5—6).

Дим написал тебе деловое письмо почти без моего участия. Письмо он понимает исключительно как документ деловой.

Отдал долг Мил. Федоровне.

Изводит меня Тузик, за которым приходится прибирать по 30 раз в день. Дим учит его служить.

Пиши. Целую. *Кот.*

М. Г. ПАУСТОВСКОЙ

26 октября 1931 г. Москва

Дорогая мама. Завтра — 27 октября — я уезжаю на два месяца в Соликамск и Березники (Северный Урал), и в связи с отъездом столько возни, что нет даже времени написать подробное письмо. Напишу с дороги — ехать придется трое суток. Еду я от газет. Прежде чем будешь читать мое письмо, условимся, что над прошлым поставим крест и вспоминать его не будем. И у меня были непростительные и тяжелые ошибки, и у тебя были заблуждения. По отношению к Кате ты не права, но об этом я го-

ворить не буду. Все это прошло, и лучше говорить о будущем.

Второй год мы говорим о том, что было бы прекрасно и для тебя с Галей, и для нас, если бы ты с Галей переехала к нам в Москву. Написать об этом мы не решались после твоего письма, но теперь, к счастью, приехал Иван Георгиевич — чудесный человек, и его приезд я расцениваю как очень хорошее предзнаменование.

У нас тепло, с питанием можно хорошо устроиться, т. к. я могу пользоваться закрытым распределителем (но не пользуюсь, т. к. нет для этого времени), для тебя и Гали будет совершенно изолированная комната рядом с нами. Кроме того, мы думаем, что Димушка внесет в твою жизнь не только много шуму, но и радости — он очень славный мальчик — хохотун и весельчак. Переезд не будет труден — напиши, как ты к этому относишься. Нам совместная жизнь с тобой будет подлинным спасением, т. к. мальчик наш тогда будет под твоим контролем и влиянием. Сейчас он почти без призора, т. к. и я и Катя очень заняты, а ему «нужна бабушка», как он говорит. Он скучает и растет очень одиноко. Галя бы, кстати, выучила его грамоте и другим хорошим вещам, а то он у нас до сих пор не умеет читать (ему уже 6 лет).

До сих пор ни я, ни Катя не можем использовать очень больших возможностей — литературных и научных — только потому, что живем одни, нам не на кого опереться.

Иван Георгиевич расскажет тебе некоторые факты из нашей жизни, связанные с совершенно чудовищной историей с дядей Колей. Теперь о себе,— я с весны с большим трудом освободился от службы в РОСТа и теперь стал «чистым писателем», т. е. нигде не служу. Первое время было трудно, но сейчас жизнь входит в норму, и к Новому году мы совсем окрепнем материально. До сих пор этого не было, т. к. РОСТа брала очень много сил, но почти ничего не давала. Сейчас я много пишу, езжу, ушел целиком в свою писательскую работу. Имя у меня уже есть, и как будто бы достаточно широкое,— пишу это не из хвастовства, но совершенно беспристрастно. Этой весной я ездил на восточное побережье Каспийского моря (в Кара-бугаз, Эмбу и Калмыкию), потом три месяца мы жили в Ливнах (быв. Орловская губ.). Там я писал книгу о своей поездке.

Катя держит сейчас экзамены на аспиранта Академии искусств и с утра до ночи сидит над политической экономией.

Посылаю с Иваном Георгиевичем немного денег — в конце ноября пришлю еще — к этому времени я получу за книгу. Посылаю карточку Димушки — вчера его снял наш сосед — и свою фотографию с Димушкой, где я похож на еврея с вытаращенными глазами. Лучшей фотографии нет. Есть одна приличная, но она на литературной выставке.

Целую тебя и Галю. Катя шлет привет — она очень хотела бы, чтобы ты и Галя переехали к нам, и все время говорит об этом. Дим начал писать тебе письмо (левой рукой), но не окончил и уснул.

Привет Проскурам. Твой *Котик*.

P. S. Пиши. От какой болезни умерла Леруся?

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

29 октября 1931 г. ст. Чусовская

В Перми, вопреки слухам, стояли всего полчаса. Сейчас стоим в Чусовской,— отсюда идет ветка на север в Соликамск. Я сойду в Березниках (ст. Усолье), там у меня будет «база». Пермь — изумительный по красоте город, вплотную окруженный вековыми еловыми борами. Сейчас стоим среди высоких лесистых гор. Солнечный день, очень тепло. Воздух здесь совсем горный. Я очень рад своей шубе,— теплая и мягкая. Очевидно, в шубе у меня очень солидный вид, т. к. всякое ж.-д. начальство весьма почтительно.

В Березниках будем завтра (30) в 6 ч. утра. Там есть хорошие гостиницы, так что с жильем, должно быть, будет неплохо.

Как Димушка? Целую. *Кот*.

Привет Фраерманам.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

1 ноября 1931 г. Березники

Крол, до сих пор не смог написать подробное письмо. Приехал в Березники 30 на рассвете. Живу пока в общежитии для командированных, в комнате, где помещается 11 человек. Надежд на отдельную комнату пока нет. Кор-

респондент «Известий» ночует в редакции здешней газетки, спит на столе. Пока нас здесь двое — он и я. Строительство громадное, но очень беспорядочное, сплошное столпотворение. Второй день тепло, идет дождь, и грязь совершенно фантастическая, должно быть, в такой грязи на французском фронте тонули целые армии. Калоши очень пригодились.

Березники — химический комбинат из ряда отдельных громадных заводов — сернокислотного, хлорного, содового, аммиачного. Громадные очень красивые и причудливые корпуса стоят в низине, в яме, на берегу Камы. Кое-где рядом с бетонными застекленными зданиями торчат совершенно черные бревенчатые башни древних солеварен времен Ивана Грозного. Вокруг строительства все изрыто на несколько километров, но за Камой стеной стоят еловые леса.

Был в ближайшей деревне Ленве. Избы в два этажа, очень узкие, совершенно черные, миллиарды тараканов. Тараканы здесь всюду. На телеграфе из-за них поминутно останавливаются аппараты <...>

Сегодня со строителем здешней электростанции инженером Захаровым осматривал гигантские паровые котлы. Сооружение высотой в пятиэтажный дом. Пришлось ползать по железным лестницам без перил на головокружительной высоте и ходить на высоте 27 метров по тесовым доскам. Котлы собирают англичане — все с трубками и в черных шерстяных тюбетейках, стягивающих голову, как сетка для волос.

В Соликамск поеду на два-три дня, когда наступят холода. Сейчас из-за грязи ехать не хочется, тем более поезд на Соликамск идет ночью (до станции здесь 2 километра).

Уже послал в РОСТу 3 телеграммы. Если бы не собкор «Известий», то я был бы здесь один и работать можно было бы «с прохладцей». Думаю, дня через два улажу все житейские дела и начну писать,— свободного времени много.

Обедаю в столовой (2 р. обед). Кормят сносно. Посылки сюда присылать нет смысла,— посылки почти не доходят, идут 2—2$^1/_2$ месяца. С обедами завтра устроюсь дешевле. Забыл в Москве гребешок,— здесь нигде нет.

Со мной в комнате — очень спокойные люди — больше химики и электрики. Много интересных людей.

Пиши мне или до востребования, или так: Березники, Уральской области, редакция газеты «Ударник», спецкору РОСТа Паустовскому. Письма лучше писать до вос-

требования, телеграммы же (если понадобится) лучше присылать на редакцию, т. к. телеграф здесь безбожно путает фамилии.

Очень соскучился по тебе и Димушке. Пиши. Если провалилась на экзамене, то не сокрушайся <...>

Здесь за Камой, в Усолье (2 кил. отсюда) есть музей Соликамского края. На днях съезжу туда (если не будет ледохода). В Усолье ходит паром. Целую. Пиши. Как Дим с детским садом?

Кот.

Коричневая рубаха очень хороша,— в белых здесь ходить невозможно,— дым лежит над строительством тучами.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

7 ноября 1931 г. Березники

Крол, до сих пор от тебя нет писем. В дальнейшем пиши или до востребования, или так: Березники, Уральской области, Ленинская ул. Гостиница № 4, комната 6. По этому адресу письма доставляют хорошо.

Очень стосковался без тебя и без Димушки, но, несмотря на здешнюю трудную жизнь, я очень доволен поездкой. Здесь вплотную входишь в современность и встречаешь много новых и интересных людей — химиков, инженеров, монтеров...

Письмо это повезет в Москву Костерин — корреспондент «Известий» — очень милый человек. Позвони ему по телефону 34-62 (дом) или в редакцию 2-52-53, и он тебе расскажет о Березниках подробно. В последние дни мы с ним работали вместе.

После морозов опять тепло, дожди и вечный сумрак. Я втягиваюсь постепенно в жизнь стройки и уже разбираюсь во всяческих химических процессах, газгольдерах, давлениях пара и т. под.

Числа 12-го поеду на 2—3 дня в Соликамск.

Димушка-Передимушка, почему ни ты, ни мама ничего мне не пишете. Здесь для тебя было бы очень интересно, только маленьких на завод не пускают. Вчера ночью я был, когда пускали на электростанции громад-

ные как семиэтажные дома паровые котлы — такие, как на «Титанике». Котлы заводили англичане, был такой гул и гром от пара, что англичане отдавали команду свистками,— закладывали два пальца в рот и пронзительно свистели. Если такой котел взорвется, то разрушит все вокруг на несколько верст. Лошади и коровы здесь маленькие и мохнатые, как овцы, дни очень короткие — когда ты идешь в детский сад, здесь еще совсем темно.

Слушайся мамы, не ссорься с ней и напиши мне письмо. Целую тебя крепко.

Папа.

Медведи меня не съедят потому, что они очень боятся завода и ходят кругом за несколько верст и рычат.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

28 ноября 1931 г. Березники

Только что получил твое первое письмо. Глупый родной мой, единственный Крол — неужели ты думаешь, что в «здравом уме и твердой памяти» я мог бы сказать ту ужасающую нелепость и ложь, которую я сказал перед отъездом. Первый раз в жизни я читал твое письмо и плакал — не от слабости, а от страшного волнения, от сознания исключительной любви к тебе и Димушке, от сознания огромной ответственности за то, чтобы будущим творчеством и всей будущей жизнью оправдать твои тревоги и действительно прийти к величайшему счастью. Я знаю, что это будет,— как писатель я рос очень медленно и только теперь, сбросив с себя шелуху всяческих РОСТ и галиматьи, я чувствую, как я созрел. Перелом дался мне нелегко — после весенней поездки я чувствовал себя, как писатель, мертвецом — новое пугало меня, давило, и я не знал никаких путей, чтобы вложить в него весь тот блеск, который я чувствую и знаю в себе. Мне казалось, что как писатель современности, как писатель новых поколений — я ничто, я кончен, мой удел — более или менее удачное эпигонство. Так было в Москве после поездки — в Ливнах я старался ни о чем не думать — так я чувствовал себя то недолгое время в Москве, между приездом из Ливен и Березниками. Я не бежал из Москвы, но оставаться в Москве было немыслимо, бесплодно, нужен был толчок, чтобы наконец произошла кристаллизация.

Нужно было то, что здесь химики зовут «катализом»,— это вещество, состав которого держится в величайшем секрете. Смешивают несколько мутных газов, давят их в насосах, мнут паром, гоняют по трубам — газ остается все таким же мутным. Потом его пропускают через трубы, где лежит «катализ», и из труб льется чистая, необыкновенно прозрачная, пахнущая снегом и морем жидкость. «Катализ» превращает грязные газы в голубоватую сверкающую жидкость. Так было и со мной. Из всей душевной мути, из бабьего моего и мелкого раздражения, заставляющего говорить тебе отвратительные вещи, которые я тут же забывал, из неверия в себя, из тысячи новых впечатлений, из всего периода моей жизни, где единственной ценностью была любовь к тебе и Димушке, «катализ» (он был неизбежен), первая же поездка, оставившая меня наедине с собой, создал спокойную твердость, знание своих сил, сознание переделанной наново жизни.

В прошлом было много страданий, в прошлом я был недостаточно умен (не в смысле обыкновенной глупости), я неумно подходил к жизни, неумно ее брал, неумно на нее реагировал — отсюда и неудачи, и неверие в себя, и чувство своей «случайности» в этой жизни. Я брал неглубоко, стараясь заменить отчетливую мысль блеском и не умея придать этой мысли тот блеск, которого она заслуживает. Понимаешь ли ты меня? До сих пор я чувствовал таких людей, как Роскин, тот же милый Югов, Асеев, даже Гехт, несравненно выше себя — именно потому, что они глубже знали и брали жизнь, чем я, потому что они — цельные люди. Превосходство моего стиля — и только стиля — не давало мне полной уверенности в своих силах. В этом и был разрыв между творчеством жизни и творчеством художественным, и это портило и мою жизнь, и мое творчество. Теперь пришло время говорить «во весь голос».

Маленькая моя, напиши мне сейчас же — ты должна знать, что вне тебя, Димушки и творчества у меня нет и не может быть жизни. Большие города и заводы строятся на крови и нервах — большая жизнь и большое творчество строятся на том же, как и большое счастье.

И, как нарочно, сейчас, в момент перелома, я получил и твое письмо, и письма «читателей», и письма Фраермана, и Лабутина. Письмо Фраермана — восторженное. Он пишет о моем «великом мастерстве», письмо Лабутина полно настоящей крепкой любви ко мне — за что все это — не знаю, я теряюсь.

Письмо «талантливой» женщины действительно чудесно — оно очень искренне написано, и очень хорошо, что оно анонимное. Оказывается, над моими книгами плачут, смеются и любят меня как писателя — я до сих пор не могу в это поверить.

Пиши, Кролик, мой родной. Я очень переволновался за последние дни, даже вспоминать о тебе и Димушке боюсь — до того стосковался.

Сейчас трудно писать о делах. Выеду отсюда 25 декабря. А. сгустил краски — я рад поездке, она дала мне во сто крат больше, чем Карабугаз.

Третий день стоят морозы в 40 градусов — и ничего — шуба замечательная. На днях на два дня поеду в Соликамск.

Целую. Твой *Кот*.

Пусть Димушка нацарапает мне что-нибудь (правой ручкой). Если с деньгами трудно очень, то сдай комнату (Драгичам или их знакомым) — мне хватит моей маленькой. Привет всем.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

7 декабря 1931 г. Березники

Крол, осталось 20 дней до моего возвращения в Москву. Я уже считаю дни — очень стосковался.

Получил три твоих открытки. Очень больно за Димушку,— когда вернусь, буду проводить с ним много времени.

Посылаю письма Гику и Замошкину. В первую очередь сходи к Гику — там, как я думаю, деньги вернее. Взяла ли ты деньги в РОСТе (последн.— 150) — я им об этом писал еще 28 ноября. Меня они подводят — до сих пор не шлют денег, приходится брать в редакции здешней газеты «Ударник».

На днях был в Соликамске. Изумительный город, сохранившийся почти нетронутым со времен Грозного. Город стоит на холмах — вокруг во все стороны до горизонта море лесов без единой поляны. Древний кремль, прекрасные соборы, на улицах висят чугунные доски — в них бьют часы.

В Соликамске — почти полярная ночь, светает между 11 и 12 часами, ночь наступает в 3 часа. Полярная темнота убивает сок — все здесь спят очень плохо.

Из Соликамска ездил на калийный рудник. Спускался в железной бадье в шахту на 300 метров. Лазил в забои, во всяческие «голубятни» и штреки. Перед спуском мне дали костюм шахтера (такой, как на фотографии) и электрический ручной фонарь. Это обязательное условие. Шубу пришлось снять. Спуск длится 10 секунд — бадья почти падает. Показывал мне рудник главный инженер — немец, работавший 10 лет на калийных рудниках в Испании. Очень много интересного (фотографию, кстати, спрячь, она мне понадобится).

Кончаю очерк для «Раб. газеты» — из 10 послал уже восемь. Много работы. Здесь Старов — корреспондент «За индустриализацию», очень культурный и умный юноша. Часто работаем вместе.

Опять сильные морозы — до 30 градусов. Это очень красиво — комбипат выпускает на воздух целые океаны пара, на закате пар и дым приобретают необычно яркий цвет пурпура, все небо густо-розовое и что самое необычайное — совершенно красные снега. Но во время морозов у меня начинает побаливать сердце — очень разрежепный воздух.

Я переменил комнату в той же гостинице. Теперь моя комната № 1. В той было беспробудное пьянство (пьют здесь как в «Унтиловске» Леонова), дебоши, драки, швыряние бутылками и т. д. Ни работать, ни отдыхать было немыслимо. Сейчас со мной три очень тихих и славных инженера — комната № 1 здесь специально отводится для непьющих.

Получил письмо от Влад. Семеновича и Фраермана. Вл. Семенович прислал очень мрачное письмо, полное зависти и жалоб. Должно быть, живется тяжело.

Пишу ночью. Завтра напишу в РОСТу относительно перевода денег на обратную дорогу <...>

Скажи Димушке, что я привезу ему много интересных историй,— пусть ждет.

Прости за такое растрепанное письмо — эти дни много писал для «Рабочей газеты», и пришлось здесь проводить всякие сложные вещи — социалистические счета и т. п. Поэтому немного устал <...>

Целую. Пиши (комната № 1).

Кот.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

12 декабря 1931 г. Березники

Крол, родной. Получил сегодня твое письмо, написанное па почтамте. Из него я понял, что ты рвешься и работаешь свыше всякой меры. Не забывай, что и ТАСС и РОСТа — учреждения, где любят выезжать на добросовестности, и потому надо поставить работу в твердые рамки. Прежде всего возьми себе выходной день, а потом не перегружайся поручениями.

До отъезда из Березников осталось 12 дней,— 50 дней я уже «отсидел», вернее, отбегал. Вчера послал последний (десятый) очерк в «Раб. газету». Очерки вышли хорошие, много интересных вещей и незаурядный фон. До отъезда успею написать очерки для «Крокодила».

Из очерков для «Раб. газ.» получается книжечка в 3 листа. В Москве я ее отделаю, дополню — это займет два-три дня — и сдам в одно из издательств.

Пусть Роскип подписывает договор — книгу о нефтяном и-уте я ему сдам. Возможно, придется для этого на неделю съездить в Ленинград. Не писал последние дни, т. к. кончал очерки для «Раб. газеты». Кроме того, было много работы для РОСТА, но, к сожалению, телеграммы последних дней вряд ли попадут в газеты. Произошел взрыв парового котла высокого давления. Я был за стеной, у главного инженера — впечатление потрясающее. Прекрасно работали апгличане,— они совершенно не растерялись. Сейчас много возни с аварией — комиссий, заседаний, обследований. Почти полярная ночь действует очень болезненно — из нашей комнаты я один держусь и много двигаюсь,— остальные все свободное время лежат, жалуются на апатию, бессонницу, страшную усталость. Бессонница действительно — здешняя болезнь. Встаешь в темноте, только к 12 часам наступают сумерки, а в два часа начинает темнеть. Солнце идет по краю горизонта, нижняя его часть не видна. От восхода до сумерек — впечатление сплошного заката — все в багровом дыму. Топят здесь по-сибирски, раскаляют печи и спят все в поту. Должно быть, из-за этого у меня никак не проходит бронхит — вот уже четвертую неделю.

Скажи Димушке, чтобы ждал папу 28-го или 29-го днем. Я думаю, что после моего приезда тебе будет гораздо легче. Я рвусь в Москву — здесь уже все главное я

изучил и за эти дни приведу в порядок свой материал. Страшно стосковался.

Ответить мне на это письмо ты не успеешь — ты получишь его числа 18-го. Если ответишь 19-го, то я получу за день до отъезда. Боюсь, что РОСТА подведет с деньгами. Один раз на мое требование аванса они наивно запросили: «Сообщите, чем объясняется требование денег». Большего идиотизма я не встречал. Я отправил телеграмму, что мне нужно покрыть крупные карточные долги, но потом ее задержал во избежание скандала. Устраиваюсь здесь так, чтобы в случае задержки денег выехать, не дожидаясь перевода.

Целую. *Кот.*

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

13 мая 1932 г. Мурманск

Никак не могу привыкнуть к незаходящему солнцу — пишу в 9 часов вечера и смотрю, как солнце не опускается, а катится вдоль горизонта.

Завтра днем выезжаю в Петрозаводск — буду там рано утром 16 мая. Получила ли ты мою открытку об удостоверении от «Водного транспорта». Соня забыла его мне вернуть. Вышли его в Петрозаводск.

Отвезла ли вчера Димушку?

Вчера несколько часов провел в местном музее — подбирал материал. Есть интересные вещи, хотя я и убедился, что глубокого знания Севера у нас еще нет,— я говорил со знатоками, просматривал литературу — все это носит какой-то хищнический характер, характер поспешного высасывания богатств.

Сегодня впервые ел треску — очень вкусно, рыба наполовину состоит из жира.

Потеплело, днем было даже жарко, но страшная грязь — тает, и с гор через город несутся целые реки.

Целую. *Кот.* Привет Ивану Георгиевичу.

Я пишу каждый день — это уже пятая открытка.

Написал открытку маме о том, что в 20-х числах мая (в конце месяца) буду в Москве.

Привет Фраерману и Роскину.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

20 мая 1932 г. Петрозаводск

Крол, кроме двух писем, о которых я писал, от тебя ничего нет. Послезавтра уезжаю отсюда в Ленинград.

Много возни с материалом, но нашел интересные вещи. Вчера плавал на пароходе по озеру — в Кондопогу. Замечательные деревянные церкви на гранитных отполированных скалах — «бараньих лбах». Красивые старики — тип повгородцев.

Сегодня весь день буду работать в местном архиве,— в бывшем губернаторском доме, построенном Росси. Дом выстроен подковой, ампирный, о нем датский писатель Нексе, бывший в Петрозаводске, сказал, что уголок города с этим домом напоминает Веймар.

Опять холода. Здесь очень голодно,— кроме похлебки с ячной кашей и той же каши на второе нигде ничего нет, даже в единственной коммерческой столовой.

В Л-де пробуду до 28-го. 28-го утром выеду на пароходе по Мариинской системе в Москву. Не говори пока в «Мол. гв.» и «Наших дост.», что я возвращаюсь. Целую. *Кот.*

Поцелуй Димушку. Писал ли я тебе, что в Мурманске купил себе брюки?

Р. И. ФРАЕРМАНУ

4 сентября 1932 г. Солотча

(В письме 8 страниц — Эйхлеровская норма)

Друзья, задержите Роскина до нашего возвращения в Москву (10 и 13 сентября),— Мальвина собирается чествовать его за остроумие грандиозным банкетом.

Сегодня получил письмо от Вали. Я очень благодарен за выполнение просьбы и за те ценные сведения, которыми изобилует письмо,— в частности, за сообщение о том, что «Зола» приедет в Москву.

Получил привет от Туси Разумовской.

Если рана до отъезда заживет — пойду на Черное озеро. Было три синих и жарких дня с паутиной и дождем желтой листвы, стояло безветрие, но сегодня опять задул суховей.

Вы ужинаете в Метрополях, натираете полы и спорите с очкастыми мышами («знаете-понимаете») о ширпо-

требе, мы — каждым нервом чувствуем биение осени. Уже улетают птицы — это очень печально, как в старом романсе.

Напишите непременно,— до отъезда мы еще успеем получить ваше письмо.

Боюсь, что нога задержит меня в Солотче дольше, чем хотелось бы. Немного неприятна температура,— как бы не заразили рану, лезут в нее грязными скальпелями и пальцами. В больнице я подслушал несколько сюжетов, которые недорого продам Роскину.

Пишите.

Ваш *К. Паустовский.*

Приписку делаю специально для Вали. В виде мести за ее чудесный почерк.

К.

Я, кажется, пишу немного неразборчиво?

9 сентября 1932 г. Солотча

Рувим, дорогой! Не поленитесь позвонить в «Наши достижения» Бобрышеву или Разину и передать, что вторая часть «Лонсевиля» готова и я ее переписываю (идиотская работа) и вышлю 12 сентября. Задержала нога, писать лежа очень трудно. Деньги от них я получил, за что можете выразить им от моего имени благодарность.

Еще одна наглая просьба. Мальвина даст Вам в Москве 10 рублей. Если Вы будете в Доме Герцена, то заплатите за меня членские взносы за июнь и июль (по 5 руб. за месяц) — иначе меня опять выкинут,— кажется, в четвертый раз.

Мальвина уезжает в настроении приподнятом и многошумном. Она совершенно не выносит одиночества. Все ее попытки опорочить меня, каковые она грозит предпринять в Москве, пресеките самым жестоким образом. Довольно хамства!!

О сроках нашего разновременного возвращения в Москву Мальвина даст соответствующие разъяснения.

Стоят чудесные дни. На пляже снова появились женщины.

Все желтеет — пожалостинский сад, ветлы, травы, водоросли, и даже глаза ворюг-котов источают особую осеннюю желтизну. Осень вошла в Солотчу и, кажется, прочно. Все в паутине и в солнце. Безветрие, какого не было даже

летом,— поплавки стоят, как зачарованные,— и виден самый тонкий клев. Решил, как только заживет нога, пойти на Черное озеро. Пишу, читаю и предаюсь то горестным, то веселым размышлениям в зависимости от ветров. Ночи уже длинные и густо пересыпанные звездами,— вообще жаль, что Вы не видите здешней осени, пожалуй, это лучшее время. «И каждой осенью я расцветаю вновь».

12 сентября 1932 г.

Как Вы сами знаете-понимаете, этот вопрос меня живо волнует.

Рувим ведет себя по-хамски,— мы ждем от него хотя бы строчки. Кстати, «рувины дела» — я потерял его донку и поймал щуку на 2 фунта с восьмой и четырех фунтовых плотиц!!!

Мои последние дни в Солотче проходят под знаком загадочных и трагических событий.

Событие первое. 31 августа я шел через чертов мост на Промоину, вслед за мной полезла на мост рыжая корова с подпалинами, сорвалась с грохотом в воду и утонула с трубным ревом. Я был потрясен.

Событие второе. 1 сентября у меня начала чудовищно болеть нога,— оказывается, я занозил ее какой-то ядовитой колючкой. 2 сентября воспаление дошло до паха, что дало Мальвине повод легкомысленно подозревать «любострастную болезнь», а 3 сент. мне резали ногу.

Я пишу — не то что вы, совершенно излодырничавшиеся (17 букв!) и исхамившиеся.

Я занят письмами Марии Трините, внешне похожей на Лемаринье, а по характеру напоминающей Ларису Рейснер в молодости. Мне нравится писать эту нервную женщину на фоне аракчеевской России. Как это ни странно — но «Наши достижения» «Лонсевиля» печатают. От Эйхлера получил 200 рублей и холодное письмо, полное упреков и обвинений в забывчивости.

Кстати, я набрасываю схему рассказа «для себя». Рассказ скверный. К нему очень подходит название «Преодоление»,— если увидите Югова, то убедите его отказаться от этого названия и уступить мне. Обещаю ему половину гонорара (рассказ все равно напечатан не будет).

Довольно шуток. Не сердитесь за поручения. Пишите. Я успею еще не раз получить Ваши письма. Привет Роскину.

Ваш *К. Паустовский.*

20 сентября 1932 г. Солотча

Чудаки! Нет бумаги. Приходится писать на старых листках из блокнота. На днях приеду в Москву, если мое существование не прекратит своей медлительностью «Солотчинская почта». Я остался с тремя рублями и с Димушкой и чувствую себя, как Роскин, когда он блейфует в крупной игре. Если почта задержит деньги, я обречен на смерть от голода и холода.

Идут дожди, ненастье, угрюмость, как хорошо сейчас щелкнуть выключателем в теплой комнате с блестяще натертыми полами, сесть на диван под портретом Гамсуна и поговорить о Гудаутах, осени и «странностях любви». Неплохо выпить стакан барзака, глядя на Жоржа, обдумывающего, поджав губы, какой бы новой туманностью козырнуть перед настороженными слушателями. Даже послушать мистические бредни Югова или рассказы Микусона. Одним словом, я жажду культуры и дмитровских вечеров.

Как «Зола», «знаете-понимаете», Микусон? Начали ли правильную осаду вашего дивана под писательскими портретами? Почему молчит Роскин? <...>

P. S. Екатерина, будучи в Рязани, устроила панихиду по поводу денег, не зная, что деньги пришли. Я ругал ее. Она очень извиняется, что зря Вас встревожила.

Мальвина расскажет Вам потрясающие истории с бредом Лемаринье. Какой скандал в «аристократическом семействе».

Хочется спокойно писать, но роковое безденежье вряд ли даст эту возможность.

Что злословит Мальвина? Вгоняйте ее в жесткие рамки...

Я опустошен холодом и бесконечными ночами. Света нет, все кончается — такое чувство, будто я современник всемирного потопа. Сос! Спасите наши души.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

11 марта 1933 г. Ленинград

Крол, Тихонов задерживает рукопись,— у него больна жена — выеду отсюда 13-го, в Москве буду 14 днем.

Был вчера в Эрмитаже. Старые мастера (Рубенс, Ра-

фаэль, Мурильо и др.) оказались гораздо тусклее, чем я думал. Совершенно гениальна Мадонна («Литта») Леонардо да Винчи. Перед ней я стоял часа два. Вообще Эрмитаж очень сумрачен и великолепен.

Получила ли ты открытку о гранках Лонсевиля и очерк. Гранки хорошо было бы задержать до меня,— мне бы очень хотелось прочесть их самому. Получил сразу две твои открытки — от 4-го и 6-го. Как хорошо, что ты занялась живописью. Как Дим?

Здесь туманы, те туманы, о которых я писал в Лонсевиле. Оказалось очень точно. Часто вижу Колбасьева — он чудесный человек <...>

Н. Д. подкидывает мне много вещей для А. И. Боюсь, как бы не сперли. Сегодня собираюсь в Русский музей — на выставку. Ее скоро увозят в Москву.

Целую. Я страшно рад спокойствию и жизнерадостности твоих писем, Кролик. Целую. *Кот*.

В. С. ФРАЕРМАН

1 июля 1934 г. Курск

Валя, я променял свою писательскую профессию на роль проводника дальних поездов.

Был во флоте, в Коктебеле, жил в Старом Крыму, в доме Грина и его жены. Вернулся в Москву, где мы пили и работали (т. е. Рувим, Роскин, Розвал, Рудерман и один я на «П»).

Сейчас еду с Димой в Коктебель, их школу закрыли из-за скарлатины. 4-го выеду через Одессу в Киев к М. Г., оттуда в Москву и, надо надеяться, в Солотчу.

Не мешало бы написать в знак старой дружбы хотя бы открытку.

Ваш *К. Паустовский*.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

18 июля 1934 г. Москва

Кролик родной мой. Опять я встревожен болезнью мальчика. Напиши сейчас же, как он себя чувствует. Обидно за тебя, что тебе опять пришлось возиться. Он, должно быть, перекупался в море...

Я очень устал (кончаю либретто), мне страшно хо-

чется отдохнуть, сосредоточиться и работать, и в последнюю минуту отпала Солотча. И, как всегда в минуты такого развала, выход пришел неожиданно, и выход хороший. Михаил Сергеевич (я с ним очень сдружился, оказывается, он очень веселый и остроумный человек) позвонил мне и начал уговаривать меня ехать с ними на Каму. Там — леса, Кама, озера — и ни о чем не надо заботиться. Места, говорят, изумительные по красоте и пустынности. Хлеб и все продукты есть, готовят хозяйки. Я согласился и очень рад этому. Их мальчик и с прислугой, и сестрой Мих. Сергеича едет туда числа 24-го, 25-го. Я, может быть, успею выехать с ними (ехать надо на пароходе от самой Москвы). Мих. Сергеевич и Вал. Влад. выедут позже, примерно к 15 августа. Валерия говорит, что я там ни о чем не буду заботиться. Они предлагают ехать туда нам всем. В будущем году они тоже туда поедут. Мне почему-то очень хочется пожить в такой глуши.

Протелеграфируй мне сейчас же, как ты относишься к этому плану. Если ты согласна, я выеду туда числа 25-го и проживу там до половины сентября, кончу книгу. Было бы чудесно...

Как ты хочешь? Может быть, ты с Димушкой приедешь туда,— во всяком случае, билеты я тебе обеспечу через газету «Водный транспорт» с тем, что по первому твоему требованию их тебе выдадут. С собой туда брать (из продуктов) ничего не надо (за исключением сахара, конфет и чая), а дорога сама по себе является отдыхом.

Сделаем так,— до твоей телеграммы я ничего не буду делать в смысле подготовки к отъезду. Если ты согласна на мою поездку на Каму — телеграфируй, я выеду тогда 24—25 июля. В Москве ужасно — духота, жара, пыль, десятки мелких и крупных дел <...>

С дачей я устрою. Сейчас меня мучает Марьямов, и, если бы не необходимость, я бы отказался от сценария «Колхиды». Я мечтаю о той минуте, когда я выеду из Москвы... В Москве скучно и утомительно.

Телеграфируй мне, Зайчиха, о мальчике и о Каме. Без тебя я не хочу решать, а время идет. Мне очень хочется уехать, в Москве голова идет кругом от дел...

И если ты не будешь возражать против Камы и если я буду спокоен за тебя и мальчишку, я чувствую, что напишу замечательную вещь,— уж очень много накопилось мыслей и материала.

До отъезда напишу еще.

Целую. Привет всем. *Кот.*

Главное, не забудь протелеграфировать: о Каме,— согласна ли ты, чтобы я поехал, и о путевке — продлить ли ее и на сколько.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

7 декабря 1934 г. Ялта

Кукс-мукс, я послал тебе сегодня телеграмму с поздравлением. От тебя до сих пор нет писем. Работаю много,— исправил первую часть сценария, выбросил всю ерунду и написал одну новую сцену. Завтра ее будет репетировать Попов — очень милый человек, друг Пильняка. Сегодня я отъединился от него,— у меня маленькая, но теплая комната (здесь в доме холодно, как зимой в Париже). На море шторм, и стало холоднее. В городе пустынно. Труппа у Разумного слабая. Будет много возни.

Как Димушка-мальчик. Не огорчает ли тебя.

Можешь мне писать так: Ялта, гостиница Интуриста «Ленинград» комната 45. Мне.

Целую. *Кот*. Что нового в Москве?

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

13 декабря 1934 г. Ялта

Кролик, получил твое письмо и опять встревожился за Димушку. Не писал больших писем, потому что очень много работы и, кажется, бесплодной. Переделал весь сценарий (за исключением первой части), но многого исправить не удалось, т. к. нельзя особенно сильпо перекраивать уже снятые куски. Некоторые места пришлось по моему требованию переснять.

Актеры (Миллер и красноармеец) — очень славные, способные, но Разумный не дает им развернуться.

Шацкий — шляпа, пришибленный человек, и эту пришибленность переносят на экран. Очень хорошо играл грузина в трюме татарин Хайри. В группе много лишних людей,— бессловесных существ, боящихся Разумного до потери речи.

Панкрышев — помощник Разумного, очень талантливый актер, но он совершенно бессилен справиться с Разумным, ведь в кино режиссер — сатрап.

Я держусь очень твердо и спокойно и исправляю все, что можно.

За эти дни я столько узнал о нравах кинолюдей, что у меня окончательно пропала охота работать над сценарием «Колхиды». Ничто так не растлевает и не развращает творчески людей, как работа в кино, ничто так не обеспложивает. И какой бы прекрасный сценарий ни был написан, все равно его или зарежут, или испакостят, если не отказаться от авторских в пользу режиссера,— об этом киношники говорят как о совершенно нормальной вещи.

Здесь тихо, хотя по утрам лежит иней. Сегодня первый очень солнечный день, но я редко выхожу — много работы. По ночам иногда бываю на съемке. Все это очень интересно, но не тогда, когда вивисекция производится над твоим материалом. На съемке — много крику, суеты и бестолочи...

Я устал от них. С завтрашнего дня у меня будет меньше работы, и я не спеша напишу рассказ для «Правды» — я получил от них телеграмму. Тема рассказа (по просьбе «Правды») — люди нашей страны мечтают о будущем...

Я послал тебе только что телеграмму о Димушке. В зависимости от твоего ответа я или задержусь, или выеду со всеми.

Познакомился здесь с художником Комарденковым — у него замечательные пейзажи.

Посылаю фотографию,— в трюме, где идет съемка. Трюм сделан из фанеры и хорошо качается,— некоторые актеры даже укачиваются во время съемки.

Поцелуй мальчишечку. Не волнуйся из-за Нюши.

Целую. *Кот*.

Адрес: Ялта, гостиница Интуриста «Ленинград», комн. 45.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

16 февраля 1935 г. Москва

Крол, родной. Получил твои письма от Базилевского <...> Я действительно изменился,— очевидно, начал стареть и устал не от работы, а от обязательств и возни с кино. Все говорят, что работа в кино — преступление. Она меня угнетает, и, пока я не покончу с кино, у меня, д. б., будет скверное настроение.

Димушка весел и хорошо учится.

Вчера в «Лит. газете» была статья Левидова о Грине,— он пишет в ней и обо мне: «Но если как-то не нужен стал тот, старый Грин, значит ли это, что нет места у нас для новых Гринов? Неверный вывод: опи нужны, ибо соревнуется с жизнью искусство в мастерстве, в созидании героического взаимодействия друг на друга. И я читаю новеллу К. Паустовского «Доблесть», как документ соревнования. Чудесная «гриновская» новелла. С простым сюжетом и без особого мастерства стиля. О маленьком мальчике, который тяжело болен и которого спасают от смерти могучее желание и активная любовь всего города. Не потому, что был бы этот мальчик какой-то особый мальчик, а потому, что он просто «общий» мальчик. Это все. И это очень просто, но и страшно много. Ибо это — оптимистическая новелла, но и героическая реальность близкого дпя. Искусство бросило жизни вызов — жизнь ответит. Ибо,— говорится в новелле,— «создавать счастье — это самый высокий труд. Его осуществляет вся наша страна». И это правда, в создании которой соревнуются мастера героического — жизнь и искусство».

«Правда» просит, чтобы я написал статью о «Доблести», т. к. очень много читательских писем.

Сегодня я с утра в страшном волнении,— вечером надо выступать со своими воспоминаниями о Багрицком в Союзе писателей. Будут Бабель, Олеша, Пастернак, Нарбут, Вера Инбер, Шкловский и др. Очень страшно, но Нарбут настаивает.

Хочу приготовиться и выспаться. Поэтому спешу. Не знаю — удастся ли приехать 18-го. Привози, пожалуй, собачку. Дим будет в восторге.

Я звонил Успенскому об отдельной комнате для тебя.

Надо будет мне поехать в дом отдыха,— Москва утомляет и обеспложивает.

Целую. Не волнуйся.

Кот.

Не знаю — такую ли я положил клеенку. Мы с Димой опоздали на поезд и два часа катались в Хотькове на лыжах с гор около станции. Дим — очень смелый лыжник и прекраспо съезжает с гор.

P. S. Если о моем плохом виде говорит Зорич, то это — по субъективным причинам, не обращай внимания.

Р. И. ФРАЕРМАНУ

2 июня 1935 г. Петрозаводск

Рувим, третий день идет снег, холод собачий, в домах топят печи, и карелы ходят в шубах и валенках. Пишу Вам в час ночи, без лампы, совсем светло, смотрю, как за окнами валит густой снег, и чувствую себя в Нарыме,— завтра мне надо ехать в самый дикий город Карелии — Олонец, по невообразимым дорогам. Был в Киваче, воспетом Державиным, и в Кондопоге, Кивач прекрасен.

Видел десятки чудесных озер, и если бы не здешний проклятый климат,— какая бы тут была рыбная ловля!

Вернусь в Москву к 18—20 июня — и двинем в Солотчу. Обязательно. Как Вы думаете, не надо ли написать старушкам, чтобы оставили нам баню.

Готовите ли рыболовные принадлежности? Как Роскин? Поедет ли с нами?

Передайте ему привет.

Всего лучшего.

Ваш *К. Паустовский.*

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

<Начало июня> 1935 г. Петрозаводск

Крол, собирался написать еще третьего дня, но Архипов увез меня к себе (он живет в 30 километрах от Петрозаводска) и вчера весь день рассказывал мне свою биографию. В общем, два дня я провел в гостях у президента Карельской республики. Архипов — бывший сапожник, потом рыбак, председатель Совнаркома. Гюллинг — доктор философии Стокгольмского университета, а в гостях у Архипова был начальник Балтийско-Беломорского Канала — очень молодой работник ГПУ и знаменитый инженер Вержбицкий — бывший вредитель, теперь он награжден орденом Красного Знамени. (О нем прекрасный очерк написал Рыкачев) <...>

Посылку высылать не надо,— сейчас потеплело, хотя и пасмурно и уже начали распускаться деревья. Днем бывает даже жарко. Как Димушка? Он прислал мне только одно письмо. Получил ли он мои открытки с видами Карелии. Сегодня Архипов со мной и двумя своими помощниками выезжает в Среднюю Карелию,— дороги уже про-

сохли, поедем на машине. Маршрут довольно сложный — на Ругозеро, Реболы, оттуда на Олонец, Лодейное поле и Вознесение. Займет он несколько дней. После этой поездки я вернусь в Москву.

Написал для «Правды» очерк о Карелии, но еще не отделал, если успею, то пришлю, если нет,— то привезу сам. Над «Доблестью» почти не работал, т. к. все дни заняты сплошь,— то беседами, то осмотрами, то работой в архивах. Кроме того, здешний молодой литературовед — очень неопытный — пишет обо мне статью и каждый день со мной советуется, это тоже берет по два часа в день.

Я здоров, хотя и похудел, т. к. много двигаюсь, но это как раз хорошо. Питаются здесь исключительно рыбой (лососиной и ряпушкой), надоели они всем смертельно, но мяса и овощей здесь почти нет.

Поцелуй Димушку. Скажи ему, что Архипов мне рассказывал о своем детстве,— когда ему было 8 лет, его уже заставляли пахать и мать привязывала его полотенцем к сохе, чтобы ему было легче.

Вчера вечером директор здешнего музея Макарьев вызвал меня и познакомил с лучшей сказительницей былин, почти столетней старушкой Богдановой. Она приехала из Заонежья за пенсией. Я записал ее биографию,— она говорит на чудесном древнем языке, а былины называет «досюльными» песнями (т. е. старыми, старинными). Петь она научилась от знаменитого сказителя Рябинина. Обо мне она сказала: «Писатель, грамматический человек», т. е. грамотный, ее удивило, что я быстро пишу.

Целую. Не таращь глаза. Скоро буду в Москве.

Кот.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

<Июнь> 1935 г. Солотча

Крол, в Солотче совершенно нет конвертов, и поэтому не удивляйся, что я пишу на двух открытках.

Спасибо за письма. Я очень рад, что наконец «Романтики» будут напечатаны, и согласен со всеми исправлениями. Мелочи я исправлю в гранках. Хорошо было бы сообщить издательству мой адрес,— гранки ведь будут готовы довольно скоро.

Завидую тебе, что ты едешь в Одессу, хочется к морю, и я, должно быть, приеду. Напиши мне одесский адрес.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

7 июля 1935 г. Солотча

Крол, получил два твоих письма. Судя по ним, литературные и денежные дела очень осложнились, и я думаю, что мне надо будет на два-три дня приехать в Москву.

Сначала с мелочей,— «Девонский известяк» лучше не печатать. Я знаю, что редакция ждет меня, чтобы говорить о переделках,— переделывать я ничего не буду.

«Колхознику» я осенью дам рассказ.

Что касается сборника, то, по-моему, Трусов прав. Третью часть «Романтиков» ему можно дать. «Морскую прививку» лучше не давать. В сборник советских новелл достаточно включить «Соранг», «Тост» и «Доблесть». Этого вполне хватит. Роскинский экземпляр сценария надо прислать мне сюда по возможности скорей, чтобы я успел его выправить, к пабору для августовской книги «Нов. мира».

Деньги Межрабпому я сейчас вернуть пе могу. Верну осенью. Марьямов уверял меня, что они были в свое время перечислены с Потылихи,— он попросту надул меня и поставил в нелепое положение. Скажи об этом Фельдмапу,— вся эта история должна быть расхлебана Марьямовым. Кроме того, потребуй, чтобы он немедленно перечислил последние деньги за сценарий (около 5 тысяч). Сценарий сдан, принят и должен быть оплачен вне зависимости от всяческих Гришиных комбинаций. Марьямову я пишу отдельно. Вот, кажется, и все дела.

Я пробуду здесь до 1 августа, потом, вероятно, вернусь и тогда буду «планировать» осень. Диму напишу, чтобы он не делал глупостей, иначе я его никуда с собой не возьму. Здесь Фраерман и Навашин.

Я пачал работать над «Доблестью» и числа 11—12 вышлю ее в Москву. Работать здесь прекрасно, несмотря на ежедневные дожди и холода.

Спешу, чтобы к двум часам сдать письмо на поезд. Если уедешь, то напиши, где оставишь ключ от квартиры.

Привет Марьямову, Ал. Ник. и всем остальным. Б. Мир. я напишу — м. б., это на нее подействует.

Всего хорошего. Целую.

Кот.

Е. С. ЗАГОРСКОЙ-ПАУСТОВСКОЙ

1 ноября 1935 г. Севастополь

Крол, я не писал так долго потому, что очень и очень много работаю (я уже написал больше 3 листов) и лечусь и все это берет так много времени, что, мне кажется, я только на днях приехал из Москвы. Не сердись и не думай обо мне плохо. Я рад тому, что попал в Севастополь, в Морской библиотеке — целые залежи интереснейшего материала, много редких и ценных книг о Черном море и архивных документов. Встретили меня здесь очень хорошо,— горсовет дал комнату, командующий Черноморским флотом распорядился открыть мне архивы, в местной газете обо мне два раза писали. Работать никто и ничто не мешает, и работаю я с наслаждением. Очевидно, помогает и лечение,— я очень поправился. Мне ни о чем не приходится заботиться, и это меня даже смущает.

Я редко бываю вне дома, т. к. тороплюсь с книгой. К первым числам декабря я должен привезти ее в Москву.

Гранки «Романтиков» я прочел и отправил в Москву вместе с предисловием. Больше всего пришлось выправить середину вещи (Москву и Крым). Кажется, будет хорошо. Сейчас я тороплюсь писать, т. к. только что мне передали телеграмму из Гослитиздата — они сообщают, что вторую партию гранок и предисловие получили, а первой еще нет (ее я выслал еще 25-го). Сейчас иду на почтамт выяснять. Здешняя почта отвратительна.

Доверенность Марьямову вышлю завтра или сегодня вечером, сейчас надо уладить с гранками,— если они их потеряли, то будет очень неприятная задержка.

«Карабугаз» (сценарий) я доделывать не буду. Я все больше склоняюсь к той мысли, что надо снять свое имя.

Журналам, которым я обещал материал, я дам отрывки из новой вещи. Денег у меня пока хватит.

На днях напишу о себе. Поцелуй Дима. Я послал ему книжку Томпсона.

Целую. *Кот.*

Г. Л. ЭЙХЛЕРУ

2 декабря 1935 г. Севастополь

Генрих, дорогой, спасибо за деньги и за письмо,— Вы меня, как всегда, выручили. Конечно, я свинья, что не пишу Вам, но я работаю бешено, время в работе идет

стремительно, и писать обстоятельно — очень трудно. Поэтому — не сердитесь!

Книгу кончаю,— работы осталось на пять-шесть дней. В Москве буду к 14—15 декабря.

В Москву ехать не хочется,— Вас там поносят и давят в заплеванных трамваях, а здесь зимние штили, теплота, солнце, за окнами, когда я пишу, проходят в море корабли. Изредка заходят ко мне севастопольцы — помощники Шмидта по очаковскому восстанию минер Мартыненко, «дядя Федя» — маленький, рыжий, пьяный и добродушный боцман, директор Морской библиотеки Лелонг — знаток литературы и коннозаводства, бывал Гаврилов (сейчас он в Москве), которого Вы не любите за халтуру. Если отнять халтуру, то он очень хороший человек и не плохой моряк. Познакомился с сестрой Шмидта — Анной Петровной Избаш,— чудесная старушка.

В редкие свободные часы брожу по городу, езжу на Северную и Корабельную и должен Вам сказать, что Севастополь — изумительный город, и если бы Цыпин понимал дело, то он бы перевел сюда Детгиз, и мы бы зажили «знаменито».

Выступал здесь в Детской библиотеке. Ребята очень хорошие. Это выступление Солнцева (или кто-то другой в Детгизе, кто этим ведает) может записать в актив Детгиза.

Выступал среди молодых моряков — очень славный народ. Хорошо знают литературу.

Когда приеду — очень скоро,— расскажу все подробно.

Привет всем. Не болейте и не работайте, как всегда, сверх сил.

Всего хорошего. Ваш *К. Паустовский.*

P. S. Посылаю Вам сентиментальные лепестки роз — они цветут сейчас по всему Севастополю. Но знайте, что эти лепестки не от меня и не от жены Грина, которая сидит в своем Старом Крыму,— а от кого — об этом Вы узнаете в свое время или никогда.

Н. Н. ГРИН

15 мая 1936 г. Москва

Дорогая Нина Николаевна,— простите, что так долго не писал,— был занят множеством литературных и личных дел.

Все материалы об Александре Степановиче и фотогра-

фии я получил,— сейчас все это хранится у меня. К сожалению, большинство фотографий напечатать в книге не удастся,— очень неясные и темные оттиски. Будут напечатаны 2 портрета — тот, с которого делал гравюру Козлинский, и портрет «с ястребом».

Книга уже пошла в производство,— издательство меня очень торопило.

В книге — около 14 листов (вошло 18 вещей, в том числе крупные «Сто верст по реке», «Остров Рено», «Жизнь Гнорра» и др.). Я написал «вступительную статью» — так она именуется в договоре — об Александре Степановиче, конечно, это не статья, а рассказ о нем как о человеке и писателе. Копию я Вам пришлю, как только перепечатаю,— сейчас у меня нет лишней. Статья большая — два печатных листа.

Единственное для меня было очень трудным — это необходимость в некоторых рассказах «вынуть» некоторые небольшие места, которые издательство считает «недетскими».

Сейчас у меня нет под рукой списков рассказов, вошедших в сборник, но я попытаюсь перечислить их по памяти: 1) Капитан Дюм, 2) Комендант порта, 3) Возвращение, 4) Сто верст по реке, 5) Остров Рено, 6) Жизнь Гнорра, 7) Гнев отца, 8) Гатт, Витт и Редотт, 9) Бродяга и начальник тюрьмы, 10) Акварель, 11) Двойная ошибка, 12) Бочка пресной воды, 13) Словоохотливый домовой, 14) Продолжение следует, 15) На обратпом берегу, 16) Как я умирал на экране.

Остальные два рассказа я не помню.

Статью об Александре Степановиче я хочу, помимо книги, напечатать еще в одном из толстых журналов.

Выслало ли издательство Вам деньги? Завтра я там буду и поговорю об этом.

Как здоровье? Напишите. Я на днях уезжаю из Москвы в Мещорские леса — отдыхать, читать и удить рыбу. Мой адрес: Солотча, Московской области, Рязанского района, дом Пожалостиных, мне.

Всего хорошего. Привет Вашей маме.

Не хворайте!

Ваш *К. Паустовский.*

Книга выйдет, очевидно, в августе.

В. В. НАВАШИНОЙ

6 сентября 1936 г. Солотча

<...> Я работаю, но не тороплюсь,— мне не хочется комкать и портить солотчинский материал — ведь он почти что «звериный». Окончу через два-три дня и пришлю тебе,— конечно, в «Пионере» будет скандал.

Мы живем с Мишей, как зверобои,— мокнем под дождями, сохнем на ветру, спим мертвым сном. Матрена Давыдовна кормит нас прекрасно. Миша совершенно сошел с ума с рыбной ловлей — остановить его невозможно, да и не нужно,— он очень окреп и помолодел. Ждем Рувима,— конечно, он надует и «крутит нам пуговицы». Лодка совсем прохудилась,— свистит и поет на все голоса, и Миша каждый день ставит на ней заплаты <...>

В бане чисто, тепло и уютно, в саду я каждый депь подметаю и ругаюсь с Мишей из-за перекопанных дорожек. Цветут все цветы, зацвели наши ноготки, уже падают желтые листья. Начинаются чудесные осенние дни — безветренные, прохладные, ясные. Как хорошо было бы, если бы ты могла приехать хотя бы на два-три дня. На Промоине зацвела осенняя гвоздика — очень яркая и крупная. Канава вся в красном шиповнике. И тишина кругом мертвая — все разъехались. Рувим будет полным дураком, если не приедет. Передай ему, что вчера мы поймали 58 крупных окуней, шелесперов и плотиц (против Лысой горы, на том месте, где ты ловила с Мишей, когда мы ездили к Лялину) <...>

Твой Пауст.

В. В. НАВАШИНОЙ

10 сентября 1936 г. Солотча

Валюшонок, родной мой, напуганный зверь, как хорошо, что ты прислала мне Левитана и письма. Третьего дня я послал тебе письмо,— пе знаю — получила ли ты его. Только что Миша с Рувимом ушли в лес за грибами (дует северный холодный ветер, и рыбу ловить нельзя), я остался один, кончаю рассказ для «Пионера» и топлю печи. Трещит огонь, шумит в саду ветер, в кладовой топчется Матрена Давыдовна — чудесная старушка — и жарит нам гигантские белые грибы... Но меня все время от-

рывают, Любовь Андреевна принесла нам студень из свинины, Ан. Ив.— дрова и колун, телеграфистка — телеграмму из «Правды» (просят рассказ — придется его написать), Матрена Давыдовна — червей и грибы, а сейчас пришел «снохач» со свеклой и солеными огурцами <...>

Здесь хорошо — пустынно, немного печально и спокойно, но если бы не Миша и Рувим, то я сегодня же уехал бы в Москву <...>

Рассказ для «Пионера» я завтра окончу и 12-го вышлю тебе. Ты прочти его, исправь, если что-нибудь не понравится, и позвони Валентине, чтобы прислали курьера. Пусть перепечатают на машинке лишний экземпляр и вернут тебе.

Рассказ для «Правды» я тоже пришлю тебе и напишу, кому позвонить, чтобы за рассказом прислали. Живем мы очень дружно, а после приезда Рувима — весело. Рувец в восторге от Солотчи и наслаждается всем,— даже холодом и дождями (во время дождей — изумительный острый воздух, пахнет осенней листвой). Я ничего не писал тебе о нашей жизни. Мы были с Мишей на Промоине, фантастической Старице, Канаве ловили, жарили на кострах шашлык, мокли под дождями, много бродили. 7-го днем мы пошли на Прорву, на то место, где была с нами последний раз. Ночевали на Прорве в палатке. Ночь была очень теплая, мы натаскали сена и крепко спали до рассвета, хотя и шел дождь. Провели на Прорве весь день — серый, пустынный и ветреный,— было хорошо, но печально. В лугах зацвели какие-то яркие желтые цветы и масса гвоздики и красного шиповника, вода в Прорве стала совершенно прозрачной и зеленой и пахнет морем, водяные лилии уже вянут и умирают.

Вчера мы встречали Рувима... Днем мы взяли лодку у старика генерала и поехали на Старицу. Была жара, как в июле, и монастырь был точно таким, каким ты его рисовала со Старицы, помнишь? К закату сорвался ливень, мы промокли, но все обошлось прекрасно,— никто не простудился.

Рувец уже распределил обязанности, Миша — каптер (заведует всем, что касается жратвы), Рувим ведает деньгами и покупками (сейчас он покупает дрова), а меня выбрали «командиром» — иначе говоря, от меня зависит пускать их или не пускать на рыбную ловлю, назначать часы для работы, назначать экспедиции и т. д. Оба клянутся слушаться меня беспрекословно. Кроме того, я ведаю уборкой. У нас очень чисто (правда, не без борьбы

с Мишей и Рувимом и не без язвительных замечаний Миши,— он никак не может понять, зачем осенью нужно подметать сад).

Помнишь, цыганский табор около Рязани? Эти цыгане на днях перекочевали в Солотчу, на станции молодая цыганка поцеловала какого-то солотчинского парня, цыгане пришли в ярость от ревности, бросились на него с финскими ножами и тяжело ранили. Парня спас Лев Николаевич, а цыган арестовали и выслали. Об этом происшествии будут говорить в Солотче, должно быть, еще лет пять <...>.

Целую тебя крепко... Твой *Па.*

В. В. НАВАШИНОЙ

13 сентября 1936 г. Солотча

<...>Сегодня я выслал на твое имя очерк для «Пионера» — «Вторая родина». Это — первая часть, вторую (засуху, лесные пожары и осень) я начал писать, но еще не окончил. В первой части больше половины печатного листа. Очень досадно, но придется печатать в двух номерах.

Позвони, пожалуйста, Валентине (она вчера прислала Рувиму телеграмму — спрашивает, выслан ли мой рассказ) — пусть пришлет за очерком. Боюсь, что получилась мура: ты прочти, зверь, и если тебе очень не понравится, то лучше не давать. Я сейчас спешу на почту, чтобы письмо и рукопись ушли с двухчасовым поездом, и потому пишу наспех <...>

Миша и Рувим ушли на весь день на Канаву ловить щук, я после поезда понесу им еду. Я начал работать и хожу на рыбную ловлю редко. Миша ловит в каком-то исступлении, как одержимый. Он думает только о ловле, готов сидеть на озерах сутки под дождем, зябнуть и голодать. Даже Рувим уже не выдерживает Мишиного напора, поражен Мишиным рыболовным неистовством и умоляет об отдыхе. Миша здоров — был флюс, но прошел. Рувим за несколько дней стал неузнаваем — румяный, обветренный, веселый и уже начал толстеть.

Здесь холодно, дуют серые ветры, но в лугах и в лесу и у нас в саду и в баньке — чудесно. Над Богословом почти каждый вечер — необыкновенные закаты, а по ночам — страшно яркое звездное небо и иней лежит, как

соль, на срубе колодца. Купили дров, каждый день топим печи. Я подвесил «летучую мышь» в сенях к потолку, и по вечерам у нас — как в таверне. Читаю Шервуда Андерсона, Левитана <...>

Целую тебя очень, очень. Твой *Па.*

В. В. НАВАШИНОЙ

24 сентября 1936 г. Солотча

Валюшенок, родной, только вчера вечером мы вернулись с Прорвы,— провели там три дня и две ночи в палатке. 22-го днем Миша ходил с Прорвы в Солотчу за хлебом и принес твою телеграмму Рувцу. Мы читали ее у костра и пили за тебя ночью под черными ивами. Дни были жаркие и синие, ночи — холодные и звездные. На Прорве — уже золотая осень <...>

Ваграмовой я написал, должно быть, зря, но об этом поговорим в Москве. Она ответила мне очень милым письмом, говорит, что комната за мной, пока она мне будет нужна. Но сейчас это все не важно...

Я вкладываю в это письмо маленькую рукопись для Туси Разумовской. Это — муровое предисловие к книге рассказов (звериных). Мне очень не хочется отрывать тебя от тысячи делишек, ты занята, но я почему-то хочу, чтобы все рукописи проходили через тебя. Позвони, пожалуйста, Разумовской (домашний тел., кажется, 4-15-21, но лучше узнать у Валентины), скажи, что я прислал предисловие, пусть за ним пришлет кого-нибудь из издательства. Кстати (или некстати), я получил письмо от редакции «Пионера» с благодарностью за «прекрасный рассказ» — «Вторую родину». Вот видишь, я даже хвастаюсь. Я совсем здоров, только изредка «сморчусь»,— ты не беспокойся. Выедем мы первого и второго будем в Москве. Рувим пытался удрать в Москву, но был пойман и задержан.

Матрена идет сейчас на почту, и я тороплюсь. Завтра напишу тебе настоящее письмо,— а это ты считай деловой запиской.

Твой *Пауст.*

Зверенышек, рукопись предисловия — единственная (я писал ее без черновика), и ты попроси Разумовскую ее вернуть. Если будешь перезваниваться с Валентиной, то скажи ей, что я прошу дать мне прочесть гранки «Вто-

рой родины» (если они будут не раньше 2-го октября). Ломать гранок я не буду, но хочу прочесть и, может быть, кое-что исправить.

Поцелуй Ажереса. Привет Тане. Еще раз целую. Твой *Па*.

С. М. НАВАШИНУ

<конец сентября> 1936 г.

Серый, — не сердись на меня за то, что я тебе не писал,— когда я писал маме, я думал и о тебе. Спасибо за твои открытки.

Папа расскажет тебе о наших рыболовных победах и поражениях. Мы открыли три новых прекрасных озера, где рыба берет бешено, после них ловить на Промоине — одна скука.

Первое озеро — Селянское, по дороге на Прорву. Мы построили на нем плот. За одну ловлю мы налавливаем на этом озере по пуду крупных окуней и плотиц. Поймали на червя несколько щук. Вчера Аркадий вытащил на червя щуку в три фунта (с берега). Аркадий танцевал на берегу и пел победную песню патагонцев. Щука у него оборвала крючок. Он разделся и переплыл через все озеро к нам (мы с папой и Васей Зотовым удили с плота) за крючком. Чтобы не утонуть, Аркадий подвязал себе на спину сноп из куги.

Второе озеро — Тишь, в лугах, за пасекой, куда мы в прошлом году ходили с мамой, но не дошли, и третье — Старица за Тишью, у самой Оки с яркой зеленой водой. Там масса рыбы. Я приеду с Гайдаром 2-го утром. Решили остаться, чтобы закончить начатые рассказы.

Котище вырос. Я хотел привезти в Москву «Дивного», но хозяйка его не отдает.

Целую тебя крепко,— будь молодцом и помогай во всем Зверю,— твой *Пауст*.

Н. Н. ГРИН

10 октября 1936 г. Москва

Нина Николаевна,— не сердитесь на меня за упорное молчание. Я только на днях вернулся в Москву и застал Ваше письмо от 2 октября.

Был в Детгизе и узнавал о книге. Эйхлера нет — он в Севастополе, а без него никто ничего толком сказать не может. Одно ясно,— книга не сдана в производство и, насколько мне удалось выяснить, внесена в план на 1937 год.

Редактор Клячко (он редактировал книгу) говорит, что книга, конечно, выйдет, но когда — сказать трудно. Цыпин пока неуловим. Все это мне очень не нравится, и я, как только поправлюсь (сейчас я сижу взаперти из-за простуды), займусь этим делом. Сегодня напишу Эйхлеру. Мне кажется, что Цыпин решил книгу «замариновать». Придется дать бой.

В ленинградской «Литературной газете» была статья о «Черном море», посвященная не столько мне, сколько Ал. Степ., очень хорошая. Вообще во всех серьезных отзывах о «Черном море» много говорится об Александре Степановиче,— это меня радует. Я получил несколько писем от читателей, почти все они пишут о Грине, а один бывший матрос, редактор районной газеты где-то на Белом озере, пишет, что у него собрано все без исключения, написанное Александром Степановичем. Я разыщу адрес этого человека и пришлю Вам.

У меня — большие перемены в личной жизни, живу я пока один. Мой временный адрес: Пятницкая 48, кв. 5. Когда будете в Москве, то позвоните по тел. В 1-84-86. В ноябре и декабре буду в Ялте,— работать. Всего хорошего.

Ваш *Паустовский.*

В. К. ПАУСТОВСКОМУ

3 ноября 1936 г. Севастополь

Димушка, поздравляю тебя с праздниками. Напиши мне, как прошли праздники в Москве, а я тебе напишу о Севастополе,— здесь будет парад моряков.

Три дня был страшный шторм и холод, ветер так ревел, что даже в комнатах было жутко. А сегодня на море туман и очень тихо. Иногда мимо моих окон проходят военные корабли, они сейчас все выкрашены в голубой очень яркий цвет. По вечерам рыбаки плавают по бухтам с яркими ацетиленовыми фонарями и бьют острогой рыбу. Окна выходят на маленькую бухту, она называется Артил-

лерийской, в ней стоят только парусные суда — шхуны и фелюги. На днях ночью одну шхуну «Ковалевский» обокрали, и всю ночь в бухте был страшный крик,— плавала на лодках милиция и портовая охрана.

Здесь матросов больше, чем «мирных» жителей. Матросы все очень молодые, высокие и веселые.

Я много работаю и часто бываю в старинной Морской библиотеке, она считается второй в Европе по богатству морских книг. Там есть приказы, написанные от руки Петром Первым, но их очень трудно прочитать,— у Петра был плохой почерк и писал он безграмотно. Есть много книг с гравюрами кораблей и морских боев. В музее я видел модели кораблей величиной в твою комнату.

Недавно я ездил в Стрелецкую бухту,— туда попасть очень трудно, там подымают со дна моря затонувшие корабли. Мне обещали показать подъем, но будет он, должно быть, не скоро.

Напиши, как ты учишься и рисуешь? Ходишь ли в дом Художественного воспитания детей (это, кажется, в Леонтьевском переулке)? Ходишь ли иногда в кино и театры и с кем из мальчиков «водишься»?

Целую тебя крепко-прекрепко.

Па.

Р. И. ФРАЕРМАНУ

15 декабря 1936 г. Ялта

25 ноября мы приехали в Севастополь и видели серые военные корабли на рейде, и дул ветер с севера, и старик в трамвае с копченой кефалью, засунутой в карман пиджака, сказал нам, что в Крыму «погода не имеет дисциплины и там, где сегодня холодно — завтра жарко», и через два часа мы уехали на автобусе в Ялту и видели дым в горах, и он оказался далекими тучами, и в полдень автобус вошел в снега и леса, и горы стояли вокруг будто выкованные из тонкого серебра, и пассажиров рвало, как на море, от множества крутых поворотов, и рвало даже старого моряка, ехавшего с красивой девушкой. За Байдарскими воротами снег сразу исчез, и неожиданно море стало стеной, как туча, и мы видели крутой спуск в Форос, по которому писатель Шторм ездил к Горькому, и солнце лежало на отвесных горах, окрашенных в сиреневый цвет,

и зеленел плющ, и рыжая приморская осень проносилась мимо со скоростью сорока километров в час без обгона, и шофер выплевывал окурки за борт машины, как фокусник, и ревел клаксоном на поворотах, и горное эхо катилось нам навстречу вместе с синим блеском, стремившимся вверх от морского берега, и вдруг открылась Ялта, похожая на рассыпанный мел, и мы пронеслись по узким улицам, и городская сумасшедшая хотела нести наши чемоданы и кричала, что мы в прошлом году сговорились с ней об этом, но мы отказались от ее услуг и взяли двух спившихся людей, которые понесли чемоданы вприпрыжку, и прохожие кричали нам, что это известные русские бандиты, и они унесут наши чемоданы в горы, и будут пировать там на проданные деньги и петь песенку «Ай-яяй, дамы, всегда мы с вамы», но бандиты со слезами на глазах стыдили прохожих, и донесли чемоданы, и попросили по пяти рублей на чай сверх законной платы, ссылаясь на свою честность.

В. К. ПАУСТОВСКОМУ

24 декабря 1936 г. Ялта

Димушка, только что я послал тебе маленький подарок, как будущему «путешественнику». Спасибо за рисунки — иллюстрации к рассказам.

Я приеду в Москву в январе, когда окончу работу. Здесь работать очень хорошо,— тихо и спокойно, людей в доме мало, но иногда мешает работать хорошая погода. Штормы и дожди окончились, сейчас стоят теплые, солнечные дни.

У всех приезжих из Москвы здесь первое время сильно болит голова,— доктора говорят, что это от мягкой приморской зимы. Я тоже лечу здесь голову гальванизацией, и это очень помогает. В доме много зверей — собак и кошек, которые все время дерутся, царапаются в двери и хулиганят. Надоели всем страшно.

Недавно мы ездили на Ай-Петри и «орлиный залет» — на здешнем грузовике. По дороге на Ай-Петри громадные леса из крымской сосны (с бледно-розовыми стволами). Машина прошла облака, мы промокли, потом на Ай-Петри мы очутились над облаками. Солнце жгло страшно, а в тени лежал твердый снег. Внизу до самого горизонта были гладкие облака, залитые солнцем,— это было похоже

на полярный пейзаж. С Ай-Петри мы возвращались в полной темноте, у машины погасли фары, пять километров шофер спускался ощупью над отвесными обрывами, пока не налетел на дерево. Все сошли и пошли пешком через громадные леса, машину оставили. Она догнала нас около Ялты.

На море очень пустынно,— раз в два дня приходят теплоходы, один раз во время шторма отстаивался страшно грязный греческий пароход. В порту стоит старая шхуна, переделанная для съемки картины «Остров сокровищ» (по Стивенсону) в старинный парусный корабль «Эспаньолу». Она раскрашена в черные и белые полосы, по бортам сделаны люки для пушек. Читал ли ты «Остров сокровищ»? Если не читал, то достань и обязательно прочти.

Напиши мне, как ты учишься, что сейчас читаешь? Говорят, в Москве до сих пор нет спега.

Целую тебя крепко-прекрепко.

Папа.

Р. И. ФРАЕРМАНУ

27 декабря 1936 г.

<...>Цыпин забрасывает меня телеграммами о совещании — просит приехать. Но я, конечно, пе приеду — собираюсь написать послание, которое огласит Генрих или Туся, но и его, должно быть, не напишу.

Глупо, нехорошо, стыдно, что Вы пе приехали. Здесь прекрасно.

Ночью дул жестокий норд-ост при совершенно ясном небе. Весь дом пел, как орган, и никто не мог заснуть. Сегодня с горных перевалов ветер принес сухой снег и засыпал им город, как необыкновенной сверкающей пудрой. И все это при жарком и очень ярком солнце.

Сегодня с нами едет Гехт — он чудесный человек и паписал замечательный роман.

Здесь Атаров (из «Н. достижений»), Ермилов, на днях приехал бывший символист, старец Георгий Чулков, который искренне верит в ведьм и говорит, что по утрам слышит с востока трубы архангелов, возвещающих революцию.

Очень обидно, что приходится спешить,— сейчас надо идти в город на автомобильную станцию. Спешу.

Окончил *Левитана.* Написал две зимних крымских новеллы. Начал повесть. Рассказывал ли Вам Роскин об «Американке». Привет бабушке, Валентине Сергеевне и всем.

Ваш *К. Паустовский.*

Г. Л. ЭЙХЛЕРУ

4 января 1937 г. Ялта

Генрих, дорогой, получил Ваше письмо — единственное, других не было. Я очень радуюсь Вашим письмам,— из них я во много раз больше узнаю о московской жизни и московских настроениях, чем из десятков других писем,— то мертвых, то полных наскучившего острословия.

О Москве я думаю со страхом и отвращением. Я разлюбил Москву. Я останусь здесь не меньше, чем до половины февраля,— в Москве мне делать нечего, если не считать делами всякую нудную и утомительную возню с мелочами. Поэтому Вы успеете прислать мне «Черное море» и еще несколько писем. Я не уеду отсюда, пока не окончу книгу.

Сначала о делах. Не изменилось ли решение переиздавать «Черное море» после совещания и после статьи Лежнева в «Правде». Статья неправильна. Каждый автор не только может, но должен бороться за наибольшее распространение своей книги, если он настоящий писатель, а не занимается «вышиванием гладью». Дело издательств и тех, кто ими руководит, сделать отбор и не выпускать халтуру. Крыть надо издательства, а не авторов. Авторы здесь ни при чем. Если Л.— рвач, то это не значит, что надо подымать травлю против писателей вообще. И то, что Грину не дали 200 рублей, что бы ни было, останется преступлением. Беда в том, что литература запружена халтурщиками и карьеристами, но при чем здесь хорошие книги и писатели (Бабель, Иванов и др.). Вопрос о переиздании — не материальный. Писатели и без переизданий не умрут, и отсутствие переизданий вовсе не будет стимулом для работы. Дело в том, что нельзя ошибки руководства литературой перекладывать на чужие плечи и пускать гончих по неверному следу.

Для меня этот вопрос — чисто академический, т. к. меня переиздают без всякого нажима с моей стороны.

Судя по газетам, совещание было вялым и скучным, и никто, кажется, не сказал настоящих слов. Я хотел по-

слать небольшую речь, даже начал ее писать, но вышло очень резко,— Цыпин вряд ли решился бы ее огласить. Поэтому речь я не посылал.

С Вашими замечаниями о «Лонсевиле» («бонапартизм») я согласен. Эту фразу можно вычеркнуть. Что касается Петра — то согласиться с этим я могу, лишь «подчиняясь силе», т. к. по существу требования историка нелепы. Неужели у 150 миллионов обязан быть один и тот же взгляд на Петра, и с каких это пор надо скрывать от всех, что Петр болел сифилисом. Как будто от этого меняется его значение. Неужели надо делать из Петра стопроцентного и сусального героя, когда и без этого ясна вся его значительность. Но, в общем, вычеркивайте,— мне хочется спасти книгу в целом, и из-за этого спорить я не буду.

Я решил писать (и уже пишу) не «Черное море». Писать трудно,— все время ощущаешь давление общепризнанных мнений, и это раздражает и лишает чувства внутренней свободы. Вообще, как видите, я настроен плохо,— все еще не удалось выветрить из себя Москву.

Здесь чудесно,— солнце, влажная теплота, море и тишина. Было бы лучше всего, если бы Вы бросили московскую муру, приехали бы сюда и здесь писали бы свой «дневник». Подумайте. Из писателей здесь почти никого нет,— несколько татар, Ермилов, Чулков, очеркисты из «Наших достижений».

Я очень тороплюсь отправить это письмо сегодня и потому кончаю. О здешней жизни напишу отдельно. Валерия Владимировна часто вспоминает Вас и шлет Вам привет. Привет жене. Очень бы хотелось именно сейчас с Вами увидеться, Генрих.

Привет друзьям. Скажите Тусе, что Левитан готов.

Целую Вас — *К. Паустовский.*

Р. И. ФРАЕРМАНУ

7 января 1937 г. Ялта

Рувец, почему Вы молчите? Я получаю письма от всех — от Генриха, Роскина, Гехта,— кроме Вас. Это плохо.

Мы останемся здесь на февраль. Москва, по всем признакам, омерзительна.

17-го утром Валерия Владимировна приедет на несколько дней в Москву, потом вернется. Приезжайте с ней сюда, бросьте киснуть.

Я счастливо избежал никому не нужного детского совещания и рад этому. Сердится ли Цыпин?

Напишите. На днях мы были в обсерватории, на склонах Ай-Петри. Я завидовал астрономам,— вот где чудесно работать.

Дни стоят мягкие, влажные и теплые. На море — штиль. Скоро расцветут фиалки.

Привет бабушке, Валентине Сергеевне от Валерии Владимировны и меня.

Привет всем «конотопцам».

Целую *К. Паустовский.*

P. S. Послали ли Вы Матрене шесть рублей?

А. А. ФАДЕЕВУ

15 января 1937 г.

Дорогой товарищ Фадеев, очень жаль, что первое письмо к Вам мне приходится писать по несколько неприятному поводу.

С последних чисел ноября я живу в Ялтинском доме творчества Литфонда, работаю здесь над своей новой книгой — я пишу ее к двадцатой годовщине революции. Чтобы дописать книгу, мне нужно еще месяца полтора. Сейчас у меня работа сорвана. Сорвал ее Литфонд. Я просил у Литфонда продлить мне путевку до 1-го марта (моя кончается 23/I). Литфонд отказал мне без всяких мотивировок, тогда как *всем* остальным товарищам, просившим об этом, путевки продлены, несмотря на то, что среди просивших есть не члены Союза писателей, не члены Литфонда, и, кроме того, есть люди, имеющие весьма сомнительное отношение к литературе. В доме свободные места есть. Действия Литфонда загадочны.

В Москве у меня комнаты нет (свою я оставил жене и сыну, когда разошелся с женой). Жить мне негде (до Лаврушинского), и потому отказ Литфонда ставит меня в нелепое положение.

Когда наконец литфондовские чиновники, не знающие литературы, очевидно равнодушные к ней и занимающие-

ся вредной уравниловкой, перестанут портить нам жизнь и срывать работу.

Если Вы сможете мне помочь — я буду очень благодарен.

Весной мы с Фраерманом собираемся на Дальний Восток. Рувим, кажется, говорил Вам об этом.

Всего хорошего. *К. Паустовский.*

В. В. НАВАШИНОЙ

17 января 1937 г. Ялта

<...> Сегодня очень странный, почти сказочный день. С полудня пошел густой снег, совершенно отвесный и бесшумный, но, несмотря па снег, очень тепло. Воздух стал какой-то необыкновенный,— пахнет морем и снегом. Вся Ялта побелела, наш парк стал очень пушистым, мальчишки играют в снежки. Перевалы на Севастополь и Симферополь закрыты,— в два часа дня прекратилось движение,— там столько снега, что машины не могут идти. Поэтому в Ялте — тишина, не слышпо ни одного автомобиля, и только колокол на маяке звонит через каждые пять секунд, так как из-за густого снега в море ничего не видно,— с набережной совершенно не видпо маяка. Звон очень напоминает рождественский звон в церквах, и вообще вся обстановка напоминает старое, забытое рождество. Мы с Атаровым ходили в город. Громадные волны (опять мертвая зыбь) появляются из густого снега очень неожидапно, почти в нескольких шагах <...>

К обеду приехал астроном Белявский, и меня выбрали представителем для того, чтобы с ним возиться. Белявский — очень красивый старик, с серебряной головой (ты его видела в шляпе), в тонком английском костюме. После чая устроили беседу. Он рассказывал множество интересных вещей. Чулков добивался от него (конечно, в затушеванном виде): есть ли бог? Нехода спрашивал, как луна влияет на человека, и рассказал о своей бабушке-лунатичке, она сорвалась с церковной колокольни и разбилась. Но остальные задавали много очень интересных вопросов. Белявский сказал, что он очень счастлив от того, что побывал в среде писателей, и что между писателями и астрономами, пожалуй, больше всего общих черт(?!), но

писатели только живее и веселее. Я спросил его о некоторых вещах, связанных с «Гончими Псами», и оказалось, что я не ошибся, все очень точно,— и дрожание звезд в зеркале от ветра и пушечных выстрелов, и даже обостренный слух у астрономов (помнишь — Мэро). Об этом Белявский сказал мне сам, без всякого вопроса с моей стороны. Говорили о Мише. Он о нем слышал и сказал, что в 38—40 лет «еще не поздно заниматься астрономией». Между прочим, он открыл 50 малых планет и одну из них назвал именем своей черной кошки, он ее очень любит, и она с ним просиживает ночи в обсерватории около телескопа.

Здесь все по-старому, если не считать скандала с Р. (пошляк!). Он напился ночью и разбудил Никандрова. Никандров все утро гремел за чаем обличительными речами, вся пьяная компания струсила — как бы директор не рассказал в Москве о них, и поэтому, по предложению Ермилова, написала хвалебное письмо о Доме творчества и о директоре в Литфонд. Я отказался его подписать, и это вызвало замешательство и смущенье. (Здесь оторвано, т. к. я по ошибке начал писать на рукописи.) Ермилов просит, чтобы я дал Кипренского в «Красную новь». Атаров очень мрачен,— мне кажется, что он скучает по какому-то зверю. Как-то вечером все сообща *написали* любимые романсы Бадмаева — десять романсов. Получилось страшно смешно. Рыбак прочел «Лонсевиля» и приходил ко мне благодарить (?!). Даниель получил письмо из Киева,— пишут, что «Черное море» переведено на еврейский язык... Арбузов ищет Киплинга. Чулков сказал, что Сережа «очаровательный мальчик» («Ваш сын» и т. д.). Я сижу за столом Арбузовых. Джерри приходит в нашу комнату и спрашивает, где ты и не пришлешь ли ты ей из Москвы немножко сахара. Я обещал. Пес-дурак съел домино. Вот и все наши новости. Читаю новый роман Павленко «На востоке». Очень хорошо.

Написал письмо в Литфонд,— об этом я уже тебе писал (я послал две открытки) <...>

Целую крепко-прекрепко — будь веселой и спокойной. Привет всем. Твой *Пауст.*

Из-за моих дел не волнуйся,— если не здесь, то в другом месте,— но всегда будет хорошо.

Привет Рувцу, Гехту, Роскину и всем. Пиши.

В. В. НАВАШИНОЙ

20 января 1937 г. Ялта

Милый, милый зверь, получил твои письма из Севастополя, Запорожья и Харькова и телеграмму из Москвы. Зачем ты забегалась? Ради бога — не волнуйся из-за моих глупых дел. Так или иначе — все обойдется...

Пишу «Гончих Псов»,— завтра думаю окончить. Там, в «Гончих Псах», есть одна очень грустная колыбельная песенка, когда я ее писал, я думал о тебе. Ее поет в бреду умирающий, разбившийся человек:

Это ветер шумит по лесам,—
Спи, малыш,— это псы у ворот.
Если мать поцелует глаза —
Значит, сын никогда не умрет.

Песенка, кажется, плохая, но я не хочу ее вычеркивать.

Получил от Детиздата «Судьбу Шарля Лонсевиля» — просят внести небольшие поправки. Книпович прислала общее письмо (нам и Арбузовым) и вложила в него статью Палея обо мне (из «Нового мира»). Надо бы ее поблагодарить открыткой, но без твоей санкции я не хочу этого делать,— вдруг зверь вытаращит глазищи и зашипит.

В Ялте продают «Колхиду» на древнееврейском языке, должно быть специально для старых ребэ, им это очень интересно. Вчера Чулков сделал доклад о смерти Пушкина — очень интересный. Старик очень разволновался. <...> Послали приветственную телеграмму Вересаеву. Никандров громыхает...

У нас появилось два новых пса,— один сеттер и другой — бродяга и неудачник на низком ходу, угрюмый и несчастный. Очень смешной. Сидит уже два дня в гостиной, и его не могут выгнать,— когда начинают тащить за шиворот к двери — он рычит, упирается и воет. Так его и оставили. Сейчас он приходил ко мне и полчаса смотрел на меня совершенно желтыми и очень добрыми глазами. Он очень преданный пес. Помахал хвостом,— спросил — не очень ли я скучаю, и сказал, что если нужно, то он может добежать до Москвы и отнести письмо зверушке...

Привет Рувцу, Гехту, Роскину.

Целую крепко. Твой *Па.*

Снег стаял, море в густом зеленом дыму, и воздух уже совсем весенний...

В. В. НАВАШИНОЙ

21 января 1937 г. Ялта

Валюха, сегодня получил твое письмо из Москвы, написанное в день приезда. Спасибо, зверь. Я жду терпеливо,— ты не волнуйся. Сегодня окончил «Гончих Псов» — почему-то очень волновался, когда писал конец, может быть, от бессонницы. Была тревожная ночь,— шторм, среди ночи приехали какие-то татары, выли собаки, и я, не знаю почему, очень встревожился за зверя. Но это глупости. Будь весела, спокойна, осторожна. Вчера послал большое письмо, сегодня вечером напишу тоже. За обедом чествовали Чулкова — сегодня его день рождения... Идет дождь. Сейчас пойду с Арбузовыми на почту. Привет всем. Целую тебя. *Па.*

Г. Л. ЭЙХЛЕРУ

24 января 1937 г. Ялта

Генрих, дорогой, вчера получил Ваше письмо. Мне очень жаль, что Вас нет в Ялте, у моря,— на днях выпал густой снег, стоит мягкая приморская зима, много серебра, солнца, блеска и тишины. Перевалы закрыты, мы почти отрезаны от мира. На море — зеленый веселый шторм, из моей комнаты слышно, как ревет прибой и на маяке все время звонит колокол,— над морем мгла. В воздухе пахнет весной. Мы бы побродили здесь и поговорили о многом. Вы грустите,— это плохо, но очевидно, естественно и неизбежно. Я тоже грущу, несмотря на то, что в личной жизни я, должно быть, очень счастливый человек. Но ведь этого мало. Я грущу о скромности, о мудрости, о хорошем вкусе (вспоминаю джаз, гопак и лезгинку), и хотя бы об элементарной культуре во всем, в том числе и в человеческих отношениях. Этого нет вокруг, и это меня очень пугает. За это надо неистово бороться и еще за честность и прямоту, особенно среди нас, писателей. Получается дико,— самого честного из поэтов Пастернака травят, а прожженные мерзавцы десятки лет пользуются неограниченным доверием...

Валерия Владимировна сейчас в Москве, она сюда вернется. Позвоните ей, она будет очень рада, она Вас очень любит.

Если бы я мог вылечить Вас от усталости, я бы сделал это с радостью. Так же, как и Вы, я мечтаю об Испании. И здесь то же неумение разбираться в людях,— вместо Вас, или Гехта, или Рувима, Роскина и, наконец, меня посылают К., которому дешевая слава давно вскружила голову. Для него сногсшибательные костюмы и писательское благополучие сильнее, чем мужество и достоинство...

Очевидно, надо переверстать жизнь, вышвырнуть из нее все мелочи, отдохнуть среди друзей, опереться на людей действительно родных, любящих и чистых. Нужны настоящее содружество, настоящая работа, милые женские сердца и, наконец, природа. Без нее нельзя прожить ни одного дня, и я, главным образом, за то и не люблю Москву, что там вместо природы — слизь, пропитанная трамвайным бешенством.

Я написал три небольших рассказа и пишу книгу. Работаю медленно. Что выйдет — не знаю.

Посылаю Вам «Лонсевиля» с поправками. Посылаю Вам, т. к. не знаю фамилии редакторши,— подпись на ее письме очень неразборчива. Жаль, что мне прислали первое издание, а не второе,— второе было исправлено, но поправки я забыл. Было бы хорошо считать этот текст с текстом второго издания. Хотел по поводу «историка» поругаться, даже начал об этом писать, но бросил. Ни к чему. Историк, кстати, пользуется ничтожной частью материалов и, несмотря па это, говорит с большим апломбом.

Где же «Черное море»? Я жду. Относительно Пушкина Вы правы,— в мае поеду в Михайловское (поедем вместе) и после этого, летом, я напишу.

Здесь живет пушкинист Чулков — галантный старичок эпохи 18 века. Здесь Ермилов<...>, Артем Веселый и на днях приезжает Г. Если он опять пьет, то это будет отвратительно,— он сорвет всю работу. Если увидите его, то скажите ему, чтобы он бросил всю эту дурацкую и тошнотворную историю с пьянством,— скучно, мелко и попахивает копеечной богемой.

Как Рувим и все остальные? Пишут редко. Получил из Москвы письмо,— жена Грина опять волнуется, что с ней делать — не знаю. Пусть Цыпин не морочит голову и скажет ей прямо, если не собирается издавать...

Пишите. Жду. Очень жду. Привет Нине и всем.

Обнимаю Вас, Ваш *К. Паустовский.*

В. В. НАВАШИНОЙ

27 января 1937 г. Ялта

Валюшонок, может быть, это письмо еще застанет тебя в Москве. Как жалко, что я вчера пе застал тебя, когда звонил по телефону, было очень хорошо слышно, и я хотел, чтобы зверь покричал в трубку прямо из Москвы... Мы очень мило поговорили с Мишей,— половину времени он уговаривал меня писать биографию Гершеля, но я всего не расслышал, что-то он говорил о Карле III,— я не разобрал <...>

Я прочел Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина». О смерти Пушкина я совершенпо не могу читать,— хожу весь день в тумане, с тяжестью в груди. Даже самое сухое, обыкновенное описание его смерти действует потрясающе...

29-го у меня и Чулкова совместное выступление в греческой школе, все дети-греки, подданные Эллады.

Привет всем. Целую всех — пусть Миша не сердится, что я не пишу,— я уже «мучаюсь» новой повестью. Целую...

Твой *Па...*

Н. Н. ГРИН

20 мая 1937 г. Москва

Многоуважаемая Нина Николаевна — не сердитесь на меня за такие длинные промежутки молчания,— это ни в какой мере не значит, что я забыл о кпиге Александра Степановича и ничего не делаю.

После моего приезда из Ялты Цыпин проявил неожиданное рвение и начал торопить сдачу книги в набор. Книга была дополнена (включили, паконец, «Алые паруса»), я еще раз прочел ее, отредактировал окончательно свою статью, и все, казалось, было в порядке. Дали книгу на иллюстрацию художнику (заставки и концовки). Иллюстрации не понравились, дали другому, дело затянулось и кончилось тем, что бумага, отпущенная на печатание книги, ушла на другое издание. Сейчас положение таково,— бумага будет только через полтора месяца, тогда, наконец, книга должна пойти в набор. Цыпин уехал в Киев, его заместитель Лебедев — ничего толком не знает.

Завтра я думаю обратиться в Союз писателей и потребовать через Союз прекращения всех этих безобразий с книгой — это сильное средство, если же и оно не поможет, то буду говорить с Файнбергом — секретарем ЦК ВЛКСМ, ведающим детгизовскими делами.

О результатах Вам напишу.

Мою статью об Александре Степановиче взял (кроме книги) Ермилов для «Красной нови». Он просил меня написать Вам и узнать, не осталось ли у Вас неопубликованных вещей Ал. Ст. Если остались, то он очень просит прислать для «Красной нови».

Я пробуду в Москве до 7/VI, потом буду в конце июня,— хорошо бы прислать через меня, если же меня не будет — то непосредственно Ермилову (Москва, 17, Лаврушинский переулок 17/19, кв. 10 В. В. Ермилову).

Недавно у меня была ленинградская актриса (забыл ее фамилию). Она — чтица, готовит для чтения некоторые рассказы Ал. Ст., но репертком не разрешил ей читать их с эстрады. Она обратилась за помощью ко мне и к Фадееву. Я написал в репертком, и разрешение ей дали.

Сдал недавно в «Знамя» (московский журнал) рассказ, где есть несколько мыслей об Ал. Ст.

Думаю, что хотя и с трудом, но нам удастся пробить стену молчания вокруг книг Ал. Ст.— все чаще и чаще я встречаю людей, любящих его книги.

Как Вы живете, почему не напишете о себе, когда будете в Москве?

Я очень жалею, что был в Ялте и не смог заехать к Вам, в Старый Крым. Очень жалею. Но ничего, может быть, еще попаду в Старый Крым, для меня этот городок полон какой-то особой привлекательности после того, как в нем жил Ал. Ст.

Все материалы, которые Вы мне передали, хранятся у меня (за исключением фотографии, где Ал. Ст. снят с ястребом — она в издательстве, приложена к книге). Если они Вам нужны, я их Вам вышлю.

Пишите. Всего хорошего. Не болейте, не грустите,— с книгой все будет хорошо.

Ваш *К. Паустовский.*

Мой новый, окончательный адрес:
Москва, 17, Лаврушинский пер. 17/19, кв. 17.

Р. И. ФРАЕРМАНУ

4 июля 1937 г. Пушкинские горы

Рувим! пишу Вам это письмо около могилы Пушкина, в Святогорском монастыре. Могила очень простая, вся в простых цветах, вокруг цветов — вековые липы. Здесь, в Михайловском, все полно громадного «неизъяснимого» очарования, и теперь понятно, почему Пушкин так любил эти места. Ничего более живописного, чем эти места, я не видел в жизни,— корабельные сосновые леса, озера, холмы, пески, вереск, чистые реки, травы, и главное — очень прозрачный и душистый воздух. (Здесь много пчел и пасек.) Заповедник почти безлюден, но охраняется очень строго,— даже в лесах можно ходить только по дорожкам, нельзя рвать цветы в лугах и т. п., и потому растительность здесь пышная и девственная, цапли на озерах подпускают к себе почти вплотную, в озерах масса рыбы (ловить разрешают).

В самых глухих местах, в лесах, на косогорах, на берегах озера стоят почти закрытые травой и цветами таблицы с пушкинскими стихами — так здесь отмечены все любимые Пушкинские места. Впечатление очень неожиданное и очень грустное — это напоминает слова Пастернака: «Поэзия рядом, она в траве, надо только нагнуться».

Живем мы рядом с Тригорским, в погосте Воронич,— около церкви, где Пушкин служил панихиду по Байрону.

Пробуду здесь до 10—11 июля, потом — в Москву.

Что слышно с экспедицией? Работает ли Некрасов?

Были в Ленинграде, Новгороде (чудесный город), Старой Руссе и Пскове (город отвратительный по сравнению с Новгородом). В Ленинграде меня три раза трясла малярия, сейчас все прошло.

Привез ли Миша в Солотчу девочек? Как клюет? Устройте с Мишей рыбную ловлю моего имени на Прорве. Не забывайте об экспедиции... Всего хорошего. Привет всем.

Целую вас. *Коста.*

С. М. НАВАШИНУ

8 июля 1937 г. Пушкинский Государственный заповедник Погост Воронич

Серый бес, как ты живешь? Я — хорошо. Будь готов к экспедиции!

Мы были в Ленинграде (белые ночи, поездка морем в Петергоф, малярия у меня и Игорь Миклашевский). Из Ленинграда мы выехали на станцию Волхов, приехали туда в три часа ночи, но, несмотря на это, там было светло как днем. Из Волхова на стареньком пароходе «Калинин» мы доплыли по реке Волхову до Новгорода-Великого — чудесного старинного города. Там, конечно, тишина, много замечательных тысячелетних церквей, цветут липы, и там зверь ездил на лодке до озера Ильмень. В Новгороде в соборах-музеях, где хранятся громадные богатства, ночью дежурят псы-овчарки. Они охраняют музеи лучше людей. Из Новгорода мы по захолустным железным дорогам проехали в Псков, по дороге от поезда до поезда останавливались в городе Старая Русса — жутком городке, где есть гостиница «Громобой» и трамвай. Псков зверю не понравился. Здесь, в заповеднике, все полно Пушкиным. Очень живописные, прекрасные места, но об этом тебе напишет мама. Скоро увидимся. Будь здоров, давай сдачу, если к тебе лезут мальчишки, и кланяйся всем.

Целую тебя прекрепко.

Твой *Пауст.*

Посылаю тебе трамвайные билеты из Старой Руссы и Пскова — это, своего рода, музейная редкость.

Недавно мы вдвоем со зверем ездили на шарабане в с. Петровское (вотчина прадеда Пушкина — Ганнибала, «арапа Петра Великого»), дохлая деревенская кляча испугалась поезда, понесла, мчалась галопом, как скаковой конь, но все обошлось благополучно, т. к. и зверь и я сошли, как только увидели поезд и услышали, что кляча хлопает ушами и храпит. До случая с поездом кляча шла шагом и разогнать ее было невозможно, даже если бы бить оглоблей.

Здесь нас зовут «яны́». Говорят: «яны» (они) пошли чай пить, яны — добрые».

Места здесь чудесные,— много озер, холмов (это — отроги Валдайских гор), парков, сосновых рощ, цветов и рек.

В. К. ПАУСТОВСКОМУ

8 июля 1937 г. с. Михайловское

Димушка,— получил в Михайловском два твоих письма. Спасибо. 5-го июля я написал в Литфонд о том, чтобы продлили путевку, 14-го я буду в Москве и внесу деньги — так что ты не беспокойся.

Очень хорошо, что ты рисуешь и ловишь рыбу, но плохо, что ты плаваешь на глубоких местах,— этого никогда не делай, хотя бы рядом и были взрослые.

Здесь в Михайловском очень хорошо,— много озер, рощ, холмов, песчаных дорог. В Михайловском и Тригорском (в 3 километрах от Михайловского) громадные парки, пруды, масса вековых лип. В Михайловском парке осталась от времен Пушкина еловая аллея,— ей больше 200 лет,— таких елей я еще никогда не видел в жизни. Очень славный домик няни, единственная постройка, уцелевшая от пушкинской усадьбы,— все остальные сгорели в 1918 году. Я живу около Тригорского в погосте Ворониче — рядом с маленькой покосившейся церковью, где Пушкин служил панихиду по Байрону. В Пушкинском заповеднике очень строгие правила — запрещено косить траву, ходить по лесам без дорог (можпо ходить только по дорогам), собирать ягоды, ловить рыбу и т. под.— поэтому здесь необыкновенно пышпая растительность и масса цветов. Приезжих немного, т. к. это пограничная зона и для приезда сюда нужен пропуск.

В лугах за рекой Соротью против Михайловского парка среди цветов и трав стоит громадный портрет Пушкина (копия портрета Тропинина). В лесах, в полях, в самых неожиданных местах в траве стоят небольшие таблицы с надписями и с пушкинскими стихами, относящимися к этим местам. Так отмечены все места, где бывал Пушкин и которые он любил (три сосны, озеро Маленец, Тригорское и т. д.)

Здесь в полях будет поставлен памятник Пушкину — Пушкин верхом едет из Михайловского в Тригорское.

Могила Пушкина — в 4 километрах отсюда, в бывшем Святогорском монастыре. Она очень простая, вся в цветах.

По пути сюда я был в Новгороде и Старой Руссе — глухом городке, где неожиданно оказался трамвай. Посылаю тебе трамвайный билет — это, своего рода, редкость.

Напиши мне сейчас же в Москву, не откладывая.

Целую тебя крепко. Отдыхай, веселись, но поменьше плавай.

Папа.

В. К. ПАУСТОВСКОМУ

9 августа 1937 г. Москва

Димушка-мальчик, получил ли ты мою открытку с реки Десны. Союз писателей послал меня на Десну с двенадцатью московскими комсомольцами, чтобы пройти на лодках от Брянска до Новгород-Северска (около 400 километров). Мы прошли 200 километров до города Трубчевска за 8 дней, и там я прекратил эту экспедицию и отправил всех в Москву, т. к. большинство комсомольцев — горожане, совершенно неприспособленные к экспедиционной жизни и не умеющие работать, даже грести. Был даже один, который впервые в жизни видел, как кипит ключом в котелке вода (на костре), и страшно испугался,— поднял крик на весь лагерь.

Река очень быстрая, в некоторых местах течение идет со скоростью 12 километров в час, есть громадные водовороты, и плыть по такой реке с неопытными людьми — очень трудно. Я очень устал, но окреп и страшно загорел. На днях поеду в Солотчу и засяду там за работу на всю осень,— летом я много ездил и работать не успевал.

Напиши мне в Солотчу (Солотча, Московской области, Рязанского района, дом 80), как твое здоровье, как ты живешь и когда вернешься в Москву,— я к этому времени пришлю в Москву деньги.

Целую тебя крепко.

Папа.

В. В. НАВАШИНОЙ

5 сентября 1937 г.

Зверастый зверь,— пишу очень короткое письмо, т. к. завтра утром я должен отправить рассказ в «Пионер», а он еще не окончен. Все — Миша, Рувец и Аркадий — ушли на Канаву ловить рыбу, а я остался один, чтобы окончить и переписать рассказ. Пришлю его на твое имя...

Сегодня приехал Миша. Встречали его все втроем,— очень радостно и весело. Миша выпил кофе и тут же пом-

чался в голубых брюках на Канаву — не было сил его удержать. Аркадий тоже сходит с ума от рыбной ловли. Миша ничего даже толком не рассказал о тебе и Сером.

Стремление на Канаву объясняется тем, что вчера Рувим вытащил на Канаве двух линей по 5 фунтов каждый,— они примерно раз в пять больше Сережиного линя. Я поймал щуку на два фунта, а Аркадий — щуку на шесть фунтов. В общем — сенсация. Я очень беспокоюсь из-за денежек,— Аркадий говорит, что в Детиздате финансовая ревизия и задержаны все платежи.

Получил телеграмму от Мосфильма с просьбой разрешить сценарий «Гончих Псов» (конечно, в том случае, если я сам его делать не буду) сделать Олеше. Олеша с радостью за него берется. Я согласился... Они телеграфируют, что хотят эту картину сделать с необычайной быстротой. Я думаю, что Олеша сделает хорошую картину,— человек он очень талантливый.

Я все время жалею, что тебя нет здесь. Сейчас какой-то особенный, душистый воздух,— близко осень. По вечерам у лампы — шумные разговоры «за жизнь». Рувец философствует (довольно слабо). В окна лезут коты всех сортов (появился еще один белый котенок.) Весь день стоит страшный шип от кошачьих драк. Вчера была керосиновая паника,— керосин у нас весь вышел, в лавке объявили, что керосина вообще не будет. Я написал записку председателю кооператива, и он немедленно выдал нам 20 литров «из уважения к писателям». К этому делу примазалась Ал. Ив., и за то, что она наша хозяйка, ей тоже дали три жалких литра.

Еще новость — резиновую лодку надули Мишиными поплавками, я ее пробовал, все было хорошо, но в последнюю минуту она лопнула (поплавки разорвали старую оболочку), и мы — опять без лодки. Теперь починить ее невозможно.

Аркадия лангобарды считают комическим актером. Он очень этим доволен <...>

Твой *Па.*

В. В. НАВАШИНОЙ

13 сентября 1937 г. Солотча

<...>Рувец вчера уехал в полном смятении и панике,— Валентина его вызвала в Москву из-за чистки, начавшейся в «Пионере» — для «моральной поддержки». Он

взял рассказ с собой — так будет скорее, но с условием, что он сначала передаст его тебе, а ты уж, Зверушка, передашь «Пионеру». Боюсь, как бы он его не потерял,— он ходил последние часы совсем очумелый.

11-го мы вчетвером пошли последний раз на Канаву, и Рувец ушел оттуда после заката,— побрел один в темных лугах. Мне его стало почему-то очень жаль. На Канаве мы ночевали в палатке, ночью была страшная осенняя гроза,— в палатке было светло от молний как днем, но ни капли воды. Мы не промокли. Все здоровы, мой «глубокий» бронхит прошел. У Миши только болит колено,— вывихнул его на прелых мшарах, когда приходилось перебираться через наваленные деревья. Об этом Рувец тебе расскажет.

Миша уже весел, спокоен. Получает из Москвы письма,— говорит, что в лаборатории сделано какое-то новое, очень важное открытие. Рыбу ловит всеми способами — на кузнечика, гусеницу, рыбьи хвосты, бабочек, хлеб и даже копченую колбасу — с утра до позднего вечера. Аркадий прижился и совсем не хочет уезжать из Солотчи,— от нее и от всей нашей здешней жизни он в восторге. Пишет рассказ (в роскинском кабинете). Говорит по-французски — очень забавно. Мишу зовет Мишелем, котенка «маленьким милым вором» (voleur). За обедом и чаем много трепотни па все темы,— от выяснения вопроса, почему перед ненастьем у Матрены в ушах «кипит сера», до споров о языке Стендаля. Вчера получил и подписал договор с Мосфильмом на право экранизации «Гончих Псов». Киношники проявили необыкновенное благородство и прислали договор не на 4000, как мы условились, а на 5000 ру <...>

Ленинграду (Ленфильму) ответил отказом — все равно ставить одновременно две картины по одному и тому же рассказу не разрешат. От Ленфильма потребовал присылки договора на право экранизации «Музыки Верди» <...>

Все грехи (литературные невыполненные обещания) срочно исправляю. Да, я получил письмо от журнала «Красноармеец и краснофлотец», которое начинается так: «Обращаемся к Вам по совету А. И. Роскина, который сказал нам, что у Вас имеются неопубликованные работы, могущие представлять интерес для нашего журнала». Позвони Роскину и скажи, что, может быть, он даст вместо меня рассказ в этот журнал<...>

Миша, узнав о приезде в Москву Вал. Кир., сделал такое лицо, будто ему действительно поставили клизму из

серной кислоты. Передай от меня привет Вал. Кир.,— я ее все же очень люблю,— старушка безусловно заслуживает уважения.

Завтра напишу Серому. Поцелуй его,— он молодец.

Целую очень, очень,— твой *Па-па-па-пааа-па.*

Аркадий очень интересуется твоими письмами <...>

В. В. НАВАШИНОЙ

17 сентября 1937 г. Солотча

<...>Я думаю вернуться раньше, вместе с Мишей,— Миша уезжает 27-го. Без меня тебе в Москве трудно, особенно со всеми этими квартирными делами. Как было бы хорошо, если бы Звера приехала сюда, хотя бы на два-три дня,— осень только начинается, падают первые желтые листья, дуют теплые ветры, и воздух у нас в саду и в лугах необыкновенный. Может быть, ты приедешь? Сережка может побыть три дня один.

Я думаю, что мы-то поедем в Ялту со зверем. Аркадий предлагает ехать в январе — феврале,— к этому времени я окончу все свои «литературные долги» и поеду с чистой совестью. А Звера будет рисовать и отдохнет от московской злобы и суеты. А будущим летом поедем с Серым в Боржом, Тифлис,— в старые родные места,— Солотча без Зверы мне начала надоедать.

До того, как «Пионер» пришлет гранки,— напиши мне все ошибки и плохие места, которые ты заметила в «Австралийце»,— я их исправлю. Пиши и ни капельки не стесняйся. Я просил Рувца, чтобы «Пионер» прислал тебе один экземпляр рассказа из-под машинки. Кстати, получил от «Пионера» телеграмму с благодарностью за рассказ — непонятно зачем.

Ты, конечно, права,— все вещи должны вылеживаться, или, как ты пишешь, «побыть несколько дней дома». Неторопливое письмо — самое совершенное. Поэтому рассказ для «Пионера» — последний, написанный в спешке. Больше я этого никогда делать не буду. Сейчас я пишу одну вещь — она мне очень нравится самому и должна понравиться тебе,— она и печальная и радостная в одно и то же время <...>

Здесь установился твердый порядок,— с 8 до часу я и Аркадий работаем, потом обедаем и идем ловить рыбу.

Миша иногда уходит на рассвете, и мы носим ему обед. Старуха пристает ко мне со своими поломанными стульями, Дивный — чудный пес, его недавно водили гулять в лес (на веревке). Коты дерутся весь день с переменным успехом — то наш, то Черный бьют друг друга по морде. Миша изредка даже берет котище на колени. Котище спит с Аркадием, у него на шее. Матрена очень старается,— сегодня испекла нам белый сладкий хлеб по твоему рецепту. Аркадий уезжать не хочет, похоже, что он готов здесь остаться до зимы. Рувца ругаем за дезертирство. Были на Оке, она вся голубая, прозрачная. я поймал огромного леща — такого же, как на Десне, на перемет. Все луга — в паутине. Новостей никаких, если не считать, что вчера в Давыдкове (за станцией) был пожар и сгорел дом, где родилась Матрена.

В. В. НАВАШИНОЙ

21 сентября 1937 г. Солотча

<...>Вчера мы были втроем на Селянском озере (по дороге на Прорву есть большое мелкое озеро, заросшее кугой). Сделали плот из Мишиных поплавков (доски достала Матрена) и ловили с него рыбу. Был необыкновенный закат, и это мелкое озеро с зеленой очень прозрачной водой казалось какой-то тропической лагуной, заросшей фантастическими растеньями. Кстати, скажи Рувиму, что на этом озере (оно в 20 минутах ходьбы от нашего дома) ни разу в жизни не было ни одного рыболова и рыбака, мы были первые (на озере нет лодки, а ловить с берегов невозможно), и рыба — очень крупная и разнообразная — клевала бешено, как тогда на Сегдене, когда мы поймали $1^1/_2$ пуда окуней. Получил твою телеграмму. Послал в Ленинград маленький рассказ,— свой последний из небольших литературных долгов. Больше приставать не будут. Получила ли ты денежки от кино? Если получила, то вышли мне 300 ру,— мы все деньги прожили или, вернее, проели. У меня осталось немного больше ста рублей, но этого не хватит. Аркадий без денег, Мишины тоже кончаются. Пришлось заплатить Матрене и купить дров — это нас разорило.

Каждый день нам обходится в 30 — 40 ру,— объясняется это, главным образом, почти фантастическими аппетитами Аркадия и Миши,— горшок сметаны они съедают в один присест. Но зато, кажется, поправились.

Миша исступленно ловит рыбу, весел, хотя и устроил Аркадию и мне вчера шумную сцену за то, что мы за чаем читали газеты. Аркадий возится сейчас с обедом,— Матрена сегодня выходная, в Солотче — престольный праздник. После обеда идем к Матрене в гости,— она давно нас приглашала. По этому случаю все даже побрились.

Какая чепуха с отоплением. Неужели нельзя было сделать это летом или, по крайней мере, не ломать потолки.

В будущем — самом ближайшем — надо будет оставить в Москве только базу, а самим жить вне Москвы — где Звера захочет. Получили от Рувца открытку. Звонит ли он тебе? Он зря уехал. Напиши обязательно, какие ошибки ты заметила в рукописи (в «Австралийце»). Поцелуй Серого и передай ему новость насчет Селянского озера. Привет всем. Целую тебя, зверек-крикунок, очень, очень.

Твой *Па.*

Н. Н. ГРИН

9 октября 1937 г. Москва

Многоуважаемая Нина Николаевна,— после многих странствий и экспедиций вернулся наконец в Москву и застал Ваше письмо.

Был в Детгизе,— там все новые люди, Цыпина нет, остался от старого времени один Генрих Эйхлер. Наконец-то книга А. С. (сборник с моей статьей) сдвинулась с места и *пошла в набор*. Эйхлер говорил мне, что они уже написали Вам об этом, не знаю, верно ли это? Во всяком случае, клянутся, что сейчас выход книги в свет — дело одного месяца, если не двух недель. После двух лет мытарств — даже не верится.

Два дня ловлю Накорякова,— когда поймаю — напишу.

Читали ли Вы статью Олеши (в «Литературпой газете») с его высказываниями — довольно спорными, но обширными — об Ал. Степановиче? Статья носит трескучий заголовок «Письмо писателю Паустовскому».

Каюсь,— я свинья, до сих пор не ответил в Лепинград на письмо первой жены А. С. (не помню сейчас ее фамилии), но думаю, что это, может быть, к лучшему.

В ноябре я буду в Москве, и мы увидимся. Звоните (В1-96-25) и приходите.

Все материалы (присланные Вами) об Ал. Ст., фотографии, вырезки и рукопись «Недотроги» хранятся у меня. Если нужно — я их пришлю или Вы возьмете их сами в Москве?

Посылаю письмо в Феодосию, т. к. не знаю номера Вашего дома в Старом Крыму — знаю только улицу.

Привет Вашей маме, привет Крыму,— я всегда Вам завидую, особенно зимой, что Вы живете там.

Всего хорошего. Ваш *К. Паустовский.*

В. В. НАВАШИНОЙ

8 апреля 1938 г. Ялта

<...> Много новостей. Получил письмо от Горюнова из театра Вахтангова. Он недавно прочел «Черное море», восхитился и просит от имени театра написать пьесу не на материале «Северных рассказов», а на материале «Черного моря». Он пишет, что «любую пьесу, которую вы создадите на основании «Черного моря», театр примет с воодушевлением и восторгом». Придется делать для Вахтангова черноморскую пьесу, а «Северные рассказы» — для МХАТа.

Получил письмо из Киева от Детского театра. Просят «Гончих Псов». Я пошлю им пьесу из Ялты на днях, как только кончу кое-какие переделки. Пишут с возмущением, что в Киеве появилась пьеса «Гончие Псы», написанная для радио,— халтура и дрянь. Спрашивают — давал ли я В. разрешение на передачу и если не давал, то советуют запретить исполнение этой пьесы. Я на днях напишу официальное письмо в Комитет по делам искусств о том, чтобы пьесу В. сняли с репертуара. В. — боров — жрет, сопит и делает вид, что не знает о моем присутствии в Ялте. Старик Дерман кипит от негодования и требует, чтобы я написал письмо не только в Комитет по делам искусств, но и в «Литературную газету».

Роскин снова мил и разговорчив, но, должно быть, ненадолго. В «Литературке» появилась статья Гофеншефера — он ругает Роскина за то, что, написав о «Летних днях», он ни словом не обмолвился о таких, по мнению Гофеншефера, замечательных рассказах, как «Потерянный день» и «Колотый сахар»... Вообще, куча писем. Получил письмо от Коли Чернявского и от Ермилова. Ерми-

лов просит узнать, за что была уволена Антонина Осиповна. Вчера пришло письмо от нее на твое имя, ты извини, зверушка, я его вскрыл,— она просит, чтобы ты повидалась с ней,— не знает, что ты уехала. Я ей ответил. Сегодня — синий, ослепительный день. Ездили (Гехт, Никитин, Роскин, Арон, Дерман и я) в Ливадию на автобусе, оттуда прошли по царской тропе в Ореанду. Всю дорогу шла совершенно невероятная трепотня. Дерман — чудесный старик. Он, оказывается, большой друг Бунина и много о нем рассказывал. Арон — дачник, прошел два километра и совершенно раскис,— для Солотчи он не годится <...>

Я очень хорошо себя веду — мало курю, съедаю все, что дают, и даже сам вымыл голову на ночь. Гехт торопит меня,— он отнесет это письмо на почту,— все время кричит под окном. Целую тебя очень, очень <...>

Твой *Па-па-па-па.*

В. В. НАВАШИНОЙ

11 апреля 1938 г. Ялта

<...> Здесь вчера был ураган — небывалый для Ялты. С гор несло снег, град и дождь. Ветер был больше 12 баллов (12 баллов — 25 метров в секунду, а дул ветер — и очень холодный — 40 метров в секунду). Дом весь дрожал, как во время землетрясения. В Никитском саду вырвало с корнем 400 деревьев. В городе сорвало много крыш и повалило телеграфные столбы. Рев был такой, что верхние жильцы (Арон и Дерман) не могли оставаться наверху. Теплоход «Крым» отстаивали 12 часов в порту, его весь заплели стальными тросами, он стоял на трех якорях,— боялись, что его разобьет о мол. (Эти новости — для Серого.)

Сегодня — тишина, солнце и теплота. Я радуюсь солнцу потому, что думаю, что и в Старом Крыму тоже солнце.

Вчера была первая «американка». Были Гехт, Роскин, Арон, Дерман, Симонов и Никитин. Гехт прочел очень славный рассказ о том, как в еврейском местечке ловили жениха, Симонов прочел новую поэму — было много споров.

Дерман с восторгом вспоминает Сережу и часто спрашивает о тебе. Оказывается, Никитин был в Тифлисе у

Кирилла, смотрел Пиросмана. Был у меня тот шофер, который тебя напугал. Очень интересный человек, бывший моряк, пьяница. Очень удачно сказал о современной советской литературе — «у нее, как у греческого парохода,— много дыма и мало хода». Сейчас эти слова пошли здесь по рукам. Фотограф сделал по фотографии мой портрет, говорят, очень удачный, на днях принесет.

Целую тебя и Серого <...>

Твой *Па.*

В. К. ПАУСТОВСКОМУ

14 апреля 1938 г. Ялта

Димушка, получил ли ты мое письмо из Тифлиса? Почему ты не отвечаешь?

Напиши мне в Ялту (ул. Кирова, 9, дом творчества Литфонда). Я здесь много работаю. Весна в Крыму очень холодная, на горах еще лежит глубокий снег, и все время дуют сильные ветры. На днях был ураган в 12 баллов, в парке вырывало с корнем деревья, в море погибло несколько парусных шхун. Когда я ехал из Батума в Ялту — был шторм, туман и сильная качка.

Работаю я над пьесой для театра Вахтангова. Пьесу мне предложил писать еще и МХАТ, но для МХАТа я буду работать не сейчас, а гораздо позже, осенью. Пьеса для Вахтангова будет о лейтенанте Шмидте. Работать над пьесой трудно, нужно очень сжиматься и рассчитывать каждое слово, чтобы не было ничего лишнего.

Напиши мне: как ты живешь, какие летние планы и как твоя живопись? Остались ли у тебя еще масляные краски? Ходишь ли в клуб писателей на уроки рисования? Как дела в школе? Пиши обо всем подробно.

Целую тебя крепко.

Твой *Папа.*

В. В. НАВАШИНОЙ

18 апреля 1938 г. Ялта

<...> Вчера почта совсем не пришла,— говорят, машина с почтой разбилась где-то около Байдар. Я пишу редко, потому что не хожу в город и не всегда можно найти кого-нибудь, кто идет на почту <...>

Гехтеныш, бедный, заболел, притих и стал похож на больного цыпленка,— все время сидит с закрытыми глазами. Еще давно, когда он гулял с Серым по набережной, он упал и ударился грудью о железную решетку. Сейчас начались сильные боли. Наш коновал говорит, что у Гехта — трещина ребра, но это чепуха. Если бы была трещина, то болело бы сразу. Очевидно, он повредил себе плевру. Вчера ставил ему горчичник — по твоему способу. Веру Михайловну он не слушается и сбрасывает горчичник через минуту после того, как его поставят. Меня слушался безропотно и держал десять минут, но потом заплакал, как ребенок, потому что сильно жжет. Сегодня к нему вызовут хорошего врача. Старик Дерман уехал. Наша компания провожала его очень трогательно, он расплакался, расцеловался со всеми и сказал маленькую речь о том, что таких чудесных людей он редко встречал в жизни. Передавал привет тебе и Серенькому и просился, чтобы мы в очередную поездку в Ленинград взяли его с собой.

Приехал Асеев с женой — сестрой Веры Михайловны. Привез третий номер «Знамени» с «Северным рассказом» (вторым). Сказал об этом рассказе хвалебную речь. Говорит, что как только он его прочел в Москве, сейчас же позвонил в Союз, чтобы узнать мой адрес и написать мне письмо, но ему ответили, что я в Тифлисе <...> Наконец последняя новость. Роскин читал на «американке» свою статью обо мне — очень умную. Созвал массу народа. Говорили так много, что в письме совершенно невозможно все передать. Об этом расскажу, когда приеду — через 11 дней.

Я очень загорел, поправился, кашель почти прошел, но только рано просыпаюсь — в 6 часов. Сегодня опять сырость, туман, но очень тепло и тихо.

Арон очень ласковый. Увалень Никитин — очень забавный и компанейский. В. приходил ко мне «объясняться» (у него маникюр и ногти выкрашены в кровавый цвет) <...>

Целую, твой *Па.*

Асееву запретили курить, жена страшно следит за ним, а он напрятал в парке в разных местах (в кустах, в дуплах деревьев, в траве) коробки с папиросами и тайком курит. Вчера пошел дождь, и все его папиросы раскисли.

С. М. НАВАШИНУ

18 апреля 1938 г. Ялта

Серенький, пиши мне почаще. Почему образуется селитра между камнями в старинных мечетях — я не знаю. Постараюсь узнать. Сейчас иду на почту — на имя Звэры пришла бандероль наложенным платежом,— должно быть, книги по искусству. Здесь сыро и тепло, по всему парку поют молодые соловьи. Приехал Аркадий Гайдар. Он будет играть роль Котовского на одесской кинофабрике в одной из картин. Старик Чулков забыл о чертях и теперь рассказывает всем, как он видел русалок (в Ливадии, около самого берега моря) <...>

Скоро уже увидимся. Целую тебя крепко-прекрепко.

Твой *Пауст.*

Р. И. ФРАЕРМАНУ

11 мая 1938 г. Старый Крым

Рувец,— получили вчера Ваше письмо. Жалко старушку, особенно жалко, что она не успела увидеть Вас,— это какая-то общая судьба матерей — умирать почти в одиночестве.

Сегодня получил письмо от Миши. И Вы и Миша пишете о «реставрации» поплавков, очевидно, она приобрела грандиозные размеры. На 80 рублей я согласен, пожалуйста, этим Вы с Мишей меня не запугаете и я все равно куплю еще резиновую лодку. В общем, это лето будет исключительным в смысле рыболовного снаряжения. Я обязательно достану палатку.

Несмотря на то, что весь Старый Крым в цвету, в распускающихся орехах и каштанах, несмотря на здешний неправдоподобный воздух (очень душистый, мягкий и прозрачный), мы мечтаем о Солотче и считаем дни до отъезда. Особенно здесь Солотча ощущается, как родина, а Промоина и Прорва, даже во время теплого и тихого дождя, кажутся чем-то необыкновенным. Обязательно пойдем на Боровые озера.

Здесь мы пробудем числа до 20-го июня. Несколько дней в Москве уйдут на приятные вещи — покупка на конном рынке удилищ и разного снаряжения.

Не помню, писал ли я Вам, что в Ялте появился на три часа Г. и тут же исчез. Насколько я мог понять из его бормотания, сдобренного сивухой, он приехал из Одессы в Ялту только за тем, чтобы узнать, пустят ли его этой осенью в Солотчу. Я сказал, что об этом мы будем говорить только в том случае, если он бросит пить. Он поклялся страшной клятвой, что пить не будет, но ушел обиженный, и потом в течение 3-х—4-х дней его видели в Ливадии и Симеизе в обществе первоклассных крымских алкоголиков. По-моему, он пропадает, если уже не пропал. Самый его вид, бесцеремонность, настойчивые разговоры только о себе произвели на всех удручающее впечатление. Все это очень печально.

Я работаю (здесь очень хорошо работать в саду), Сережа ходит в школу со здешними пацанами (пацаны, в общем, смирные), Валерия Владимировна приманила к нашему дому всех старых крыс и собак,— их здесь тысячи. Взяли в аренду осла с повозкой, будем ездить в Коктебель и Отузы (отсюда до моря 16 километров). Осел молчаливый и склонный к длительным размышлениям — перед каждой лужей он останавливается и о чем-то долго думает,— потом прыгает через лужу вместе с повозкой.

После Ялты, где было очень шумно, здесь тишина. Городок больше похож на деревню. Видели ли Вы Роскина и Арона после Ялты (Арона я обыгрывал на бильярде, как хотел). Передайте им привет от нас...

Что слышно в мрачном Детиздате? Как Ваши литературные дела? Не знаете,— не вышли ли Левитан и Кипренский?

Я работаю с таким расчетом, чтобы в Солотче ни черта не делать,— только ловить рыбу, отдыхать и читать.

Привет бабушке и Валентине Сергеевне. Привет всем.

Целую Вас.

Коста.

С. В. МРОЗОВСКОЙ

21 мая 1938 г. Старый Крым

Дорогая Софья Владимировна, после многих странствований (Тифлис, Батум, Ялта) попали в Старый Крым (маленький городок около Феодосии, весь в садах), где Сережа ходит в школу вместе с двадцатилетними здешними

балбесами. Проживем здесь до 20 июня — т. е. до конца Сережиных экзаменов. В конце июня будем в Москве и тогда расскажем Вам все наши приключения. Перед отъездом я заходил к Вам в издательство два раза, но Вы были больны. Как сейчас Ваше и Володино здоровье? Вспоминали Вас в Батуме — сейчас он стал чудесным, совершенно европейским городом.

Третьего дня получил из Гослитиздата верстку своей книги («Повести и рассказы»). Гранок они мне, черти, не прислали. Это, конечно, свинство. Я надеялся на гранки и кое-что хотел выправить, в верстке же править почти нельзя.

Сегодня я послал исправленную верстку обратно, в издательство, Вам же пишу, как своему душеприказчику. Не сердитесь на меня за это и за лишние хлопоты.

Необходимо передать редакции следующее:

1) В верстке (в главе «Ожидание бури» из «Черного моря», стр. 130 верстки) пропущены две страницы текста. Их надо восстановить по оригиналу.

2) На стр. 157 путаница, неправильная заверстка. Пропущен кусок, который попал почему-то на стр. 164 и 165.

3) Есть несколько менее значительных пропусков — они все отмечены у меня в верстке.

4) Рассказы начинаются каждый не с новой страницы, а с половины страницы, как будто бы это главы одной вещи, а не самостоятельные рассказы. (Например: «Музыка Верди», «Парусный мастер», «Ленька с Малого озера» и др. рассказы.) Это очень некрасиво. Но если сделать ничего нельзя (очевидно, экономят бумагу), то придется оставить так, но сделать следующее:

5) Названия рассказов набраны тем же шрифтом, что и названия глав. Главы надо перебрать более мелким шрифтом, иначе читатель запутается и не сможет отличить, где отдельные главы одного и того же рассказа и где самостоятельные рассказы. Сделать это очень легко, т. к. главы есть только в одном рассказе «Вторая родина» (с 325 страницы по 343).

Вот, кажется, все. В конце июня, когда я вернусь в Москву, будут нужны сантимы,— я думаю, что к тому времени издательство уже перечислит их мне на сберкнижку. Пишу эти деловые вещи Вам, т. к. не знаю,— в Москве ли Трусов и кто является сейчас редактором книги.

Простите за грязное письмо — здесь совсем нет бумаги.

Напишите о себе и обо всем. Есть ли какие-нибудь пла-

ны на лето? Как Володя? Здесь изумительный воздух, весь городок в вековых каштанах. На днях ездили в Коктебель на осле — он шел не больше километра в час, совсем нас замучил, но дорога чудесная,— в лесистых горных ущельях.

Привет от Вали и Сережи. Привет Володе и Аэлле.

Всего хорошего.

Ваш *К. Паустовский.*

Наш адрес: Крымская АССР, г. Старый Крым, ул. III Интернационала, 89.

В. В. НАВАШИНОЙ

4 августа 1938 г. Солотча

<...> Сегодня у нас день полного отдыха от рыбной ловли (чем Миша весьма недоволен). Я исправил кое-что в пьесе и послал ее Дудину, писал с утра новый рассказ, а теперь пишу (в саду около гамака) это письмо тебе. День уже осенний, синий, не очень жаркий.

Миша варит пшенную кашу, чтобы ловить лещей, в промежутки между этим занятием переводит какую-то ботаническую статью и ругает Матрену. Два дня провели на Прорве. Там встретили только одного, очень скромного молодого рыболова-интеллигента. Он тоже жил там два дня со своей старухой-мамашей. Оба очень славные, а рыбная ловля со старухой-матерью произвела на нас с Мишей очень трогательное впечатление. На второй день перед уходом этот рыболов подошел к нам, спросил меня, не Паустовский ли я, сказал, что приехал в Солотчу после того, как прочел «Вторую родину», и очень благодарил меня за мои книги. Узнал он меня по фотографии.

На Прорве мы нашли чудное место, где бешено клюют огромные окуни, судаки и плотва (это — новость для Серого). Получил письмо от МХАТа с просьбой обязательно написать для них пьесу. Театр уже соглашается на «Лейтенанта Шмидта». Получил еще письмо от Фадеева — очень милое, он просит от имени Союза писателей написать к сотой годовщине смерти (9 марта 1939 года) биографию Тараса Шевченко. Напиши, что ты об этом думаешь, стоит ли за нее браться.

Что с Роскиным? Рувима пока нет,— может быть, он совсем не приедет <...>

С Мишей живем дружно, хотя он и ругает меня и тебя за то, что мы съели его запасы гречневой каши. Сегодня пилил меня за это все утро. Здесь гречневой крупы нет, но она должна быть. Если не привезут, то придется прислать из Москвы, иначе Миша не успокоится.

Астры расцветают с каждым днем все пышнее. Вот и все наши новости. Стало очень тихо, пустынно...

Целую тебя крепко. Твой *Па.*

Узнай, пожалуйста, у Арона, кто заведует литер. отделом «Правды» — не Трегуб ли?

В. К. ПАУСТОВСКОМУ

6 августа 1938 г. Солотча

Димушка, спасибо за письмо. Боюсь, что это письмо не застанет тебя в Уречье, поэтому через несколько дней напишу тебе в Москву.

Здесь весь месяц стояла чудовищная невыносимая жара, хотя и был страшный ураган,— луга и поля сгорели, все коричневое, и уже от засухи осыпаются, как осенью, деревья. Полтора месяца не было ни капли дождя, в лесу и в саду повалило много деревьев. Солотча очень испортилась,— вся запружена дачниками, по главной улице автомобили носятся беспрерывно, как в Москве, и рыбы почти не стало. Чтобы поудить по-настоящему, приходится уходить на Черное озеро и даже дальше, на Поганенькое — очень глухое озеро с зыбучими берегами. Там берут окуни в 3—4 фунта, похожие на поросят, но очень вялые, их тащишь из воды, как корягу.

Дачников много даже на Сегдене. Я тоже научился ездить на велосипеде, но езжу пока очень плохо,— должно быть, из-за близорукости, из-за каждой канавки падаю. Я здесь работаю, хотя очень мешает жара.

Чуть не забыл написать тебе,— в день отъезда из Москвы я не нашел свой билет (литфондовский), чтобы оставить его тебе, да и времени искать его не было, надо было ехать на вокзал. Когда ты вернешься в Москву, я пришлю тебе записку в Литфонд, ты пойдешь, и тебе по записке выдадут бумагу.

Напиши мне о своих дальнейших планах. Как ты себя чувствуешь, совсем ли здоров. Меня опять (хотя и недолго) трясла здесь малярия.

Приезжал ко мне директор Центрального детского театра — советоваться насчет постановки «Созвездия». Художником будет Эрдман. Знаешь ли ты такого? Получил письмо из Комитета по делам искусства о том, что с зимы пьеса пойдет во многих театрах по Союзу.

Пиши. Жаль, что в Уречье тебе не удалось половить рыбу. У нас здесь тоже есть смешной кот — он украл окуня, у которого в горле остался английский крючок, съел его и чуть не умер — две недели ничего не ел, только пил и стал худой, как скелет. Очевидно, крючок где-нибудь зарос внутри у кота.

Целую тебя крепко. Пиши обо всем.

Папа.

В. В. НАВАШИНОЙ

7 августа 1938 г. Солотча

Зверунья-певунья, получил вчера вечером сразу два твоих письмеца,— оба сразу потому, что два дня мы провели с Мишей на Старой Оке (огромное озеро за Прорвой) и только вчера вечером вернулись. Там было очень хорошо, около нас садились стаи журавлей (они уже улетают на юг), много разной рыбы. Оба мы страшно загорели. Вернулись и застали здесь Рувима с Валентиной <...>

Подумай, может быть, можно что-нибудь устроить, чтобы тебе вырваться сюда хотя бы на пять-шесть деньков. Миша возмущается тем, что Серого хоть на неделю нельзя оставить с теткой, и ругает тетку ужасно.

Ты права, наш дом (вернее, его нуворишское население) отвратителен. Во всем этом очень много пошлости и дикости. К. когда-то ходил босиком, у него не было даже сандалий, за нахальство Багрицкий несколько раз выгонял его из своего дома. А сейчас он не может обойтись без замороженного шампанского. Уайльд был прав, когда писал, что скромные и бедные люди — это соль земли (Малышкин, Никандров, Гехт, Халтурин). Ты бы посмотрела, как важен стал Р. только потому, что у него завелись деньги. Зверунья, у меня к тебе просьба. В моем письменном столе в одном из маленьких плоских ящичков (вверху, над доской) есть толстое письмо от феодосийского художника Добронравного с разными материалами. Найди его, запечатай в конверт и отправь в редакцию «Правды» в от-

дел литературы и искусства. Вложи записку, что эти документы ты пересылаешь по моей просьбе. Я получил письмо из «Правды» с просьбой прислать эти документы,— очевидно, этот тип въелся в печенки и правдистам. Пиши обо всем подробно. Мы с Мишей живем очень дружно. Очень поцелуй Серого.

Сегодня опять дует очень сильный и жаркий восточный ветер, за Ласковым — огромный пожар, горят до самой Радовицы мшары. Дым закрывает половину неба. Звери (здешние) тебе кланяются низко, и ахают, и мурлычут. Черный кот совсем стал домашний, уже сидит в комнатах (на окнах) и моется.

Целую тебя, зверуша. Пойди обязательно на Кипренского.

Твой *Па*.

На Прорве мы видели хомяка. Он стащил кожуру от нашей колбасы и утащил к себе в норку, а потом долго стоял на задних ногах рядом с нами и объедал листья на иве.

Малышкинскую дачу надо взять — ведь это очень дешево и зимой у нас будет возможность туда ездить, а не сидеть в Москве. Жизнь в Москве бессмысленна.

В. В. НАВАШИНОЙ

29 августа 1938 г. Солотча

<...> Только сейчас я остался один и могу спокойно написать тебе письмо. 27-го я поехал (на ужасном автобусе) в Рязанский театр. В театре созвали всех актеров, вызвали представителей газеты, партийного комитета и комсомола, и началось заседание. Длилось оно три часа, мне пришлось много говорить. Актеры — провинциальные, напыщенные, режиссер — старый, усталый от сорокалетней работы человек, которому, очевидно, все надоело до смерти — и спектакли, и актеры, и совещания. Актеры ссорятся. В общем — халтура, они хотят за месяц сделать спектакль, но у них нет даже художника (если не считать рязанского живописца вывесок, который говорит «Еспания»), страшное убожество. На совещании я сидел в пыли, в духоте, в жаре и думал только о том, как бы уд-

рать поскорее в Солотчу. Совещание окончилось в 7 часов, машину они достали только в 9 часов. Домой я приехал в половине одиннадцатого и с наслаждением лег в беседке — в свежести и прохладе, но в 5 часов утра меня разбудили,— приехали на машине из Москвы Дудин, режиссер «Гончих Псов» Казанский (очень милый человек) и долговязый шофер Коля. Нельзя сказать, чтобы я был очень рад их приезду,— было много возни, чтобы их накормить и устроить, мне же хотелось побыть в тишине и одиночестве. После чая взяли удочки и поехали па машине (MI) на Сегден,— ехали всего двадцать минут. Весь день провели на Сегдене и на Черненьком озере. Все трое были в восторге. Поймали полведра окуней. У Зотовых была сенсация,— катали в машине Васю и всю сегденскую детвору. Когда мы уезжали (уже в темноте), Вася прибежал из лесу и притащил для тебя букет вереска,— очень просил, чтобы с ним осторожно обращались. Он очень к нам всем привязан.

Дудин приехал якобы для разговоров о пьесе (говорить, оказалось, не о чем), на самом же деле, чтобы половить рыбу. Я послал с ним тебе в Москву вереск и посылку,— написать не успел,— перед отъездом (они уехали сегодня на рассвете) была страшная спешка,— им сказали, что в Рязани в 6 часов разводят на два часа плашкот, и они собрались буквально в одну мипуту. Забыли здесь и рыбу, и громадный арбуз — если Миша приедет завтра (только что Манька притащила твою телеграмму), то мы вдвоем его съедим.

Впервые наш левитановский дворик был осквернен пребыванием автомобиля. Старуха была потрясена и польщена до того, что ни слова мне пе сказала о том, что Дудин сломал сиденье на стуле. Очевидно, появление машины, по мнению старухи, очень подняло ее (старухин) авторитет в Солотче.

Сейчас опять тихо, чисто, и я, когда окончу это письмо, буду писать рассказ <...>

Расцвело несколько белых астр. Черный кот сидит на пороге, моется и кланяется Звэре и Серому. Дивного перевели поближе к бане,— очевидно, старуха уже считает меня его хозяином. Утка нахально кричит в дверях, требует червей.

От Роскина нет ни слова,— когда все-таки он приедет и приедет ли вообще <...>

Твой *Па-Пауст.*

С. Д. РАЗУМОВСКОЙ

31 августа 1938 г.

Туся, дорогая, я очень хотел написать Вам о Тургеневе, но меня напугал срок и то обстоятельство, что в этой проклятой Солотче нельзя достать ни одного тургеневского тома. Жаль. Но я обязуюсь все новое, что пишу, передавать Вам или целиком, или в отрывках. Только Вам. Я в отчаянии, что подвожу Вас. Спасибо за Кипр. и Левитана,— их удачу я отношу и за Ваш счет. Пишите. Привет Игнатию. Не считайте меня бесчувственной свиньей.

Ваш *К. Паустовский.*

Роскин нагло утверждает, что Вы брали призы на лодочных гонках.

В. В. НАВАШИНОЙ

13 сентября 1938 г. Солотча

Валюшонок,— что же это ты обещал написать письмо в тот день, когда отправлял письмо Серый, и ничего не прислал? Третьего дня Роскин ходил на почту,— читать газету,— и принес новость о пожаре в Центральном детском театре. Материально это меня не затронет, но вообще неприятно,— сильно задержится премьера. Очевидно, пожар был грандиозный.

Получил телеграмму от ленинградского ТЮЗа (Театра юных зрителей) о том, что Сушкевич разрешил им ставить «Созвездие». Значит, в Ленинграде пьеса пойдет в двух театрах — Реалистическом и Детском.

Мы живем хорошо. Рувим уезжает завтра. Роскин очень мил, и даже Миша с ним примирился. По вечерам Роскин приходит за нами на рыбную ловлю,— вчера пришел на Селянское озеро весь в белом, на обратном пути мы попали под дождь — первый за два с половиной месяца. Сегодня с утра — тоже теплый дождь и замечательный воздух, уже пахнет осенней листвой, по всем дворам поют петухи, цветы ожили от дождя, а Миша уже ходит по саду и ищет выползков <...> Валентина держится в стороне. Рувим очень завял — иногда ходит с нами на рыбную ловлю, но бывает скучен и бесцветен. Дивный заболел — у него громадные раны на обоих ушах, шерсть слезла, он

отощал, стал очень жалкий. Заставили старуху повести его к ветеринару. Его лечат, но лечение почти не помогает.

Черный котище начал уже ласкаться и очень понравился Мише с тех пор, как у нас под столом набил морду чужому коту. Вот видишь, какие у нас патриархальные новости. Я работаю — пишу рассказ и наброски для вахтанговской пьесы, Роскин пишет большую статью о МХАТе <...>

На все письма я теперь отвечаю сейчас же, чтобы не огорчать Зверунью,— даже на самые незначительные. Вчера послал письмо красноармейцу из города Керки в Средней Азии — он мне прислал очень хорошее письмо, ты его, должно быть, помнишь.

Я согласился (принципиально) писать биографию Шевченко,— получил второе письмо от Фадеева, отказываться от этой работы очень неудобно.

Целую тебя очень-очень <...>

Поцелуй Серого и скорей пиши. Твой *Па.*

Н. Н. НИКИТИНУ

21 февраля 1939 г.

Николай Николаевич, дорогой,— не ругайте меня последними словами! Я в Москве так измотался, что ничего не успеваю сделать. Условимся иначе — первый же рассказ, честную прозу (все прочее есть гиль) пришлю Вам для «Резца». Если я этого не сделаю, то Вы проклянете меня на вечные времена.

На днях собираюсь в Свердловск — с Роскиным, Симоновым, Вовой Ермиловым. Задание туманное — «творческая» помощь уральским писателям. Чем? Как? Ничего не понятно. Как хорошо, что, когда Вы, и я, и все наши сверстники начинали писать, к нам не приезжали никакие бригады и не рылись в наших рукописях.

Арон все дни и ночи сидит в клубе, играет на бильярде, курит, пьет чачу и рыжий кофе из гималайского жита и потому пожелтел, как маркер.

На апрель все собираемся в Ялту. Не удастся ли Вам отложить Дальний Восток?

Новостей литературных нет. Есть театральные. В ТЮЗе идет «Сказка» Светлова — изумительно! Настоящая и большая поэзия. Удивительно, как Брянцев мог «завалить» такую чудесную пьесу.

В Москве — слякоть, дым, все потеряло цвет, как будто изъедено какой-то кислотой (кислотой скуки). Месяц московской жизни я готов променять на один час, проведенный на набережных Невы.

Вместо отрывка из пьесы посылаю Рэнэ Ароновне и Вам замысловатый кроссворд. Поломайте над ним голову.

Привет Рэнэ Ароновне. Валерия Владимировна и Сережка кланяются.

Всего хорошего. Ваш *К. Паустовский.*

В клубе был вечер, посвященный зоопарку. Сотрудники зоопарка выпустили на пол несколько десятков змей (неядовитых). Среди пьяных была невероятная паника (змеи заползли в ресторан).

В. В. НАВАШИНОЙ

4 апреля 1939 г.

<...> Получил твою записочку от 31 и киевскую телеграмму. В Киев я отвечаю сегодпя <...>

У Валуева есть один экземпляр пьесы, но в том варианте, который еще не прошел через репертком. На днях я пришлю тебе окончательный вариант, ты его дашь переписать машинистке и отправишь в репертком (я напишу, как это сделать). Тогда с пьесой будет сделано все <...>

Все ждут здесь подробностей о смерти Макаренко. Дерман пишет о нем статью.

В этом году народ очень неинтересный, и наша компания держится особняком и очень выделяется. Вчера приехал А. <...> — приятель Роскина. Он оказался очень добрым и веселым человеком. Единственный его недостаток, как говорит Дерман, тот, что его «слабит» остроумием,— острит он не переставая.

С Гехтом и Роскиным ходили в Массандровский парк — там очень хорошо, но все же весна здесь поздняя — только набухают почки, зелени еще мало. Уже тепло — 15—17 градусов, но сегодня с утра с гор задул нордост при совершенно безоблачном небе. Ходили вчера с Гехтом и Гроссманом в горы по Исарскому шоссе. В город я не хожу — там опять ремонтируют набережную, пыль, много больных. Один только раз Гехт потащил меня к молодому писателю Козачинскому. Он болен и живет с матерью в городе, в доме, где жил двадцать лет и умер Найденов. Там

много очень интересных фотографий Чехова, Бунина, Арцыбашева, многих актеров и старых писателей. Козачинский — очень любопытный человек, бывший одесский бандит. Его поймал и арестовал Евгений Петров (когда был начальником угрозыска). Теперь они друзья.

Вот и все здешние новости. Я начал писать. Пишется легко, масса времени для работы, я отдыхаю от звонков и обязательств. Сегодня вечером должна быть первая «американка». Читать будет, конечно, Гехт. Роскин прочтет четыре подлинных и еще неизвестных письма Чехова (он купил их у жены Федорова за тысячу рублей). Пиши, Звэра, зеленоглазая, сероглазая крикунья. Целую тебя очень и Серого тоже.

Твой *Па.*

Это письмо отнесет на почту Дерман.

В. В. НАВАШИНОЙ

6 апреля 1939 г.

<...> Я пишу тебе письмецо вечером. Утром ездили на Учан-Су, в нем очень много воды и много радуг, но много и курортников в тюбетейках со страшными лицами. Весь день работал. Первый раз приходил доктор-водовоз. Спрашивал о тебе и Сером. Выслушал меня и ничего не нашел, ни в легких, ни в бронхах. Не нашел никаких признаков склероза. Говорит, что в моем возрасте это редкость.

Сегодня утром было необыкновенное зрелище — подул ветер и с деревьев, с пихт и сосен, туманом поднялась пыльца. Деревья дымились так, что их почти не было видно. В течение получаса даже не было видно гор, как во время сильного тумана. Событие это вызвало массу разговоров. Зверунья, я взял и выкрасил белым камнем (он называется «альбин») свои серые туфли, и получилось очень хорошо — они ослепительно белые и совсем не пачкают.

Я совсем здоров, только от ялтинской воды на губе появился «герпес». Ты молодец, Звэра, что не побоялась и пошла к Featureнику и узнала про книжки. Очень хорошо, если в мае выйдет сборник. У Раппопорта возьми фотографию, но я не знаю — стоит ли давать отрывок из пьесы. Посмотри сама.

Теперь — большое и скучное дело. Сегодпя я посылаю тебе заказной бандеролью выправленный экземпляр пьесы («Простые сердца»). Надо вызвать Канабеевскую (или сговориться с моей машинисткой Анной Ильиничной Д 1-50-89) и поскорее перепечатать ее в четырех экземплярах. Потом надо позвонить Кузе (его зовут Василий Васильевич, а телефон в моей книжке) и узнать — получили ли они официальную визу реперткома. Если получили, то узнай номер и напиши его на всех экземплярах. Если нет, то отвези один экземпляр в репертком т. Вдовиченко (тому, что был на «Созвездии») или Мерингофу, сдай и попроси поскорее прочесть. Когда они дадут визу, то напиши ее номер на всех экземплярах. Один экземпляр пошли, не откладывая, в Киев по адресу: ул. Ленина, Русский драматический театр, директору театра т. Латынскому. Второй экземпляр отнеси Валуеву и скажи, что это окончательный вариант с визой реперткома. Пусть оп его распространяет, по при условии, чтобы театры договаривались со мной о постановке. (Скажи Валуеву, что тот первый экземпляр, который лежит у него, распространять не надо.) Третий экземпляр спрячь в мой письменпый стол. Вот и все. Прости за такое сложное поручение, но придется это сделать. (Репертком помещается на Б. Дмитровке, на углу Кузнецкого моста, если идти от Охотного направо, угловой дом — перейдя Кузнецкий.) Посылаю тебе доверенность па альманах <...>

Целую тебя крепко. И Серяка. Твой *Па.*

Появляется ли Миша?
Здесь уже жара — сегодня было 29 градусов на солнце.

В. В. НАВАШИНОЙ

9 апреля 1939 г. Ялта

Зверунья, сегодня с утра густой тумап, на маяке звонит колокол, а в море всю ночь трубит какой-то заблудившийся теплоход. А вчера было жарко и Гехт даже купался...

Узнал от Симонова неприятную новость. К Симонову приезжала из Солотчи его хозяйка и рассказала, что две недели назад Матрену разбил паралич. Опа лежит без движения. Надо бы написать Ивану Дмитриевичу, узнать.

Читал на «американке» начало своего рассказа. Все

очень хвалили, особенно Дерман. Он меня поздравлял и восхищался. Вот скоро окончу рассказ и пришлю его Звэре. Я работаю и каждый день гуляю. Был с Гехтом и Шпановым на царской тропе и в Дерекое. Шпанов очень славный — он тебе понравится. У него все привычки американца — очень веселый, общительный и культурный (что-то есть общее с Никитиным). Роскин — высокомерен и холоден. Гехт — такой же смешной и милый, как всегда,— уже носил свой костюм в «американку» — штопать и перекрашивать.

Старик Дерман ожил, острит и кипятится. Часто вспоминает тебя и Сережу. Вот и все здешние новости. Почему ты пишешь такие крохотные письма? Все ли у вас в Москве хорошо? Говорят, что опять морозы и метели. Напиши мне подробно, что ты делаешь, кого видишь,— кто у нас бывает <...>

Получила ли ты заказную бандероль с пьесой и письмо о том, что с ней делать. Судя по газетам, сейчас в реперткоме будут большие перемены. Если нужен будет какой-нибудь совет по реперткомовским делам — спроси Дудкина.

Пиши. Не куксись, не болей. Целую тебя и Серяка.

Твой *Па.*

В. В. НАВАШИНОЙ

12 апреля 1939 г. Ялта

<...> Пожалуйста, не волнуйся из-за рецензий какого-то Мара. Мы, Звэра, всегда будем делать и писать то, что считаем нужным для людей и прекрасным. Настоящие люди это поймут, а до дешевой критики нам не должно быть никакого дела... Самое тяжелое в наши дни — это стремительный рост пошлости. Здесь, в Ялтинском доме, мы окружены пошлостью, пожалуй, больше, чем в Москве. Поэтому особенно начинаешь ценить таких людей, как Дерман, Гехт и Гроссман,— простых, добрых, умных и талантливых. Мы держимся очень дружно.

Вчера ездили на машине в Партенит — это татарская деревня на самом берегу моря за Аю-Дагом (между Гурзуфом и Алуштой). Место очень пустынное, древнее. Было море необыкновенной синевы (может быть, потому, что день был холодный и солнечный). При нас рыбаки ловили со скал камсу. В Партените я встретил песика — брата

Гаврилы,— точно такой же пепельный, седенький, мохнатый старичок — очень тихий, голодный и ласковый. Хотел взять его с собой в Ялту (он беспризорный), но он спрятался под дом от детей (они его мучат) и боялся выйти. Кстати, о глупости. При нас рыбаки вытащили сеть с кефалью. Жена критика Р. (того, что обругал «Левитана»,— о нем все говорят, что он ужасный тип) — маленькая старая еврейка, похожая на жену Б.,— начала приставать к рыбакам — едят ли они кефаль жареной или сырой. Рыбаки обиделись и, к общему удовольствию, обругали ее так, как могут ругаться только рыбаки. Присутствие таких людей портит все, так же как существование магазина «подарки моря» опошляет всю Ялту.

Сегодня наконец тепло, даже жарко, а то в последние дни было много туманов <...>

Сегодня приходила в дом старушка-художница. Фамилия ее Бекетова. Показывала свои работы. Есть несколько замечательных портретов (она — самоучка). Голодает и почти нищенствует, но ни одной своей картины не захотела продать — просила только, чтобы ей помогли — написали в Симферополь, в комитет по делам искусств, чтобы ей дали возможность учиться (а ей уже 57 лет), мы отправили коллективное письмо. А ты думаешь, что тебе уже поздно учиться, глупая...

Пиши, не куксись, кукунья, поцелуй Серяка и Фунта.

Твой *Па*.

В. В. НАВАШИНОЙ

15 апреля 1939 г. Ялта

Маленькая Звэра,— вчера из Москвы совсем не было почты. Каждый раз, когда не бывает почты, почему-то делается неспокойно на душе. Последние дни я много работаю — вчера на «американке» читал отрывок,— Роскин сказал, что единственный недостаток моего рассказа тот, что он безукоризнен и нет никакой возможности к чему-нибудь придраться. Третьего дня ездили в ущелье Уч-Кош (это в горах за Массандрой). Совсем не похоже на Крым — очень дико, страшно и глухо — громадные сосновые леса растут на отвесных скалах...

За нашим столиком сидит Луговской — очень тонный, очень джентельмэнистый, все время перебирает четки. Больше всего провожу время с Гехтом, Гроссманом и Дерманом. Роскин после мрачной полосы (он собирался уез-

жать в Москву) снова любезен и весел. Дерман — чудесный старик. Сегодня он мне рассказывал, что у него есть маленькая внучка. Когда она расплачется, никто ее не может успокоить, кроме Дермана. Он берет ее за руку и говорит: «Пойдем, послушаем, как молчит телефон». Они подходят к телефону и слушают, и девочка перестает плакать. Правда, трогательно?..

Все последние дни — серо и прохладно, но воздух изумительный. Море спокойное и бледное. На сирени, каштанах и глицинии появились бутоны, но листьев еще нет — весна здесь поздняя. В городе продают синие гиацинты и нарциссы... По-старому каждый вечер Гехт собирает толпу и бродит вокруг дома до поздней ночи — с шумом и спорами. В парке по вечерам уже поют соловьи.

Устройся так, чтобы приехать хоть на несколько дней, Звэрунья. А то очень-очень обидно, что ты не видишь хороших вещей, которые здесь бывают (особенно хороши ранние утра).

Я поправился — мне дают каждый день простоквашу, томатный сок и приносят в комнату по десятку яблок. Я их не съедаю (всех), и у меня сейчас целые яблочные залежи — раздаю Гехту и другим. Получил письмо из Москвы от художницы Мавриной (она делала иллюстрации к Лонсевилю). Просит заступиться за нее — оказывается, «Лонсевиль» выходит в школьной серии, ей заказали штриховые и натуралистические рисунки, она не хочет делать ничего натуралистического и просит, чтобы я написал свое мнение в Детиздат. Подписал договор с киевским театром на «Простые сердца»...

Не пришел ли альманах с моей статьей о Грине?

<...> Очень красивые листики — только колючие,— не наколи об них лапы.

Только что получил открытку от Серого, где он пишет, что Рошаль делает фильм по «Гончим Псам». Не ошибка ли это, ведь Рошаль должен делать картину по «Северным рассказам».

В. В. НАВАШИНОЙ

17 апреля 1939 г. Ялта

Крикунья с больным ушком,— получил вчера твое письмецо, где ты пишешь о Вересаеве. Мне почему-то кажется, что у тебя грипп и ты скрываешь это от меня. Напиши

правду. А то я все беспокоюсь и за каждой строчечкой твоего письма вижу звериные хитрости,— как бы не проговориться мне насчет больного ушка и нездоровья.

«Каштаны» — это рассказ почти автобиографический — о том времени, когда я жил один в Киеве (гимназистом) у старушки-польки пани Козловской в Диком переулке. В нем должно быть много юношеских ощущений, но вместе с тем он тяжелый (по сюжету). Хочу написать второй рассказ — если успею. «Каштаны» еще не окончены,— мешает Гехт, который каждый день устраивает прогулки, и нужно большое мужество, чтобы от них отказываться. Третий день стоит очень теплая, яркая погода, но по вечерам еще холодно. Вчера ездили на грузовике на Ай-Петри. Был синий туман, солнце, на вершине Ай-Петри еще лежит снег. Симонов всю дорогу снимал меня «лейкой» (здесь всем очень нравится мой берет и особенно клетчатый шарф, сделанный из звэриного платьица). Снимал рядом со снеговыми кучами — снег зернистый, фирновый, чудесно пахнет.

На Ай-Петри Гехт потребовал ехать дальше — на Орлиный залет. Проехали по Яйле и теми же буковыми лесами (помнишь?). На залете был очень ясный воздух и масса подснежников. Вернулись все страшно загорелые. Ездил с нами Рыльский — он очень славный, бросил пить. На залете вспомнили Малышкина — стало очень печально. Всю дорогу старик Дерман веселился, как мальчишка, а вечером пришло твое письмо, и я показал ему твою приписку — чтобы обязательно передать ему привет, и он выпил по этому случаю за твое здоровье целый стакан вина. Вчера утром получил две телеграммы от Лежнева с просьбой написать «фантастический» (?) рассказ для первомайского номера. На телеграммы я не ответил. Вечером ко мне прибежали из конторы и сказали, что меня срочно вызывает по телефону Москва. Я испугался, думал, что звонит Звэра или Серый, что с кем-нибудь что-нибудь случилось, но звонил, конечно, Лежнев, приставал с рассказом. Разговор длился три минуты — я нарочно кричал, что абсолютно ничего не слышу (хотя слышал прекрасно), а Лежнев надрывался около телефона. Так ничего и не вышло. Получил отчаянное письмо — вопль от Арона — просит рассказ для «Огонька». Рассказа я ему не дам.

На днях поеду с Дерманом на два-три часа в Алушту к Сергееву-Ценскому. Говорят, он очень интересный, но нелюдимый человек <...>

Целую тебя очень. Пошепчи Серяку обо мне что-нибудь хорошее. Поцелуй его. Фунтика не очень наказывайте.

Твой *Па.*

Прочел «Крошку Доррит», теперь читаю Дневники Миклухи-Маклая.

В. В. НАВАШИНОЙ

20 апреля 1939 г. Ялта

Зверунья, опять нет писем уже давно (три дня) ни от тебя, ни от Серого. Пишите хотя бы по нескольку слов, а то у меня появляются всякие глупые мысли.

Пришла телеграмма из Москвы о том, что мне продлили путевку до 15 мая (почему-то отказали всем, кроме меня), и я сам не знаю как быть. Напиши — приедешь ли ты — тогда я останусь. И напиши, крикунья, сейчас же, потому что теперь билеты надо заказывать за десять дней — очень трудно с отъездом,— чтобы я успел заказать билеты нам обоим (чтобы уехать 15, надо заказать 5 мая).

Сейчас, после жары, опять густой туман несет полосами с гор и бьет туманный колокол — я его очень люблю.

18-го мы ездили в Чуфут-Кале (под Бахчисараем). Ехали через Ай-Петри по прекрасной Бельбекской долине — она вся в цветущих садах. В Чуфут-Кале (это мертвый город древних готтов, выбитый в отвесных скалах) тысячи ящериц бегают по развалинам, и все заросло цветущим терном. Город замечательный — даже Роскин был потрясен и подавлен. В скалах пробиты улицы, площади, арки, склепы, дома и цистерны. Улицы узкие, и в камнях копытами лошадей протоптаны глубокие ямы. Многие улицы вымощены розовым мрамором. Все это в страшном запустении, заросло бурьяном и фиалками. На этих развалинах нас встретили два библейских пастуха и сыграли нам на свирелях «Ах, сердце, как хорошо, что ты такое!». Им дали три рубля, чтобы они перестали играть Дунаевского и фокстроты, и тогда они сыграли замечательные татарские песни. На обратном пути заезжали в Бахчисарай, были в ханском дворце. Он очень стар, разрушается, но все же прекрасен. Особенно хорош «фонтан слез» — весь зеленый от плесени,— сквозь нее проступает розовый мрамор и из синего каменного глаза каплет, как слезы, ледяная вода. На обратном пути на Ай-Петри уже в темноте

попали в страшный ветер, но все обошлось благополучно. Симонов снимал меня на ходу в грузовике, несмотря на тряску, все-таки фотографии вышли. Сзади — Гехт в перевернутой козырьком назад кепке,— он очень милый, но почему-то очень молчаливый и грустный в последние дни.

Дерман веселится. Тоже ездил в Чуфут-Кале. Роскин совсем не работает — играет в теннис (в жилете)...

Приехал Ингебор — живет в туберкулезном санатории. Рассказывал, что говорил с тобой по телефону о Солотче, и не сказал тебе, что едет в Ялту — тогда он еще об этом не знал. Много ленинградцев — очень чопорных и манерных.

Вот и все мои новости ялтинские. Как Фунтик? Треневы привезли голую злую собачонку с вытаращенными глазами — невероятно противную...

Твой *Па.*

На Мишку мы зря сердились. Передай ему, что здесь живет старик критик Займовский, большой любитель астрономии, друг Фраермана. Я ему рассказывал о Мише, и он очень просит познакомить его с Мишей в Москве.

Вчера Лавренев поймал в парке громадного, совершенного седого (с белыми иглами) ежа.

Роскин всерьез собирается покупать дом в Крыму.

В. В. НАВАШИНОЙ

23 апреля 1939 г.

<...> Насчет шевченковского пленума в Киеве я ничего не знаю,— приглашения я не получал, но даже если бы и получил, то, по-моему, ехать не стоит,— будут официальные торжества и будет очень утомительно. Здесь по-старому, хорошо, но в последние дни Гехт и Роскин бросили работать, махнули на все рукой и выбили всех из колеи — каждый день устраивают какие-нибудь поездки. На днях по просьбе Дермана я, Лавренев и Симонов ездили вместе с ним в Алушту — при всех орденах. (Впервые пришлось привинтить орден.) В Алуште живет 80-летний старичок-ученый, знаток Крыма и большой друг Дермана. Старичка обидели — выселили из дома, где он прожил 50 лет и своими руками разбил прекрасный сад. Мы поехали в Алуштинский райком, сенсация была чудовищная — сейчас же для нас вызвали секретаря райкома, прокурора и

председателя горсовета и для старика все было сделано в пять минут. Дерман был очень тронут и выставил нам за это бутылку шампанского.

Вчера на катере я ездил в Алупку — сильно качало, но море было замечательное.

«Американки» продолжаются. На днях сильно попало поэту Соловьеву. Гехт прочел чудесный рассказ — гораздо лучший, чем все предыдущие.

Очень тепло, но часто с моря наносит густые туманы и за несколько минут температура падает на 10—12 градусов. Как только туман пройдет — снова становится жарко.

Посылаю несколько фотографий. Здесь буквально фотографическое сумасшествие. Сегодня меня и Дермана сняли 40 раз! (Снимают «лейкой» незаметно.)

Зверунья, надо послать один экземпляр «Простых сердец» в Харьков в Театр русской драмы — народному артисту т. Крамову. Послала ли ты пьесу в Ленинград — об этом я телеграфировал. Лежнев пристает невероятно,— прислал сотрудника в Ялту, он всем надоедает, но я все же отказался писать хотя бы строчку. Твоя вырезка (Горюнова о толстоте) вызвала сенсацию. Ее читали вслух за всеми столиками. Особенно хохотал Гехт.

Зверунья, собирайся в Ялту,— с Серым ничего не будет, он у нас уже взрослый юноша. Точно протелеграфируй, как приедешь,— лучше ехать, как всегда, через Севастополь. Там есть наш агент — литфондовский — на вокзале. Я буду тебя встречать внизу. Собирайся, зеленоглазый крикун, ничего особенного (вещей) не бери — но возьми обязательно спичек (здесь их нет совсем, и мы мучаемся) и мыла.

Целую крепко-прекрепко тебя и Серого. *Па.*

В. В. НАВАШИНОЙ

26 апреля 1939 г.

Зверунья, уже очень давно не было писем, и я боюсь — не случилось ли чего-нибудь в Москве. Почему ты не пишешь? Почему не пишет Серый? Здоровы ли вы. Последнее, что я получил от тебя, была телеграмма от 21, а теперь уже 26-е, и нет от вас ни слова.

Я получил от Фадеева приглашение на пленум (сегодня) и ответил, что поехать не смогу — нет смысла ехать

в Киев на официальные торжества (вернее, бесконечные заседания) в окружении 160 писателей. К тому же пленум открывается 4-го мая, и уже нельзя взять билеты.

Рыльский (он очень милый) приглашает приехать в Киев к нему летом или в конце августа — у него будет пустовать квартира и оп отдает ее нам. А самое трудное в Киеве — это жилье.

Здесь все по-старому <...>

Ездил недавно в Никитский сад. Все уже распускается, миллионы цветов, но ни одного цветка нельзя купить без резолюции директора сада. А чтобы получить резолюцию, надо подавать заявление и ждать три дня. Сейчас Ялта без цветов, без вина, без сахара и спичек. За всем — большие очереди.

Вчера опять началась жара. Утром ходили компапией с Дерманом в деревню Ай-Василь (за Дерекоем). Там цветут громадные фруктовые сады.

Между прочим, Ардов очень удачно сказал о Дермане: «Очевидно, во время полного социализма все старики будут такие, как Дерман». С тех пор Дермана прозвали «социалистическим стариком», и он сам себя так называет. Не устает восхищаться Сережей, спорить и острить.

Роскин жуирует, Гехт беспрерывно придумывает разные экспедиции, но сейчас, так как в Ялте нет бензина, то все эти планы срываются. Лавренев оказался очень приятным, умным и сдержанным человеком <...>

Я пишу, начал второй рассказ. «Американки» по-прежнему процветают. На днях был с Дерманом у М. П. Чеховой — она очень просит прислать ей книгу о Левитане — захвати один экземпляр с собой.

Целую тебя и Серяка крепко-прекрепко. Посылаю еще песколько фотографий.

Пиши, а если трудно и лень, то телеграфируй.

Твой *Па.*

А. А. КУЛЕШОВУ

30 мая 1939 г. Москва

Многоуважаемый Александр Александрович,— простите, что отвечаю Вам с таким опозданием, но почти два месяца меня не было в Москве, и только сейчас я разобрал всю накопившуюся почту.

Я лично давно думаю о том, что в домике, где умер Грин в Старом Крыму, надо открыть музей. О Вашем предложении я написал в Старый Крым жене А. С. Грина Нине Николаевне (она живет в этом домике). Без нее решать ничего нельзя. На днях должен прийти от нее ответ, тогда я сообщу об этом Вам, и мы сможем встретиться и поговорить более подробно.

Всего хорошего.

К. Паустовский

В. В. НАВАШИНОЙ

26 сентября 1940 г. Солотча

<...> После отъезда Дудина здесь стало очень одиноко, я уже очень очень соскучился по Звере и Серяку. Единственное, что хорошо,— это тишина. От одиночества я много пишу. Второй день идут дожди, ветер, ненастье, но у нас тепло и очень хорошо работать.

Сегодня приходил ко мне с «визитом» аптекарь, принес мне «почитать» огромную книгу — историю фармации.

В усадьбе совершенно мертво — нет даже баб с продуктами. Но продукты мы все достали и питаемся прекрасно. Много барапины, помидор. Полина принесла чудесную сметану и творог. Ал. Ив.— образец кротости, может быть, потому, что я еще ей не платил денег.

Ал. Васильевна читает, по обыкновепию, и хотя еще никуда кроме кооператива не выходила, но очень довольпа, говорит, что каждый год на сентябрь ездила бы сюда с наслаждением. Я боялся, что ей будет скучно, но она, кажется, совсем не скучает.

Вчера ходил на Старицу с рувимовским зонтиком. Воткнул его в землю и сидел под ним, как в палатке. Несколько раз перепадал дождь. В лугах пустынно, нет ни одного че ловека, все в тумапе, и воздух необыкповенный — пахнет осенней травой, ивой, водорослями. Кое-где еще доцветает гвоздика и ромашка. Клев замечательный,— за три часа я поймал несколько фунтов окуней и голавлей. Рыбу отдаем (не всю) старушкам,— они ее засаливают и вялят на зиму.

Фунтик много спит, потом устраивает гонки от кухни до моей комнаты.

Я написал уже почти две картины лермонтовской пьесы (всего будет семь картин). Пьеса совершенно непохожа на сценарий — взят совсем другой материал. Мне хочется,

чтобы в пьесе было много настоящей поэзии,— в сценарии сделать это было гораздо труднее. Думаю, что успею написать здесь еще один небольшой рассказ <...>

Как прошли «Простые сердца»? Какие новости в Москве? Как твои пальчики? Пиши мне обо всем и ничего о себе не скрывай. Приедет ли сюда Рувец, или это очередная «липа»? Был ли Дудин — он обещал прийти к тебе и все рассказать.

Пиши мне чаще. Я чувствую себя здесь немного как в ссылке — поэтому пиши чаще обо всех пустячках.

Целую тебя очень-очень. И Серого очень-очень.

Твой *Па.*

Р. И. ФРАЕРМАНУ

1 октября 1940 г. Солотча

Рувец, дорогой,— спасибо за письмо. Вы знаете, что здесь осенью каждая строчка из Москвы приобретает характер маленького события.

История с Шурой чрезвычайно заинтересовала всех обитателей солотчинского дома. Старухи обсуждают ее третий день, и это, безусловно, скрашивает их скудное существование.

Новости здесь «солотчинские». Самая потрясающая новость — это, конечно, то, что совершенно исчез из обращения «мат» (после нового закона о хулиганстве). Наибольшее недоумение это вызывает, конечно, у лангобардовских лошадей. Лангобарды вежливые, как лорды, и не позволяют себе даже обидных шуток насчет «рыболовов», у которых «ни х... не будет». Но зато в лугах, когда их никто не слышит (кроме меня), они отводят душу.

Здесь очень хорошо — пустынно, мертвая тишина, только весь день без толку кричат петухи. Сад желтеет, но очень медленно. Черви (очень жирные) появились всюду. За десять минут я накапываю целую банку.

Что касается щуки, то Дудин пе врет, вешали ее на безмене Ал. Ив.— 14 фунтов. Взяла она на донку, на косе (на Прорве). Вырвала донку из песка, и Дудин бросился в воду и успел ее схватить, когда удилище уже уходило под воду. День на Прорве был чудесный.

Клев хороший, временами бешеный. На пески я хожу только в ветреные дни — там очень тихо. Увы! На Про-

моине ловить нельзя, не знаю почему, там вода стала мутная и красная, как жидкая глина, тогда как всюду вода необыкновенно прозрачная.

Еще новость — начался клев язей (на Старице). Очень сильная и красивая рыба.

Меня изредка навещает сельский аптекарь г-н Омэ, значительно опустившийся в связи с наступлением осени. Иван Дмитриевич выражает горячую надежду, что теперь-то когда Вы приедете зимой, то уж Вам не обойтись без его страховидной Маланьи Егоровны.

Достал десять литров керосину! Ал. Ив. имеет надежду, что я отдам его ей, на что и намекает Ал. Васильевне.

Приезжайте — за два-три дня Вы отдохнете необыкновенно. Трудно передать Вам всю прелесть этого пустого тихого дома, пустынных лугов и осеннего клева. Да Вы и сами это знаете. Я Вас жду.

Как прошла премьера у Дудина? Что нового?

Привет Вале и Мальвине. Фунтик кланяется Пчелке и подает лапу. Он занят преимущественно перерыванием сада.

Что слышно на Роскинском фронте?

Приезжайте. Целую. *Коста.*

В. В. НАВАШИНОЙ

7 октября 1940 г. Солотча

Звэрунья-кукунья,— очень долго не писал тебе, потому что дни идут здесь очень спокойно, однообразно, я работаю, и впечатление такое, что прошло очень немного времени...

Почему ты и Серый бес так мало пишете. Каждый день я жду писем, но их нет, и я пугаюсь — все ли у вас благополучно в Москве.

Живем мы очень тихо, в полной пустынности. Я в последние дни много работаю (написал уже семь картин из девяти). 9-го окончу, а 10-го и 11-го буду отделывать и править. Работать здесь удивительно легко. В комнате у меня очень тепло. Старуха принесла ковер, окна (вторые рамы) Ал. Вас. уже вставила и между окон положила осенние листья и сухие цветы.

Ложимся мы очень рано — часов в девять. Ночи непроглядные. Среди ночи иногда начинается дождь и капли со звоном падают в таз (потолки, конечно, текут). Фунтик просыпается и долго лает на капли. Он гуляет с Ал.Вас.,

веселится, но почему-то много спит. Если его спросить, «где Звэра?», он очень волнуется и бегает по комнатам, ищет. У него теперь новая привычка,— он приходит ко мне, садится рядом и сам, безо всякой просьбы, протягигивает лапку — просит печенья.

Встаем мы тоже очень рано — в 6 часов, на рассвете. Я встаю раньше, Ал. Вас. позже. Она очень старается и, несмотря на то, что весь день одна, совсем не скучает.

Было два или три чудесных солнечных дня. Я ездил на резиновой лодке на Прорву, пробыл там весь день, сделал перерыв в работе. Вода такая прозрачная, что на огромной глубине видно дно. Ивы уже желтеют, и когда дует ветер, то Прорва совершенно сказочная — золотые листья перемешиваются с серебряными (листья ив — серебряные с изнанки), и все это блестит и сверкает под солнцем необыкновенно. На Прорве не встретил ни души. Развел на косе костер, кипятил себе чай. Рыба клюет странно,— она сбилась в стаи на глубине, и если попасть на стаю, то клев бешеный, но найти стаю трудно.

В лугах бродить очень одиноко, и даже не верится, что летом мы все бывали здесь. Были уже заморозки (на рассветах), иней, но днем на солнце еще летают бабочки и карамора. Третьего дня весь день летели журавли. Вчера уже летели стаями дикие утки.

Вчера после обеда я пошел на пристань (где раньше был Лялин), взял лодку и удил на песках, на той стороне. Неожиданно из зарослей ивы вышел человек, одетый с такой же элегантностью, как Арон, в фетровой шляпе, очень похожий на иностранца. Спросил меня на ломаном русском языке, как пройти в Солотчу, очень церемонно поклонился и ушел. Странная встреча. Я не спрашивал его — кто он.

Спасибо Серяку за письмо и за газеты. Воображаю, какое смятенье в писательских квартирах. Вирту ругают всюду. В самобичевании Гехта есть что-то елейное,— мне оно не понравилось,— самобичевание в назначенный срок. Гехтеныш сделал это зря. Леонова жаль, потому что он все же очень самостоятельный и честный писатель. Сильно ли напуган Рувец?

Издали все это кажется мышиной возней. Нам до отъезда осталось уже немного — всего неделя. Скоро будем готовиться.

Пишите мне <...>

Целую тебя и Серяка. *Па.*

Семена настурции уже собрали.

Посылаю тебе лепестки наших подсолнухов.

Пьеса о Лермонтове получается очень трагической. Но это хорошо. Я придумал песню — ее поет часовой,— она тебе, должно быть, понравится.

Н. Н. ГРИН

30 ноября 1940 г. Москва

Дорогая Нина Николаевна,— почему Вы нам не пишете? Получили ли письма Валерии Владимировны? (Одно — с карточкой Сережки.) Мы узнаем о Вашей жизни только от А. А. Кулешова.

Я не писал в силу своего неумения писать письма. Только недавно я вернулся из Солотчи — жил там в октябре совершенно один (с Фунтиком). Много работал.

Прежде всего — о литературных делах.

В Детиздате наконец-то вышел сборник рассказов Александра Степановича. Он еще не поступил в продажу (есть пока «сигнальные» экземпляры). На днях я их получу. Я книги еще не видел, но Эйхлер говорит, что она издана прекрасно. Как только весь тираж будет отпечатан (на этих днях), Вам тотчас пошлют в Старый Крым авторские экземпляры.

Второе — в «Советском писателе» первый том (22 листа) уже пошел в производство. К весне должен выйти.

Третье — в Большом театре идет подготовка к постановке балета «Алые паруса». На днях я узнаю фамилию композитора и либреттиста. Рассказывал мне об этом один из руководителей Большого театра т. Владимиров (режиссер и заведующий литературной частью театра). Говорит, что музыка и все в балете прекрасно. Мне сообщат, когда можно будет прослушать уже готовую музыку, и я напишу Вам.

У меня будут еще встречи с Владимировым (они предлагают мне написать оперу?!), и я поговорю с ним о Ваших авторских правах в связи с постановкой балета.

На днях я, по просьбе т. Серебрянского, написал короткую и чисто фактическую биографию А. С. для «Истории советской литературы». Не знаю, чья будет основная статья,— кажется, Зелинского.

Кроме злополучной Немировой, все новые и новые чтецы (и хорошие) начинают читать рассказы А. С.

Как видите, все хорошо.

«Простые сердца» уже, к сожалению, не идут. В Москве вообще снято с репертуара множество пьес — результат очередной реперткомовской паники.

Когда Вы собираетесь в Москву? Нас в Москве не будет с 30 декабря по 14 января — на Сережкины каникулы мы думаем уехать. Ал. Ал. Кулешов говорил, что Вы приедете в январе. Будем Вас ждать. Такое ощущение, что мы не виделись много лет <...>

Всего хорошего.

Ваш *К. Паустовский.*

Д. Б. КАБАЛЕВСКОМУ

2 февраля 1941 г. Переделкино

Дорогой Дмитрий Борисович,— два последние дня я все время думал над сюжетом оперы, писал, рвал и выбрасывал написанное и, в конце концов, убедился, что ничего не получится. Очевидно, в самом замысле есть какая-то скрытая фальшь и надуманность, и это, как обычно, мстит за себя и накладывает на всю вещь (особенно на конец) отпечаток слащавости и искусственности.

Чем больше я мучаюсь над этим «шотландским» сюжетом, тем яснее мне становится, что оперу следует писать по первому «Северному рассказу». От добра добра не ищут.

Если Вы не окончательно махнули на меня рукой, то перечитайте рассказ, подумайте над ним, и, мне кажется, Вы со мной согласитесь. Он современен в подлинном значении этого слова (сейчас ведь понятие современности очень вульгарно подменяют понятием злободневности), и с этой стороны нам нечего опасаться, если опера удастся, то, как все хорошие вещи, она в самой себе будет нести право на существование, на победу, на долгую жизнь.

В «Северный рассказ» можно ввести сцены, которые придадут всей вещи особую музыкальность. Перевести «Северный рассказ» на язык оперы сравнительно легко. В нем — живые люди, а здесь, в «шотландском» сюжете, люди схематичны. Я их плохо вижу и сбиваюсь то на диккенсовский, то на стивенсоновский круг героев.

Подумайте, не сердитесь на меня за эту невероятную «волынку» с сюжетом и решайте. Я чувствую себя преступником перед Вами, и это меня удручает, так как с первой же встречи у меня создалось убеждение, что мы с Вами могли бы прекрасно сработаться.

Жду вашего ответа.

Ваш *К. Паустовский.*

С. М. НАВАШИНУ

8 апреля 1941 г. Москва

Серяк,— пишу, как ты просил, через копирку. Как ты себя чувствуешь? Не изводят ли тебя самолеты, они там ревут круглые сутки.

Звэра очень торопится, бежит на Пятницкую купить тебе цветок. Сейчас придут дезинфекторы. Два раза приходили санитарные врачи и вели себя так, как будто у нас чума. По случаю дезинфекторов сегодняшнюю передачу тебе отвезет Елизавета Сафроновна. Она сияет, заранее предчувствуя удовольствия от этой не меньше чем десятичасовой поездки.

Новости: пришел английский выпуск «Интернациональной литературы»,— там напечатан перевод «Парусного мастера». Звэра говорит, что перевод очень хороший. Сегодня в «Правде» напечатана большая заметка о съемке фильма «Лермонтов». Вчера Звэра с Рувцом была на собрании лермонтоведов в Театральном о — ве. Лермонтоведы... выли от негодования и требовали запрещения пьесы, говорили о том, что я — гордый автор, считающий их ничтожествами... Самое пикантное, что Бродский обрушился на пьесу, тогда как у меня лежит в столе его письменный отзыв о пьесе, где он ее в общем хвалит. Лермонтоведам отвечал Левидов — очень резко и хорошо. Сегодня придет Рувец — он кипит от негодования.

Новости из газет: греки отбили первый натиск немцев и перешли в контрнаступление. Сербы перешли границу Албании. Командующим английскими войсками в Югославии назначен Уэйвелл. Пришли дезинфекторы — они очень боятся Фунтика. Поэтому кончаю.

Целую тебя крепко. *Коста.*

С. М. НАВАШИНУ

18 апреля 1941 г.

<...>Я уже хожу, но пока что быстро устаю, и приходится иногда ложиться. Сегодня пойду посмотрю на Москва-реку, говорят, начался ледоход.

Окончил «заявку» на пьесу — завтра отошлю в МХАТ и в Комитет по делам искусств. Пришла «вырезка» о том, что «Лермонтов» будет идти в Молотове. Вчера вечером приходил Рувец,— «Первую любовь» наконец разрешили, но только в Москве и только в двух театрах — у Дудина и у Кричко с условием, что Рувец изменит название — вместо «Первой любви» — «Собака Динго».

Рувец согласился и теперь страдает. Он совершенно вымотан.

Звэра вот уже три дня безуспешно ловит Альберта. Сегодня напишу письмо директору Союздетфильма Юткевичу по поводу «альбертовского» поведения. Он продолжает прятаться,— должно быть, что-нибудь напакостил в сценарии.

Арон ходит, по его собствепному выражению, «распустив хвост» из-за хвалебной статьи в «Правде».

Приходила Мальва, трепалась часа три. Принесла несколько свеженьких анекдотов. Получил странное письмо от Никитина из Ленинграда, полное туманных намеков на измену московских друзей (насколько я понимаю, он намекает на Федина). Он болен, судя по тону письма, капризничает, зовет нас на лето в какие-то Колломяки под Ленинградом.

Вовка пишет исследования о Бунине, придет совещаться. Бунина он, кстати, читал очень мало <...>

У нас тихо, мирно, красиво, уже много солнца, и Фунтик спит весь день на солнечных пятнах. Лиза готовится к пасхе. Я работаю в твоей комнате, здесь очень удобно, тепло, много света.

Звэра мне не дает курить, думает, что от папирос у меня сделается гангрена. Не очень скучай, все устроится хорошо, и, может быть, нам удастся уехать из Москвы пораньше. Целую тебя крепко.

Коста.

С. А. БОНДАРИНУ

6 мая 1941 г.

Сережа, дорогой, спасибо за открытку.

Севастополь я люблю и прожил в нем как-то всю зиму (когда писал «Черное море») в «Приморской гостинице» — на берегу Артиллерийской бухты, около базара. Обязательно побывайте на Северной стороне, на Английском кладбище и в Балаклаве.

Особенно хороши севастопольские сумерки.

Вообще — город изумительный, иногда даже неправдоподобный (особенно если где-нибудь на Графской пристани вспомнить Солянку или Сретенку).

Удалось ли побывать в Ялте? Ходили ли в море?

В Москве — скука, вращение мелких дел, то пыль, то нудные, совсем ноябрьские дожди. В клубе собираются драматурги (идет обсуждение пьес) и поносят друг друга. Литературных новостей никаких... В «Литературной газете» печатаются статьи о том, что «Паспорт» Маяковского выше лермонтовского «Люблю отчизну я, но странною любовью» и выше всех пушкинских стихов о России. Вообще — чепуха. Рувиму разрешили пьесу («Первую любовь»), но только в двух театрах Москвы,— очевидно, думают, что дураки-провинциалы ее не поймут. По этому случаю Рувца опять трясла театральная лихорадка.

Мы с Рувимом собираемся на днях поехать на несколько дней в Солотчу на разлив. Достали чудесные английские лески, крючки и удилища.

Наш Сережа еще в больнице, вернется на днях. У Валерии Владимировны и Мальвы — малярия. Я сижу над пьесой для МХАТа, мучаюсь и мечтаю о прозе.

Какие Ваши дальнейшие «планы» или, как говорит Роскин, «презумпции»? Где будете летом? Поедем осенью (на август — сентябрь) в Солотчу и на Прорве забудем все горести.

Пишите, Сережа, ежели будет охота.

Вас все приветствуют и вспоминают. Очевидно, всем нам надо «теснее жить», как сказал один старый еврей из Киева.

Всего хорошего. Валерия Владимировна кланяется.

Ваш *К. Паустовский.*

Хотел бы посмотреть Вас с шевронами.

В. В. НАВАШИНОЙ

29 июня 1941 г. 2 часа дня

Валюшек, мой милый,— вагон качает — трудно писать. Скоро Брянск, на месте буду, должно быть, завтра утром (30-го). Попутчики очень славные, и все меня знают...

Даже после того, что я видел мельком (беженцы), ясно, что фашизм — это что-то настолько ужасное и жестокое, чему нет даже имени.

В вагоне душно. Знаем все новости,— работает радио. Очень хорошо в лесах, масса лиловых цветов, до сих пор цветет шиповник — временами не верится, что война — только во всех, даже самых крошечных деревнях окна заклеены так же, как у нас... Кланяйся всем. Целую тебя... Целую Серого. Привет Лизе.

Твой *Па.*

В. В. НАВАШИНОЙ

1 июля 1941 г. Киев. 6 ч. утра

<...> Вчера в 4 часа приехал в Киев. Жара и спокойствие. На улицах продают цветы и клубнику. Вот уже четвертый день город спит спокойно, но Марьямов ничего не преувеличил. Остановился у Тардовых. Меня уже ждали и встретили очень хорошо. Я вымылся с ног до головы и потом пил, пил до вечера,— в дороге не было почти ни капли воды,— у меня внутри все пересохло.

Видел много интересного, расскажу потом.

Возможно, что сегодня днем я выеду в Одессу — на бессарабское направление. Это во многих отношениях и лучше и интереснее. Это решится к 10 часам утра, и я сейчас же тебе напишу. В Одессу надо ехать так: до Черкасс на пароходе, оттуда по ж. дороге. Ты возьми карту, Звэрунья, и поищи на ней пальчиком. А если поедешь к Серяку, то он тебе покажет весь мой путь.

Из Одессы проедем на несколько дней на Дунай и в Кишинев... Странно, что после войны 1914 года мне казалось, что я забыл фронтовую жизнь, но, очевидно, старый опыт сказывается — я очень легко и уверенно разбираюсь в обстановке — очень сложной, очень спокоен и все точно взвешиваю. Это, Звэра, я не хвастаюсь, это правда, и я пишу тебе это, чтобы ты была спокойна. Заходил к

Рыльским, его не застал, видел только Екатерину Николаевну <...> Тардов на фронте, выступает там по радио, я вчера его слышал. Киев очень хорош,— масса цветов, но жаль Ботанического сада — он весь изрыт траншеями...

Сегодня напишу еще. Целую тебя очень-очень <...> целую нашего Серяка.

Привет Лизе и всем.

Твой *Па.*

У Тардовых живет в комнатах чудесная белочка. Зовут ее Антон. Она сидит у меня на плече на задних лапках и грызет орех.

В. В. НАВАШИНОЙ

2 июля 1941 г. Пароход «Интернационал». 7 ч. утра

Зверунья, милая,— пишу рано утром на пароходе, переполненном беженцами, евреями и поляками. Скоро Черкассы. Там пересяду на поезд на Одессу. Получила ли ты мою телеграмму из Киева, где я пишу, что выезжаю в Одессу. Со мной едет журналист Хват... В Киеве видел Рыльского — он очень постарел. Видел Яновского, жену Лурье. Она была в отчаянье, что Ной не успел со мной повидаться. Заходил к Гозенпуду — не застал, оставил записку. Особенно мил и, как всегда, немного грустен был Яновский. У Тардовых ночевал и обедал.

Здесь, в неглубоком тылу, все настороже из-за парашютистов. При малейшем подозрении задерживают. Хвата (ужасная фамилия) задерживали уже два раза, т. к. у него нет сапог и он ходит в обмотках. При мне в Киеве было тихо, если не считать двух сильных гроз. Жара тропическая, и в моем «обмундировании» очень душно и тяжело. Вижу и слышу очень много интересного. Вчера несколько часов разговаривал с тремя польскими студентами из Львова,— очень культурные и милые юноши, бежали в чем были,— один даже без пиджака <...> Скоро сообщу тебе куда мне писать. На всякий случай, напиши одно письмо по адресу: Одесса, ул. Штепенко, 2/4, кв. 7 т. Ошаровскому — для меня. Это — корреспондент ТАСС в Одессе <...>

Сейчас такая тишина кругом, солнце, заросли, Днепр (он очень широкий в этом году), что трудно поверить в

войну — если бы не беженцы и не то, что пароход всю ночь шел с выключенным светом и было темно, как в погребе. На пароходе едет добродушный милиционер, он уже несколько раз приходил ко мне и спрашивал разрешения проверить документы то у одних, то у других пассажиров. Все это только потому, что я на пароходе «старший в чине». Как говорит Гехт, я «всю жизнь только и мечтал», чтобы ко мне обращались с такими вопросами. Из Черкасс напишу еще... В Черкассах выяснится,— если там плохая связь с Одессой, то, м. б., придется проехать еще дальше до Кременчуга <...>

Целуй Серого. Твой *Па.*

В. В. НАВАШИНОЙ

4 июля 1941 г. Одесса, 7 ч. вечера

<...> Мне так много нужно тебе сказать, весь день я думаю о том, что тебе напишу, но всего не скажешь.

Пробуду в Одессе дня два-три, потом, может быть, придется съездить ненадолго в Тирасполь. Буду каждый день писать и посылать телеграммы. А сегодня ночью, кажется, удастся поговорить с тобой по телефону. Если не удастся, то, на всякий случай, пишу — посоветуйся с друзьями насчет дальнейшего и поступай так, как лучше для тебя и Серого (а, значит, и для меня). Если решишь быть в Солотче или в другом месте, то оставляй всюду и всем вести о себе — для меня. И тотчас сама и через ТАСС (у них есть много возможностей связи) сообщи мне по адресу: Одесса, Пушкинская, 34, Ратау, для меня. Это — очень верный адрес и для писем и для телеграмм. Если будет перебой с письмами — не волнуйся. Я тебя и Серого найду всегда и всюду. Но не отбивайся от друзей. Я думаю, что мы увидимся в конце июля, а может быть, и раньше,— все, что я написал о Солотче,— это ответ па слова в твоей телеграмме о том, что вы «все колеблетесь решением». Здесь, в Лондонской гостинице, живет Олеша — единственный свой человек. Мне еще труднее от того, что мой невольный спутник — человек циничный, назойливый, шумный и чужой до отвращения. Единственное его достоинство — это необыкновенная ловкость. Писать о пем не хочется... Пока все хорошо, но даже если бы стало хуже

и мы бы потеряли связь друг с другом — никогда, ни на одну минуту не теряй надежды и жди. Я, кажется, написал мрачное письмо, но сегодня мне особенно трудно без тебя.

Целую тебя крепко-прекрепко.

Твой *Па.*

Мне кажется, что, на худой конец, Солотча будет хороша.

В. В. НАВАШИНОЙ

7 июля 1941 г. Тирасполь — вечер

<...> Живу в бывшем дворце пионеров в редакции армейской газеты в большом спортивном зале. Сплю на матраце на полу. Мой сосед — московский писатель — единственный здесь писатель из Москвы, Марк Колосов — человек очень простой и милый и одесский — поэт, хороший знакомый Гехта — Плоткин. Жизнь бивуачная.

Пиши мне хотя бы открытки каждый день — если и не все, то часть дойдет <...>

Вообще я здоров, но начались подагрические боли. Народ вокруг хороший, молодой, отзывчивый. Ну, целую тебя, мою маленькую, крепко-прекрепко. Как Серяк? Будьте оба крепкими, много бы я дал, чтобы посмотреть на вас сейчас. Привет всем друзьям.

Твой *Па.*

В. В. НАВАШИНОЙ

12 июля 1941 г. Тирасполь

<...> Пишу тебе рано-рано утром и тороплюсь,— сейчас уходит машина на Одессу — надо успеть отправить с ней это письмо. Я здоров, относятся ко мне очень хорошо, быт своеобразный. Только мало сплю, но в этом я не виноват. Как Серячек? Сейчас он, должно быть, еще спит. Колосов просил, чтобы ты связалась с его женой... Вчера он уехал на несколько дней на позиции. Сегодня я послал корреспонденции в ТАСС и маленький рассказ в «Правду». Маленькая моя, меня немножко мучит подагра, но думаю, что я смогу справиться с ней сам,— вряд ли дудинское лечение подействует <...>

Дня через два после того, как получишь это письмо, позвони в «Правду» Фадееву и спроси — получил ли он рассказ. Если он в «Правде» почему-либо не сможет пойти, то возьми его и передай в любую газету («Моск. большевик», «Литературка» и т. д.). Здоровы ли вы? Не болейте и питайтесь хорошо. Ну, целую тебя очень, очень, обнимаю вместе с Серым. Твой *Па.*

Повторяю военный адрес (он хорош тем, что, куда бы я ни передвинулся, письма меня найдут): Действующая Красная Армия. Военно-полевая почтовая станция № 29. Сортировочный пункт литера «Т». Редакция «Защитник Родины» — мне. Но одновременно надо писать и в Одессу. Целую еще раз крепко-прекрепко.

В. В. НАВАШИНОЙ

18 июля 1941 г. Одесса, утро

Зверушка, милая моя, несколько дней не писал (с 14-го) — был на передовых позициях. Вчера утром вернулся в Тирасполь, а ночью выехал в Одессу вместе с Михалковым и сотрудником Союза писателей Шапиро (они случайно заехали в Тирасполь). Остановился в Красной гостинице — рядом с тем номером, где мы все жили в 1935 году... Я в Одессе, в Тирасполь больше не вернусь. Попытаюсь позвонить тебе отсюда. Несколько дней буду работать при местной военной газете и за это время договорюсь с ТАСС (по телеграфу) относительно приезда в Москву. Надеюсь, что все будет в порядке. Мой срок — 27 июля — приближается. Вчера в Тирасполе я получил первую радость — первую весть о тебе. Из Одессы передали, что заведующий местным отделением Ратау Ошаровский разговаривал с Москвой (с ТАСС) и ему сказали, что из ТАССа звонили тебе, сообщили, что все со мной благополучно и что ты велела передать, что у вас все в порядке. Я был рад до слез. Сейчас 7 часов утра, еще рано идти к Ошаровскому, чтобы узнать все подробности об этом разговоре, через час пойду к нему.

Сегодня, часа через два-три, когда кое-что выяснится относительно Москвы,— напишу еще... Если решишь уехать из Москвы в Солотчу, то сообщи об этом всем друзьям, а если дальше — то сообщи в ТАСС, в Союз писателей и в «Правду» — Фадееву. По пути хорошо бы оставлять письма в редакциях местных газет.

Как Серяк? Пусть он ни на минуту не оставляет тебя, и берегите друг друга очень. Будут ли у него экзамены? Пусть он пойдет к глазнику обязательно!

Зверюшка, не сердись на меня, но мне кажется, что сейчас надо помириться с Мишей. Сделай это обязательно. Несмотря на все его чудачества, он все же хороший и свой человек, и на него можпо положиться. Сделай это, я тебя очень прошу. Привет всем друзьям. Передай им, что я очень на них надеюсь,— пусть они заботятся о Звеpунье <...>

Поцелуй Серяка, очень-очень крепко. Привет Лизе. Поцелуй Фунтика.

Привет Фраерам, Мальвине, Гехту (если он в Москве), Ал. Васильевне и всем, всем.

Твой *Па.*

Здесь дожди, грязь. Звэра, милая, будь спокойна. Что Дудин? Говорила ли ты с ним?

Еще раз целую и обнимаю.

В. В. НАВАШИНОЙ

30 июля 1941 г. Одесса

<...> Возможность того, что мы скоро увидимся, приближается, должно быть, через два-три дня я уже смогу выехать — так я надеюсь. До сих пор я не получил от тебя ни одной буковки, хотя и знаю, что ты пишешь мне. И не только я, но и все, кто здесь со мною, ничего не получили — ни Михалков, ни Кружков (из «Правды»), ни Борис Горбатов, ни Шапиро — из Союза писателей. Олеша уехал в Новороссийск. Ехать придется долго, но я думаю, что не больше 6—7 дней. Из ТАСС нет ни слова в ответ на мои телеграммы — я не знаю, получили ли они их. Я здесь — самый старый, и естественно, что мне труднее, чем другим. Я сейчас нахожусь при редакции военной газеты «Во славу Родины». В ТАСС почти писем не посылаю — нет возможности с ними связаться. Мы держимся очень дружно — Кружков (очень хороший человек), Михалков (он оказался совсем не плохим) и я. Всегда вместе. Сплю на воздухе, недавно вернулся из поездки. Чудесное лето, и никак не верится в реальность того, что нас окружает. Живу в двухстах шагах от моря, но еще его толком не видел. Очень, очень беспокоюсь за тебя и Серяка. Если

вы еще дома, то это плохо. Соберитесь все вместе и уезжайте. Я вас найду. Помирись обязательно с Мишей <...>

Ко мне здесь относятся внимательно (в общем), особенно те, кто знает меня как писателя. Питаюсь хорошо. Очень я почернел, обветрился. Два раза меня уже снимали на фронте, но карточек еще нет <...>

В. В. НАВАШИНОЙ

8 августа 1941 г. Москва

<...> Только сейчас, в Москве впервые узнал о тебе и Сером и немного успокоился. Очень, очень хорошо, что вы уехали. Очень! Держитесь там все вместе, не теряйтесь, не двигайтесь без большой нужды. Как бы там ни было трудно, но это счастье — жить там после того, что здесь. Я ехал в Москву всеми путями,— из Одессы до Харькова — пять дней на грузовых машинах, а от Харькова — на самолете. Приехал вчера вечером и от Ал. Вас., Лизы, Арона и Вани Халтурина узнал о вас все... О том, что было со мной и где я был, напишу завтра и отправлю письмо с Ляшко (он едет в Чистополь). А это письмо повезет Ротницкий. Посылаю кое-что из продуктов и немного денег.

Сегодня выяснится моя дальнейшая судьба... О том, как сложатся дела, тотчас пришлю тебе телеграмму-«молнию». Но об одном я прошу — будь умной, не двигайся пока сама с места. Я несколько раз писал тебе с фронта о том, чтобы ты помирилась с Мишей, и очень рад, что это произошло и Миша помог вам уехать. Сейчас чем больше родных, тем лучше.

Сегодня буду доставать для тебя хинин. Как страшно подумать, что ты болеешь... В квартире все в порядке, за исключением того, что вылетели почти все стекла. Все твои поручения выполняются. Сундуки внизу, сегодня устроим все с люстрами и часами.

Чтобы ты, Зверунья, и Серяк имели представление о моей жизни там, на фронте, я посылаю тебе мои письма, которые застал здесь, в Москве... Ведь и сейчас с фронта я приехал в Москву почти фантастически — если бы не стремление узнать о тебе хотя бы одно слово, то вряд ли мне удалось преодолеть все невероятные трудности этого пути. Будьте крепки, бодры,— надо верить в то, что мы снова все будем вместе и снова будет хорошо. Ты умница, что взяла все необходимые вещи и не растерялась <...>

Привет всем, кто в Чистополе. Особенно Фединой, всем, кто с тобой хорош. Лиза говорит, что Дудин тоже в Чистополе,— и старик Дерман — тоже. Передай им привет. Еще раз крепко-крепко целую.

Твой *Па...*

Р. И. ФРАЕРМАНУ

9 октября 1941 г. Алма-Ата

Рувим, дорогой, вчера у нас был первый счастливый день за все это время,— мы получили письмо от Вали из Горького и узнали, что с Вами и где Вы. До тех пор была непрерывная тревога и неизвестность. Хорошо, что Вы в редакции,— держитесь, не болейте и знайте, что мы все постоянно думаем и говорим о Вас, вспоминаем каждую мелочь из прошлой нашей жизни и верим, что снова мы будем все вместе, отдохнем и, как пишет Валя, «увидим небо в алмазах».

Так должно быть, и так будет. И в душистых зарослях на берегу Прорвы мы будем сидеть с Вами, старички, смотреть на поплавки в прозрачной воде и вспоминать дни войны, а на костре будет кипеть Ваш знаменитый закопченный чайник.

Валя привезла из Москвы Вашу фотографию, она у нас стоит на столе. Рувим, где Роскин и Бобрышев? Что с ними? Напишите.

Что писать о себе? Полтора месяца я пробыл на Южном фронте, почти все время, не считая трех-четырех дней, на линии огня. Из москвичей видел Михалкова и Бориса Горбатова, в Одессе видел Олешу. Был и на суше и на море. В половине августа вернулся в Москву, где ТАСС, ввиду моего «преклонного» возраста, решил оставить меня в Москве («в аппарате ТАСС»), а затем по требованию Комитета по делам искусств — и совсем отпустили для работы над пьесой для МХАТа.

В Москве я прожил недолго, квартиру разбомбили (бомба попала в Валину комнату), жил больше у Федина в Переделкине, вскоре уехал к Вале и Серому в Чистополь (под Казанью), куда эвакуировали все семьи писателей. В Чистополе оставаться было немыслимо,— с большим трудом переехал в Алма-Ату. Здесь Миша Навашин с Лелей.

Город чудесный, весь в густых садах у подножья снеговых гор, много солнца, жара, но все же очень тоскливо. Работаю над пьесой. Живем у чудесного человека — казах-

ского писателя Мухтара Ауэзова, он уступил нам одну комнату. Будущее, как история мидян, темно и непонятно. Вале приходится трудно,— она только что вышла из больницы, у нее была страшная малярия, ей сделали вливание хины. Фунтик приехал с нами. Из москвичей здесь почти никого нет, если не считать Сергеева (бывший муж Адалис) и актера Астангова (того, что играл Гарта в Театре Революции). Ничего не знаем ни о Мальве, ни о Дудине, Валя пишет, что она собирается ехать на зиму с Мальвой в Солотчу. Жива ли Александра Ивановна? Что с Пчелкой?

Напишите мне все о себе. Целую Вас крепко. Берегите себя.

Ваш *Коста.*

Р. И. ФРАЕРМАНУ

27 декабря 1941 г. Алма-Ата

Рувец, дорогой мой, только что получили Ваше письмо с передовой линии. Валя, конечно, расплакалась и от радости и от тревоги. Очень страшно, Рувец, за Вас, и об одном я Вас прошу — берегите себя.

Ни я, ни Валя не представляем себе жизни без Вас! Живем только надеждой, что снова мы все встретимся и хотя бы последние годы проживем в покое, в тишине, в дружбе. Я не могу думать о том, что сейчас с Вами, о том, что Вы совсем один, что нет никого из близких около Вас. Но все же я знаю, что мы встретимся, что после этой войны больше не будет, не должно быть войн и, может быть, тот прекрасный мир, о котором мы всегда мечтали, настанет, наконец, на нашей земле.

Опять мы будем болтать и смеяться и писать книги и бродить по луговым дорогам, где мила каждая травинка, каждая старая ива.

Я знаю, что Вы очень устали, Рувец, особенно после болезни, и думаю, что Вам надо передохнуть на другой работе, где Вы сможете как писатель принести общему делу гораздо больше пользы, чем сейчас. Не сердитесь, что я пишу Вам это. И не сердитесь на меня, Рувец, что я очень тактично, только от своего имени написал Фадееву и Лозовскому относительно Вас. Я написал им о необходимости использовать Вас во всю Вашу силу как писателя на прежней литературной работе, а не держать Вас на заметках. Может быть, из этого ничего и не выйдет, но я считаю, что

так пado сделать и что я прав. Письмо к Лозовскому подписал и Маршак.

От Вали из Челябинска получаем письма и обмениваемся телеграммами. Больно очень за нее. Было бы лучше, если бы она была с нами. Здесь Мальва с Бубкой и Пайкой. Здесь Коля Харджиев. На днях приехал из Орска Жоржик Шторм, хочет перевозить сюда Шурочку и отца. Живет у нас из знакомых здесь Маршак, Квитко, Ильин, Шкловский, Зощенко, Михалков... Миша с Лелей. Ужасно все то, что Вы пишете о Роскине и Василии Тихоновиче. Не знаете ли вы, где Ваня Халтурин? Все надеемся, что еще услышим о них, все окончится благополучно.

Живем как на бивуаке в изгнании и при первой же возможности вернемся в Москву...

Я работаю,— кончаю сценарий по «Созвездию Гончих Псов» (он осовременен), но работать трудно, почти невозможно. Нужно делать над собой огромное усилие, чтобы написать хотя бы страницу.

Оставляю место для Вали и Серого.

Пишите хотя бы два-три слова, чтобы знать, что с Вами ничего не случилось.

Обнимаю Вас крепко, Рувец, родной мой. Знайте, что все же Вы не один, что мысленно не бывает часа, когда бы мы не были вместе с Вами.

Ваш *Коста.*

Жоржик получил письмо от Туси. Со 2-го октября она не получила никаких известий от Игнатия. Очень встревожена.

А. Я. ТАИРОВУ

5 февраля 1942 г. Алма-Ата.

Глубокоуважаемый Александр Яковлевич,— на днях у меня был тов. Богатырев и передал мне Ваше предложение относительно работы над пьесой для Камерного театра.

Я охотно возьмусь за эту работу на тех основаниях, о которых говорил мне т. Богатырев (то есть в тесном контакте с театром), но... Есть три «но». Во-первых, я заканчиваю сейчас большой сценарий для Мосфильма. Во-вторых, я должен закончить по госзаказу пьесу для МХАТа (с этой пьесой меня очень торопят) и, в-третьих, после окончания сценария я должен выехать в Москву по вызову

т. Храпченко. Таким образом к непосредственной работе над пьесой я мог бы приступить только в конце марта. Напишите мне, что Вы об этом думаете.

О теме мы говорили с т. Богатыревым вскользь, но, к сожалению, тема «Южного города» как раз совпадает с тем, что я пишу для МХАТа. Но о теме (романтической, современной и соответствующей характеру Вашего театра) мы договоримся, конечно. Жду Вашего ответа. Если уеду в Москву, то заранее сообщу Вам об этом.

Всего хорошего. Ваш *К. Паустовский.*

В. К. ПАУСТОВСКОМУ

16 февраля 1942 г. Алма-Ата.

Димушка,— на днях получил твое письмо, а перед этим сразу две телеграммы с новогодними поздравлениями. Спасибо и за письмо и за телеграммы. Из твоего письма видно, что ты очень закалился и возмужал. Пиши мне чаще. Обо мне ты, должно быть, главное знаешь. Я два месяца провел на Южном фронте (в Румынии, Бессарабии, Одессе, на Дунае), потом возвратился в Москву, уехал в Чистополь (это — около Казани), куда были эвакуированы писательские семьи, а оттуда — в Алма-Ату. Алма-Ата — необыкновенно красивый город, весь в садах, у подножья Тянь-Шаня, но все здешние красоты не радуют. Все живем только надеждой и ожиданием. Здесь все киноорганизации (Мосфильм, Ленфильм и другие). Я написал большой антифашистский сценарий, на днях его окончил. Работаю в Советском Информбюро (для Америки и Англии) и должен писать пьесу (срочно). Работы много <...>

Меня вызывали в Москву (Комитет по делам искусств), я уже собрался ехать, но только что получил телеграмму от того же Комитета с предложением задержаться в Алма-Ате и здесь, а не в Москве закончить пьесу. Это очень грустно. Придется, должно быть, просидеть здесь до весны. Здесь из писателей Зощенко (очень угрюмый), Шкловский, Ильин, Шторм, Панферов, Коля Харджиев (ты его, должно быть, помнишь), Любимова, Каплер и несколько других. Киношники все здесь — во главе с Эйзенштейном.

Живем мы в квартире у казахского писателя, здешнего классика Ауэзова, в крошечной комнате. Холод отчаянный. Здесь небывалые морозы (обычно здесь очень теплая

зима). Сережа поступил в здешний университет. Я, конечно, постарел,— в мае мне будет уже 50 лет. На фронте болел (воспаление почек), до сих пор еще толком не оправился, а здесь из-за высоты (1000 метров над уровнем моря) — у меня жестокая одышка.

В нашу квартиру в Москве попала фугасная бомба. Было это при мне в половине августа. Полы подбросило, ударило о лотолок, и потом они снова упали. Представляешь, во что превратились все вещи.

Пиши мне обо всем. Если будут какие-нибудь перемены в твоей судьбе — то телеграфируй. Как у тебя дела с призывом? Целую тебя крепко, крепко. Будь таким же спокойным и мужественным, каким я вижу тебя, судя по твоим письмам.

Твой *папа.*

Сейчас у меня меньше работы, и я буду часто писать тебе. Мой адрес: Алма-Ата, ул. Калинина, 33, кв. 29 5 жилкомбинат.

Фраерман — на фронте. Роскин попал в окружение. Гайдар пропал без вести. Все же я до сих пор надеюсь, что они уцелеют.

М. Ф. РЫЛЬСКОМУ

17 февраля 1942 г. Алма-Ата

Дорогой Максим Фадеевич,— очень мне стыдно, что до сих пор я молчал и не ответил на Ваше чудесное письмо. Но было много работы со сценарием и пьесой для МХАТа, я собирался ехать в Москву (получил вызов от Храпченко). Но вот только что получил от него вторую телеграмму о том, что пока ехать не следует и пьесу надо закончить здесь, в Алма-Ате.

Видел в одной из газет Вашу фотографию (в Саратове) — что-то Вы похудели. Мне тоже по почам снится рыбная ловля,— летние рассветы, и прозрачная вода, и нервные поплавки, их качают и топят окуни. Я всюду с собой вожу заветную жестяную коробку от икры с английскими крючками, жилами и лесками. Иногда рассматриваю и думаю о том времени, что придет после войны,— о тишине, друзьях, леспых речках, кострах. Теперь, издали дорога каждая травинка, которую видел до войпы, каждая минута

того безмятежного времени, когда мы с легким сердцем могли читать Аксакова или Диккенса. Часто вспоминаю Крым и Ялту.

Здесь из украинцев Смолич и Забилла. Смолича вижу часто, он чудесный, тихий и деликатный человек, живет он на окраине, в предгорьях, около его домика шумят арыки. Вся здешняя красота (сады, горы, солнце, ослы и т. под.) — чужая. Очень томительно. Живем надеждами, ожиданием, так же, как и вы все. Сережа поступил на медицинский факультет здешнего университета. Валерия Владимировна бьется с кормежкой, даже Фунтик и тот работает — снимается в картине «Убийца выходит на дорогу», изображая собаку какого-то баварского принца. Здесь Михалков, Шкловский, Квитко, Ильин, Зощенко (очень мрачный человек) и сотни киношников (Эйзенштейн, Пудовкин и все прочие). Живем довольно дружно, колонией. Завидуем вам, украинцам, из-за журнала, из-за вашего хорошего товарищества.

Напишите мне побольше о себе. Как Екатерина Николаевна и Богданчик? Кто еще с Вами в Уфе. В Уфе должен быть (вместе с Коминтерном) немецкий антифашистский писатель Фриц Эрпенбек — замечательный европеец. Кажется, тоже рыболов. Если знаете его, передайте привет.

Попросите Яновского прислать сюда нам первый номер «Українськоі літератури».

Привет Вам от Валерии Владимировны и Сережи. Фунтик кланяется. Пишите.

Обнимаю Вас.

Ваш *К. Паустовский*.

Ю. И. ЯНОВСКОМУ

17 февраля 1942 г. Алма-Ата

Дорогой Юрий Иванович, не ругайте меня за то, что я так долго молчал. Писал большой сценарий для Мосфильма (Мосфильм и Ленфильм — здесь), меня мотали, торопили, как водится у киношников, и только вчера наконец все окончилось. Послал Вам заказной бандеролью пять крошечных военных рассказов. Перевел их Юрий Корнеевич, и перевел, насколько я соображаю в украинском языке, превосходно. Если рассказы подойдут — буду рад.

На днях читал в «Известиях» Ваш рассказ о деде, замечательно. Вы молодцы, украинцы,— у вас и журнал, и дружба, а наши все разбрелись, плохо держат связь друг с другом, а насчет журналов мы здесь, в Алма-Ате, ничего не знаем. Кстати, «отец яблок» — город внешне очень красивый, весь в вековых садах, у подножья довольно диких гор (Тянь-Шаня), но бог с ней, с этой ненужной красотой. Я с радостью променял бы ее даже на ту лужу, которую вырыл в Ирпене Тардов и тщеславно назвал «прудом», на самую чахлую березу в наших лесах.

Трудно, живем надеждами, и если бы не Смолич — редчайший человек на земле,— то было бы и совсем плохо. Здесь из писателей Зощенко, Шкловский, Михалков, Панферов <...>, Квитко, а об украинцах вы знаете. Киношники все здесь во главе с Эйзенштейном <...> Был здесь Маршак, нашумел, нагремел и уехал.

Я часто вспоминаю нашу последнюю встречу в Киеве у остановки троллейбуса. Кажется, что было это давным-давно, что прошли годы.

Где Тяпа? Взяли ли Вы его с собой? Фунтик скитается с нами и сам зарабатывает себе на хлеб — снимается в кино, в картине под страшным названием «Убийца выходит на дорогу».

Сегодня же пишу Максиму Фадеевичу.

Пишите. Буду рад каждой строке.

Ваш *К. Паустовский.*

Г. Л. ЭЙХЛЕРУ

2 мая 1942 г. Алма-Ата

Генрих, дорогой мой,— еще до получения Вашего письма я, не зная, где Вы, писал Вам в Кзыл-Орду (Маршак утверждал, что Вы там). Только сейчас узнал, где Вы и что с Вами,— от женщины-врача, которая была у Вас.

Прежде всего о деле. Здесь, в Алма-Ате, мы (т. е. Шкловский, Квитко, Ильин, я и Зощенко) хлопочем в Верховном Совете, чтобы Вам прежде всего разрешили жить в любом из городов Казахстана. На днях должен быть результат. Это — шаги предварительные. Кроме того, в Москве должен хлопотать Маршак, но необходимо его отсюда подстегивать. Одновременно с этим письмом я пишу Мар-

шаку и в Детиздат. Сегодня придет ко мне Введенская,— она узнала какие-то верные пути для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки (она — чудесная старушка).

Не отчаивайтесь, Генрих, дорогой, будем делать все, что в наших силах, чтобы вырвать Вас и вернуть к работе. Это должно удасться, нужно только немного времени.

Вся история с Вами настолько потрясающа и нелепа, что долго длиться она не может. Напишите мне сейчас же (Алма-Ата, ул. Калинина 63, кв. 29, 5-й жилкомбинат) — какие пути Вы считаете наиболее реальными, кому, по Вашему мнению, надо написать и что сделать (помимо того, что делается). Не написать ли в ЦК Петросяну? Пока все это будет вертеться, старайтесь беречь себя, если есть для этого хотя бы малейшая возможность.

Что написать о нас всех? Живем надеждой, ожиданиями. Здесь, кроме тех, о ком я упоминал, еще Жоржик Шторм, Коля Харджиев, Панферов... Наташа Михалкова, поэт Семынин, Гай, Белла Балаш. Множество киношников (начиная от Эйзенштейна) и актеров. Была здесь Лина Штерн, но уехала в Москву. Маршак и Михалков тоже уехали.

Я два месяца пробыл на Южном фронте (от ТАСС), вернулся в Москву. Своих не застал, их уже эвакуировали в Чистополь. Квартиру мою разбило фугасной бомбой, но библиотека уцелела. Из Москвы я уехал в Чистополь к своим, там было очень худо (300 писательских семей!). Я забрал своих и увез в Алма-Ату. Здесь трудно, конечно, все мысли — в Москве, но все же можно работать. Работаю много (для американской печати, Информбюро, «Красной звезды», для кино и театра). Но работаешь как во сне. Рувим Фраерман 8 месяцев пробыл на фронте (при газете), тяжело заболел, сейчас уже около двух месяцев лежит в госпитале под Москвой. Очень много хлопотали о нем, чтобы дать ему хотя бы передохнуть, посылали десятки телеграмм, но пока результаты слабые. А жена его — Валентина Сергеевна — пишет, что он настолько слаб, что она боится за его жизнь.

Известия о друзьях — печальные. По словам Рувима, Гайдар убит в партизанском отряде, Роскин пропал без вести (в ополчении). Всех остальных расшвыряло. Туся около полугода ничего не знает об Игнатии (она в Н.-Тагиле). Михалков и Маршак в Москве. Ваня Халтурин на курсах мотоциклистов где-то в Горьковской области. С издательствами связь была потеряна, только сейчас узнаешь, где они <...>

Пишите. Есть ли у Вас телеграфный адрес и какой? Сообщите. Валерия Владимировна очень Вам кланяется. Привет от нас всех Вашей жене.

Целую Вас.

К. Паустовский.

Р. И. ФРАЕРМАНУ

8 мая 1942 г. Алма-Ата

Рувец, дорогой мой, не писал я Вам очень долго. Все надеялся — так же, как и все мы,— что Вы скоро приедете к нам с Валей — прийти в себя, передохнуть и поправиться. Это было бы большое счастье для всех. Я до сих пор еще не теряю надежды.

Не знаю, почему Каплер ничего не мог добиться — он человек обязательный и энергичный. Я телеграфировал Вам относительно Ортенберга. Это все же выход. Все же это работа в Москве, связанная с относительно спокойной жизнью. Не понимаю, почему так вцепились в Вас, когда шатается без дела множество молодых писателей и журналистов. Необходимо настоять на своем и добиться этого во что бы то ни стало. Это нужно не только потому, что Вы больны и измучены, но еще и потому, что, работая как писатель, Вы принесете в тысячу раз больше пользы, чем если Вы будете заниматься не своим газетным делом. (Кстати, газетчики уже успели все зашаблонить и заскучнить до крайности.)

До сих пор я не верю в то, что случилось с Роскиным, Бобрышевым и Гайдаром.

Все еще надеюсь. Не помню — писал ли я Вам, что нашелся Ваня Халтурин. Он в школе мотоциклистов, где-то в Горьковской области. Шкловский получил от него письмо, но, как водится, потерял адрес и никак не может его найти и дать мне.

То, что Вы пишете о москвичах и Союзе писателей, происходит и здесь, но только в гораздо более грубой форме. Одно только хорошо, что мы, москвичи, живем очень дружно.

Если бы вы знали, Рувец, как мне хочется увидеть Вас и поговорить обо всем, что мы переживаем, и о будущем. Никогда еще нас так далеко не отрывало друг от друга. Много бы я дал за то, чтобы быть сейчас в Москве, поехать к Вам в госпиталь и, наконец, увидеть Вас.

Мы все надеемся, что к лету удастся вернуться в Москву. Я мог бы и сейчас вернуться в Москву, но только один. Семьи в Москву не пускают. Но отрываться на 5000 километров от Вали и Серого — нельзя. При первой же возможности вернемся все вместе. Что слышно из Солотчи? На днях поэт Семынин (он живет здесь, чудесный человек) получил письмо от своих друзей из Белоомута. Они пишут, что там (по нынешним временам) прекрасно. А ведь это от Солотчи в 40 километрах. Если бы можно было переехать в Солотчу,— я готов был бы там голодать, лишь бы увидеть хотя бы один лист ивы на Прорве. Теперь я понимаю, почему люди умирают от тоски по родине, от ностальгии.

Как только выяснится Ваша судьба — сейчас же пришлите телеграмму.

Я много работаю. Написал семь рассказов (для американских газет, они уже напечатаны), два сценария, сейчас пишу пьесу для МХАТа. Работать трудно,— быстро устаю, стал «плох здоровьем». Только работой спасаюсь от тревоги, от постоянных мыслей о всем, что происходит. Валя возится с кормежкой — на это уходят все дни. Сережа препарирует трупы в медицинском и-те, очень этим увлекается. Даже Фунтик работает, снимается в картине Маршака «Юный Фриц», зарабатывает себе «на кусок хлеба». Каждый день у нас бывает Коля Харджиев, Жоржик (совершенно высохший), очень часто Мальва с Бубкой. Пайка слегка психует. Миша Навашин занимается всем, чем угодно, кроме ботаники.

Сейчас здесь изумительная, совершенно неправдоподобная весна — весь город (это не город, а громадный парк) в цвету, шумят арыки, жара, за окнами сверкает снежный Тянь-Шань, но все это — «напрасная красота». Иногда прибегает Шкловский (тоже психующий), приходят благожелательный Квитко, Семынин, Зощенко (человек печальный и загадочный).

Пишу я растрепанно, совсем не о том, о чем бы надо написать. Я мог бы целые страницы писать Вам, Рувец, о том, о чем я думаю почти непрерывно, как одержимый,— о мире, победе, покое, о дороге на Черное озеро, о старых деревьях в саду у старушек, о прошлом — будет ли все это?

Пишите подробно обо всем. Как Валя? Д.б., очень измучилась...

Была ли у Вас наша Лиза? Мы телеграфировали ей, чтобы она навестила Валю.

Если все уладится — приезжайте сюда, не раздумывая. Дорога (по теперешним понятиям) нетрудная,— всего 12 дней. Мы общими силами Вас здесь поправим. Здесь отдохнете, напишете сценарий, а потом, м. б., все вместе двинем обратно.

Целую Вас и Валю крепко. Наша Валя и Сережа целуют Вас и Валю. Не сердитесь за молчание. Вспоминаем Вас почти непрерывно.

Ваш *Коста.*

Р. И. ФРАЕРМАНУ

2 июля 1942 г. Алма-Ата

Рувец, дорогой, Ваша телеграмма из Солотчи произвела сенсацию среди всей московской колонии (за исключением Жоржа, каковой Жорж уехал в Барнаул к Таирову писать пьесу). Мы рады за Вас, вместе с тем и горько и печально, и хочется только одного — быть сейчас в Солотче, уйти с Вами куда-нибудь в глушь, где нет ни души, нет людей, но есть то единственное, что никогда не причиняло нам зла,— природа. За каждую песчинку на дне Прорвы, за какой-нибудь костер я готов отдать все.

Крепитесь, Рувец, милый. Помните, Вы как-то писали Сереже на «подаренной книге»: «Мы еще побродим, мы еще половим». Мы еще узнаем покой, тишину, любовь друзей, и это будет единственное наше настоящее счастье. Я знаю, как Вас измучили, Рувим, но я тоже знаю, что пройдет и апатия, и отсутствие желаний, и тоска и мы снова научимся смеяться. Есть еще чем жить и есть для чего жить.

Если Вы выходите, то посмотрите за меня на все наши любимые места. Ничто я не любил так, как Солотчу,— там мила каждая щепка.

Напишите подробно обо всем. Почему Валя совсем перестала писать?

Напишите, как в Солотче с продуктами, как Александра Ивановна, Пчелка, что делаете. Как с деньгами? Какие планы? Не думаете ли Вы оставаться в Солотче на зиму? Все это очень важно знать, чтобы решить здесь, как нам быть и когда ехать.

Сейчас я кончаю пьесу для МХАТа. Затем я должен на несколько дней (в конце июля) поехать в Барнаул вместе с Валей к Таирову (я тоже обещал ему пьесу). По-

том надо съездить в Сталинабад (там Альберт кончает Лермонтова) и заехать в Самарканд. После этого можно ехать в Москву (Солотчу).

Примерно все эти дела окончатся в начале сентября. И мы думаем, если внешне все будет благополучно, вернуться к этому сроку, но жить не в Москве, а в Солотче (а работать для Москвы).

Вчера я получил телеграмму из «Красной звезды» от Ортенберга. Приглашает в Москву, пишет: «рассчитываю Вас использовать для писания рассказов». Это не вызов, а приглашение. Хорошо, что это дает возможность выехать в Москву, но плохо то, что этот самый Ортенберг вряд ли отпустит меня в Солотчу.

Но, на всякий случай, я ответил принципиальным согласием.

Боже мой, Рувец, если бы Вы знали, как и Валя и я — оба мы хотим увидеть Вас. Тоска здесь страшная — и от исчезновения перспектив, и от одиночества, и от неслыханной жары, и от сознания, что надо скорей выполнить все обязательства, всю работу, чтобы можно было уехать, и от усталости, и болезни, которые тормозят работу. (Болезнь у меня неважная,— сдало сердце — «грудная жаба».)

Пишу пока коротко, т. к. все время надо торопиться. Через день-два напишу очень подробно. Напишите все о себе, Солотче и все, что Вы оба думаете о наших планах.

Обнимаю Вас и Валю крепко, живите тихо, покойно. Привет Александре Ивановне. Близко ли были бои от Солотчи?

Валя пишет отдельно. Еще раз целую.

Коста.

Рувец, не думаете ли Вы, что стоит сейчас перевести солотчинский дом на кого-нибудь из Вас. Иначе он, конечно, пропадет. Я говорю не о покупке, а об оформлении дома.

У нас переменили номер дома. Теперь адрес такой: улица Калинина 63, квартира 29.

А может быть, удастся все сделать быстрее и приехать раньше.

Поклонитесь от меня Старице, и Канаве, и Промоине, и Прорве, и каждой иве, и каждой травинке в лугах. И саду и беседке, если она цела. Возьмите все мои удочки.

Рувец, Валя, дорогие, если у вас плохо с деньгами, то телеграфируйте, мы сейчас же вам вышлем. Бога ради, не сокращайте своей жизни в Солотче из-за денег. Не стесняйтесь, иначе это будет свинство.

Выслал Вам заказной бандеролью маленькую книгу, она вышла в Ташкенте.

С. М. НАВАШИНУ

11 июля 1942 г. Алма-Ата

Серячечек, дорогой мой, милый, я знаю, что тебе там очень-очень трудно, но крепись,— другого выхода нет... Мы живем тихо, Звэра грустит, задает смешные вопросы и возится с хозяйством. Все очень взволнованы последними событиями. Михаил Яковлевич пророчествует, как пифия... уже в Москву не едет, да и никто не едет, за исключением Шкловского.

Я получил телеграмму от редакции «Красной звезды» — очень вежливо приглашают приехать в Москву «для писания рассказов», обещают создать все необходимые условия. Я ответил, что смогу приехать, но гораздо позже. «Красная звезда» напечатала «Робкое сердце» (под названием «Встреча») в номере от 5 июля. Там у вас, должно быть, можно достать «Красную звезду»! Получил ли ты мою новую маленькую книгу? Я послал бандеролью. «Белых кроликов» разрешили ставить при условии другого конца. Сейчас идет спор из-за конца. Чем он окончится — еще не ясно.

Вот мои планы (я напишу их тебе и тем самым приведу в ясность и для самого себя). Сейчас я оканчиваю пьесу для МХАТа — осталось всего две картины (из восьми). Сегодня подписал договор с театром Завадского на «Рыцарей». Немца будеть играть Астангов, Клебера — Мордвинов... Потом в начале августа мы со Звэрой поедем в Барнаул к Таирову, а в конце августа или в первых числах сентября — в Сталинабад (к тому времени Альберт закончит «Лермонтова», и, кроме того, Юткевич хочет ставить «Северяпку»), а из Сталинабада — в Самарканд к тебе. Вот примерный план. Дальше загадывать нельзя. Из Сталинабада приехал ко мне (опять поправки «Лермонтова») очень милый больной человек, некий Громов. Он объясняется преимущественно одним словом «петрушка»

(«Когда у Лермонтова случилась эта самая петрушка (дуэль) с Мартыновым» и т. под.). Были у Ильиных, и, когда в темноте шли обратно, Звэрунья упала в арычок, разбила немного лапу. На днях смотрел прекрасную английскую картину «Алжир». Вчера председательствовал на вечере, посвященном Хлебникову в публичной библиотеке (самое забавное, что в московских газетах уже давно сообщили об этом вечере как о состоявшемся). Разослали великое множество телеграмм — Рувиму в Солотчу, Александре Васильевне, Доре Сергеевне <...>

Рувцу я предлагаю выслать вызов сюда, т. к. с Рязанью очень не важно. Кончаю, т. к. уже кончается бумажная норма. Буду писать часто <...>

Здесь Прокофьев. Он закончил музыку для «Лермонтова». Володя Луговской здесь — очень величавый, но славный. Подробно рассказывал о тебе. Коля и Семынин приходят очень редко — это хорошо, а то совсем не мог работать.

А. Я. ТАИРОВУ

1942 г.

Глубокоуважаемый Александр Яковлевич,— я попал в лапы к кино (Вы, конечно, прекрасно представляете себе, что это значит), потерял много времени и сил, написал два сценария (оба — серьезные) и только сейчас заканчиваю мхатовскую пьесу. Все обстоятельства сложились очень неблагоприятно для меня — я болел (сердце), врачи запретили мне одно время работать.

В последние дни работать трудно из-за поистине экваториальной чудовищной духоты. Над самыми крышами лежат свинцовые неподвижные облака, должно быть из солончаковой пыли. Какой-то слепой свет разлит под городом, и все чувствуют нечто вроде разжижения мозгов. Мне очень хочется «дорваться» наконец до пьесы для Камерного театра. Я почему-то уверен, что это будет очень свободно написанная вещь, свободно потому, что «лицо» Камерного театра всегда было для меня очень близким, может быть, потому, что я всегда был склонен к западничеству (иначе говоря, к его высокой культуре), романтике, всегда ненавидел «нутряную», «кондовую», «аржаную» и прочую стихию.

Мне кажется, что лучше всего будет поступить так: на днях к Вам в Барнаул едет Георгий Петрович Шторм (у него, кажется, пьеса почти готова). А я приеду после Шторма, когда он сделает основную работу вместе с вами. К тому времени и Вы освободитесь и я окончу все свои дела и развяжу себе руки для «Камерной» пьесы. Когда это будет? В конце июля, не раньше

Я злюсь на себя за то, что все время опаздываю с работой. Раньше я работал быстро, шутя, теперь, после войны, работать стало, конечно, гораздо труднее.

Я мечтаю о Барнауле еще и потому, что очень стосковался по России. Здесь все очень чуждо, олеографично, а народ — вялый и скучный.

Не сердитесь на меня за опоздания и сумбур со сроками. Надеюсь, что упущенное удастся наверстать.

Передайте мой сердечный привет Алисе Георгиевне. Привет Оттену и Богатыреву.

Всего хорошего.

Ваш *К. Паустовский.*

Я буду Вам телеграфировать.

Е. Н. МИХАЙЛОВОЙ

16 июля 1942 г. Алма-Ата

Простите, тов. Михайлова, что с таким опозданием откликнулся на Ваше письмо.

Сегодня послал Вам заказной бандеролью рукопись кинорассказа «Белые кролики». Это вещь в новом для меня жанре — острый гротеск и сатира (о германской армии). Вызвала она много шуму в кругах кино и, очевидно, будет сниматься для экрана.

Не писал, т. к. был долго занят работой над пьесой для МХАТа, которую наконец одолел.

Буду очень благодарен, если Вы сообщите мне о судьбе «Белых кроликов».

Материал буду присылать. У меня готова первая часть повести (7—8 листов) — современной,— канун войны, предгрозье, великая лирическая сила самого понятия «родина». Когда удастся написать II часть (где будет война) — не знаю. Хотелось бы напечатать первую часть (вполне самостоятельную), но... там еще нет непосредст-

венной войны и после «Капитального ремонта» рискованно печатать первую часть, если не готова вторая.

Сейчас работаю над пьесой для Камерного театра (он в Барнауле).

Всего хорошего. Жду ответа.

Ваш *К. Паустовский*.

Алма-Ата, ул. Калинина, 63, кв. 29.

С. М. НАВАШИНУ

17 июля 1942 г. Алма-Ата

Серячечек, сегодня я напишу тебе немного, так как навалилась куча всяких дел. Вчера Ал. Вас. прислала из Москвы бандеролью бумагу (мою, латвийскую). Правда, немного, но мы очень этой бумаге обрадовались, а Звэра даже заплакала, когда увидела, что бандероль связана московским шнурочком от пирожных. Часть этой бумаги завтра вышлем тебе, но несчастье в том, что до сих пор мы толком не знаем твоего адреса (может быть, мы такие бестолковые). Пошлем, как всегда. Сегодня в Москву едет Шкловский (он отвез вчера Китю в Талгар, в Рязанское артиллерийское училище). Едет он в великом смятении и через месяц надеется вернуться. Мы посылаем с ним маленькую посылочку Ал. Вас. Из Москвы Шкловский привезет нам кое-какие вещи, если их раньше не привезет в Барнаул Таиров (он уехал на две недели в Москву, и я послал ему телеграмму с просьбой захватить в Барнаул посылку для меня от Ал. Вас.). Шторм прислал письмо из Барнаула — восторженное. Я не помню — писал ли я тебе, что и Таиров прислал мне письмо и вызовы для меня и Звэры... Таиров пишет, что в Барнауле — очень хорошая рыбная ловля (на Оби и озерах). План такой — примерно 1-го августа мы едем в Барнаул, потом в конце августа — в Сталинабад и к тебе. Тогда и решим весь «вопрос» с переездом.

Вчера я наконец окончил пьесу для МХАТа. Вышла большая пьеса, но сократить ее довольно легко. Повожусь еще дня два. Пьесу для Завадского («Рыцари») напишу быстро. У нас тихо. Приходит Луговской, Мальва, Смолич. Коля исчез, так как к нему приехал какой-то приятель из Ленинграда. Я выступал на днях в очень тяжелом госпитале, среди безруких и безногих (обрубков). Было жутко и трудно, по все обошлось очепь хорошо.

Были у Миши. Он почти все время проводит в Бутаковке... Только что пришло письмо из Информбюро,— тот рассказ, что тебе понравился («Струна»), уже отправлен в Америку. Просят еще... Звэра говорит, что у меня после твоего отъезда испортился характер (но не по отношению к ней). Я начал резко разговаривать с людьми,— на большом собрании киношников, актеров и писателей (устроенном Завадским) выступил против киношников. Киношники угрюмо молчали...

От Рувима до сих пор нет ответа из Солотчи на телеграммы. Судя по рассказам приезжающих — там плохо со связью, в Рязани. Целую тебя крепко-крепко. Я устал из-за пьесы и из-за множества писем, которые сегодня написал. Между прочим, послал «Бел. кроликов» (сценарий) в «Знамя».

Еще раз целую. Твой *Коста.*

Фунтик в созерцательном настроении — все время сидит в ногах и о чем-то думает.

С. М. НАВАШИНУ

13 августа 1942 г. Барнаул

Серячек, милый, очень-очень долго не писал тебе, хотя и думаю о тебе и вспоминаю тебя все время. Много дел и много усталости, а в Барнауле к этому еще прибавляется такая «проблема», как отсутствие чернил (они здесь — редкость), бумаги, конвертов и клея для конвертов. Чтобы достать все это — надо потратить много сил и времени <...>

В «Известиях» от 4/VIII напечатан мой рассказ, если достанешь — прочти. Я его еще не читал. Пьесу (мхатовскую) под названием «Семейпая тайна» я послал уже в Москву и в Томск — Дуниной. Жду результатов. Для Таирова буду писать пьесу, где главная роль — женская — для Коонен, конечпо. Звэра приказывает мне написать тебе, что Арнштам, который пишет сценарий о Зое Космодемьянской и который ездил за материалами в Москву, нашел в бумагах Космодемьянской мой портрет, насколько я знаю, хочет использовать эту «деталь» в своем сценарии.

Барнаул — славный русский городок с липами, березами, деревянными тротуарами, чудесными резными деревянными особняками с мезонинами (дома бывших золото-

промышленников и купцов) и с великолепной могучей Обью, уже здесь, в верховьях, она больше Волги. Много приветливых маленьких бородатых старичков-рыболовов. Сегодня пойду удить рыбу с Оттеном на плоты.

Если мы уедем в Белокуриху (курорт на Алтае) с Таировым — телеграфируй все равно сюда (Барнаул, Камерный театр, мне). Давно от тебя нет известий, и это очень страшно и тревожно. Крепись, думай о нас, когда тебе трудно, я верю, что скоро все с нами всеми будет хорошо и мы будем вместе <...>

Целую и обнимаю тебя крепко, крепко! В твои щетинистые щеки (если ты не бреешься). Звэра кивает головой и обнимает.

Твой *Коста.*

Р. И. ФРАЕРМАНУ

16 августа 1942 г. Барнаул

Валя и Рувец, дорогие, как-то Вы живете там в Алма-Ате? Не надоел ли вам Фунтик Мунтик? Наши презумпции такие — 20 августа мы едем вместе с престарелым Таировым и Коонен в Белокуриху на Алтае, в 70 километрах от Бийска, там я буду писать пьесу. Дело в том, что театр на месяц закрывается на ремонт, актеры уезжают на фронт и сидеть в Барнауле, в гоголевской гостинице, похожей на станционное отхожее место, нет смысла. Белокуриха — курорт (серные воды) и дом отдыха (до сих пор он открыт). Там дадут комнату и будут кормить. К тому же в окрестностях Белокурихи есть прекрасные рыбные озера. Вернемся мы в Алма-Ату к двадцатым числам сентября, если раньше не сдохнем от холода,— к тому времени я окончу пьесу. Здесь холодно, по ночам уже заморозки, дождливо — Валя не взяла ничего теплого, я — без пальто, и что из этого получится — неизвестно. Мне обещают дать пальто из театрального реквизита.

Жоржик плачется на голод (здесь в этом отношении гораздо хуже, чем в Алма-Ате) и совершенно иссох от работы над пьесой (не столько над пьесой, сколько над переделками). Слушаем сводки. Тяжело. Газет нету.

Теперь — о Барнауле. Это славный город, славный прежде всего тем, что он русский город, очень похожий на наши северные города. Деревянные дома с мезонинами, липы, запустенье, герань на окнах и множество добродуш-

ных старичков-рыболовов. Великолепная Обь, она здесь шире Волги,— и уже наше, бледное северное небо.

Но жить здесь можно только при театре — иначе трудно. Никакого заработка, а цены в три-четыре раза больше, чем в Алма-Ате...

Кроме того, приезжать сюда если и есть смысл, то никак не на зиму, а к весне. Обо всех этих делах Вам напишет Валя. Одно здесь привлекательно — это приветливый (сравнительно) народ и русский родной пейзаж (но суровее нашего и холоднее). Три раза ловил рыбу на Оби и в протоках. Ловится хорошо чебак (вроде плотвы), другой рыбы мало. Напишите все о себе. Что нового в Алма-Ате? Пишите по адресу: Барнаул, Московский Камерный театр, мне. В Белокуриху перешлют.

Поцелуйте всех друзей — Мальву, Бубу, Пайку, Мишу, Колю и Петра Андреевича. Целуем Вас крепко. *Коста.*

Таиров привез мне из Москвы кое-какие вещи (ботинки, рубахи), старик весьма любезный, но хитрый, как муха.

Жоржик кланяется, в данную минуту он занят поисками одной из спичек, чтобы закурить.

С. М. НАВАШИНУ

10 октября 1942 г. Барнаул

Серячечек, родной мой, ты, наверное, недоумеваешь, что от нас нет писем. Звэра пишет тебе большие письма, но никак не может их отправить, сама себя изводит за это. Здесь страшные непрерывные дожди (вернее — непрерывный дождь) и холода, а мы приехали очень налегке, и только в самых экстренных случаях решаешься выйти из гостиницы (страшная, совершенно гоголевская гостиница). Слава богу, послезавтра (12-го) утром уезжаем в Алма-Ату. Я окончил пьесу (называется она «Пока не остановится сердце» — отвергнутое Юзовским название здесь пригодилось, старик Таиров от него в восторге). Работал я над пьесой очень много, все дни напролет, и, кажется, получилось хорошо. Третьего дня читал пьесу труппе, и произошло смятенье и сенсация, Таиров меня целовал, актеры тоже, и вообще волненье в театре большое. Главную роль будет играть Коонен... Старик Таиров — очень приятный, опытный и «найсмэн». Просит, чтобы каждый день я ему писал по пьесе <...>

Приехали мы сюда 8 августа. Дней 15—20 ушло на разработку плана пьесы и на разговоры с Таировым, а также на рыбную ловлю на Оби (с известным тебе Оттеном). Обь — могучая река, больше Волги. Вообще все реки в Сибири (мы видели Иртыш, Обь, Бию и Катунь) огромные, полноводные и девственные. Барнаул очень похож на северные наши города. В конце августа мы уехали с Таировым и Коонен (это его жена) в Белокуриху — маленький радиоактивный курорт в предгорьях Алтая. Ехали до Бийска <...> по железной дороге, потом на разбитом «пикапе». В Белокурихе прожили до 26 сентября. Там я вчерне написал пьесу (очень большую — 100 страниц на машинке). Жили мы со Звэрой в отдельной маленькой даче, у самых гор, среди вековых ив. Рядом с нами жил Жоржик Шторм и актер Лишин (тот, что играл в театре Революции в «Простых сердцах» капитана). Места сказочные — смесь Крыма и Кавказа с Солотчей, с нашими лесами. В горной реке Белокурихе я ловил с московским доктором Кулагиным хариусов (это — вроде форели). Налавливали по 80—100 штук. Сидел на мраморных скалах, заросших цветами и березами, и удил из бассейнов, как из ванной. Но, к сожалению, было это всего три-четыре дня,— все было некогда. Звэрунья наша отдохнула в Белокурихе, хотя часто куксилась по тебе... Жоржик в Белокурихе дожимал своего «Генерала Ивана» и нудился. Вернулись в Барнаул. Здесь я отделывал пьесу и вот только на днях прочел труппе. Немного устал. В Барнауле мы сдружились с очень приятными людьми — со скульптором Рабиновичем (парижанином) и его женой — бывшей женой Ильфа. Рядом с нами живет сестра Коонен — Жанна Георгиевна — чудесная старуха, совсем непохожая на Коонен, лыжница и охотница (за свою жизнь она убила 7 медведей) <...>

Из Москвы доходят глухие сведения. Шкловский еще в Москве. Мы послали отсюда посылку Ал. Вас. Сюда (в Барнаул) эвакуировали из Тифлиса Анатолия Доливо — мы его видели. Что с нашими в Тифлисе — неизвестно. В Алма-Ате, кажется, все по-старому. Фраеры живут у нас...

Целую тебя крепко-прекрепко, много, много раз.

Твой *Коста.*

Жоржик на днях уехал домой, в Алма-Ату, оскорбленный на весь мир, т. к. его пьеса не встретила «достойной оценки». Жалко его, все-таки...

А. Я. ТАИРОВУ

12 ноября 1942 г. Алма-Ата

Дорогой Александр Яковлевич, пишу Вам еще нетвердой рукой,— только что поднялся после воспаления легких. Заболел я в день приезда из Барнаула и пролежал три недели.

Как письма? Здесь была Дунина — инспектор комитета из Томска. Она рассказала мне о приезде Оттена в Томск, о том, что Томск сейчас уже пьес не утверждает, и, наконец, о том, что оркестрант должен быть чехом (Бранеком). Исправить это нетрудно. Но что дальше с пьесой — я не знаю. Поехал ли кто-нибудь с нею в Москву? Пошла ли пьеса «в работу»? Нужно ли еще вмешательство автора или нет? Напишите мне об этом, будьте добры. С легкой руки Дуниной здешние «театральные сферы» узнали о пьесе и всячески добиваются, чтобы ее прочесть. Приходили Румнев и Тяпкина. Румнев собирался ехать в Барнаул, но поедет ли — не знаю. Я его давно не видел, я еще не выхожу из дома. Тяпкина находится, по-моему, в состоянии неустойчивого равновесия,— и хочется в Барнаул и жаль бросать Алма-Ату.

Как Ваше здоровье? По-прежнему ли Вы зябнете в этой гоголевской гостинице? Или вы уже переехали в бревенчатый дом? Думаю, что через дней пять мне уже разрешат выходить, а дней через десять мы уедем (всего на три-четыре дня) в Ашхабад. Изредка вижу небезызвестного исторического писателя Шторма, удрученного мелкими хозяйственными поделками.

Жду вашего ответа. Начал писать прозу, отбиваюсь от киношников и думаю о пьесе (будущей) — свободной и очень субъективной (по мироощущению и стилю). Огромный привет от нас Алисе Георгиевне. Вал. Влад. кланяется. Привет всем и особый Текле Георгиевне, Нине Станиславовпе и художникам.

Всего хорошего.

Ваш *К. Паустовский.*

Р. И. ФРАЕРМАНУ

17 января 1943 г. Алма-Ата

Рувец, дорогой. Мы собираемся выехать с Валей числа 30 января. Значит, в Москве будем числа 8—9 февраля. Я почти окопчил все свои литературные долги (пьесу для

Завадского, два коротких сценария об Одессе и Севастополе) и еще кое-какие мелочи. Сейчас Серафима Густавовна переписывает начисто все, что написано за время войны, чтобы в Москву приехать с готовым материалом. Сегодня прочту пьесу Завадскому — и все! С завтрашнего дня начнутся сборы. Валя хотя и отдохнула после чудовищно-трудной поездки в Ашхабад, но чувствует себя еще неважно.

Сборы довольно сложные, так как надо достать сантимы и преодолеть всякие формальности,— теперь их больше, чем было при Вас. Пропуска получили (от Наркомпроса). Скосырев прислал телеграмму о том, что ходатайство о «переезде» моем и Валином в Москву возбуждено, но пока самого пропуска от него нет. Но, может быть, до отъезда придет пропуск и от Скосырева, и это было бы хорошо, с разрешением на «переезд» легче устроить перевозку вещей (сейчас в этом отношении зверствуют). С командировкой от Наркомпроса это труднее. Но, в общем, все образуется.

Здесь распространился слух, что из Чистополя возвращают всех с семьями. Уезжают отсюда почти каждый день. На днях уехали Шкловский, Виноградская, Кончаловская. Алма-Ата пустеет. Остающиеся нервничают. Особенно жалко Промптова. Петя уже переволновался и, кажется, успокоился.

Был здесь С. Если то настроение, какое он привез сюда (разговоры о храбрых и трусах, о карьере, представление о войне, как о выгодном предприятии, когда можно сделать себе «имя», важность и, по существу, полную беспринципность), характерно для «воздуха Москвы», то это довольно противно. С. привез мне приглашение от Ортенберга (из «Красной звезды»), но я счел за благо не давать окончательного ответа. Вышло удачно, потому что вскоре после этого пришла телеграмма от Поспелова из «Правды» — приглашает быть постоянным, но «вольным» сотрудником «Правды». Это даст возможность жить в Солотче, писать для «Правды» (по рассказу в месяц) и числиться официальным сотрудником, что должно, мне кажется, помочь солотчинским делам.

На днях меня вызывали на переосвидетельствование в военкомат, зачеркнули штамп «годен» и поставили новый «ограниченно годен 2-ой степени». Что это значит — я не знаю. Опытные люди говорят, что это нечто вроде белого билета. Нашли у меня грудную жабу. Я понемногу зады-

хаюсь, особенно по ночам, но все же легче, чем раньше. Броню продлили до 1 апреля.

Что слышно с Солотчей? Очень мы боимся, что не застанем Вас в Москве. По сельскохозяйственным расчетам (при консультации Миши) в Солотче надо быть не позднее конца марта.

В Москве у нас будет время в обрез, чтобы устроить все литературные, театральные и прочие дела и ехать. Семена привезем отсюда...

Настроение у всех в результате сводок очень поднялось.

Завадский ждет от Вас пьесу. Боится, что Вы о ней забыли. Таиров прислал телеграмму, что премьера — в конце января (старик был очень болен).

Да, кстати, Ж. собирается в Москву (один). Он здесь измучил всех своими маленькими делами. Приходит только звонить по телефону. Высох и озлобился. Шурочка при встречах язвит по поводу того, что они, Ш. стали «близкими родственниками» для нас всех.

Единственное, что здесь терпимо,— это зима. Солнечная, сухая, теплая. У нас топят, свет пока горит. Питаемся скудно...

Таня Арбузова, затаив дыхание, ждет вызова <...> Зощенко загадочен и мрачен. Но, в общем, все здесь опротивело невероятно.

Мы говорим и думаем только о Москве и Солотче. Я устал за последнее время — много работал. Хочется хотя бы небольшого покоя, а о Прорве или какой-нибудь лесной дороге на Черное озеро я думаю, как о сказочной стране. Лишь бы было все хорошо.

До сих пор ведь все еще очень туманно. Один Миша не теряет предприимчивости, ушел пешком за 100 километров на охоту — бить фазанов. На две недели. Надеется принести 100 штук.

У Вали очень много предотъездной возни. Фунтик впал в зимнюю спячку.

Привет всем друзьям — Ване Халтурину, Гехту, Гроссману, Коле. Он молодец, Коля. Были здесь хорошие слухи о Роскине, но, к сожалению, не подтвердились.

Целую Вас и Валю крепко. Скоро увидимся.

Ваш *Коста.*

А. Я. ТАИРОВУ

4 февраля 1943 г. Алма-Ата

Дорогой Александр Яковлевич,— простите меня, грешного, за то, что не писал так долго. Болезни, срочная работа, сборы в Москву — все это очень утомило и не дало мне возможности спокойно посидеть над письмами. Спасибо за телеграммы. На днях узнал от Токаревой (вернувшейся из Москвы), что Вы опять хвораете. Мне все кажется, что виной этого не только Ваша неистовая работа, но и сибирские морозы. Я тоже задыхаюсь всю зиму, а сейчас, на самом кануне отъезда в Москву, сижу с каким-то гнусным «холодным» гриппом. Слух о Вашей болезни для меня подтвердился тем, что не было телеграммы о премьере (в конце января, как об этом писал мне Оттен).

Очень обидно, что не удастся мне увидеть премьеру в Барнауле, но я утешаю себя тем, что увижу ее в Москве на Тверском бульваре, в знакомом и милом здании Камерного театра. От разных театральных людей, курсирующих в Москву и обратно, я слышал, что Камерный театр в начале лета уже должен быть в Москве. Значит, скоро увидимся и поговорим о новой романтической, западной, искристой пьесе, которую я собираюсь писать для Вас. До сих пор, памятуя наш последний разговор, я никому пьесу не показывал, но слухи ползут, и поставщики меня осаждают. Мне очень хотелось бы знать, как Вам работается над пьесой, как актеры, как Вы ее сократили (она ведь очень длинная, и хоть бы одним глазком взглянуть в щелку).

Собираемся мы выехать отсюда числа 10—12. Я без большой необходимости не выхожу из дома... Много работаю. Написал четыре связанных жанром коротких сценариев об Одессе, Севастополе, Ленинграде и Сталинграде (об осажденных городах). Их уже ставят, и режиссеры говорят, что по существу это не сценарии, а маленькие пьесы для театра. Вот видите, как я заразился драматургией.

Изредка заходит Румнев. Он потерял мать. Недавно на главной улице во время перестрелки каких-то матросов (аргентинские нравы в Алма-Ате) ему прострелили рукав нового костюма. Алма-Ата пустеет — уехал Шкловский, каждый день кто-нибудь уезжает, и все время такое чувство, что тебя забыли. Завадский здесь и уезжать не собирается. Уланова лежит в брюшном тифу.

Мы часто вспоминаем Барнаул и Белокуриху с очень нежным чувством. Легко, приятно и как-то по художественному точно (если можно употребить это слово) было работать с Вами. Белокуриха вспоминается — как маленький антракт среди угрюмого тумана.

Сердечный привет от нас обоих Алисе Георгиевне. Я знаю нелюбовь Алисы Георгиевны к писанию писем и ее почерк, требующий тонны бумаги (а бумаги, конечно, нет), но я был бы рад получить от Алисы Георгиевны несколько слов, так как знаю, что Вам писать и некогда, и подчас трудно. Привет Жанне Георгиевне, Елизавете Яковлевне, Нине Станиславовне, художникам, неунывающему Лишину и всему коллективу. Валерия Владимировна шлет Вам привет и беспокоится о Вашем здоровье.

Поправляйтесь, дела на фронте идут чудесно, скоро Москва. Обнимаю Вас.

Ваш *К. Паустовский.*

Привет Оттену.

Московский адрес: Москва, 17, Лаврушинский 17, кв. 17 — мне.

Н. Д. ОТТЕНУ

8 февраля 1943 г. Алма-Ата

Дорогой Николай Давыдович,— не ругайте меня, ради бога, за молчание. Но я все время пребывал в болезнях и в работе, не дававшей мне ни единого дня передышки (после Барнаула мне пришлось написать пьесу для Завадского, четыре сценария — короткометражки об Одессе, Севастополе, Ленинграде и Сталинграде и два рассказа).

Спасибо за письмо, за внимание и за память. Относительно Вас я говорил с Ник. Аркадьевичем, и он сказал, что вызов Ваш в Алма-Ату возможен после получения от Вас заявки. Об этом писал Вам Михаил Яковлевич. Он плох, лежит в больнице, и было бы хорошо, если бы Вы могли приехать сейчас. Алма-Ата стремительно пустеет, и наконец мы тоже уезжаем 15 февраля... Что с пьесой? Что-то притихло. Напишите мне в Москву, где я надеюсь очень скоро увидеть вас. Вот когда поговорим. Привет всему Вашему семейству на горе. Привет Таировым и коллективу.

Ваш *К. Паустовский.*

В Алма-Ате, помимо прочих удовольствий, Вы будете иметь особое удовольствие от встречи со Штормом.

Московский адрес: Москва, 17, Лаврушинский 17, кв. 17.

С. М. НАВАШИНУ

2 марта 1943 г. Москва

Серячек, родной,— это первое письмо из Москвы. Сижу в квартире Сельвинских — на столе стоит наша хрустальная лампа (витая, высокая) — и пишу тебе первому... Уже вечер. Приехали мы 27-го ночью, до утра просидели на темном Казанском вокзале, потом достали машину (за 400 руб) и поехали в Лаврушинский по суровой и холодной Москве. До сих пор еще живем как во сне — так все ново, странно и почти нереально — и самый город, ставший неузнаваемым, и наша здешняя жизнь, как на бивуаке, и все знакомые — постаревшие, похожие на скорлупу от бывших людей. Но, в общем, надо писать все по порядку. В первый день остановились у Александры Васильевны. Были и слезы, и много разговоров. Потом пошли к Фраерам. Там видели Колю Харджиева и Смолича. Была всеобщая радость. Ночевали у Фраеров. Узнали новости — Роскин в плену, Гайдар похоронен около Канева. Были у Фединых. Видели всех. Встретили они нас шумно, трогательно, по-родственному. Дора Сергеевна превратилась в тоненькую девочку. Нина прежняя, а старик очень похудел, поседел и стал похож на норвежца. У Фединых нас нашел Вова Толстой,— бледный, припухший, ничуть не повзрослевший. Он помог нам перебраться к Сельвинским, таскал вещи (мы заняли столовую и спальню «большой Берты»). В квартире, кроме нас, никого нет. Тепло (12—13 градусов), даже есть вода, и горит газ. Ходили со Звэрой на нашу квартиру, Звэра очень волновалась и говорила, но скоро успокоилась,— почти все ее любимые вещицы уцелели. Все металлические вещи покрылись мохнатой ржавчиной, во всех квартирах темно днем, как в погребах (вместо стекол — доски и фанера). Было и приятно и печально неожиданно находить забытые вещи — какой-нибудь компас, подсак, три пачки сахара, медную рыбу на двери, всякие твои инструменты и те хрустальные вещи, которые считались погибшими. Квартиру отремонтировали, но следы бомбежки остались. Пейзаж за

окнами совершенно другой, нет привычных домов, одни пустыри... Что-то напоминающее пейзажи Гойи.

Вчера к нам приходили Шкловский, Дора Сергеевна, Николай Николаевич Никитин (он живет в квартире Альтмана) — худой, в жестяных очках, в сапогах — его трудно узнать. Приходил чудесный Ваня Халтурин — в шинели, с раненой ногой. Его демобилизовали.

Был в Союзе (масса дел — бытовых, наладить быт очень сложно и трудно). Видел Жарова, он расспрашивал о тебе (знает о тебе от своего сына). Жаров — блестящий моряк с невероятными погонами. При встречах все целуются и бурно приветствуют. Встретил Квитко — сильно поношенного. Уже наседают журналы и газеты, и Звэра молодец, что заставила меня в Алма-Ате переписать все рукописи,— остается только раздавать их по редакциям. Фунт в восторге от Москвы, устраивает непрерывные бега по комнатам, благо — квартира огромная. Сейчас идем со Звэрой на «санобработку» — без этого нельзя прописаться...

Старушка из Солотчи прислала письмо — просит поскорей приехать и заключить купчую на дом с усадьбой и со всем содержимым, т. к. она очень слаба и вот-вот умрет. О деньгах уже нет и речи,— она хочет только одного — чтобы дом попал в наши руки. Очевидно, числа 15 марта я с Рувцом поедем в Солотчи дня на три совершить эту операцию. А может быть, поедет только один Рувец... Целую тебя крепко.

Твой *Коста* — очень любящий и стареющий.

С. М. НАВАШИНУ

4 апреля 1943 г. Москва

Серяк, дорогой, очень долго не писал тебе из-за своей поездки в Солотчу. Ездили мы с Рувимом через Владимир и Туму. Дорога довольно сложная, с двумя пересадками. Во Владимире (чудесном старинном городе с Кремлем и соборами) пало сутки ждать поезда на Туму. От Тумы ходит все тот же поездок, но пейзаж немного изменился,— в лесах устроены завалы, между Солотчей и Заборьем — огромные, уже осыпавшиеся рвы и заграждения. Провели в Солотче пять дней, купили дом, устраивали множество хозяйственных дел (землю под огороды, семена, дрова, сено, навоз и т. под.). Была весна, распутица, луга уже

были непроходимыми. Местные власти встретили нас весьма почтительно, обещали во всем помочь. Очень грустно было в бане увидеть все наши вещи, забытые письма, знакомые удочки, рыболовные книги. Трудно было поверить, что и старый дом и сад — все это теперь наше. Вообще, ощущение нереальности не оставляет меня со дня приезда в Москву. Живешь как сквозь сон. Очевидно, чувство полной реальности вернется, когда мы опять будем все вместе и окончится война.

Обратно ехали еще сложней — снова через Владимир (через Рязань уже дороги нет, по Оке идет «орловская» вода). Чтобы не сидеть сутки во Владимире, доехали на машине от Владимира до станции Петушки, а оттуда до Москвы — на пригородном поезде. В дороге десятки баб с мешками картофеля подымали руки, просились в машину, но шофер брал только тех, которые в поднятой руке держали пачку папирос, «мерзавчик» водки или два яйца. В дороге я, конечно, простудился. Насморк. Была ужасная погода — мокрый снег, дождь, грязь по колено, и даже мои бутсы не выдержали и промокли. Сейчас понемногу отлеживаюсь. Самое трогательное, что я видел в дороге (среди многих страшных вещей), это собачка «Дымок», которая провожала в вагоне узкоколейки на фронт своего хозяина — бойца из Спас-Клепиков.

До отъезда в Солотчу осталось дней двадцать, и за эти дни придется проделать героическую работу — сейчас ведь здесь, в Москве, все очень сложно...

Тон жизни в Москве (если отбросить всякие ведомственные сложности) совсем не тот, что в Алма-Ате,— все очень дружно живут, как на большом корабле. Много общих смешных хозяйственных дел — то Шкловский прибегает советоваться по «китиным» делам, то Никитин приходит молоть кофе, то Дора Серг. прибегает за чем-нибудь. На днях приехали из Алма-Аты Петя Семынин и Промптов. Старик Федюкин подарил мне свои новые книги — пьесу и воспоминания о Горьком с весьма трогательными надписями. Получили большое письмо от Таирова и Коонен — пишут, что премьера 31/III (все откладывается из-за болезни стариков)... Малый театр как будто собирается ставить «Рыцарей». Многие рассказы я уже роздал. В морском издательстве выходит книга рассказов. Но только сейчас отдам в печать повесть, боюсь, что ее не будут печатать. Приходит ли к вам журнал «Красноармеец»? Там будут два моих рассказа.

Твой *Коста.*

С. М. НАВАШИНУ

29 апреля 1943 г. Москва

Серячок, родной мой, это письмо — последнее из Москвы. Поэтому я не ставлю на нем номера. Начну ставить номера на письмах из Солотчи. Очень, очень долго тебе не писал. Возня с подготовкой к отъезду была неслыханная (командировки для всех, пропуска, пайки, деньги и прочее). Десятки муровых бумажек каждый день, и беготня с 9 часов утра до 10—11 вечера. Наконец вчера все вчерне окончилось, я достал машину через «Красную звезду» (при «благосклонном содействии» генерала Вадимова), и третьего мы выезжаем всем кланом — мы с Лизой и Фраеры — через Рязань и паром на Оке (плашкота еще пе навели). Все завидуют нам, хотя и считают нас слегка сумасшедшими. Лиза получила командировку от «Пионерской правды» (?!). Звэра от Союза писателей, причем несколько дней в Союзе висел приказ о том, что «В. В. Навашина командируется президиумом Союза в Ряз. область для совместной лит. работы с писателем Паустовским». Без такого приказа пропуска не дают. В общем, все нормальное (как, например, поездка к себе в Солотчу) расценивается в соответствующих органах как криминал, все же странное (Лиза, собирающая фольклор), как вполне естественное... Очень много литературных дел. И театральных — тоже. Приехал Завадский. Он ставит «Рыцарей звездного неба». Фронтовой театр ставит четыре маленьких спектакля (мои «города»). Каким-то чудом я успел переделать эти рассказы в пьесы. Ставит их небезызвестпый Дзиган. «Лермонтова», кажется, разрешат и пустят на экран. В Военно-Морском издательстве скоро выйдет книга рассказов «Ленинградская ночь». «Красная звезда» напечатала мой «Севастопольский рассказ» (кажется, в номере от 21/IV). Как видишь, и этой возни было много. Поэтому я мечтаю о Солотче, чтобы немного прийти в себя. Все, что я тебе перечислил,— это сотая часть дел. Я не пишу о радио, газетах, журналах и всяких людях, которые приходят каждый день. Часто бывает Ной Лурье, Никитин, Вова Толстой (па днях он приходил с отцом), забегает Дора Сергеевна. Нина ходила с домработницей к всенощной (на пасху), и у нее украли в церкви «свяченые яйца», вытащили из-под ног. Были у стариков Фединых на пасху — очень скромную (кулич, спеченный в «чудо-кухне», и сыр). Старик похудел и стал очень красив. Был я на

похоронах Немировича в МХАТе. Впечатление осталось такое, что хоронят не Немировича, а Художественный театр и театр вообще. Папаша Шкловский (который окончательно перешел со мной на «ты») бегает, как бешеный кот, добывает деньги, моет у себя полы и ждет своих из Алма-Аты. Он, в общем, сумасшедший, но добрый человек (на днях он послал Тане Арбузовой свои деньги). Приехало семейство Ивановых,— мальчишки стали длинными, приехал загадочный Зощенко и Коварский. Каждый день я встречаю множество людей, и у меня мельтешит в глазах. Смоличи живут в твоей комнате и очень довольны. Он уже устраивает всякие «рационализации» — он очень любит возиться с хозяйственными изобретениями...

Старик Федюкин подарил мне для Солотчи чудесный портрет Аксакова. Вообще, все просятся приезжать в Солотчу — Федины, и Новиков-Прибой, и Никитин, и даже Завадский с Улановой <...>

С. М. НАВАШИНУ

6 мая 1943 г. Москва

Серячек, родной мой, пишу еще из Москвы, но это письмо, должно быть, последнее. Остальные будут из Солотчи. Хочется написать тебе подробно обо всем, но так «заморочена» голова, что я с трудом восстанавливаю последовательную цепь «событий». Прежде всего о Солотче. «Кр. звезда» устраивает нам машину. Машина будет только через три дня. Поэтому Звэра с Лизой и Фраеры уезжают на пароходе (пароходы ходят совершенно пустые), а я через три дня со всем огромным барахлом (25 мест, в том числе новая дубовая бочка, самовар и прочее) выеду на машине. Звэра берет с собой только немного продуктов, свой чемоданчик и... бюст Пушкина, который мы поставим в солотчинском саду. Возможно, что со Звэрой поедет на пароходе до Бронницы папаша Шкловский. Бюст Пушкина приводит всех в умиление и в удивление. Возня с отъездом невероятная, все делается страшно медленно, так как во всех учреждениях, помимо крючкотворства, огромные перерывы на обед, всюду в разное время, причем за час до обеда служащие делаются невменяемыми от предвкушения еды, а после обеда — от обманутых ожиданий. На днях пришел пароход из Чистополя. Народу приехало мало. Из Сельвинских никто не приехал,

даже Циля. Поэтому мы уедем из квартиры Сельвинских. Наша квартирка уже прибрана, потеплела, Смолич тихо живет там и увлекается рассматриванием «Джеографика».

Сейчас Звэра бежит с Лизой за санобработкой. Я хожу в рувимовском роскошном осеннем пальто. До сих пор не достал ничего,— по московским темпам на пальто надо потратить, очевидно, около года.

Приехал старик Таиров. Рассказывал о премьере... Посылаю тебе первую программу. Спектакли в Барнауле идут очень хорошо, билеты распроданы на два месяца вперед. У Таирова мы были со Звэрой в «Москве» вместе с Никитиным и его женой Рэнэ Ароновной, которую он все время ругает за то, что у нее такое неподходящее имя.

Томный Завадский уехал в Алма-Ату работать над «Рыцарями». Не знаю, писал ли я тебе, что Дзиган ставит во Фронтовом театре мои «Города». Это — дела театральные. Литературные тоже идут понемногу, но в Солотче я буду писать «для себя» — вторую часть «Дыма отечества» и автобиографическую повесть — огромную и очень свободную по жанру — это будет и автобиография, и сотни людей, и пейзажей, и эпоха, и всякие размышления. Звэра этому очень радуется. И мне самому очень хочется ее писать не торопясь, по-настоящему.

Старик Федюкин засел за роман, заткнул телефон подушкой, но в перерывы от работы читает «Жильцов старого дома» — и удивляется, из чего надо заключить, что до сих пор он меня почти пе читал.

Твой *Коста*.

С. М. НАВАШИНУ

20 мая 1943 г. Солотча

Серячек, дорогой, это первое письмо из Солотчи. Звэра приехала сюда на два дня раньше, чем я (с Лизой и Фраерами). Я приехал на машине «Красной звезды» со всеми вещами. Машину дали старую, с «кладбища», но опа дотащила весь груз и ни разу не останавливалась. Звэра без меня была очень испуганная, даже плакала, когда меня увидела... Из Солотчи я тебе не писал так долго, так как была дикая возня с огородом. Достали участок земли в лугах — очень большой (4/10 гектара) на берегу Старицы... Самое главное с огородом сделали. Кроме того, посадили в лугах свеклу (очень много) и на днях посеем про-

со (тоже в лугах). Остальные овощи будем сажать в саду, где уже перекопали и «протяпали» много земли. Все приходится делать самим — и Звэра «тяпала» землю и сажала картошку и свеклу. Возиться с землей очень приятно... Приводим постепенно в порядок сад и скоро займемся домом. В саду цветет сирень — очень пышно и густо, и у нас в комнате (в бывшем) роскинском кабинете стоят большие букеты. Вчера Звэра с Лизой ходили в Дубки и принесли ландыши, много всяких цветов. Рыба эти дни не клюет — стало холодно, был град и очень холодные грозы... Нам очень повезло с посадкой, как только мы посадили — сейчас же после страшной засухи и жары пошли прохладные дожди. В саду, несмотря на то что мы спилили на дрова высохшие яблони (они заражают сад гусеницей), уже хорошо — распускается на беседке дикий виноград, отцветают вишни, цветет райское яблоко — все очень мшистое, старенькое и трогательное. Все мы очень загорели, но и похудели от работы. Я немного измотался и в Москве, и первые дни здесь (бесконечные переговоры во всяческих учреждениях), но сейчас уже виден отдых. В июне будем устраивать пасеку — это, оказывается, не так трудно, как нам казалось. В Ворсках есть мастерская, которая делает ульи, а главный районный агроном обещает дать нам пчел, вощину и научить «пчеловодству». Поставим три улья в саду, в глубине,— каждый улей должен в среднем дать 25 кило меду. Прости меня за это сельскохозяйственное письмо, но это, оказывается, очень увлекательное дело (трудное только в начале). Рувец работает, как землекоп, но в делах агрономических обнаруживает полное невежество и лишь постепенно начинает соображать что к чему. Он уже оправился...

Я сейчас тороплюсь в здешний Кремль (монастырь), где собрались все районные учреждения. Звэра сегодня тебе напишет. Она сейчас идет в сад — поработать в огороде. Лиза — тихая и краснощекая и очень гордится тем, что с ней советуются обо всяких агропомических делах.

Целую тебя очень-очень. Твой *Коста.*

«Лермонтов» разрешен «на экран». Но пока я его пе увижу на экране, я в это не поверю.

О московских делах и о прочем напишу тебе немножко позже, когда кончится «посевная кампания» (через день-два).

К. А. ФЕДИНУ

4 августа 1943 г.

Дорогой Константин Александрович,— пишу Вам в состоянии тихого бешенства. Жильцы до сих пор не съехали (несмотря на искренние и беспрерывные усилия и местных и рязанских властей), мы все еще теснимся в полуторах комнатах, и поэтому приезжать пока что некуда. Ждем со дня на день, когда наконец освободится дом, ежедневно слышим одно и то же слово «завтра», но «завтра» не приносит ничего утешительного, кроме все тех же почти непрерывно дерущихся за стеной соседей-жильцов. Должен признаться, что таких чудовищных людей я еще не встречал в своей жизни, хотя и видел множество людей растленных и ничтожных.

Закрепление «на земле» оказалось делом невероятно сложным и медленным. Более или менее сносная устроенность маячит где-то очень далеко, пока что жизнь очень трудная, связанная с беспрерывной возней и для Валерии Владимировны и для меня. Все ново, всему надо учиться, и добыванье даже каждого пустяка берет уйму сил и времени. Временами, в минуты усталости, хочется бросить все и возвращаться в Москву, что и придется сделать, если дом до зимы не освободится. Но мы пока что боремся и не позволяем себе терять надежду.

Это тем более обидно и удручает нас, что мы надеялись видеть уже в августе здесь и Вас, и Нину, и Николая Николаевича. Мне трудно рассказать Вам, как мы огорчены. Но при первой же возможности, как только освободятся комнаты, я тогда же Вам напишу. Мы очень, очень хотим, чтобы Вы приехали сюда, но нельзя тащить Вас сюда сейчас и подвергать множеству неудобств. Всю окружающую идиллическую природу, всю ее прелесть мы видим урывками, на ходу, как во сне...

В общем, по моим расчетам, только в сентябре все более или менее успокоится и можно будет передохнуть, встретиться и половить рыбу.

Чтобы Вы имели понятие о сельской жизни, я перечислю только самые срочные работы, которые нам придется выполнить, и, должно быть, у Вас, как и у нас, пойдут мурашки по спине: а) перекрытие крыши над сараями (они обвалились), т. е. достать тес, который есть за 30 километров, но лошадей нет и достать их все равно что выиграть сто тысяч; б) скосить гектар травы (на сено для бу-

дущей коровы, которую надо пригнать за сто с лишним километров). Скосить — это не так трудно, но опять нужна лошадь, чтобы его перевезти; в) выселить жильцов, которые все ломают, портят, жгут и выезжать не хотят; г) добыть дрова (они есть, их надо перевезти — опять лошадь) и т. д. и т. п.

Поэтому не сердитесь на нас. Да Вы бы и не сердились, если бы знали, с каким огорчением и с какой тяжестью на душе я пишу Вам все это.

А тут еще и литературные дела. Вы читали, конечно, статью в «Правде» о «Лермонтове». Я проклял кино на веки веков. Ничто не доставляло мне таких отвратительных огорчений, как кино и киношники. Пишу «для себя» урывками.

Кстати, по существующим у нас благородным традициям эта статья может вызвать некий отклик среди местных районных «тузов» и еще больше осложнить жизнь.

Утешает только положение на фронте и на Западе. Но поговорить об этом не с кем...

Пишите. Не забывайте. Мы еще наверстаем и отдых и рыбную ловлю.

Целую Вас. Привет Доре Сергеевне и Нине. Вал. Влад. сушит грибы и кланяется.

Ваш *К. Паустовский.*

А. А. КУЛЕШОВУ

18 сентября 1943 г. Солотча, Ряз. обл.

Дорогой Александр Александрович, очень был рад узнать, где Вы и что с Вами. Многие погибли, многих мы растеряли.

Нас очень беспокоит судьба Нины Николаевны Грин,— за несколько дней до занятия Старого Крыма пришла от нее открытка, очень печальная, и с тех пор — ни слова. Все розыски и расспросы ни к чему не привели. Во время эвакуации в Феодосии ее никто не видел. Но мы надеемся, что она уцелела и мы еще встретимся с ней.

Пишите на московский адрес. На днях мы уезжаем отсюда в Москву. Валерия Владимировна шлет Вам привет. Всего хорошего.

К. Паустовский.

С. М. НАВАШИНУ

18 октября 1943 г. Москва

Серяк, милый, сегодня рано утром почтальонша (славная девочка, которой Звэра за каждое твое письмо дает что-нибудь вкусное) принесла книжку Анны Ахматовой. Там есть прекрасные новые стихи (о Ленинграде).

Московские новости. На днях приехали из Алма-Аты Миша с Лелей. Устраиваются. Хотят взять нашу корову — этот вопрос усиленно обсуждается. Предлагают взамен Солотчи устроить летнюю базу в Кропотове, но мы теперь стреляные воробьи и не соглашаемся,— жить «на даче» можно только одним, без компаньонов. Приехало семейство Синявских. Мы были уже у Мальвы — худой, как щепка, и веселой. Пайка был у нас. Была у нас и Таня Арбузова. Вообще народу ходит много — Вова (пишущий рассказы), Нина (невероятная хохотушка), Никитин, его жена Рэнэ Ароновна (очень славная), Федюкин, Ваня Халтурин и прочие. Смолич еще в Харькове, он там заболел ангиной. Ада ломает руки. На днях приезжает Таиров со всей труппой. Должен привезти «Сердце». «Рыцарей звездного неба» «задержали» (деликатное выражение реперткомовцев) «впредь до открытия второго фронта» <...>

Дня три назад я был приглашен в «высший свет» — к художнику Кончаловскому па обед, устроенный по просьбе Алексея Толстого для того, чтобы познакомиться со мной. Ты же знаешь, что я люблю такие вещи, как кошка любит купаться (по выражению Шкловского). Пришлось пойти. Граф, нацепив на вилку соленый груздь, произнес речь обо мне, пересыпав ее множеством комплиментов («величайший мастер новеллы», «тончайший талант» и т. под.). Пишу это тебе по секрету. Кончаловский — очень любопытный и жизнерадостный старик — тоже наговорил комплиментов. К чему все это — неясно. Потом оба старика с женами проводили меня ночью до дому. Странно! Я стеснялся, потому что у меня после копанья солотчинской картошки еще не отошли руки.

...Осень стоит небывалая — до сих пор тепло, ясные прозрачные дни, иногда — теплые туманы. У нас в квартире (в моей комнате, кухне и ванной) уже все уютно по-старому — цветы, чистота, книги, твои фотографии. Но уже ходят какие-то люди и носят страшные рассказы. Но пока мало.

Не помню — писал ли я тебе, что Китя Шкловский был ранен в голову, но уже поправился и возвращается на фронт. Тяжелая история приключилась с доктором Симоновым — к нему привезли сына с ампутированной ногой. Жаль и мальчика и старика. Степаненко жив и благополучен. От Жени давно нет писем. У нас салюты. Звэра их побаивается (похоже на бомбежку по звуку). Зрелище великолепное...

Я, правда медленно, пишу вторую часть повести. Что-то получается. Писать очень хочется <...>

Целую тебя, обнимаю, будь спокоен. Твой *Коста.*

Я послал тебе телеграмму с нашим телефоном: В1-60-04. Ждем звонка и волнуемся, конечно.

Весь день у нас — Александра Васильевна, все такая же добрая, суетливая, худая и седая. У Звэры новая подружка — очень культурная и славная «европейская женщина» — жена Булгакова <...>

С. М. НАВАШИНУ

12 декабря 1943 г. Москва

<...> Жизнь постепенно налаживается. Вчера Звэрунья достала много стекла и завтра будет стеклить все окна, так что у нас будет светло (сейчас в твоей комнате и в Звэриной почти все рамы заколочены фанерой и там темно, как в погребе) и гораздо теплее. На днях обобьют дверь. Уже и сейчас у нас уютно, и Валюха собирается взять архив и повесить картины. Часы идут и играют все так же. По вечерам много света. Но работаю я пока на кухне — здесь теплее. Вторая часть повести разрослась (уже написано семь листов). Осталось немного — не больше листа. К 15-му думаю кончить. Получается, пожалуй, лучше, чем первая часть — и лаконичнее, и лиричнее, и проще. В общем, вся повесть будет в 15 листов — в полтора раза больше «Черного моря». Лишь бы ее напечатали, а сие еще неясно,— последние литературные «события» (с Зощенко, Лавреневым и другими) не очень мажорные. В общем, Пастернак волнуется.

В связи с последними событиями блеснула надежда на то, что разрешат к постановке «Рыцарей звездного неба» (в театре). Эта пьеса гораздо лучше, чем таировская: премьера у Таирова откладывается, заболела Коонен, заболел сам Таиров, а дублерши у Коонен, конечно, нет.

Ну что ж, будем ждать.

На днях я получил письмо из Самарканда — очень хорошее — от «читательницы», художницы Н. Штейнмюллер, ученицы Бориса Александровича Фогеля. Она вместе со стариком читала мои книги вслух — и вот в результате письмо. Не был ли ты у Фогеля? Он — чудный старик. Его легко найти через Академию художеств. Что касается московского народонаселения, то новости такие,— приехал Володя Луговской. Говорит, что в Ташкенте — весна. У Фединых — лазарет. Старик только что встал после гриппа, но заболела Нина. Она, кстати, за день до болезни (тоже грипп) прибегала к нам в новом парижском платье, подаренном стариком. Звэра меня к Фединым не пускает — карантин. Приходит Ник. Ник. Ник. (Никитин), то за кусачками, то за проволокой, то за гвоздями — он устраивается в новой комнате. Звэра очень подружилась (и я тоже) с женой Ильфа и ее теперешним мужем скульптором Рабиновичем (Раби). Они — чудесные люди, и жена Ильфа связала мне совершенно парижский свитер <...>

После событий в столице шах-ин-шаха стало легче на душе. Пиши чаще. Пять дней не было писем, и было совсем нехорошо — опять мы затревожились.

Обнимаю тебя, целую и желаю, чтобы в новом году все «образовалось» и наступила бы наконец та любимая мной «тишина», над которой ты и Звэра любили посмеиваться.

Твой *Коста.*

Здесь зима, но пока еще очень мягкая, туманная, гнилая. Только сегодня — первый мороз. Китя Шкловский где-то под Смоленском <...>

С. М. НАВАШИНУ

2 января 1944 г. Москва

Серяк, милый, только сегодня утром мы наконец пришли в себя после новогодних событий и можно засесть за письмо. (Не удивляйся, что я пишу на машинке, попросту смоличевская машинка стоит у меня на столе, я только что переписывал рассказ.) Подробности будут изложены дальше, а сначала мы со Звэрой крепко тебя обнимаем, целуем, поздравляем с новым годом и вместе с тобой думаем о будущем и надеемся на него,— на отдых, на по-

кой, на легкость жизни, на то, что «мы увидим небо в алмазах» (по утверждению Чехова).

Новый год мы встречали у Фединых — «в тесном семейном кругу». Были мы (Звэра со мной), Таня Арбузова, Федины, Нина и ленинградский писатель Шишков-старец с женой. Было очень импозантно (внешне) и весело, но я из-за своего дурацкого сердца в три часа ночи лег у Федина в кабинете на диван и проспал до шести часов утра мирным сном, укрытый пледом,— к великому негодованию Звэры. Пили за тебя (даже стоя) — вот как! Вспоминали тебя очень часто. Старик Федюкин шумел, несчетное число раз целовался со Звэрой и со мной. Нина бегала на минуту к Цыле, где встречали новый год Вовка Толстой и прочие «школьники». Разошлись в восемь часов утра. Мы отнесли к Фединым вино, шампанское, всякие вкусные вещи, приготовленные Звэрой (необыкновенный хворост) <...>

Завтра в Камерном театре общественный просмотр. Звэра берет в театр Лизу и Александру Васильевну, Наглеров и Ноя Лурье. У нас чудесная елка со всеми твоими игрушками,— с ялтинским дедом-морозом, зайцами и грибами. Нашлись даже старые свечи. Пахнет хвоей, играют часы, горят свечи, и на минуту забываешь обо всех московских неприятностях (их все же достаточно). Слушаешь ли ты радио? Вчера Антон Шварц читал (говорят, хорошо) мой рассказ «Встреча» — изуродованное до неузнаваемости «Робкое сердце». Москва — в салютах. Вчера был салют (житомирский) очень эффектный,— целое море разноцветных ракет на снегу. Зима очень теплая, и это нас пока спасает. Но все же сидим большую часть дня на кухне.

Никак не окончу повести, теперь из-за театра. Пожалуй, эта задержка — к лучшему.

Я мельком писал тебе о том, что Люба лежит в гипсе в одном из московских госпиталей. Она попала под артиллерийский огонь, у нее перелом ноги ниже колена (двойной). Ее засыпало землей и снегом, и только через сутки ее случайно заметил шофер с проезжавшей машины, подобрал и вез сто километров в кузове до ближайшего госпиталя. В результате она схватила еще воспаление легких. Старики Наглеры волнуются. Они получили твою телеграмму и очень растроганы.

Был Миша, подарил мне пачку табаку. Конечно, смертельно поссорился с теткой из-за того, что тетка разыскала каких-то родственников и требует от Миши проявления к

ним хотя бы слабых родственных чувств, что Мишу, естественно, бесит.

У нас по-прежнему много звонков и много народа. Нина прибегает почти каждый день со всеми своими радостями, горестями и сомнениями. Кончаю свое «информационное» письмо,— не сердись.

Крепко тебя обнимаю. Твой *Коста.*

Смоличи еще здесь. Ада очень смешная, и у нас непрерывный «театр на дому». Приехал из Алма-Аты Михаил Яковлевич Шнейдер. Его сопровождала в пути медицинская сестра. Говорят, он очень плох.

Вчера звонила Галка Арбузова, очень забавная. Она спала в комнате, где встречали новый год все актеры арбузовской студии — 40 человек. Она сказала мне, что они старались не шуметь, чтобы ее не разбудить, что было очень тихо, но только «они выломали дверь, выбили оконную раму и перебили всю посуду».

Оказывается (только что выяснилось), что Шварц читал мой новый рассказ «Снег» — весьма лирический,— а вовсе не «Робкое сердце».

С. М. НАВАШИНУ

15 января 1944 г. Москва

Серый, не сердись, милый, что мы со Звэрой так редко пишем. Началась «московская жизнь» — все время у нас народ, множество дел (очень сложный и запутанный быт), мы быстро устаем. Для того чтобы писать, мне приходится, как в былые времена, или «заболевать», или скрываться. Нужно два-три дня для того, чтобы окончить повесть, но я никак не доберусь до конца. Старик Федюкин в связи со всеми этими обстоятельствами уезжает на две недели в Переделкино,— возможно, что я тоже уеду дней на семь (в Переделкине опять открылся дом отдыха). Там закончу наконец повесть. Что с ней будет — не знаю. Время в литературе трудное.

13-го вечером у нас экспромтом вышло празднование старого нового года. Пришла Таня. Пришли Никитины и старик Федюкин. Потом прибежала Дора Сергеевна, жена Ильфа и парижский скульптор Рабинович (с бородой)! Старик Федюкин устроил неслыханный шум, пел, жег пунш и в шесть часов утра был уведен Дорой Сергеевной.

Веселились, как гимназисты. А на следующий вечер все собрались у Никитина — было новоселье и очередной шум. Пьеса идет хорошо. В дни спектаклей на Тверском бульваре от Пушкина и Тимирязева до театра стоит сплошная цепь людей, взывающих: «Нет ли лишнего билета, граждане?» Но театральные рецензенты шипят <...>

Рассказ, который я тебе послал, очень хорошо читает по радио Антон Шварц. Рассказ, конечно, проскочил фуксом.

На днях пришла телеграмма от нью-йоркского издательства с просьбой прислать несколько рассказов, еще не переведенных на английский язык. Очевидно, будут издавать. Посылаю через Совинформбюро.

Вот все литературные новости, если не считать возможное отстранение Фадеева и проработку Зощенко, Асеева, Пастернака, Сельвинского, Федина (только не пиши об этом Нине), Лидина, Гурвича и прочих. Так-то, Серяк!

Я на днях болел,— лежал два дня с температурой до 40, но без всяких болей и насморков. Очевидно, заболел от отвращения <...>

Все о тебе спрашивают и все просят посылать тебе приветы — и Астангов, и Ваня Халтурин, и Шнейдер, и все, даже Жоржик Шторм <...>

Смоличи через три дня уезжают в Харьков — в холод и неизвестность. Жаль их, конечно. Миша очень редко появляется из своих институтских дебрей — сердитый и возмущенный количеством дураков.

Целую и обнимаю тебя крепко. Твой *Коста.*

Кстати, Костой меня уже начинают звать и Федин и Никитин,— это имя прививается.

Н. Н. НИКИТИНУ

2 февраля 1945 г.

Ник, дорогой, в первых строках сего письма позвольте поздравить Вас с литературной годовщиной — днем возникновения «Серапионовых братьев».

В Москве, насколько я знаю, один Костя заволновался по поводу этой даты, а остальные даже забыли о ней. Sic transit gloria mundi [1],— как говорят в таких случаях чеховские герои.

---

[1] Так проходит земная слава *(лат.)*.

Вчера мы с Костей выпили по этому случаю у нас апельсиновой водки, вспомнили Вас, но, узнав из авторитетных источников, что Вы, спускаясь с ведром за водой на третий этаж, занимаетесь вместо «взятия» воды картежной игрой и пьянством, решили поставить вопрос об этом на обсуждение секции драматургов при клубе писателей (если вы не исправитесь). Вот! Эта открытка — не в счет. На днях я грохну большое письмо. Сегодня получили Ваше — маленькое. И за то спасибо, Валя поправляется, но хнычет иногда. Все новости будут сообщены дополнительно (о совещании драматургов, юбилее Камерного театра и Таирова, которому Вы забыли послать поздравительную телеграмму, новой прозе, замужестве Нины («Нинюсь, где ты?») и прочих занимательных вещах). Валя очень целует Рэнэ и Вас. И я целую очень.

Ваш *Коста.*

У нас в комнатах 5 градусов. Завидуем Вам. Вся жизнь — только на кухне.

Н. Н. НИКИТИНУ

24 февраля 1945 г. Москва

Рэнэ и Ник дорогие, неужели вы не получили мою открытку, где коротко и по возможности занимательно были изложены все московские новости и события! Это жаль!

Мы свиньи, конечно, что не пишем. А кто не свиньи?

«Что ты видишь сучок в глазу брата своего, а бревна в своем глазу не видишь» (Ев. от Матфея, гл. III, 18).

Итак, все дальнейшее будет изложено по пунктам.

Дела *театральные.*

I. Был юбилей Камерного театра. Таиров и Алиса получили ордена, а Вы, Ник, конечно, забыли их поздравить. Таиров это Вам припомнит. Мы с Костей, натурально, поздравили и по телеграфу и лично, путем лобызаний и объятий, но ничего от этого не имели, кроме стакана клюквенного напитка в роскошном таировском кабинете. Был «капустник». Лазаренко приветствовал Алису тем, что три раза перепрыгнул через нее, каждый раз делая в воздухе над головой великой трагической актрисы сальто-мортале. Алиса сидела бледная, вся сцена тряслась, и на глазах у изумленной публики с Алисы осыпалась штукатурка. Я думаю, Алиса не поблагодарит Лазаренко за такое приветствие.

II. Нина прислала из Таганрога афишу, из которой видно, что Нина вместе со своим мужем будет ставить в Таганроге «Снежную королеву» Шварца. Афиша висит на стене у Доры для обозрения публики.

Нина прислала нам хорошее письмо. Она счастлива. Шум, хохот, цветы, поздравления, пирожки на керосинке, театральные интриги и родительская тревога в Москве — такова жизнь молодой жены и актрисы.

III. Я пишу пьесу и злюсь.

IV. Здесь было совещание драматургов. Все переругались. Особенно ругали «Так и будет» и еще новую пьесу Гладкова «Жестокий романс». Первая пьеса уже переименована хохмачами в «Так вам и надо».

Дела *литературные.*

I. Костя Федин упорно трудится над романом. Читал недавно в клубе три главы. Очень хорошо, точно, пластично и чуть-чуть по-горьковски. Горьковские персонажи (может быть, потому, что в романе — Саратов). Неторопливая, взвешенная проза, и очень хороша девочка Аночка.

II. Я написал три рассказа. Старался. Скоро выйдет небольшой сборник (11 рассказов), и я пришлю его Вам с почтительной надписью. Написал большую статью для «Литгазеты» о современной литературе под названием «Скучные глаза». Редакция приняла ее со всяческими восторгами, набрала, но... сами понимаете.

Меня снова ругают все за ту же очертевшую ленинградскую ворону. Теперь ругает Книпович. Оказывается, ворона — это украшательство и лжеромантизм. Я пренебрегаю.

III. Все чегой-то пишут, но в печати ничего не видно.

Дела *семейные.*

I. Валя поправляется очень быстро и даже ходит пешком в центр. Шумная, румяная. Волнуется из-за Серого, из-за поездки в Ленинград и из-за всего прочего.

Листик разбойничает. Ходит народ, но без вас — все не то, все скучно. Вспоминают вас все очень часто, а мы — каждый день.

II. Костя уехал на месяц в Архангельское — лечиться и кончать роман. Недавно отпраздновали день рождения Доры. Сидели с 9 ч. вечера до 10 ч. утра. Очень шумели, все сообща обрушивались на Алянского за его нудный характер, спорили, выпили уйму водки и съели два кило ветчины. После этого пышного вечера Федины, кажется, до сих пор зализывают хозяйственные раны.

Смесь.

I. Митрополит Алеутский забыл у Шкловского глубокие американские калоши.

II. Лавренева избили в хлебной очереди бабы,— за плохой характер.

А в общем, простите за это легковесное письмо. Мне стыдно за него. Все серьезное откладываю до следующего письма, которое будет на днях.

Спасибо за Серого.

Целую Вас обоих крепко. Валя целует.

Ваш *Коста.*

Лиза желает вам «вдачной жизни».

Будущее наше темно и непонятно.

Н. Н. НИКИТИНУ

15 апреля 1945 г.

Ник, дорогой,— сижу в Переделкине (в доме отдыха), Валя скоро уезжает, и я очень тороплюсь.

Посылаю рассказ, но до того, как читать его, пусть редакционная машинистка тщательно его перепишет, а то очень «слепой» экземпляр.

На днях напишу подробно. Приехал вчера сюда Костя,— копал землю для цветов. Снег, солнце, ветер, то холод, то тепло. Но, в общем, хорошо.

Ник, когда приедете на пленум — наша квартира в Вашем распоряжении.

Посылаю «Степную грозу». Спасибо за «Ленинград».

Валя целует Рэнэ и Вас. И я тоже.

Ваш *Коста.*

Пробуду здесь еще три дня.

Простите за помарки.

Т. А. ЕВТЕЕВОЙ

13 мая 1945 г.

Таня, сейчас четыре часа ночи, мертвая тишина, только стучат часы, я только что вернулся от Федина (я пошел к нему после того, как простился с Вами на углу Ор-

дынки и, может быть, навсегда, на всю жизнь, до смерти унес в памяти, в своем сознании и это бледное Ваше лицо, и улыбку, и голос — все, что заставляет меня думать о Вас непрерывно, мучительно, радостно). Какая-то голубая, лунная, магическая ночь. И глупо говорить о любви (ведь Вам не нужны «объяснения»), глупо,— потому что это не любовь. Это — что-то такое огромное, сжимающее сердце, чему я не подберу названия на нашем человеческом языке. Это и дружба, и ощущение чудесной человеческой нежности, и желание следить каждый Ваш шаг, беречь Вас, отдать Вам всю свою заботу, всю радость, всю силу, все то хорошее, что еще, может быть, осталось во мне.

Я не могу думать о Вас — сейчас же какие-то тяжелые слезы сжимают горло.

И вместе с тем я знаю, что это бесплодно. Мне временами хочется умереть,— потому что, умирая, я *имею право* позвать Вас и сказать Вам ту единственную правду, которой я живу сейчас.

Это длится уже давно — с той снежной глухой зимы в Алма-Ате в 1942 году,— длится три года. Это так сильно, так проверено временем, что я спокойно, не боясь ошибиться и не боясь бессознательно обмануть и себя и Вас, говорю Вам об этом.

Но я связан, я, может быть, попросту глуп,— я не могу понять несовершенства человеческих отношений. Я думаю, что В. В. должна же понять все это, и тогда только укрепится ее дружба со мной. Но, очевидно, это — наивные детские мысли.

Я напишу еще. Сейчас мне трудно. Может быть, потому, что я понял наконец,— вся жизнь была как ожидание Вас, и только для Вас мне стоит жить на этом свете. Почему Вы так взяли меня? Не знаю. Это колдовство. Или безумие. Или, вернее всего,— судьба.

Но что бы это ни было, я благодарен богу, если он есть, за то, что Вы родились и живете на этой земле, и за то, что я встретил Вас и с той же минуты понял, что вот только Вы, только Ваше милое сердце — это самое ценное, самое глубокое, самое прекрасное, чего я так долго ждал в жизни.

Это даже страшно.

Не сердитесь на меня, Таня, милая.

Ваш *К. Паустовский.*

Т. А. ЕВТЕЕВОЙ

19 мая 1945 г.

Опять глубокая ночь,— я никак не выйду из этих глухих и поздних ночей, опять синеет за окнами рассвет, и кажется, что этот рассвет — единственный в мире, самый томительный, самый прекрасный, потому что вот в это столетие, в этот год, в эту ночь и на этом рассвете живете Вы, Таня. Я благодарен судьбе за то, что из сотен и тысяч лет, когда я мог бы родиться, я живу именно сейчас, в одно время с Вами, и мне страшно от мысли, что могло бы быть иначе, что на протяжении огромных времен я мог бы не встретить Вас.

Начинаешь верить в судьбу. Она есть. И, пожалуй, ни на какое счастье не променяешь всю эту щемящую тревогу, горечь, необъяснимую печаль и любовь (такую же необъяснимую), которые измучили сердце. Как будто дыхание чего-то огромного, того, что сильнее смерти входит в жизнь. В этом есть какая-то непомерная чистота, ясность. И какая-то внутренняя дрожь, какая бывает только холодным, чистым, очень ранним утром, когда еще вся земля спит. Чистота. «Да святится имя твое»,— помните?

Как странно, даже страшно, но прекрасно, когда поэзия становится самой жизнью. Это бывает, наверное, раз в сотни лет. И это нельзя передать ничем,— никакими словами.

Все это похоже на бред, но я пишу ночью, и все время давит в груди, как будто от невыплаканных слез.

О чем? О каждом Вашем шаге, которого я не вижу, о каждом слове, которого я не слышу сейчас.

Ваш *К. Паустовский.*

Т. А. ЕВТЕЕВОЙ

6 октября 1945 г. Солотча, Ряз. обл.

Таня, не хмурьтесь, не сердитесь за то, что я Вам пишу. И не говорите: «Ну вот! Опять начинается!» По «умным» человеческим законам и по обычным понятиям о порядочности я не должен Вам писать и снова врываться в Вашу жизнь. Я это знаю, но все же пишу. Потому что не могу иначе. Писать я перестану только в том случае,

если Вы мне не ответите или если Вы мне запретите писать.

Прежде всего о том, что очень мучило все последнее время,— о разговоре в июле в Лаврушинском с В. В. Не знаю, стоит ли Вам говорить (может быть, Вы об этом догадались сами), что не все в нем было правдой. И так как неправда этого разговора била по мне, то мне было бы очень больно, если бы Вы после этого начали думать обо мне хуже, чем раньше и чем есть на самом деле. (Хотя не знаю — можно ли думать хуже.)

24 сентября я узнал о Вашем отъезде (совершенно безумном) в Кизляр. Сразу как будто оборвалось сердце. Я не могу привыкнуть к мысли, что Вас нет в Москве. Я не могу понять — зачем это? Мне все время страшно за Вас и очень тревожно,— хотите ли Вы этого или не хотите. Не посылайте меня к черту за это.

Я вспомнил все, что слышал о Кизляре,— это диковатое место, там *малярия,* ветры, степь, Терек. Как Вы доехали (почему через Астрахань?), как устроились, какие люди Вас окружают? Мне хочется знать все.

Если Вам станет невмоготу — напишите в Москву (Симе, мне, Шкловскому — все равно). Мы здесь сообща что-нибудь придумаем и сделаем, чтобы вернуть Вас в Москву. Я не могу представить Вас там одну, за тысячами километров в никому не ведомом городке.

Если в этом есть доля моей вины (а она есть), то я не заслуживаю ничего, кроме отвращения. Но что бы ни случилось и как бы глупо я ни поступал в этой жизни, я знаю перед богом и людьми (как говорили в старину — и хорошо говорили), что Вас я любил настоящей огромной любовью.

24 сентября вечером я уехал в Солотчу. Я не хотел оставаться в Москве. Мне хотелось одиночества глухого, полного — и я получил его свыше всякой меры. Я живу один в пустом, заброшенном доме. Печальнее и горше этой осени, кажется, не было в мире. Бесконечные, холодные ночи. Такой ночью я и пишу вам (я долго собирался писать и все не решался. Так же, как не решался прийти к Вам в Москве, я не знал, хотите ли Вы этого). Что-то жжет и жжет в груди и не проходит. И все ночи почему-то не выходят из памяти стихи Сологуба: «В поле не видно ни зги. Кто-то зовет: «Помоги!» Что я могу? Сам я и беден и мал, сам я смертельно устал — как помогу?»

Я хочу представить себе, что Вы делаете, где Вы, что говорите.

Но не стоит об этом.

Перед Вашим отъездом я встретил Вас на эскалаторе (на Новокузнецкой). Вы спускались, я подымался. Я спустился вслед за Вами, но на платформе Вас уже не было. Я потратил минуту на то, чтобы взять билет. Глупо!

Кажется, я пишу не то. Если Вам трудно и одиноко, то, может быть, хоть немного станет легче от мысли, что есть еще друзья, что Вас любят и думают о Вас, что живо еще непонятное, но доброе человеческое сердце.

К 20-му октября я вернусь в Москву. А будущее покажет. В Москве я узнаю о Вас.

Поцелуйте Галку. Как она? Мне кажется, что Вы мне ответите (на 9-е) хотя бы несколько слов. О судьбе писем не беспокойтесь,— будьте спокойны, Таня. Москва вернется.

Ваш *К. Паустовский.*

Может быть, все, что я пишу, глупо и не нужно — если Вам хорошо. Тогда простите.

Сад за окнами уже опадает дождем, но остались еще какие-то маленькие трогательные цветы. Вот один из них. И осенние листья. Это совсем не сантименты. Там же у Вас нет нашей осени.

Мне страшно хочется, чтобы Вы были по-настоящему счастливы. Я не мог дать Вам счастья — я только усилил горечь и разочарование. Но я буду бесконечно рад и спокоен, если Вам будет хорошо.

К. Паустовский.

Был до Солотчи в Ленинграде, ездил в Финляндию, познакомился с удивительным человеком — Ахматовой.

Пишу — с трудом — вторую часть автобиографической повести.

Видите, я никак не могу окончить это письмо. Мне все кажется, что я не написал самого главного. Я хочу простоты, светлости, сердечности. Я хочу, Таня, чтобы Вы простили меня и чтобы остались у нас те настоящие человеческие отношения, которые так редки и так нужны сейчас. Я хочу, чтобы те, кто этого не понимает, поняли бы наконец, что я к Вам отношусь совсем по-особенному — с неизъяснимой нежностью — и ни у кого ничего не отнимаю.

Когда я увижу Вас? И увижу ли? В наше время нельзя разлучаться.

Если все, что я пишу, уже «устарело» для Вас и Вас раздражает — напишите мне. Я замолчу. И больше вообще таких писем я писать не буду. Довольно.

Кончаю. Сейчас два часа ночи. Тьма, ветер. Я выходил в сад, там глухо, страшно, только огромные звезды в черном небе и шумит под ногами палая листва. И нет Вас. Вы не понимаете, как это больно и как это страшно. Вы ничего не понимаете, как важно, как нужно для меня именно сейчас услышать хоть одно Ваше слово, хотя бы издали Ваш голос.

Будьте счастливы, спокойны, не грустите.

Ваш «кошмарный товарищ».

К. Паустовский.

Н. Н. НИКИТИНУ

10 октября 1945 г. Солотча

Ник, дорогой, я живу здесь, как Меньшиков в Березове. Хлебнул свыше меры осеннего русского ненастья, одиночества и темноты. И пока я здесь пропадаю, забытый всеми, Вы, ленинградцы, ведете блестящий и рассеянный образ жизни, жжете без лимита электричество (а не керосин), окружаете себя цветами и книгами, ходите по разным там театрам и филармониям. Но вы не знаете октябрьских ночей, и звезд, и ветров, и запаха ночных озер, и всей этой осенней прекрасной окаянности. Довольно, 13-го уезжаю в Москву! Поймал чудовищное количество рыбы, написал четыре главы из второй части автобиографической повести. Питаюсь акридами и диким медом, сплю по 11 часов в сутки. Был ли у тебя Серый? Прости за глупое письмо, но пишу при коптилке, и за стеной охает столетняя старуха хозяйка, сообразившая наконец, что жизнь она прожила зря.

Обнимаю Рэнэ и тебя. Не забывай. Из Москвы напишу обстоятельное письмо. Твой *Коста.*

Т. А. ЕВТЕЕВОЙ

15 октября 1945 г. Солотча Ряз.

Таня, получил Вашу телеграмму из Кизляра. Я не ждал ее и потому обрадовался, как мальчишка. В общем, я отнесся к ней так, как моя солотчинская хозяйка — старушка Пожалостина относится к деньгам, которые ей присылает по почте дочь из Ленинграда. Она прячет их и боится потратить, так как ей кажется, что это те самые милые и дорогие ей деньги, которые дочь держала в своих руках, и от них даже пахнет ее духами. Старушка забывает, что это совсем не так и что деньги ей принес сопливый мальчишка-почтарь. Так и я читал и перечитывал Вашу телеграмму.

Послал Вам письмо и открытку. Послезавтра уезжаю в Москву раньше, чем думал, т. к. начались морозы и со дня на день могут развести рязанский плашкот,— тогда я могу застрять здесь надолго. Но, пожалуй, я тороплюсь не столько из-за этого знаменитого плашкота, сколько из-за некоторых сведений, заключавшихся в Вашей телеграмме.

Здесь выпал глубокий снег, морозы, ветер. Пустой дом гудит по ночам, как разбитый корабль (дом собственность Р. И. Фраермана. Он был здесь несколько дней, и мы до одурения зачитывались стихами и ловили рыбу). Но, в общем, я хлебнул одиночества, темноты и холода. Как в песенке Луговского «Если мы не сдохнем от холода и голода, мы еще увидимся, милая моя». Писал здесь, читал, бродил по лесам, думал о всяких странностях и жизни. В лесах еще много золота, и доцветают белые сухие гвоздики — очень пахучие.

Третьего дня послал Вам вторую телеграмму. (Почта здесь на отлете, в избе, у стены старого монастыря в сосновом лесу.) Потом я ушел в луга за старое русло Оки, на так называемый «Остров». (Ради бога, не бросайте в этом месте читать письмо,— дальше будет интересно.) Остров огромный, он со всех сторон окружен водой,— Окой и ее старым руслом. Было солнце, синий день, в тени лежал иней. И так как я все время думал об одной милой женщине, которая теперь так далеко, я пробродил до сумерек. К вечеру я подошел к старому руслу и увидел, что моста нет, он затоплен и над ним на метр стремительно идет вода. Потом только я узнал, что на Оке в связи с концом навигации открыли все шлюзы и начался обычный

здесь поздней осенью второй разлив Оки. Вода прибывала на глазах, я был один на острове, до Солотчи было далеко. Стемнело, нагнало тучи, сорвался ветер, и пошел густой снег. И не было вблизи ни одного стога. И холод был собачий. И я понимал, что влип в очень скверную историю. И я все время думал о Вас. К счастью, у меня были спички, я с трудом развел костер, его издали вечером заметили с того берега, и за мной приехал на челне в темноте и буре рыжий мужичок Люхин. Он сказал мне: «Это козырный случай, что я тебя заметил, а то к утру обязательно весь остров затопит».

Утром я посмотрел из окон мезонина — на месте острова ходила валами серая окская вода, и мне задним числом стало страшно. Как же тут не задуматься о странностях жизни.

Ночью я часто просыпался и смотрел за окно,— ветер стих, и в необыкновенной тишине падал густой, совершенно театральный снег, и весь сад был как в подвенечном уборе. А утром приходил «за табачком» бывший псаломщик Иван Артемьич (он все время у себя в избе поет: «Благословен еси господи, научи мя оправданием твоим») и сказал: «Это не снег. Это, можно сказать, облетает небесный сад».

Я не знаю, чем это объяснить, но мне бывает физически больно от мысли, что все, окружающее меня, так далеко от Вас, что Вы его никогда не увидите и потому все это — напрасная красота. От нее только щемит на сердце.

Вот и сейчас в саду на чистом глубоком снегу стоят золотые и красные кусты и деревья и на снег падают дождем желтые листья.

Я пишу и спохватываюсь,— может быть, все это для Вас сейчас неинтересно. Вам трудно, должно быть, Таня?

Как в Кизляре? Есть ли люди? Что за театр? Что Вы делаете? Где живете? Почему-то Кизляр всегда казался мне плоским и угрюмым городком в терских степях. Может быть, это совсем и не так. Как писать Вам, я не знаю (здесь негде узнать), какая это область или край.

Из Москвы напишу спокойнее,— после того как получу Ваше письмо. Я ведь не знал, что Вы думаете сейчас.

В Москве увижу Симу и Розу и выпытаю у них (незаметно) все. Увижу Алешу. Я очень рвусь в Москву.

Пишу вторую часть автобиографической повести («Классическая гимназия»). «Чегой-то такое получается»,— как говорит Зощенко. Первая часть должна скоро

появиться в «Новом мире». Я Вам пришлю. Она Ваша по праву (как и все остальное).

Прощайте, Таня. Я боюсь написать большее. Поцелуйте Галку.

Ваш *К. Паустовский.*

Нет конверта, а я не умею делать «треугольники» — возился, возился, и ничего не вышло.

Н. Н. НИКИТИНУ

30 октября 1945 г.

Ник, милый, дорогой, только что получили твое письмо и очень огорчились. Огорчились тем, что ты огорчен. Ты же знаешь, что мы тебя очень-очень любим, а не писали по «лености ума» и по разным дурацким причинам. Я прозябал (буквально) в Солотче, Валя что-то совсем никому не пишет (раньше она могла написать за вечер не меньше десятка писем). Что касается Серого, то у них, юношей, какие-то свои философски-байронические настроения. Серый, оказывается, болел и скрывал это и от нас и от вас. Когда придет, то внушу ему, что он обязан слушаться старших и применять их жизненный опыт к своему юному существованию...

Мне очень хочется посидеть в сумрачной и уютной столовой на Моховой и потрепаться обо всем — от мелочей до важного за рюмкой водки с закуской из лимитного магазина. Я соскучился.

В Москве — тихо и одиноко и никого нет, Костя с Дорой в Адлере. По слухам (от Самойловых), Костя начал писать вторую часть романа,— не утерпел, а Дора, впервые попавшая на Кавказ, ахает. Вернутся после праздников.

Кроме того, в Москве сыро, тепло и как-то странно, какой-то полусон. Я пишу, пишу, пишу вторую часть автобиографической повести («Классическая гимназия»). Чтой-то такое выходит из-под пера. Ничего не пишу, кроме повести, от всего отбиваюсь.

В Солотче я был свидетелем необыкновенных атмосферных явлений, о которых было даже напечатано в «Правде» (орган ЦК ВКП(б). 7 октября перед вечером прошла чудовищная гроза. Несколько ярусов разноцветных и зловещих туч, молнии, гром и *багровые* радуги (ничего более мрачного и космического я не видел в жизни).

Потом — ураган, град, ливень, Ока вышла из берегов. После ливня ночью — 25 градусов жары, а на рассвете выпал глубокий снег. Понятно, что колхозники-лангобарды, почухиваясь, начали передавать из уст в уста, что это «работает атомная бомба». Они хорошо знают о ней, хотя и не читают «Британского союзника».

В Солотче было одиноко, я писал, читал «Тристана и Изольду», журнал «Современник» (времен Некрасова), ловил рыбу, по ночам мне не давал спать хорек,— ему очень нравилось играть с банкой от свиной тушенки. В холодные и ветреные дни ходил в леса, там всегда было тепло и тихо и доцветали последние трогательные цветы — белая гвоздика и золототысячник. Такие сантиментальные прогулки очень освежают, и все становится ясным, прозрачным и простым.

Ты, урбанист! Ты потерял представление о прелести керосиновой лампы, осенних ночей в заглохшем деревенском саду, березовых дров, теплых русских печей и такой тишины, что слышно, как кричат за Окой в Окоемове петухи (за 4 километра).

Я тороплюсь, сейчас уезжает Сережин товарищ, который увезет это письмо.

Когда выйдут «Рассказы разных лет»? Я жду.

Что ты пишешь? Что делает Рэнэ? Читаю сейчас верстку «Далеких годов» в «Новом мире» и злюсь,— свыше приказано снять описание пасхи, потому что оно «идиллическое».

Ты что-нибудь вообще понимаешь? Я — нет.

Очень хочется увидеться, очень. Валя целует вас обоих — шумно и крепко. И я тоже. И Лизавета Софроновна низко кланяется. Пиши, жду.

Твой *Коста.*

А что касается Вашего «Грошика», то, очевидно, грош ему цена перед Листиком. Хилый ленинградский кот, окончательно испорченный неправильным воспитанием. Так я позволяю себе думать.

Н. Н. НИКИТИНУ

15 ноября 1945 г.

Дорогой Ник Никльби, спасибо за «Березовую рощу», но известно ли тебе, что пиндос Куинджи был родом из Мариуполя, что он до самого преклонного возраста гонял

голубей и что художник он, между нами говоря, дерьмовый. «Березовая роща» Левитана лучше. Я это тебе как-нибудь докажу.

Я рад, что ты прилежно трудишься, в то время как остальные братья писатели ведут себя совершенно индифферентно по отношению к литературе, а некоторые (Маршак и К⁰) даже занимаются гонениями на талантливых людей. В Москве — все то же. Приехал Костя с полной и загорелой Дорой, привезли груши-бэра и яблоки. Мы были у них. Сидели до трех часов ночи. Я подарил Косте старую открытку с видом Саратова. На обороте открытки напечатано: «Издание А. Е. Федина» — т. е. Александра Евграфовича Федина, отца известного беллетриста. Костя был растроган. Он пишет новый роман (19-й год). Скоро приедет рожать Нина. Почти никого не вижу, т. к. работаю по 8—10 часов в сутки запоем и в процессе этой работы мне удалось открыть интересный закон, что чем больше работаешь над настоящей вещью, тем меньше сантимов. Денег нигде не платят, и если бы не Лиза, то не знаю, что бы с нами было.

Третьего дня были на генеральной репетиции балета «Золушка» (музыка Прокофьева, либретто Волкова, декорации Вильямса). Очень пышно. Богато. Музыку заглушают фонтаны воды, бьющие на сцене. Танцуют только лауреаты. Танцуют так себе... Пусть Рэнэ не радуется — никаких новых горизонтов этот балет не открывает. В публике — надменный сноб В., посылающий знакомым воздушные поцелуи, престарелые примадонны, люди из ВТО. В общем, сказка!

20/XI. Вот такая наша жизнь — начал письмо 16-го, а кончаю сегодня.

Получил только что твою открытку. Спасибо. Журналы еще не пришли. Как только прочту, тотчас пришлю «отзыв».

Кстати, секция рассказа постановила посвятить один вечер рассказу в журнале «Ленинград» (с докладчиком и всем прочим) и пригласить на это обсуждение представителя журнала (предполагается, конечно, Н. Н. Никитин) «за счет Союза писателей». Очевидно, это будет в январе,— я напишу.

За эти дни произошли новые события.

Сегодня утром Федин улетел в Нюрнберг на процесс фашистов от «Известий». Улетели еще Иванов, Леонов,

Вишневский и Кирсанов. Вернутся через месяц. Я не завидую. Через неделю прилетит из Таганрога Нина, прилетит, потому что сесть в поезд немыслимо. Она уже «на сносях», 24-го я еду на два дня в Ясную Поляну с делегацией Союза писателей. Я рад потому, что еще там не был.

Мы все, не только обитатели квартиры № 17, почти нигде по вечерам не бываем не в пределах нашего дома. Это не «тщетная предосторожность».

Синодик ежедневно растет — Тренев (сын), Финк, Сельвинский, Черный,— эти отделались, как говорят в таких случаях, испугом и ушибами. Бывает хуже...

Я кончаю вторую часть автоповести («Классической гимназии»). Осталось уже немного. «Новый мир» с первой частью задерживается. Жду «Рассказы разных лет».

Валя шурует, бегает днем по городу, задает в течение дня около тысячи вопросов, на которые трудно ответить, и балует Листика. Смешно, конечно, сравнивать Грошика с Листиком, который умеет закрывать водопроводные краны, а лампы — так это может зажигать каждый кот-дурак.

Серый часто звонит,— у него академическая горячка. Камешки для зажигалки я тебе достану. Валя пошла их искать.

На днях ловил рыбу с Дудиным на Москва-реке против Киевского вокзала. Подо льдом, в маленьких лунках, не больше блюдечка. Как в комнате, в стакане воды. Берут жадно подлещики, окунь, плотва. Рядом ловила актриса Малиновская — бывшая всероссийская красавица — в валенках, тулупе и ватных штанах. Очень мило беседовали.

Темы литературные, философские и лирические оставлю до следующего письма — пришел сейчас какой-то начинающий с рваными рукописями.

Тоска! Кончаю, иначе опять не отправлю это письмо.

Как Рэнэ? Надо бы поспорить, конечно, о Шостаковиче и вообще поспорить. Часто вспоминаю круглый стол в темной столовой (я настаиваю, что она темная), цветы, кофе, болтовню — соскучился. В ленинградской жизни есть какая-то хорошая камерность, которой нет в Москве.

Валя целует обоих. Я тоже.

Пиши не так скудно.

Коста.

С. М. НАВАШИНУ

9 декабря 1945 г. Москва

Мы живем тихо-тихо и даже, может быть, скучно из-за моей работы. Написал уже 18 глав, осталось глав 5—6. Виден конец. И очень не хочется отрываться для какой-нибудь другой работы. Но сейчас, к счастью, я получил деньги из «Нового мира» за первую часть, и этого хватит, чтобы окончить повесть. «Новый мир» (десятый номер) еще не вышел, очень досадно, что не удалось послать его тебе с Зоей.

Всю повесть (первую и вторую часть) предлагает издать «Молодая гвардия». Что получается, трудно сказать,— то мне нравится, то кажется, что много лишнего. Во всяком случае, материал интересный. Лишь бы его не кромсали. Во второй части гимназические главы перебиваются главами о пятом годе, художнике Врубеле, лете в Ревнах, брянских артиллеристах, первой поездке в Крым, моем репетиторстве. Все это надо будет еще привести в порядок (как говорят, композиционный) <...>

О Федине ты знаешь. До сих пор толком ничего не известно. Дора нервничает. Звэра устроила Нину «на роды» к Грауэрману. В общем, волнений много.

Пиши чаще, несмотря на телефонные разговоры. Звэра собирает тебе посылку, и скоро мы повезем ее на вокзал.

Целую тебя очень. Твой *Па.*

Узнай у Ника, пойдут ли в «Ленинград» «Брянские леса». В Москве — полная зима, снег, морозы, у пас, в общем, тепло.

Н. Н. НИКИТИНУ

9 декабря 1945 г.

Ник, дорогой, спасибо тебе за «Рассказы разных лет». Снова я перечитал их и радовался их густоте, и ясности, и тому особому, что есть во всех твоих рассказах и что я никак не могу определить. В каждой настоящей вещи есть нечто от колдовства, так,— ты колдун, прикидывающийся экспедитором. Чудесный рассказ о Дюма. Почему мы не жили в то время? Великолепно через Дюма дана эпоха.

«Ленинград», конечно, забил все тонкие журналы, и даже «Огонек», превращающийся из нищего в креза, не может тягаться с «Ленинградом». О «Ленинграде» напишу потом подробнее.

Не писал потому, что дни у нас были тревожные. Костя улетел в Нюренберг, но в Берлине на аэродроме его помяла грузовая машина (налетела на него, когда он садился в легковую). У Кости разрыв сосудов на левой ноге,— до сих пор он лежит в гостинице на окраине Берлина. Связи нет никакой, приходится питаться слухами. Приехал Трегуб, который видел Костю,— говорит, что Костя уже оправился и даже собирается на днях в Нюренберг. Но, возможно, что он вернется в Москву. В общем, никто толком ничего не знает. Дора мечется, а тут еще Нина должна родить. Роды ей «устраивает» Валя.

Литературных новостей, слава богу, нет никаких, если не считать поездки в Ясную Поляну. Там было чудесно — тихо, и пусто, и умиротворенно, и Толстые накормили нас невероятным обедом, как в старые помещичьи времена. Много бродили по парку и окрестным лесам со Шкловским и Лидиным. Падал снег, свистели снегири, около могилы мы постояли на коленях, помолчали. На обратном пути попали, конечно, в крушение, но все обошлось,— только сильно стукнуло Веру Инбер (кажется, трещина ребра). Я ехал в одном купе с Лидиным — всю ночь он не давал мне спать и рассказывал анекдоты. Очень разговорчивый писатель! Но славный.

Пишу вторую часть повести («Классическая гимназия»). Уже написал 18 глав, осталось немного. Пишу и трясусь, потому что с каждым днем этой работы тают возможности для ее окончания,— сантимы редеют. Все целиком издавать буду, должно быть, в «Молодой гвардии».

Мы живем тихо,— все из-за моей работы. Даже Листик от этого похудел, потому что он считает своей обязанностью сидеть на письменном столе и следить, чтобы я работал, а не лодырничал. Высиживает, вытаращив глаза на ручку, по 5—6 часов. Конечно, это кот — черт, преданный литературе. Не то что другие коты, которые только и думают, чтобы что-нибудь своровать или нашкодить.

Зою Александровну почти не видел, она вращается в приемных парткомов, занята, и, судя по ее деятельности в Москве, вы, ленинградцы, скоро будете утопать во всяческих благах.

Посылаю тебе камешки для зажигалки в изящной упаковке.

Что делает Рэнэ? Из-за того, что Рэнэ никогда не пишет, существование ее кажется загадочным.

Валя целует вас обоих. Я — тоже. Пиши чаще. Привет знакомым.

Обнимаю тебя. Твой *Коста.*

Т. А. ЕВТЕЕВОЙ

13 декабря 1945 г. Москва

Я ждал Вашего письма, Таня, но его все нет и нет.

Сейчас я сижу в Ленинской библиотеке, читаю биографию Эдгара По (мне надо написать о нем несколько страниц), из библиотеки еще зайду на почту,— может быть, там уже лежит письмо. Но почему-то мне кажется, что его не будет.

Я признаюсь Вам,— я очень измучился за последние дни, много раз порывался писать Вам, но все откладывал и откладывал. Я тянусь к Вам всем существом, и, может быть, в этом гораздо больше детского и желания привязанности, чем взрослого мужского отношения.

И вместе с тем я знаю — с Вами я должен быть честным до конца, что я не смогу переменить свою жизнь и уйти к Вам. Нельзя мучить Вас и обманывать самого себя. У меня не хватит сил, мужества, я никогда не избавлюсь от сомнений (а их много — и мой возраст, и то, что я до сих пор не знаю, что у Вас на душе и еще многое другое). Я боюсь жизни, и я очень плохая опора для других. И, конечно, никакой не муж — по многим причинам. На эти мои слова Вы не сердитесь,— я вспомнил и помню Ваши слова (в письмах) о муже и опоре. На таких людей, как я — с поврежденной волей,— нельзя надеяться и нельзя, очевидно, принимать их в расчет в реальной жизни. И вот получается так, что среди множества недостатков у меня есть одно достоинство — возможность писать и хотя бы этим путем передать окружающим все то подлинно хорошее, что есть у меня за душой. К сожалению — только в этом, громко говоря, в писательстве я — настоящий. И это, пожалуй, единственное, что мне осталось сейчас. Почти все время я чувствую себя совсем чужим и очень часто беспомощным в этой тугой и недружелюбной жизни. Вот как все «слагается», Таня, родная моя. Не сердитесь за то, что всюду понаставлено в этом письме «я», «я», «я»,— так уж пришлось.

Не ждите меня сейчас, к новому году мне приехать не удастся — все сейчас против меня — и сантимы и работа. Я должен окончить книгу (осталось работы на месяц-полтора), иначе я ее никогда не окончу и буду волноваться так (как это, может быть, не глупо), что не смогу написать ни строчки. Я приеду — и обязательно — к весне, если к тому времени Вы еще захотите меня видеть. Приеду к своему милому и верному другу.

Мне очень горько, очень, но об этом не стоит говорить. И как на донышке каждого дня есть немного золота, так и на донышке души есть немного, совсем немного надежды, что Вы поймете меня, и простите, и никогда не оттолкнете меня (как человека, конечно). А я всегда буду предан Вам душой.

Напишите мне. Я буду ждать. Как Вы живете в Гродно? Правда ли, что это славный город?

Был на днях у Шкловских — меня затащил Виктор.

Много пишу, почти глушу себя работой. В Москве — чудесная, мягкая, очень уютная зима. Вторые сутки падает снег. Федин лежит уже третью неделю в госпитале в Берлине,— его помяла машина.

«Новый мир» до сих пор не вышел. Пришлю сейчас же.

Как Галка? Как рыжий грузин? Что Вы делаете, где Вы, что сейчас с Вами?

Ваш *К. Паустовский.*

Все кажется, что я что-то забыл написать главное,— д. б., от нервности. Пишите пока на 9-ое.

К. А. ФЕДИНУ

25 декабря 1945 г. Москва

Костя милый, прежде всего поздравляю тебя с тем, что ты уже дед, но без всяких вытекающих из этого звания ограничительных последствий. Вчера днем в 4 часа Нина наконец родила, после трех суток некоторого замешательства, совершенно крошечную девочку, синеглазую и курносую. Ты, конечно, можешь себе легко представить ту суету, волнение и «ирритацию» (как говорит Валя), которые охватили женскую часть населения в Лаврушинском переулке. Телефоны звонили днем и ночью, заведовала связью Цыля,— только я не мог принимать во всем этом

участия, так как лежал в жестоком «гриппу». Переговоры по кругу — Дора — Муся — Валечка — Цыля — Нина Самойловна — происходили почти непрерывно. Изредка в эти переговоры включались второстепенные персонажи, вроде Лизаветы Софроновны и Марии Николаевны. Нина все перенесла молодцом. Через минуту после родов она уже хохотала так, что было слышно в вестибюле родильного дома.

Ты всех очень напугал этим случаем в Берлине. Очень долго ничего толком нельзя было понять, ходили всякие, самые тревожные слухи. И до сих пор еще неясно — как с тобой, совсем ли прошла нога? Приезжай лучше в Москву. Возможности увидеть невеселую Европу всегда будут. Как давно мы не виделись, и как, должно быть, сейчас ты живешь совсем в другом «плане», чем мы.

1/I—46 г. Вот такая наша жизнь — за два дня не мог окончить письма. Вчера вместе с Дорой очень тихо и очень скромно встретили новый год. Поздравляю тебя. Пили за тебя, за «Первые радости» и за новый роман. Я прочел «Первые радости» целиком. Это — классично по ясности, чистоте, это — печально по великолепному ощущению недалекого прошлого, юности нашего поколения, и это все же великое колдовство — твое писательство, твое искусство,— когда возвращено и остановлено время и люди из книги живут и заставляют нас страдать и радоваться так сильно и освежающе, как мы, пожалуй, никогда не радуемся и не страдаем в подлинной жизни. Ты — колдун, конечно! За это я хочу, чтобы в Нюренберге ты застал такую же зиму, как та, что в «Санатории Арктур» — «очень зимнюю (как говорят дети) зиму» — мягкую, снежную и чуть пахнущую морем — уютную зиму старой Европы.

Ты знаешь, что тебе нельзя много ходить? И что надо беречься? И что тебя очень ждут в Москве? И что весь Саратов взъерошен твоим романом, как будто в Саратов неожиданно пришел праздник? И что мы все, прозябающие в Москве, тебя очень любим?

Обнимаю тебя. Валерия Владимировна тоже. Ждем.

Твой *Коста.*

Каковы братья писатели! Как гадала старая цыганка: «Есть у тебя друг — блондин. Так он не блондин, а сволочь».

Кончаю вторую часть повести — «Классическую гимназию»,— дотягиваю последние главы.

С. М. НАВАШИНУ

29 декабря 1945 г.

Серяк, дорогой, не писал тебе опять целую вечность. Последние четыре дня пролежал в «гриппу», сегодня уже встал — и пишу тебе письмо...

Между прочим, Леон оказался очень шустрым старичком,— в первом номере нового журнала «Театр» он уже успел напечатать свою статью о советском театре (!). Разносторонний академик. Мне это очень нравится,— значит, живой человек <...>

Вообще же жизнь проходит в трудах и хлопотах. Все сложно, и нет дня, чтобы не приходилось возиться с какой-нибудь ерундой,— то нет газа, то воды, то тепла и т. д. и т. под.

Посылаю тебе «Новый мир» с «Далекими годами». Все-таки повесть немного испортили,— выбросили всю пасху и выбросили еще три-четыре фразы (конечно, хороших). Со стороны это, может быть, и незаметно, но я-то вижу и огорчаюсь, хотя и не очень, все-таки хорошо, что ее удалось напечатать. Журнал еще не вышел (целиком), но отдельные номера уже просочились, и мне уже звонят разные люди и поздравляют. Звонил, между прочим, Шолохов, но я лежал, Зворы не было, и разговаривала с ним Лиза.

От второй части я оторвался ненадолго, чтобы избавиться от всяких мелких и надоедливых литературных долгов (от одноактной пьесы, рассказа для «Комсомолки» и биографии Эдгара По). Сейчас я чист и снова сажусь за вторую часть. Думаю, что в январе ее окончу,— она будет втрое больше первой и ее, должно быть, придется разбить на две части. Очень много материала, и если бы можно, то я писал бы и писал эту часть без конца. На днях будут передавать по радио главу (из второй части) «Первая заповедь». Я тебе скажу потом точнее — когда. В начале января должна выйти книжка в библиотеке «Огонька». Очень хочется писать, и Зворунья очень старается, бедная, чтобы мне помочь, но больше всего мешает всеобщая хмурость и бесперспективность (какое неуклюжее слово).

Что делает Ник? Пусть пришлет мне журнал с «Брянскими лесами».

Целую тебя очень. Не сердись за бессвязное письмо,— слабость от гриппа еще не прошла, быстро устаю.

Твой *Па.*

Н. Н. НИКИТИНУ

18 января 1946 г. Москва

Милостивый государь, как явствует из приложенной газетной вырезки, каковая вырезка является совершенно бесспорным документом **кандидат педагогических наук Н. И. Никитин.** Вы всего-навсего кандидат педагогических наук по кафедре чистописания и только выдаете себя за известного писателя, равно как и жена Ваша **Никитина Р. А. врач. Филипп п. 12** — зубной врач с Филипповского переулка в Москве, а вовсе не лицо свободных профессий и не критик в области хореографии. Кроме того, Вы нахально пользуетесь второй квартирой в Москве **Никитин Н. Н. ул. Горького 65/10** для того, чтобы иметь возможность вести развратный образ жизни.

Итак, Вы разоблачены и выведены на чистую воду. Материалы эти будут посланы в Ленинградский союз писателей на предмет удаления Вас из этой организации. Как говорится, «шило в мешке не утаишь» и «бог правду видит».

Нечего сказать,— хорошенькая семейка.

После этих разоблачений приступаю к письму. Так долго не писал тебе, Ник, дорогой, что даже растерялся — не знаю с чего начать. Почему ты ничего не пишешь? По слухам, ты обременен общественной работой. Что пишешь? Я ничего не знаю. Повесть, роман, рассказы? А что делает Рэнэ? Решает ли кроссворды в новом «Огоньке»? Очень плохо ничего не знать о вас *.

Камешки, которые Валя купила для тебя, оказались невероятной дрянью,— они чадят и не высекают огня. Валя сконфужена. Не сердись!

О тебе я знаю только кое-что от Серого, который звонит по ночам через день. И из заметок в «Литературной газете» о твоих выступлениях.

23/I

Вот такая жизнь,— начал письмо 18-го и только сейчас могу его окончить.

Чтобы исчерпать материал, придется писать по разделам.

Раздел «Литература и искусство».

Получил «Ленинград» с «Брянскими лесами». Спаси-

* Извини за помарку. Написал чепуху, но переписать начисто письмо нельзя из-за наклеек.

бо, Ник. Тебе, очевидно, надоела роль экспедитора, и ты перестал присылать журнал. Нельзя ли, кстати, на него подписаться (за собственные кровные копейки).

Вышел «Новый мир» с «Далекими годами». На днях заканчиваю вторую часть повести («Классическая гимназия»).

Шкловский начал писать хорошие рассказы о подмосковных дачах.

Поэт Бобров (Сергей) написал, говорят, чудесную книгу о своем детстве.

Вот бы вы, издатели, взяли отрывки в «Ленинград».

Начал выходить журнал «Вокруг света». Тариф — 3000 ру за рассказ. Нет ли у тебя чего-нибудь географического — о Финляндии<...> Тогда пришли.

А вообще — тихо, если не считать, что писателям роздали медали за доблестный труд. В числе прочих получила и Ковальчик и Берта Брайнина.

Литературные новости — скудные, т. к. я из-за повести неделями не выхожу из дома.

Да, Ник, к Вам в «Ленинград» сдал свои рассказы некий *Дмитриев* Георгий Иванович — человек тихий, талантливый и очень культурный. Если рассказы его тебе понравятся, то возьми их под свое покровительство.

Последнее событие — это выставка в Третьяковской галерее. Есть чудесные вещи (пейзажи С. Герасимова, натюрморты Яковлева), очень хорош ленинградец Захаров и чудесный Чарушин (зайцы пьют чай). Но Серов (Александр Невский) — это плохой Суриков. Огромные толпы перед «Тегеранской конференцией». Пойду завтра еще раз, т. к. на вернисаже из-за спин ничего не было видно. Женщины блистали экзотическими туалетами, вуалями, лисами, Храпченко говорил речь, играл оркестр, и все как надо<...>

Целую Рэнэ и тебя. Пиши, не ленись.

Старайся!

Твой *Коста.*

Л. И. БОРИСОВУ

23 марта 1946 г. Москва

Дорогой Леонид Ильич,— простите, что так долго не писал Вам о «Волшебнике из Гель-Гью». Болел и, кроме того, сдавал в печать свою новую повесть. Поэтому откладывал чтение до более спокойного времени.

Большое спасибо за Вашу книгу — прекрасную книгу, полную блеска, мудрости и того особого обаяния, которое не расскажешь никакими словами.

Спасибо за Грина. Как каждое подлинное произведение искусства, Ваша книга вызывает чувство непокоя, множество мыслей и желание самому пережить все, что происходит в ней. В настоящих вещах всегда есть доля волшебности. И это тем более хорошо, что все в книге реально, но стоит сместить события на один волосок — и начинается сказка.

Это — плотная, очень взвешенная, пластичная проза. Все хорошо в книге. Есть много мест просто великолепных (старая липа и другие).

Поздравляю Вас с замечательной книгой. Уверен в ее большом успехе среди тех, «кто понимает дело».

Недавно возвратилась из Германии (с острова Рюгена) жена Грина Нина Николаевна. Она была угнана немцами при их отступлении из Крыма. Нина Николаевна живет сейчас на старом месте, в гриновском домике (Старый Крым, ул. Либкнехта, 47).

Еще раз — спасибо за книгу. Если будете в Москве, то обязательно приходите (тел. В.1.60.04).

Всего, всего хорошего.

Ваш *К. Паустовский.*

Л. И. БОРИСОВУ

8 апреля 1946 г.

Дорогой Леонид Ильич,— как при жизни, так и после смерти Грина окружают легенды.

Одна из этих легенд (сочиненная одним из сотрудников «Литературной газеты») — это моя переписка с Грином. Я с Грином не переписывался, ибо лично его не знал и только мельком видел его один раз в издательстве в Москве в год его смерти. Писем у меня нет никаких. Есть только разрозненные рукописные листы «Недотроги» (их мне дала на хранение Нина Николаевна). Но у Нины Николаевны материалы о «Бегущей» есть, и я уверен, что она их Вам с радостью пришлет.

С нетерпением жду «Спящей красавицы». Всего лучшего.

К. Паустовский.

Н. Н. НИКИТИНУ

13 апреля 1946 г. Москва

Ник, милый, что ж это ты расхворался!

Серый сегодня звонил, что ты начал понемногу поправляться. Проклятый сульфидин! На днях в Москве точно такая же история случилась из-за сульфидина с одной нашей знакомой девушкой.

Лежи тихо, поправляйся, ни о чем не тревожься,— все будет хорошо. И слушайся врачей. И думай о летнем отдыхе. Валюха, конечно, говорит, что она всегда подозрительно относилась к сульфидину. Жалеет тебя очень. Все о твоей болезни мы знали от Серого,— он звонил почти каждый день.

Пока на письма не отвечай,— тебе трудно. Будем узнавать от Серого,— Рэнэ все равно не напишет. Как она измучилась, бедная!

Очень хочется видеть вас,— может быть, это и удастся сделать в мае<...>

Приезжали ленинградские поэты. Анне Ахматовой устроили овацию (и Пастернаку тоже). Ее приветствовали стоя. Среди поэтов — смятение.

Здесь Миша Слонимский. До сих пор хвастается тем, как он здорово напился у тебя в день рождения. Жалуется на Ленинград («глухая провинция»).

Костя с утра до вечера бегает по заседаниям, составляет проект нового авторского права и сердится.

Нина меланхолична и занята переоценкой ценностей. Дора волнуется. Внучка прелестная,— очевидно, будет красавицей в мировом масштабе.

Я замотался. Сдал 2-ю часть повести («Классическая гимназия») в «Нов. мир» и издательства и жду своей участи.

Изнемогаю от рукописей начинающих авторов,— боже, какая мура!

Кстати, кроме издательства «Московский рабочий» (Чагин) открылось еще одно интересное издательство, Географическое. Будут издавать художественную литературу, хотя бы краем близкую к географии. Люди там сидят умные и приятные. Подумай потом об этом (Карельский перешеек, Средняя Азия). Они мечтают о создании нового жанра — очень свободного — географических и краеведческих книг<...>

Я жду лета. Может быть, удастся вместе половить

рыбу. Соколов-Микитов обещает, если приеду в Ленинград, показать нам обоим какие-то необыкновенные озера.

Режиссер Чижиков (из театра Комсомола) звонил, зовет на лето к себе на дачу под Выборг — там тоже какая-то фантастическая красота и рыбная ловля. Дача — огромная и пустая. Ну, посмотрим!

Я лечусь от астмы. В последнее время припадки у меня были каждую ночь. Помог гомеопат. Я начал дышать и спать по ночам.

Твой *Коста.*

Лизавета Софроновна низко кланяется Вам обоим.

Л. И. БОРИСОВУ

23 апреля 1946 г. Москва

Дорогой Леонид Ильич,— я буду очень рад видеть строки из «Черного моря» в качестве эпиграфа к главе из книги «В цветах и слезах» (хорошее название). Получил на днях письмо от В. П. Калицкой, она беспокоится о судьбе Нины Николаевны. Я писал Н. Н., но получил свое письмо обратно с надписью, что «адресат выбыл неизвестно куда». Есть кое-какие возможности узнать о ее судьбе, что я и сделал. Домик почти разрушен, рукописи — неизвестно где. Печально.

Отзывом Б. С. не огорчайтесь,— все это никому не нужное, неумное и злое сотрясение воздуха.

Пишите. Всего хорошего.

Ваш *К. Паустовский.*

К А ФЕДИНУ

27 июня 1946 г. ст. Графская, Воронежской обл.
Дом отдыха писателей Эртелево

Костя милый, пишу тебе из такой душистой, липовой и идиллической воронежской глуши, что там, в Москве, все это невозможно даже вообразить.

Огромный липовый парк (12 гектаров). Липы — высотой с наш дом на Лаврушинском — уже цветут. Сотни старых корявых яблонь. Заросли вишен, ореха, океаны трав, цветов и пшеницы. Воздух потрясающий. За пар-

ком — заповедпый лес. Он тянется до Тамбова. В лесу — единственный в России бобровый заповедник и живут олени (их — около трехсот). А по другую сторону парка — степи с ветряками и жаворонками.

В парке — пруд с карасями. Мы с Ниной упорно ловим их. Нина — чудеспый компаньон для рыбной ловли — выносливый, терпеливый и по-настоящему любящий природу. В заповедном лесу (в 3 километрах) древний монастырь, основанный Тихоном Задонским на реке Усмани. Река совершенно сказочная, цепь глубоких и чистых омутов и чащ. Завтра идем туда на весь день.

Очень отдыхаем. Мы все, очевидно, отвыкли от отдыха, и меня все еще мучит совесть, и кажется, что я должен что-то писать и что-то делать.

Дом маленький<...> Библиотека из старых журналов<...> Кормят преимущественно творогом.

Как ты? Как роман? Как Варюша? Как Дора и Нина? Напиши, если вырвешь время. Здесь почти нет газет, нет радио и от этого отдых еще лучше.

Эртель — средний писатель и малоплодовитый — все же ухитрился купить эту великолепную усадьбу. А мы? Чего мы можем, интересно знать?

Целую Вас всех, Валя тоже. Привезу тебе отсюда семян удивительных разных цветов — полевых.

Твой *Коста.*

К. А. ФЕДИНУ

7 июня 1947 г.

К. А. ФЕДИНУ, В СОБСТВЕННЫЙ ДОМ

Костя, милый, не успею заехать в Переделкино проститься. 7-го рано утром уезжаю в благословенную Солотчу. Хочется отдалиться от литературных дел хотя бы па 200 километров,— иначе я заболею от отвращения.

Спасибо тебе за проект с Переделкиным. Как-нибудь, может, еще поживем в тишине. Если поймаю много рыбы, то засушу и привезу Доре.

Не болей, поправляйся, пиши свой чудесный роман.

Привет Доре, поцелуй Вареньку.

Обнимаю. Твой *Коста.*

Поедем на машине со всем рыболовным имуществом, с пуделем и *резиновыми* лодками. Все хорошо, но барометр упорно идет к отметке «великий дождь».

Костя дорогой, сегодня в 2 часа ночи выезжаем в Солотчу на машине,— со всеми рыболовными снастями, резиновыми лодками и пуделем.

Очень хотел приехать в Переделкино попрощаться, но замотался невероятно. Появлюсь в Москве, очевидно, в конце июня. В Солотче с радостью буду «выдыхать» из себя чад московской «литературной» жизни. Все очертело.

Как снег? Не попортил деревья? Черт знает что творится в эфире. Поправляйся, отдыхай, пиши понемногу роман. Поцелуй Вареньку. Кланяюсь Доре. Привет Алянскому, когда он приедет (в субботу или воскресенье) к тебе.

Обнимаю тебя. *Коста.*

В. В. НАВАШИНОЙ

26 июня 1947 г. Солотча

<...>Получил телеграмму от Лавровского (из Большого театра) с просьбой немедленно приехать в Москву для переговоров с «руководством театра» об окончательном оформлении темы либретто (?) и для заключения договора. Ответил, что приехать сейчас не могу, что договор подпишешь ты, а что касается оформления темы, то, по-моему, речь может идти только о кой-каких переделках, а не об «окончательном оформлении темы», т. к. тема давно ими принята и одобрена. Очевидно, они крутят <...>

Я очень поправился, загорел, посвежел, каждый день с утра (прямо с постели) иду купаться (вода очень теплая, парная). Питаемся мы, сверх ожидания, очень хорошо, и денег ушло мало. Сахар у меня еще есть. Я ходил к секретарю райкома, и он распорядился отпускать нам ежедневно по кило хлеба по коммерческой цене. Едим рыбу, уху, щи из щавеля, кулеши, каши, творог, сметану, салаты, телятину, пью много молока, а каждое утро — кофе. Масло еще не все съел. Фраеры очень заботливы, а Рувец — даже слишком, все время пристает, чтобы я ел, и следит, чтобы я не уставал <...>

Третьего дня мы втроем (с Алимовым) были на Сегдене и Черненьком озере. От Солотчи до Ласкова нас довезли на машине, а оттуда (3 километра) прошли пешком по чудесному лесу с крупной земляникой и землей, лиловой от колокольчиков. На Сегдене узнал, что Вася Зотов недавно вернулся из армии,— говорят, очень хороший, «уважительный» и вежливый. Я передал ему (через односельчан), чтобы он пришел ко мне в Солотчу. В Сегдене и Черненьком много воды, тени, прохлады и целые поля белых лилий. Ночевали на Черненьком, в той же яме от земляники, где когда-то ночевали с Мухой и где она потеряла свои красочки. Трава и цветы по пояс, была удивительная ночь, но дико ели комары, и никакие костры не помогали. Поймали 50 окуней и щуку (на кружок), обратно шли пешком, ночью (чтобы не уставать от жары), со всех сторон заходили грозы (сухие), было множество зарниц, но не упало ни капли дождя. Воздух в лесах удивительный, уже много земляники.

Вчера никуда не ходили, а сегодня к вечеру пойдем на Прорву. Фраеры все пристают, чтобы мы, если захотим, провели здесь лето. Но... плита и пески. Проводят электричество (из Белоомута), но пока только ставят столбы.

Валя с Рувцом и Алимов все свободное время возятся в саду, прибирают, копают. В маленьком садике поставили (врыли в землю) новый большой стол со скамейками. Рувец им очень хвастается. На нем пьем чай и обедаем. Опять засуха, очень трудно с червями, но мы достаем <...>

Твой *Па.*

Астма меня совсем оставила. Дышу легко. И хожу легко.

К. А. ФЕДИНУ

12 августа 1947 г. Эртелево

Костя милый, вот уже несколько ночей Валя видит во сне всех вас и, как водится, обеспокоена — как вы и что с вами. Здоровы ли? Перестали думать о пожаре? Как твой роман? И Варюша? Уехала ли Нина на гастроли? Как только мы попали сюда, Москву отрезало начисто, будто она и не существовала... Здесь тишина, жара, пахнет полынью, изредка проходят страшные степные ливни. Едим много яблок, читаем старинные журналы (семидесятых

годов) — необыкновенно забавные. О боях под Плевной, о первом телефоне (который назывался «говорящий телеграф»), болезни Некрасова, о притонах — «Самокатах» — на волжских ярмарках и взрыве в Зимнем дворце. Все это — до последней репортерской заметки — написано великолепным, живым языком со множеством зря позабытых нами слов (например, слово «придышался» — привык, не замечает).

Здесь солидное общество литературных середняков<...> Поэтому живем сами по себе. Здесь Елена Сергеевна Булгакова с сыном. На вокзале в Москве чиновник особых поручений при генеральном секретаре Союза писателей А. Д. К., провожавший жену, говорил мне, что ты «якобы» приедешь на 5 дней в Воронеж. Я, конечно, не поверил, но все же надеюсь, что вдруг ты появишься здесь.

Рыбы мало. Караси стали мудрые и берут осторожно. Почти окончил свои «Сказки» — из 25 сказок осталось сделать еще три.

Очень возможно, что я останусь здесь до 15 сентября (доделаю пьесу для МХАТа, и будь они прокляты). А Валя с Серым вернутся к 1 сентября.

Валя и Серый всех целуют. Я тоже. Обнимаю тебя. Напиши, если будет время, несколько слов — письма приходят сюда на третий день.

Твой *Коста.*

К. А. ФЕДИНУ

3 сентября 1947 г. Эртелево

Костя, родной мой, письмо твое и обрадовало меня и опечалило,— должно быть, грустным его подтекстом. И вся обстановка Москвы, московской литературной и прочей жизни, что врывается сюда с газетами и новыми приезжающими, меня пугает и мешает работать, опускаются руки. Мучительно перебираю в памяти, что еще осталось, о чем можно писать, и временами кажется, что уже ничего не осталось. Дни идут, перо ржавеет, и спасает меня от горечи всяческих размышлений только единственное, неизменное — степная осень, необыкновенное здешнее небо и тишина. И все вспоминается гениальное бунинское — «Легкой жизни я просил у бога...».

В доме — пусто и тихо, все кажется, что я здесь один, по вечерам гудит керосиновая лампа, шумит парк, и в

девять часов кажется, что уже самая глухая ночь. А вчера всю ночь над парком гудел, ходил кругами заблудившийся самолет.

Начал доделывать мхатовскую пьесу, эта портновская перелицовка меня злит и все подмывает бросить эту работу. Но надо дотягивать.

Живу в окружении никому не ведомых (в частности, читателям) престарелых писательниц и Георгия Шторма. Он ходит по парку в выутюженном костюме, в галстуке и шляпе, помахивая перчатками, с неизменным вечным пером в карманчике пиджака. Даже синицы — и те удивляются.

Приеду числа 16-го. Увидимся. Не знаю, застану ли в Москве Нину. А Ава, как всегда, чудесная.

Хожу в лес по грибы. Прорва белых и подосиновиков. Здесь все время яркие и прохладные дни, безветрие<...>

Как роман? Не огорчайся из-за сроков — пес с ними, со сроками, раз есть великолепный роман. А начать печатание в журнале в течение двух лет — это даже любопытно — случай беспрецедентный в истории российской словесности,— материал для литературоведов.

Целую всех — Дору, Аву, Нину. Привет Саше.

Обнимаю тебя. Твой *Коста.*

Саммиру — большой привет и Коле тоже. Зря Саммир отчаивается из-за нахватанных троек. «Все будет хорошо».

ВОРОНЕЖСКОМУ КРИТИКУ [т. СЕРГЕЕНКО]

1947 г.

Я уверен, что Вы знаете, в чем заключается сила художественной прозы, что ее создает и что ее двигает. Это — воображение, основанное на реальности. Писатель — не фотограф, и принцип натуралистического изображения действительности не является подлинным искусством.

Только с этих позиций и следует оценивать те два рассказа, которые вызвали Вашу негодующую статью.

Что вызвало это негодование?

1. То, что заповедный лес на реке Усмани назван «последним на границе донских степей». Здесь у Вас — добросовестное заблуждение. Слово «последний» употреблено обобщенно, так как леса Воронежской области (о которых я, кстати, знаю) — последние острова лесов на гра-

нице степей. Мне, как писателю, важно передать это ощущение последних лесов, ощущение внезапного перехода лесов в жаркую и бескрайнюю степь. Чего же Вы хотите? Написать «один из последних»? Вы сами понимаете, что эта точность снимает силу впечатления, какое я должен вызвать у читателя.

2. Пейзаж, на который Вы ссылаетесь, совершенно точен. Вам не нравятся, очевидно, «острова старых усадебных садов». Но — это действительность, и с этим ничего не поделаешь. Кстати, Эртелево тоже расположено в одном из таких «старых усадебных садов». Что одиозного в этом пейзаже — непонятно.

3. В чем Вы видите мое желание изобразить колхозную жизнь как убогую и темную? В том, что старик ходит в лаптях? Пора уже отказаться от городского предрассудка, что лапти — признак нищеты. Лапти — очень удобная производственная обувь для крестьян, для полевых работ. Поэтому колхозники (особенно на сенокосе) охотно ее носят. И в Воронежской области я видел многих колхозников в лаптях. Вас возмущает то, что старик спит на сене,— это Вы тоже считаете признаком нищеты. Я не понимаю, зачем Вам в этом Вашем заявлении понадобилось делать некоторую легкую передержку. Старик болен, ему душно на кровати в избе, он переполз с кровати в прихожую, где и лег на сене,— вполне возможная частность, говорящая о болезни, о желании старика лежать на свежем воздухе. При чем здесь нищета? И с каких пор то, что человек укрывается полушубком от озноба, является проявлением «убогости и нищеты»? Зачем Вам нужны эти натяжки? А они, между прочим, совершенно засорили в Вашем восприятии образ старика (с его глубокой любовью к дочери и напряженным ее ожиданием). Вместо сущности рассказа Вы восприняли только несколько частностей, не имеющих большого значения и к тому же неправильно Вами истолкованных.

4. Где противопоставление города и деревни? В чем? В том, что дочь привезла из города старику гостинцы? Зачем внешнюю разницу между городом и деревней (совершенно бесспорную) изображать как противопоставление?

5. Вас возмущает то, что в рассказе говорится о будущем урожае, о «добром лете», тогда как лето 1946 года было засушливым и не сулило урожая, я не датирую свой рассказ и вовсе не говорю в нем о лете 1946 года. Откуда Вы это взяли? Из того факта, что, как Вам известно, я был в Эртелево именно летом 1946 года? Но читатель это-

го не знает, не должен знать, и, наконец, ему это совершенно не нужно знать.

Я пишу вообще о Воронежской области. Рассказы пишутся с обобщением, со взглядом на будущее, и несколько наивно приурочивать действие таких рассказов к какой-либо дате — и приурочивать при этом совершенно произвольно.

6. Теперь последнее — о Никитине. Из всего контекста рассказа совершенно ясно, даже для самого неискушенного читателя, что рассказ о Никитине — легенда, переданная косарем. Он дан не от автора. И ничего порочащего Никитина в этой легенде нет. Народные легенды о наших великих людях очень распространены (в частности, на Псковщине легенды о Пушкине). Они свидетельствуют о живости народной фантазии.

Итак, критикуя, следует исходить из основного содержания вещи, а не из мелочного выискивания кажущихся неточностей. Это — обывательский, а не писательский подход к литературе...

В. В. НАВАШИНОЙ

8 сентября 1947 г. Эртелево

<...> Сижу над пьесой, но, между делом, написал одну маленькую сказку (для «Мурзилки»). Уже осталось мне здесь жить совсем недолго — 6 дней и, должно быть, писать не буду, а пришлю телеграмму. Были очень холодные дни, заморозки, а сейчас опять тепло, но, как говорит Иван Андреев, «сентябрит» <...>

Здесь уже осень, очень еще ранняя, но яркая. Вчера наконец Иван Андреев исполнил свое обещание и отправил меня на знаменитый Ледовский кордон на Усмань. Поехал еще Никита Санников (нелюдимый, но славный мальчик) и русский самородок воронежский композитор Массалитинов. Вез нас на лошадях (Мухе и Зайчике) плотник Андрей. Конечно, заблудился (да там и нельзя не заблудиться, такие дебри и пущи), и на кордон мы попали только в полдень. Леса потрясающие на холмах, грибы растут по дорогам коврами, все время слышно, как трубят олени. На Усмани ловили хорошо, а рядом купался бобр и не обращал на нас никакого внимания. Чтобы пройти к берегу, пришлось прорубать дорожку в крапиве

топором (!). Крапива в три человеческих роста и толщиной в руку. Обратно ехали ночью, лошади везли сами.

Вот и все мои новости. Я очень наслаждаюсь последними днями, собираю всякие листья и перышки <...>

Целую обоих очень.

Па.

В. В. НАВАШИНОЙ

23 октября 1947 г. Гагры

Валюшок-тингушок и Серый,— что-то долго нет от вас писем (получил только одно). Не знаю, когда вы получите это мое письмо,— самолеты, очевидно, не идут, так как уже седьмой день — шторм. С каждым днем он все усиливается, сегодня с утра над морем шли один за другим смерчи,— очень красиво, но жутко. А ночью была сильная гроза. На горах выпал снег, но у моря тепло, и я пока не зябну. «Старожилы» говорят, что не запомнят такой погоды и что еще будет жарко. В садах до сих пор цветут розы, много георгин и тысячами висят мандарины, их еще не снимали. Но курортная публика впала в уныние и разбегается.

Окончил рассказ для «Огонька» (называется он «Утренник») и вчера отослал авиапочтой Ступникеру в «Огонек». Напечатал в двух экземплярах. Один остался у меня. Здесь совершенно нечего читать. Достал «Форсайтов» и Конан-Дойля. Сделал уже либретто для Большого театра и сегодня взялся за пьесу. Работать в такую погоду очень хорошо,— нет никаких соблазнов. Работают почти все,— Арон тоже пишет рассказ (при этом все время напевает). Написал Королькову в Туапсе,— возможно, что он сюда приедет <...>

У меня в комнате стоит большой букет георгин и лежат красивые камни (я нашел на берегу после прибоя осколок греческой вазы — очень интересный). В общем, уютно, но компата крошечная, как корабельная каюта.

Новостей мало, потому что из-за погоды все сидят в доме, как в крепости.

Живите спокойно, а Звэра пусть не бегает все время по городу.

Целую обоих очень. *Па.*

Сегодня напишу несколько слов Рувцу.

Р. И. ФРАЕРМАНУ

23 октября 1947 г. Гагры

Рувец, дорогой, живу в крошечной, как каюта, но уютной комнате у самого моря. Прибой доходит почти до окна. Застал всего три жарких дня, и сейчас, уже седьмые сутки, на море жестокий шторм (норд-ост), дожди, грозы, а сегодня утром вдоль берега прошло несколько смерчей — очень красиво, но страшно.

Но тепло, мягко, в садах цветут розы и висят тысячи мандаринов.

Работать хорошо. Мои соседи по комнате — Арон с Зиной. Изредка пьем вино и едим шашлыки. Есть духан «Не заходи, пожалуйста!». Хозяин объясняет это название очень просто: пьяный увидит, рассердится, обязательно зайдет.

Ловил два раза рыбу с берега на самолов (шнур с грузилом). Поймал много бычков и морского черта (страшилище с огромной головой и все в колючках).

Целую Валю и Вас крепко.

Коста.

Привет Мальве.

В. В. НАВАШИНОЙ

3 ноября 1947 г. Гагры

<...>2-го наконец прибыл Костя Федин. Его торжественно встречал в Сочи директор дома, а в Гаграх на вокзале — я, Арон и Зина. Костя вышел из вагона, как министр,— с пледом на руке, с тростью, величественный и небритый. Ему приготовили хорошую комнату. Ко времени его приезда (после телеграммы отдыхающих в Литфонд) в доме навели порядок, все прибрали, начали гораздо лучше кормить. Косте повезло,— со дня его приезда стоит изумительная погода. Все время солнце, на море — штиль, почти все опять купаются, загорают, и яркость красок — и гор, и моря, и неба — необыкновенная, какой, говорят, не бывает и летом. Костя пока что очень доволен и восторгается здешним воздухом и тропическими запахами. В вечер его приезда мы устроили с ним военный совет, и я решил остаться еще на две недели и возвратиться вместе с Костей. Тогда я приеду без хвостов. Я и очень со-

скучился и уже хочется к зверям в Москву, в свой домик, а с другой стороны — мне здесь легко дышится, я, кажется, очень поправился, но, главное, к 15-му я не успею целиком окончить пьесу. Вот такие мои соображения. Сидим мы в столовой вчетвером — Зина, Костя, Арон и я. Зина совершенно перестала острить,— боится Федина. Едим новый фрукт — фейхою. Все им очень увлекаются. В общем, похоже на съедобную зубную пасту.

Привет всем. Обнимаю зверьков. Будьте осторожны.

Па.

К. А. ФЕДИНУ

5 июля 1948 г. Солотча

Костя, милый, спасибо за то, что ты скрепил своей подписью телеграмму Перфильевой и Дика. Конечно, солотчинский телеграф напутал и вместо «с подлинным верно» передал «с продолжением верно».

Я погрузился с головой в безделье. Брожу до беспамятства по озерам, по разнотравью, ловлю рыбу (лещей), весь продышался насквозь луговым и лесным воздухом. В этом есть какие-то признаки если не счастья, то покоя.

Был на днях за Окой, в Новоселках, пил с Фраером пиво в чайной под «пикусами» и доказывал ему, что Лермонтов сильнее Пушкина. Фраер сильно пугался. Со всех сторон заходили разноцветные грозы, со всех сторон белели старые церкви на крутых берегах, и было очень хорошо.

Новости здесь странные и идиллические, вроде, например, лягушки, которая поселилась в погребе и съедает все наши запасы червей (залезает в жестянку с червями, и оттуда ее надо вытаскивать за лапку, причем она сопротивляется, торопливо дожевывает червей и очень сердится).

У Серого много работы в больнице,— принимает у баб ребят.

Как ты? Как роман?

Обнимаю тебя. Поцелуй от меня всех — Дору, Нину, Варюшу, Сашу.

Твой *Коста.*

Серый всем кланяется. Принял вчера мальчика у рыбачки из Аграфениной пустыни и спал после этого 14 часов.

К. А. ФЕДИНУ

20 августа 1948 г. Солотча с лесного кордона 273 («Лесная дача Орса»)

Костя милый, Саша тебе расскажет о нашей экспедиции в глубину Мещорских лесов (на реку Пру): но, зная его немногословие, я все же хочу кое-что прибавить. Там, на Пре, мы вспоминали тебя. Если бы ты мог все это видеть, эти удивительные очень русские и очень сказочные места, которые даже сдержанный Саша назвал потрясающими. Представь себе огромный лесной край, дремучие сосновые боры на холмах, озера, душистые заросли, бездну цветов, реку, подмывающую вековые деревья, ночи, когда трубят в лесах лоси и около избы лесника горят костры (от волков) и нас в избе лесника Алексея Желтова. Мы прожили несколько дней вольной и дикой жизнью — было весело, беззаботно, и каждый пойманный язь казался нам сказочным. Саша — смелый и неутомимый охотник. Я, признаться, побаивался за него,— он уходил на уток в такие трясины, где летом можно проходить только на лыжах (и он ходил на лыжах). Проваливался по пояс. Удил на Пре окуней, на песках, где, пожалуй, наши следы были первыми человеческими следами среди бесчисленных следов волков и волчат. И мы подумали с Сашей — в будущем году обязательно приехать сюда и затащить тебя,— видеть все это одним и несправедливо и обидно. На Пру можно доехать на машине, до самой избушки лесника (через Рязань, Солотчу и Спас-Клепики). Это — полесье, древний и пустынный край. Обсудим это в Москве.

Дня через два я остаюсь здесь совершенно один — буду зверски работать. Если ты мне напишешь, то сделаешь доброе дело,— будет и одиноко и грустно, как всегда, в пустом большом доме.

Нина прислала восторженную телеграмму,— юг и море ее потрясли.

Как роман? На сносях? Или уже окончил? Завидую. Что думаешь делать дальше? Какие «планты»? Видел ли В. В. и Сережу,— что-то они мне не пишут.

Целую Дору, Варюшу, тебя. Не забывай.

Коста.

Саша — чудесный. Похож на Блока. Мне будет скучно без него.

Н. С. АЛЯНСКОЙ

31 августа 1948 г. Солотча

Ниночка, дорогая, спасибо тебе за письмо. В здешней глуши получать письма из Москвы — событие.

Жалко, конечно, что с Тимирязевкой пока что не получается, но «велик бог земли русской». В конце концов, все будет хорошо.

Я живу сейчас совершенно один в большом и пустом доме (если не считать слегка выжившей из ума девяностолетней старухи). Пишу при свечах (керосина нет) и вообще одичал,— как бы не разучиться разговаривать. Но хорошо — пусто, тихо, одиноко. В лесах и лугах — сыро, пасмурно, но тепло. Рыба клюет бешено,— вчера принес три кило язей.

Знаешь ли ты, что сюда приезжал Саша (Фединский) и мы были с ним в глубине мещорских лесов на реке Пра. Места таинственные, совершенно сказочные, таких я еще не видел. Жили пять дней в избе у лесника, на лесном кордоне. По ночам вокруг избы трубили лоси. Вокруг озера — места совершенно нестеровские. Было весело, главным образом благодаря Фраерману, который напоминал мистера Пиквика в глуши мещорских дебрей. Охотились, ловили рыбу, ели кандер из жестяного таза, спали на сеновале, проваливались по пояс в трясины. Подробно расскажу, когда приеду, а приеду я скоро — числа 5—6-го и буду жить весь сентябрь в Переделкине.

Здесь я, конечно, почти не работал (не могу сидеть в доме, все время тянет на Прорву), и в Москве будет жестокая расплата — придется засесть за «литературные труды».

Поцелуй папу. Смотри, чтобы он окончательно не проигрался на бегах.

Вчера приехала киноэкспедиция снимать Мещорский край. Поймали меня и мучили весь день,— в общем, они, киношники, ни черта не понимают в природе. Пришлось «консультировать».

Целую тебя. Привет всем.

К. Паустовский.

К. А. ФЕДИНУ

12 ноября 1948 г. Москва

Костя, дорогой, спасибо тебе большое за телеграмму и письмо. Оно пришло в московскую хмурость, как частица далекой и беззаботной твоей субтропической жизни. А здесь, как назло, выпал какой-то серый снег, ударили морозы, и Москва погрузилась в зимнюю хандру.

Я завидую тебе и Доре жестоко. Это даже не зависть, а, вернее, тоска по непрерывному необыкновенному лету.

В Москве, слава богу, ничего интересного за эти дни не случилось, если не считать юбилея МХАТа — совершенно анекдотического. Ничего более казенного и скучного я еще не видел. Обидно за МХАТ, за его актеров и за свои юношеские воспоминания об этом театре.

Были суконные речи. Лебедев объявил так: «Слово имеет Ольга Леонтьевна, то есть Леонардовна, товарищ Книппер-Чехова». На сцене не было даже портретов Станиславского и Немировича.

Потом актеры национальных театров показывали МХАТу свое мастерство. Вся труппа МХАТа сидела на сцене, а для показа оставили узенькую полоску около рампы. Актеры не знали, к кому играть лицом — к мхатовцам или к публике, и все время путали. На них просто жалко было смотреть,— до того они были испуганы и мхатовцами, и изысканной публикой юбилея.

Актер армянского театра из Эривани играл Булычева. «По ходу пьесы» он сбросил на пол пиджак. Бутафоры тотчас уволокли пиджак за кулисы. Когда показ окончился, актер долго ползал по полу, разыскивая пиджак (должно быть, собственный), заглядывал под ноги Книппер и Тарасовой, отбрасывал их пышные трэны — и все это стоя на корточках задом к публике и пренебрегая аплодисментами. Пиджак не находился, актер чуть не рыдал, и кончилось все это тем, что его силой вывели за кулисы под хохот публики. Все остальное было в этом же роде. Только Большой театр блеснул,— Козловский и Лемешев спели вдвоем перед Книппер: «Я люблю вас, Ольга».

Публика погибала от духоты, особенно Нина,— она сидела на верхотуре с актерами своего театра.

В общем, юбилей был «что надо». Ради бога, не думай, что я утрирую или у меня «злой ум». От этого взбесился бы ангел.

Начинаю писать «Пушкина» (для Малого театра). Пока что очень страшно.

В Литинституте все по-старому. А. шумно, с пафосом вырабатывает какие-то назойливые и явно липовые методы нашей работы со студентами. Твои ходят пока ко мне, а Трифонов будет даже читать.

У вас все в порядке, но Нину, Сашу и Аву вижу очень редко из-за сумасшедшей московской жизни.

Саммир тоскует по югу,— знакомое состояние. Получил деловое письмо от Ивана Сергеевича (по детгизовским делам), но с чудесной припиской о том, что, «как он и предсказывал, на Таймыре нашли совершенно целый труп мамонта».

Ловил ли ты бычков на пристани (как дьякон из «Дуэли»)? Как Дора? Удивляется Сухуми или уже привыкла? Жаль очень старого Сухуми. Между прочим, водоносы кричали так (полный текст): «Халедный, халедный, прямо лед, сибирский мороз!»

Не сердись, Костя, родной, за безалаберное письмо. Я, как выражаются высокоинтеллектуальные товарищи, в депрессии.

Обнимаю Дору и тебя. Отдыхайте, будьте спокойны и радостны. В. В. и Серый кланяются.

Твой *Коста.*

Читал ли ты в «Литгазете» высказывания Павленко о «Необыкновенном лете»? Старик чегой-то хитрит.

Р. И. ФРАЕРМАНУ

9 июля 1949 г. Переделкино

Рувочка, дорогой, не ругайте меня за молчание. Замотался с театральными делами. 29 июня Малый театр сдавал пьесу комитету и реперткому, и перед этим было много возни,— десять дней я почти не выходил из театра. Оглох от крика режиссеров и традиционных театральных скандалов. Но просмотр прошел хорошо, актеры сияют, а Зубов ходит именинником.

Премьера перенесена на 1 сентября, на день открытия сезона. Пушкин (Царев) превзошел самого себя и был прост и обаятелен. Г. никуда не годится,— ее будут менять. Остальные хороши, особенно няня (Турчанинова).

Так что в сентябре приедем из Солотчи на премьеру, а потом можно будет опять закатиться в Солотчу, чтобы спрятаться от шума, людей и всей этой выматывающей суеты.

Как живете? Как Дуровы? Как рыба, Прорва, сад, цветы, Промоина? Что делает Валя? Как у Вас должно быть тихо и мирно!

Сегодня я уезжаю на неделю в Крым, Севастополь, во Флот по литературному делу. Как только вернусь, начну собираться в Солотчу. Приеду, очевидно, к первому августа.

Напишите, что Вы об этом думаете.

В Переделкине довольно оживленно,— каждый день бывает народ. Которые интересные (Довженко, Чуковский, Федин, Пермяк), а которые и совсем не интересные. Изредка удираю на пруд, где за сутки можно поймать одного окунька, совершенно дохлого от испуга (здесь сидит на пруду по 50—100 рыболовов).

Был в Детгизе. Там скучно. Бродит изнывающая от человеческой несправедливости Благинина. Коля Харджиев сел в Вашей квартире и никуда не выходит. Платонову гораздо лучше,— его лечат каким-то сверхновым средством. Приеду — все расскажу. Я почему-то здорово устал и как-то из-за этого стал невосприимчив к окружающему.

Поцелуйте Валю. Наши все целуют и кланяются. Обнимаю Вас крепко.

Ваш *Коста*.

Здесь небывалые дожди вот уже третью неделю. Сильные грозы и холодно. Все гниет.

На Пушкинских торжествах видел в Большом театре Васю Гроссмана,— он что-то слишком колючий, а почему — пес его знает.

Привет Александре Ивановне, Арише, Семену и всему подозрительному дому Самариных.

У нас роют колодец — дорылись до 16 метров, а воды еще нет. Начинаются прелести сельскохозяйственной жизни.

Видел Ваню Халтурина — он жуткий формалист и шкловитянин! Ему все «не ндравится».

В последнюю минуту получено телефонное извещение от Дудина. Он собирается на Пру. Предлагает выехать 26—27 июля. Мы так и договорились, как Вы к этому относитесь? Напишите, Рувец.

На Пру собирается еще Авдеенко — очень милый, тихий, закаленный человек.

К. А. ФЕДИНУ

18 октября 1949 г. Солотча

Костя, дорогой. Прости, что долго не отвечал. Вчера ночью умерла в полном одиночестве, в пустом доме старушка Пожалостина (здесь, кроме Татьяны Алексеевны и меня, никого нет). И мне, чужому человеку, пришлось закрыть ей глаза. Дня за три до смерти она уже так ослабела, что не могла говорить, и умерла, будто уснула.

Две ночи я не спал и потому не ответил тебе тотчас на твое письмо, которое и обрадовало меня, и очень тронуло. Спасибо, Костя!

Сейчас она лежит в золотистом шелковом старинном платье, какие носили наши бабушки, в фате (она была девушкой, вековушей) — тоненькая, стройная, и если не глядеть на лицо, то кажется, что среди осенних листьев и можжевельника лежит девушка. И я все вспоминаю ее рассказ о том, как она была на похоронах Виктора Гюго в Париже.

Горит лампадка, старуха — бывшая монашка — читает псалтырь, во дворе плотник строгает гроб и подбирает каждую стружку — все стружки, оказывается, надо положить в гроб — и от всего этого тянет такой стародавней жизнью, что просто сжимается сердце.

Я работаю здесь над второй книгой «Далеких годов». Живу я в бывшей бане, в саду. По непроглядным осенним вечерам топлю печурку, и мне все кажется, что до Москвы — тысячи километров. Иногда только ветер прошумит палыми листьями, или дождь начнет монотонно барабанить по крыше,— все же остальное время заполнено такой тишиной, что можно оглохнуть.

Работать трудно. Слишком много ворвалось в жизнь за последние месяцы. От этого, очевидно, и усталость, и не-

возможность сразу во всем разобраться. Все время такое ощущение, будто я закончил одну большую жизнь и все не знаю, что делать дальше,— хватит ли сил и времени на вторую.

Изредка хожу в луга, на озера, ловлю рыбу. Осень небывалая по сухости, по бурным краскам, по удивительному воздуху, насквозь пропитанному запахом облетающих ив. Два раза шел снег. Ловится странно, капризно. В одном месте за два-три часа ни разу не клюнет, а рядом, в каких-нибудь ста метрах, клюет беспрерывно. Вода всюду глухая, черная, ледяпая, но до сих пор еще не улетели дикие утки.

В свободное время читаю, но больше думаю, и чем больше думаю, тем меньше понимаю, что происходит.

Собеседников мало. Чаще всех приходит дед Семен Елесин — старичок с веселыми глазами, последний единоличник в России. Жалуется: «Не живем, а тлеем. Да тут еще сын больной ко мне приехал, находится на моем вожделепии». Очень гордится тем, что сына в Рязани «доктора клали «под лучи», искали у него желудок, да так и не нашли. Хрен его знает, куда он подевался, тот желудок».

О Москве ничего не знаю. Как ты? Все еще в Переделкине? Как Дора? Как Нина? Все еще работает у Месхетелли? Как Варенька и Саша? Что нового?

Очень хотел бы всех повидать.

Судя по газетам, которые сюда забредают, тебя замотали выступлениями.

Напиши мне, выбери время!

Обнимаю тебя. Целую всех.

Твой *Коста.*

Привет Марии Николаевне.

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

24 марта 1950 г.

Танюша, родная моя (маа), моя радость,— мне так плохо без тебя и так здесь одиноко, как никогда еще не было. Если бы можно, я сегодня же уехал бы в Москву, к тебе, золотоволосый мой человек. Ты очень-очень любимая — слышишь. Это главное, а все остальное существует только при тебе, а без тебя все кажется совсем ненужным,

и мертвым, и неинтересным. Вот! И Ленинград какой-то холодный и белесый, несмотря на всю его красоту.

Доехал я хорошо, соседи попались молчаливые. С вокзала в ужасном такси (здесь ходят старые, разбитые, трофейные машины) поехал в «Европейскую», но комната там не была забронирована. Позвонил в студию и узнал, что комнату забронировали в «Астории». С тем же шофером, который не отставал от меня, поехал в «Асторию». В Ленинграде народ не избалован деньгами,— я дал шоферу на чай 2 рубля, и он был до того потрясен этим, что бегал для меня за папиросами и вообще не выказывал никакого желания расставаться со мной и вызвался ждать около «Астории» хоть час-полтора, если я еще куда-нибудь с ним поеду.

Комната у меня дорогая (47 руб.), с ванной и прочим, но маленькая. Говорил с Мандельштамом, сейчас (вечером) он ко мне приедет.

Был уже в Доме Пушкина. Шел мимо Адмиралтейства и Главного штаба, а обратно прошел через Зимнюю канавку к Неве — все это очень величественно и грустно, как прекрасный покинутый дом — нетопленный, с заколоченными окнами. И все время кажется, что в этой красоте и в этом великолепии есть какой-то молчаливый упрек и нам, и всему нынешнему поколению. Жалкие, в общем, потомки.

Обедал на Невском, в ресторане, и опять меня поразила нищета ленинградцев. Почти все берут только одно второе, а у моего соседа — пожилого интеллигента вполне профессорского вида — не хватило 30 копеек, чтобы расплатиться (он ошибся, когда сам подсчитывал по карточке). Я доплатил за него, а он смутился до слез и все сокрушался, что так «слаб в арифметике».

Около «Астории» встретил Михаил Михалыча (Зощенко). Оба очень обрадовались. Долго говорили. Выглядит он неважно, пальто потертое, рваное, но спокоен и горд, как всегда. Рассказал мне, что в Ленинграде живет старик, некий Леман, 140 лет. Он хорошо помнит Пушкина, встречался с ним и был на его похоронах. Обещал меня свести с этим стариком.

Здесь, в «Астории», из москвичей только Мариетта Шагинян <...> и множество престарелых, но весьма бодрых и шумных актеров, должно быть из оперетты.

Соседняя гостиница «Англетер», где умер Есенин, уже переименована в «Ленинградскую», а кафе «Норд» в «Север». Как уцелела «Астория» — непонятно.

Денег мне пока что еще не дали. Д. б., дадут завтра...

Спасибо тебе за прянички и за все, все — ты мой милый и заботливый Танок!

Завтра иду в «Эрмитаж» к Орбели.

Береги себя и еще одно существо — наше общее. Целую тебя, лапушка. Поцелуй Галку и маму.

Костька.

Ленинградцы не замечают, что Ленинград — морской город. На Неве — прекрасный морской воздух, а вдали видны в тумане мачты огромного океанского парусника.

Погода ясная, прохладная. Сухо. Я совершенно здоров. И очень нежно тебя целую, золотые височки.

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

25 марта 1950 г. Ленинград

Танюшая, только что получил твою телеграмму. Спасибо. (Я получил ее через 40 минут после того, как ты ее отправила.)

Был сегодня в Эрмитаже и в Пушкинском доме Академии наук. Оба эти посещения носили несколько триумфальный характер, но все же посмотрел много интересного. Был в стальной комнате, где хранятся все рукописи Пушкина. Держал их в руках и читал («Медного всадника» и «Цыган»). Показывали мне рукописи Лермонтова, Державина, Гоголя.

Завтра утром поеду в Царское Село.

Студия, конечно, подводит с деньгами. Все оформлено, но денег нет, и когда будут — неизвестно. А я заплатил вперед за комнату за 4 дня и остался со ста рублями. Поэтому послал тебе телеграмму — очень досадно, это разобьет твои планы. Но ничего не поделаешь.

Ленинград, конечно, изумителен.

Целую очень, очень, свою Таньку.

Котя.

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

26 марта 1950 г. Ленинград

Танюша, родная моя,— все-таки решился и послал тебе телеграмму о деньгах. У меня осталось 80 рублей, а киношники что-то тянут.

Я дико соскучился,— трудно даже рассказать как. Только что вернулся из Царского Села,— ездил поездом. Был в Лицее, в комнате Пушкина, в Александровском дворце и в парках. Шел мокрый снег, и было холодно. И угрюмо. И одиноко. Все время думаю только об одном «существе», завидую самому себе, и мне все кажется, что это никак незаслуженно. Как ты? Как здоровье? Не надо, чтобы что-нибудь болело. Никому не звоню, да и некому. Сегодня Мандельштам позвал меня на ужин, иду с неохотой,— он скучноватый человек.

Завтра начну писать (сценарий). Буду гнать вовсю.

Обнимаю тебя, золотой мой человек. Поцелуй всех.

Твой *Котя.*

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

29 марта 1950 г. Ленинград

Танюшок,— хотя ты мне и звонила вчера и сегодня мы снова будем говорить, но я все равно пишу тебе.

Потому что ты очень хорошая. Вот!

Вчера весь день пробыл в Эрмитаже, работал там, а к вечеру решил обойти залы. Обошел, почти не останавливаясь, сто двадцать зал (около 10 километров) и больше не выдержал. К тому же заблудился.

Посмотрел только несколько вещей — Леонардо да Винчи, Греко, Рафаэля и Тициана.

Сегодня с утра писал, потом был на студии (далеко, около Александро-Невской лавры) и с кровью вырвал у них тысячу рублей. Обормоты!

Сценарий окончил 31-го — надо от него отделаться вчистую. Страшно соскучился, прямо до отчаяния. До того, что все мне не мило. Очень я тревожусь, что ты до моего приезда останешься без денег. Займи тогда у Рувца,— мы тотчас отдадим.

Погода истерическая. С утра было солнце, а сейчас валит снег. Я здоров совершенно.

Целую тебя. Твой *Костик.*

Г. А. АРБУЗОВОЙ

14 сентября 1950 г. Солотча

Галка, солнышко, что ж ты болеешь? Ты же обещала, что будешь беречься. Я, конечно, подозреваю, что ты съела на улице мороженое под ледяным сентябрьским дождем или что-нибудь в этом роде.

Мама, наверное, все расскажет о нашей жизни. А может быть, расскажет и Алешка, если захочет. Здесь сейчас очень тихо и, несмотря на дожди, очень хорошо. Пышно доцветают цветы. Те астры, что ты посадила около маков, набрали бутоны и вот-вот зацветут. Сад уже осенний, засыпанный желтыми листьями, сырой и безлюдный.

Новости наши — деревенские. Пестрого котенка взяла Ариша, и его тут же у нее украли. Серого кота бабка Таня отнесла к себе в мешке, но на следующий день он вернулся и сказал, что уходить никуда не собирается.

Я сейчас начал много работать (в баньке) и потому редко бываю в лугах. Брал лодку, ездил на Бык. Вода спала, и того протока, по которому мы проезжали, уже нет. Он пересох, но я нашел второй, очень интересный проток. С Толей (мужем Марии Михайловны) мы ходили на Прорву и на быстрину (проток). В лугах пусто, доцветает гвоздика.

Птицы уже собираются в стаи перед отлетом.

Я езжу в Рязань — мне оперируют челюсть, и это довольно противно.

Скоро уже конец.

Сейчас я остаюсь совершенно один во всем доме и во всей усадьбе.

Поля уходит на несколько дней копать картошку. Я, конечно, не боюсь, но не знаю, что делать с котами (их трое) и чем их кормить.

По случаю того, что я буду совершенно один, я буду почти каждый день звонить в Москву, а ты напишешь мне письмо (только не такое короткое, как ты любишь писать), потому что мне будет нестерпимо скучно. Не забывайте меня в чаду столичной жизни.

Примерно 22—23 сентября позвони, пожалуйста, на книжную базу (И1-71-81) и спроси, готовы ли для меня книги. Если да, то надо их взять по этой записке. Часть книг оставь себе,— остальные мама, очевидно, привезет сюда. Но не очень жадничай (это я шучу, конечно).

Напиши все о себе,— как в школе и где ты бываешь (кроме оперетты), что читаешь и что вообще думаешь «за жизнь» и все такое прочее.

Поцелуй бабушку. Целую тебя. Смотри, не болей.

К. Г.

Посылаю тебе англо-русский словарь (второй). Зачем тебе столько английских словарей!

Ваш братишка, сударыня, Алешка стал чудесный. Да вы и сами увидите.

Только что (в 8 ч. вечера) приехал Вася и рассказывал, что ты устроила в машине сквозняк, после чего он болел пять дней и думает взыскать с тебя за эти пять дней убытки.

Я встретил того глухонемого, что помог мне тащить щуку на Студенце. Он очень просил кланяться...

Пришли мне, будь добра, газету (любую), где напечатано постановление о туркменистанском канале. Очень нужно. Если можно, вышли ее шестнадцатого. Еще раз целую. («Еще раз ныряю».)

К. Г.

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

18 сентября 1950 г. Солотча

Танюша, моя радость, ты, наверное, очень устала в Москве. Даже по телефону, по голосу это слышно. Очень обидно, что ты уехала именно сейчас, когда началась такая золотая и необыкновенная осень. Я даже писать о ней не буду,— не хочу тебя огорчать. Говорят, что такие дни простоят до половины октября. Сад весь золотой, весь уже шуршит, но цветы отдыхают и все цветут и цветут. Расцвел неожиданно чудесный *белый* кариопсис, мы о нем и пе подозревали.

Но очень пусто и одиноко. И тишина такая, что когда рыжий котенок подымается по лесенке на мезонин, то кажется, что идет человек.

Маленькая моя, я все время думаю о тебе, о том, какое это счастье, что ты пришла ко мне и что мы теперь совсем родные. И, несмотря на то что мы как будто привыкли друг к другу, ощущение свежести и необыкновенной радости и прелести никак не уходит, все остается, и, должно быть, останется навсегда.

Танюш, мое золотое сердце, спасибо тебе за все, за все и за то, что ты так мужественно переносишь мое неумение устраивать жизнь.

Ради бога, береги себя, маленькая, и в Москве не огорчайся ничем и не падай духом,— главное у нас с тобой есть — и очень редкое,— а остальное приложится.

Что думает Алешка? На что таращит глаза? Трогательный и шумный человечек. Ты с ним поговори о себе и обо мне, пусть знает, что он появился на свет от большой любви, и потому и ведет себя соответствующим образом.

Я работаю, хотя осень такая, что это трудно. Вот и сейчас — за окнами какой-то слабый серебряный туман, полная тишина, безветрие и такое солнце, что вяз за окном (у балкона) стоит как литой из золота и бронзы.

Новости таки: Лидка (девчонка с молоком) надорвалась у Поли, когда копала картошку, и на третий день ушла. Должно быть, еще и простудилась. Говорит, что «все заложило».

Поля все перестирала. За два дня, что пробыла дома, она уже успела немного одичать и говорит мне «ты», потом спохватывается.

Груня принесла творог и обещает спечь какие-то особенные ватрушки. Бабка Таня лежит, но прислала с Вовкой картошку.

Коты ведут себя нахально и со мной совсем не считаются. Едят роскошно. Но из комнат изгнаны за то, что напачкали около телефона,— ночуют в коридоре с воплями и жалобами,— ночью стучат в дверь в мезонине, но я делаю вид, что не слышу.

Все готовятся к празднику и поэтому набиваются с мясом. Так как калитка заперта, то бабы кричат в окна: «Свининки не надоть? Бараниньки не надоть?»

В лугах был футбольный матч Солотча — Спас-Клепики. На шестах подняли красные флаги, баянист играл марши, все мальчишки из Солотчи, Заборья, Полкова и всех окрестностей мчались мимо нашего дома, но все кончилось мордобоем, и с поля солотчинские футболисты шли, ненатурально рыдая и размазывая по мордам слезы и кровь. А сзади со свистом и гиком неслись мальчишки. И над Солотчей висел такой густой мат, какого еще никогда не было.

Вот и все наши новости, если не считать, что пастух проворовался, украл колхозную телку и его арестовали.

С Рязанью у меня пемного затягивается,— швы зажили, но не совсем.

Я почему-то много сплю, рано ложусь.

О Москве ты все мне расскажешь, поэтому я не спрашиваю.

Чтобы не забыть,— скажи Васе (шоферу), что есть очень хорошая дорога в объезд того болота, где мы переносили Алешку через канаву с водой. *Из Полян* (по пути в Солотчу) надо взять правее (свернув с мощеной дороги) — по дороге к ж. д. полотну и потом вдоль дороги — до Солотчи. Там дорога сухая и укатанная.

О делах будем говорить по телефону.

Целую тебя, моя прелесть родная-преродная, будь спокойна и не уставай. Жду.

Поцелуй Алешку. Поцелуй Галку и маму. Привет всем.

Твой
Котишник.

З. Н. АЛЕКСАНДРОВОЙ

27 сентября 1950 г. С. Солотча

Зина, Ароша, дорогие! Спасибо за письмо,— оно порадовало меня в сельском моем уединении. Таня с «лялькой» на днях уехала в Москву готовить «логово» для зимней нашей жизни. Судя по всему, Таня в Москве дико замоталась — и с устройством комнаты, и с мальчишкой (дело в том, что у Тани совсем не было молока и его с первых же дней пришлось кормить чужим грудным молоком, за каковым приходилось каждый день ездить в Рязань за 25 километров). В Москве это значительно легче.

Я остался в Солотче до начала октября,— надо закончить всякие литературные труды.

Мальчишка, по-моему, чудный, и все говорят, что невероятно похож на меня, чему я не верю, так как хочу, чтобы он был красивый.

Жить в Москве мы будем в Таниной маленькой комнате на улице Горького, так как Союз писателей квартиры мне не дает, очевидно, как «разрушителю семьи» <...>

Зина, наверное, уже уехала. Она не написала,— едете ли вы в Гагры вместе или ты, Ароша, остаешься в Москве. Пишу в Москву наугад. Напрасно Зина задается, что она

может писать всякие стишки. Я тоже могу. Вот, пожалуйста:

Я не забыл своих друзей,
Хоть и ловлю в тиши язей,
И важных сумрачных лещей,
И красноперых окуней,
И синеглазых пескарей,
И остроносых стерлядей,
И тупорылых головлей,
И раздражающих ершей,
И заболоченных линей,
И даже мелких карасей,—
Все для друзей! Все для друзей!
Для их детей, для их семей!
Для их стола,
Для их гостей!!!

Видали ли вы столько рифм к слову «друзей»? Одних только ихтиологических рифм!

Ароша, если ты в Москве, то вот телефон Тани — Д1-45-81,— она будет рада, если ты ей позвонишь. А может быть, ты придешь посмотреть маленького? А? Во всяком случае, как только я вернусь (числа 6—7 октября), я тотчас позвоню, и мы увидимся. Есть о чем поговорить!

Если вы в Гаграх, то я надеюсь, что угрюмый Илюша соблаговолит переслать Вам это письмо (если вы дали ему на этот счет соответствующее указание). Тогда пейте хванчкару, наслаждайтесь и вспоминайте прошлое.

Привет Николаю Яковлевичу. Чего он там делает? И Илюше.

Целую вас обоих крепко.

Коста.

<...>

Привет всем, кто еще меня не забыл.

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

29 апреля 1951 г. Сталинград

Тануш-Тануш, милый мой человек, до сих пор нет от тебя телеграммы, и я не знаю, доехала ли ты до Солотчи или вернулась обратно. Я только что приехал, но, если бы было можно, я сегодня же уехал к тебе,— я радуюсь каждому прожитому дню, потому что все меньше остается дней до отъезда. Пожалуйста, береги себя, маленькая, Тануш. Ради себя, Алешки, меня, Галки и всей нашей ма-

ленькой семьи. Только сейчас я сообразил, как был замотан в Москве, даже забыл попрощаться с Арбузовыми и Налетовыми.

Ты можешь написать мне в Цимлянскую (Рост. область) — письмо там меня застанет.

Живу в «Интуристе» над рестораном, где всю ночь бушуют командировочные.

Сегодня, может быть, перееду на дебаркадер на Волгу,— там на втором этаже есть крошечная чудесная гостиница,— вместо комнат каюты, окна выходят на Волгу, пароходы причаливают рядом. Там тихо, масса воздуху и чистота корабельная. Сегодня там должна освободиться одна из шести кают. Тут же ресторан, почта, библиотека. С рестораном вчера был забавный случай,— он только что открылся, я был первым его посетителем, и потому (по старой традиции) с меня не взяли денег за обед. Почин.

После Москвы люди кажутся здесь очень ласковыми и добродушными. Никто никуда не торопится.

Был в местной редакции, встретил там Долматовского,— он весь в орденских ленточках и значках. Был с ним в подвале универмага, в той комнате, где взяли в плен Паулюса. Сейчас там сидит за столом «уполномоченный по пожарной охране универмага».

Центр города совершенно новый, залитый асфальтом, с великолепным новым театром, колоннадами и скверами, но тут же, в двух шагах,— все еще в развалинах и пыли и невыносимом запахе,— роют фундаменты для домов там, где был передний край обороны, и — отсюда запах, хотя и прошло уже восемь лет.

Был в старых блиндажах. Кое-где еще живут какие-то старики и старухи. Свои землянки они обносят очень интересными заборами из всяких остатков войны,— простреляппых аэропланных крыльев, пулеметных стволов, порванных гусениц от танков.

Сегодня (через полчаса) я поеду на новую лесную полосу в Дубовку, километров за 30 к северу от Сталинграда.

Сюда приехали немецкие вдовы,— матери и жены немецких солдат, убитых под Сталинградом. Им показывают братские могилы. Они бродят, заплаканные, по городу, по пустырям, где еще до сих пор валяются человеческие кости. Очень страшно на них наступить.

На Волге — большой разлив. Волга мутная, быстрая, пахнет нефтью.

Цветет сирень. У всех волжских грузчиков в рваные кепки воткнуты ветки сирени. Пыль и жара. Я пробуду

здесь до 2 мая. 2-го выеду в Калач, оттуда уже проеду по всему каналу, а потом — в Цимлянскую. Местная газета уже пристала ко мне, и придется написать что-нибудь очень короткое к праздничному номеру. Я здоров, отоспался. И, кажется, лучше выгляжу.

Как ты? Как Алешка? Танка, Танка, как все не нужно, кроме тебя. Я люблю тебя, золотое мое сердечко, так, что даже не могу, не умею об этом рассказать. Ты слышишь? Отдыхай, смейся вместе с маленьким (мальчик-золотайчик из города Динь-Динь), вспоминай обо мне немножко.

Обнимаю тебя, моя радость.

Поцелуй Алешку и Галку (если она еще в Солотче). Кланяйся няньке.

Твой *Котька.*

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

1 мая 1951 г. Сталинград

Танюша,— вчера я весь день пробыл в степи на лесных посадках, проехал на виллисе больше 200 километров и потому не успел послать телеграмму. В степи — чебрец, ветер и пыль, пыль — тонкая, как пудра. Ее невозможно отмыть.

Сегодня в «Ст. правде» напечатан мой очерк. Его очень хвалят. Был на демонстрации (на трибуне), сейчас пойду обедать на дебаркадер, там свежо, пусто и тихо.

Послезавтра (3-го) уезжаю в Калач. Там пробуду два дня, а потом в Цимлянскую.

Я тороплюсь, мне хочется скорей к тебе,— все время думаю о тебе.

Вечером напишу закрытое письмо. Очень поцелуй нашего мальчишку. Целую тебя, маленькая моя. Будь здорова. Уехала ли Галка? Как Анна Васильевна?

Твой *Котька.*

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

2 мая 1951 г. Сталинград

Танюша, все время я думаю о тебе с такой нежностью, какую нельзя передать никакими словами. Радость моя! Смешная Танька! И единственный родной человек на этой земле. Ты, смотри, не болей и не тревожься ни о чем.

У меня есть один план, по-моему, интересный,— вернуться отсюда в Москву по Волге. Я поеду (завтра) на канал в Калач (на канале я пробуду дней пять), потом съезжу в Цимлянскую, к 15—16 мая (примерно) вернусь сюда, в Сталинград, а Тапка-Танка к этому времени приедет в Сталинград прямо из Рязани (сталинградский поезд проходит через Рязань-вторую около полуночи).

Если, положим, ты выедешь в ночь на 16-е, то 18-го утром будешь здесь. В Сталинграде мы сядем на пароход до Москвы. Увидим всю Волгу — Саратов, Ульяновск, Казань, Горький, Кострому, Плес, Ярославль, Рыбинск, Углич. Поездка эта займет дней 8. А я на пароходе еще кое-что напишу. Пароходы пока идут пустые.

Алёлька эти две недели побудет с Пашей (а, может быть, можно, если это нужно, задержать на это время Ай-Василь). Что ты думаешь об этом, Тануш? Денег хватит, я здесь получу около тысячи — как раз на дорогу. А из Москвы — в Солотчу до осени,— отдыхать.

Одно только плохо, что я к тому времени буду выглядеть совершенным босяком,— даже шляпа уже выгорела и порыжела от здешнего солнца. Но это — ерунда!

Ты мне ответь телеграммой (в Калач или Цимлянскую), а я тебе протелеграфирую, *когда выезжать*. Хорошо? А если почему-либо этот план не ко времени и тебе не захочется уезжать из Солотчи, то ты не стесняйся и напиши мне об этом,— съездить на Волгу мы успеем всегда.

Вот видишь, что я придумал.

Галка только будет этим огорчена. Жаль, что из-за экзаменов ее нельзя будет взять с собой.

(Пароходы на Москву проходят здесь два раза в неделю. Тебе дорога сюда из Рязани будет стоить рублей 120—150.)

30-го я ездил в степь на лесные полосы. Степь здесь угрюмая, вся в пыли от постоянного ветра. Кое-где по обочине валяются черепа, немецкие каски и мины, а в пыли по дороге столько пуль, что в иных местах они трещат под ногами, как гравий.

Вчера (1-го) день начался с того, что всех жильцов гостиницы согнали в холл и заперли там до 2 часов дня (т. е. до конца демонстрации). Рядом со мной в холле сидел красавец негр (певец) с удивительным огромным перстнем на совершенно черной руке — серебряным с жемчужинами. Но я просидел недолго,— мне прислали билет на трибуны. Остальное все было как в Москве.

Познакомился со строителем плотины через Волгу (он же строил Днепрогэс). Завтра пойду к нему «беседовать». Любопытный тип,— огромный, медлительный и насмешливый.

В Калач еду завтра на машине. Со мной едет Долматовский <...>

Как ты там живешь, Тануш? Что нового придумал Алешка-Балабошка? Как твое сердце? И диета? Очень хочется поскорее в Солотчу. Очень.

Прислали ли тебе паспорт? Я телеграфировал Марии Алексеевне, но она не ответила. Обнимаю тебя, Тануш, моя «А», и Алешку и очень целую. Кланяйся няньке, Анне Васильевне и попадье (если она еще там).

Твой *Костька.*

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

6 мая 1951 г. Калач-на-Дону

Танюша, радость моя, золотой мой человек, как ты там живешь с Алешкой-Балабошкой! Здоровы ли вы?

Пожалуйста, пиши мне правду и не обманывай меня со своим здоровьем. Отдыхай, ни о чем не волнуйся и береги себя. Без тебя у меня нет жизни,— ты сама это знаешь, Тануш. Очень тоскливо и одиноко одному,— я считаю дни до отъезда.

Получил вчера две твои телеграммы.

С поездкой я придумал, конечно, сгоряча,— это и очень утомительно (здесь стоит неслыханная жара) и срывает лето.

3-го я приехал вечером в Калач — пыльную и унылую станицу. Ехал на машине вдоль канала по степям в ураганах пыли. Два дня (4-е и 5-е) провел на канале. Видел много всяких вещей,— расскажу в Солотче. 4-го поздно вечером меня уговорили выступить на одном из участков канала, в глухой степи.

Слушали замечательно. Потом передавали по радио по каналу об этом и называли меня «дорогим гостем». Был здесь со мной Долматовский, он вчера уехал.

Земля вдоль канала похожа на лунный пейзаж. Был вчера на знаменитом шагающем экскаваторе — чудовищная стальная машина, похожая на броненосец, шагающий на железных лыжах (каждая весом в 900 пудов) по степи. За день он вырывает столько же земли, сколько могут

вырыть 70 тысяч землекопов. На ходу он качается, как корабль.

За эти два дня проехал в виллисе по степи около 500 километров. Езжу с «адъютантами»,— иначе здесь нельзя.

Мои планы такие: завтра вечером я уеду отсюда в Цимлянскую по Дону. Пассажирского сообщения никакого нет. Завтра идет буксир «Коммунар», и на нем мне дают каюту. В Цимлянской я буду 9 мая. Пробуду там три дня и там посмотрю,— или вернусь через Ростов, или через Сталинград. Мне хочется поехать из Сталинграда на пароходе, хотя бы до Горького,— это займет 5—6 дней,— чтобы за эти дни написать на пароходе 2—3 небольших вещи для газет и не возиться с этим в Солотче.

Здесь писать — совершенно нет времени.

Значит, в Москве я буду, должно быть, 20-го или 21-го, а в Солотче — 25 или 26-го. Все время буду телеграфировать. Что ты об этом думаешь?

Я здоров, загорел, обветрился и так пропылился, что не берет никакое мыло. Костюм, конечно, пропал,— весь в пыли, в бетоне и уже выгорел от солнца.

В Калаче я живу в гостинице, очень чистенькой, в отдельной (единственной) комнате. Вокруг с утра до вечера пьют и режутся в преферанс. О людях все расскажу потом.

Немного устал, и письма у меня получаются какие-то пустые. Все время пепрерывно думаю о тебе, о том, какое счастье мне дал бог, если он есть на свете. Солнышко мое, моя прелесть, Тануш-Тануш,— жди меня тихонько.

Как у нас в саду? Что цветет? Я рвусь в Солотчу и с огромным облегчением уезжаю отсюда, зная, что мне сюда никогда не надо будет возвращаться. Состояние такое же, как на фронте,— лишь бы скорей все прошло.

Как Алелькины зубки? Поиграй с ним за меня. Привет Паше.

Целую тебя, радость моя.

Твой *Котька.*

Вчера в степи остановился около цыганского табора. Долго сидел в палатке с цыганами. У одной цыганки был мальчик, ему всего четыре дня, родился в степи. Он лежал голый на земле, на ветру, а старый цыган с золотым перстнем на руке стоял перед ним на коленях и молился. Оказывается, это были крестины. Мать была в таких атласных шалях, о каких мы не можем и мечтать. И все это в сожженной пыльной степи среди сусликов.

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

8 мая 1951 г. Калач — Большая Мартыновка

Танюша,— сейчас 5 часов утра, сижу в гостинице, жду машину, чтобы ехать в Большую Мартыновку (казачью станицу в 330 километрах отсюда, около Цимлянской — там центр оросительных работ), рядом на койке спит негр из Бразилии, певец Тито Ромалио,— за окнами пыль, как густой туман,— в общем, фантастика <...>

В Мартыновке посмотрю туннель в 4 километра длиной, по которому донскую воду пустят в Сальскую степь, а оттуда — в Цимлянскую.

Числа 13-го (самое позднее — 14-го) все кончу в Цимлянской, и можно ехать к Тануше и мальчику,— к своим любимым человекам.

Еще не решил как возвращаться — должно быть, все-таки поеду через Сталинград и по реке,— надо привести все в порядок (так называемые впечатления), все записать и привезти в Москву готовые очерки для «Огонька» и «Литературки» — я не хочу возиться с этим в Москве и Солотче. Напишу на пароходе. Здесь писать невозможно, все время в езде, в переменах. Успел только написать для «Соц. земледелия».

Мне все время совестно, что я возвращусь по Волге без тебя, маленькая. И вместе с тем, кажется, так будет лучше и в смысле дальнейших денежек, и работы. И отдохну немного — все-таки здесь устаешь — спать приходится мало.

Я подсчитал дни и думаю, что 21-го я уже буду в Москве (9—10 в Б. Мартыновке, 11—13 в Цимл., 14 — в Сталинграде, оттуда — семь дней до Москвы).

От тебя после 4-го нет телеграмм. Сюда вообще они идут плохо.

Ну, за мной приехали — окончу письмо в Мартыновке. Попадем туда часам к трем.

Большая Мартыновка. 9 ч. вечера

Танюша, радость моя, любовь моя,— здесь пришла от тебя телеграмма раньше, чем я приехал. Ее куда-то задевали. Завтра найдут.

Ехали 13 часов на виллисе по сальским степям. Проехали 400 с лишним километров.

Пыль, суслики, миражи, глина, суслики и пыль.

Так тянулось до половины дороги, до ст. Котельниково. За Котельниковым степь зазеленела, а временами была совершенно серебряной от ковыля. Потом прошел ураган с черной пыльной бурей,— по степи шли рядами (не шли, а мчались) смерчи. Два смерча налетели на машину со страшным гулом.

Мы запылились так, что пыль слоями сваливается с лица.

Мартыновка — большая и неуютная станица за Доном, в сальской степи.

Я остановился в гостинице-бараке, где нет ни капли воды, чтобы умыться, и ни одного стола. В коридоре режутся в карты пьяные шоферы. Вообще «прелестное дело».

Ты извини, что я зачеркиваю так много, все забываю, что это письмо не из Москвы в Солотчу...

Остальное все расскажу.

Думаю, что 10-го днем я уеду отсюда в Цимлянскую. Скорей бы!

Спасибо тебе, милый мой человек, за то, что ты живешь на свете, и за то, что моя жизнь связана с тобой — для меня навсегда. Обнимаю тебя очень, целую Алёльку. Привет Паше и всем.

Твой.

Сегодня подсчитал, что за эти дни я проехал на машине 1000 километров.

В. К. ПАУСТОВСКОМУ

25 июля 1951 г.

Дим, дорогой. Пытался тебе дозвониться, но безнадежно. Ты затянул со своим приездом в Солотчу. Торопись, появилась возможность поехать машиной на Пру. Это очень интересно. Там еще довольно дикие места (относительно, конечно).

Знаешь ли ты, что дно Пры ниже Спас-Клепиков на несколько километров покрыто толстым слоем ваты —

отходами ватной фабрики за многие годы. Пожалуй, это единственная подобная река у нас в стране.

Алеша подрос и стал очень смешной. Паша и мы все совсем с ним закрутились.

Не забудь те книги, что я просил привезти. Они мне нужны для работы.

Как твои соревнования по гребле? Если задержишься еще — пиши или лучше позвони.

Все тебя целуем и ждем.

Папа.

Ю. К. СМОЛИЧУ

12 августа 1951 г. Солотча, Ряз. обл.

Дорогой Юрий Корнеевич!

«Трудно передать словами»,— как писали литераторы конца 19-го века (кстати, совсем уже не такие затрушенные, как мы думаем), как я был обрадован Вашим письмом. Оно пришло как раз кстати,— в то время, когда мы, пресыщенные прелестями сельской жизни в средней полосе РСФСР, мечтали о юге и море.

Ваш план поездки в Одессу был встречен с небывалым энтузиазмом. Я хочу очень видеть Вас,— ведь «уходят невозвратные годы». Нас все меньше и меньше, старых писачей, что немного знают, что такое «порма» и «писхология», как сказал в своем выступлении Сабит Муканов.

Мы с Татьяной Алексеевной хотим приехать на сентябрь и дальше, сколько хватит сантимов. Приехать придется, к сожалению, без очень смешного маленького мальчика, которого зовут Алешка-Балабошка, а также «Мальчик-Золотайчик из города Динь-Динь» и еще многими другими малопонятными именами и прозвищами. Мальчик будет жить до зимы здесь, благо у нас есть няня, на которую можно целиком положиться.

Но... сейчас у меня не густо с «геньгами», и поэтому было бы весьма полезно знать некоторые факты. Например, за сколько в среднем можно снять комнату на 16-ой станции и сколько нужно, приблизительно, денег, чтобы прожить месяц, беря месяц за некий эталон. Если Вам не трудно, то напишите мне об этом сейчас же или пришлите коротенькую телеграмму. Мы выедем тогда 28 августа из Солотчи в Москву, а в самых первых числах сентября

появимся в Одессе. Я жил на 16-й станции в 1922 году, в заброшенной даче, воровал помидоры (чем и питался) и ловил бычков с палубы затопленного у берега миноносца «Зантэ». Черноморская осень в степях великолепна. Очень, очень хочу увидеть Вас и поговорить «за» разнообразные обстоятельства жизни, в «расположении которых (как говорил один спившийся капитан) есть нечто располагающее...». Только вот к чему располагающее — не совсем понятно. Но это, при некоторой затрате усилий, можно выяснить. Я как-то отошел от писательской сутолоки и не жалею об этом. Пишу для себя и для печати (это не очень «в счет»), ловлю рыбу, бываю в лесах и на озерах удивительной красоты и прихожу в отчаяние от того, как много надо бы еще сделать, а времени не хватит.

Как Вы на счет того, чтобы поудить «бичков»? В море и в Сухом лимане? В Одессе есть, кроме скумбрии и помидор, еще и брынза. Утренний чай с брынзой, когда воздух еще холодноватый от морской ночи,— это уже счастье.

Буду с нетерпением ждать ответа (как здесь пишут, «как соловей лета»).

Татьяна Алексеевна шлет Вам самый сердечный привет.

Кланяйтесь от нас Елене Григорьевне.

Обнимаю вас. Ваш *К. Паустовский.*

Да, какое гениальное изобретение все-таки машинка «Континенталь». Я не знаю, где Вы сейчас,— в Одессе или еще в Киеве. Поэтому пишу и туда и сюда. Просто подкладываю под письмо копирку.

В. С. и Р. И. ФРАЕРМАНАМ

15 марта 1952 г. Москва

Валя и Рувец, дорогие,— живите спокойно и не тревожьтесь московскими делами. Пусть Рувец лежит, поправляется, отдыхает, и если это поможет ему поскорей окрепнуть, то пусть знает, что болезнь его вызвала в Москве большое волнение и беспокойство. Все время звонят всякие хорошие люди и узнают, как дела в Солотче.

Как с деньгами? С лекарствами? Если хоть что-нибудь нужно, даже, по вашему мнению, пустяк, то сейчас же звоните. Берите дрова из сарая, они очень сухие, хорошие.

В амбаре — керосин, а в ларе (в кухне) есть продукты (сахар, крупа, кажется, макароны и еще кое-что).

Я очень хотел приехать к Рувцу, но меня замотала повесть. Она идет в апрельском и майском номерах, «Знамя» (при помощи небезызвестной Т.) делает героические усилия, чтобы подогнать ее под шаблон обычных повестей о строительствах. Я не сдаюсь, а это выматывает. Кроме того, рукопись тащат из рук буквально по страницам в набор. И торопят с утра до вечера. Дня через два все кончится.

А тут меня еще выбрали в бюро секции прозы. (Были перевыборы. На них К. бил себя в грудь и кричал: «Позор мне! Позор! Я несу всю ответственность и вину за развал работы секции».) Все смеялись. Осип произнес такую замысловатую и густо зашифрованную речь (с концепциями, апперцепциями, опосредствованиями и нюансами), что никто ничего не понял и его, должно быть, за это и не выбрали.

Кстати, Таня очень смешно поссорилась с Осипом на аэродроме в Рязани. Осип долго (примерно как Роскин) думал — лететь ли ему или не лететь. Таня сказала, что она не любит таких нерешительных людей. Тогда Осип очень любезно и ядовито ответил: «Я вовсе не прошу вас, Татьяна Алексеевна, чтобы вы меня любили». Эту фразу он повторил несколько раз и последний раз прокричал ее уже из самолета, когда поднялся в воздух. Сейчас они уже помирились <...>

Да! Екатерина Степановна в одной из московских редакций с ужасом рассказывала, что Фраерман ловил зимой рыбу в Солотче, провалился по шею в прорубь и потому заболел. Так рождается слава.

Помогли ли вам хоть чем-нибудь местные власти? Если нет, то это чудовищное безобразие. Читали ли вы в «Литературке» статью о Шуленине — нерадивом председателе Солотчинского райисполкома. Очень интересно!

Какие еще новости? Мне обещают тотчас же дать квартиру (если я соглашусь заведовать кафедрой творчества в Литературном институте). Это, конечно, запрещенный прием, но, кажется, придется согласиться,— положение безвыходное.

С Костей Пискуновым я говорил. Звонила Гульбинская. С Детгизом у вас все в порядке.

Среди писателей много шума из-за соответствующих указаний и премий. Указания эти такие: амнистирован (как выразился бы Осип) конфликт и сказано, что личная

жизнь героев тоже имеет право существовать в какой-то дозе. Поэтому сейчас требуют конфликта даже в библиографических заметках. У нас все по-старому <...>

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

20 декабря 1952 г. Малеевка

Таню, Танюша, Тань,— до сих пор я еще не получил твоего письма, а я его очень жду почему-то, солнышко мое, золотая Танька. Совсем скучно без тебя жить на свете. Как хорошо, что мальчишка уже гуляет,— немного отдышится от комнатной духоты. У меня здесь так жарко топят батареи, что весь день открыта не форточка, а половина окна и в комнате все равно 19 градусов. Зима совершенно южная, крымская,— тепло, туманы, снег тает.

Я за сутки написал статью для сборника о писательском мастерстве. Вышло 20 страниц на машинке. Называется она «Труд прозаика». Посылаю ее в Москву с Лидией Корнеевной, она едет прямо в «Советский писатель».

Завтра уезжает Сельвинский и Лидия Корнеевна. Вчера уехал Ардов. Остался какой-то окололитературный народ, очень серый. Приехал высохший Рыкачев с женой. Вот и все здешние новости. Да, показывали здесь «У стен Малапаги», и я заметил много очень хороших мест,— в Москве я их проглядел.

Я уже поправился, мне делают кварц, диатермию, и каждое утро я принимаю хвойные ванны.

Теперь у меня нет уже никаких обязательств, кроме Лермонтова. Он двигается быстро.

Здесь прошел слух, что квартиры будут якобы к новому году, но я что-то не верю. Смирнов обещал тотчас телеграфировать.

Я говорил с тем инженером «Известий», что несколько лет жил под Спас-Клепиками. Он рыболов. Говорит, что места очень красивые, уютные, много озер, рек, очень дешево продаются дома. Но есть два больших недостатка,— комары и дорога. По его словам, комары зверские, а дорога от Егорьевска очень плохая (70 километров). До Спас-Клепиков — 15 километров, дорога тоже неважная. Летом там никакого дома отдыха нет, а в помещениях дома открывается пионерский лагерь «Известий». Рыбная ловля очень хорошая. Вот все, что он мог рассказать. Он ничего там не строил, а ездил ловить рыбу.

Тут живет огромный и мрачный консул из Калькутты (Индии). Говорит только «да» и «нет».

Если почему-либо не удастся встретить Новый год здесь, то мы можем встретить и в Москве, может быть, у Сони или даже у нас. Лишь бы быть со своими человеками.

Я пишу тебе и все время жду твоего звонка. Никогда я еще так сильно не скучал по Таньке, как сейчас. Если можно, не уставай очень. И не волнуйся попусту. Какие новые номера выдал Алешка?

Только что ты позвонила, и было плохо слышно, и совсем нельзя было поговорить. 25-го утром сюда идет машина Казакевича, и можно будет прислать что-то таинственное, что ты хотела. Для этого нужно позвонить по телефону В1-04-25 и узнать, когда привезти им посылку. Он живет в Лаврушинском, в новой секции.

Если бумагу не успеешь купить, то пришли тетрадки. Бумага у меня, кажется, есть в одном из левых ящиков стола.

Целую тебя, Тань-Тань, очень. Поцелуй Лельку и Галку. Привет М. А., Соне и всем.

Костька.

21.XII. Утро

Только что говорил с директором относительно Нового года. 23-го выяснится, можно ли будет сюда приехать (будут ли места для ночевки). Если будут, то все в порядке, а если нет, то я приеду в Москву и встретим где угодно, но только вместе, Танюш, моя родная. Вообще, 23-го все выяснится. Может быть, если удастся приехать, то не надо будет никаких формальностей, а все сделаем здесь на месте.

Малеевка 25.XII

Танюшенька, Тань, родная моя Танька, все эти дни я не писал тебе потому, что работаю, почти не отрываясь,— с 6 утра до вечера. Надо окончить сценарий во что бы то ни стало. К 30-му он будет готов. Это примерно сто с лишним страниц на машинке, но рукопись, как всегда, такая, что ее надо будет переписать. Я ее привезу в Москву, и тогда подумаем, как это сделать.

Я, конечно, немного устал, но после 1-го смогу уже отдыхать совершенно. У меня не остается больше ни одного

обязательства. Я тебя совсем не обманываю, Танька, рассказ для Розенберга — это уже традиция, это не в счет. Кстати, я его уже написал.

Мне самому не верится, что скоро я могу писать, хотя бы некоторое, «для себя» — для Татьяны, Алешки (глупые сказки) и Галки.

Ты не сердись, что я не сразу подхожу к телефону. Моя комната вверху, а телефон внизу и довольно далеко.

Только что приходил ко мне директор... и сказал, что ты и Галка можете вполне приехать сюда на встречу Нового года,— все будет устроено. Я сказал, что мы подумаем. Встречать Новый год без Алешки нельзя. Мы все должны быть вместе.

Здесь — усиленные слухи о квартирах.

Я почти не выхожу, некогда. Но зима за окнами чудесная. Мой стол — у окна, и по утрам я работаю и вижу рассвет над снегами и елями. Светает очень медленно.

За нашим столом сидит Казакевич с женой. Он — прекрасный писатель, умный человек...

Приехал Фиш — бодрячок <...> Ждут Щипачева. Из интересных людей появился ученый-лесовод, который открыл способ выращивать секвойю — «мамонтово дерево» (гигантскую сосну высотой 100 метров). До сих пор секвойи сохранились только в Калифорнии, но там они вырождаются и уже не дают семян.

Вчера украинский поэт из Харькова, русский старик поэт из Архангельска (Молчанов) и весьма интеллигентный журналист-искусствовед (бывший повар) ходили по всем комнатам со звездой, свечами, с рушниками, повязанными через плечо, и славили Христа по всем правилам. (Пели «Рождество твое, христе-боже наш» и «Господи, слава тебе» и украинские колядки «Щедрик-ведрик, дайте вареник, грудочку кашки, кильце колбаски».) Собирали на поднос подаяние. Собрали сто рублей, яблоки, мандарины, папиросы и ушли в шалман, в Старую Рузу пропивать это подаяние. А сегодня уже трясутся,— как бы не узнал Фадеев и как бы чего не вышло. Вот и все здешние новости.

Когда я так наспех пишу тебе, то мне всегда кажется, что я забыл написать что-то главное, а это главное — то, что я страшно-страшно люблю свою Танюшу, милый ты мой, ласковый человек.

Когда придет твоя посылка (часа через два), я тогда еще припишу.

25/XII

Только что шофер привез шубу — чудесную. Я примерял, она как раз на меня. Надо было купить такие шубки тебе и Галке (расходные).

Шуба вызвала здесь сенсацию. Старую шубу посылаю.

Деньги возьми по чековой книжке.

Да, вторая сенсация — это Галка. Шофер рассказывал, что он ее не видел, его не было дома, но все соседи наперебой рассказывали ему, что шубу приносила необыкновенная девушка, как он выразился, «русская боярышня». Но пусть Галка не задается.

Если эти сволочи затянут с квартирой, то поедем в Ялту.

Подумай о встрече Нового года. Ты очень устала. М. б., после Нового года поедешь сюда со мной до конца, т. е. до 15 января. Или на неделю, как будет можно.

Целую очень всех.

Обнимаю тебя, Танюш.

Твой *Костька.*

Поблагодари всех, кто мучился в очередях.

В Москве все решим.

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

10 мая 1953 г. Коктебель

Танюша, радость моя, я, как и ты,— еще в дороге уже начал скучать по Таньке и Алешке. Все стараюсь представить себе, что вы сейчас делаете, как ты. Поправилась ли? Напиши мне все,— только правду.

Здесь я очутился в полном одиночестве и очень рад этому. Живу я довольно далеко от большого дома, на полдороге к той лачуге, где мы жили в 1949 году, в крошечном доме с террасой. Вокруг сад весь в цвету. Очень много ромашки, лакфиоли, сирени, дрока и полыни. Сейчас вечер, домик (очень теплый) трясется от ветра, шумит море (разыгрывается шторм), и за окнами светят прожектора по Карадагу. Зрелище феерическое.

Электричество помигало несколько минут и потухло. Пишу при свече. Около свечи сидят сороконожки и смотрят, как зачарованные, на огонь. Очевидно, я здесь отдохну, во всяком случае, дышится легко, и меня за весь

день ни разу не «зажимало». Я думаю о том, с какой радостью я поеду в Солотчу к тебе и мальчишке. И мне хорошо от мысли, что я пробуду здесь сравнительно недолго — 25 дней.

Странно,— уже хочется писать (для себя), но я сдерживаюсь. Готовлю самоловы.

Писателей нет. Есть какие-то довольно скучные и брюзгливые люди (их пугает погода). Они совершенно не видят всей здешней красоты. Сегодня был необыкновенный закат,— в багровом огне, в дыму, над синими зловещими горами <...>

11/V

Сегодня с утра солнце и море необыкновенной синевы. Уборщица поставила мне на стол огромный букет из белой сирени и ирисов.

Танюш, Танюш, ты же мой человек, правда? Ты не знаешь, какой я счастливый, что у меня есть моя Танька и всякие дети <...> и не хватает только крова в Москве.

Я почему-то сейчас особенно уверен, что все будет хорошо. На меня все время садятся божьи коровки, а это — хорошая примета.

Ходила ли ты на рыбалку? В каком виде Солотча? Устраивайся медленно, больше отдыхай.

От тебя до сих пор еще нет ничего. Жду.

Обнимаю тебя и совершенно крошечного мальчика Лёлю. Привет няньке.

Твой *Костька.*

Я встретил ту женщину — Феню,— у которой мы жили в 1949 году. Она работает в нашем доме отдыха. Узнала, обрадовалась. Мальчишка ее здоров, ему уже четыре годика.

Пиши, Танюша.

После обеда пойду попробую половить.

Сейчас почему-то по тропе на Карадаг временно не пускают <...>

Директор тот же, которому мы задолжали за обеды «в кредит». Очевидно, он об этом забыл.

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

13 мая 1953 г. Коктебель

Радость моя, Танюшка, получил сегодня твое первое письмо и телеграмму. Ты все думаешь, что тебя мало любят, а я все никак не умею сказать, как я люблю тебя бесконечно и трогательно, ласковый и единственный для меня человек.

Я привязался к тебе так, как никогда и ни к кому не мог бы привязаться в жизни,— всем своим существом.

Я разговариваю с тобой отсюда каждый день — тихонько, шепотом — и даже смеюсь от счастья. Бог наградил нас этой любовью, и все прошлое кажется мне <...> обидной и напрасной тратой сил и лет. Это письмо придет после дня твоего рождения. Будь спокойна, счастлива,— главное у нас есть. Есть много поводов для счастья, а все тягости забудутся и померкнут в одно мгновенье.

Чего стоит только один совершенно крошечный мальчик — винтальщик и балабошка!

Не уставай. Не устраивайся в доме со спешкой и напряжением. Отдыхай, отсыпайся. Мне уже осталось здесь жить примерно двадцать дней.

Я много сплю, читаю, брожу и ничего не делаю. Вчера был на берегу, в том месте, где я строил для тебя дорожку из камней, помнишь? А сегодня на литфондовском автобусе ездил в Судак (через Старый Крым). В Старом Крыму была короткая остановка, и я успел пройти на кладбище, на могилу Грина. Она очень запущена, но вокруг нее множество высохших цветов,— кто-то приносит.

В Судаке — изумительное море, совершенно неправдоподобного цвета, во все стороны уходят мысы в синем тумане, и на круче над городком стоит генуэзская крепость — суровая и прекрасная со множеством мальтийских крестов, высеченных в камнях и латинскими надписями. Все стены — в маках и диких пионах. Крым в эту пору хорош, все цветет, все горы и долины — в густой сочной траве и в удивительном запахе. Особенно хороша вся горная и малоизвестная страна между Судаком и Коктебелем. Это — совершенно особенная часть Крыма. Приеду — все расскажу.

Приехал из Харькова старый писатель-украинец, страстный рыболов. Будем вместе удить рыбу. Уже приманили здешних «пацанов», каждый вечер они целыми толпами

приносят к столовой жестянки с маленькими крабами — наживкой. Я уже оборвал два самолова, но пока ничего не поймал. Морская ловля — это, конечно, не то.

Были очень холодные дни, но сегодня сразу потеплело и уже жарко. Я даже загорел.

Даже здесь приходится нести все «издержки славы» — назойливость людей, но я прекращаю все это очень сурово,— хватит с меня Москвы.

За одно утро у меня под окном расцвело больше сотни сиреневых ирисов. Пишу вечером. Море молчит, и только раз в полчаса вдруг накатится и уйдет волна.

Хочется писать, Танюша, но я все сдерживаюсь.

Обнимаю тебя, милый мой человек, нежная моя Тануша. Поцелуй Алешку. Как он там в Солотче?

Твой *Костька.*

Привет Прасковье Захаровне.

Пиши. И береги себя. Лечись!..

Купил у «пацанов» банку крабов, они расползлись по комнате и так быстро бегают, что никак не поймаешь.

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

18 мая 1953 г. Коктебель

Танюша, радость моя, что же это ты мне совсем не пишешь. Получил от тебя только одно письмо (первое из Солотчи) и телеграмму. Прошло всего десять дней, а кажется, что я тебя не видел целые годы. Здорова ли ты, Танушка моя? Здоров ли мальчик? (Я ему послал на днях открытку.) Я начал тревожиться.

Телеграммы я писать не умею,— меня раздражает, что их читают чужие люди, вроде здешней телеграфистки — грубой девчонки по прозвищу «тетя Мотя». Живу здесь и, несмотря на красоту этих мест, все время думаю об отъезде и считаю дни.

Алешке здесь было бы плохо,— все комнаты без отопления и потому сырые. Полотенца за сутки не просыхают, простыни всегда влажные. К тому же — дожди и холодные ветры, и только временами вдруг прорывается короткое тепло. Горы — в облаках, в дыму <...>

Из Москвы ничего не пишут. Получил только от М. А. пакет с клубными повестками, но без всякой записки. А се-

годня получил телеграмму от Географического издательства с просьбой разрешить им издать сборник моих рассказов и очерков о природе. Я, конечно, согласился. Что-то густо пошли сборники.

Я работаю — час, полтора в день.

Ловлю рыбу со скал у Карадага. Вода прозрачная, дно — совершенно сказочное, и я больше смотрю, чем ловлю. Вчера видел под водой морского петуха с лазурными крыльями и совершенно красную пурпурную рыбу. Говорят, это морской налим.

На днях рыбаки поймали в сети акулу, я взял ее хвост, хотел засушить, но хвост этот у меня со слезами выпросил маленький мальчик Шурка — сын сестры хозяйки.

Ходил третьего дня в Мертвую бухту (за мысом Хамелеон) с чудесным пожилым украинским писателем Гордиенко — неслыханным добряком и отчаянным рыболовом-неудачником.

Эта бухта — место таинственное, совершенно гриновское. Вода тихая, темного оливкового цвета, и из нее все время выскакивают огромные стаи кефали. Но на удочку они не берут.

Всюду нас преследуют знаменитые южные «пацаны» — Жорки, Витьки, Шурки — в рваных кепках ловят нам крабов, копают червей и вообще обслуживают с невероятным азартом и энтузиазмом. Расплата за все — только на крючки. Крючок по здешнему пацанскому твердому курсу равен трем рублям. Это уже выяснено <...>

Рыба ловится плохо,— за 5—6 часов можно поймать трех-четырех бычков или «лопотух» — очень красивая рыбка с черным пятном на боку.

Никто еще не купается. В воде — 12 градусов. Я уже загорел и, говорят, посвежел.

Много читаю, но медленно. Прочел (второй раз) книгу художника Петрова-Водкина «Пространство Эвклида». Очень здорово. И прочел воспоминания знаменитого инженера-кораблестроителя Крылова. В ней, кстати, упоминается о родственниках Алеши Арбузова — Мандражи — старике (очевидно, деде) и сыне. Оба были агентами РОПИТ'а (Русского общества пароходства и торговли) и отличались необыкновенной деловой ловкостью.

Тань, Тань, присылай мне хотя бы коротенькие телеграммы. Ты молчишь, и из Москвы нет никаких известий (о квартире), и мне уже хочется сорваться отсюда и ехать к тебе. Тревожно почему-то. Очень я соскучился.

Здесь много детей, но такого сказочного мальчика, как Алешка, нет. Очевидно, он и вправду особенный.

Обнимаю тебя, целую очень, и Алешку расцелуй за меня.

Твой *Котька.*

Должно быть, у вас такие же холода и дожди, как и здесь.

Как Галка окончила школу,— ничего не знаю.

У меня беда,— остановились без всякой причины часики (я их очень берег).

МОЛОДЫМ ПИСАТЕЛЯМ

27 декабря 1953 г. Москва

У иранского поэта Саади есть двустишие:

Будь щедрым, как пальма, а если не можешь, то будь
Стволом кипариса — простым и прямым,— благородным.

Это двустишие целиком относится к писателям, и в частности к молодым. Писатель в своем творчестве должен быть щедр, прост, смел, благороден.

Я искренне желаю молодым нашим писателям этих высоких качеств и, кроме того, напряженной работы, накопления большого жизненного материала, сознания важности своего труда и непрерывного совершенствования в мастерстве. Наконец, я желаю им (как это ни покажется странным) не столь легкого писательского пути, каким он зачастую бывает сейчас у молодых, начинающих авторов. Писателю нужна стальная закалка, а вырабатывается она в преодолении трудностей мастерства и жизни.

К. Паустовский.

Б. С. ЕВГЕНЬЕВУ

6 февраля 1954 г. Ирпень

Дорогой Борис Сергеевич!

Только что получил Ваше письмо. Спасибо.

С Вашими поправками я вполне согласен,— Вы редактор очень бережный и точный и этим завоевали мое сердце.

Как было бы хорошо, если бы эта строфа: «Я памятью

живу с увядшими мечтами» — относилась к матери Лермонтова, но ничего не поделаешь. Это надо снять.

Я бежал в Ирпень от заседаний, рукописей, «Литературной газеты», Литературного института и всей прочей сумятицы московской жизни. Работаю запоем и очень этому рад.

Здесь тихо, безлюдно, все в снегу.

Украинские «писменники», живущие здесь,— люди, как на подбор, молчаливые. Поэтому никто не мешает.

Я пробуду здесь до первого марта (очевидно). Как с гранками? Я думаю, что присылать их мне не нужно, я целиком полагаюсь на Вас.

Будьте счастливы и здоровы.

Сердечный привет.

К. Паустовский.

А. К. ПАУСТОВСКОМУ

16 февраля 1954 г. Ирпень

Маленький мальчик Алеша!

Две мохнатые собачки — Рябчик и Мячик — тебе кланяются и просят сказать, что это только зимой их зовут Рябчик и Мячик, а летом их зовут Звонок и Свисток. Тут у всех собачек по два имени — одно зимнее, а другое летнее.

Я ездил в город Киев и жил у дяди Юры Смолича. У него в квартире летают по комнатам зеленые попугаи. Только в кухню их не пускают, потому что там горит газ и они могут обжечь себе крылышки. И еще их не пускают в ванную, потому что они очень любят пускать себе душ, им кажется, что это идет летний дождь и они летают под этим дождем и поют, и очень брызгают на стены.

Я «аботаю» и скоро приеду. В Киеве недавно узнали, что Алеша Паустовский стал очень хорошим мальчиком, и по этому случаю, когда я был в Киеве, на всех домах вывесили флаги. И дядя Юра Смолич тоже вывесил у себя на балконе большой красный флаг. Так что ты смотри, слушайся маму, Галку и бабушку.

Целую тебя, поцелуй от меня маму и Галку (в нос) и бабушку.

Твой *папка.*

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

26 февраля 1954 г. Ирпень

Что ж это ты вдруг взволновалась, Танюха, глупый мой человек, любимый мой. Вчера получил два твоих письма. Одно — о Географиздате, а второе — встревоженное. Ты — прелесть, моя Танька,— ты же знаешь, что тебя я люблю, как никого и никогда в жизни, и есть в мире одно только близкое и родное сердце — это твое. Я пишу реже, потому что работаю и время идет от этого быстрее. И еще, может быть, потому, что скоро уже кончается мое ирпенское заточение и я вернусь к тебе.

Вчера послал Алешке письмо со стишками. Получил ли он? Это письмо придет до твоего отъезда в Солотчу. Я очень-очень тебя прошу — будь осторожна, не надрывайся. Все ненужное или слишком громоздкое — продай или просто оставь Софье Павловне. Жаль, нет Вани — он бы тебе все упаковал.

Возьми Семена и еще кого-нибудь. Где ты будешь жить,— у Софьи Павловны, конечно.

С домом в Плютах все остается «в силе», но этот юноша (Юра), человек честный и мягкий, не может поговорить с матерью,— она лежит без сознания и дни ее сочтены. Во всяком случае, до отъезда моего все выяснится, а приставать к нему сейчас нельзя. Как перевести деньги — узнаю.

Работаю, кажется, хорошо.

Уже написано (вместе со старыми главами,— их 14) 24 главы.

Осталось написать шесть глав. Я думаю, что к 10 марта я кончу, дня 2—3 буду править — и все!

Здесь горе — умер Яновский — чудный человек и хороший писатель. Я его хорошо знал. Конечно, инфаркт.

Завтра я поеду в Киев на 2—3 часа,— надо быть на похоронах. Смоличи пришлют машину. Яновскому очень трудно жилось, сейчас ему наконец повезло. Он написал пьесу, третьего дня была премьера, успех, говорят, оглушительный. И тут же после спектакля — инфаркт. От волнения, на этот раз — радостного. Тяжелая в этом смысле зима.

Что делается с людьми (в литературе), не могу понять. С. дал мне рассказ — очень слабый, очень наивный. Не знаю, что ему сказать. А человек он — чудесный...

Как вы все там? Я страшно соскучился (не то слово) или, как здесь говорят, «скучил» по вас.

Алешку просто не могу вспоминать без умиления. А что Галка? Пусть не пугается и себя не пугает,— не бог весть что эти экзамены.

С Географиздатом ты поступила очень правильно. Хамов надо бить. Ни в какой Китай я не поеду,— у меня есть Танька. Так что Галка может меня за это презирать. И Арбузов тоже не поедет,— все это сотрясение воздуха.

Здесь морозы, но легкие. Очень много солнца.

Очень тебя обнимаю, Тань-Тань. Когда выедешь в Солотчу — телеграфируй. Всех целую.

Твой *Костик.*

Смотри не простудись. Оденься потеплее.

Привет Соньке, Павлу и всем!

Е. Г. и Ю. К. СМОЛИЧАМ

30 марта 1954 г. Москва

Дорогие Смоличи — Елена Григорьевна и Юрий Корнеевич! Я сразу попал в «московскую мясорубку», и уже нельзя ни охнуть ни вздохнуть. После «выселения» из киевской гостиницы события пошли стремительно. Очень обидно и нелепо, что не удалось даже попрощаться и поблагодарить Вас за все.

Сегодня получил рассказ («Юридический случай»). 2-го иду впервые в «Литературку» (до сих пор удалось прятаться) и дам этому делу ход. 2-го или 3-го буду в «Сов. писателе» и тотчас напишу или позвоню. Сейчас же я занят тем, что передиктовываю машинистке вторую часть «Далеких годов» и скрываюсь от всех.

В Москве новостей нет, кроме исключения Сурова из Союза и приезда театров «Комеди франсэз» и «Ля Скала», куда мы имеем слабую надежду попасть.

Ждем мая и Плютов. Татьяна Алексеевна ездила на грузовой машине в Солотчу за вещами, на обратном пути едва проскочила через Оку за несколько минут до того, как разбирали мост,— иначе она бы там застряла надолго. Но, в общем, мы отделались легким испугом. Вещи (в двух контейнерах) уже пошли в Киев на адрес Трофима Петровича. Уже готов план (проект) крошечного дома в Плю-

тах. Огейко обещал дать знать, когда участок будет закреплен, не сообщали ли Вам что-нибудь?

Увлечение проектом дома дошло до того, что даже Алешка (он почему-то стал очень тихим) нарисовал план дома, длинного, как колбаса, причем между комнатами для комфорта помещается множество уборных, ванн и кухонь,— примерно по три ванны на каждую комнату и по две кухни. О таком доме не смеет мечтать даже Корнейчук. Нас с Татьяной Алексеевной сильно смущает «гениальная идея» Трофима Петровича Холоденко относительно работы на двух машинах,— не будет ли это в тягость для вас? Хотя Трофим Петрович и клянется («клянусь своими руками и ногами, чтобы меня мать не родила и чтобы мне не доехать туда, куда я еду»), что это никак не отразится на распорядке Вашей жизни, но мы боимся, что Вы согласились на это только по добросердечию. Ведь Трофим Петрович предлагает перегнать в начале мая машину из Москвы в Плюты, что, по его заверениям, займет всего двое суток. Как вы на это смотрите?

Летом я обязательно научусь водить машину. И Галка научится.

«Наш стол пьет за Ваш стол», все вас сердечно приветствуют. Кланяйтесь Софье Борисовне и Панчу. Привет Анне Онуфриевне и товарищу Холоденко.

Целую Вас обоих —

Ваш *К. Паустовский.*

Мы рекламируем здесь Вашу капусту. Москва заинтересована.

Б. С. ЕВГЕНЬЕВУ

2 июня 1954 г. Плюты на Днепре

Дорогой Борис Сергеевич!

Перед отъездом из Москвы хотел Вас повидать, но так и не удалось,— меня очень замотали и я просто бежал па Украину.

Живу в 40 километрах от Киева, па хуторе Плюты, на самом берегу Днепра, у старого рыбака и философа «дида Мыколы». Постепенно оттаиваю.

Я так стремительно уехал из Москвы, что не успел толком ничего узнать о своих литературных делах, в частности о «Беге времени». Если не трудно, черкните мне несколько слов,— скоро ли выйдет «Бег времени»?

Хорошо было бы, если бы издательство из числа причитающихся мне авторских экземпляров прислало бы мне сюда два-три экземпляра. Посылать (и писать) мне нужно по адресу: Киев, ул. Заньковецкого 5/2, кв. 30 Ю. К. Смоличу, для меня.

Я сдал в «Сов. писатель» новую книгу — автобиографическую («Далекие годы» + «Беспокойная юность»).

До сих пор ничего не знаю. Когда определится судьба этой рукописи, то буду просить издательство, чтобы книгу эту редактировали Вы (если у Вас будет охота и время).

Пишите!

Сердечный привет.

К. Паустовский.

А. П. ДОВЖЕНКО

27 ноября 1954 г.

Дорогой Александр Петрович!

Посылаю Вам газету с рассказом, написанным под впечатлением Вашей замечательной «докладной записки». Не сердитесь, если что-нибудь не так.

Я пока что лежу (сердце). На днях, должно быть, встану. Тогда, надеюсь, увидимся.

Татьяна Алексеевна Вам кланяется. Привет Юлии Ипполитовне.

Ваш *К. Паустовский.*

В. А. КАВЕРИНУ

5 февраля 1955 г. Дубулты

Дорогой Вениамин Александрович!

Я сбежал из Москвы, сбежал от чужих рукописей, от настойчивых авторов. От Литературного института и всего прочего, чтобы хотя месяц поработать в относительном покое.

В день отъезда звонил Вам раз шесть, но никто к телефону не подходил.

Ради бога, умоляю, — присмотрите немного за нашей секцией (в смысле советов). Антонов работать отказался, а Либединский болеп. Буду Вам благодарен по гроб жизни.

Вернусь через месяц.

Здесь тихо, туманно, тепло. Море не замерзало.

Низко кланяюсь Лидии Николаевне.

Сердечный привет.

Ваш *К. Паустовский.*

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

6 февраля 1955 г.

Танюша, моя радость, спасибо тебе за все, за все,— за то, что ты живешь на свете со мной и возишься со мной. Я сразу заскучал и по тебе, и по Алешке, и по Галке.

Здесь есть чудесные игрушки для совсем маленького мальчика,— моторная лодка с матросом в полной форме. Хотел было послать с Зиной (она завтра едет в Москву), но неловко, она сердится на всех, что ей дают поручения.

Зина, видно, больна,— плохо выглядит, все время раздражается и от прежней жизнерадостности почти ничего не осталось. Бек очень мил и простодушен.

Остальные — почти все латыши, молодые и вежливые. Ходят без шляп, несмотря на дождь. Здесь тепло, туманно, снег почти весь сошел, по берегу залива высоким валом лежит битый лед,— намыло прибоем. Из комнаты слышно, как шумит море. Я живу в том доме, где мы останавливались с Соней и Галкой. Очень тихо. Комната большая, теплая. Бек предлагает, когда он уедет, перейти в его комнату (в другом доме, который зовут «шведским»). Там, говорят, очень комфортабельно, но я еще там не был. Может быть, перееду, хотя и не хочу перетаскиваться.

Я здоров и никак не могу привыкнуть, что у меня так много свободного времени для работы. Это, оказывается, огромное наслаждение. Уже начал работать.

Мои соседи — черногорский поэт Радуле Стиенский,— большой, неуклюжий и крепкий человек, и латышский писатель Ванаг, отчаянный рыболов. Но ловить пока негде, река (Лайлупа, до нее 5 минут ходу) еще во льду, а на море удочками не ловят. У Ванага своя машина, и он предлагает поехать с ним на какое-то незамерзающее озеро ловить лещей.

Работать никто не мешает, потому что все живут в разных домах (их тут не меньше восьми) и встречаются только в столовой. На соседней церкви бьют в колокол часы — по-старинному.

Кормят хорошо, но вообще в городе с продуктами (особенно с сахаром и маслом) плохо.

Их просто нет.

Вот и все мои новости, Танюша.

Напиши мне про Алешку, что он еще придумал. Здесь, в отдалении, особенно ясно, как я люблю тебя и этого трогательного и необыкновенного маленького человека. В общем, мы счастливые, конечно.

Целую тебя, Тань-Тань. И Алешку, и Галку, и всех. Привет Евгении Васильевне.

Твой *Костька.*

Когда машинистка перепишет Андерсена, пришли мне один экземпляр <...>

Андерсена я хочу немного сократить и дать в «Огонек» к юбилею (в апреле).

А. К. ПАУСТОВСКОМУ

16 февраля 1955 г. Дубулты

Ах ты, Алешка, мой маленький мальчик! Что ты делаешь в Серебряном Бору? А я очень скучаю по тебе и очень хочу тебя видеть.

Я ездил в город Ригу. Там все маленькие мальчики катаются на коньках прямо по улицам, а милиционеры бегают за ними и свистят. И там удрал из цирка старый медведь, об этом объявили по радио, и все — и взрослые и дети — попрятались по домам, пока его ловили 2 тысячи солдат. Поймали медведя в кондитерской. Он зашел туда, разогнал всех и начал есть большой торт с кремом и ворчать от удовольствия. Когда его вели на цепи обратно в цирк, он очень сердился, рычал и повалил по дороге будку, где продавали мороженое. Зовут этого медведя Саврас Григорьевич.

Здесь много снега, солнце и в море плавают дикие гуси.

Я нашел на пляже мячик, который забыл Кирилл Арбузов. Белочки играли им в футбол и сильно его поцарапали своими когтями.

Сколько ты уже знаешь букв?

Здесь говорят, что ты слушаешься маму, Галку и няню. Верно ли это? С двухствольным ружьем ты можешь охотиться на лисиц.

Целую тебя, маленький мой.

Твой *папа.*

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

25 февраля 1955 г. Дубулты

Танька, ты — глупая моя, преглупая Танька,— только что получил твое письмо. Чего ты тревожишься, маленькая моя, золотой мой человек, когда я тебя так сильно-сильно люблю и совсем не собираюсь «отпускать тебя от себя», а наоборот, побаиваюсь, как бы ты меня не прогнала за дурной характер.

Солнце мое, я очень соскучился,— больше, чем в прошлые свои отъезды. Ты ничего не бойся, напуганная смешная Танюшка. И не пускай беса хозяйничать в тебе (хотя это и бесполезно, потому что у Таньки такой характер, что бес иногда будет прорываться). Все думаю о тебе, об Алешке. Очень трогательно думаю, даже щемит сердце. Неужели Алешка так вырос и весь веснушчатый? Такой же весельчак или стал серьезнее? Вы все забываете, что он еще совсем крошечный человек со своими мыслями и выдумками и огорчениями. Не сердитесь на него.

В одном ты, может быть, права,— это в том, что работа берет у меня очень много, но ничего, ни одной пылинки не отнимает от любви к своей Таньке. Ты, кажется, до сих пор не понимаешь, что ты для меня — моя жизнь и что я поэтому — очень счастливый.

Работа «пошла», пишу много, иногда по пол-листа за день. Просто первое время я был занят другим (автобиография, Пришвин, студенческие дипломные работы), а кроме того, еще не втянулся. А сейчас работать уже легко и интересно (хотя по самому содержанию вещи — и трудно). Главное — интересно. Мне кажется, что эта книга будет очень непохожей на все, что я писал раньше,— по свободе письма и богатству материала. И вообще — очень не похожей на обычную прозу. Я боялся, что не взял нужных книг, но память меня не подвела и «подбрасывает» мне больше материала, чем даже нужно.

Атарову дать нечего (есть, правда, небольшой рассказ «Днепровские кручи» в «Сельском хозяйстве»), но вряд ли его стоит давать. Ты посмотри сама,— газета, кажется, у меня в столе, в среднем длинном ящике.

Что в «Сов. литературе на иностранных языках» не платят — я знаю. Ты все делаешь правильно, Танюшка.

Спасибо за посылку. Очевидно, завтра-послезавтра она придет.

Да, теперь я каждый день гуляю. Дни солнечные, ослепительные, но морозы (7—8°). Море во льду. У меня в

комнате тихо, тепло, уютно. Никто не мешает, хотя из Риги уже получаю много писем.

Покупаю себе копченую салаку и купил латвийской халвы!

Получил письмо от Галки,— ей отвечаю отдельно.

Сейчас пойду в Майори на почту. Поцелуй нашего мальчика в веснушчатый нос. Я ему завтра напишу.

Обнимаю тебя, Танечка, мой человек, и целую и не тревожься и будь осторожной.

Привет всем.

Твой *Костька.*

А. К. ПАУСТОВСКОМУ

3 марта 1955 г. Рижское взморье

Алешенька-веснушечка,— я покупаю каждый день на станции в буфете сдобную булочку и кормлю голубей и воробышков. Они меня уже знают и собираются около целой толпой. Воробышки все черные, все в саже и все растрепанные,— оказывается, они ночуют в трубах, потому что там тепло. И они отнимают у голубей самые большие куски. Сегодня по морю прошел пароход — ледокол — и поломал весь лед. И на пароходе был флаг, и на флаге был нарисован маленький мальчик, который стреляет из лука в лисицу. И пароход этот называется «Карабас-Барабас». Он пришел из Африки и привез для зоопарка в Ригу три тысячи обезьян.

Н. И. ЗАМОШКИНУ

20 марта 1955 г. Дубулты

Дорогой Николай Иванович!

Пользуюсь случаем, чтобы,— во-первых, поблагодарить Вас за память, за телеграмму (я послал Вам, в свою очередь, телеграфный ответ) и, во-вторых, сказать несколько слов о «Золотой розе». Она будет готова к концу апреля (совершенно). И тогда я Вам ее принесу.

Теперь о рассказе тов. Ратнера. Он дал мне его на прочтение и оценку. Я считаю, что рассказ психологиче-

ски верен, своевременен, и ежели Вы напечатаете его в «Октябре», то сделаете благое дело. Язык рассказа — простой, ясный.

Сердечный привет. Скоро увидимся.

Ваш *К. Паустовский.*

М. Л. СЛОНИМСКОМУ

13 апреля 1955 г. Москва

Я, конечно, свинья, но разве Вам милейший идеалист Ефим Добин не передал моих самых униженных извинений и пламенных приветов. Он же, этот Добин, был в Дубултах и целый месяц просидел со мной за одним столом (в столовой), и если у него есть хоть капля совести, то он должен подтвердить, что я беспрерывно вспоминал о Вас со слезами любви и раскаяния. А, в общем, свиньей оказался не я, а Галка, каковая Галка во время студенческих каникул ездила в Ленинград, и жила в «Европейской» (с отцом, ведущим драматургом Арбузовым), и жрала шоколад «Миньон», и с утра до вечера бегала по Эрмитажу, нарушив мой строжайший приказ немедленно позвонить Вам и посетить Вас и ничего в Ленинграде не предпринимать без Вашего благословения. Допрошенная по этому поводу, она созналась, что «очень стеснялась». А так как способность стесняться и смущаться есть украшение юности — то простите ее за это.

Я вместо Комарово уехал в Дубулты. Прожил там два месяца в романтическом доме на дюне, почти один. Работать там — прекрасно. Вчерне окончил «Золотую розу». Рассказа для «Невы» не написал потому, что я не двужильный... В Дубултах были ленинградцы... И, конечно, милый Добин. Жил Шкловский.

От Добина я слышал столько похвал Вашему сыну, что радовался за Вас и совершенно успокоился за будущее нашей советской музыки.

Как вы? Как оборачивается жизнь?

Я приехал и слег тут же с воспалением легких, сейчас выползаю из болезни. Никого еще не видел...

Когда будете в Москве? Ответьте, пожалуйста, не будьте мстительны и злопамятны.

Татьяна Алексеевна со свойственной ей решительностью купила крошечный домик на берегу Оки в живопис-

ном городишке Таруса. Вы приедете туда летом, и я Вас выучу ловить рыбу.

Сердечный привет Иде Исаковне,— она меня поймет лучше, чем Вы.

Татьяна Алексеевна и смущенная Галка приветствуют Вас. И я с ними.

Ваш *К. Паустовский.*

Ю. Г. САУШКИНУ

21 апреля 1955 г.

Дорогой Юлиан Глебович!

Я только что выкарабкался из воспаления легких (схватил его на Рижском взморье, куда ездил работать над новой книгой — «Золотой розой»). Очень жаль, что даже не мог поговорить с Вашими ученицами. Во всяком случае, в половине мая (если надобность не пройдет) я с радостью поговорю с молодежью и повидаю Вас.

Получаю много хороших писем о «Родных просторах». Они одинаково относятся и к Вам и ко мне.

Сердечный привет.

Ваш *К. Паустовский.*

Извините за помарки.

Мой телефон — Б.7.48.49.

А. К. ГЛАДКОВУ

27 апреля 1955 г.

Дорогой Александр Константинович!

Прочел «Первую симфонию». Прекрасная пьеса,— по очень точному ходу сюжета (он идет легко и свободно), по свежести и правдивости характеров, по живому блестящему диалогу. Очень здорово сделаны возвраты в прошлое. Поздравляю Вас. Пьеса будет идти с большим успехом и притом — долго.

Единственное, что, мне кажется, следовало бы чуть изменить,— это слова Гали в конце первой картины («Объясните научно, почему, когда хочется спать, чешется нос»). Как бы в этом месте зрители не загрохотали и тем самым сорвали хорошее лирическое место у Гали. И еще — Галя убеждается в своей ошибке (в последней картине) путем объяснения за сценой с Шориным. Почему-то хочется, что-

бы она убедилась в этом сама путем «обратного хода» совпадений.

Тугаринов говорит такие слова, как «анекдотец», «вопросик» и т. под. В этом есть привкус (правда, едва заметный) обывательского языка и некоего «профессорского шаблона».

Если будете печатать пьесу, то лучше уберите «пару секунд» (в ремарке). На стр. 38 — вместо «прибираться» или «прибирать» стоит «убираться».

Вот и все мои придирки.

Еще раз поздравляю Вас с настоящей, новой для нашей драматургии, смелой и свободной вещью.

Сердечно Вас приветствую.

К. Паустовский.

Извините за кляксы.

Н. И. ЗАМОШКИНУ

3 июня 1955 г. Таруса

Дорогой Николай Иванович!

Перед отъездом в Тарусу звонил Вам домой, вечером, но никто не ответил.

После того как машинистка переписала «Золотую розу», я ее перечитал и с полной очевидностью обнаружил, что нужно дописать еще две главы. Пишу их здесь и думаю, что в двадцатых числах июня все окончу и привезу Вам в Москву.

Не сердитесь на меня за эту задержку, но ничего не поделаешь.

В Тарусе очень хорошо. Окрестности сказочные. Недаром Таруса — приют художников.

Будете ли Вы в июне в Москве?

Сердечный привет.

Ваш *Паустовский.*

Н. И. ЗАМОШКИНУ

24 июля 1955 г. Таруса

Дорогой Николай Иванович!

Посылаю исправленную «Золотую розу».

Я довольно щедро пошел на уступки и думаю, что те-

перь уже возражений не будет. На большее я пойти не могу.

Может быть, нужно будет переписать рукопись,— есть перемаранные места. Тогда пусть редакция перепишет за мой счет.

В случае чего — напишите. Все ли будет в порядке? Сам знаю, как нудно писать авторам, но не поленитесь и черкните несколько слов.

Отдыхайте насколько возможно. Помните ходкое выражение, очень распространенное в дни нашей молодости: «Плюнь на все и береги свое здоровье»?

Сердечный привет. Кланяйтесь Михаилу Борисовичу.

Ваш *К. Паустовский.*

Б. С. ЕВГЕНЬЕВУ

26 июля 1955 г. Таруса

Дорогой Борис Сергеевич!

Пишу сие письмо, мучимый угрызениями совести. Не сердитесь, что я несколько затягиваю сдачу «Золотой розы»,— я ее понемножку шлифую и на днях Вам пришлю. Замошкину я сдал. Они (т. е. Храпченко и Замошкин) будут печатать «Розу» в сентябрьском и октябрьском номерах. Замечаний почти не было, если не считать нескольких «советов» Храпченко...

Вам я вышлю рукопись в совершенно исправленном виде.

Понемногу начал работать. Здесь хорошо, очень захолустно, но места вокруг чудесные,— много леса, грибов и ягод. Живем у самой Оки в лачуге, единственным украшением которой являются цветы.

В Москву не тянет. Приеду, должно быть, на несколько дней в августе. Где Вы будете осенью?

Как дела с «Повестью о жизни». Когда будут гранки или верстка? Мне бы хотелось прочесть лучше гранки,— есть несколько поправок.

Сердечный привет. Татьяна Алексеевна кланяется.

Ваш *К. Паустовский.*

Ю. К. СМОЛИЧУ

3 августа 1955 г. Таруса-на-Оке

Дорогой Юрий Корнеевич!

Письмо Ваше долго лежало в Москве (куда мы совсем не ездим). Валя-шофер целый месяц ковырялся в машине, так что связи с Москвой почти не было. Этим, а также страшнейшей жарой и разжижением мозгов объясняется столь поздний ответ.

Письму Вашему все мы были очень рады, и читали его сообща, и подвергли каждый пункт письма тщательному обсуждению, особенно Ваше неосторожное утверждение, что Средне-Русская низменность Вам не импонирует. Здесь красиво и совсем не низменно, да будет Вам известно, что Таруса стоит на горах (из белого камня) и Белокаменная Москва и Кремль построены целиком из тарусского камня. Вокруг — просторы и леса, чистые реки с водопадами — не считая могучей Оки, миллионы соловьев и цветов, подвесной мотор «Чайка», халупа, которую Татьяна Алексеевна превратила в нечто уютное, хотя реконструкция еще не окончена. По Оке ходят крошечные пароходы, на которых ездили Чехов и Левитан, а также поэт Бальмонт, живший в качестве дачника в Тарусе в те времена, когда он прогремел на всю Россию своими стихами: «Я изысканность русской медлительной речи».

Недаром в Тарусе жили и живут многие художники — Поленов <...> Крымов, Ватагин, тончайший Борисов-Мусатов. Недаром Тарусу зовут «русским Барбизоном».

Одно здесь плохо — это мат, непрерывно сотрясающий воздух над Средне-Русской низменностью. Поэтому мы с тоской вспоминаем о Плютах и Украине, где мы отдохнули душой от этого бедствия.

Рыбная ловля здесь вроде как на Днепре. Кстати, читали ли Вы в журнале «Юность» рыболовный рассказ Ванды Львовны? Если увидите ее, то передайте мои живейшие поздравления в связи с тем, что она вступила в «великое племя рыболовов» и мужественно призналась в этом «во всесоюзном масштабе». Рассказ очень живой и хороший — вот что значит писать по велению сердца, а не по...

У нас на участке мало деревьев (сажать будем осенью), но мы просто тонем в цветах. Я понемногу начал работать над третьей книгой автобиографической повести. «Золотая роза» должна идти в сентябрьском и октябрьском номерах «Октября»... Все здесь,— и Галка и Надежда Васильевна.

Все отдыхаем, особенно я, обнаружилось, что за эту зиму я порядочно устал или, как говорит наш шофер: «Я, Татьяна Алексеевна, совершенно не устал, но только сильно переутомился».

Планов на поездку пока нет никаких. На днях что-нибудь решим.

Как здоровье Софьи Борисовны? Все ли Вы уже в Плютах? Прижились ли деревья, посаженные Еленой Григорьевной? Что думает «за жизнь» дед Мыкола? Помнит ли нас? Что нового выкинул «Ленька-сумасшедший» и не изменилась ли философия Анны Онуфриевны?

Хочется знать о Вас все. Пьете ли калганивку, рискуя получить тепловой удар? Где Панч? Ловлю себя на том, что «ой як болыть мое сердце» по Украине.

Когда увидимся? Приезжайте в Тарусу. Как строится Ваша роскошная, фешенебельная, комфортабельная, показательная дача?

Как-то скучно жить, не ощущая вокруг веселой и заботливой деятельности Елены Григорьевны. Мы все ее целуем. Привет Софье Борисовне. И всем, всем, всем! Вас все обнимают.

Ваш *К. Паустовский.*

Не в Плютах ли Парася? Кланяйтесь ей от нас. И Корнейчуку тоже. И бабкам-снабженкам. И Леваде с печальными глазами.

Б. С. ЕВГЕНЬЕВУ

9 августа 1955 г. Таруса, Калужской обл.

Дорогой Борис Сергеевич!

Посылаю верстку «Повести о жизни» и рукопись «Золотой розы» — все сразу. Так как не было гранок «Повести», то я правил очень осторожно.

Верстку и рукопись повезла в Москву Татьяна Алексеевна.

В Москве она пробудет несколько дней, так что ежели что нужно, то позвоните ей.

Лето проходит, а впечатления никакого,— время взбесилось, недели уходят, как часы. В чем дело? Не понимаю.

Напишите мне, если будет время и охота,— я здесь ничего не знаю. Совсем замшел.

Сердечный привет Вам и всему Вашему семейству.

Ваш *К. Паустовский.*

А. А. СТЕПАНОВОЙ

20 сентября 1955 г. Таруса, Калужской обл.

Глубокоуважаемая Анна Артемьевна!

Извините меня за то, что так долго не отвечал на Ваше милое и сердечное письмо. Но я сравнительно редко бываю в Москве, много езжу, письма гоняются за мной по стране и, конечно, запаздывают.

Письмо Ваше я прочел без особого труда и был искренне рад ему, по существу такие письма — почти единственная поддержка для писателя в его мучительном и прекрасном труде. Признание со стороны читателей для нас (во всяком случае, для меня) несравненно важней, чем десятки критических статей, диссертаций и всего прочего.

Будьте здоровы и покойны. Если действительно мои книги были даже слабым лучом света, в частности для Вас, то я счастлив этим.

Ваш *К. Паустовский.*

М. Л. СЛОНИМСКОМУ

29 ноября 1955 г. Москва

Дорогой Михаил Леонидович!

Куда Вы пропали — не могу понять. Напишу Вам отдельно, а это письмо передаст Вам Нина Николаевна Грин — вдова Александра Степановича.

Она, очевидно, расскажет Вам о своих житейских горестях.

В Ленинград Н. Н. Грин едет по делам литературного наследства Грина, и я думаю, что Вы сможете оказать ей помощь советом и добрым словом.

Наши все пламенно приветствуют Ваших всех. Когда будете в Москве? Я мотаюсь между Тарусой и столицей.

Обнимаю Вас.

Ваш *К. Паустовский.*

Извините за конверт с ассирийским павильоном Сибири.

В РЕДАКЦИЮ АЛЬМАНАХА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

18 декабря 1955 г. Москва

Я прочитал историческую повесть писателя Балтера (Балтер мой бывший ученик по Литературному институту им. Горького) и предложил ему передать эту повесть для напечатания в Ваш альманах.

Повесть настолько интересна и написана на таком хорошем уровне мастерства, что я горячо советую редакции альманаха напечатать ее.

Наконец-то среди множества всяческих дел вспомнил и о том, что состою членом редколлегии альманаха и, как видите, стараюсь помочь ему хорошим литературным материалом.

Всего хорошего.

К. Паустовский.

К. А. ФЕДИНУ

1 января 1956 г. Москва

Костя, дорогой!

Поздравляю тебя с новым годом, обнимаю и хочу, чтобы этот год был, по крайней мере, не хуже старого. Поздравь от меня Нину, Сашу и обоих внуков.

Завтра я уезжаю в Карловы Вары — больше работать, чем лечиться и отдыхать. В последнее время я начал торопиться,— все кажется, что не успею сделать то, что задумано.

В связи с отъездом у меня к тебе одна просьба, касающаяся жены Александра Грина. Она просила Союз писателей помочь ей (не деньгами, а ходатайством о том, чтобы ее права на литературное наследство Грина были продлены...). Но секретариат отказал ей в этом <...>

Разве Грин не заслужил (как к нему ни относиться), чтобы его жена не была нищей. Все это равнодушие и мертвечина стоят поперек горла.

Нина Николаевна придет к тебе на прием. Не можешь ли ты посоветовать ей какой-нибудь выход.

Не сердись за докуку.

Обнимаю тебя. *Коста.*

А. К. ПАУСТОВСКОМУ

5 января 1956 г. Карловы Вары

Алешенька — золотой мальчик-балабошенька. Я тебя очень целую и люблю, как и мама. И жду не дождусь, когда мы вернемся в Тарусу и я тебе буду рассказывать про Чехию и чехов.

Здесь кругом горы и леса и из-под земли бьет горячая лечебная вода, как кипяток. Много воробьев, но они пищат по-чешски, и мы их еще не понимаем.

Мы ехали в поезде, поезд идет очень быстро, вдвое быстрее, чем у нас, и с нами ехал маленький мальчик — чех по имени Ярослав.

Чешские мальчики очень веселые, собирают коробки от наших спичек и даже дерутся из-за этих коробочек.

На станции Чоп наш вагон подымали высоко на воздух, когда меняли наши колеса на чешские — здесь другие колеса, и мы висели в воздухе и пили чай и совсем не боялись. По дороге мы видели на горах огромные замки, где когда-то жили рыцари.

Очень тебя целую, слушайся няню и жди нас. Передай привет Борису Петровичу и всем.

Твой *папа.*

Г. А. АРБУЗОВОЙ

6 января 1956 г.

Всем! Всем! Всем!

Чехия — очень уютная, разнообразная и милая страна. От границы до Карловых Вар — все время мягкие горы и буковые и еловые леса.

Маленькие поезда несутся, как сумасшедшие,— ходить по вагону почти невозможно. За окнами — крошечные городки, всюду колокольни церквей, и каждый клочок земли обработан, как будто это не земля, а золото. Железнодорожные пути чинят юноши в фетровых шляпах и девушки, похожие на кинозвезд.

Прагу почти не видели, но город старинный, просторный и уютный. Живем в бывшем отеле «Империал» — теперь санаторий, на четвертом этаже, в чудесной комнате с такой ванной, что Галка мылась бы в ней до утра.

Телеграмма из Москвы шла сюда 45 минут!

Снега нет, тепло, влажно, туман, на каких-то деревьях распускаются почки. За нашим окном — горы, леса, красивые виллы, пока ни с кем не познакомились, кроме попутчика,— специалиста по рыбе, который приехал сюда из Охотска (!). Чудеса!

Целую всех. Пишите авиапочтой и телеграфируйте. Пусть Галка вскрывает письма (деловые) — может быть, будет что-нибудь интересное.

Ваш *Константин Георгиевич.*

Г. А. АРБУЗОВОЙ

12 января 1956 г. Karlovy Vary

Галка, ты, конечно, прелестное существо. Это особенно чувствуется на отдалении. Очень жаль, что тебя нет здесь и ты не видишь эту действительно чудесную страну. Я без конца снимаю, чтобы хотя бы что-нибудь показать в Москве.

Когда мы впервые спускались из своего отеля «Империал» в город по пустынным улицам (вернее, улочкам) в вековых каштанах, нам встретился маленький старичок в железных очках, поздоровался («наздар!») и сказал почешски, что Карловы Вары — самый красивый город в Чехии. «Такие города, должно быть, бывают только в сказках Андерсена»,— ответил я по-русски. Старик понял, долго и ласково трепал меня по плечу и смеялся. Потом сказал: «Помогай вам бог в этой жизни»,— и ушел,— сгорбленный и кроткий. Открыл калитку, густо заросшую плющом, и исчез в каком-то уютном саду. Был туман, с деревьев капали крупные капли, внизу, в городе, звонили серебряные колокола в соборе Марии Магдалины.

Это — самое первое впечатление от Карловых Вар.

Здесь очень живописные дома с перекидными мостиками, наружными каменными лестницами, узорчатыми балконами, башнями и разноцветными черепичными кровлями. И что ни дом, то воспоминание.

Множество мемориальных досок: «Здесь жил Шопен», «Здесь жил Гоголь», «Здесь жили Паганини и Гейне». Совершенно блестящий список имен, начиная от Петра Первого и Суворова и кончая Эйнштейном, Рузвельтом и Стефаном Цвейгом.

Главная улица — в ущелье. По ней мчится в каменных берегах река Тэпла. Узкий проезд — только по одной стороне реки, а на другой — дома стоят в воде, как в Венеции...

Б. С. ЕВГЕНЬЕВУ

17 января 1956 г. Karlovy Vary

Дорогой Борис Сергеевич!

Привет Вам из Карловых Вар,— очень живописного, совершенно андерсеновского городка. Здесь — теплынь, как будто начинается весна.

Работать трудно из-за множества медицинских процедур, занимающих весь день.

Если Вы еще не посылали верстку «Золотой розы», то *посылать не надо.* Почта сюда идет довольно долго.

Прочту в Москве, куда мы вернемся к 5 февраля.

Никакие литературные новости сюда не доходят. Из писателей здесь Первенцев и украинский писатель Натан Рыбак.

Привет от Татьяны Алексеевны. Крепко жму руку. Наздар!

Ваш *К. Паустовский.*

А. К. ПАУСТОВСКОМУ

18 января 1956 г. Карловы Вары

Алешенька, маленький-маленький милый мой мальчик. Здесь живет старый грач. Он все время вертится около школы, а когда школьники выходят, то кормят его хлебом. А когда школа закрывается, грач впрыгивает в автобус, садится рядом с вожатым и едет на рынок, где тоже все его кормят. Зовут его «Пелью». Вчера я подарил на улице одному мальчику коробку от наших спичек, а другой совсем еще маленький мальчик так сильно заплакал, что мама подарила ему свою коробку и он сказал маме: «Дэкую»,— что по-чешски значит: «Спасибо».

У вас снег и мороз, а здесь совсем тепло и на горах лежит туман.

Здесь есть игрушечный магазин. Если какой-нибудь мальчик прижмется носом к стеклянной витрине этого ма-

газина, то сейчас же в витрине загорается чудная елка и горит до тех пор, пока нос остается прижат. Вот как!

Живи хорошо, слушайся няню и Галку (поцелуй ее от нас) и жди — мы скоро приедем.

Мама и папа!

Привет всем.

К. А. ФЕДИНУ

27 февраля 1956 г. Москва

Костя, дорогой, я приехал вчера из Тарусы и застал твое письмо. Был счастлив им и вместе с тем огорчен, что оно пролежало в Москве, дожидаясь меня, и я прочел его слишком поздно. Очень обидно.

Татьяна Алексеевна с мальчиком в Тарусе. Я говорил с ней по телефону. Она просит передать тебе самый сердечный привет.

Я приехал всего на два дня (сегодня юбилей Эренбурга, и мне надо выступать).

В среду утром возвращаюсь в Тарусу — дописывать 3-ю книгу автобиографической повести («Обвалы времени»).

Примерно в самом начале апреля я привезу готовую рукопись в Москву. Тогда мы все непременно увидимся и — да живет новая традиция!

Поцелуй Нину и внуков. Привет загадочно улыбающемуся Саше.

Обнимаю тебя.

Твой *Костя.*

Это письмо передаст тебе моя падчерица Галка. Она едет в Переделкино по своим студенческим делам.

Э. Г. КАЗАКЕВИЧУ

11 апреля 1956 г. Таруса, Калуж. обл.

Дорогой Эммануил Генрихович!

Мы не виделись целую вечность, и я не смог даже поговорить с Вами о «Литературной Москве». Сборник превосходный. Из прозы на первом месте Ваша повесть — это

прекрасная вещь, в двух словах о ней не скажешь, очерк Злобина и статья Пастернака. Федин несколько манерен и как-то искусственно тепловат, как остывающая грелка. Поэзия блистает. Совершенно поразительный Заболоцкий, и очень хорош молодой Рождественский. Как здорово, что сборник будет отныне периодическим. Поздравляю.

Я буду в Москве в начале мая (лежу в жесточайшем радикулите в Тарусе, отрезанный распутицей от всего мира). Тогда же смогу и поработать для сборника.

Вы знаете поэта Марка Шехтера? Хороший поэт. Его замалчивают критики и недолюбливают собратья по перу (поэты) за то, что он выпустил серию довольно едких эпиграмм <...>

Я думаю, что в «Литературной Москве» следовало бы напечатать небольшой цикл его лирических стихов. Пусть Маргарита Осиповна сменит гнев на милость и отнесется к нему помягче,— он этого заслуживает.

Я напишу ему, чтобы он прислал Вам для сборника свои стихи, прочтите. Очень стоит. К тому же Шехтер человек очень больной, вряд ли много проживет на свете, и ему, естественно, хочется, чтобы был услышан и его поэтический голос.

Я работаю над 3-й книгой автобиографической повести. Трудно. Особенно сейчас. Кое-чего я еще не понимаю.

Не болейте. Сердечный привет Вам и всем «нашим» — из редколлегии.

Ваш *К. Паустовский.*

А. Я. БРУШТЕЙН

5 мая 1956 г.

Дорогая Александра Яковлевна!

Я, как и Вы, провалялся полтора месяца в Тарусе с жесточайшим приступом радикулита (противная болезнь с противным названием), потом меня отрезало от всего мира разливом и распутицей, и только сейчас я попал в Москву. Узнал, что Вы в Переделкине.

Я глубоко и искренне благодарен Вам за письмо,— благодарен, как товарищу по трудному нашему делу и как другу по общности наших мыслей об искусстве. Я очень люблю и ценю Вас и поэтому, может быть, при встречах смущаюсь из-за своего неумения говорить и выразить все, что у меня на сердце.

Просьбу Вашу по поводу Козачинского я выполнил и договорился с Успенским.

Отдыхайте, поправляйтесь, радуйтесь, сердитесь, когда надо, и негодуйте, но не портите свое сердце. Так мало сердечности в нашей жизни, и в особенности в нашей мутноватой среде.

Посылаю Вам «Золотую розу» в плохом издании «Советского писателя». Весь тираж книги по загадочной причине был оставлен в Ленинграде и там продан и не был допущен даже до Москвы. «Штуки!» — как говорит мадам Ксидиас в пьесе Славина «Интервенция».

Искренне Ваш

К. Паустовский.

Н. Д. КРЮЧКОВОЙ

22 августа 1956 г. Таруса

Дорогая Надежда Дмитриевна!

Идет холодный обложной осенний дождь, а у Вас, наверное,— солнце, теплота и тишина.

Довольны ли Вы своим чайным домиком? Отдыхайте и не волнуйтесь из-за собрания. Посылаю Вам общий список вещей — в расчете на шесть томов — и распределение материала по томам.

Почти весь материал подобран, и ко времени Вашего возвращения в Москву я оставляю для Вас уже просмотренные мной и выправленные первые три тома. Моя поездка на «Победе» (с 5 сентября по 3 октября) не помешает и нас не задержит.

С 26 августа по 3 сентября я буду в Москве, а потом — в Одессу, откуда 5-го отходит «Победа».

Отдыхайте, будьте счастливы.

Ваш *К. Паустовский.*

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

7 сентября 1956 г. 11 часов вечера в Эгейском море.

Танюша, родная моя, радость моя, сегодня получил от тебя две радиограммы. Спасибо. Пишу тебе, Алешке и Галке по нескольку строчек,— кончается в ручке чернило (завтра куплю в Афинах).

Несмотря па необыкновенное шествие всяческих красот по бортам парохода, я уже очень соскучился по тебе, по мальчишечке, по Галке, даже по Тарусе. Здесь одиноко, но это отчасти хорошо. Никто не мешает смотреть и думать, а смотрю я, не отрываясь, часами.

В Москве, дома, все расскажу. Много удивительного. Босфор — это неслыханно, неожиданно, как будто у тебя на глазах проходит сказка. Стамбул оглушителен, Айя-София потрясает до слез. Да и многое здесь потрясает до слез,— приходится сдерживаться,— и Мраморное море и «море богов» — Эгейское море — праздничное, лиловое, затянутое голубым сверкающим туманом. И сквозь туман идут и идут древние, великие острова из розового известняка, серебряные от масличных рощ — Лемнос, Милос (где нашли Афродиту Милосскую), Лесбос, Санторин. Удивительный воздух, навстречу идут турецкие фелюги, расписанные киноварью, охрой, зеленью и синькой так ярко, что этому позавидовал бы сам Ван Гог.

Стамбул — это мировое торжище,— весь в минаретах, мечетях, дворцах, базарах, где продают летающих рыб, смешение всех народов, всех костюмов мира, сотни кораблей от древних парусников до белых пассажирских гигантов, сады и кладбища и леса кипарисов среди домов, древние акведуки рядом с американскими отелями — «последним криком» архитектуры. Все это расскажу — от Стамбула кружится голова.

Завтра на рассвете должны прийти в Пирей — гавань Афин.

Я встаю на рассвете, но днем сплю в шезлонге в тени на палубе. Совсем здоров. А как ты, Танюша. Почему не телеграфируешь о себе. Что в Москве и Тарусе?

Здесь из приятных людей — Акимов и ленинградские писатели Рахманов и Катерли. А все остальные — карловарские.

Целую тебя, светлая моя, очень-очень.

Твой *Котенька.*

Алешка! Я видел мулов, обвешанных серебряными монетами, бубенцами и лентами с огромными серьгами из бирюзы в ушах. И видел мальчиков-турчат, они ходят колесом по улицам и продают американскую жевательную

резинку. И видел такие пароходы, что даже ты не смог бы их обегать по всем палубам за весь день.

И еще много-много видел и буду рассказывать тебе «по заказу», когда приеду.

Целую тебя, мой мальчик.

Твой *папа.*

Галка, прелесть моя, кажется, кончаются чернила. Это ужасно. Завтра буду в Афинах — на твоей далекой старой прародине. Все вокруг — ошеломляюще и прекрасно,— об этом не напишешь,— все тебе расскажу.

Сейчас был неправдоподобный закат из всех красок мира, а теперь — ночь, пароход как будто висит во мраке, и с далеких островов приходит ветер со слабым, но явным запахом лимона.

Целую тебя, моя девочка.

Твой *К. Г.*

Я все время ловлю себя на том, что представляю маму, Алешку и тебя в этих необыкновенных и древних местах, и меня мучает совесть. Ты и Алешка должны все это увидеть,— у вас все впереди.

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

20 сентября 1956 г. Ламанш. 6 ч. утра

Танюша, радость моя, золотые височки, пишу всего несколько слов,— подходим к Гавру, и все пассажиры готовятся к Парижу, как к какому-то большому празднику,— даже самые толстокожие. Сыро, пасмурно, качает, и на горизонте горят еще маяки Франции и Англии. Океан был милостив,— шла только огромная, но плавная мертвая зыбь. Долго шли вдоль берегов Португалии,— пустынной страны с развалинами старинных крепостей и замков и суровыми монастырями.

Как ты, маленькая моя? Я здоров, за все время плаванья не было ни одного приступа астмы.

В Средиземном море спал на палубе, дул сырой и жаркий ветер, и костюм и рубахи промокали от него мгновенно. Рим меня потряс, и я многое понял, о чем мы только смутно догадывались раньше.

Я очень стосковался по тебе, по Алешке — по этому нашему маленькому чуду, — по Галке.

Много не пишу, так как это письмо придет, наверное, позже моего приезда и будет только «сувениром».

Трудно писать, — качает.

Очень-очень тебя целую, родная моя Танька, и целую всех.

Твой *Костька.*

В дороге много записываю и много снимаю, — не знаю, что получится. В Риме у меня сломался аппарат, поэтому многого не снял. Сейчас радист починил его.

Еще раз обнимаю тебя, Танюша. Будь спокойна.

Н. Д. КРЮЧКОВОЙ

16 ноября 1956 г.

Дорогая Надежда Дмитриевна!

Я все еще лежу со своим нелепым воспалением печени. Но сейчас уже лучше.

Посылаю 2-й том. У меня есть поправка к «проспекту».

В 3-й том я хочу включить «Золотую розу» и семь маленьких повестей, а в 4-й том — все три автобиографические повести («Далекие годы», «Беспокойная юность» и новую, только что законченную «Начало неведомого века»). В 5-м и 6-м томах пойдут, как и было решено, рассказы.

Дело в том, что автобиографические повести я не хотел бы разбивать, их надо печатать в одном томе. Кроме того, я не хотел бы печатать «Рождение моря», а при такой расстановке вещей отсутствие этой повести будет вполне «безболезненным» (в смысле объема и цельности собрания).

Как Вы думаете?

Всего Вам хорошего. Когда у Вас будет телефон?

Ваш *К. Паустовский.*

А. К. БАБОРЕКО

20 ноября 1956 г.

Глубокоуважаемый Александр Кузьмич!

Я очень благодарен Вам за Бунина, за Вашу статью о нем и за бунинские письма. Извините, что пишу Вам с таким опозданием,— меня не было в Москве, а потом я болел и до сих пор еще не оправился.

Бунина я глубоко люблю еще со своих гимназических лет, и все, что связано с ним, меня очень интересует. Недавно я был в Париже, очень хотел повидать Веру Николаевну, но не удалось,— она была больна. Я мельком знал Юлия Бунина и Евгения (в Ефремове). Он был акцизным чиновником и лечил весь город от ангины,— натирал горло хорьковыми шкурками.

Всего Вам хорошего.

К. Паустовский.

А. Я. БРУШТЕЙН

24 ноября 1956 г. Москва

Дорогая Александра Яковлевна!

Извините меня за то, что так долго не отвечал,— опять болел (надоело это ужасно) и встал только вчера.

И извините меня за то, что я пишу это письмо на бездушной машинке,— у меня ужасающий, неправдоподобный почерк, который я сам подчас не разбираю.

Спасибо большое от всего сердца за книги и за Ваше письмо. Я уже прочел «Дорога уходит в даль». Это так умно, так чудесно, так сразу и бесповоротно начинаешь любить Ваших людей и такую знакомую мне обстановку Вашего детства, что мне все кажется, будто и я, маленький гимназистик-приготовишка Костик, был тогда в Вильно где-то рядом с Вашей семьей.

Настоящие вещи в литературе — это колдовство. Вы — колдунья (не сердитесь). В «Дорога уходит в даль» проза превращается в живую поэзию, иными словами, достигает совершенства.

Есть редкие книги, существующие не только как литературные явления, а как явления самой жизни, как факты биографии читателя. Вот так и с этой Вашей книгой.

Она вошла в жизнь (в данном случае в мою) как одно из безусловных событий моей жизни. Извините, если я говорю неяспо.

Я не знаю — далек ли золотой век нашей литературы. Я верю, что он недалек. Появление таких книг, как Ваша, говорит о том, что канун свободной, человечной, большой литературы уже приближается. «Цепная реакция» освобождения литературы уже началась, и ничто и никто не сможет ее остановить.

Еще раз благодарю Вас и поздравляю с прекрасной книгой. Турков, оказывается, молодец.

Будьте здоровы, так же по-хорошему неспокойны, как всегда, и счастливы.

Ваш *К. Паустовский.*

P. S. На днях прочту остальные Ваши книги. Будет еще одна радость.

Л. Н. РАХМАНОВУ

24 ноября 1956 г. Москва

Дорогой Леонид Николаевич!

Я, конечно, свинья, что так долго не отвечал Вам. Но 1) я все-таки послал Вам «Золотую розу», 2) я болел (воспаление печени, очевидно, от тухлой пищи на «Победе») и только вчера встал с одра, 3) я заканчивал третью книгу автобиографической повести под названием «Начало неведомого века», передиктовывал ее, потерял голос и наконец сдал и 4) мне пришлось произнести некую речь по поводу романа Дудинцева и попасть, таким образом, в «глаз тайфуна» — иными словами, в центр урагана.

Я отпечатал около 500 фотографий. Есть очень хорошие (без хвастовства) — особенно Акрополь, Сорренто и Париж. Вам пока посылаю только фотографии, где Вы присутствуете в разных видах и качествах,— в обществе парижских манекенов с модными лицами и, извините, в Роттердаме, где вы выходите из некоего учреждения с вдохновенным лицом.

Все время вспоминаю наше путешествие, с нежностью думаю о Вас и благодарю судьбу за то, что она милостива ко мне и дает мне возможность встречать хороших людей.

Когда вы будете в Москве?

Гранину и Акимову пошлю фотографии позже. При-

шлите мне, когда проявите, меня. Я буду давать Ваши фото в журналы с подписью: «Снимок фотокорреспондента Л. Рахманова». Вам будут платить гонорар (по 15 рублей за снимок).

Москва бурлит.

Будьте здоровы, поменьше читайте чужие рукописи, будьте счастливы. Привет Вашей семье, Елене Осиповне и Слонимскому.

Ваш *К. Паустовский.*

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

12 марта 1957 г. Дубулты

Танюшенька моя, осталось мне здесь жить 18 дней. Я уже считаю дни. Получил телеграмму про плотников и маляра. Ты не волнуйся, если они и опоздают.

Я написал тебе, что мимоходом написал статью (для журнала «Москва») о живописи. Она короткая, но, кажется, удалась. Послал в Москву и сегодня получил от Галки телеграмму, что она уже отнесла статью, что Алешка здоров и что они скучают. Здорова ли ты? Ты ничего об этом не пишешь.

Я работаю, сначала шло трудно, но сейчас хорошо. Вчера переехал в Шведский домик, где жил в прошлый раз (до этого я жил в большом доме, довольно шумном и не очень уютном). Здесь же полная тишина, очень уютно и в окно видно море. Оно каждую ночь замерзает, а к полудню оттаивает и шумит. Снег почти сошел, днем уже в пальто жарко.

Миндлин — человек хороший, но беспомощный <...> Он остался в большом доме. Никто не мешает.

Звонили сегодня из Риги — все старейшие латышские писатели (всем уже по 80 и больше лет) — друзья Райниса, Горького, Блока и чуть ли не Чехова — устраивают мне в воскресенье прием на даче у одного из них, где-то в 30 километрах от Риги, на берегу залива, в рыбачьем поселке. Придется, очевидно, поехать. Хорошо, что взял костюм.

Гранин очень славный и заботливый.

Сегодня прилетели на море дикие гуси. Сейчас все время кричат,— очень красиво. Вдруг появились белки. Значит, скоро весна. Белки мешают работать, т. к. невозможно не смотреть на них. Сегодня была драка белки с дят-

лом. Белка, должно быть, спала в своем дупле, а дятел сел на соседнюю ветку и начал изо всех сил долбить. Белка выскочила взъерошенная, разъяренная и бросилась на дятла. Он начал вертеться вокруг ветки и отбиваться и, в конце концов, победил. А вчера белка ободрала кору на липе, надрала лыка, скатала его в маленький сноп и очень ловко, перебрасывая его с ветки на ветку, утащила в дупло, на подстилку.

Я здоров совершенно, даже кашель почти прошел.

Получила ли ты фотографии Алешки? Правда, он на них очень славный, особенно на той, где хохочет.

Здесь был какой-то литовский писатель из Вильнюса. Он рассказал о том, что я здесь, Кумписам, и я вчера получил от них письмо. Они предлагают на обратном пути в Москву заехать на 2—3 дня к ним в Вильнюс (?) и пишут много хороших слов.

Тань-Тань, береги себя, не бегай по морозу раздетая.

Как Паша? Как наш пес? Лучше его потом перевести подальше от забора, а то по тарусским нравам как бы не отравили.

Кланяйся Марии Сергеевне и Феодосию. И Штейнбергам, если они там.

Очень целую тебя, моя родная.

Очень.

Твой *Костенька.*

Э. Г. КАЗАКЕВИЧУ

14 марта 1957 г. Дубулты

Дорогой Эммануил Генрихович!

Письмо это Вам передаст молодой прозаик, студент Литературного института Юрий Казаков. Человек он очень талантливый и настоящий мастер. Автор он суровый (в этом есть что-то бунинское). Пожалуй, из всех молодых писателей, которых я знаю, Казаков пойдет на втором месте за Тендряковым.

Посмотрите его рассказы (особенно «Дым»). Я думаю, что они хороши для нашего альманаха, особенно при теперешнем голоде на рассказы. Да и без этой скидки они — настоящие.

Получил письмо еще от одного молодого — от Куранова. Он пишет, что его книга «Солнечный ветер» у Вас и Вам понравилась, и просит моего отзыва. Я правда плохо помню его вещь, но, кажется, в ней есть свежесть. Печа-

тать его можно, но предпочтение я отдаю, конечно, Казакову.

Читал ублюдочную статью Е. Ну их всех к чертовой матери! Надо делать свое дело.

Как третий номер? Мне никто ничего не пишет, даже Рудный.

Здесь Гранин,— очень милый он человек. В доме тихо, как в монастыре, работать хорошо. Весна. Вчера прилетели на море дикие гуси и всю ночь кричали за окном.

Я вернусь 1 апреля.

Привет всей уважаемой редколлегии.

Всего Вам доброго. Жму руку.

Ваш *К. Паустовский.*

А. К. ПАУСТОВСКОМУ

14 марта 1957 г. Дубулты

Святая Мария, какой у нас был вчера случай!!! За моими окнами белка подралась с дятлом. Белка спала у себя в теплом дупле, а дятел сел на соседнюю ветку и начал так долбить, что даже у меня разболелась голова. Белка проснулась, выскочила, разъяренная, как тигрица, и бросилась на дятла. Дятел (дятл) начал носиться вокруг дерева и удирать, но белка его догнала и так ударила по хвосту, что полетели перья. Тогда дятел изловчился и стукнул белку, и белка сорвалась с дерева, но зацепилась на лету лапками за ветку и так защелкала и зашипела от злости, что из всех дупел (или дуплов) повыскакивали все белки и загнали дятла в водосточную трубу на нашем доме, где он сидел всю ночь и боялся выйти. А сегодня утром он провалился по трубе вниз и упал в бочку для воды, весь вымок и улетел от досады в Ригу.

Это все было на самом деле.

У нас уже как будто весна, снег весь растаял и прилетели дикие гуси. Они всю ночь кричали на море.

Что ты там делаешь, в Москве, Алешенька? Я уже скоро приеду. Я очень соскучился по тебе и Галке, твоей сестричке. Смотрите не обижайте друг друга. «Ссор, ссор — никогда, мир, мир — навсегда».

В Риге продают воздушные шары, и на них нарисованы золотые крокодилы. Латышские школьники ходят в

очень красивой форме, в круглых низеньких шапочках с белым кантом и с портфелями из змеиной кожи.

Может быть, завтра напишу тебе получше и побольше. Тороплюсь на почту.

Целую тебя, мой маленький мальчишечка. Поцелуй Галку. Кланяйся бабушке и Эмилии Львовне. И Соне.

Твой *Папка.*

Н. Д. КРЮЧКОВОЙ

21 марта 1957 г. Дубулты

Дорогая Надежда Дмитриевна!

Посылаю комментарии к третьему тому. Я думал, что они будут нужны в начале апреля (или я, по рассеянности, что-нибудь напутал).

Пришлось писать по памяти. Если у Вас сохранился первый вариант комментариев, то надо оттуда взять даты и номера журналов,— я их на память не решаюсь ставить.

Вернусь в Москву 2-го апреля и тотчас Вам позвоню и буду сдавать четвертый том.

Совершенно не знаю, что у Вас делается. Здесь тихо, как в монастыре. Работаю над второй книгой «Золотой розы». Думаю, что в мае ее окончу.

Что слышно с подпиской? Здесь в Риге предварительная подписка, кажется, закончилась.

Совершенно отошел от московских дел и тревог. Очень хорошо. А Вы, конечно, замучились.

Началась весна, все развезло. Тепло, море в густом тумане. Прилетели дикие гуси и всю ночь кричали на море. Белки дерутся за окнами с дятлами.

Всего Вам доброго. Скоро увидимся.

Ваш *К. Паустовский.*

М. И. СИЗОВОЙ

8 июля 1957 г. Таруса

Многоуважаемая Магдалина Ивановна.

Извините великодушно, что я так долго читал Вашу рукопись. Но у меня было множество очень срочной и кропотливой работы с собранием сочинений, меня дергали каждый день, и не было возможности сосредоточиться.

Ваша «Хроника» мне понравилась,— от нее на меня повеяло нашей общей далекой и хорошей молодостью. Очень хорошо и точно дана эпоха, самый ее запах и вкус. Прекрасно написаны люди, особенно хорош Лев Иванович и отец Николай Семенович. Кое-кого я, кажется, узнал, например, Андрея Белого. Простите, если ошибаюсь.

Я думаю, что эту вещь можно напечатать после некоторых исправлений (стилистических). Но где. Пожалуй, лучше всего в журнале «Москва». Надо показать ее главному редактору этого журнала Борису Сергеевичу Евгеньеву. Он человек со вкусом и с широким пониманием литературы. Вещь о Москве,— о ее прошлом, о предреволюционном времени, для журнала это подойдет.

Что касается исправлений, то мне кажется, что вещь нужно чуть упростить в смысле языка,— местами он слишком изыскан (это тоже в стиле тогдашней эпохи). Есть повторения образов («крылья облаков» и другие). Все это легко сделать.

Итак, действуйте. Желаю Вам успеха.

Ваш *К. Паустовский.*

З. А. НИКИТИНОЙ

25 сентября 1957 г.

Дорогая Зоя Александровна!

Посылаю три прочитанные рукописи. Сегодня вечером уезжаю в Одессу, потом в Батум и Ялту. Весь октябрь пробуду в нашем ялтинском Доме творчества (ул. Кирова, 9). Привет всем.

Мое мнение о рукописях.

Шарова «Три судьбы». Очень интересная книга, очень ценная для альманаха, несколько повторяющая манеру Поля де Крюи, но ничего не имеющая общего с научными суррогатами П. Книга написана с подлинной и большой гуманностью и органически соединяет сложнейшую научную теорию — неэвклидовую геометрию Лобачевского — с судьбой трех великих математиков — Лобачевского, Боли и Гаусса.

Есть повторы. Было бы лучше разбить книгу, особенно в научной ее части, на небольшие подглавки и дать каждой подглавке название. Это сделало бы материал более легким для читателя. Надо проверить (самому авто-

ру) язык, чтобы упростить его, так как местами он громоздок.

Н. Равич. Воспоминания. Печатать можно, очень интересные факты, особенно о Кольцове, но много уже известного и к тому же бегло рассказанного. Я слегка выправил рукопись. В разделе о Толстом есть место, очень характерное для Толстого, но вряд ли его следует печатать (стр. 8, отмечено вопросительным знаком).

А. Бруштейн. Суд идет. Необычайно непритязательный и искренний рассказ, написанный к тому же очень обыденным разговорным языком. Взят как будто незначительный случай, но на нем раскрыта и эпоха и даны очень лаконичные, сразу запоминающиеся образы людей. Стилистически рассказ надо бы немного почистить,— убрать из него обилие уменьшительных и ласкательных слов,— это все от «детской» литературы.

Всего Вам хорошего. Что слышно о Коле? Если не лень, то напишите мне в Ялту о столичных новостях.

Ваш *К. Паустовский.*

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

10 октября 1957 г. Ялта

Танюша, родной мой человек, в последние дни я много думаю о тебе и о себе и о нашей жизни, и если бы не эта проклятая астма, то я был бы,— в этом я уверен,— самым счастливым человеком на свете. Бог послал мне тебя, солнце мое, уж не знаю за что, за какие мои такие заслуги. Здесь, в Ялте, где так много прожито, все напоминает о тебе, каждая улица, каждый дом. Я очень-очень тебя люблю, Танюша. Я знаю, что из-за меня ты переносишь очень тяжелые для себя вещи и идешь на большие жертвы,— и это одно только мучает меня. Я оказался плохим, но я очень люблю тебя, и, может быть, от этого тебе не так трудно, как могло бы быть.

Пожалуйста, береги себя ради нас всех, хотя бы ради рыжего Алешеньки (все-таки он бедный мальчик,— слишком много у него всяких волнений).

Я очень соскучился (это — не то слово), мне теперь трудно жить без тебя, без Алешки, без Галки — должно быть, из-за возраста, из-за того, что начинаешь как-то особенно остро ценить каждый день.

Хотел вернуться домой раньше срока, но до срока-то

осталось всего две недели, и я думаю, что доживу здесь, чтобы немного поработать. Погода исправилась, много солнца, и началась крымская осень — с ее удивительным воздухом. Но если станет невмоготу, то приеду раньше.

На пароходе дышать было тяжело, особенно когда шли у берегов Кавказа. Пароход очень комфортабельный, пышный, богато отделанный, но почти без вентиляции. В каюте было 30 градусов жары, и голова все время кружилась от дикой духоты.

В Крыму я дышу совсем хорошо.

Одесса очень хороша. Были на 16-й станции Фонтана у Соколова-Микитова. Он очень постарел. Приезжал к нам в Лондонскую. Были курьезы. Я пошел в Одесскую публичную библиотеку (посмотреть старые комплекты «Моряка»), молодежь узнала об этом, и кончилось все тем, что директор библиотеки вывел меня какими-то подземными ходами на дальнюю улицу, чтобы «спасти» от толпы, собравшейся около библиотеки. Такие случаи в том или ином виде повторялись и на пароходе, и в Сухуми, и в Батуми, и все это очень утомительно, и я боюсь теперь называть себя. Но Алянскому все это нравится, особенно в тех случаях, когда помогает жить. Он очень милый человек, но педант и ворчун.

На Кавказском побережье хороши только Батум и, как это ни странно, Новороссийск.

Сухум — заплеван, затоптан, запружен толпами пошляков и пропах бараньим чадом и бензином.

Сочи — пышный и неприятный город, расцвет «ампира». Батум — уютный, тихий, пропах кофе.

В Батуми с нами была Нина Алянская. Ездили на Зеленый мыс в удивительный Ботанический сад. Нина живет там в маленьком доме в густых тропических зарослях.

Новороссийск — очень морской, построен на каких-то полынных пустырях, в нем есть что-то гриновское. Масса рыбаков. А главное — нет курортников.

Ялтинский дом пышен, неуклюж, безвкусен. Так жаль старого чудесного дома. Сейчас внутри все в пунцовом и ядовито-голубом бархате — портьеры, гардины, мебель — все как в плохом бардаке или игорном доме<...>

Здесь Либединский, Ступникер, Вирта с Таней, Данин, Разумовская Туся и очень милый человек Малюгин<...>

Я начал работать, но как всегда после большого перерыва, пока что туго.

Был на Царской тропе в Ливадии,— там пустынно, доцветают последние цветы, очень трогательно и красиво.

Парк около нашего дома не изменился,— остался даже старый фонтан.

Очень мне интересно, что в Тарусе, д. б., уже уютно, по-зимнему. Не заматывайся, Танюша, и не торопись.<...> Обнимаю тебя, Танюша, моя радость. Не болей, не волнуйся. Поцелуй всех — и маленького кишонка-гимназиста, и Галку, и Марию Алексеевну.

Моя комната — окнами на порт. Комната маленькая, с балконом (лоджией). В доме — очень тихо.

Жду писем.

Твой *Костька.*

О. П. ВОРОНОВОЙ

6 января 1958 г. Таруса, Калужской обл.

Дорогая Ольга Порфирьевна!

Получил «Пятигорскую правду» с Вашей статьей.

Спасибо Вам большое за превосходную статью, каждая такая статья — это капля бодрости. Я далеко не избалованный человек статьями в столичной печати, очень люблю провинцию,— там люди непосредственнее, чище, отзывчивее и, вопреки шаблонному взгляду, гораздо лучше знают литературу и гораздо сильнее любят ее, чем москвичи.

А Ваша статья по своему «классу»,— то есть по точности мысли и живости и чистоте языка, совершенно не «провинциальная».

Еще раз благодарю и крепко жму руку.

К. Паустовский.

Н. Д. КРЮЧКОВОЙ

21 января 1958 г. Таруса

Дорогая Надежда Дмитриевна.

Посылаю примечания к 5-му и 6-му томам.

Несколько разъяснений и просьб.

У пьесы «Стальное колечко» надо переменить название на «ПЕРСТЕНЕК». «Рождение моря» я меняю на название «ГЕРОИЧЕСКИЙ ЮГО-ВОСТОК». Если материала много, то можно вынуть «Снегопад» из 5-го тома, а из 6-го — «Случайные мысли» и «Предисловие к ненаписан-

ной книге». Еще одна просьба, в 5-м томе в разделе «Литературные портреты и заметки» есть очерк «Приморские встречи». Будьте добры, посмотрите его в той части, которая касается репортера Ловенгарда. Нет ли там слишком открытых совпадений или повторений с тем же Ловенгардом в «Потоке жизни», т. е. в статье о Куприне.

Вот, кажется, и все.

Жду гранок четвертого тома.

Ваш всем сердцем (как говорят французы)

К. Паустовский.

Л. Н. ДЕЛЕКТОРСКОЙ

17 февраля 1958 г. Таруса

Дорогая Лидия Николаевна! Умоляю,— простите меня за мое безобразное молчание. Не сердитесь. Понять — это значит простить. Поэтому поймите и поверьте, что писать в течение прошлого года мне было трудно.

Я все время порывался писать Вам, постоянно вместе со всеми вспоминая Вас, думал о Вас, и все эти воспоминания были связаны с чувством глубокой нежности и грусти.

Мне сильно мешает сейчас моя астма. Она все усиливается, и потому сейчас я все время живу в Тарусе — маленьком городке на берегу Оки, в 130 километрах от Москвы. Так требуют врачи,— жить здесь или на юге, в тепле.

Я бесконечно благодарен Вам за то, что Вы перевели «Золотую розу» на французский язык. Я понимаю все трудности этого перевода, поздравляю Вас и просто преклоняюсь перед Вашим мужеством. Я знаю, какие муки испытывали переводчики «Золотой розы» на английский и немецкий языки,— они присылали мне отчаянные письма.

Сейчас я пишу Вам из Тарусы, из такой глубокой и снежной зимы, какую невозможно представить из Парижа, а тем более из Ниццы. Судя по почтовому штемпелю, Вы сейчас в Ницце.

На днях звонил из Ленинграда Рахманов, и мы вспоминали Вас. Он такой же тишайший и милый человек. В Художественном театре идет его пьеса, он много работает и болеет. Елена Осиповна больна,— у нее воспаление легких. Не видел ее давно. Чаще всего вижу Данилу Гранина. В марте прошлого года я жил в нашем доме твор-

чества под Ригой (в Дубултах) вместе с Граниным, в маленьком доме на дюнах на самом берегу Балтийского моря. Однажды поздним вечером Гранин пришел ко мне и прочел свой рассказ «Поющий туман» — совершенно прелестный. Не выдавайте меня, но он сказал мне тогда, что написал рассказ о Вас; он мне его не читал,— стесняется. Но, конечно, прочтет.

У меня начало выходить собрание сочинений (в шести томах). Не знаю, можно ли его достать в Париже. Уже вышло три тома.

Сейчас пишу четвертую книгу автобиографической повести (вернее, эпопеи) и вместе с тем небольшие рассказы, вызванные поездкой на «Победе». Два из этих рассказов будут напечатаны в мартовской книге журнала «Москва». Доходит ли он до Парижа? Мне бы почему-то хотелось, чтобы Вы их прочли.

Как Ваша сестра? Что делает? Пишите мне, умоляю. Буду отвечать тотчас, клянусь. Мне лучше писать не на Тарусу, а на Москву. Корреспонденцию из Москвы мне привозят регулярно.

Напишите мне о дальнейшей судьбе перевода «Золотой розы». Независимо от того, будет ли он напечатан, я очень хотел бы увидеть его, если это не слишком сложное дело.

Еще раз поздравляю Вас (а кстати — и себя) с Вашей работой.

Целую Ваши руки. Будьте счастливы, спокойны, радостны. Привет Вашей сестре.

Ваш *Паустовский.*

P. S. Посылаю Вам плохую любительскую фотографию, снятую в октябре прошлого года в Ялте. На пей — Ольга Форш, старейшая писательница (ей, кажется, 84 года),— очень живая, очень умная старуха, и Юрий Либединский.

Извините за помарки и за оторванную часть письма. Там был вид Москвы, но мой мальчик Алеша (ему $7^1/_2$ лет) оторвал его. Сказал, что это ему очень нужно.

Л. Н. РАХМАНОВУ

15 марта 1958 г. Таруса

Дорогой Леонид Николаевич! Спасибо Вам за память, за письмо. Я постоянно вспоминаю Вас, с какой-то особенной трогательностью, вспоминаю наше плавание и откры-

ваю в нем все больше и больше интереснейших частностей, которые сразу почему-то не запомнились, а всплывают сейчас.

Век эпистолярный, очевидно, закончен. К великому сожалению, все труднее писать письма (или это мое собственное отвратительное качество). Много значит и болезнь — астма. Она усиливается из месяца в месяц, несмотря на мое отчаянное сопротивление. Она очень утомляет, и большей частью меня хватает в течение дня на 3 — 4 страницы прозы, а потом я выдыхаюсь и с трудом пишу даже письмо. Несмотря на то что я, как говорит Шкловский, писатель «с приводом», Союз писателей посылает меня лечиться в Китай, но — на грех — тот род астмы, какой у меня, китайцы лечить не могут. Но, в общем, пес с ней, с астмой, надоело о ней говорить.

Много возился с собранием сочинений — это адовая, кропотливая работа, при которой стоишь на месте,— возни много — и никакого движения вперед. Тем более что к большинству своих старых вещей я отношусь подозрительно, и если бы мог, то переписал их бы всех наново.

Сейчас пишу четвертую книгу автобиографической повести.

Как Вы? Не болейте, ради бога. Так хочется увидеться с Вами, приехать в Ленинград, но из-за астмы я прикреплен к Тарусе. Даже в Москву врачи меня не очень пускают. Напишите, когда Вы будете в Москве.

Из ленинградцев вижу только Гранина (весной прошлого года в Дубултах, потом на правительственных приемах) — он чудный парень, но что-то вроде хитрит. Или так мне кажется? Недавно получил письмо от Лидии Николаевны,— очень милое, дружеское, с воспоминаниями о всех нас (парижанах). Она перевела на французский язык «Золотую розу». Намучилась страшно. Письмо пришло из Ниццы, но писать она просит на парижский адрес...

Где будете летом? Напишите. Как Ваше семейство? Встречаете ли Веру Федоровну? Она написала книгу, которую я не могу читать без страшного душевного волнения,— повесть «Сережа». Это, конечно, высокая классика. Если увидите Веру Федоровну, то передайте ей... мой глубочайший привет.

В Тарусе я только с Татьяной Алексеевной, но ей приходится часто ездить в Москву — к мальчику. Здесь небывалая зима, дом завален снегом под крышу, тишина и дивный воздух, но городок диковатый, пьяный, темный, как во времена Иоанна Грозного.

Привет Катерли (как ее здоровье), Гранину, Орлову (с бородой), Цимбалу (если хотите).

Обнимаю Вас, целую и прошу только одного,— чтобы Вы не сердились на меня за молчание,— оно ничего не означает, кроме «замороченности».

Низко кланяюсь Вашей жене.

Извините за помарки. Писать мне можно в Москву и сюда — все равно...

Ваш *К. Паустовский.*

Э. Г. КАЗАКЕВИЧУ

25 марта 1958 г. Таруса

Эммануил Генрихович, дорогой мой, не писал так долго потому, что замотался с последним томом собрания сочинений. Я не столько жалею Вас, сколько завидую в благородном смысле этого слова,— завидую великолепной и по-настоящему еще нетронутой теме, размаху романа, даже той адовой работе, которую Вы взвалили себе на плечи. Завидую и радуюсь тому, что рано или поздно народ получит этот огромный по своему значению и интересный роман. А за Вашу прозу я не боюсь,— она закалена, испытана и любима. Главное — не дрейфить. Велик бог земли нашей! В Вас я уверен больше, чем в ком бы то ни было, больше, чем в самом себе (как это ни покажется странным), в Вашей внутренней силе и в том (что Вы, как мне кажется, в жизни пытаетесь скрыть), но что дает особое обаяние Вашей прозе — я говорю о ее суровом лиризме.

Ну, час добрый! — как говорили в старину перед большой дорогой. Желаю Вам большой удачи и верю в нее.

Когда Вы будете в Москве? На днях мне звонил «наш бог» — Бек, рассказал, что альманах возобновляется<...>, что он, Бек, назначен Вашим заместителем и что, выходит, надо работать. Но мне сейчас работать вряд ли придется,— астма ведет себя нагло и по временам почти не дает мне возможности двигаться. Сейчас перед весной стало легче. Сижу из-за астмы в Тарусе,— врачи запрещают до тепла ездить даже в Москву.

Сижу в Тарусе и пишу четвертую книгу автобиографической повести. Написал еще три небольших рассказа,— один о Володе Луговском.

Звонила еще Маргарита,— тоже по поводу воскрешения альманаха.

После всего, что было, трудно ждать энтузиазма.

Читали ли Вы рассказы молодого писателя Юрия Казакова? Очень здорово! Вот нам и настоящая смена.

О московских новостях и делах ничего толком не знаю...

Здесь тишина вековая, снега лежат под крышу, воздух потрясающий и полное одиночество. Для работы это хорошо. С наслаждением, буквально по часам, слежу за трогательным приближением весны.

Будете писать своим,— передайте привет от всех нас.

Пишите мне. Буду ждать. Как Магнитогорск? Не очень ли это уныло (в смысле природы)?..

Обнимаю Вас.

Ваш *К. Паустовский.*

Е. И. БАЛАШОВОЙ

22 апреля 1958 г. Таруса

Уважаемая тов. Балашова!

Эскизы получил, посылаю Вам их обратно.

Что касается титула и спусковой полосы, то эскизы их приемлемы. А переплет у Пожарского не вышел. Во-первых, неприятные буквы (посмотрите Н и А) с какой-то загогулиной, во-вторых, сочетание цветов на переплете — красного, белого и синего — само по себе может быть удачно и красиво, но связано у многих с неприятными ассоциациями, в-третьих, я всегда за строгое оформление, и потому размытые мутноватые малиновые пятна на переплете неоправданы и производят впечатление бесформенности и даже небрежности.

Может быть, лучше сделать переплет строже, надпись приблизить к наборному алфавиту. А в этом виде переплет выглядит очень легковесно, несерьезно.

Вообще, мне почему-то не везет на оформление, такая моя «планида». Все время любуюсь оформлением «Записных книжек» Ильфа, сделанных Вами. Оно сделано великолепно. Вот мне бы так!

Мои координаты для связи; адрес Вы знаете (письма приходят на второй день), телефон — Таруса (через «стол заказов» Калуги) № 109. Соединяют тут же.

В начале мая (числа 6—7-го) я приеду к врачам в Москву.

Извините, что причинил Вам некоторое огорчение, но...

Всего Вам хорошего.

К. Паустовский.

Л. Н. РАХМАНОВУ

22 мая 1958 г. Москва

Дорогой Леонид Николаевич, это письмо — не в счет. Оно будет коротенькое, так как меня в Москве дико заматывают. На днях вернусь в Тарусу и напишу членораздельнее. В Москву я приехал по скучным делам,— проходить курс лечения астмы, которая ведет себя в последнее время возмутительно. Сейчас стало легче.

Спасибо за «Базиля» и за книгу бедной и милой Елены Иосифовны. Я был потрясен этой смертью, хотя и знал, что она болела. Как все это случилось так внезапно? Ведь у нее было воспаление легких.

Поколение уходит, я это чувствую каждый день. Это очень горькое и очень реальное ощущение, и если бы не сознание, что вокруг еще есть преданные литературе, милые, прямые и добрые люди, что не угаснет талантливость народа, то я не знаю, как перенести все эти потери.

Берегите себя, не хворайте (как в Афинах), хочу Вас видеть, но когда увидимся — ничего не знаю.

Приезжал из Польши Гранин, звонил мне. Есть в нем настоящее.

Да, у меня много фотографий Елены Иосифовны. Мне бы хотелось отпечатать их и послать ее родным (мужу и дочери). Но я даже не знаю, как их зовут. Если не трудно, напишите.

Обнимаю Вас. Привет Вашим. Где Вы будете летом?

Ваш *К. Паустовский.*

Поздравляю с Лондоном. Говорят, что клуб английских драматургов подарил Вам набор для игры в крикет.

МАГАЛИФУ

30 июня 1958 г. Таруса

Простите, что я не сразу ответил на Ваше письмо. Последние годы я из-за своей болезни вынужден жить вне Москвы, а московскую корреспонденцию мне пересылают не всегда регулярно.

День получения Вашего письма был одним из самых черных дней моей жизни. В моей писательской биографии это был первый случай такого рода. Но Вас это не может интересовать и не в этом дело. Дело в том, что я совершил грубейшую и непростительную для писателя ошибку, приняв на веру безусловно заманчивый рассказ о Магалифе. Рассказ этот оказался апокрифом, легендой.

Очерк Пришвина я не читал. Та история, которая рассказана в «Начале неведомого века», была услышана мною в разных, но в основном схожих вариантах от нескольких журналистов, еще во время моей работы в РОСТА.

Эта история всегда казалась мне очень характерной для первых лет революции. В ней (конечно, в той интерпретации, в какой я ее впервые услышал) было много великолепных черт для литературного рассказа,— хотя бы оглушительное действие фамилии на матроса из заградительного отряда.

История эта настолько мне понравилась, что потом я несколько раз рассказывал ее в разных аудиториях. При этом она обрастала, как это всегда бывает при устных пересказах, рядом новых черт и подробностей.

Самое содержание рассказа требовало, чтобы все внешние данные Магалифа соответствовали тем, какие написаны мною. А эти данные, по-моему, только подчеркивали твердость и внутреннее благородство поступка Магалифа. Если бы это сделал человек мощного сложения, решительный, хорошо одетый (по тогдашним понятиям, конечно) и громогласный, то цена этому поступку была бы другая.

Во всяком случае, когда я услышал этот рассказ, то я тотчас же представил себе Магалифа таким, как и описал в «Начале неведомого века»,— совершенно неверно в смысле подлинности, но, очевидно, вполне закономерно с точки зрения художественной.

Должен признаться Вам откровенно, что о перемене фамилии я не думал, так как вся соль рассказа — именно в фамилии. Без этой фамилии рассказ терял всякий смысл.

Можете мне верить или нет, но не только я, но многие

писатели той же, скажем, писательской «конституции», что и моя, искренне верят в созданных ими людей и замечают, что это совершенно не так, только после таких отрезвляющих писем, как Ваше.

Но сколько бы я ни толковал о психологических случайностях, которых так много в жизни и в писательском труде, Вам от этого не легче.

Поверьте, что сейчас я много бы дал за то, чтобы этого рассказа не было в природе и чтобы смягчить Вашу горечь и Ваше негодование.

Примите еще раз мои извинения и мое искреннее сожаление обо всем случившемся.

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

11 августа 1958 г. Таруса, Калужской обл.

Глубокоуважаемый тов. Дьяков!

Из издательства «Советская Россия» мне была прислана на отзыв рукопись Е. С. Загорской о скульпторше Голубкиной.

В своем отзыве я отметил, что отсутствие книги о Голубкиной, художнике, которым наша страна вправе гордиться, конечно, величайшее недоразумение и упущение и издательство «Советская Россия» очень своевременно исправляет эту затянувшуюся ошибку с Голубкиной.

Сейчас я узнал, что издательство предлагает автору переменить жанр книги на чисто биографический (очевидно, беллетризованный). Жанр, в котором написана книга Загорской, имеет свои большие преимущества, особенно по отношению к такому мастеру, как Голубкина.

По-моему, жанр книги хорош и интересен и нет оснований сводить его к жанру биографической повести — достаточно шаблонному и малоудачному в нашей литературе и, особенно, в кино. Почему так сильно еще стремление к нивелировке?

Совершенно ясно, что требование переменить жанр является, откровенно говоря, требованием написать книгу наново. Выбор же жанра принадлежит только автору. Это — один из законов литературной практики<...>

Я надеюсь, что недоразумение с рукописью будет благополучно изжито.

Сердечный привет.

К. Паустовский.

С. М. АЛЯНСКОМУ

14 августа 1958 г. Таруса

Самуил Миронович, дорогой мой, наконец-то я начал понемногу приходить в себя и дышать гораздо легче, чем недавно. Сему обстоятельству предшествовали некие странные события,— в один прекрасный день в Тарусу приехал ко мне известный авиаконструктор Микулин. Он узнал о моей астме и привез с собой сконструированный им (почему — непонятно) прибор против астмы — ионизатор. Прибор этот он сделал сам и подарил его мне. Человек он странный, чудак, или, как Соня говорит, «чокнутый». Прибор вырабатывает ионы. Я с опаской начал им дышать и вот теперь хожу, работаю и даже ловлю рыбу на Оке.

Вы сделали мне царский подарок,— автограф Блока, да еще на книге, которая его, очевидно, очень интересовала.

Ну ладно, я Вам тоже что-нибудь подарю такое...

Вы едете в Дубулты, и я Вам безумно завидую. Если бы не врачи, требующие, чтобы на сырую осень я уехал в Крым, я бы поехал лучше в Дубулты. Там я был уже два раза, очень хорошо работал. И места там уютные, тихие, культурные. Попросите директора, чтобы он поселил Вас в «шведском домике»,— совершенно чудесном, на дюне, над самым морем. Если Вы почему-либо вздумаете ловить там рыбу, то получите огромное удовольствие,— там много рыбы и хороших мест. Когда бы я ни приезжал в Дубулты, там всегда жил латышский писатель Ванаг — рыболов и охотник. Он возьмет Вас с собой на ловлю, а ловит он огромных лещей на озере.

На писателя он не похож, но это не важно.

Дня через два-три я окончу четвертую автобиографическую книгу. Вышла большая — 14 листов. Это — 1921—22 годы в Одессе. Материала много и временами почти фантастического. Много людей — Бабель, Багрицкий, Сашка из «Гамбринуса», моряки, газетчики, биржевые мелкие игроки — «лапетутники», много событий. Увидимся, когда Вы вернетесь из Дубултов, я в это время еще буду здесь, и Вы приедете, так как с меня врачи сняли запрет общения (они проводили его очень строго). Я очень хочу видеть Вас, поговорить за жизнь и за все прочее, включая литературу <...>

Напишите мне из Дубултов. Как Ваше здоровье? Как одышка? Здесь Заболоцкий. Приходит. Написал чудесные стихи о Тарусе:

Тяжело жилось в Тарусе
Девочке Марусе —
Одни куры, одни гуси —
Господи Исусе!

Поцелуйте Нину. Обнимаю Вас. Все Вас вспоминают и целуют.

Ваш *К. Паустовский.*

Б. С. ЕВГЕНЬЕВУ

23 августа 1958 г. Таруса

Дорогой Борис Сергеевич!

Прежде всего,— шлите мне Вашу повесть, пока врачи не отправили меня на три месяца на юг (в Крым). Я с радостью ее прочту. И напишу отзыв.

Теперь начинается разговор щекотливый и сложный. Четвертую автобиографическую книгу я окончил (сейчас отделываю). Но дать ее в «Москву» не придется по нескольким причинам. Я совершенно забыл, что я обещал ее давным-давно «Литературной Москве» (при условии, что она возобновится, на что в то время было мало надежды). Сейчас «Литературная Москва» возобновляется под редактурой Вс. Иванова, и меня уже взяли за горло, и деваться мне некуда. Очевидно, придется платить журналу «Москва» неустойку, если я брал деньги.

Это — внешний повод. А внутренний — новая книга вызовет у руководства «Москвы» при известном его умонастроении столько возражений, что нет смысла подвергать и книгу и себя лишним разговорам и неприятностям. Это, конечно, между нами. Кстати, в книге — одесситы Бáбель, Багрицкий — все то, что раздражает известную категорию людей...

Мне стало гораздо легче, и помог мне не врач, а авиаконструктор Микулин. Он привез мне прибор (им изобретенный) для того, чтобы дышать ионами. Я хожу совершенно свободно. Боюсь сглазить.

Не сердитесь на меня и не обижайтесь,— Вы же знаете, что все три вещи я дал в «Москву» только потому, что там работаете Вы,— дал по существу не журналу, а Вам.

Всего Вам хорошего — самыми большими порциями.

К. Паустовский.

С. М. АЛЯНСКОМУ

26 августа 1958 г. Таруса

Дорогой Самуил Миронович, не сердитесь, что пишу на машинке,— от чрезмерных литературных работ почерк мой превратился в такие иероглифы, что я сам ничего не разбираю.

Спасибо за письмо. Я попытаюсь потом прокомментировать некоторые его части. А пока сообщаю Вам, что на днях окончил четвертую автобиографическую книгу (Одесса, 1921—22 годы) и сейчас готовлю рукопись для машинистки,— иначе говоря, переписываю целые большие куски на машинке, чтобы она могла хоть что-нибудь понять.

До сих пор мучаюсь с названием. Каждому, кто придумает, даю 300 рублей, но никто не хочет думать, кроме Соньки — «Золотой ручки» и Оттена. Оттен придумал совершенно бездарную штуку: «Одесса-мама», а Сонька — «Потомки Одиссея», тоже «не сахар».

Повесть требует возобновляющийся «Московский альманах» (теперь редактором назначен Вс. Иванов), но я хочу дать в «Новый мир» <...>

Если Вы начали продолжать свои воспоминания, то я радуюсь этому и поздравляю Вас. Вы, конечно, как скептик, мизантроп, насмешник, потерявший веру в совместное обучение и гнездовой способ посадки кукурузы, не верите в то, что книга будет не только умной и нужной, но и *обаятельной*. А я это знаю. Не ругайте меня за эти шутки по неуместному поводу, такой уж легкомысленный характер...

Народу в Тарусе бывает много,— Заболоцкий, Слуцкий, разные писатели, поэты и художники. К нам приезжала моя чешская переводчица Зденка, солистка Пражской оперы и хохотушка.

Сад разросся и пышно цветет. Ловлю рыбу с переменным успехом <...> Были ли Вы в Риге? Особенно в старой? Там хорошие картинные галереи и парки. Где Федин? Ничего не знаю. Знаете ли Вы о похоронах Михаила Михайловича? Я долго не мог прийти в себя. Судьба разыграла с ним под конец один из самых тяжелых его рассказов. Я сейчас как раз читаю Фейнберга о Пушкине. Это очень здорово. Если Фейнберг еще там, то передайте ему мой привет. А также директору Бауману, если он еще держится.

Все Вас вспоминают и шлют Вам приветы.

Обнимаю Вас. Ваш *К. Паустовский.*

А. К. ГЛАДКОВУ

14 сентября 1958 г. Таруса

Дорогой Александр Константинович, ради бога, не сердитесь на меня за мое дикое молчание. Я был очень тронут Вашим письмом (о «Начале неведомого века) и книгами. Но все это совпало с ужасающим обострением астмы, когда я уже не чаял выбраться из болезни и все силы уходили только на то, чтобы успеть окончить новую (четвертую) автобиографическую повесть. Я как будто дал себе зарок и думал только об этом. Но вот, примерно, месяц назад произошло странное событие, которое получило среди всех тарусских друзей наименование «чуда в Тарусе». Ко мне в Тарусу неожиданно приехал авиаконструктор Микулин («Бережков»). Недаром Бек выбрал его героем своей книги. Это — удивительное смешение человека очень талантливого, чудака, авантюриста... Микулин узнал откуда-то о моей астме и привез мне только что сконструированный им прибор для дыхания сгущенными ионами воздуха. Почему он, авиаконструктор, занялся этим — так я и не понял. Я перепробовал уже сотни средств и потому без всякой веры попробовал и микулинский «ионизатор». И вот — через три-четыре дня я начал нормально дышать, ходить, грести на лодке, ловить рыбу на Оке, вообще — жить. Посмотрим, надолго ли это, но пока — хорошо.

На днях окончил четвертую книгу автобиографической повести (одесскую). Как пишет Бабель (кстати, в книге о нем сказано много), я «опасаваюсь» за нее. «По обету» сдал ее только что в «Московский альманах», он возобновился под редакцией Вс. Иванова (Казакевич — заместитель). Сейчас повесть читают, и я сижу и жду своей судьбы. В Москве летом был всего два дня — у врачей. Но московские литературные новости привозит сюда мой сосед — Николай Давыдович Оттен, небезызвестный Вам «пан Патошинский». Новости тяжкие. До сих пор не могу прийти в себя после рассказа о похоронах Михаила Михайловича.

Здесь Заболоцкий. Грустный, спокойный, слепнущий человек и, конечно, поэт удивительный. Недавно он читал свои новые стихи, по силе, ясности и внутреннему страшному поэтическому напряжению — это нечто пушкинское, только горечь не пушкинская, а современная. Слепнет Заболоцкий от страшной болезни — туберкулеза дна глаз-

пой впадины. Написал несколько шутливых стихов о Тарусе. Мы все ходим и повторяем из них разные строчки...

Хорошо живет в Тарусе
Девочка Маруся:
Одни куры, одни гуси!
Господи Исусе!

Здесь своя небольшая литературная колония — поэт Штейнберг, дочь Марины Цветаевой, приезжал Слуцкий. Вообще, бывает в Тарусе довольно много народа.

На днях Таня едет в Москву. Созвонитесь с ней и приезжайте. Осень хотя и холодная, но чудесная. Ока — вся в золоте.

На мокрую осень я, очевидно, уеду на юг, в тепло.

Как Вы? Что нового с пьесами? Где были летом?

Вы сами не представляете себе, конечно, как приятно и хорошо получать в этой глуши новые книги. Спасибо за них и за последнюю — Джозефа Конрада.

Пишите, не обращайте внимания на мое молчание, оно ничего не значит, кроме занятости.

Обнимаю Вас. Таня кланяется. Ваш *К. Паустовский.*

Алянский подарил мне книгу с автографом Блока — «История рыцарства».

У нас здесь очень занятная районная газета. На днях в ней был напечатан «Список хулиганов города Тарусы» (хулиганы все пронумерованы). Возник скандал в районном масштабе.

У нас чудный кот-рыболов. Ездит со мной на рыбную ловлю и от восторга катается по лодке. Но самое удивительное, что он копает со мной червей. Это — тоже одна из тарусских сенсаций.

В. А. КАВЕРИНУ

16 сентября 1958 г. Таруса

Дорогой Вениамин Александрович, не сердитесь на меня, милый, за то, что я так долго молчал в ответ на Ваше доброе письмо. Я никак не мог привести себя в «надлежащую форму» для спокойной повседневной жизни из-за своей отвратительной астмы. Жил я в одну десятую дыхания, и это сказывалось на всем. Но недавно произошло нечто неожиданное и чудесное, что сразу же вернуло меня к нормальной жизни. Астма уходит, и я уже дышу полной

грудью, работаю, ловлю рыбу на Оке, свободно прохожу по 8—10 километров после того, как не мог сделать и двадцати шагов.

«Виновником» всей этой истории оказался не кто иной, как герой последней книги Бека — «Бережков», он же авиаконструктор Микулин. Он где-то узнал о моей болезни, неожиданно приехал ко мне в Тарусу, обругал Бека и привез мне изобретенный им недавно прибор «ионизатор», который якобы совершенно излечивает астму. Я, признаться, ему не поверил, так как безуспешно перепробовал от астмы все, что возможно, и знал, что никакой Микулин мне новые легкие не вставит. К тому же я не понимал, почему Микулин, авиаконструктор, занимается такими медицинскими делами. Объяснить мне это он не захотел. Вообще, он произвел на меня впечатление человека очень талантливого, но слегка авантюриста... Микулин уехал, а я попробовал его аппарат, и вот через три-четыре дня астма моя начала просто на глазах пропадать. Прибор Микулина вырабатывает ионы — до миллиона ион в одном кубическом сантиметре воздуха, и вы дышите этим воздухом 10—15 минут в сутки. Микулин утверждает, что дыхание ионами совершенно снимает и гипертонию.

Что будет дальше — не знаю, но пока я дышу и даже закончил книгу — четвертую книгу автобиографической повести (одесскую). Зоя забрала у меня рукопись для альманаха. Не знаю, получится ли из этого что-либо путное.

Я рад, что болезнь Вас оставила. Надо вышибить ее окончательно. В последнее время мне часто хочется просить всех хороших людей, чтобы они очень берегли себя.

Здесь летом жил Заболоцкий. Чудесный удивительный человек. На днях приходил, читал свои новые стихи — очень горькие, совершенно пушкинские по блеску, силе поэтического напряжения и глубине.

Если у Вас будет охота и немного свободного времени, напишите мне несколько слов о себе и своей работе. Я сижу здесь, как в Нарыме, и ничего не знаю. В начале октября приеду в Москву и Вам позвоню. Очевидно, увидимся.

Осень холодная, очень яркая, Ока уже вся в золоте. Очень хорошо.

Будьте здоровы, спокойны, работайте. Крепко жму руку.

Ваш *К. Паустовский.*

Привет Вашим и Николаю Леонидовичу, если Вы его видите. Потрясающий городок Таруса, недавно в местной газете был напечатан «Список хулиганов г. Тарусы» — по номерам. Сорок восемь номеров.

Р. М. ДОСТЯН

20 сентября 1958 г. Таруса

Ричи, дорогая,— прочел «Кто идет?». Это — очень хорошо и очень по-своему. Замечательное свойство — схватывать сразу в повседневности, неуклюжести быта и человеческого разговора острейшие коллизии и подлинную человечность («Айша»). Ну, а о пейзаже и деталях я не говорю. Все точно, свежо, порой — великолепно. Вот сейчас я открыл книгу наугад и попал на место о голубе («Кто идет»?). «Пошел не спеша по нетронутой пороше, со спины похожий на старого, плохо одетого человека, у которого все в прошлом». Второй раз открыл наугад и попал на паутину (стр. 91). В общем, Ричи, я радуюсь за Вас, я поздравляю Вас, и у меня становится спокойно на душе, когда я думаю о Вас, о Юре Казакове.

Юра уехал на Белое море, звал с собой меня, но моя астма никак меня не пускает, хотя и стала гораздо легче. На слякотную осень и часть зимы я, очевидно, уеду в Крым, вернее всего — в Ялту, в наш писательский дом. Так требуют врачи. Если Вы будете в Крыму, то мы увидимся, а то я уже соскучился. Часто вспоминаю Дубулты и Ригу, городской музей, Гранина, сырые дюны. Откровенно говоря, я бы с большей охотой поехал бы в Дубулты (там уютно и хорошо работать). Вообще, напишите, где Вы будете.

Лето в Тарусе прошло стремительно,— я работал, окончил на днях четвертую книгу автобиографической повести (1921—1922 годы в Одессе, много событий, почти гротескных, много о Бабеле, Багрицком).

Летом здесь был замечательный человек — Заболоцкий. Недавно приходил, читал свои новые стихи,— великолепные почти до слез. Пушкинской глубины, мелодичности и силы.

В этом месте мне принесли телеграмму от Вас из Гудаут. Потом я срочно уехал в Москву — к своим докторам. Врачи потряслись тем, что астма стала уменьшаться и я

почти здоров. От чего это произошло — расскажу Вам при встрече,— это фантастика.

В связи с этим в Крым мне ехать пока что не надо, и я этому рад.

Здесь стоит небывалая осень,— потрясающее бабье лето с теплотой, тишиной, винным воздухом и золотой мглой над лесами.

Четвертая книга («Время больших ожиданий») принята в «Новый мир». Посмотрим.

Пишу наугад, не знаю, где вы и что вы.

До нового года буду попеременно то в Тарусе, то в Москве.

Какие планы? Читали ли вы Могема «Подводя итоги»? Если нет, то такой ваш поступок выглядит несколько странно <...>

Держите меня в курсе ваших передвижений.

Обнимаю Вас.

Ваш *К. Паустовский.*

ОБЩЕСТВУ ПОЛЬСКО-СОВЕТСКОЙ ДРУЖБЫ

2 ноября 1958 г. Таруса, Калужской обл.

Прошу передать правлению Общества польско-советской дружбы мою глубокую благодарность за ту высокую награду, которой оно меня удостоило. К сожалению, я настолько болен, что не смогу приехать сейчас в Варшаву. С раннего детства я узнал и полюбил талантливый и благородный польский народ, саму Польшу с ее мягкими просторами полей и лесов, красоту ее городов и прелесть ее деревень. В каждом уголке Польши, где я бывал,— в Варшаве и Люблине, в Белостоке и Ченстохове, в Радоме и Кельцах я оставил часть своего сердца. Я вырос на любви к великой польской литературе и культуре. Имена Мицкевича и Красинского, Сенкевича и Жеромского, Шопена и художника Зигмунда Валишевского и многих других поляков всегда были и останутся для меня воплощением высокого гуманизма. Я глубоко рад, если своими книгами я помог завязать еще одну нить, роднящую польский и русский народы, и верю, что наша обоюдная любовь будет углубляться и ничто не сможет ее поколебать.

Константин Паустовский.

Б. С. ЕВГЕНЬЕВУ

8 ноября 1958 г. Таруса

Дорогой Борис Сергеевич,— посылаю маленький отзыв о рассказах. Очень приятные вещи. Мне кажется, что надо было бы еще один раз пройтись по рукописи и остановиться на тех ее местах, которые носят характер, если можно так выразиться, «стилистических заимствований» из арсенала исторических повестей и романов (старые книги пахнут сухими цветами, старик посасывает потухшую трубку, художник свистит в своей мансарде, как скворец в скворечне и еще кое-что).

Все это взято памятью из прочитанных книг. Но возможно, что это — стилизация. Все это не мешает качеству вещи, но несколько ее «разглаживает» и прячет лицо самого автора, то есть Ваше лицо.

Подумайте. Может быть, я и не прав. Проза у Вас превосходная, и поэтому я и цепляюсь к мелочам.

Робинзон хорош без всяких «но».

13-го ноября еду прямо из Тарусы в Ялту на два месяца. Что-то начал хуже дышать, несмотря на совершенно небывалую осень. Напишите мне, пожалуйста, в Ялту,— я люблю получать Ваши точные и лапидарные письма.

Обнимаю Вас. *К. Паустовский.*

А. Т. ТВАРДОВСКОМУ

1958 г.

Дорогой Александр Трифонович!

Посылаю исправленный начисто экземпляр повести («Время больших ожиданий»).

Я — пока в Тарусе, но в случае надобности меня можно вызвать или через Москву (телефон Б 7-48-49) или непосредственно из Тарусы (Тарусский телефон — 109).

Сердечный привет.

К. Паустовский.

P. S. Пока я собирался отослать эту записку, произошли изменения. Врачи посылают меня из-за астмы в Крым на 2—3 месяца. Поэтому адрес примерно с 15 ноября будет такой: Ялта, Аутская 9, Дом отдыха Литфонда, К. Паустовский.

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»
А. Т. ТВАРДОВСКОМУ
А. Г. ДЕМЕНТЬЕВУ

7 декабря 1958 г. Ялта

Получил Ваше письмо от 26 ноября. Задержал ответ, так как сейчас очень болел и писать мне трудно.

Прежде всего я прошу редакцию тотчас же отправить два экземпляра моей рукописи («Время больших ожиданий»), находящихся в «Новом мире», на мою московскую квартиру во избежание всевозможных недоразумений.

Теперь несколько слов по существу. Редакция утверждает, что она не хочет терять контакт со мной, но вместе с тем сделала все возможное, чтобы этот контакт уничтожить. В данном случае я говорю даже не о содержании письма, а о его враждебном, развязном и высокомерном тоне.

Я — старый писатель, и какая бы у меня ни была, по Вашим словам, «бедная биография», которую я стремлюсь «литературно закрепить», я, как и каждый советский человек, заслуживаю вежливого разговора, а не глубокого одергивания, какое принято сейчас, особенно по отношению к «интеллигентам».

Нельзя ли редакции «Нового мира» страховаться от возможных уронов с большим достоинством и спокойствием.

Я обещал Вам «прополоть» рукопись (до возможного для меня предела), что и сделал, а не в корне «перепахать» ее. Вы сами прекрасно знаете разницу между этими двумя понятиями, когда они переносятся в литературу. Поэтому редакция напрасно делает вид, что ее обманули.

Все, что вписано в последний экземпляр повести о рабочих в Одессе, сделано по Вашему прямому предложению после того, как я рассказал Вам о специфическом положении Одессы в те годы. Поэтому пошловатое сравнение этого якобы «приема» с поведением взрослых, усылающих детей, чтобы они не мешали взрослым «резвиться на просторах любовной проблематики», поразило меня своим дурным вкусом и грубостью.

Я никому не обещал и не брался писать эту повесть о труде. Этой теме посвящены другие части эпопеи. Что же касается политики, то ею так наполнена третья книга

(«Начало неведомого века»), которую Вы, по Вашим словам, не читали, что насыщение политикой еще и четвертой книги было бы простым повторением.

В книге, по-Вашему, показаны разные «щелкоперы новой прессы». Такое заявление более пристало гоголевскому городничему, чем редакции передового журнала. Щелкоперов нет! Есть люди. Люди во всем разнообразии их качеств, и незачем клеить на них унизительные ярлыки. У какого-нибудь одесского репортера может быть больше душевного благородства, чем у Вас, самомнительных учителей жизни.

Что касается Бабеля, то я считал, считаю и буду считать его очень талантливым писателем и обнажаю голову перед жестокой и бессмысленной его гибелью, как равно и перед гибелью многих других прекрасных наших писателей и поэтов, независимо от их национальности. Если редакция «Нового мира» думает иначе,- то это дело ее совести.

Почему Багрицкого, человека шутливого, вольного, простого, Вы считаете изображенным в качестве трогательно-придурковатого стихолюба? Из чего это видно? Неужели из того, что он ненавидел чванство и спесь, ставшие одной из современных доблестей.

Что касается Ваших слов «о гордыне автора, которому плевать на мировую историю» с высоты своего «единения с вечностью» (??), то эти путаные слова отдают фальшью и свидетельствуют о непонимании текста.

Вас, как поэта, я хочу спросить, Александр Трифонович, что означает лермонтовское «Выхожу один я на дорогу»? Не то же ли «единение с вечностью», по Вашему толкованию. Тогда побейте Лермонтова камнями, если Вы искренни.

Пожалуй, хватит. Скажу только, что я не ожидал именно от Вас столь незначительного письма, продиктованного, очевидно, внелитературными и служебными соображениями.

Не знаю,— заслужил ли я в конце жизни такое письмо от поэта? Судя по десяткам и десяткам тысяч писем читателей — не заслужил. Но Вам, с официального верха, виднее.

Напоследок решаюсь посоветовать Вам хотя бы быть логичнее и, сначала приняв (может быть, сгоряча), в основном, мою повесть, не стараться потом начисто опорочить ее, как Вы это делаете, опорочить все ее четыре книги заявлением о ничтожности моей биографии.

В старину говорили: «бог вам судья», подразумевая под богом собственную совесть. Вот единственное, что я могу пожелать Вам. Рукопись прошу поскорее вернуть.

К. Паустовский.

С. М. АЛЯНСКОМУ

8 декабря 1958 г. Ялта

Саммир, дорогой! Я целую вечность Вас не видел и вроде как уже потерял Вас из вида. Как бы Вы без меня окончательно не распустились. Здоровы ли Вы? Что делаете, что обсуждаете, как Нина? Все это меня очень занимает, но я ничего не знаю.

Мы с Татьяной Алексеевной в Ялте при весьма удивительных обстоятельствах. Во всем доме мы почти одни (кроме Ковалевского и Замошкина). В доме — глубокая тишина и пустота, но его топят, нас кормят, а по вечерам дом сияет в крымскую ночь всеми огнями. Можете себе представить, что это мне почему-то очень нравится. Работать идеально.

С 1 января дом закрывают на два месяца на ремонт, но нас оставляют, а с 1 марта начинается съезд, и я льщу себя надеждой, что Вы, несмотря на то что Вы — службист и педант, рискнете и приедете в Ялту, тут волшебная весна. Путевку Вам добудет председатель Московского отделения Союза писателей РСФСР. Нет, правда приезжайте! Я не знаю, как мы проживем здесь одни до весны.

Хороших новостей никаких, а плохие, как всегда, не заставляют себя ждать. Твардовский принял в «Новый мир» мою новую повесть (четвертую книгу автобиографической повести — одесскую) со множеством комплиментов, но вчера я получил от него письмо с требованием такой переделки повести, что это равносильно, конечпо, отказу...

Первые дни в Ялте были очень тяжелыми (в смысле астмы), но теперь становится легче. Погода теплая, пасмурная, но стоит появиться солнцу, как море расцветает и все становится великолепным. Вершины гор припудрены снегом, но в парке еще доцветают последние цветы. Машипа наша здесь (без нее очень трудно), на днях сюда приедет Валя.

Напишите, что в Москве. Я ничего не знаю. Что на съезде,— его уже зовут «призывом ударников в литера-

туру». Что Костя? Есть старинный романс: «Ах туманно, туманно, все туманно вокруг». Очень подходящий романс.

В «Советском писателе» каким-то образом на днях вышла моя книга: «Начало неведомого века». Придется Вам ее подарить.

Что делает Нина? Видели ли Вы картину «Главная улица»? Если нет, то позор ляжет на Вашу седую голову. Здесь был несколько дней Шкловский, усталый и серый насквозь. Очень все это печально. Пишите. Будем ждать. Не забывайте в вихре московской жизни, что мы здесь сидим одни, как на необитаемом острове. Пишите!

Татьяна Алексеевна целует Вас и Нину. Я тоже.

Ваш *К. Паустовский.*

P. S. Вчера я был на набережной у фотографа,— того, что в прошлом году проявлял наши пленки. Брал уже проявленные пленки. Он меня спросил: «Вы имеете какое-нибудь отношение к писателю Паустовскому?» Я ответил, что имею, но очень отдаленное. На это он мне сказал: «Он жил тут в прошлом году и проявлял свои пленки у меня, так он, извините, снимал в сто раз лучше, чем Вы». Ясно, что он принял Вас за меня. Я мужественно смолчал.

В. Б. и С. Г. ШКЛОВСКИМ

19 декабря 1958 г. Ялта

Виктор и Сима, дорогие,— молчал так долго потому, что в Ялте астма неожиданно навалилась на меня со зверской силой и только сейчас, через месяц, я начал выкарабкиваться и понемногу дышать. А то дышал как через конский волос и думал, что «дам дуба». Но теперь, кажется, сошло.

Если бы вы были сейчас здесь! Солнце, 16 градусов в тени, снова зацвели розы, из Турции дует теплый слабый ветер, а море, кажется, подымается все выше такой ослепительной синей стеной, как будто к берегам Крыма подошла Адриатика.

С нового года дом закрывают на ремонт до 1 марта, нас с Таней оставляют,— будем одни среди всех 48 колонн. Мне это нравится. Да и сейчас осталось нас всего пять человек, и потому в парке и в доме и день и ночь стоит глубокая тишина. Снова поют дрозды и летают божьи коровки.

Для нас пятерых крутят кино. На днях смотрели все четыре серии «Тихого Дона» <...>

Моя склонность все рассматривать, в то время когда доблестью писателя является «боевитость» (какой клинический идиот придумал и пустил в оборот это слово!), просто расцветает здесь в парке. Я сижу часами, опираясь по-стариковски на ту палку, что ты мне подарил, и тоже часами рассматриваю какой-нибудь листок бересклета или ржавую землю. К зиме Крым весь проржавел, особенно виноградники.

Был ли ты на съезде! Я читал <...>

Напиши, начал ли новую книгу («Хаджи Мурата»)? Я втайне ревниво слежу за тобой. Завидую твоему напору.

Твардовский сначала принял мою повесть (четвертую, автобиографическую) в «Новый мир» с великими комплиментами и реверансами, но на днях прислал мне совершенно неожиданно письмо с такими требованиями, которые равносильны отказу. Я ответил ему очень резко.

А у меня теперь странное состояние,— я почти не волнуюсь и мало думаю об этом. Лишь бы лежала законченная книга, а рано или поздно она дойдет до страны.

В книге много о Бабеле, это особенно раздражает редакторов.

Начал работать, хотя еще трудно. Таня, конечно, волнуется, хотя и радуется Крыму. Это же ее родина.

По ночам сплю плохо, в окно мне светит Сатурн, и я навязчиво вспоминаю стихи Бунина:

А к полночи восходит на востоке
Мертвец Сатурн и блещет, как свинец.
Воистину зловещи и жестоки
Твои дела, Творец!

Пока устал. Кончаю. Извини. Обнимаю тебя и Симу. Надо держаться,— нас так мало. Таня очень целует.

Твой *Костик*.

А. К. ПАУСТОВСКОМУ

28 декабря 1958 г. Ялта

Алешенька, солнышко мое, у вас в Тарусе, говорят, мороз в 30 градусов, а у нас сейчас идет тихий и теплый дождь и доцветают в парке цветы.

На море туман, и в тумане все время гудят пароходы. Они заблудились и не могут войти в порт.

Что ты там делаешь? <...>

Где в такие морозы ночует Чайка?

Здоров ли ты?

Посылаю фотографии. На обороте всех фотографий есть номера, а в письме ко всем номерам — объяснения.

№ 1. Кот Мишка — «Циркач». Его перекормили мясом, и он заболел. Поэтому его мажут йодом. Здесь восемь котов, и у каждого есть свой район, куда он остальных котов не пускает. Изредка случаются драки. Тогда вызывают директора дома Якова Федоровича Хохлова, и он разнимает котов и бьет их алюминиевой палкой. (Такую же точно палку подарил мне здесь Шкловский, я иногда опираюсь на нее, но большей частью забываю ее дома.)

№ 2. Это тот замок, который так хорошо описала для тебя мама (получил ли ты ее письмо?). Посмотри в лупу и увидишь на деревьях (кипарисах) множество шишек.

№ 3. Это мама. Она задумалась над тем, как ведет себя Алешка-Балабошка и что он делает в Тарусе.

№ 4. Это тоже мама. Я снял ее с внутреннего балкона, сверху.

№ 5. Это — окраина поселка Гурзуф, где когда-то жил Пушкин, а сейчас живет множество мальчишек («пацанов»). Они преимущественно свистят, стреляют из рогаток и ловят рыбу. Налево от скалы — домик Чехова, который он подарил своей жене Книппер.

№ 6. Это я снимал маму в Гурзуфе. Очень здорово снял. Опять возьми лупу и найди позади мамы черную мохнатую собачку — она стоит на парапете (каменной изгороди). В Крыму собаки бегают вдоль шоссе только по парапетам, так как боятся машин.

№№ 7 и 8. Это мама меня снимала в постели. Говорят, что я хорошо вышел.

Мне постепенно делается легче дышать, но еще не совсем.

Напиши мне из Тарусы. Если увидишь Оттенов или Штейнберга, то кланяйся им. И Александрову (доктору) — тоже.

Целую тебя, маленький мой, очень <...>

Я тебе теперь буду писать часто.

Твой *папка-драпка.*

В ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

7 января 1959 г. Ялта

Прежде всего я должен извиниться перед деятелями украинской культуры, приславшими в «Литературную газету» письмо по поводу моего отзыва о художнике Пимоненко за то, что отвечаю с некоторым запозданием. Виной этому — мое отсутствие из Москвы и моя болезнь.

Поступки и мнения людей, в частности писателей, оцениваются не по отдельным, вырванным из общего контекста их произведений или, если можно так выразиться, «из контекста всей их жизни» кускам, а по всему их творческому пути.

Я начинаю с этого положения, чтобы ответить на самое тяжкое обвинение об оскорбительности моего отношения к украинской культуре.

Я вырос на Украине. Я глубоко люблю и уважаю украинский народ и его культуру. Достаточно прочесть мои повести и рассказы, такие, как «Тарас Шевченко», «Далекие годы», «Поводырь», «Днепровские кручи», «Синева», «Александр Довженко» и ряд других моих высказываний, чтобы убедиться в этом.

На этом фоне мое критическое отношение к художнику Пимоненко не является по существу столь значительным фактом, чтобы апеллировать в защиту Пимоненко ко всему Советскому Союзу.

В случае с Пимоненко идет спор о вкусах, о которых вообще спорить бесполезно. Извините, что мне приходится повторять эту банальную истину.

Меня только удивляет то обстоятельство, что деятели украинской культуры, приславшие письмо в «Литературную газету», тем самым выступают против независимости суждений, свободы вкусов и критики. Мне не нравится Пимоненко (как не нравится все умилительное и преувеличенно национальное и в русской живописи,— Елизавета Бэм, писавшая не красками, а сиропом, Маковский с его бутафорией и ряд других художников), и я имею право высказать свои суждения об этом без того, чтобы тотчас же не услышать печальной памяти окрики об оскорблении национальной культуры и так далее и тому подобное.

Я полагаю, что часть товарищей, подписавших письмо, вряд ли верит в мое желание обязательно оскорбить украинскую культуру. В частности, это замечание относится к моему другу Максиму Рыльскому, знающему мои взгляды по этому вопросу.

Я помню начало XX века в Киеве и помню тот поток красивеньких открыток Пимоненко, который заполнял все писчебумажные магазины. Отрицать этот факт нельзя.

Что же касается некоторых неточностей (престарелый художник, писавший по памяти), то здесь возможно смещение фактов, воспринятых мною в детстве. В этом я, будучи взрослым, могу покаяться за десятилетнего мальчика.

Обвинение в беспринципности мне, по крайней мере, непонятно. Я нигде и никогда не декларировал своего безоговорочного признания передвижников. То обстоятельство, что Пимоненко принадлежал к передвижникам, не является для меня той «благодатью», которая оправдывает все его творчество. Здесь наши взгляды, очевидно, расходятся, так как я не принадлежу к апологетам передвижничества, как единственно возможной художественной школы.

Обвинение в беспринципности повисает в воздухе и ничем не доказано. Это ясно для каждого, кто читал мои высказывания об импрессионистах, о Врубеле и других художниках — не передвижниках.

Похоже, что обвинение в беспринципности — это только одно из словечек, обязательных в документах такого рода, как письмо.

То, что Пимоненко был другом Репина, не делает его равным Репину по силе художественного мастерства. Ссылка на это, по-моему, несостоятельна.

Во всяком случае, я чрезвычайно жалею, что моя любовь к подлинной Украине не совпадает с представлением об Украине со стороны авторов этого письма.

Могу только заверить их, что я люблю Украину и ее народ и жалею, что до сих пор, очевидно, не высказал этого в своих книгах с достаточной ясностью. Но время еще не ушло, и, несмотря на свой большой возраст, я постараюсь это сделать, чтобы никакая тень не омрачала в глазах читателей дружбу, а по-моему, и полное духовное единство украинского и русского народов.

К. Паустовский.

А. Е. БЭКОНУ

12 февраля 1959 г. Ялта, Крым

Дорогой сэр, извините, что я пишу Вам на русском языке (английского я, к сожалению, не знаю). Я думаю, что в Вашем издательстве есть люди, знающие русский язык. Они смогут перевести мое письмо.

Я рад, что Вы включили список моих книг в Ваш широко известный и прекрасный лексикон. Но список этот неполон. Его следовало бы дополнить следующими главнейшими книгами: «Романтики» (1935), «Далекие годы» (1946), «Беспокойная юность» (1955), «Начало неведомого века» (1958).

Кроме этого, в СССР и в разных странах опубликовано свыше 100 моих рассказов, несколько повестей, пьес, сказок и ряд художественных биографий писателей и художников, в том числе <...> Киплинга, Уайльда, Эдгара По, Христиана Андерсена и других.

Примите мой искренний привет.

К. Паустовский.

Ф. И. ПАНФЕРОВУ

18 февраля 1959 г. Ялта

Дорогой Федор Иванович!

Пишу Вам это письмо, к сожалению, наспех, так как Лев Романович сейчас уезжает. Пишу, чтобы сказать Вам, с какой радостью относятся читатели к тому, что «Октябрь» при Вас становится крупным литературным явлением,— журналом настоящей, большой и честной советской литературы.

Вы взяли на себя эту труднейшую задачу и выполняете ее с молодым и горячим сердцем, несмотря на досадные болезни. Честь Вам за это и слава.

И еще хочу поблагодарить Вас за истинно писательское отношение к рукописи, в частности моей.

Поправляйтесь, держитесь...

Передайте мой привет Антонине Дмитриевне.

Ваш *К. Паустовский.*

В ЛЕНФИЛЬМ

18 марта 1959 г. Ялта. Дом творчества писателей

Я ознакомился с четвертым вариантом сценария «Северная повесть», написанным заслуженным деятелем искусств тов. Андриканисом по одноименной моей повести, и считаю работу тов. Андриканиса удачной, передающей героическую лиричность повести.

Я даю свое согласие на экранизацию «Северной повести» в том виде, как это сделано у тов. Андриканиса.

Мне кажется, что тов. Андриканис уже сейчас может начинать постановку картины. Что же касается небольшой доработки диалогов, то я проверю их и допишу в небольшой срок — к концу марта месяца.

Этим, по существу, будет исчерпана моя работа над сценарием, так как никаких изменений я делать не смогу. Эти бесконечные изменения и привели к тому, что многие писатели, в том числе и я, избегают работать в кино.

К. Паустовский.

С. М. АЛЯНСКОМУ

20 апреля 1959 г. Ялта

Дорогой Саммир! Мое молчание — следствие «идиосинкразии» к самому процессу писания. Должно быть, это случилось со мной от чрезмерного сидения за письменным столом. Много работал. Написал большой (два листа) рассказ под странным названием «Мимолетный Париж»...

Сейчас начал писать пятую книгу автобиографической повести (Кавказ, Тифлис, Армения — нечто вроде «Королей и капусты»). В «Октябре» безобразно разбили повесть на мелкие кусочки — это выдумка Шейнина, чтобы поднять тираж. Лучше прочитайте целиком — в мае.

Татьяна Алексеевна уехала в Москву готовиться к лету. А сюда ко мне приедет в качестве медицинской сестры Галка или Соня. Числа 12—14 мая двину в Москву, к себе, на север. Увидимся, и все вам расскажу.

Моя астма присмирела. Задыхаюсь мало, все говорят, что я очень хорошо выгляжу.

Здесь ранняя, прозрачная и теплая весна. Цветут крокусы (особенно их много на Царской тропе), анемоны,

барвинки — примулы, пышно цветет миндаль и кизил, очень красиво, очень трогательно. Появились иностранные туристы. Вчера приехала бельгийская королева — очень шустрая старушка.

Мы с Галкой (она сюда приезжала на две недели) ездили в Севастополь, потом на самое красивое и почти неизвестное побережье Крыма — между Алуштой и Судаком. Там на протяжении 150 километров только два маленьких поселка. Настоящая Иудея. Пляжи (из серого песка) бесконечные и пустынные. Воздух потрясающий. Горы — рыжие, красные, сиреневые, желтые, черные — всех мыслимых цветов, но растительности мало,— один дубняк. Как о прекрасных днях Аранжуэца вспоминаем о декабре, январе и феврале, когда нас во всем доме было пять человек и у каждого свой этаж. Сейчас дом уже полон. Начинается сезон. Съезжаются именитые. Приехали Инбер, Либединский, Николай Чуковский, Арбузов, Константин Финн, Атаров и прочие. Дом превратился в гостиницу. Работать уже трудно,— очень много разговоров...

При Казакевиче здесь было необыкновенное веселье. Об этом я расскажу Вам в Москве,— напомните мне, чтобы я не забыл аттракцион со шкварками.

Вы на меня немного сердитесь из-за Ф., но я ничего не могу с собой поделать, особенно после случая с Комой Ивановым. Этого я просто не понимаю. Во всяком случае, мне очень горько,— почти в семьдесят лет терять веру в друзей и притом бесповоротно,— это очень опустошает. Я не понимаю, что ему нужно... Все у него есть, и ничего у него не отобрали бы, если бы он вел себя по-настоящему, а если и отобрали бы, то ведь он не ремесленник, ведь писательство и подлинная верность народу и гуманизму — это призвание, а не профессия. Он великолепно знает, что ради верности своему делу можно идти в случае необходимости на жертвы, на нищету, на голод, черт возьми. Ну, бог с ним,— жаль, что он смарал конец своей жизни. Тут уж ничего не поделаешь.

Не сердитесь, умоляю. Не надо бы писать всего этого, но просто не удержался.

Уехала ли Нина? Где она?

Обнимаю Вас крепко. Поцелуйте Нину.

Ваш *К. Паустовский.*

Валя пока со мной. Он еще растолстел и Вам низко кланяется.

А. К. ГЛАДКОВУ

22 апреля 1959 г. Ялта

Дорогой Александр Константинович!

Я очень люблю Ваши письма,— из них я узнаю все, что нужно знать. Эти письма — экстракт литературно-театральной жизни Москвы и Ленинграда. Но, ради бога, не обижайтесь, что я так медленно отвечаю,— я так много писал и пишу сейчас, что у меня уже появляется нечто вроде «идиосинкрозии» к перу и бумаге. Но это, конечно, пройдет. Здесь я написал большой рассказ (а может быть, это вовсе не рассказ, а нечто внежанровое) под названием «Мимолетный Париж»... Сейчас пишу пятую книгу автобиографической повести — нечто вроде «Королей и капусты» О. Генри.

Вы правы,— историю с резанием повести на мелкие куски придумал, конечно, Шейнин. Пока «Октябрь» собирался печатать повесть, он присылал сюда ко мне трех эмиссаров (Замошкина, Дроздова и Шейнина) в надежде выцыганить поправки. Ничего из этого не вышло, и эмиссары, отметив у меня командировки, отбыли в Москву.

Написал по просьбе С. С. Смирнова для «Литгазеты» большую статью о положении литературы и писателей. Смирнов, кажется, решается ее печатать, несмотря на то что уже сейчас из-за этой статьи — правда, очень резкой,— в Союзе писателей начинается довольно сильный шухер. На днях в связи с этой статьей Смирнов должен приехать в Ялту — «уточнять и согласовывать». Посмотрим.

Я проживу здесь примерно до 14 мая. Вместо Тани, чтобы побыть со мной (Таня еще боится оставлять меня одного, хотя мне стало гораздо легче), сюда приедут или Галка, или Соня — «Золотая ручка». Зима здесь прошла чудесно, нас было всего пятеро, у каждого в доме был свой обширный и тихий этаж. Сейчас дом уже набит до отказа <...> Из писателей здесь Алеша Арбузов, Либединский, Каверин, Вера Инбер и Константин Финн.

Здесь очень трогательная, прозрачная и холодноватая весна. Уже отцвел миндаль. Цветут кизил, терн, дикая груша, каштан. В воздухе носятся тучи кипарисовой пыльцы, пахучей, но вредной для астматиков. Снег на горах почти растаял. Полуостров наводняется туристами. Среди туристов — проворная старушка, бельгийская королева.

Приезжала Галка. Ездили с ней в Севастополь — пустынный и, как всегда, прекрасный и на удивительное, почти никому не известное побережье Крыма между Алуштой и Судаком. Там на протяжении 150 километров почти нет поселков (всего два), дикие разноцветные горы, тишина, потрясающий воздух, накатанные пляжи на десятки километров и какая-то особенная чистота красок. Похоже на Иудею.

Что касается «Простых сердец», то пьеса эта была издана отдельной книжкой в издательстве «Искусство», кажется, в 1940 году. Она, конечно, есть в Ленинской библиотеке. У меня экземпляр не сохранился. В Москве пьеса шла в театре Революции. Главную роль играл Астангов. Пьеса, по-моему, «не сахар». Вообще, я перестаю обычно любить свои старые вещи, за исключением очень немногих.

Вы много написали,— две пьесы и сценарий. И еще воспоминания о Мейерхольде. Здорово!

Скоро увидимся. Еще раз поздравляю и крепко Вас обнимаю.

Ваш *К. Паустовский.*

М. Л. СЛОНИМСКОМУ

22 июля 1959 г. Таруса на Оке

Дорогой и любезный нашему сердцу Михаил Леонидович, только что получил Ваше письмо и очень обрадовался, что Вы, оказывается, еще не разучились писать письма своим друзьям. Это похвально!

У меня гостит сейчас Самуил Миронович Алянский, который вчера весь вечер проговорил со мной о Михаиле Алексеевиче.

С ионизатором Микулина произошла, как говорят в великосветском обществе, следующая «петрушка». Прошлым летом Микулин сам привез мне в Тарусу этот ионизатор (не будучи со мной знаком). Я попробовал пользоваться этим ионизатором и вначале дышал очень хорошо, и астма как будто меня оставила. Но через две недели ионизатор начал работать «обратно» со страшной силой. После каждого вдоха у меня начинались длительные и невыносимые приступы удушья. Пришлось ионизатор оставить.

В первый светлый период я написал, естественно, благодарственное письмо Микулину, которое он и опублико-

вал в «Юности» без моего ведома. Сначала я думал, что неумело пользовался ионизатором, но сейчас, почти через год, все выяснилось,— ионизатор обязательно должен быть снабжен счетчиком ионов <...> На моем же аппарате счетчика не было <...>

Теперь, как мне сказали со слов самого Микулина, аппарат усовершенствован, снабжен счетчиком и уже началось его массовое изготовление для продажи на бывшем авиационном заводе в Серпухове. Что нужно сделать? Во-первых, написать самому Микулину (Александр Александрович Микулин. Москва, Пуговичный пер., дом № 15, квартира 34, тел. Д6.03.38) и, во-вторых, написать в Министерство здравоохранения, которое, вопреки вековой традиции, отвечает на письма охотно и обстоятельно.

Пользоваться ионизатором первое время надо под наблюдением врача. Вот, кажется, все. Да, летом Микулин живет в Коктебеле (Планерское, Крым, собственная дача) — следует написать и туда.

Как сказано у Шолома Алейхема: «Зачем вам горы в Америке, когда вы имеете свои горы в Егупеце?» Зачем Вам шумная Малеевка, когда Вы имеете такие прелестные места, как Тригорское? Но это не мое дело, и Вы можете решительно поставить меня на место за мои бестактные вопросы.

Что с Идой Исаковной? Я сижу в Тарусе и понемногу задыхаюсь. А иной раз и помногу... Я пишу пятую автобиографическую книгу и предвкушаю удовольствие, когда я наконец доберусь в своих воспоминаниях до Вас. Трепещите!!! Татьяна Алексеевна сейчас в Москве.

Вчера у Алянского сорвался на Оке лещ в четыре кило весом. Алянский плакал, что несколько неуместно для создателя «Алконоста».

Обнимаю Вас. Кланяюсь в пояс Иде Исаковне. Все наши, как всегда с энтузиазмом, приветствуют Ваших.

Ваш *К. Паустовский.*

Л. Н. ДЕЛЕКТОРСКОЙ

9 сентября 1959 г. Ялта

Дорогая Лидия Николаевна, простите, что пишу на машинке, но за последнее время мой почерк до того испортился, что я сам разбираю его с трудом.

Я очень обрадовался Вашему письму. Я принял его как отпущение моего великого греха перед Вами — долгого и непростительного молчания.

Я много раз порывался писать Вам, но меня останавливала глупая мысль, что мое письмо может показаться Вам косвенным напоминанием о «Золотой розе», как бы замаскированным вопросом.

Ради всего святого, дорогая, не волнуйтесь из-за перевода «Золотой розы». Эта книга не стоит, как говорили в старину авторы романов, «ни одной вашей слезы». Вы измучились с переводом. Бросьте его и отдохните. А когда отдохнете, то, может быть, снова вернетесь к нему. Я хочу только одного,— чтобы Вы не терзали и не мучили себя.

Как было бы чудесно, если бы Вы могли приехать. У меня жизнь складывается так: до конца сентября я пробуду в Ялте, потом еду на несколько дней в Москву, а на весь октябрь поеду вместе с Татьяной Алексеевной в Болгарию, где, кстати, очень удачно лечат астму.

Если Вы сможете приехать в ноябре, то хорошо, а если раньше, то сообщите мне в Болгарию (София, Союз писателей Болгарии) и одновременно в Москву, и я вернусь раньше. В Москву надо сообщить на тот случай, если моя поездка в Болгарию не состоится.

Напишите о себе. Вы молчите об этом с необыкновенным упорством. Что я могу сказать о себе? Меня изводит капризная и злая моя болезнь (астма). Я устал от нее и, конечно, постарел. Всю предыдущую зиму я прожил в Ялте, и мне стало лучше. На лето вернулся в Москву и Тарусу — астма зажала меня снова. И вот — я снова в Ялте, где кое-как дышу.

Спасибо Вам за великолепную и уникальную у нас книгу (альбом) Матисса. У меня за это время (этим временем я называю время после Парижа; иногда мне кажется, что мы виделись только вчера, а иногда, что прошли многие годы) вышло собрание сочинений в 6-ти томах и напечатана новая (четвертая) книга автобиографической «эпопеи». Сейчас я пишу 5-ую книгу.

Написал большой очерк о Париже. Называется он «Мимолетный Париж». Пока что — еще не печатал.

Пишите мне длиннющие письма, не стесняйтесь, я буду радоваться им. Пишу на Париж, хотя, по почтовым штемпелям, Вы почти все время в Ницце. Вы прислали мне дивные фото старинных кораблей. Корабли — моя слабость. Где Вы их нашли, в какой гавани? Вырезка из га-

зеты относительно работы профессора Дидье, очевидно, относится к той выставке, о какой Вы пишете.

Редко вижу Гранина и Рахманова. Встречаясь, всегда вспоминаем Вас. Будьте спокойны, счастливы. Пишите, я буду ждать. Привет Вашей сестре.

Ваш *К. Паустовский.*

Как Вы относитесь к стихам. Недавно в Москве умер мой недолгий друг, замечательный поэт Заболоцкий. Может быть, в Париже, в магазине русской книги, Вы сможете достать его стихи (в Москве их давно уже нет). Почитайте. Вот, например, одно. Назвается оно «Журавли».

Вылетев из Африки в апреле
К берегам отеческой земли,
Длинным треугольником летели,
Утопая в небе, журавли.

Вытянув серебряные крылья
Через весь широкий небосвод,
Вел вожак в долину изобилья
Свой немногочисленный народ.

Но когда под крыльями блеснуло
Озеро, прозрачное насквозь,
Черное зияющее дуло
Из кустов навстречу поднялось.

Луч огня ударил в сердце птичье,
Быстрый пламень вспыхнул и погас,
И частица дивного величья
С высоты обрушилась на нас.

Два крыла, как два огромных горя,
Обняли холодную волну,
И, рыданью горестному вторя,
Журавли рванулись в вышину.

Там, вверху, где движутся светила,
В искупленье собственного зла
Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла:

Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбе —
Все, что от былого поколенья
Переходит, молодость, к тебе.

А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно,
И заря над ним образовала
Золотого зарева пятно.

С. СИВРИЕВУ

14 ноября 1959 г. Москва

Дорогой товарищ Сивриев, только что получил пакет с фотографиями. «Аз благодаря на Вас за тая голяма услуга». Вот видите, как я уже научился писать по-болгарски! На днях я пришлю Вам свои болгарские фотографии,— сейчас их проявляют и печатают.

Но не это главное. Главное — это то, что мы привязались к Вам, к Вашей семье, к нежной девочке Василине, к Ангелу Каралийчеву, к Славчо Чернышеву и ко многим нашим новым болгарским друзьям и благодарны Вам и им всем за дружеское расположение и гостеприимство. Все время вспоминаем Вас и Вашу чудесную страну.

Доехали хорошо, но от Руссы начался сплошной дождь и лил до самой Москвы. В Москве друзья накинулись на нас с расспросами, и я так много говорю, что так же хриплю, как и в Софии.

Пожалуйста, передайте огромный привет от нас Вашей жене, Ангелу Каралийчеву, Чернышеву, Серафиму Северняку, Веселину Андрееву, Ладе Галиной, полковнику Гетману и всем, кто так сердечно отнесся к нам в наши «болгарские» дни.

Пишите по-болгарски. Я все пойму. А если я не пойму, то поймет Татьяна Алексеевна.

Будьте здоровы и счастливы. Целую Вас.

К. Паустовский.

С. СИВРИЕВУ

18 ноября 1959 г. Москва

Дорогой другаре Сивриев! С небольшим опозданием посылаю письмо в редакцию литературной газеты. Это — простая благодарность болгарским писателям за гостеприимство и заботу.

Передайте это письмо, пожалуйста, в редакцию (я не знаю ее адреса). И скажите редактору, что я буду очень ему благодарен, если газета найдет возможным напечатать мое письмо.

Дня через два вышлю Вам фотографии. Есть очень хорошие.

23 ноября я выезжаю в Ялту (так требуют мои врачи). После Болгарии моя астма стала гораздо слабее.

В Ялте я пробуду, должно быть, два месяца. Мой адрес в Ялте — Ялта Крымская, улица Кирова 9, Дом творчества писателей. Но можно писать и на Москву,— мне все письма будут пересылать. Татьяна Алексеевна будет с Алешей в Москве.

Мы Вас целуем. Привет жене и детям. Привет всем друзьям.

Ваш *К. Паустовский.*

ТОВАРИЩАМ — ПИСАТЕЛЯМ БОЛГАРИИ

18 ноября 1959 г. Москва

Осенью 1959 года я видел в пловдивском музее золотой аттический клад. Его нашли десять лет назад три брата-землекопа Дейковы.

Они копали глину для кирпичного завода и наткнулись на редчайшую по красоте и ценности золотую скульптуру — работу эллинских мастеров.

Древние сосуды светились в сумрачном музейном зале, как груда больших осенних листьев. Червонный блеск падал от них на все окружающее.

Вот так же, подобно этому кладу, впервые предстала передо мной и осенняя Болгария — страна, как бы выкованная народными мастерами из светлого золота и красной меди.

Несмотря на сожаление моих болгарских друзей по поводу того, что я приехал поздней осенью, я считаю, что мне замечательно повезло. Я увидел Болгарию в полном блеске осенних красок и неба и такую богатую и спокойную от только что собранного урожая, что никогда бы не смог увидеть ее такой в разгар лета.

Мне повезло еще и потому, что у меня были влюбленные в свою страну первоклассные проводники — писатели Ангел Каралийчев, Станислав Сивриев, Славче Чернышев, Серафим Северняк, Лада Галина, Веселин Андреев и другие писатели и поэты, а кроме того — десятки простых и приветливых людей — крестьян, рабочих, рыбаков, шоферов.

Пожалуй, никто не мог бы показать с таким искренним пафосом руины римского города Никополиса около Дуная, как это сделал единственный сторож этих руин —

старый крестьянский дед Иордан. Он заслуживает отдельного рассказа.

Я видел многое. Но, конечно, это только отдельные части замечательной страны. Я видел совершенно ржавые от дубовой листвы («Шума») теснины Рылского монастыря, нарядную вершину Витоша, откуда слетает на раскинутую у ее подножья Софию горьковатый осенний воздух. Видел Тырново — город, живописный, как сон, как причудливый рисунок великого художника. Если бы у городов было сердце, то, мне кажется, Тырново был бы городом с самым ласковым сердцем.

Я видел грозную Шипку, засыпанную тонким снегом, будто посеребренные сединой виски ветерана, долину Роз, мощные кряжи Старой Планины, новые заводы, прекрасные дороги и курорты, построенные как бы из твердой морской пены,— такими они были легкими и белоснежными.

Видел маленькие рыбачьи порты Несебр и Созопол с их племенем смелых рыбаков-капитанов, с их древними византийскими базиликами и домами, похожими на птичьи гнезда, с их романтичностью, оставшейся от прошлых времен и напоминающей нам о необходимости наполнить и наше время счастливыми и жизнерадостными чертами молодого романтизма, свойственного новому коммунистическому обществу.

Я видел удивительный, почти неправдоподобный по своей топографии Пловдив, где среди равнинных улиц подымались острые каменные вершины, бурную Марицу, далекое видение закутанных грозами Родопских гор, мавзолей Димитрова, излучающий спокойный свет, огромные чаши новых озер, созданных человеком. Видел старую историческую Болгарию и новую Болгарию, полную труда, оживления и богатства.

Но — и это главное — я видел самое большое богатство страны — болгарский народ, приветливый и расположенный к людям, талантливый, умеющий работать во всю силу, но без спешки и шума,— героический народ, который пронес свою независимость через тяжкие испытания и уверенно идет к новым свободным временам.

Этим первым знанием страны, которое не могло не вызвать любви к ней, я обязан своим товарищам — болгарским писателям.

Они дали возможность узнать свою страну наилучшим образом и проявили широкое и дружеское гостеприимство.

Поэтому позвольте мне принести писателям Болгарии и их объединению — Союзу писателей — глубокую благодарность и считать себя в литературном долгу перед Болгарией. Этот долг я постараюсь отдать по мере сил.

К. Паустовский.

И. Г. ЭРЕНБУРГУ

21 ноября 1959 г. Москва

Дорогой Илья Григорьевич,— на днях я вернулся из поездки по Болгарии. В Софии молодая художница Мана Парпулова передала для Вас маленький подарок,— журнал «Изкуство» с репродукциями фресок из Боянской церкви и книгу Доры Габе с иллюстрациями Бешкова.

Мана просила узнать,— есть ли у Вас большая монография о Боянской церкви. Если нет, то она Вам пришлет. Мане можно писать на адрес издательства «Изкуство» (София, площадь Славейков, 11).

В Софии в ЦУМе висит Ваш большой прекрасный портрет, а на одной из софийских улиц есть кафе, которое называется «Илья Эренбург». К сожалению, мне сказали об этом за час перед отъездом из Софии, и я не успел его посмотреть. Любят Вас в Болгарии просто преданно.

Мы редко видимся, и не знаю как для Вас, а для меня это очень грустно. Вас я ощущаю непрерывно как большую моральную опору и не представляю себе жизни и работы вне этого ощущения. Будьте же спокойны, здоровы, берегите себя.

23-го я уехал в Ялту — кончать книгу (в Москве немыслимо). Проживу в Крыму до конца января. Когда вернусь — позвоню, если позволите, Вам.

Кланяйтесь Любови Михайловне. Татьяна Алексеевна низко кланяется.

Обнимаю Вас.

Ваш *К. Паустовский.*

С. СИВРИЕВУ

26 ноября 1959 г. Ялта

Дорогой товарищ Сивриев! Два дня тому назад я приехал в Ялту. Несмотря на то что в Болгарии моя астма очень ослабела, врачи все-таки послали меня еще на два-

три месяца в Ялту, чтобы не быть в Москве в самое холодное и мокрое время.

Я живу в нашем Доме творчества (ул. Кирова, 9, Дом творчества писателей) и понемногу начинаю работать. Уже начал писать о Болгарии.

Получили ли Вы мое письмо с заметкой для болгарских писателей?

Сейчас я очень тороплюсь и потому пишу коротко. На днях напишу подробнее.

У меня к Вам огромная просьба. Если можно, то купите в аптеке тот ингалятор против астмы и еще три флакона французского лекарства, это оказалось единственное лекарство, которое мне помогает. Но Татьяна Алексеевна, да и я боимся, что оно исчезнет из продажи. К тому же я боюсь разбить ингалятор, а запасного нет.

Рассчитаемся, когда увидимся. Не знаю, можно ли ингалятор пересылать по почте,— как бы не разбили. Лучше послать с кем-нибудь, кто поедет в Москву.

Я буду Вам бесконечно благодарен. Вы меня просто спасете.

Скоро пришлю фотографии. Привет Вашей жене, Веселине и сыну. Привет всем, кто меня еще не забыл. В первую очередь Ангелу Каралийчеву, Северняку и Чернышеву.

Татьяна Алексеевна всех вас целует. Обнимаю Вас. Будьте здоровы и счастливы.

Ваш *К. Паустовский.*

К. А. ФЕДИНУ

14 декабря 1959 г. Ялта

Костя, дорогой,— я целиком присоединяюсь к письму Глебова, так как знаю Хохлова с 1935 года. Конечно, Литфонд обидел старейших служащих, и надо бы это исправить.

Недавно вернулся из Болгарии, где жил на черноморском берегу, на самом юге страны, недалеко от Босфора и не на курорте, а в маленьком древнем городке Мессемврии (теперешний Несебр), в рыбачьем порту. Город лежит на островке, связан с материком длинной дамбой. В городке — рыбачий порт и руины 48 византийских базилик. Рыбаки — все греки, «капитани». В связи со всеми этими обстоятельствами астма меня оставила там совершенно,

по в Москве опять начала прибирать к рукам, и вот — я опять в Ялте.

Приеду в Москву, должно быть, в феврале, тогда все расскажу.

Представляю, как ты устал. «Плюнь на все и береги здоровье», как говорили в старину гимназисты, получая двойку.

Поцелуй всех детей. Обнимаю тебя. Татьяна Алексеевна кланяется (она в Москве с Алешкой).

Твой *Коста.*

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

24 декабря 1959 г. Ялта

Танюша, Тань-Тань, сейчас иду на почту отправлять статью,— она уйдет сегодня. По-моему, из статьи ничего не вышло. Я писал ее с такой неохотой, как никакую другую вещь. Посмотри и если увидишь, что все это не нужно и глупо, то не давай. Пусть Келлерман скажет, что я заканчиваю книгу (пятую) и не умею отрываться и переключаться на другую работу.

Статей об автобиографическом цикле почти не было, за исключением кислых. Скажи Шейнину, что я считаю совершенно лишним подтверждать мнение комиссии (или влиять на него) путем статей и рецензий. Если от этого (от критиков) зависит самая премия, а не от качеств самой вещи — то бог с ней, с премией.

Жду тебя и Алешку. Дышу хорошо. Очень я соскучился.

Целую всех. Целую тебя крепко. Бегу на почту.

Твой *Костька.*

К следующему телефонному разговору держи под рукой адреса Каневского и Лобанова. Все остальные адреса есть (для поздр. телеграмм).

С. СИВРИЕВУ

16 января 1960 г. Ялта

Дорогой товарищ Сивриев, я бесконечно виноват перед Вами за то, что так долго не отвечал на Ваши письма. Не сердитесь на это и не придавайте этому значения,— если я молчу, то только из-за обилия работы или болезни.

Я получил все Ваши письма, и газеты, и фотографии (в «Болгарском воине»). Спасибо большое.

Наш журнал «Новое время» буквально вырвал у меня из рук очерк о Болгарии и напечатал его в двух номерах — первом и втором за 1960 год. На днях редакция этого журнала вышлет Вам на Ваш домашний адрес эти два номера. Если очерк Вам понравится, то, возможно, он будет переведен на болгарский язык и напечатан в Болгарии. Даю Вам для этого дела, как говорят французы, «карт бланш».

Огромное Вам спасибо за лекарство,— оно оказалось единственным, которое мне хорошо помогает. И поблагодарите от меня Степана Станчева за его превосходную статью.

На встречу Нового года сюда приезжали ко мне Татьяна Алексеевна с Алешкой. Прожили десять дней, и Алешка был в восторге.

Я проживу в Ялте до марта (здесь мне легче дышать), потом, если удастся, поеду в Польшу и Францию, а ближе к осени — в Созополь. Пишу пятую автобиографическую книгу («Войной взволнованный Кавказ» — это пока еще условное название), но пишу медленно,— все время отрывают. Особенно сейчас, накануне чеховских дней.

Мечтаю о встрече со всеми вами, о лете в Созополе, о Ропотамо и других прекрасных местах.

Привет — огромный — Каралийчеву и его жене, чудному Славчо Чернышеву, Северняку, Веселину Андрееву, Марианне Панчевой, Саше (шоферу). Мы постоянно вспоминаем всех вас.

Привет от нас всех — Вашей жене, милой моей Веселине и сыну.

Целую Вас. Будьте здоровы и благополучны.

Ваш *К. Паустовский.*

Посылаю несколько фото. На обороте фото есть надписи.

Е. Н. АНДРИКАНИСУ

17 января 1960 г. Ялта

Дорогой Евгений Николаевич! — ради всего святого простите меня за опоздание с ответом (лишь бы от этого не задержалась Ваша работа). Я и болел, и меня тере-

били срочной работой, и приезжал ко мне на каникулы сын — Алешка.

Сценарий я прочел и сделал надпись, которая нужна студии. Это — формальная сторона дела. Но по существу же должен сказать Вам следующее.

Сценарий хорош, сделан крепко, и я предвижу хороший фильм. Но есть несколько замечаний.

Я категорически возражаю против введения в фильм метро и атомного ледокола. Не знаю, кто это придумал, но, очевидно, человек, не понимающий разницу между злободневностью и современностью. Есть служение своему времени и есть вульгарная лесть своему времени — это понятия разные.

Если Вы (не лично Вы, а студия) имеете дело с писателем современным и советским, то заполнять во что бы то ни стало его вещи «приметами времени» не нужно,— самое мироощущение писателя создает то состояние современности, которое мгновенно передается читателю или зрителю. Самая большая примета времени в «Северной повести» — это революционный, вольнолюбивый, патриотический и гуманный дух самой вещи, в целом вполне совпадающий с целями и задачами нашей советской литературы. Поэтому тот товарищ, который придумал метро и атомный ледокол, пережал педаль. Введение этих двух компонентов в фильм создает впечатление грубого приспособленчества.

Вместо фамилии Бестужев можно назвать его Бородиным, я не очень возражаю против этого, хотя опять удивляет эта маленькая «перестраховка». Много лет «Северная повесть» издается, переводится на все языки, и наш и даже западный читатель принял и полюбил это имя, и ни разу никто не додумался до того, что кто-то и где-то подымет ненужную и, по существу, глупую дискуссию по этому поводу.

В экземпляр, который я возвращаю Вам, я внес несколько незначительных поправок. Вы их найдете. Между прочим, в то время военные не носили бород, бороды были даже запрещены.

Подъем французского флага (эта придуманная деталь лежит в одном ряду с метро и ледоколом) — явная натяжка. К чему эти лобовые решения всем понятных вещей? Тем более что это просто неправдоподобно, подъем революционного флага только ставит под опасный удар беглецов, и такой умелый капитан, как Пинэр, этого никогда не сделает.

Да, еще мелочь — где-то в ремарках я заметил выражение: «говорит с наигранным пафосом». Никакого пафоса — ни наигранного, ни подлинного — не нужно. Это звучит безвкусно и не натурально,— пафос заключается в самой вещи, которую надо играть с максимальной простотой. Тогда внутренний пафос дойдет до читателя с большой силой, чем все эти трамбле, дрожащие и возвышенные голоса и подвывы.

Вот и все. Все остальное, что Вы пишете,— приятно и хорошо.

Спасибо за хороший сценарий. Если меня пощадит моя астма, то я, может быть, попаду в Ленинград. Но вряд ли. Если Вы сочтете это нужным, то доведите мои замечания до сведения М. И. Ромма. Передайте ему мой сердечный привет.

Жду фото — интересно.

Татьяна Алексеевна Вам кланяется.

Крепко жму руку и уверен в Вашем успехе.

В Ялте я пробуду, очевидно, до апреля.

Ваш *К. Паустовский.*

В сцене похорон стоит, может быть, дать глухой музыкальный фон «Вечной памяти»? Как Вы думаете?

Е. Н. АНДРИКАНИСУ

8 февраля 1960 г. Ялта

Дорогой Евгений Николаевич! — получил фото. Большое спасибо. Что сказать об отдельных кусках фильма, присланных Вами?

Только одно,— если бы вся картина была такой чистой, сильной и действенной, как эти куски, то, очевидно, сбылась бы самая затаенная мечта режиссера и столь же затаенная мечта автора о полном слиянии прозы и кино. Хорошо. Очень хорошо.

Прекрасный пастельный тон, хороши образы людей. Они нигде не идут вразрез с теми людьми, каких я видел, говоря старомодно, «своим внутренним взором», когда писал повесть. Прекрасны все главные герои. Удивительно хорош Лобов. Анна (Ева Мурниеце) обаятельна. Но нужно, чтобы какой-то нежный внутренний плач сопровождал ее любовь, как предчувствие, как ощутимая близость трагедии. Просто мне хотелось, чтобы в сценах любви была

грусть, тогда они будут очень сильными. Но это, конечно, не устраняет улыбку и даже смех там, где это естественно. Эти мои слова — вовсе не обязательны для Вас. Просто подумалось. Кстати, там, где Анна на маяке, обратите внимание на ее правую руку. Мне кажется, что в таком ракурсе руку снимать не стоит. Но — это мелочи.

Теперь о проходе Мари и Тихонова по Ленинграду. Чем проще будет эта сцена — тем лучше. По-моему, текст письма Бестужева должен войти совершенно органично в сцену на Мойке. Тихонов может сказать: «Это были тяжелые годы. Я никогда не забуду, что написал Бестужев Анне...» — и дальше на фоне музыки те слова Бестужева, которые Вы привели в письме.

Увы, в Доме писателей нет магнитофона. Я приеду в Москву, очевидно, в конце марта. В конце апреля или в мае я приеду в Ленинград и Выборг, чтобы посмотреть на съемку. Мешать Вам не буду. В июне я еду в Польшу. В общем, мы, очевидно, увидимся еще до Ленинграда. Во всяком случае, сговоримся.

Привет всем артистам, всем работникам фильма. Я очень им верю.

Будьте здоровы и счастливы. Пишите.

Ваш *К. Паустовский.*

Что касается прически Анны в сцене на ветру, то я с Вами согласен.

К. А. ФЕДИНУ

8 февраля 1960 г. Ялта

Костя, милый, спасибо за твое маленькое и ласковое письмо. Не отвечал так долго потому, что «записался»,— столько пишу, что у меня появился страх перед ручкой и чистыми листами бумаги. Просто устал, да и глаза сдают,— все время перед глазами струится, как по стеклу, вода. Но, в общем, все это — чепуха, лишь бы работать и успеть сделать то, что задумано.

Я очень отошел от Москвы и не жалею об этом. Здесь тихо, стоит вот уже неделю удивительная, пушистая, залитая солнцем приморская зима. В огромном доме нас всего пять-шесть человек. Несмотря на снег, в воздухе пахнет цветущим миндалем. Пишу, читаю, думаю о прожитой жизни и начинаю понимать, что в больших годах есть своя — тоже большая — прелесть.

Кончаю пятую книгу (автобиографическую), потом, благословясь, буду писать вторую книгу «Золотой розы». Свободную и «нахальную» книгу. Лишь бы она получилась.

Где ты и что ты? Был ли у Ивана Сергеевича? И где он? Я полюбил его так же молчаливо, как и он молчаливо живет на свете.

Как Нина? По стране ходят слухи о талантливом скульпторе Роговине. А я не видел его скульптур. Я надеюсь, что Саша, загадочно улыбаясь, как-нибудь мне их покажет.

В Москву вернусь в марте. Мне здесь легче (или я уже привык к этой чертовой астме). В мае собираюсь в Польшу, к «пшеклентным полякам». Зовет Ивашкевич — мой сверстник по гимназии, чудный человек. Звонила из Москвы Татьяна Алексеевна (вчера) и рассказала, что Саммир очень болен. Очень обидно и очень больно. Да и страшно за всех.

Поцелуй Нину, Сашу, всех детей. Будь здоров, благополучен и не зарабатывайся в известном казенном заведении. Шут с ним!

Обнимаю тебя.

Твой *Коста.*

С. ЧЕРНЫШЕВУ

22 февраля 1960 г. Ялта

Славчо, дорогой, получил Ваше письмо, посланное из Софии 29 января. Письмо, которое Вы послали в Москву, почему-то не дошло. Это очень досадно.

Мы с Татьяной Алексеевной каждый день вспоминаем Вас как самых близких друзей. Мы очень к Вам привязались и этим летом хотим обязательно приехать (с Алешкой) в Созопол — отдохнуть и половить рыбу в Ропотамо.

В мае мы, очевидно, поедем в Польшу, а в августе — к Вам, в Болгарию. В Ялте я проживу до начала апреля. Если Ваши рыбацкие корабли (гимеи) придут сюда на ловлю, то, может быть, мы увидимся. В Ялте я проживу так долго из-за своей проклятой астмы.

Татьяна Алексеевна в Москве с мальчиком, но уже два раза за зиму приезжала сюда. Я пишу пятую книгу (автобиографической повести). Это 1922 и 1923 годы на Кавказе. И называется эта книга «Войной взволнованный

Кавказ». А летом буду писать вторую книгу «Золотой розы». Назову ее, кажется: «Собеседник сердца». Помните, стихи Заболоцкого о Пастернаке:

А внизу на стареньком балконе —
Юноша с седою головой,
Как портрет в старинном медальоне
Из цветов ромашки полевой,
Щурит он глаза свои косые,
Подмосковным солнышком согрет,—
Выкованный грозами России
Собеседник сердца и поэт...

Хорошо, что Вы начали писать прозу. В поэзии Вам тесно. Нет ничего богаче, свободнее, сильнее, пленительнее и тоньше прозы. Я люблю поэзию до слез, но не променяю на нее прозу. Идеал — полное слияние поэзии и прозы,— так как в некоторых вещах Бунина. Но это бывает редко.

Пишите мне на Ялту. Поклонитесь от меня Северняку, Веселину Андрееву, Ангелу Каралийчеву, милому созопольскому художнику Яни Хрисопулосу, шоферу Саше и всем капитанам — Тумбаретову и Каранкову.

Привет Вашей жене.

Обнимаю Вас.

Ваш *К. Паустовский.*

Я писал «Живописную Болгарию» для большого журнала и совсем забыл, что еще до отъезда в Болгарию обещал написать о ней для журнала «Новое время». Пришлось сдержать слово и отдать его этому журналу. Но я буду еще писать о Болгарии.

В. Ф. и А. М. БОРЩАГОВСКИМ

26 февраля 1960 г. Ялта

Дорогие Борщаговские! Ради всего святого, не считайте меня невежой, нахалом и моветоном. Я так безобразно долго не отвечал не из-за отсутствия любви к вам обоим (ее — целые горы), а от обыкновенной усталости, начал работать, время меня гонит в шею, и замучили посетители. К вечеру я уже не могу видеть ручку и бумагу. К тому же сейчас — самое плохое время в Крыму, дожди и туманы сменяются солнцем очень ненадолго, и по этому случаю обнаглела астма.

Посылаю еще один «заряд» фотографий. Неизменно хорошо вышла Валентина Филипповна (она же — Ляля). Почему бы ей не поступить в кино и не подрабатывать на клипсы. Когда я увидел, как вышли серьги, то смело поставил под фотографией свою подпись. Если меня выгонят из Союза писателей, то по крайности буду промышлять цветной фотографией на крымских пляжах. А что вы скажете о фотографии в живописном закоулке порта? Нужно обладать очень изощренным вкусом, чтобы понять всю ее прелесть. «Портрет с блюдом» должен войти в историю.

Посылаю еще фото Малюгина, снятого еще во времена его диктатуры. Когда он вернется из Скво-вели, то передайте ему этот фотодокумент. Кроны вышли тоже хорошо, но почему-то игриво. На днях пошлю им снимки, сейчас их печатают расторопные фотографы, торгующие из-под полы (по некоторым признакам) нашими изображениями.

Извините, что я так бездарно острю (или пытаюсь острить), но это потому, что сейчас паршивое настроение. Прежде всего потому, что льет желтый дождь, а потом еще и потому, что битый час сидела какая-то шкрабиха и требовала ответа на вопрос «как жить?». Я послал ее к В... Г...

Книга движется, и это одно меня несколько утешает.

Казакову написал. Говорят, в Союзе было обсуждение его рассказов, но подробностей я не знаю.

Здесь живут («среди нас находятся») Веня Каверин, Александр Альфредович Бек, и, пожалуй, это все. Живем дружно, как в полярной экспедиции. Часто ходим в «Ореанду» пить двойное кофе.

Я пробуду здесь до начала апреля. Все удивляются, что вы сидите в Москве (я пишу «вы» с маленькой буквы вовсе не от отсутствия воспитания, а потому, что это письмо — вам двоим).

Пишите. Не обращайте внимания на то, что я долго молчу. Все время вспоминаю вас и радуюсь, что, может быть, и поздно, но узнал еще два чистых и добрых человеческих сердца.

Обнимаю вас обоих. Ваш *К. Паустовский.*

Вчера было неожиданное солнце, и Крым весь расцвел. Второй раз зацвел миндаль. Ползут крокусы. Вся комната — в цветах. Над морем весь день висели невиданной красоты облака. И было жарко.

С. СИВРИЕВУ

26 февраля 1960 г. Ялта

Дорогой товарищ Сивриев,— никак не привыкну писать с таким официальным обращением к Вам. Только что получил Ваше письмо и журнал (и газету с «Живописной Болгарией»). Большое спасибо.

Пишу я редко (письма),— не удивляйтесь. Мне почему-то трудно писать письма. Может быть, потому, что я вообще много пишу и устаю от самого процесса писания.

Я пробуду в Ялте, очевидно, до апреля. К тому же времени думаю закончить книгу. На днях сюда приедет на несколько дней Татьяна Алексеевна.

Только что получил письмо от Чернышева. Все собираюсь написать Каралийчеву, но все «не доходят руки». На днях напишу обязательно,— мы постоянно вспоминаем вас всех и Каралийчева с его мягкостью, сердечностью и доверчивыми и добрыми глазами. Человек он, конечно, замечательный. Да, кажется, я не писал Вам, почему «Живописная Болгария» попала в журнал с небольшим, к сожалению, тиражом и не очень широко известный и у нас и у вас. Дело в том, что перед моим отъездом в Болгарию этот журнал взял с меня слово, что я им напишу маленький очерк о Болгарии. Я обещал. Я когда приехал, то они меня взяли «за горло» и мне пришлось отдать им очерк, который предназначался для «Огонька». Досадно, конечно, но я ведь не последний раз пишу о Болгарии.

Лекарство мне очень помогает. Я, естественно, боюсь, что оно кончится и тогда мне будет худо. Было бы, конечно, замечательно, если бы его можно было бы еще достать в Софии и переслать мне. Но меня очень смущает денежный вопрос. Я — в долгу перед Вами, и еще неизвестно, когда смогу этот долг отдать. Вы не волнуйтесь, если не найдете это лекарство,— я, очевидно, смогу выписать это лекарство через мою переводчицу на французский язык <...> Она живет в Париже.

В мае я, очевидно, поеду в Польшу, куда меня приглашает гостем Союз польских писателей. Потом поживу у себя, под Москвой, а на август мы с Татьяной Алексеевной хотели бы поехать, захватив Алешу, в Созополь — отдохнуть и половить рыбу.

Привет всем — Каралийчеву, Чернышеву, Андрееву, Северняку, Станчеву, Марианне Панчевой, Ладе Галиной, Саше-шоферу и всем, кто меня помнит.

Низко кланяюсь Вашей жене и целую моего милого маленького друга Веселину.

Обнимаю Вас. Будьте счастливы.

Ваш *К. Паустовский.*

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

4 марта 1960 г. Ялта

Танюша, милая моя, это — не письмо, а коротенькая записка. Тороплюсь,— через полчаса уезжает в Москву Лева Устинов и повезет предисловие к Топырчану и эту записку. Получил твое письмо,— ты не представляешь, как я обрадовался ему и как все, что ты думаешь, совпадает с тем, что в последнее время думал я. Но об этом напишу завтра или послезавтра.

Посмотри предисловие,— я в нем не уверен. Если Аркадию не понравится, то ничего не поделаешь. Во всяком случае, он может делать с ним все, что нужно. Передай ему привет.

Вчера видел какую-то картину (среднюю), но там сняты мальчики Алешкиного возраста, у всех на темени волосы расходятся завитком, как у Алешки,— очень смешно и трогательно. Поцелуй его в это место.

Сейчас уже отдал все литературные долги и засел наконец-то за книгу. Вчера выпал снег. Холодно. Я не выхожу — только в столовую. Дышу сносно. Поцелуй мальчика и всех. Целую тебя, родной мой человек. Не уставай и пе болей.

Твой *Костька.*

Л. Н. ДЕЛЕКТОРСКОЙ

9 апреля 1960 г. Ялта

Дорогая Лидия Николаевна, спасибо за Ваши письма. Я перечитываю их, и у меня при этом всегда бывает такое чувство, что мы только что поговорили о многом и только что расстались. Может быть, поэтому я так опаздываю с ответами. К тому же, как это ни покажется смешным, я устаю от писания,— до мозолей на пальцах.

Я совершенно согласен с Вами во всем, что касается перевода моих вещей. Вы лучше знаете французского читателя, а для меня он — загадка.

Я хочу умолять Вас об одном,— не сердитесь на меня, если до Вас дошел третий номер журнала «Октябрь» за этот год. Там у меня напечатан очень свободный по трактовке материала, в достаточной степени импрессионистический очерк о Париже: «Мимолетный Париж». И там есть несколько абзацев о Вас,— может быть, это не точно, но такое у меня от Вас осталось впечатление и настроение, и я его ценю в самом себе.

Простите за лирические отступления и поэтические вольности, а если Вы рассердитесь, то напишите мне прямо об этом,— мне будет легче.

На днях я уезжаю из Ялты в Москву. В мае, может быть, поеду в Польшу; а осенью, если удастся, в Париж. Но это, кажется, «пустое мечтание».

Сейчас кончаю пятую книгу (или часть, не знаю, как назвать) «Повести о жизни». Это пока еще только 1922 и 1923 годы на Кавказе — в Грузии и Армении. Материалу даже слишком много.

Моя астма мучает меня понемногу (а иногда и помногу). Осенью в Болгарии я дышал «как бог».

Гранин не подает признаков жизни. Рахманов пишет, что получил от Вас «очень интересное и милое письмо».

Будьте спокойны и счастливы. Не болейте никакими гриппами и даже насморками. Привет сестре и Поль. И не сердитесь на меня.

Ваш *К. Паустовский.*

Л. Н. ДЕЛЕКТОРСКОЙ

13 апреля 1960 г. Ялта

Лидия Николаевна, дорогая, дня два тому назад послал Вам большое письмо и забыл написать Вам одну свою бесцеремонную просьбу. Дело в том, что в Болгарии мне достали великолепное средство от астмы (оно одно мне помогает и снимает припадки). Средство это французское, и сейчас его в Болгарии уже нет, оно все разошлось. Если бы можно было достать его в Париже и переправить сюда (в Москву), то это было бы идеально. Но есть одно «но» — я не могу выслать Вам денег. Во всяком случае, в Москве я что-нибудь сделаю и, очевидно, добьюсь разрешения перевести деньги. Думаю, что это стоит недорого...

Если удастся его достать, я буду Вам благодарен чрезвычайно. Завтра уезжаю отсюда в Москву. Здесь холодная весна, все время — ветры. Жду Вашего письма.

Простите меня за сложную просьбу, но в Париже — Вы одна, к кому я могу обратиться.

И не сердитесь за «Мимолетный Париж». Хемингуэй прав, когда пишет, что правда литературы достовернее правды житейской. Она глубже раскрывает сущность вещей.

Будьте спокойны, счастливы, здоровы.

Ваш *К. Паустовский.*

Если это лекарство не удастся достать, то не волнуйтесь. Найдется в другом месте.

С. ЧЕРНЫШЕВУ

26 апреля 1960 г. Москва

Славча! Пишу немного, так как только что вернулся из Ялты в Москву и меня буквально рвут на части. Мы часто вспоминаем Вас и про себя называем Вас (не обижайтесь) болгарским Вийоном и Рэмбо. Как наши лихие капитани? Я так очарован Созополем (и Татьяна Алексеевна еще больше), что буквально брежу им и рекой Ропотамо. Увы, когда мы все это увидим? И увидим ли?

Если будете в Созополе, то передайте привет Яни Хрисопулосу, «графине» Батиньоти, Живке (я собрал для нее разные марки, но никак не успеваю послать), Волчанову (в Ялте я видел его прекрасную картину «На маленьком острове»). Пишите на уголовном и даже сверхуголовном русском языке, но только пишите хоть изредка.

Привет самый горячий шкиперу Северняку. Он очень проницательный человек, очень талантливый, прямой и вспыльчивый — это прекрасно.

Привет вашим милым женам. От Татьяны Алексеевны и меня.

Я кончаю пятую автобиографическую книгу. В мае собираюсь в Польшу. Что будет потом — ничего не известно.

Целую Вас и Северняка. Таня тоже.

Ваш *К. Паустовский.*

P. S. Печальное дело,— Светлов очень и очень болен, его оперировали. Сейчас ему немного лучше.

З. Ф. КОЦЮБИНСКОЙ

9 мая 1960 г. Москва

Дорогая Зоя Фоминична,— примите мою глубокую благодарность за Ваш подарок — Вашу прекрасную книгу о Коцюбинском. Я так долго не отвечал потому, что больше полугода жил в Крыму (из-за своей астмы) и только на днях вернулся в Москву.

Спасибо большое за подпись на книге,— вряд ли я ее заслужил полностью. Сейчас заканчиваю пятую книгу автобиографического цикла, когда она выйдет, трудно сказать.

Кланяйтесь от меня Киеву, я его очень люблю, и есть у меня в Киеве всякие заветные места, например, парк около дворца, над Днепром (раньше он назывался Мариинским), и разные улицы — Виноградная, Институтская, все Липки, Лукьяновка...

Примите мой самый сердечный привет.

К. Паустовский.

О. В. РИССУ

9 мая 1960 г. Москва

Дорогой Олег Вадимович,— Вас, конечпо, удивит такой запоздалый ответ на присланный Вами подарок — книгу «Беседы о мастерстве корректора». Но такая у меня сумасшедшая жизнь,— до мая я всю зиму прожил в Ялте, спасаюсь от своей астмы, а в Москве застал горы писем, книг и рукописей. Поэтому — не сердитесь.

Я прочел Вашу книгу с наслаждением не только как любитель набора, типографий, верстки и корректуры, но и просто как пишущий человек. Книга написана живо, художественно, и, читая ее, я вспомнил книгу академика Крачковского «Над арабскими рукописями» и книгу Нейгауза о фортепьянной игре. Ваша книга стоит в ряду этих редких книг, и недаром ее выпустило именно издательство «Искусство».

Спасибо большое за книгу.

Будьте здоровы и счастливы.

К. Паустовский.

Л. И. БОРИСОВУ

8 июня 1960 г. Таруса на Оке

Дорогой Леонид Николаевич (ради всего святого не сердитесь на меня, если я неправильно написал Ваше отчество,— это мое слабое место, а «знаменитого» справочника писателей у меня здесь, в Тарусе, нет).

Прежде всего, извините меня за опоздание с ответом,— меня долго не было в Москве и Ваше письмо я получил только сейчас.

Нину Николаевну Грин я знаю давно, у меня было с ней много дел в связи с изданиями Грина, и, как говорится, «с меня довольно».

Года два или три тому назад она прислала мне письмо с ворохом брани по Вашему адресу, причем понять, за что она Вас ругает, было совершенно невозможно. Насколько я заметил, она очень следит за тем, чтобы появляться в печати в качестве «вдохновительницы» Грина, и приходит в негодование, если этого не бывает.

Я ответил ей,— писал о Вашей великолепной книге «Волшебник из Гель-Гью», о Вашей любви к Грину и о том, что никто не приносит столько вреда памяти больших писателей, как родные, объявляющие себя монополистами этой памяти и ведущие себя как мелкие собственники по отношению к их творчеству.

После моего письма наши отношения с Н. Н. Грин были прерваны. Простите за эти неприятные подробности. Но я считаю, что Грину чудовищно не везло при жизни и так же не повезло и после смерти <...>

Вы понимаете, что писать ей бесполезно. Может быть, Вы покажете это мое письмо в издательстве, а если это неудобно, то я напишу в издательство отдельно и более сдержанно. Ваша книга должна выйти. Она будет пользоваться огромным и заслуженным успехом.

Пишите мне на московский адрес.

Желаю Вам всего доброго. Примите мой сердечный привет.

Ваш *К. Паустовский.*

Я. Г. КРАВЦОВУ

4 августа 1960 г.

Яков Григорьевич, дорогой,— Татьяна Алексеевна забыла передать Вам, что я приготовил для «Моряка» маленький отрывок из своей новой повести, которая

будет напечатана в октябрьском номере «Октября» за этот год.

Посылаю Вам этот отрывок. Буду в Одессе (я не очень важно себя чувствую) во вторник или среду на будущей неделе, то есть 2-го или 3-го числа.

Спасибо за помощь. Обнимаю Вас.

К. Паустовский.

Л. Н. ДЕЛЕКТОРСКОЙ

9 сентября 1960 г. Таруса на Оке

Дорогая Лидия Николаевна, я очень долго не писал, но Вы не должны на меня сердиться, родная,— я был сильно болен и только на днях врачи разрешили мне ходить, читать и писать. И я тотчас же уехал из Москвы в Тарусу,— в глушь, в тишину и одиночество.

Как говорят наши шоферы, у меня «забарахлило» сердце. Очевидно, от жары.

Этим летом мы всей семьей (вместе с очень смешным нашим мальчиком Алешкой) поехали на Черное море, но не на курорт, а в маленький рыбацкий поселок в степях, между Одессой и устьем Дуная. Там бесконечные пустынные пляжи, море, полынь, косматые и застенчивые псы все в репьях и рыбаки — обрусевшие греки, всякие Арфано, Стаматаки и Трояны. Милые, мужественные и робкие (конечно, только на суше) люди. Почти все рыбаки — старые люди, молодежь ушла в города. Одному из рыбаков стукнуло уже 92 года, ловить он не может, но остальные рыбаки из чистого товарищества берут его каждый день в море на ловлю, вносят и выносят его на руках в шаланду и делают вид, будто без старика и его советов ничего у них не выйдет и они не поймают ни одного бычка (по-местному «бичка»), не говоря о камбале.

Все это было прекрасно, но, как только мы приехали, началась смертоносная небывалая жара — до 44 градусов — и ни капли тени. Кругом только полынь и колючие маленькие кусты акации. Рыбацкая лачуга, где мы жили, несмотря на земляные полы и глинобитные стены толщиной в полтора метра (такие стены делают специально от жары), не спасала нас от чудовищной духоты.

Море все время стояло в пару. Я дышал, как через соломинку, и воздух был как кипяток.

После двух недель мучений пришлось бежать в Москву. В Москве у меня тотчас по приезде сдало сердце, больше месяца я пролежал неподвижно в постели. Но сейчас уже все хорошо, и сердце я почти не чувствую.

Писать об этом неинтересно, и я пишу только для того, чтобы Вы не сердились на меня и не огорчались. Особенно после «Мимолетного Парижа». Я не могу укротить свое воображение, я часто целиком отдаюсь ему, жизнь расцветает под пальцами, и (как в случае с «Мимолетным Парижем») мое восхищение перед Вами и перед Матиссом — великим художником и удивительным человеком — прорывается или, вернее, взрывается в кусках такой необузданной прозы, как в «Мимолетном Париже». Вы можете сказать, что все это так. Но потом, когда вещь уже написана, должен же писатель пройтись по пей трезвой и жесткой рукой и выбросить все, что слишком дерзко, интимно и может причинить огорчение людям, которых он ценит и любит.

Почему я оставляю (и не только в очерке о Париже) такие места? Потому что все, что описано в них, стало уже частью моей жизни, прочно вплелось в ткань этой жизни и так хорошо для меня и значительно, что мне хочется передать это и другим. Очевидно, в основе писательства лежит щедрость. «Отдавай и, дрожа, не тянись за возвратом,— все сердца открываются этим ключом».

Простите меня за невольное огорчение, которое я причинил Вам хотя бы ненадолго, хотя бы на час. После Вашего трудного письма я растерялся и чувствовал себя преступником. Но пришло второе письмо, и я сразу перестал горбиться и очень благодарен Вам за это письмо.

Все, что Вы пишете о «Далеких годах», я целиком принимаю. Как идет перевод? То, что Вы прислали, я прочел в меру своего знания (или, вернее, незнания) французского языка, и мне кажется, что это превосходно.

Спасибо за лекарство. Оно спасает меня и помогает настолько, что сейчас астма меня почти оставила. Спасибо Леле за хлопоты. Жаль, что мы не виделись.

Я начал понемногу работать. Пишу нечто странное под названием (не пугайтесь) «Послесловие к моей жизни». Кроме того, пишу шестую автобиографическую книгу. Пятая будет напечатана в 10-ом номере «Октября».

Напишите все о себе. Будьте спокойны, счастливы. Да! Весной обещают отправить меня на некоторое время в Париж с несколькими писателями. Буду ждать. Из-за болезни сорвалась моя поездка в Польшу.

Передайте мою сердечную благодарность и привет Поль и Леле. Не сердитесь. «Я — хороший», как говорит Алешка, когда его ругают. «Я знаю, что я хороший». Так мне, по крайней мере, кажется.

Ваш *К. Паустовский.*

У меня очень портится почерк, поэтому пишу на машинке. Почему мне 69 лет! Это просто глупо! Нужно еще очень много написать.

С. СИВРИЕВУ

9 октября 1960 г. Таруса на Оке

Дорогой Станислав,— посылаю вместе с этим письмом обещанную книгу «Время больших ожиданий». Получили два ваших письма. Большое спасибо.

Очень досадно, что нам не удалось этой осенью приехать в Болгарию. В августе я должен был ехать в Польшу, все для этого было готово, а затем, в сентябре, к Вам, в Болгарию. Но за несколько дней до отъезда в Польшу я заболел (сердце), доктора уложили меня в постель на месяц и приказали лежать без движения. Все сорвалось.

Я был очень тронут приглашением от Союза писателей Болгарии приехать на сентябрь в Болгарию вместе с Татьяной Алексеевной. Я понял, что это сделали мои друзья в Болгарии, в первую очередь — Вы, потом Северняк, Чернышев, Мефодиев и другие. Я бесконечно вам всем благодарен за это и надеюсь приехать будущей весной или осенью. Мне очень хотелось пожить в Созополе и побывать в Родопах.

Можно ли будет возобновить приглашение от Союза? Если да, то тогда поездка станет реальной. В общем, мы еще спишемся и уточним срок поездки.

Я сейчас пишу рассказ — созопольский. Называется он «Амфора». Этот рассказ будет выражением моей любви к Созополу. Он будет напечатан или в «Октябре», или в «Лит. газете». Пятая автобиографическая повесть «Бросок на юг» вышла в 10-м номере «Октября».

Я в Тарусе, Татьяна Алексеевна в Москве с Алешей, но часто сюда приезжает. У нас чудесная золотая (по-болгарски «цыганская») осень.

Передайте мой привет всем друзьям. Чернышеву я на днях напишу.

Привет Вашей семье, жене, сыну и особенно — Василине. Татьяна Алексеевна кланяется.

Обнимаю Вас.

Ваш *К. Паустовский.*

Да, мне для рассказа надо точно знать, как называются в Созополе рыбачьи корабли — гимеи или гемеи. Если не трудно, напишите.

И. А. ГОФФ

22 октября 1960 г. Таруса

Дорогая Инна Анатольевна (мне все хочется написать «Дорогая Гофф», как я звал Вас в институте), получил Ваш «Северный сон» (хорошее название) и прочел его не отрываясь. Читал и радовался за Вас, за подлинное Ваше мастерство, лаконичность, точный и тонкий рисунок вещи, особенно психологический и за подтекст. Печаль этого рассказа так же прекрасна, как и печаль чеховской «Дамы с собачкой».

Поздравляю Вас, и если правда, что хотя бы в ничтожной доле я был Вашим учителем, то могу поздравить и себя с такой ученицей.

Я ничего о Вас не знаю. В последний раз мы с Вами встретились, кажется, в Дубултах. Напишите мне о себе. Кстати, молодая писательница Ричи Достян и ее муж недавно уговаривали меня проехать тем путем, о котором Вы пишете в рассказе.

Здесь в Тарусе поселился Балтер, Вы его должны знать. А в селе Марфино в нескольких километрах от Тарусы живет Юрий Казаков. Как видите, Таруса становится литературным центром для молодых писателей.

Я пока что держусь и работаю зверски,— все кажется, что я не успею написать все, что задумано.

Будьте здоровы, счастливы и пишите не торопясь такие же великолепные рассказы, как «Северный сон». Очевидно, рассказы делаются из того же вещества, из которого делаются сны.

Ваш *К. Паустовский.*

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

1960 г.

Танюша, посылаю два выправленных экземпляра «Броска на юг». Один — для «Советского писателя», другой для «Московского рабочего».

Пожалуйста, позвони Валентине Дмитриевне Раковской (это редакторша в «Сов. пис.», которая ведет мою книгу) или по телефону служебному Б 9.30.60 или по домашнему Б 3.45.48 и попроси, чтобы она прислала за журналом (или Валя может ей отвезти). И второе,— позвони в «Московский рабочий» Суровой Людмиле Алексеевне (К.5.88.51) и попроси, чтобы прислали за журналом. Скажи и той и другой, что поправки надо перенести в текст и что после этого текст с моей стороны считается окончательным. Больше моих поправок не будет.

Это письмо я приготовил, чтобы послать его с сотрудником «Известий», который должен приехать сюда за статьей.

Как плохо, что ты не можешь приехать. А я ждал.

Сегодня позвоню.

Целую тебя, Танюша.

Л. Н. ДЕЛЕКТОРСКОЙ

11 февраля 1961 г. Ялта

Дорогая, милая Лидия Николаевна,— я не писал Вам, по-моему, целое тысячелетие, а почему — сам не могу понять. Много работы, много всяческих испытаний, много бед у друзей, некоторое количество припадков астмы и по временам даже отвращение к перу и бумаге (из-за «многописания») — все это служит для меня самым сомнительным и жалким оправданием. Главная же причина в том, что я хочу написать Вам очень много, накопилось множество новостей, поэтому я все время откладываю письмо до более легкого времени, чтобы поговорить с Вами свободно и не спеша. А в результате письмо все откладывается и откладывается. Извините меня. Умоляю.

С чего начать. Давайте с «Далеких годов». Я очень

плохо разбираюсь во французском языке, но «насколько я понимаю в кибернетике» (так теперь шутят все пошляки) — перевод очень точный, тщательный и в каком-то отношении музыкальный. Не пугайтесь,— у прозы свой ритм, своя музыка, своя гармония, но объяснить все это нельзя — Вы только чувствуете, что то или иное слово этот ритм нарушает. Тогда Вы заменяете это слово другим, и фраза «поет».

В «Далеких годах» я заметил две-три ничтожных фактических ошибки. У меня под рукой нет перевода (он — в Москве). Я об этом Вам напишу позже, когда вещь пойдет в набор.

Теперь об издании. В декабре я получил письмо (оно гонялось за мной из Тарусы в Москву, потом — в Ленинград, потом опять в Тарусу) от Парижского Литературного агентства<...> о том, что «один крупный парижский издатель очень заинтересован в издании автобиографических повестей, входящих в 3-ий том вашего собрания сочинений, в частности, заинтересован повестью «Далекие годы», но находит, что из тома в 780 страниц следует сделать 450 страниц».

Кто этот таинственный издатель — не сказано. Письмо это было переслано мне через живущего в Москве и часто бывающего в Париже журналиста Каталя. Недавно Каталя вернулся из Парижа и сообщил мне, что «таинственным» издателем, о котором мне писали из этого агентства, является Арагон. Каталя был у него в Париже. Арагон просил меня написать ему все, что я думаю по поводу перевода и издания автобиографических повестей. Я написал Арагону, чтобы издательство обратилось к Вам, как к моей переводчице. Кроме того, я пишу, что сокращать эти повести почти невозможно и мне, как автору, неприятно, поэтому я предлагаю каждую повесть издать отдельной небольшой книгой.

Сейчас жду ответа от Арагона. Я думаю, что на днях издательство обратится к Вам. Я дал им Ваш адрес. Напишите мне, что Вы думаете об этом. Если я и соглашусь немного сократить эти повести, то только для издания во Франции, в одной Франции (всюду я отказался от малейших сокращений — в Польше, Италии, Соединенных Штатах и других странах). Соглашусь только из-за своей совершенно безумной любви к Франции, к французской литературе. В связи с изданием я, очевидно, приеду в Париж осенью. Я очень этому рад, рад увидеть Вас, Лелю и познакомиться с Поль<...>

Ваш «рывок» или «бросок» в Италию прекрасен. После Неаполя я написал рассказ. Вы его не читали. Скоро он будет напечатан в отдельной книге, где собрано все, написанное после издания собрапия сочинений. Книгу эту я Вам пришлю, как только она выйдет. Напишите мне, где могила Леонардо да Винчи? Вы зпаете, у меня еще в юности началась страсть посещать места, связанные с жизнью любимых писателей и поэтов. Лучшим местом на земле я считаю холм под стеной Святогорского монастыря в Псковской области, где похоронен Пушкин. Таких далеких и чистых далей, какие открываются с этого холма, нет больше нигде в России. Поэтому так понятно и хорошо все, что Вы почувствовали о Бетховепе и старом могучем органе.

Спасибо Вам за то, что Вы рассказали мне историю Монэ и Дега. Я этого не знал. Может быть, я даже напишу об этом. И спасибо за поправки к «Мимолетному Парижу».

Я не могу Вам советовать, но мне кажется, что перевод Вы должны подписать своей полной фамилией.

Я много работаю. Написал небольшую вещь о Бунине. Написал большой рассказ «Амфора» и еще кое-что. Сейчас засел в Ялте и пишу здесь вторую книгу «Золотой розы». Думаю окончить к маю. В мае мне придется лететь с Татьяной Алексеевной в США. Союз писателей настаивает на этой поездке в связи с тем, что в Нью-Йорке выходит весь цикл автобиографических повестей. Мне очень не хочется лететь, я променял бы Америку хотя бы па неделю во Франции.

А Франция — осенью. Я даже боюсь думать об этом, чтобы не сглазить.

Ноябрь я провел в Ленинграде, пришлось много выступать. Какой это великолепный, полупризрачный, торжественный город. Если бы я знал, где живут Ваши родствепники, то я мог бы их найти и увидеть.

Ездил я в Ленинград на «Блоковские дни», то есть на дни, посвященные Александру Блоку. Это были грустные дни. Меня познакомили с милой старушкой с дрожащей головой, очень застенчивой. Это была женщина, о которой Блок написал стихи «Никогда не забуду, он был или не был этот вечер...». Найдите эти стихи, там Вы услышите великолепную аллитерацию: «И сейчас же в ответ что-то грянули струны, исступленно запели смычки» и еще «зашептали тревожно шелка» (хотя это кощунство, но мне все хочется сказать не «зашептали», а «зашуршали»). Эти стихи были посвящены молодой, самой красивой женщине Петербурга. А сейчас она стояла передо мной, руки у нее

дрожали, она виновато улыбалась, потому что плохо уже слышала, и старенькие, заштопанные перчатки морщились на ее худеньких руках.

Я много бродил по городу по вечерам (дни были короткие, темные) над Невой, смотрел на фонари, на пламя над Ростральными колоннами и вспоминал стихи Мандельштама. «Ты вернулся сюда, так глотай же скорей рыбий жир ленинградских речных фонарей». Вообще, за прошлый год было много всяких событий в моей жизни — как-нибудь расскажу о них.

Мой мальчик Алешка (как теперь говорят — «симпатяга») сходит с ума из-за марок. У них, у мальчишек, все время идет обмен марками, выискивание самых красивых, ссоры и даже легкие драки на этой почве. Я сказал ему, что буду всем своим друзьям за границей писать и просить их присылать старые марки. Теперь он каждый день пристает ко мне и спрашивает: «Ты написал Лидии Николаевне? Написал? Ты же обещал». Пришлите ему несколько марок, пожалуйста. Восторгу его не будет границ (он очень шутливый, непослушный и восторженный мальчик).

Да, чуть не забыл. В Ленинграде Гранин устроил торжественный ужин. На нем, кроме меня, из «парижан» был Рахманов. Пили за Ваше здоровье. Все Вас вспоминают с умилением.

Я страшно разболтался. Простите.

Будьте счастливы, здоровы, ничем не огорчайтесь.

Передайте мой сердечный изысканный (можно это слово перевести «элегантный») привет Поль. И большой привет Леле.

Ваш *К. Паустовский.*

Простите за помарки. Я письма правлю, как рукописи.
В Ялте я пробуду примерно до апреля.

Р. М. ДОСТЯН

11 февраля 1961 г. Ялта

Ричи, милая, дорогая, я очутился в Ялте после многих жестоких испытаний. Устал смертельно, на время потерял интерес ко всему, кроме литературы и нескольких милых сердец. Начал писать вторую книгу «Золотой розы». Получается нечто безумное, свободное.

Пока я здесь один. На днях приезжают Татьяна Алексеевна и Галка.

Ненавижу себя за то, что вношу в жизнь путаницу, тревогу, всякие беды, вместо того чтобы вносить покой, радость, веселье. Ненавижу в себе все, до последней мелочи.

Здесь тепло, сонно, море все время во мгле, но по вечерам иногда бывают удивительные нежнейшие закаты. На миндале уже наливаются и лопаются почки. Я весь еще полон Буниным. О нем я недавно писал. Часто сижу по ночам у себя на большой террасе (я все в той же 45-ой комнате) и без конца вспоминаю бунинские стихи:

В дачном кресле, ночью, на балконе.
Океапа беспредельный шум.
Будь доверчив, кроток и спокоен,
Отдохни от дум...

Если бы Вы могли быть сейчас в этом пустынном Крыму, Вам бы, наверное, хорошо писалось. А надо мной, должно быть, надо поставить крест. Я тороплюсь написать все, что задумано. Не знаю — успею ли, а кровь в жилах все скудеет и скудеет, но «на сердце не скудеет нежность».

Хочу получить от Вас хоть несколько слов. Пишите, пожалуйста, прямо сюда со свойственной Вам сдержанностью и холодком.

Целую Вас. Ваш *К. Г.*

Извините за помарки.
Это — миндальный листок.

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

14 февраля 1961 г. Ялта

Танюша, радость моя, рукой мне писать стало трудно, нужно очень напрягаться, чтобы писать разборчиво. Поэтому пишу на машинке, не сердись.

Когда же ты приедешь? Я тебя все время жду и чем дальше, тем сильнее. Я думаю о тебе так хорошо, маленькая моя. А время уходит глупо и быстро среди чужих людей. Я все время в состоянии какого-то длинного и тоскливого одиночества. Хорошо одиночество, когда отрываешься для работы на несколько часов и знаешь, что ты, мой единственный человек, рядом, но постоянно оставаться с самим собой, со своими мыслями, огорчениями, болезнями — уже нет сил.

Приезжай скорей. Ты тут отдохнешь, выспишься, начинается уже тихая весна, море спокойное и серое, очень тепло, иногда только идут дожди, но тоже теплые и душистые.

Здесь только Родов, очень славные молодые литовские поэты. Все по-старому. И нас здесь считают за своих и принимают как своих.

Работаю пока не очень много,— по пять-шесть часов в день. Пишу свободно, ни о чем не думая, и мне кажется, что журналы напрасно ссорятся друг с другом из-за этой вещи, так как они ее все равно не напечатают. Она гораздо «страннее», чем первая книга «Золотой розы». Я хочу поймать и закрепить, довести до полной прозрачности то состояние, которое называют вдохновением, но оно гораздо сложнее, сильнее и ближе к жизни, чем то легкое состояние, какое мы зовем этим именем. Пожалуй, это пушкинское: «Я забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен своим воображеньем» и слова Заболоцкого: «Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновения». Это очень сильное, ясное, великолепное состояние. Видишь, как я не умею рассказывать о своих вещах. В том, что я до сих пор написал, все ясно, просто, а рассказываю я об этом косноязычно. Писать легче и хочется.

Танюха, здесь приблудился щенок курцхард (той же породы, что Тимка, но наполовину черный, а наполовину пятнистый — серый с коричневым) с такими добрыми, умными и нежными глазами, что просто сердце разрывается. Это — сучка, и если ее взять, то она с Евой будет жить очень мирно. Когда приедешь, посмотришь ее и мы решим. Очень она хороша. И с Евой они будут, как говорят, «прекрасная пара».

Вторая новость. Вчера меня пригласили в «Массандру» на дегустацию столетних вин. Пригласил меня главный винодел Крыма профессор Егоров — старик 87 лет. Раз в несколько лет они дегустируют все старые вина, и те, что могут испортиться (или, как они — виноделы — говорят, «умереть»), пускают в продажу (очевидно, они идут за границу). Какие вина, Танька! Особенно французские из ливадийских подвалов. Всякие Шато-Икем, Мускатель, Портвейн Лемера, Каберне, Мадера. Самое старое вино — ему 118 лет — такого цвета, запаха и вкуса, что даже виноделы загрустили, а старик Егоров сказал, что вкус этого вина, налитого в бутылки еще во времена Бальзака, очень «благородный, темпераментный, горький, с тончайшим ароматом старения». Вообще, у них очень интересный

язык — «живое» и «мертвое» вино, «смолистый, полный, гладкий букет».

Третья новость — затмение. Темнота быстро шла с запада, и все птицы и все чайки улетали на запад, где еще оставалось немного света. Сразу начало холодеть. Перед полной темнотой зажегся маяк, все уличные огни и огни на пароходах в море. Было очень странно и даже зловеще.

Маленькая, Танюша моя, я пишу, должно быть, плохо из-за того, что все время жду тебя и мне гораздо интереснее говорить с тобой, чем писать. Приезжай! Пока что меня здесь пикто не трогал, «не беспокоил» <...>

Бобович прислал мне сюда замечательную фотографию Олеши.

Сегодня все равно буду звонить. Получил ли Алешка марки?

Обнимаю тебя, милая моя, любимая, мои золотые височки. Они очень у тебя красивые и трогательные.

Твой *Костя.*

А. М. БОРЩАГОВСКОМУ

18 февраля 1961 г. Ялта

Дорогой Александр Михайлович,— дует легкий норд-ост при ослепительном солнце, зацветает миндаль,— почему бы Вам с Лялей не приехать в старую нашу, благословенную Ялту.

Я пишу здесь вторую книгу «Золотой розы». Изредка играю в бильярд с Родовым. Писателей, как водится, почти нет, но есть железнодорожники, правда, очень тихие.

Пишу Вам по поводу Гриши Кановича, с которым Вы меня познакомили как с писателем в прошлом году. Он сейчас здесь. Очень милый, молодой, еще «необъезженный». Возникла идея издать его книгу «Я смотрю на звезды» в Москве. В Вильнюсе ее издали маленьким тиражом — всего 8 тысяч.

Хорошо бы издать в «Советском писателе». Сделайте доброе дело, узнайте, какие там есть возможности. Я не знаю, кто входит в Худсовет и кому следует написать об этом. На Ф. надежды мало.

Вместе с этим письмом Канович отошлет Вам два экземпляра книги,— быть может, Вы дадите ее прочесть еще кому-нибудь.

<...> На всякий случай сообщаю Вам адрес Кановича — он в просторечии почему-то Гриша, а официально Яков Семенович Канович (Вильнюс, просп. Сталина, 35, кв. 8).

Слух о цветных портретах Ляли проник даже в самые глухие углы Крыма. В случае выдвижения этих портретов на премию имепи братьев Гонкуров не забывайте, что я их создал. Именно создал.

В мае придется лететь в США, а мне не очень хочется. Даю Америку, беру Францию или Италию.

Пробуду в Ялте, очевидно, до апреля.

Ляле мой нижайший привет.

Обнимаю Вас

К. Паустовский.

Е. Н. АНДРИКАНИСУ

4 марта 1961 г. Ялта

Дорогой Евгений Николаевич, спасибо за письмо. Вчера у нас в Доме творчества показывали «Северную повесть», и я, нерадивый автор, посмотрел ее во второй раз и должен Вам сказать, что картина превосходпая — по чистоте, по сокрушающему сердце благородству, по удивительно сделанному пейзажу. Я смотрел ее, как чужую вещь,— поэтому так и пишу, зрители, конечно, плакали и благодарили Вас и меня.

Впервые я всмотрелся в игру Евы Мурниеце, и она просто пленила меня своей непосредственпостью и девичеством, на которую лег такой трагический груз. Хорошо! Если у Вас есть ее адрес, то пришлите его мне, пожалуйста, я хочу написать ей маленькое благодарственное письмо.

Теперь — о планах. Если бы Вы поставили «Лермонтова» — то это было бы, как говорят теперь, грандиозно. Я шучу, конечно, но сценарий Лермонтова я писал с огромным напряжением.

Боюсь, что пьесы «Простые сердца» у меня в Москве нет. Ее можно достать только в Ленинской библиотеке. Герой этой пьесы в какой-то мере — Александр Грин. Много моря,— действие происходит в Новороссийске.

Меня сейчас привлекает одна тема — трагическая и героическая — лейтенант Шмидт. Но когда я напишу сценарий? Когда? Сейчас я работаю над второй книгой «Золотой розы», а потом пойдут следующие книги автобиографии.

Просто необходимо, чтобы правительство распорядилось добавить мне еще десяток лет.

Перелистайте собрапие, подумайте. А я тоже буду сейчас думать.

В Ялте тепло, сыро, народ непонятный, цветет миндаль. Было землетрясение (ночью). Я проснулся, и мне показалось, что кто-то прячется за спиной кровати и трясет ее изо всех сил.

Пишите мне почаще. Здесь, в этой южной ссылке, скучно без писем и людей.

Привет Вашей жене. Обнимаю Вас.

Ваш *Паустовский.*

В ДЕТГИЗ

Май 1961 г. Таруса

Нельзя сказать, что я знаю Самуила Мироновича Алянского очень давно. Я познакомился с ним всего лет десять назад. Но каждый год общения с Самуилом Мироновичем можно засчитывать за несколько лет по силе его человеческого обаяния на нас, его друзей. Обаяние это — в твердости, чистоте и подлинности его вкусов, его мыслей, его честного отношения к действительности.

Самуил Миронович — один из интереснейших людей нашего времени — знает, что мир не так уж богат талантливыми и непосредственными людьми. Поэтому он ищет талантливых людей и легко общается с ними.

Алянский — жизнелюб. О таких людях, как Самуил Миронович, принято говорить, что они «все понимают». Это одна из величайших похвал в нашей сложной жизни.

Его любовь к поэзии и живописи самоотверженна, взыскательна, и против этой любви Самуил Миронович ни разу в жизни не погрешил.

Есть люди — не художники и не писатели, но без них не могла бы существовать в полной силе та светлая и благородная струя, которая питает мастеров и помогает им сохранить свое творческое лицо и свободу во всех самых тяжелых обстоятельствах.

Алянский предан искусству и правде искусства по-рыцарски — без страха и упрека.

Для меня Самуил Миронович — не только друг, вошедший в мою жизнь в те годы, когда дружба возникает чрезвычайно редко.

Для меня Самуил Миронович существует еще как друг нашего великого и печального поэта Александра Блока. Мне иной раз кажется, что благодаря дружбе с Алянским я становлюсь ближе к Блоку.

Моя любовь к Блоку достигла своего полного расцвета после встречи с Алянским и после его рассказов о Блоке.

Алянский по самой своей сути — издатель. Всем памятны книги издательства «Алконост», которым руководил Алянский. Деятельность «Алконоста» вошла в историю нашей культуры как одно из удивительных ее явлений.

Я поздравляю Самуила Мироновича с его большой, благородной и целеустремленной жизнью.

Поздравляет его и вся моя семья, нежно его любящая.

А пожелать Самуилу Мироновичу я хочу всего, что есть лучшего в нашем, как сказал Бунин, «непонятном, но все-таки прекрасном мире»...

Константин Паустовский.

Л. Н. ДЕЛЕКТОРСКОЙ

6 июня 1961 г. Таруса

Дорогая Лидия Николаевна,— положение мое просто трагическое. Очевидно, нужно, чтобы в сутках было 48 часов, тогда только я успею вовремя отвечать на письма и писать свои книги. Поэтому не огорчайтесь и не проклинайте меня в душе за хронические запоздалые ответы. Не обращайте на это внимания и пишите мне чаще,— после каждого Вашего письма у меня такое чувство, будто я поговорил с Вами обо всем, будто мы по-дружески поболтали и я все знаю.

Спасибо за Ваши письма, я всегда радуюсь им, как голосу далекого и милого родного человека,— хотите Вы этого или нет. Спасибо за могилу Леонардо да Винчи и за Бетховена. Я так ясно видел все это, как будто был там вместе с Вами.

Арагону я написал, что возражаю против сокращения моих вещей. Если, как он думает, французский читатель не любит больших книг, то можно каждую автобиографическую повесть издавать отдельной книгой, т. к. каждая книга существует, помимо общего, и сама по себе. До сих пор Арагон мне не ответил, что несколько противоречит французской любезности. Из этого я заключаю, что он со мной не согласен и издавать меня не будет. Кстати, перего-

воры со мной от имени Арагона вел в Москве некий человек по фамилии Каталя. Знаете ли Вы его? Он перевел для нашего журнала «Произведения и мнения» (издающегося на французском языке) несколько глав из «Броска на юг».

Я в письме к Арагону просил его обратиться к Вам, как к переводчице «Далеких годов». Может быть, в этом разгадка его молчания. Ну и бог с ним! Эльза — литературная генеральша — у меня тоже было с ней легкое столкновение в Париже по телефону. Из-за ее высокомерия. Потом она с Арагоном приезжали ко мне в гостиницу извиняться (помните, в ту маленькую где-то около Монмартра и «Фоли Берже»), но меня не застали.

Что касается ошибок, о которых я говорил, Вы совершенно правы. Дело касается «гимназии», счета классов и отметок.

Что касается псевдонима, моя отшельница, то Вы совершенно правы. С «Мимолетным Парижем» я сделал ошибку, но только из глубокого расположения к Вам, из любви к Матиссу и из непобедимой вольности своего воображения. Простите меня раз и навсегда.

Возможность поездки в Париж становится все реальнее. Очевидно, осенью это случится. В июне я должен поехать в Польшу, туда меня зовут каждый год. Потом возможна поездка в Италию на конгресс Европейского сообщества писателей (кажется, в Турин).

В апреле я вернулся из Ялты и с тех пор живу то в Тарусе, то в Москве. Пишу 6-ую автобиографическую книгу и одновременно набрасываю главы второй книги «Золотой розы». На днях мы несколько странно отпраздновали день моего рождения (не казнитесь, что Вы его не знаете). Уехали всей семьей в Калугу (прелестный город); а оттуда в страшную глушь, в городок Калужской области Юхнов (вы даже и не подозревали, что есть такой городок на свете). Туда приехали молодые писатели и поэты, приехали мои старые друзья, мы заняли всю гостиницу и прожили там несколько чудесных дней. Вокруг Юхнова — непроходимые лесные дебри, много чистейших рек и озер, мы ловили рыбу и много шумели. Пили за Вас.

Привет Вашей сестре и Поль. Судя по Вашим описаниям, Поль Мартен — обаятельное существо, капризное, умное, очень женственное. Она лентяйка, но это свойство многих талантливых людей. Передайте ей мой привет и благодарность за мучения с переводом моей книги.

Алешка собирался написать Вам (и уже написал) бла-

годарственное письмо, но так как Вы написали, чтобы благодарственных писем не было, то я его задержал.

Татьяна Алексеевна кланяется Вам. Я надеюсь, что Вы познакомитесь.

Будьте здоровы и не волнуйтесь. Целую Вас.

Ваш *К. Паустовский.*

К. А. ФЕДИНУ

8 июня 1961 г. Таруса

Костя, милый,— на следующий день после юбилея Саммира, я уехал в Калугу — встречать свой день рождения. В Калугу съезжалось человек двадцать литературной молодежи во главе с Саммиром. В общем, пошумели, потом поехали в глухой городок Калужской области Юхнов, заняли всю гостиницу, произвели легкое смятение и восторгались тамошними дебрями, лесами и прозрачными реками. Почти на каждом километре — глубокая река. Ты, кажется, с Иваном Сергеевичем плыл по Угре. Так вот, я ловил на этой чудесной реке рыбу.

Были в Полотняном заводе — имении Н. Н. Гончаровой-Пушкиной. По запустению и красоте я, пожалуй, еще не встречал таких мест в России. От Пушкина осталась только беседка в дремучем парке.

Прости, я отрываю тебя от работы, но надо посоветоваться по бунинскому делу.

Ты знаешь, что вдова Бунина Вера Николаевна умерла в начале этого года в Париже. Квартира Бунина с рукописями, множеством фотографий его личных вещей осталась на попечении его приемного сына Леонида Федоровича Зурова.

Сейчас я получил известие, что хозяин квартиры (домовладелец) хочет отобрать комнаты Бунина и вселить в них каких-то людей.

Все рукописи Бунина и Веры Николаевны Зуров сохранит (по завещанию Веры Николаевны весь литературный архив переходит к Зурову). Зуров просит прислать фотографа, который мог бы снять бунинские комнаты. Просит сохранить письменный стол Бунина.

Может ли Союз писателей что-либо сделать в этом направлении? Но, между нами, поручать это дело Н. нельзя. Ни в коем случае. Он и так расхитил многое из бунинского архива.

Может быть, можно все рукописи и вещи перевезти в Пушкинский Дом Академии наук в Ленинграде? Это будет стоит гроши.

Адрес Зурова: I rue Jaequs Offenbach. Paris 16.

Теперь, извини, еще одно дело. Есть такой удивительный человек Николай Андреевич Славятинский — литературовед, автор многих и очень ценных книг. Я знаю его много лет. И вот уже в течение многих лет он собирает материалы для интереснейшей работы об истории образа в русской литературе, о том, как писатели пользуются цветом и светом и всеми остальными изобразительными богатствами нашего языка. Я просматривал материалы Славятинского (он начинает уже писать книгу),— по-моему, это будет книга необыкновенная, раскрывающая такие богатства нашей литературы, мимо которых мы проходим,— богатства действительно потрясающие.

Так вот, этого Славятинского не приняли в Союз, хотя в двух секциях (кажется, литературоведческой и критической) он прошел единогласно и с блеском.

Он одержим своей работой, окончит ее, может быть, и не пользуясь поддержкой Союза, но принять его следует. Его адрес: Москва, 2-ая Тверская-Ямская, 16, кв. 16.

Поручи, если ты найдешь нужным, разобраться кому-нибудь в этом деле.

Вот все мои дела.

Собираюсь в Польшу. Поеду или нет — неизвестно. Что-то долго тянут с решением.

У нас жара. Гоняю по Оке на своем моторе. Работаю.

Обнимаю тебя. Поцелуй Нину и все семейство.

Твой *Коста.*

С. ЧЕРНЫШЕВУ

10 июня 1961 г. Таруса на Оке

Славчо, дорогой,— не ругайте меня за то, что я так редко и скупо пишу,— моя жизнь в смысле свободного времени сложилась трагически. Меня буквально разрывают на части, и дело дошло до того, что я должен скрываться от людей, чтобы писать свои книги.

Спасибо за письма и книгу с посвящением. Вряд ли я его заслужил, наделав так много ошибок в «Амфоре». Вы в этих ошибках (при первом же переиздании «Амфоры» я

их исправлю) не виноваты, а виновато мое восхищение перед Созополем и его людьми. Мне хотелось передать очарование этого города, и поэтому я сознательно сгустил краски.

А есть ошибки просто от незнания мною болгарского языка и недопонимания. Все это будет исправлено. Спасибо за то, что Вы так по-товарищески и откровенно мне написали.

Что касается предисловия к книге морских рассказов, то я столько написал предисловий за последнее время, что еще писать мне трудно. Во всяком случае, я попробую написать маленькое предисловие и пришлю его Вам. Об этом предисловии мне говорила и Маргарита Алигер, я очень рад, что Вы с ней познакомились. Она дружит с нами.

Очень хочется в Болгарию, но это лето и осень так наполнены поездками, что вряд ли удастся вырваться. А я мечтаю осень провести в Созополе с Татьяной Алексеевной и, возможно, с Галей. Я мечтаю об этом как о глубоком и живописном отдыхе. А время складывается так: в начале июля я еду в Италию (в Турин) на конгресс Европейского сообщества писателей. Потом — в августе на месяц в Польшу, а в конце сентября — в Малую Азию и Египет на теплоходе. Может быть, он зайдет в Бургас или Варну, тогда я Вам сообщу. Где Вы будете летом?

Мы постоянно вспоминаем Вас, почти каждый день. И Северняка, и всех болгарских друзей. Как Сивриев?

В апреле я был в Ялте вместе с Мишей Светловым. Вспоминали Вас и в маленьком уютном кафе (на три столика) «Ореанда» выпили за Ваше здоровье «ясного» крымского вина. Светлов начал писать прозу: сказку о рубле, который падает с девятого этажа ресторана «Москва», разбивается на десять гривенников (гривенник — это десять копеек), и каждый гривенник превращается в чудесную волшебную гофмановскую сказку.

Много хороших стихов, в особенности у Анны Ахматовой. Встретимся, тогда я Вам прочту ее стихи: «Стоят стеной дремучие дожди...»

Я пишу вторую книгу «Золотой розы». Книга, помоему, сумасшедшая. На днях мы праздновали 69-ый год моего рождения (увы!), но не в Москве или Тарусе, а в крошечном городке Калужской области среди непроходимых лесов, множества чистейших рек и озер. Приехали все друзья, человек тридцать. Было очень хорошо. Ловили рыбу и спорили о поэзии и писательстве.

Славчо, милый, не обращайте внимания на то, что я так плохо отвечаю на письма. Пишите мне чаще. После каждого письма мне кажется, что мы встретились и я все знаю о Вас.

Привет всем друзьям в Болгарии от Татьяны Алексеевны и меня. Привет капитанам и графине Батиньоти. И Хрисопулосу — он милый и чистый сердцем человек.

Обнимаю Вас, мой дорогой. Татьяна Алексеевна Вас целует.

Ваш *К. Паустовский.*

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

10 июля 1961 г. Турин — Torino

Танюша, радость моя, 8-го в 6 часов вечера я уже прилетел в Турин (с пересадками в Праге, Цюрихе и Милане). Летели над Монбланом. Турин похож на огромную клумбу цветов. Живу за городом, в предгорьях Альп, в монастырской гостинице Эремо. Дышу очень легко.

Здесь Ивашкевич, усталый и добрый. Очевидно, завтра поеду на курорт Сен-Присенте (50 км от Турина). Жара.

Все баснословно дорого. Купил плащ за 5 тысяч лир. Телеграмма в Москву обошлась в 7 тысяч лир.

Завтра опять напишу. Целую тебя, единственный мой человек. Поцелуй Алешку. Галку. Женю.

Твой *Костенька.*

Г. А. АРБУЗОВОЙ

11 июля 1961 г. Турин

Галка милая,— прелесть моя,— я живу в 7 километрах от города, в мягких предгорьях Пьемонтских Альп, среди лимонных рощ и полян, заросших нашими полевыми цветами,— кашкой, анисом и синим цикорием. Два дня дул сирокко, я немного задыхался, а сейчас, к ночи, прошла гроза, в окно дует свежий ветер с гор и на старинной колокольне-кампанилле очень медленно звонит ночной колокол. И я думаю о маме, тебе, Алешке, маленькая моя.

Нас часто возят в город (в Турин) на «пульманах» сквозь сплошные туннели листвы и цветов. Турин — весь в бегонии, розах и огромной герани.

К нашей делегации приставлен в качестве гида отставной адмирал Джакомо Леви,— прелестный старичок, любитель литературы.

Я рассказал ему, как ты наугад отметила на карте Турина место, я обещал его сфотографировать. Адмирал пришел в полный восторг и после шумного обсуждения этого необыкновенного случая с шофером тотчас повез меня на это место. Очень живописное, кстати.

Как мы летели — расскажу в Москве.

Видел Монблан. Завтра я выступаю на конгрессе и завтра же уеду в Сен-Винсент. Это — около Аосты (на карте на северо-западе Италии, у самой швейцарской границы). Потом полечу в Рим, а оттуда в Москву (через Париж).

Чехи просят остановиться в Праге. Но мы договорились, что я приеду с мамой поздней осенью или зимой.

Здесь Ивашкевич — очень добрый и очень усталый. Зовет нас в Польшу числа 2—3 августа. Я вернусь, очевидно, 21-го.

Ко мне со стороны итальянцев подчеркнуто доброе отношение и много разговоров... Постоянные банкеты — я не вылажу из черного костюма.

Все страшно дорого. Купил плащ за 5 тысяч лир. Телеграмма в Москву стоит столько же.

Как вы все там? Будь очень ласковой с мамой. Поцелуй всех.

Целую. Твой *К. Г.*

Не знаю, где мама.

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

12 июля 1961 г. Torino

Танюша, милый мой родной человек. Я сразу так соскучился, что хотел лететь в Москву хоть сейчас. Не надо мне даже Италии, лишь бы ты была счастлива, здорова и лишь бы быть около тебя.

Вернусь я 21-го (очевидпо, почти наверное на самолете (нашем) из Парижа, где придется только переехать с одного аэродрома на другой). Самолет прилетает в Москву вечером.

Италия, конечно, прекрасная и похожа на сон. Добрые и неслыханно заботливые люди. Сегодня я выступал на

конгрессе. Потом меня долго благодарили итальянцы (многие — со слезами на глазах), и французы, и немцы, и швейцарцы, и испанцы, и все остальные. Все расскажу в Москве.

Ко мне итальянцы относятся очень хорошо. Да, я говорил еще на конгрессе о Хемингуэе и предложил отдать ему последний долг пятиминутным молчанием. Весь конгресс встал.

Много пишут в газетах.

С издательством пока что ничего не получается (достал II том собрания сочинений, издано великолепно, I и III тома достать нельзя). Все очень дорого, и потому не огорчайся, Танюха, что я почти ничего не привезу. Купил себе плащ, берет, рубаху и еще кое-что для тебя.

Много банкетов и приемов, и без черного костюма я здесь бы пропал. Был банкет в старинном дворце за городом. Началась страшная гроза, потух свет, зажгли свечи, и зрелище было феерическое.

Отдыхаю только в маленьком «ристорантэ» в лесу около нашей «резиденции». Там чудный кофе, мороженое (джелята), ослик, который перевернул мне на брюки чашку кофе, веселые дети и толстый шумный хозяин. Брюки тотчас вычистили, и не осталось ни пятнышка.

Завтра уезжаю в Сен-Винсент — это на границе Франции, в Альпах.

Много времени провожу с Ивашкевичем. Мы с ним совсем сдружились. Он ждет нас.

Где ты сейчас, Танюша? Не знаю, куда писать. Как ты?

Очень, очень целую тебя, солнце мое. Очень. Поцелуй всех.

Твой *Костенька.*

19-го вылетим из Турина в Рим, 20-го — один день в Риме и 21-го — из Рима в Москву.

А. Г. ДЕМЕНТЬЕВУ

2 октября 1961 г. Москва

Был искренне рад получить от Вас письмо с предложением печататься в «Новом мире».

Я считаю, что интересы литературы выше наших личных отношений, и совершенно готов забыть тот казус, какой произошел с моей повестью «Время больших ожиданий» в редакции «Нового мира».

Что я могу обещать «Новому миру»? Седьмую книгу автобиографического цикла (шестая уже обещана «Знамени»). Я думаю закончить эту седьмую книгу к осени 1961 года.

Кроме того, я могу обещать журналу путевые очерки по Италии, Польше и Франции. Я буду писать их в несколько новом для меня жанре, который можно, пожалуй, определить как жанр «лирической географии», хотя это определение и очень узкое. И оно не значит, что книга будет далека от сегодняшнего дня. Наоборот.

Вот и все, что я могу обещать. Конечно, может возникнуть неожиданный рассказ. Я тоже передам его Вам.

Примите мой сердечный привет.

Ваш *К. Паустовский.*

А. К. ГЛАДКОВУ

24 ноября 1961 г. Таруса

Дорогой Александр Константинович! Еще приехав из Польши и прочитав в «Новом мире» Ваши записи о Мейерхольде, я собирался Вам написать, как это отлично и интересно, но думал, что мы скоро встретимся и я все скажу Вам лично. А сейчас еще прочитав новые куски Ваших воспоминаний, идущие в нашем многострадальном и долготерпеливом сборнике, я все-таки не удержался и хочу Вам написать, что Ваш «Мейерхольд» — поистине — украшение «Тарусских страниц». Какой вы молодец, что в те давние времена записывали его, по горячим следам, и как Вы тонко и умпо сейчас восстанавливаете его образ. И написано это превосходно: просто первоклассная проза.

Почему Вы, чудак, не пишете прозу — у Вас перо настоящего прозаика?

Обнимаю Вас. Приезжайте в Тарусу.

У нас страшный гололед, но хорошо.

Ваш *К. Паустовский.*

Н. Я. МОСКВИНУ

15 декабря 1961 г. Таруса

Дорогой Николай Яковлевич,— я получил и с огромным наслаждением прочел «Два долгих дня». Это превосходно так же, как повесть о тульских мальчиках и воздуш-

ных змеях. Столько острого глаза, точности и тонкости, юмора и человечности, свободного распоряжения материалом и таланта, что никак не можешь отойти от этой вещи,— я уже перечитывал ее три раза.

Вам бы надо собрать и выпустить все свои вещи, начиная от самых ранних («Трактир»?), в том числе и превосходные очерки и статьи.

Буду в Москве к новому году, позвоню Вам, увидимся и поговорим.

Привет жене, Зипе, Арону. Целую вечность никого не видел,— такая дикая жизнь.

Обнимаю Вас.

Ваш *К. Паустовский.*

С. ЧЕРНЫШЕВУ

27 января 1962 г. Ялта

Дорогой Славчо! Ради бога, не сердитесь на меня за то, что молчу целыми месяцами. Меня очень «дергают» всяческими делами, и, кроме того, у меня ужасный характер,— я очень люблю получать письма, сам же пишу со страшным трудом.

Спасибо за последнюю телеграмму. Поблагодарите Яни Хрисопулоса и Анну Батиньоти.

У меня сейчас — дерзкая мечта приехать осенью в Созопол с Татьяной Алексеевной и Галкой, пожить там, половить рыбу в Ропотамо. Может быть, это удастся.

Спасибо за «Капитана Леванти». Как хорошо, что Вы помните меня и не перестаете мне писать, несмотря на мое дурное «эпистолярное» поведение. Этим летом я был в Италии и Бельгии, а осенью с Татьяной Алексеевной и Галкой — в Польше. Там мы прожили целый месяц, и я устал, как бургасский банабак.

Мы постоянно вспоминаем Вас с большой любовью и дружбой.

Как жизнь? Как стихи и проза? Как «Доменика»? Вас, Яни и Анну Батиньоти с моих слов знают и любят все мои друзья.

Перестали ли Вы сердиться на меня за полуреальный Созопол в «Амфоре»? Я в Созопол буквально влюблен. Что-то есть в нем от приморских городков Александра Грина. Переведен ли Грин на болгарский язык?

Привет Вашей жене, Северняку, Веселинову, Сивриеву

и всем, кто помнит меня. Встречаете ли Вы Ангела Каралийчева? Передайте ему самый дружеский привет от Т. А. и меня.

Пишите мне, умоляю. Если бы Вы знали, как я рад Вашим письмам и как я мучаюсь от собственного молчания, то писали бы мне часто.

Татьяна Алексеевна и я обнимаем Вас.

Ваш *К. Паустовский.*

Я сейчас в Ялте, пишу 6-ую книгу автобиографического цикла. Пишите мне на Москву.

В. А. КАНЕВСКОМУ

19 февраля 1962 г. Ялта

Виктор Абрамович, дорогой мой, прежде всего хочу поблагодарить Вас за то, что Вы помогли мне на таком огромпом расстоянии и так твердо и хорошо. Спасибо Вам и за себя и за Татьяну Алексеевну,— она бывала гораздо спокойнее после разговоров с Вами.

Случилось все, как всегда, внезапно. В доме, кроме меня, никого не было (все население ушло в кино), и только случайная уборщица вызвала «скорую помощь».

Сейчас все прошло, никаких болей в сердце и вокруг нет совершенно. Бросил, конечно, курить, двигаюсь спокойно (насколько могу), астма меня почти оставила. Жаль, что долго не смогу выходить,— живу на третьем этаже и подыматься по лестнице мне, как говорят, еще пельзя. Лечил меня здесь молодой врач (24 года), не очень уверенный в себе. Что бы ни случилось, он говорил одно и то же: «Добренько!»

Татьяна Алексеевна проживает здесь со мной до 1 марта, потом ее сменит Галка.

Февраль здесь сырой, дождливый, бурный. Все время штормы и даже грозы. Но при первом же солнце все расцветает. Распускается миндаль. Все это я вижу за своими окпами. Вижу маленькие рыболовные корабли (сейнеры), которые ловят рыбу по всему Черному морю и уходят даже за сардинкой в Атлантический океан, к островам Зеленого Мыса. Они стоят под моими окнами тесной толпой на якорях и во время дождя выглядят промокшими насквозь, во время ветра — взъерошенными, как воробьи, а в шторм — испуганными и жмущимися друг к другу.

Как Ваши ребра? Ужасная история, возможная только в Москве. Я подозреваю, что Вы, несмотря на строгость ко мне, сами не очень осторожны.

Пока не работаю и чувствую себя преступником. К апрелю должен окончить книгу и тогда смогу отдыхать. Приеду в Москву в начале апреля.

Обнимаю Вас крепко. Огромный привет Надежде Самойловне и Тане. Татьяна Алексеевна кланяется,— она очень Вас любит, так же как и я.

Ваш *К. Паустовский.*

Сегодня с утра — все в солнце и так жарко, что Татьяна Алексеевна и я загораем на балконе. (Я, конечно, чуть-чуть.)

Т. А. ПАУСТОВСКОЙ

Февраль 1962 г.

Татьяне Алексеевне.

Танюша, мне стало очень плохо. Ужасные боли в груди и в сердце. Никого нет.

Если что случится, солнышко мое, береги себя, Алешку и Галку.

Очень я тебя люблю, даже сказать не могу. И Алешку и Галочку.

Не горюйте очень.

(Впоследствии рукой Паустовского помечено: «Первый инфаркт в Ялте, февраль 62 г.».)

Н. П. РАЗДОРОВОЙ

10 апреля 1962 г. Ялта

Дорогая Нина Павловна,— пишу наспех, ко мне пришел С. Г. Брагин и показал Ваше письмо.

Не болейте. Я тоже только что перенес тот же спазм коронарных сосудов.

Не волнуйтесь,— диссертация у Вас прекрасная. Напишите мне, как сошла защита.

На днях возвращаюсь в Москву, а оттуда — в Тарусу. Поправляйтесь, лежите спокойно.

Будьте спокойны и счастливы.

К. Паустовский.

Э. Г. КАЗАКЕВИЧУ

9 июня 1962 г. Больница

Дорогой, милый мой Эммануил Генрихович, трудно сказать, как я был тронут Вашими письмами и как мне трудно было принять их по отношению к самому себе. Спасибо.

Лечитесь, не сопротивляйтесь врачам, не небрежничайте. Прошу Вас. В конце концов, это же совсем не трудно. Это не бравада и не фанфаронство, но правда нас очень мало (пока что) и мы должны беречь друг друга.

Я выйду на волю в половине июля. Маргарита прислала телеграмму с борта теплохода «Орджоникидзе» в Тихом океане: «подъезжая к Иокогаме, покидая СССР, весь ваш праздник буду с Вами Маргарита Алигер».

Поправимся, поедем в Италию. Вместе. Проступают возможности. Кстати, главный собор во Флоренции называется «Сан-Бат».

Трудно писать лежа. Обнимаю Вас, очень люблю.

Привет Галине Осиповне и девочкам.

Ваш *К. Паустовский.*

Подонки вырождаются.
Линяют.

В. Ф. ПАНОВОЙ

10 июля 1962 г.

Дорогая Вера Федоровна, меня только что перевезли после инфаркта из больницы в санаторий, и первое письмо — к Вам. Извините, что пишу на машинке, я сам разбираю свой почерк с трудом. Спасибо Вам большое и искреннее за Вашу тонкую и подлинно товарищескую статью обо мне. Не огорчайтесь. Читатели вряд ли заметят чистоплюйскую правку «Известий». Я получаю много писем от читателей. Они с большим признанием отзываются о Вашей статье, и многие благодарят Вас за нее. А что касается бесцеремонности газетных редакций, то сколько раз мне тоже приходилось возмущаться до ярости и краснеть перед друзьями за газетную отсебятину. Да что газеты! В «Октябре» (еще при Панферове) Шейнин вставил от себя в мой очерк «Мимолетный Париж» целый абзац со-

вершенно крикливый по содержанию и безобразный по стилю. Все это он сделал, конечно, без моего ведома (я был тогда в Ялте). Почему тогда меня не хватил инфаркт — не понимаю!

Почему Вы не приехали в Ялту? Там было очень хорошо... Я человек дико застенчивый, и если бы не это мое несоответствующее возрасту свойство, то я давно бы написал Вам, как я люблю Вас как писательницу. Я считаю «Сережу» лучшим рассказом нашей литературы.

Когда окончательно поправлюсь, то надеюсь встретиться в Москве или Ленинграде с Вами, с Борисом и со всем Вашим молодым и чудесным семейством...

«Интересного в жизни ничего, слава богу, нет»,— как говорил один бунинский персонаж. Во всяком случае, хорошего. Очень болен Казакевич (рак). Врачи от него отступились. Но невозможно поверить в плохой исход, примириться с нашей беспомощностью.

Еще раз — огромное Вам спасибо. Будьте счастливы и спокойны (насколько это возможно)... Если встретите Вашего соседа Рахманова, то передайте ему от меня нижайший поклон.

Ваш *К. Паустовский.*

Н. ХИКМЕТУ

11 июля 1962 г. Барвиха

Дорогой Назым Хикмет!

Вы очень растрогали меня своей поездкой в Тарусу, своей статьей обо мне, прекрасными стихами и Вашим выступлением на вечере в Литературном музее. Все это было для меня неожиданным и драгоценным подарком. Я благодарю Вас от всего сердца.

С тех пор как я узнал Вас как поэта и прямого и мужественного человека, я хотел встретиться с Вами, но из-за своей дикой застенчивости не сделал этого до сих пор.

Однажды мы встретились в Варшаве (в августе прошлого года), в «Бристоле», но я не решился подойти к Вам, так как мне показалось, что Вы меня не узнали.

Я только что вышел из больницы. К половине августа врачи отпустят меня на волю, и если Вы будете в Москве, то приезжайте ко мне в Тарусу.

Может быть, в какой-то сотой степени, но наша взаимная симпатия объясняется тем, что я полутурок,— моя ба-

бушка была чистокровная турчанка родом из Казанлыка во Фракии.

Я, конечно, шучу, но все же иной раз горжусь, что во мне есть доля турецкой крови,— я очень люблю простых крестьян и рабочих-турок.

Еще раз — большое спасибо. Крепко жму Вашу руку.

Ваш *К. Паустовский.*

Мой телефон в Москве Б7-48-49.
В Тарусе — 109.

С. ЧЕРНЫШЕВУ

27 июля 1962 г. Барвиха под Москвой

Дорогой мой Славчо!

Не писал Вам из-за того, что попал в беду,— в марте, когда я жил в Ялте, у меня случился микроинфаркт, я не долечил его, уехал в Москву, и здесь уже меня схватил настоящий инфаркт.

Почти три месяца я пролежал в больнице, только недавно вышел из нее и теперь живу в санатории под Москвой. Все прошло, но нужно окрепнуть. На этом основании врачи не соглашаются отпустить меня в Болгарию этой осенью, а весной (в мае) я могу ехать спокойно. Поэтому я приеду с Татьяной Алексеевной и Галей (моей падчерицей) в мае будущего года. Мечтаю о Болгарии со страшной силой. В больнице мне все время снился Созопол — это одно из лучших мест на земле.

Приезжал Ангел Каралийчев с женой. К сожалению, я лежал в больнице, ко мне никого не пускали, и я его не видел. Галя возила Каралийчевых в древние наши города — Владимир и Суздаль.

Меня страшно тянет в Созопол, в джунгли Ропотамо. Хочется прожить в Созополе месяц-полтора и хорошо отдохнуть.

Вы не представляете, с какой нежностью мы с Татьяной Алексеевной очень часто вспоминаем Вас. Мы виделись так мало, но с тех пор я ощущаю Вас как своего, родного человека.

Я, кажется, не потерял ветер. Шкот натянут, и волна шумит за кормой. Мы еще поживем, Славчо, и не раз еще услышим «в каждой луже запах океана, в каждом камне — веянье пустынь».

Как Лиляна? Привет ей от нас. Привет Северняку, Веселину, Станиславу Сивриеву и Ангелу Каралийчеву. Привет Тумбатерову. И всем капитанам.

Обнимаю Вас.

Ваш *К. Паустовский.*

Л. Н. ДЕЛЕКТОРСКОЙ

3 сентября 1962 г. Таруса

Дорогая Лидия Николаевна!

Только на днях я «вышел на волю» после больниц и санаториев и вернулся в Тарусу. В общем, я довольно удачно выбрался из трудной переделки (два инфаркта — один за другим) и теперь могу жить более или менее спокойно.

Как ужасно, что Вы никого не застали в Москве. Я был в санатории, Алеша и Галка — в Ялте, а Татьяна Алексеевна уезжала ко мне. Спасибо Вам огромное за память, за письма, за подарки и за перевод, я его сейчас как раз читаю и очень надеюсь поговорить с Вами о нем в октябре в Париже. Но об этом — потом. Почему Вы не оставили своего адреса в Москве? Татьяна Алексеевна тотчас бы Вас нашла.

Новостей много. Одна из них состоит в том, что я получил приглашение от Президента Общества литераторов Франции Жака Шабанна приехать в Париж в октябре этого года (на основании соглашения правительств Франции и СССР о культурном обмене). Сейчас Союз писателей оформляет эту поездку. Мы едем вдвоем с Татьяной Алексеевной, а может быть, и с Галкой. Из Москвы должны выехать поездом (лететь мне врачи не позволяют) 10 октября. Я Вам об этом еще напишу. Итак, я, кажется, увижу Вас, Лелю, Париж, усадьбу «Гагарино» и Францию.

Перевод я читаю с особым удовольствием, вспоминая еще свой «гимназический» французский язык.

Кроме Парижа, мне очень хочется побывать в Арле, Марселе, Ницце и Грасе (там долго жил Бунин), и в Нормандии, и в Бретани. Вообще, хочется очень многое. Лишь бы получилось.

Алешка в восторге от марок. Каждый день напоминает мне, чтобы я поблагодарил Вас от его имени, а сам писать

боится, как я подозреваю, из-за некоторой слабости в русской орфографии. Писать много не буду. Увидимся — все расскажу. Я рад.

Привет Леле и Поль.

Живите спокойно и счастливо. Целую Вас.

Ваш *К. Паустовский.*

Издатель Ар-он с истинно французской галантностью не ответил на мое давнее письмо. Аллах с ним!

P. S. Пишите мне на Москву.

А. К. ПАУСТОВСКОМУ

14 октября 1962 г. Таруса

Алешенька, милый мой, самый любимый человечек, мой мальчик,— не грусти. Больше мы никогда не будем жить врозь, а всегда вместе. Потерпи до конца четверти. Когда я был мальчиком в третьем классе гимназии, я тоже всю зиму жил один в Киеве у чужих людей (у очень плохих, сухопарых немцев, а хозяин мой с противной фамилией Вилль занимался тем, что резал за деньги хвосты щенкам бульдогов и боксеров). По-моему, он был немецким шпионом и для вида служил в ломбарде. Утром мне давали чашку жидкого кофе (суррогат, он назывался «кофе из гималайского жита»), и я ехал полтора часа на конке в гимназию. Была зима, и я очень мерз в гимназической шинели. И ничего,— все обошлось.

Самое главное сейчас в твоей жизни — это то, что тебя все очень любят,— все, все, не только мы — мама, и я, и Галка, а еще и наши друзья — Борис Исакович, Лева, тетя Роза, Самуил Миронович, Валя и многие другие. Я не люблю пословиц («народной мудрости»), но есть одна пословица очень правильная: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». А любящих и друзей у тебя много, и потому ты — счастливый мальчик. Только не пренебрегай любящими.

Здесь было два-три жарких дня, я ловил рыбу с лодки на Таруске с Аркадием Акимовичем и мамой. По саду носятся полосатые соседские коты в надежде стащить рыбу или еще что-нибудь. На стенке нового дома (вместо старой мельницы) Аркадий Акимович хочет нарисовать фреску

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Я работаю понемногу.

Будь спокоен, мальчик, мой «рыжик», скоро увидимся. Очень тебя крепко целую, очень, очень, очень.

Папка.

А. А. СЕВАСТЬЯНОВОЙ

24 октября 1962 г. Москва

Дорогая Алла, дорогая «обыкновенная девчонка из маленького городка Спас-Клепики»! Спасибо Вам за милое письмо. Меня всегда радует все, что связано с Мещорой и с чудесным Вашим городишкой Спас-Клепиками. Я там был несколько раз. Из Спас-Клепиков я ходил на реку Пру за село Гришино, на лесной кордон 273. Об этом у меня есть рассказ (он так и называется «Кордон 273»). Прочтите, если не читали, это — о Ваших местах. Рассказ, кажется, есть в собрании сочинений.

Вы были в Солотче в доме художника Пожалостина, где я прожил несколько лет. Рассказ «Телеграмма» относится к этому дому. Все, что описано в этом рассказе (примерно), произошло с дочерью Пожалостиной, глубокой старушкой, которую я еще застал в живых. То, что Вам рассказывал Фраерман, он говорил потому, что дочь той старушки, которая описана в моем рассказе, жива и он, естественно, хотел (так же, как и я) уберечь ее от чужого любопытства. Поэтому верьте писателю и не ищите обязательно реальных фактов за всем тем, что он пишет.

Всего Вам хорошего. Если мне позволит здоровье, то я, может быть, приеду еще в Ваш городок.

К. Паустовский.

С. П. ТЕОДОРОВИЧУ

5 ноября 1962 г. Таруса на Оке

Дорогой Серафим Павлович!

Не удивляйтесь тому, что спустя три года Вы получаете ответ на Ваше письмо ко мне, отправленное еще 25 мая 1959 года из города Камень-Каширский.

Я прочел Ваше письмо только сегодня, так как оно пришло в мое отсутствие и непостижимым образом попало в связку старых, уже прочитанных писем. Совершенно

случайно я развязал одну из таких пачек и нашел Ваше нераспечатанное письмо.

Пишу Вам наугад,— не знаю, там ли Вы,— чтобы сказать Вам, что присланные Вами отрывки талантливы, интересны и обнаруживают в Вас несомненные качества писателя.

Пишу и боюсь, что это мое письмо не дойдет до Вас. Поэтому ответьте мне поскорее по моему постоянному московскому адресу (Москва Ж-240, Котельническая набережная, дом 1/15, корпус «В», квартира 83).

Не могу не сказать Вам, что за последние годы это первый — и редкий — случай «встречи» с такой, хотя и небольшой, но полноценной рукописью. Я этому очень рад.

Напишите о себе. Как повесть? Вы должны ее написать во что бы то ни стало.

Всего Вам хорошего. Крепко жму руку.

К. Паустовский.

К любому жильцу дома 142, кто вскроет это письмо. Прошу ответить мне, если С. П. Теодоровича нет по этому адресу, где я могу его найти. Буду за это чрезвычайно благодареп.

К. Я. ГОЛЕЙЗОВСКОМУ

17 ноября 1962 г. Таруса, против Бехова

Дорогой Касьян Ярославич, я втайне очень рад тому обстоятельству, что мои книги помогли Вашей работе. Втайне потому, что явная радость по этому поводу выглядела бы хвастовством.

Жизнь у меня нескладная (особенно в деле переписки с людьми). У меня по существу три адреса — в Москве, Тарусе и Ялте, не считая других спорадических адресов. Всюду накапливаются письма, и я мечусь между этими городами, не успевая отвечать. Все на меня обижаются, и это ужасно.

Спасибо Вам большое за Ваше дружеское письмо. Очень жаль, что на «Скрябиниану» я не попадаю, но когда я на некоторое время осяду в Москве (это будет, очевидно, в начале декабря), то с радостью посмотрю все, что Вы захотите мне показать.

Моя «нелюдимость» в последнее время объясняется тем, что недавно я перенес тяжелый инфаркт и мне не

позволяют уставать. Но сейчас уже гораздо легче, и режим ослабевает.

Очень хорошо, что мы соседи. Я довольно часто бываю на Вашем плесе Оки,— ловлю с лодки рыбу (как раз напротив могилы Поленова). Бываю и в Поленове у Ольги Васильевны. Непонятно почему, но до сих пор я не знаком с Валерией Ивановной. Знаю только Алю (Ариадну) — дочь Марины Ивановны.

Меня очень интересуют Ваши книги, я слышал о них и жду их.

Будьте спокойны и счастливы, насколько это возможно. И не обижайтесь на меня. Мне тоже 70 лет, а семидесятилетним друг на друга обижаться нельзя. Нас осталось немного.

К. Паустовский.

Е. Н. АНДРИКАНИСУ

27 ноября 1962 г. Москва

Дорогой Евгений Николаевич! Прочел сценарий о Лермонтове. Мне он понравился. Но, по совести говоря, моего в этом сценарии так мало, что он совершенно Ваш самостоятельный сценарий. Ваш и по драматургии, и по тексту, и по самой окраске всей вещи. Поэтому ставьте его смело именно от себя. Единственный эпизод мой — это сцены из «Разлива рек», но их немного, и они переформированы (нет цели игры в карты, смерти солдата и т. д.).

Если я соглашусь дать сценарию имя, то это будет просто нечестно. Работа Ваша, а имя — мое. Я же не свадебный генерал. Я совершенно искренне считаю, что сценарий так хорош, что его можно ставить спокойно, и будет сильная картина. Только не делайте Лермонтова чуть ли не декабристом. Здесь Вы пережали.

Всего Вам хорошего. Через час уезжаю в Париж.

К. Паустовский.

С. М. АЛЯНСКОМУ

9 декабря 1962 г. Paris

Саммпр, дорогой,— мы так замотались в Париже, что только сейчас, ранним утром, есть время написать тебе несколько слов. Много приемов (по 2—3 в день).

Париж фееричен, особенно по вечерам...

Познакомился с Моруа, Мориаком, Корбюзье. Живем в отеле, наши окна упираются в Лувр. Видели много. Французы пригласили нас остаться до конца декабря. Мы без особых размышлений согласились. Виделся с Арагоном и Эльзой Триоле и «моим» издателем Галлимаром. Он устроил ужин с чудными устрицами, но насчет сантимов за книги — ни полслова.

Вчера должны были ехать в Нормандию (Руан, Гавр, Гонфлер), но поездка сорвалась, там стоят такие туманы, что от них сердечники умирают с полной легкостью.

На днях едем на юг, в Прованс, в Арль — и дальше. К нам прикрепили машину с русским шофером. Весьма изысканным и престарелым. Он ведет машину в лайковых перчатках и картавит, как Вертинский. Все здоровы, но устаем, кроме Галки. Она носится по городу почти без перерыва.

Пожалуйста, расскажи Алешке содержание этого письма. И Леве Левицкому. Мы по всех соскучились.

На всякий случай адрес — на этом бланке гостиницы. Комната (chambre) № 141.

Как здоровье, как Нина?

Все целуют тебя и Нину очень.

Как ты отстал,— мы едим омаров, сваренных в шампанском, а ты — лапшу. «Фуй!» — как говорят французы. Кажется, на днях увижу Замятину.

Твой *К. Г.*

В. А. КАНЕВСКОМУ

19 декабря 1962 г. Арль (Прованс)

Дорогой Виктор Абрамович!

Привет Вам от нас из удивительного Арля, где жил и работал Ван Гог. После двух бурных недель в Париже отдыхаем в поезке по Провансу. Сегодня едем в рыбачьи городки на Средиземном побережье, завтра — в Марсель, а потом опять в Париж.

Выедем в Москву 27-го. Сердце ведет себя превосходно. Татьяна Алексеевна целует Надежду Самойловну и Вас. Я тоже. Привет Тане. Ваш *К. Паустовский.*

Письмо это отправляю не из Арля, а из маленького захолустного порта Гро де Руа, к западу от Марселя.

В. Т. ОВЧИННИКОВУ

20 декабря 1962 г. Авиньон

Валя, дорогой, пишу Вам из средневекового города на юге Франции Авиньона. Были две недели в Париже, потом мы с Т. А. уехали на неделю на юг, и Галка осталась в Париже. Сегодня приехали сюда из Марселя.

Позвоните Боре и Леве и скажите им, что я забыл в Москве свою книжку с адресами и потому не мог им написать.

Весь юг Франции объехали на машине со скоростью в 140 километров. Иначе здесь не ездят. 29-го вернемся.

Целуем Нину и Вас.

К. Паустовский.

А. К. ПАУСТОВСКОМУ

20 декабря 1962 г. Марсель

Алешенька, в Марселе жара, веселье, тысячи баров, в кафе все целуются.

Сидим в кафе па берегу старого порта с сотнями кораблей. Мне не удалось снять остров Ив, где сидел в тюрьме граф Монтекристо, но я купил открытку с видом Ива.

Обедаем на воздухе, на тротуаре, голуби рвут хлеб из рук. Сейчас едем в Авиньон, а оттуда — в Париж.

Расскажи обо всем Боре и Леве.

Целуем тебя очень оба, *мама и я.*

В. С. и Р. И. ФРАЕРМАНАМ

20 декабря 1962 г. Авиньон

Рувцы, дорогие, только что прилетели из Марселя в Авиньон. После двух шумных недель в Париже уезжали па неделю в Прованс. Завтра возвращаемся в Париж, а 29-го будем уже в Москве. Видели много интересных людей, вещей и мест. Все расскажем. Виделись с Моруа, Мориаком, Сартром и со многими другими писателями.

Что у Вас? Здоровы ли? Рувец, я купил здесь удивительную наживку для рыбы, говорят, она действует магически. Попробуем. Таня, Галка и я — все Вас обоих целуют.

Привет друзьям. Ваш *Коста.*

Д. С. ДАНИНУ

8 апреля 1963 г. Севастополь

Дорогой Даниил Семенович,— не ругайте меня за то, что отвечаю на Ваше письмо с таким опозданием. Жил в Переделкине (в Доме творчества), работал, попал в самую гущу (отраженную) событий, сыт ими до тошноты и решил, чтобы наконец окончить книгу, поехать в тихий Севастополь.

Конечно, я напишу о Казакевиче, это — мой долг, как и всех, кто знал его и любил его — всегда необыковенного, отважного, насмешливого и нежного, остроумного и беспощадного. Как сейчас его не хватает!

Напишу я к июлю, раньше никак не получится. Есть у меня и письма Эммануила Генриховича — необыкновенно интересные, я их соберу и «предоставлю» Вам. Но есть одно письмо совершенно удивительное, которое он прислал мне в больницу во время так называемого юбилея. Оно настолько возвышенно и трогательно, что, к сожалению, его вряд ли можно — да и нужно ли — печатать. Во всяком случае, я Вам его покажу.

Я кончаю здесь книгу (шестую часть автобиографической эпопеи) для «Знамени». Они ее, конечно, не напечатают... В общем, посмотрим.

Сейчас я как раз в своей книге дошел до «Конотопов» у Фраермана. Если Вы не знаете, что это такое, то Туся Вам расскажет. Она — самая популярная участница «Малого Конотопа».

Привет ей большой.

Не собираетесь ли Вы в Ялту? В Севастополе цветет кизил и миндаль, но еще холодно.

Всего Вам хорошего от чистого сердца.

К. Паустовский.

Севастополь. Гостиница «Украина», комн. 204.

Я. ИВАШКЕВИЧУ

12 апреля 1963 г. Севастополь

Дорогой Ярослав, прежде всего извини меня за то, что я пишу это письмо на машинке, но мой почерк стал настолько невероятным, что я сам с трудом его разбираю.

Спасибо тебе за письмо. Я был очень рад ему, но, как всегда, затянул ответ. Это мое ужасное свойство — тянуть с делами, со сдачей рукописей, с ответами на письма. Не сердись. Очевидно, я лентяй, хотя и не признаюсь себе в этом.

Мы с тобой болели в одно и то же время. Я тревожился за тебя и теперь рад, что все окончилось счастливо. Я тоже пока что удачно выскочил из переделки, из своего инфаркта. Настолько удачно, что после инфаркта ездил с Татьяной Алексеевной и Галей на месяц во Францию. Ехали мы туда поездом через Варшаву, выходили на минуту на Гданьском вокзале и вспоминали нашу там встречу.

Кстати, я написал большой очерк (эссе) о поездке в Польшу. Там есть и милое романтическое Стависко с туманным парком, обилием книг, горячей «гербатой» и чудесными маленькими девочками. Есть и ты — мой старый товарищ.

Очерк этот взял у меня «Новый мир», тотчас решил напечатать, но с тех пор положение так изменилось, что нет уверенности, что очерк этот увидит свет. А жаль! Писал я его с большой любовью к Польше.

Я рад за успех «Хвалы и славы». Когда я смогу прочесть эту книгу? Спасибо тебе большое за предисловие к «Войне и миру».

Сейчас я заканчиваю шестую книгу автобиографического цикла. Называется она «На медленном огне». Болезнь отняла у меня уйму времени, и первое время я как бы наново учился писать.

Чтобы окончить эту книгу, я уехал с Татьяной Алексеевной на месяц в Севастополь (родной город Татьяны Алексеевны),— в Москве работать не дают, особенно теперь.

Живем в гостинице. За окнами — старые живописные бухты, бастионы, сады, где зацветает кизил и миндаль. Севастополь, подобно Варшаве, поднялся из руин. Здесь после войны на каждом квадратном метре земли насчитывали по сто — двести осколков от бомб.

Узнал, что конгресс Европейского сообщества писателей будет в Варшаве в сентябре. Как говорят в Одессе, «есть шанс увидеться». Но загадывать не будем. Еще в гимназии нас учили, что «история мидян темна и непонятна».

Если осенью приедешь, то побываешь у меня в Тарусе. Это, конечно, не Стависко, а деревенская изба в глухом городке. Что же касается Владимира и Суздаля, то у тебя будет хороший гид и знаток этих чудесных мест — наша Галя, «пани Галочка». Она с радостью повезет тебя туда вместе с Володей Фроловым.

Постоянно вспоминаем о тебе, твоей жене, Марысе и Наташе (она так красиво говорит по-польски, что в Москве я заставлял ее произносить отдельные польские фразы), обо всем твоем милом семействе и жалеем, что так быстро идет время и неизвестно, когда мы увидимся и сможем поговорить, как говорят в той же Одессе, «за жизнь».

Если все будет хорошо со здоровьем, то мы могли бы с тобой поехать в совершенно сказочные места — на Север, в Карелию.

Передай привет жене и всем вашим от всех наших. Татьяна Алексеевна очень кланяется.

Обнимаю тебя. Будь здоров, не болей, не забывай.

Твой *Костя*.

Если увидишь, то передай привет Слонимскому, Анджеевскому, Анджеевичу (переводчику) и молодому (хотя и не очень) Ежи Фицовскому. Пиши мне на Москву. Оттуда мне все пересылают.

И. А. АНТОНОВОЙ

26 апреля 1963 г. Ялта

Глубокоуважаемая Инна Анатольевна!

На днях я провел в Херсонесе весь день. Я бывал в Вашем древнем городе и раньше и полюбил его очень давно. Я видел несколько таких городов (Помпея, Никополис ад Иструм в Болгарии, Сан-Реми в Провансе), но ни у одного из них нет того очарования, как у Херсонеса.

В это мое последнее посещение я очень порадовался, что работы идут и город, поддерживаемый учеными, продолжает «открываться» все больше и как бы растет.

После того, как я обошел все развалины, я долго сидел на берегу и сказал жене, что с удовольствием поступил бы к Вам в Херсонес сторожем и жил бы в одном из домиков, стоящих за оградой музея. Подумали, помечтали и уехали в Севастополь.

В Севастополе ко мне приходила тамошняя литературная молодежь и вместе с ней заглянул Ваш сотрудник Юрий Александрович Бабинов. Поговорили о музее, о раскопках, о замечательных энтузиастах-ученых. Юрий Александрович мне сказал, что Вы и С. Ф. Стржелецкий сейчас в Минске на съезде.

И как-то так к разговору вышло, что Юрий Александрович упомянул, что в одном из замеченных мною домиков уже несколько лет живет какой-то любитель Ваших мест — профессор.

И у меня появилась надежда,— а вдруг Вы согласитесь пустить меня в другой домик (конечно, па определенных условиях), но не на одно лето, а на один — два года. Там бы я мог в тишине и близости херсопесских руин и моря отдохнуть, поработать, быть никем не замеченным и никем не осаждаемым. В моем возрасте это было бы счастьем.

Я просил Юрия Александровича как-нибудь намекнуть Вам об этом, а потом решился сам написать.

Сейчас я в Ялте. Буду здесь до 20-го мая. Может быть, у Вас найдется время черкнуть мне в ответ на мои дерзкие замыслы попасть в число граждап Херсонеса Таврического.

Примите самый сердечный привет от моей жены Татьяны Алексеевны и от меня.

К. Паустовский.

А. Е. КОРНЕЙЧУКУ

19 мая 1963 г. Ялта

Дорогой Александр Евдокимович!

Обращаюсь к Вам по старой «плютовской» памяти. Часто вспоминаю милые Плюты и тамошние законы «великого племени рыболовов» («Не давать червей Марьямову!»).

Но шутки шутками, а дело, по которому я Вам пишу, очень серьезное, и по существу идет о жизни хорошего человека,— о нем Вы, может быть, слышали. Я пишу о

директоре Ялтинского дома творчества Якове Федоровиче Хохлове.

Директором этого дома Хохлов начал работать еще в 1935 году. За ним годы беспорочной службы в Литфонде и много заслуг. Он пользуется любовью и уважением всех писателей, живших и работавших в Ялтинском доме.

Дело вкратце сводится к следующему: проворовавшийся завхоз Ялтинского дома Берестнев, чтобы спасти себя, оговорил Хохлова — человека глубокой честности, подлинного бессребреника, обвинив его во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением.

На днях был суд над Хохловым и Берестневым. Несмотря на то что суд оправдал Хохлова по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении своим служебным положением, он неожиданно (и несмотря на особое мнение одного из заседателей) был приговорен к четырем годам заключения за нарушение финансовой дисциплины без корыстных целей. (Хохлов переплачивал рабочим за срочные работы по Дому творчества.)

Хохлову 70 лет. У него тяжелая болезнь сердца, и старик, конечно, не выдержит ни заключения, ни, главным образом, обиды и позора.

Нельзя мириться с этим. Поэтому я прошу Вас, если Вы сочтете это возможным, обратить особое внимание на дело Хохлова и облегчить его участь.

Простите, что я беспокою Вас. Не сердитесь.

Татьяна Алексеевна и Галя кланяются Вам.

Примите мой сердечный привет.

К. Паустовский.

Завтра я уезжаю в Москву.

М. А. КЕЛЛЕРМАНУ

24 июня 1963 г. Таруса

Дорогой Марк Александрович!

Послал Вам вчера список вещей для «Избранного» на адрес УОПА'а. Посылаю вдогонку полный (исправленный) список с обозначением, где эти вещи были напечатаны, т. е. откуда их следует перепечатывать для Гослитиздата. Им, кажется, нужно по два экземпляра.

Не знаю, на чем остановиться, на Кипренском или Шевченко. Хорошо бы напечатать и того и другого. При этом условии размер сборника будет несколько больше 30 листов. Если без Шевченко, то будет как раз 30 листов.

Теперь у меня к Вам большая просьба,— собрать этот материал и дать его переписать машинистке. Дорого, конечно, но ничего не поделаешь. После этого я просмотрю сборник или в рукописи (из-под машинки), или в верстке. В общем, созвонимся, и, может быть, если у Вас будет время, Вы приедете в Тарусу.

Деньги на машинистку (сообщите, пожалуйста, сколько это приблизительно получится) я пришлю с Валей (или пришлю чек).

Я не помню, когда срок сдачи однотомника? И будет ли договор? Они должны бы дать один экземпляр.

Получил официальное приглашение приехать с семьей на один месяц в Англию в конце сентября.

Что нового? Ваши уже на даче? Когда у Вас отпуск?

В Тарусе хорошо, но пока что жарко. У Оттена во дворе стоит вдрызг раздолбанная машина.

Привет всему Вашему семейству и Вам «лично» от всего нашего семейства.

Обнимаю Вас.

К. Паустовский.

Л. Н. ДЕЛЕКТОРСКОЙ

3 июля 1963 г. Москва

Лидия Николаевна, дорогая, Вы на меня сердитесь, я знаю, но после Парижа жизнь у нас была беспокойная, и я все откладывал и откладывал письмо.

Огромное спасибо за присланные книги («Далекие годы») и за газеты и журналы с отзывами. Я рад, что все, кто писал о «Далеких годах», так прекрасно отзываются о Вашем переводе. Довольны ли Вы? Довольна ли Поль? Я отсюда порадовался за вас обеих.

Почему вы мне не пишете? Я не имею права упрекать Вас, но все же делаю это потому, что соскучился по Вам и по Вашим письмам. Напишите, как дела с переводом,

с «Беспокойной юностью». Как вы? Как Леля и Поль? Не потеряла ли она маленький, красивый поплавок?

Я очень скептически отношусь к своей наружности и потому не очень рад тому обстоятельству, что Галлимар выставил мою фотографию в нескольких книжных магазинах. Я на этой фотографии похож на престарелого раввина.

После Парижа я два месяца прожил под Москвой в нашем писательском доме отдыха (в Переделкине). Там я после большого перерыва начал работать над шестой автобиографической книгой.

В апреле мы с Татьяной Алексеевной поехали в Севастополь. Там я тоже работал, мы жили в гостинице, и никто мне не мешал. Севастополь — прекрасный и тихий город, очень романтический и живописный. Из Севастополя мы переехали в Ялту, в наш писательский дом... На днях я наконец закончил шестую книгу у себя в Тарусе, привез ее в Москву и завтра сдам в издательство.

Шестая книга называется «На медленном огне». Что с ней будет — еще не знаю.

Дня через два мы едем на все лето в Тарусу... Адрес: Таруса, Калужской области, мне. Более подробного адреса не нужно, так как все тарусские мальчишки знают, где я живу.

Сейчас в Москве Кодрянские. Мы часто видимся.

Алешка очень много острит,— пожалуй, больше, чем нужно. Но, в общем, он чудный тип.

Часто вспоминаем Вас, и Лелю, и Поль, и бедного месье Кан, когда он тащил на Северном вокзале какие-то наши корзины. Когда мы увидимся, не знаю. Все неясно, все туманно. Я так жалею, что в Париже замотался и не был у Вас,— мне очень хотелось посидеть в ваших комнатах в тишине и покое.

Напишите о себе подробно. Может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы в связи с дальнейшим переводом?

Живете ли Вы в «Гагарине»?

Татьяна Алексеевна и Галя целуют Вас, Лелю и Поль. Будьте здоровы, ни о чем не тревожьтесь. Целую Вас. Низкий привет Леле, Поль и ее строгому мужу. Не видели ли Вы Арагона? Если увидите, то передайте привет ему и Эльзе от меня.

И пишите. Не обращайте внимания на мое долгое молчание.

Ваш *К. Паустовский.*

С. Г. БРАГИНУ

22 июля 1963 г. Таруса

Дорогой Сергей Георгиевич! Спасибо большое за письмо и за листок из сада Антона Павловича. Всякая весть из дома Чехова для меня радостна, в особенности Ваши письма.

Мне тоже было обидно, что мы не встретились в Ялте, но никто в этом, кроме меня, не виноват. Я слишком поздно, за день до отъезда из Ялты, собрался прийти к Вам. Но ничего. Я надеюсь быть в Ялте этой осенью (поздней), и тогда мы увидимся.

На памятный день Марии Павловны мне вряд ли удастся приехать, но воспоминания о ней я напишу, и если успею (мало осталось времени), то пришлю Вам и напечатаю.

<...>

Ваш *К. Паустовский.*

Что касается стихов из Кипренского, то я сознаюсь одному только Вам, я написал их сам, но скрываю это от литературоведов, чтобы они не обвинили меня в самозванстве. Вообще, некоторые стихи для своей прозы я пишу сам.

В. М. КОЖЕВНИКОВУ

27 августа 1963 г. Таруса

Дорогой Вадим Михайлович!

В Москве я болел и, к сожалению, так и не успел зайти к Вам поговорить о книге. А потом мой врач буквально выгнал меня из Москвы, и мне пришлось уехать, не повидавшись с Вами.

Василий Васильевич, выражаясь на языке международных переговоров на самом высоком уровне, сказал, что у Вас и у редакции есть по моей книге «конструктивные предложения».

Было бы очень хорошо, если бы Вы написали бы мне об этих предложениях и, вообще, свое мнение о книге. Я быстро бы Вам ответил, и тогда бы все и решилось.

Если «да», то я срочно займусь рукописью, а если «нет», то так тому и быть!

В ближайшие дни я пришлю в Москву к Василию Васильевичу за рукописью, в обоих случаях она мне нужна.

Мой адрес: Таруса, Калужской области, мне. Буду ждать Вашего ответа.

Примите мой сердечный привет.

К. Паустовский.

P. S. Извините за помарки,— моя машинка начала заикаться.

В СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Ноябрь 1963 г.

Несколько лет назад в Париже вышла книга Наталии Владимировны Кодрянской о замечательном нашем русском писателе Алексее Михайловиче Ремизове, ослепшем и умершем в Париже в полном одиночестве.

Ремизов оставил после себя большое литературное наследство. Характеризовать А. М. Ремизова в коротком письме невозможно. Он представляет собой целую своеобразную и плодотворную эпоху в развитии русской литературы и русского литературного языка.

Вне Ремизова не может существовать история русской литературы, особенно предреволюционных лет и первых лет революции.

Наталья Владимировна Кодрянская — одна из немногих людей, знавших Ремизова в дни его тяжкой старости и пытавшихся облегчить ему жизнь. Тогда, уже совершенно ослепший и умирающий, он все же настойчиво и мужественно писал, нащупывая пальцами слепые строки.

Книга Кодрянской содержит в себе много ценных высказываний Ремизова, его дневники, краткую летопись последних лет его жизни. Она — эта книга — не должна быть потеряна для нашей литературы. Вышла она двумя изданиями в Париже, небольшими тиражами, давно разошлась и является исключительной библиографической редкостью.

Неисчерпанные богатства нашей культуры обязывают нас сохранить все ее ценности, в частности творчество Ремизова, и издать у нас на родине книгу о нем Н. В. Кодрянской.

Н. В. Кодрянская — русская писательница, с детства живущая во Франции. Она дружила с Буниным, знала

многих русских писателей за границей и, кроме книги о Ремизове, могла бы написать книгу ценнейших воспоминаний.

В книге около 12 листов. Написана она прекрасным и простым русским языком. У каждого, читавшего ее парижское издание, возникает мысль о необходимости издания этой книги у нас на родине.

К. Паустовский.

Л. Н. ДЕЛЕКТОРСКОЙ

10 ноября 1963 г. Москва

Дорогая Лидия Николаевна,— извините, что я пишу на машинке, но я жалею Ваши глаза. Спасибо Вам большое за письма, за отзывы парижских газет и, самое главное, за Ваш прекрасный перевод,— за тот тяжелый и самоотверженный труд, который Вы добровольно взяли на себя. Я очень рад тому, что во всех статьях о «Далеких годах» все критики без исключения говорят о великолепном переводе, передающем в полной мере все качества подлинника. Я рад и тому, что отчасти из-за меня — безобразного автора, не отвечающего по месяцам на письма,— Вы так уверенно и хорошо «вошли» в новую профессию переводчика.

Я не знаю той статьи в «Монд», о которой Вы пишете. Если можно, то пришлите, пожалуйста, эту статью или перевод этой статьи.

Мне очень понравилась вся история с провинциальными библиотеками. Вы — молодец! Как говорят у нас в России — «с Вами не пропадешь». И с Поль — тоже. Ей я пишу отдельно, на Ваш адрес. Так как я напишу по-русски, а Поль по-русски знает только одно слово «спасибо», то Вам придется мое письмо ей перевести. Еще одна работа!

В 10-ом и 11-ом номерах «Нового мира» будет печататься шестая книга. Пришлось только переменить ее название. Вместо прежнего названия «На медленном огне» теперь будет новое: «Книга скитаний».

На днях я пришлю Вам список тех людей, кому хотелось бы послать «Далекие годы» на французском языке. Кроме Швейцера, надо бы послать Пикассо, Лакснессу (Исландия), Марку Шагалу, Белю (Германия), Колдуэллу (США), Пабло Неруде (Южная Америка). Надо бы

послать еще итальянцам — Моравии и Карло Леви, но они могут прочесть и в итальянском издании (Фельтринелли в Милане). Хорошо бы еще послать Рассели (Англия).

Мы постоянно вспоминаем Вас, Лелю (спасибо ей за превосходные фото). Кстати, откуда «Леттр франсэз» взяло мою фотографию, где я похож на беглого каторжника? Я очень неважного мнения о своей наружности, но все же не стоит пугать этим портретом детей и читателей.

У меня такое впечатление, что мы с Вами так ни о чем и не успели поговорить. Мы Вас замучили в Париже. У нас все благополучно. После Парижа мы с Татьяной Алексеевной жили некоторое время в Севастополе. Я очень люблю этот удивительный город,— в нем очень легко работать. Потом были в Ялте, потом — в Тарусе, откуда я только что вернулся в Москву. Сердце мое пока что в порядке. На днях снова собираемся в Севастополь. Там я буду писать сценарии по своему «Черному морю» (хотя я давно уже дал себе слово не работать в кино).

На днях у нас была Натали Саррот.

Видите ли Кодрянских? Они, кажется, в Париже. Он прислал мне письмо с вырезками из парижских газет, в частности, из «Монд», относительно Нобелевской премии. Если я ее получу (что, конечно, чистая фантастика), то, так и быть, подарю Вам что-нибудь исключительное, вроде ста «матрешек» или ста кило великолепной одесской халвы (говорят, Вы ее любите). А Поль — молодой переводчице — что-нибудь экзотически русское, вроде шали из соболей. Все это, конечно, глупости — не обижайтесь.

Как Вы? Вы, кажется, променяли Париж на Ниццу. Фото Матисса (с кошкой) стоит у меня на столе в Тарусе на зависть всем приезжающим художникам. Мы соскучились по Вас. Когда Вы приедете к нам? Пишите о себе и обо всем. Как дела со второй книгой («Беспокойная юность»)? На днях напишу Арагону.

Не знаю, нужно ли по французскому этикету написать Галлимару? Все-таки старался, издавал... Во всяком случае, если увидите Арагона или Эльзу Триоле, то скажите, что я вспоминаю их и приветствую самым сердечным образом.

Холодно ли в Париже? У нас еще нет зимы, очень затяжная осень. Я вспоминаю газовые печи у Вас в квартире, и почему-то издали они кажутся еще более уютными, чем в Париже. Помните, как в Париже, замотанный

приемами и «коктейлями», я мечтал посидеть у Вас в тишине и покое.

Не могу удержаться от просьбы. Если возможно, то пришлите мне два-три флакона того лекарства от астмы, какое Вы мне присылали,— оно действует превосходно <...>

Когда увидимся — разочтемся. Может быть, Вам что-либо нужно в Москве? Тогда напишите. Посылаю в этом же письме письмо для Поль. Она меня совершенно растрогала. Прислала мне очень нежное хорошее письмо на нескольких открытках с видами замков на Луаре. Она прелестная, Поль. А месье Кан приписал несколько слов к ее письму, настолько для меня лестных, что я даже смутился. Пишите! Я жду Ваших длинных и милых писем.

Татьяна Алексеевна и Галка целуют Вас. Я тоже. Будьте счастливы и здоровы. Большой привет Леле.

Ваш *К. Паустовский*.

Как Ваша «дача» («Гагарино»), куда мы не успели съездить. Какие планы на лето? Опять в Ниццу? Все время смотрю журналы (с Матиссом).

Пишите мне на Москву, мне все письма тут же пересылают.

С. М. АЛЯНСКОМУ

6 декабря 1963 г. Севастополь

Дорогой Саммир, ты единственный написал мне из Москвы, а мальчишки (Лева и Боря) только трепались. Ну, ладно, они у меня поплачут!

Пишу тебе из старинного морского военного госпиталя, куда меня уложили из-за легкого приступа стенокардии. Сейчас уже все прошло, 10-го меня выпишут, и мы тотчас вернемся в Москву. Все случилось из-за курения. Поэтому, как теперь любят говорить, «учти» и бди! Не знаю, сколько раз тебе надо говорить, чтобы ты бросил курить! Кошмарный характер!

За окнами — севастопольские бухты, корабли, синеватый осенний воздух и тишина. Палата моя — у самой воды, и я слышу плеск волн, особенно по ночам.

На днях примчалась сюда из Тбилиси на самолете обеспокоенная Галка. Летела ночью и улетела ночью, как метеор. Успела съездить в Херсонес, от которого пришла в восторг.

Мы думали встретить Новый год в Тбилиси, но дорога туда из Севастополя очень сложная — четыре пересадки, а морем до Батуми нельзя,— все время зимние штормы, а Таня укачивается. Поэтому встретим в Москве...

Очень скучно жить врозь со всеми. Я даже не знаю, что ты делаешь в Москве, и потому не могу предостеречь тебя от необдуманных поступков. Водку пей с умом.

Что слышно в Союзе писателей? Тлен и паутина? Очень потрясло нас убийство Кеннеди. Мы ехали ночью из Симферополя в Севастополь, и таксист нам рассказал об этом убийстве.

Скрепя сердце пишу сценарий.

Обнимаю тебя и Нину. Скоро увидимся. Т. А. целует.

Твой *К. Паустовский.*

Л. Н. ДЕЛЕКТОРСКОЙ

24 апреля 1964 г. Кунцево под Москвой

Дорогая Лидия Николаевна, пишу Вам из больницы и потому коротко и на плохой бумаге.

15 ноября в Севастополе у меня был приступ стенокардии, а сейчас — опять. Я пролежал в загородной больнице (в Кунцеве) почти три месяца, и, наконец, 30-го — через шесть дней — меня освобождают («выписывают», как у нас говорят). После этого еще месяц (май) я пробуду в санатории, а потом уже — полная свобода.

Мне нужно еще 10 лет, чтобы написать все, что я задумал. Я почему-то уверен, что успею.

Спасибо за письма (я очень люблю получать Ваши письма), за книгу «Une jeuness inquiete» [1] и за газеты. Я начал получать письма от читателей-французов и русских, живущих на Западе. Все в один голос пишут о превосходном переводе. Поздравляю Вас и Поль еще раз.

Первые книги «Повести о жизни» уже вышли в Нью-Йорке, Мюнхене, Стокгольме и Милане. Что слышно у Галлимара? Как настроен Арагон? Если Вы встречаетесь с ним или говорите по телефону, то передайте самый сердечный привет от меня ему и Эльзе Триоле.

---

[1] «Беспокойная юность» *(фр.)*.

Я думаю, что в связи с выходом дальнейших очередных книг я могу понадобиться и Вам и Арагону. В этом случае Арагон и Галлимар могут меня вызвать (через Союз писателей, известив об этом и меня), не беря на себя никаких материальных забот. А я постараюсь приехать. Звонили Кодрянские. Их телефон Трокадеро 78—47.

Я понемногу начинаю работать. Лето, очевидно, проживем в Тарусе,— на юг меня доктора пока что не пускают <...>

В. С. и Р. И. ФРАЕРМАНАМ

26 апреля 1964 г. Кунцево

Дорогие Рувцы,— кажется, я выскочил из переделки,— 30-го, в четверг меня выписывают, и мы, значит, увидимся. Дней пять я побуду дома, а потом на месяц уеду в Барвиху на «окончательную поправку». В Барвиху очень не хочется, но ничего не поделаешь!

Как здоровье? Я, подражая Рувиму, перестал есть хлеб. Очень здорово!

Осип Евсеевич прислал мне свою книгу «Забытые мотивы». Я прочел ее не отрываясь — это превосходная простая и отточенная проза. Критики наши, конечно, дерьмо. Проглядели такого писателя!

О том, с каким наслаждением, вернувшимся из милых юношеских лет, и как хорошо и медленно я читал «Золотой Василек», я писать не буду, потому что Рувец будет отмахиваться от меня и сердиться.

Мне все снится Солотча — Промоина и Ласковское озеро! Надо бы туда добраться.

Ничего не могу узнать о Вас. Семеновиче. Если Вы с ним говорите по телефону, то скажите, что постоянно думаю о нем.

Здесь Миша Светлов. Ему делали переливание крови от какого-то донора Германа, и он возмущается, кричит, что кровь Германа стучит в его сердце, и требует, чтобы ему перелили кровь красивой женщины.

Целую вас обоих, *Коста.*

Л. Н. ДЕЛЕКТОРСКОЙ

7 мая 1964 г. Москва

Дорогая Лидия Николаевна!

Так долго не писал Вам из-за болезни. Опять подвело меня сердце. В декабре я провалялся с сердцем в морском госпитале в Севастополе, вернулся в Москву и в конце января снова попал в больницу, в Кунцеве, под Москвой. Пролежал там три месяца!! (Безобразие!) На днях меня перевезли в прекрасный санаторий — Барвиху,— вблизи Москвы, и здесь я проживу целый месяц. А потом — к себе, на волю, в Тарусу, а может быть, и дальше. Появилась легкая надежда, что мы увидимся. Может быть, увидим Вас, и Лелю, и Поль, и смешливого господина Кана (он — чудный человек, с ним я, как говорят солдаты, спокойно бы «пошел в разведку». Это на солдатском языке — наивысшая похвала).

Но я, как всегда, «нахал и моветон». Вы доставили мне огромную радость, Вы прислали «Беспокойную юность», когда я лежал в больнице и мне было очень плохо. Я буквально воскрес, увидев книгу. И только теперь собрался написать.

Спасибо за фото (какие милые на фото Шагал и Мальро). Спасибо за письма и за книгу о французских писателях. Спасибо за отзывы в газетах. Вообще — за все. Что происходит в издательстве? Что думает месье Арагон? Видите ли Вы его? Как идет дальнейший перевод? Ходит слух (по Москве), что Поль научилась говорить по-русски не хуже, чем я по-французски.

Я начал получать письма от читателей из Франции и стран Бенилюкса с отзывами на «Далекие годы» и «Беспокойную юность». И во всех письмах восхищаются переводом. В частности, некий Артамонов — один из директоров заводов Форда в Европе прислал мне из Антверпена письмо, в котором пишет: «Французский текст великолепен!»

Это письмо — не в счет. Мне еще не позволяют долго писать. Через неделю напишу еще, побольше.

Как здоровье? Как настроение? Как Гагарино? Мне очень хочется там побывать. (Кстати, у Кодрянских тоже появилось где-то под Парижем свое Гагарино или, как они говорят, своя «ферма».)

В Нью-Йорке, в издательстве «Panteon Press», вышел первый том автобиографических повестей. Вскоре должен

выйти второй. Издано великолепно. На обложке портрет, на котором я похож на Мефистофеля.

Мы вспоминаем Вас каждый день. Все время. Непонятно, как, внезапно, вдруг возникают на свете свои родные люди. Я не навязываюсь к Вам в родственники, но это так.

Привет от всех Вам и Леле. Все, в том числе и я, Вас целуют. Пишите! Пишите! Поль пишу отдельно. Все равно переводить письмо будете Вы.

Я до сих пор на расстоянии 3000 километров боюсь Вашу консьержку.

Скоро напишу. Честное слово.

Ваш *К. Паустовский.*

В. А. КОСОЛАПОВУ

10 мая 1964 г. Барвиха

Глубокоуважаемый товарищ Косолапов.

Обращаюсь к Вам в связи с литературным наследием писателя Семена Григорьевича Гехта, умершего в 1963 году.

Гехт был одним из зачинателей советской литературы на юге страны вместе с группой молодых писателей — Катаевым, Олешей, Ильфом, Багрицким, Евгением Петровым, Бабелем, Славиным и другими. Гехт был писателем большого дарования, мужества и чистоты. Литературное его наследие не очень обширно, но очень значительно и ценно. До сих пор Гехт не оценен в полной мере, как он того заслуживает. Я позволю, чтобы не повторяться, привести здесь ту характеристику Гехта, какую я дал ему в одной из глав своей повести «Книга скитаний» («Новый мир», № 11 и 12 за 1964 год).

«Есть люди, без которых невозможно представить себе настоящую литературу и литературную жизнь. Есть люди, которые независимо от того, много или мало они написали, являются писателями по самой своей сути, по «составу крови», по огромной заинтересованности окружающим, по остроте и образности мысли. У таких людей жизнь связана с литературой и писательской работой непрерывно и навсегда. Таким человеком и писателем и был Гехт».

Гехт писал сочно и лаконично. Налет некой строгой и взыскательной доброты был характерен для его вещей, так же, как и налет огромной его заинтересованности в окружающей писателя «быстротекущей жизни». Гехт принадлежит к тем писателям, книги которых, бесспорно, требуют переиздания. В области переиздания Гослитиздат выполняет великую миссию сохранения всего ценного, что накоплено нашей социалистической литературой. Мы не вправе ничего ни забывать, ни терять,— ни одной крупицы из сокровищницы нашей советской прозы и поэзии.

Поэтому я, как один из членов комиссии по литературному наследству Гехта, вместе с остальными членами комиссии обращаюсь к Вам с предложением выпустить в свет двухтомник произведений С. Г. Гехта.

К. Паустовский.

КОЛЛИНЗУ

2 июля 1964 г. Москва

Дорогой мистер Коллинз!

К сожалению, я не знаю английский язык и пишу поэтому по-русски, но надеюсь, что не очень затрудню переводом этого письма Ваших переводчиков.

Если я не ошибаюсь, у Вас в издательстве работает переводчица с русского языка Мария Григорьевна Харари. Она была у меня однажды в Москве, а два года назад мы встретились с нею в Париже. Я получил Ваше любезное письмо по поводу моей книги «Story of Life» [1], которую Вы собираетесь издать в Англии. Я буду рад этому. Англия, английский народ и английская литература глубоко интересуют меня и вызывают истинное восхищение.

Я чрезвычайно Вам благодарен за приглашение посетить Англию в сентябре этого года. Я мечтал увидеть Англию с самых младенческих лет, со времен неистового увлечения Вальтер Скоттом и Диккенсом. Со мной приедет моя жена Татьяна Алексеевна Паустовская и моя дочь (падчерица) Галина Алексеевна Арбузова.

Я недавно вышел из госпиталя после сердечной болезни, но ко времени поездки в Англию достаточно окреп-

[1] «Повесть о жизни» *(англ.)*.

ну. Но все же я бы хотел избежать многочисленных приемов и встреч — это для меня утомительно. Но, конечно, я буду искренне рад знакомству с писателями и литературной молодежью Англии.

Какая погода у Вас в сентябре? Бывает ли в этом месяце «смок»? О точном сроке своего приезда я буду телеграфировать Вам за неделю до приезда.

Примите от моей жены, дочери и от меня сердечную благодарность и самый дружеский привет.

Искренне Ваш *К. Паустовский.*

Т. В. ИВАНОВОЙ

8 июля 1964 г. Таруса

Дорогая Тамара Владимировна! Извините, что немного запаздываю с работой. Сегодня окончил первую книгу «Дневника» (1924—1943 годы). Вторую книгу окончу дня через два, а потом останутся письма Горького и к Горькому. В общем, через неделю все будет готово, и тогда я или телеграфирую Вам (если не будет совершенно надежной оказии в Москву), или приеду сам. Но вряд ли это удастся, я еще не совсем «в форме», поэтому и затянул «Дневники».

«Дневники» изумительны по какой-то «пронзительной» образности, простоте, откровенности и смелости. Это — исповедь огромного писателя, не идущего ни на какие компромиссы и взыскательного к себе. Множество метких мест, острых мыслей, спокойного юмора и гражданского гнева. Это — исповедь большого русского человека,— доброго и печального, который, несмотря на свою доброту и человечность, имеет право судить своих современников. И судит их, в случае измены литературе, правде и своему народу,— беспощадно. Я боялся, конечно, прикасаться к тексту Всеволода Вячеславовича, но кое-где все же пришлось прикоснуться. Это — только в тех местах, которые могут причинить неприятности кое-кому из живущих хороших людей. Профессиональных гонителей — сколько угодно. Они только и ждут, чтобы придраться к любой мелочи и задним числом ущемить человека.

Они будут и в дневниках искать материал для ущемления и кляуз. Поэтому я вычеркнул два-три факта, опасные в этом отношении.

У Вас есть второй экземпляр. Поэтому я более или менее смело правил карандашом. В случае Вашего несогласия с моими (очень небольшими) купюрами все можно восстановить по чистому Вашему экземпляру. Я кое-где снял места, которые могут повредить самому Всеволоду Вячеславовичу в смысле переизданий.

Необходимо расшифровать некоторых людей, упоминаемых в «Дневнике». Около них я ставлю звездочку. Вам придется расшифровать эти места самой, так как кроме Вас никто этого, очевидно, сделать не сможет (например, стр. 6 «Смерть Макса» — это, очевидно, касается сына Горького, на стр. 72 — Шестопал — кто он?, на стр. 77 — Дьяконов, на стр. 84 — Трекопытов, на стр. 102 «переписывал рассказ «Ж. Д.» — какой это рассказ?, стр. 132 «зашел к Ан. П-не» — кто она?). Все это требует коротких комментариев.

Наиболее крупные купюры и небольшая правка:

...стр. 65 — место об Алянском — чудесном, честном человеке для него, Алянского, будет оскорбительно. Очевидно, Всеволод Вячеславович был введен в заблуждение. Алянский в качестве подхалима перед начальством — вещь фантастически немыслимая. Как раз, наоборот, с начальством он очень резок и прям. А что касается старушки, то Алянский трогательно заботился о ней. Я этому свидетель. Поэтому лучше это место исключить.

На стр. 77 я «изъял» абзац, начинающийся словами «Сегодня утром...». Этот «абзац» может очень повредить В. В. даже сейчас, после смерти <...> Очень жаль этот абзац — великолепный, смелый, полный достоинства, но ради будущего, ради переизданий придется это сделать. На стр. 80 («машину необходимо художнику презирать» — очень верно, но... придерутся).

...стр. 125 о Пастернаке. («В клубе писателей выступал Б. Пастернак...» и т. д.) Это место может посмертно повредить Пастернаку. Это кажется неправдоподобным, но это так. На стр. 140, 15-я строка сверху — два неразборчивых слова (название рассказа Брюсова). Стр. 153. Третья строка снизу — непонятно, что значит «сами себе сказали — «лоб»! Очевидно, это описка <...>

Остальные купюры незначительны. Тамара Владимировна, милая, прочтите все «на свежий глаз», и если я сделал не так и не то, то не стесняйтесь сказать мне об этом.

Я так старался не тронуть зря ни одного слова у В. В., что, мне кажется, я ничего и не правил.

Придется рукопись переписать начисто еще раз, тогда очевиднее и выпуклее станет прекрасный текст В. В.

Скоро пришлю вторую книгу. Напишите мне, если не трудно, или позвоните (надо набрать междугороднюю, заказать «район Калуги», когда дадут, заказать Тарусу, номер 109 или просто мой дом).

Сердце иногда побаливает, поэтому пишу медленно, но вообще здесь очень хорошо.

Тяжелые годы идут вереницей,— теперь Маршак. Я видел его в последний раз там же, где и Всеволода Вячеславовича,— в Нижней Ореанде и теперь почувствовал какую-то враждебность к этому пышному месту. Постараюсь поскорее отпечатать для Вас те фотографии, какие я сделал там, в Нижней Ореанде (когда мы приезжали к Вам со Шкловским). Там очень хорошо вышел В. В.

Как только окончу чтение дневников и писем, засяду за статью (предисловие).

Пишите. Передайте привет всем Вашим — Тане, Коме, Мише и всем. Будьте здоровы и спокойны, насколько это можно. Татьяна Алексеевна кланяется.

Ваш *К. Паустовский.*

Простите за помарки.

Кое-где я поставил на полях вопросы (?). Это — неясности. Возможно, что это ошибки при переписке. Хорошо бы сверить с оригиналом, но если неясность останется, то лучше снять эти места.

Забыл еще одну купюру на стр. 116 об Эренбурге. При нынешнем положении Эренбурга этот абзац лучше снять.

Т. В. ИВАНОВОЙ

14 июля 1964 г. Таруса

Дорогая Тамара Владимировна, посылаю второй том «Дневников». Остается переписка с Горьким, которую пришлю на днях. Во втором томе пришлось сделать несколько сокращений (на страницах 180, 182, 187, 215, 245, 256...) по тем соображениям, что и по первому тому.

Я полон сомнений. К тексту Всеволода Вячеславовича я боялся прикоснуться, устраняя только явные описки.

Ничего, по-моему, делать по тексту уже не нужно. Книга будет блистательная, самоотверженно правдивая, беспощадно резкая,— в ней Всеволод Вячеславович встает во весь рост как тончайший поэт и меткий прозаик, как настоящий патриот, как беспощадный обвинитель.

Если Вас не удовлетворит эта правка книги, то я умоляю Вас, скажите об этом, пока есть время комунибудь другому прочесть рукопись. По существу, я почти ничего не делал по рукописи, за исключением небольших купюр.

Посмотрите, пожалуйста, все вопросительные знаки. Их расшифровать можете только Вы.

Я не знаю как быть с датировкой записей. Всеволод Вячеславович датировал по-разному, здесь же нужно единообразие, чтобы не заставлять читателя проверять и соображать. Теперешний читатель очень любит во всем сомневаться, бдить, чтобы автор не «разводил» крамолы, и писать или ругательные или похвальные письма, которые можно, не читая, бросать в корзину, чтобы не забивать себе голову мусором. Конечно, это не относится ко всем читателям, а к старым бездельникам-пенсионерам, или, как их зовут в Тарусе, «пензеонерам».

Я сколько можно перевел датировку на короткую и простую. Например «7—8 мая», «10 сентября» без указаний дней недели. Числа 17—18 июля я приеду в Москву (по своим «сердечным» делам). Как приеду, тотчас позвоню Вам.

Здесь жара несусветная, от этого городок спит, и даже не слышно гармоники.

Привет всем Вашим. Татьяна Алексеевна кланяется.

Всего Вам доброго.

К. Паустовский.

Л. Н. ДЕЛЕКТОРСКОЙ

29 июля 1964 г. Таруса

Лидия Николаевна, дорогая, давно от Вас не было никаких вестей. Мы уже начали беспокоиться. Пишите мне хотя бы открытки в несколько слов и не обращайте внима-

ния на то, что я плохо отвечаю. Не знаю почему, но я с трудом пишу письма, в этом отношении я совершенно бездарен.

Что у Вас, здоровы ли Вы? А я не писал так долго потому, что около пяти месяцев пролежал в больнице с инфарктом миокарда. Слег я в декабре прошлого года в Севастополе, лежал в Морском госпитале, потом мы переехали в Москву, и здесь я опять заболел и вышел из больничного состояния только месяц назад. Теперь мы в Тарусе. Галка работает в Москве. Она опять с нами...

После болезни я уже начал работать (пишу, между прочим, седьмую автобиографическую книгу). И если Галлимар решится издавать весь автобиографический цикл, то и у Вас будет «прорва» работы. Теперь я жду французское издание «Начала неведомого века». Спасибо за присланные книги и за Ваши милые подарки, особенпо за фото. Матисс и Шагал висят у меня в тарусском кабинете на сосновых бревенчатых стенах. А книга об импрессионизме вызывает дикую зависть у всех друзей.

Когда мы увидимся,— не знаю. Не собираетесь ли Вы в Москву? Какие у Вас планы на этот год и на лето? Английское издательство Коллинз выпускает всю серию «Повести о жизни», и в связи с этим я получил от него приглашение приехать в Англию с Татьяной Алексеевной и Галкой в конце сентября этого года,— в это время выйдет первая книга («Далекие годы»).

Сейчас Союз писателей уже оформляет эту поездку. Теперь все дело за врачами,— разрешат ли они мне ехать в Англию. Врачи вообще настроены против всяких перемен климата, даже не пускают меня в Крым.

В Нью-Йорке уже вышли первые книги «Повести о жизни» в издательстве «Пантеон Пресс». Изданы прекрасно. В Америке у «Повести о жизни» «большая пресса».

Вот все, чем я могу перед Вами похвастаться. Я помальчишески мечтаю о Луаре, Франции, Париже. Я должен паучить месье Кана удить рыбу.

Виделись ли с Арагоном? И с Эльзой Триоле? Правда ли, что летом они живут на мельнице (водяной или ветряной?) где-то около Рамбуйе? Если Вы их увидите, то передайте поклон от меня. Спасибо Леле за фото. Она — гениальный фотограф. Даже я на ее фото похож на человека, а не на обезьяну, как на всех других фотографиях.

Кстати, если увидите Арагона, скажите ему, что недавно в Москве вышла очень талантливая книга нашего молодого писателя Бориса Балтера «До свидания, мальчики!». Не издаст ли Арагон ее во Франции?

Пишите! Я торжественно обещаю не молчать так долго и тотчас отвечать.

Где Кодрянские? У нас в Москве были Натали Саррот, мадам Ляншон и Андроников.

Огромный привет от нас всех Леле, Поль, месье Кану. Все Вас целуют.

У нас жара. И сильные грозы.

Целую Вас.

Ваш *К. Паустовский.*

В Авиньоне, в форте Сент-Андре, Татьяна Алексеевна выкопала крошечный дикий ирис, завернула его в мокрую бумагу и привезла в Москву. Здесь мы его высадили в вазон, а потом — в сад в Тарусе, и он превратился в огромный цветок...

Т. В. ИВАНОВОЙ

Июль 1964 г. Таруса

Дорогая Тамара Владимировна!

Посылаю последнюю папку — переписку с Горьким и К. Худяковым.

Правки и в первой и во второй рукописи мало.

Мне кажется, что в коротких комментариях надо сказать о Худякове и об отношении к нему Всеволода Вячеславовича.

Кроме того, в письмах к Горькому Всеволод Вячеславович упоминает о каком-то возмутившем его поступке Ставского. Неясно место. Может быть, его следует расшифровать.

Вообще купюр и поправок в «Переписке» мало. «Дневник» великолепен, честен и правдив до предела и займет важное место и в нашей литературе (мемуарной) и в истории. Исподволь, медленно, но ясно раскрывается эпоха. И раскрывается удивительный, чистый сердцем и бесконечно талантливый человек, Всеволод Вячеславович.

Посмотрите, пожалуйста, мою легкую правку. Не пугайтесь орфографических поправок, их немного. В частности, обращение «Вы» я всюду заменяю на «вы» (с маленькой буквы). Большое «Вы» пишется только в личных письмах, а в прозе (я расцениваю «Переписку» как явление литературное) не нужно,— оно придает прозе ненужно-торжественный вид. Отдельные места потрясающие, хотя бы то место, где голодный В. В. выхватил из корыта для поросят корку хлеба.

«Переписка» — это «кладовая» (любимое выражение Пришвина) интереснейших и значительных высказываний Горького и столь же значительных мыслей Всеволода Вячеславовича.

Всеволод Вячеславович рассказывает, как простой наш солдат, увидев прекрасную землю — Украину, воскликнул:

— Тут за одну красоту воевать можно!

И вот об этой красоте и душевной и природной, красоте России и свидетельствуют и «Дневники», и письма Всеволода Вячеславовича. Многие куски из «Дневника» и «Переписки» написаны совершенно литой, лаконичной и как бы скульптурной прозой. И я думаю, что язык, самый стиль писателя коренятся в его огромном жизнелюбии.

Тамара Владимировна, прочтите рукопись самым придирчивым образом и, ежели что не так, скажите мне.

Комментарии лучше кого бы то ни было сделаете Вы. Ни один исследователь не может узнать о жизни Всеволода Вячеславовича столько, сколько знаете Вы.

Очевидно, в конце месяца я приеду в Москву «провериться» у врачей, и мы увидимся.

Привет всем — Тане, Коме, Мише с чадами и домочадцами.

Будьте здоровы.

Ваш *К. Паустовский.*

Т. В. ИВАНОВОЙ

9 августа 1964 г. Таруса

Дорогая Тамара Владимировна!

Спасибо за письмо. Я рад уже тому, что Вы довольны. Некоторая неожиданность,— посылаю Вам вторую папку «Мыслей» раньше первой. Так как-то случилось, что я на-

чал читать вторую папку раньше первой. Думаю, что это не имеет значения,— «Мысли» развиваются совершенно свободно и не подчинены какой-либо последовательности во времени.

«Мысли» — это целый кладезь ума, остроты, эрудиции, прорывов в неожиданные области психологии творчества. Это мысли человека, думающего непрерывно, и в этом их сила и значение. Я чуть-чуть прикасался кое-где к тексту, но некоторые абзацы вычеркнул,— они показались мне сложными для обычного читателя, а кое-где записанными слишком схематично, только «для себя».

Посмотрите, пожалуйста, те места, где стоят вопросительные знаки. Для меня они неясны, и если их нельзя прокомментировать, то, может быть, их лучше снять.

Насколько я спокойно работал над дневниками и письмами, настолько я колеблюсь сейчас и мне кажется, что-то недоделал или не так оценил, как надо. Может быть, Вы бы дали еще кому-нибудь просмотреть «Мысли»?

Сейчас я читаю первую папку. Читаю медленно, так как побаливают глаза и приходится часто откладывать рукопись.

М. А. КЕЛЛЕРМАНУ

29 августа 1964 г.

Дорогой Марк Александрович!

Посылаю «Предисловие». Этого, по-моему, хватит. И посылаю «Ильинский омут». Его надо переписать на машинке,— я не успел.

Повторяю даты (точные):

Песчинка. Апрель 1959 г. Ялта.
Уснувший мальчик, 1957 г.

Название для «Однотомника»:

Избранная проза.

Что нового в Москве? Едем только в Англию,— две страны это слишком утомительно. Галка в курсе всех дел,

Письма для Вас я подбираю.
Приедем, очевидно, числа 15—18-го.
Будьте здоровы. Привет Вашим.

К. Паустовский.

В случае чего — звоните.

—

Л. А. ЛЕВИЦКОМУ

8 сентября 1964 г. Лондон

Левушка, дорогой, есть о чем поговорить, когда вернемся в Москву. Изучаем дневной и ночной Лондон (особенно Галка), ездили в Оксфорд и в Стратфорд, а 10-го вечером уезжаем на несколько дней в Париж. Англия — в легком тумане, в яркой зелени. Красивая и сочная страпа.

Принимают нас очень сердечно.

Все Вас целуют. Вас и Борю.

К. Паустовский.

Привет всем в «Новом мире».
Живем рядом с Пиккадили (см. на обороте).

В. П. СТЕЦЕНКО

21 сентября 1964 г.

Дорогой Володя,— извините, что я так опоздал с заметкой для «Вокруг света»,— как всегда, замотался.

У меня к Вам просьба,— не давайте Диму сидеть без дела,— пусть пишет и пишет,— это ему очень нужно. Я буду очень рад, если он «привьется» именно в «Вокруг света».

Из Англии привезу для журнала что-нибудь специфически «вокругсветовское». И свои фото.

Всего Вам хорошего. Большой привет Сапарину.

К. Паустовский.

В. А. КАНЕВСКОМУ

27 сентября 1964 г.

Такая бешеная жизнь, что до сих пор письмо не отправили. Я страшно рад, что Вы избавились от больницы. Неприятности (см. выше) развеялись, как дым. Прием в Лондоне великолепный — прекрасные статьи, коктейли, поездки. Лондон удивителен, все расскажем. 15-го едем отсюда в Париж, в Москве будем в двадцатых числах.

Целую Вас. Низкий привет Надежде Самойловне и Тане.

Ваш инглиш-мен

К. Паустовский.

Я чувствую себя ве-ли-ко-леп-но.
Лондон 1/X. Через час едем в Оксфорд.
Напишите, мы можем получить.

С. М. АЛЯНСКОМУ

29 сентября 1964 г. Лондон

Саммир, дорогой. Спасибо за письмо (с вырезкой из газеты). Лондон по-своему (иначе, чем Париж) великолепен. Англичане очень просты и благожелательны, даже лорды. Вчера был прием «в нашу честь», и я сидел со старым лордом герцогом Веллингтонским.

На днях едем в Оксфорд, а оттуда в Эдинбург. Все тебя и Нину целуют. Все здоровы. Достали для тебя черные рамки. Не забывай Алешу. Пиши на адрес Коллинза.

Обнимаю тебя. Твой *К. Г.*

С. М. АЛЯНСКОМУ

4 октября 1964 г. Оксфорд

Саммир, в Оксфорде интересуются Блоком и ждут выхода твоих воспоминаний. В этом же Оксфорде на коктейле появился Рив — восторженный, с женой,— передавал

тебе множество приветов. Вчера ездили в Стратфорд в шекспировский театр и были в доме жены Шекспира (см. на обороте).

10-го едем в Париж. Целуем тебя, Нину.

С. М. АЛЯНСКОМУ

9 октября 1964 г. Лондон

Дорогой Саммир, я совсем обалдел от приемов, коктейлей и множества людей. Англичане оказались очень радушными людьми. Были в Кентерберийском аббатстве — это каменное кружево из черного и белого камня.

Завтра едем в Париж.

Т. А., Галка и я целуем тебя и Нину.

КОНФЕРЕНЦИИ «ЛИТЕРАТУРНАЯ ОДЕССА 20-Х ГОДОВ»

18 ноября 1964 г. Москва. Загородная больница

Дорогие друзья!

Вы знаете, как я люблю Ваш город, Черное море.

Я не раз старался выразить это в своих книгах и никогда не устану об этом думать, вспоминать и говорить, никогда не устану говорить о том, сколько хорошего, важного принесла мне дружба с Черным морем, с тенистой и солнечной разнохарактерной Одессой, с ее веселыми людьми, славными одесситами, среди которых были такие писатели и поэты, как Исаак Бабель, Эдуард Багрицкий, Юрий Олеша, Илья Ильф, Евгений Петров, Семен Гехт... Одних я знал больше, дружил с ними ближе, других знал меньше, но от всех этих встреч я становился богаче. Я очень люблю и ценю писателей и поэтов, чьи имена принято связывать с Одессой: кроме упомянутых — Лев Славин, Сергей Бондарин, Адалис, Шишова.

Не знаю, прав ли я, но мне трудно представить себе Бабеля без Гехта. Олешу без Славина или Бондарина. Разумеется, этим я не хочу сказать о разнозначности этих очень разных литературных талантов. Я говорю о их духовном родстве, о преданности литературному делу.

Я не могу представить себе без этих имен то бурное и шипучее время, когда рождалась на юге советская литература.

Я не назвал еще многих, кого следует отнести к этой славной группе советских писателей и поэтов. Я назвал имена наиболее мне близкие.

Мне не раз приходилось слышать, что и меня относят к ним, к южанам с берегов Черного моря. Возражать не стану. Какой-то общий ветер обвевал этих людей, и я действительно чувствовал этот ветер и на своих щеках.

Что же это за ветер? Почему так случилось, что за ничтожно короткое время один город дал такой литературный урожай? Конечно же, очень интересно об этом поговорить и подумать.

Ваша конференция подтверждает мою мысль. Я приветствую встречу науки и искусства. Желаю успеха конференции, организованной кафедрой современной литературы Одесского университета им. Мечникова.

Очень жалею, что болезнь не позволяет мне принять в конференции участие более близкое и деятельное.

К. Паустовский.

Л. Н. ДЕЛЕКТОРСКОЙ

5 апреля 1965 г. Москва

Дорогая Лидия Николаевна!

Мне пришлось кое-что дописать в шестую книгу «Повести о жизни» («Книга скитаний»). Я знаю, что перевод шестой книги вчерне у Вас готов и Галлимар торопит с изданием, что было бы хорошо, если бы Вы согласились приехать ко мне в Москву, ознакомились бы с новым текстом и перевели бы его здесь.

Приглашаю Вас приехать на месяц, начиная с середины апреля по весь май. Выбирайте время, какое Вам будет удобно. Я бы был Вам чрезвычайно признателен.

Разумеется, что не весь месяц мы будем заняты работой и у Вас найдется время для себя, чтобы посмотреть Москву и Ленинград. Все расходы по Вашему пребыванию в СССР я, конечно, беру на себя, равно как и обратный проезд Москва — Париж, но, к сожалению, приехать в Москву Вам придется за свой счет. Этот расход я Вам возмещу в Москве.

С этим письмом я прошу Вас обратиться в посольство СССР во Франции.

Низко кланяюсь вам и жду.

К. Паустовский.

Е. Г. и Ю. К. СМОЛИЧАМ

17 июля 1965 г. Таруса

<...> Как вы? Ваши следы в жизни то появляются, то исчезают, и это очень обидно потому, что время идет с идиотической скоростью и упорством. Я, переболев, снова начинаю писать, начинаю в полном смысле этого слова.

Живем в Тарусе, куда почти никто не приезжает, кроме иностранных переводчиков. Их было этим летом столько, что мы совсем закрутились,— француженки (три), чешка (одна), венгр, три болгарина и в перспективе маячат — переводчица из Сан-Доминго и Израиля (на идиш). Пишу понемногу — вторую книгу «Золотой розы». Рыбы пока не ловлю — по «слабости здоровья». Лето сумасшедшее — каждые полчаса меняется давление со всеми сердечными и астматическими последствиями.

Татьяна Алексеевна тоже мучается астмой...

За вас я не беспокоюсь, поскольку Вы работаете. И за Елену Григорьевну тоже — поскольку жизнь в Конче процветает. Кстати, купили ли Вы для хорошего сна американскую машинку, гениально вопроизводящую шум дождя? Если нет, то зря.

Заранее благодарю Вас обоих от всего сердца за помощь и доброжелательство. Возможно, я приеду как-нибудь на день-два в Киев к Алешке.

Пишите. Будьте здоровы и спокойны. Крепко обнимаю вас обоих.

Ваш *К. Паустовский.*

СМОЛИЧАМ!

Чтобы вы не волновались, напомню вам случай со Всеволодом Ивановым на вокзале в Чите. Рядом с ним сидела женщина с грудным ребенком.

— Подержите, пожалуйста, ребенка,— попросила она Иванова.— А я сбегаю за носильщиком.

И она исчезла навек, а Иванов остался сидеть с ребенком, накинутым на руки, и, по его собственным словам, глупо, застенчиво и долго улыбался, хотя и сообразил, что он здорово обмишурился.

Так вот,— смотрите, чтобы и с вами не случилось того, что с В. Ивановым.

Бесконечно благодарные Паустовские.

Татьяна и Константин Паустовские.

Все это — неуместные шуточки, а без шуток мы благодарны вам от всего сердца.

Целуем вас обоих.

Ваши *Т. А. и К. Паустовские.*

Л. Н. ДЕЛЕКТОРСКОЙ

22 июля 1965 г. Таруса

Дорогая Лидия Николаевна, пишу на машинке, не сердитесь. От руки я пишу очень долго, а сейчас тороплюсь.

Я получил Ваши письма из Минска и из гостиницы «Ленинград» (о том, как Вы купались в Волге в Ярославле). Отсюда из Тарусы мы каждый день следили за Вашей поездкой — и радовались за Вас, и завидовали Вам, и жалели, что мы не с Вами. Я не успел написать Вам, какие памятные места надо было бы посмотреть в Киеве, главным образом, места, где происходило действие «Далеких годов». Нашли ли Вы здание Первой киевской гимназии? На бульваре Шевченко (бывшем Бибиковском)? Там вместе со мной учились Михаил Булгаков (драматург), знаменитый Вертинский, немного раньше меня — композитор Рахманинов. Не успел я Вам написать адреса украинских писателей — милых людей, которые могли бы показать Вам Киев,— и список красивых киевских мест, где я так много болтался еще гимназистом. Но, может быть, Вы снова приедете к нам, и тогда я, если смогу, сам с наслаждением покажу Вам Киев.

Напишите, как поездка? По-моему, она была замечательная. Очень обидно, что не удалось нам приехать в Ясную Поляну. 18 июля у нас прошел (ночью) небывалый ливень, и три дня не было дороги.

Это письмо я посылаю, чтобы не задерживать списка рассказов для перевода. На днях напишу подробпо о нашей жизни. Как Вы? Очень ли устали? Как «французанки» — Поль и Жанлиз? Очень ли завидуют Вам?

Сидя здесь, в Тарусе, я (пока Вы путешествовали) написал два рассказа и очерк. Очерк на днях был напечатан в «Правде».

Галка уехала к отцу на Рижское взморье в Дубулты. Володя сидит в Москве. Сердце мое ведет себя довольно спокойно, но астма привязалась снова и понемногу меня мучает. Алешка, ссылаясь на лето и на то, что он смертельно устал от экзаменов, пытается выйти из повиновения.

Сад цветет. Ждем приезда доктора (Виктора Абрамовича), Бори Балтера и Левы Левицкого.

Я уже очень по Вас соскучился. И Таня — тоже,— она очень трогательно говорит о Вас.

Как там живут Арагон и Эльза? Видели ли Вы их? Передайте им мой привет. Лелю поцелуйте.

Обнимаю Вас, целую крепко. Жду письма. Какие издательские новости у Галлимара?

Это письмо — торопливое и потому — не в счет.

Привет от нас милой и вкрадчивой Поль и строгой Жанлиз. И Кодрянским, если их увидите. И месье Кану.

Ваш *К. Паустовский.*

А. К. ПАУСТОВСКОМУ

11 октября 1965 г. Рома — Рим

По улицам Рима среди машин носятся мальчики на роликах последней моды, к короткой доске привинчены два ролика (два конька), и мальчики на одной ноге проделывают буквально чудеса.

По всему Риму звенят фонтаны. На открытке — папский гвардеец (швейцарец). Форму для этих гвардейцев придумал Леонардо да Винчи.

Целую тебя, Галку, привет Марине и Вале.

Папа.

С. М. АЛЯНСКОМУ

12 октября 1965 г.

На тебя сыплется нудный осенний дождь, а над нами сверкает роскошное итальянское небо. Несправедливо. Постоянно вспоминаем тебя и Нину. Желто-розовый Рим ве-

личав и прекрасен. Сейчас идем в Ватикан, в Сикстинскую капеллу. Все тебя целуют,— особенно Лидия Николаевна. Она поедет с нами па Капри и в Венецию. С Капри пришлю адрес. Как там наши дети? Перед тобой они должны трепетать. Целуем тебя и Нину очень. Будь здоров.

Твой *К. Г.*

В. Т. ОВЧИННИКОВУ

13 октября 1965 г. Рим

Дорогой Валичка, уже прошла неделя, как мы в Риме — этом совершенно сказочном мраморном городе. Жара страшная, по всюду бьют фонтаны, и от этого легче дышится. Живем в уютной гостинице и едим в уютных ресторанчиках — «тратториях». Народ веселый, шумный и добродушный, особенно шоферы такси. Движение бешеное. Дня через два уедем на остров Капри (около Неаполя). Там отдохнем — и в Москву. Я здоров, сердца не чувствую.

Целуем Вас, Нину и всех. Здесь с пами Лидия Николаевна и Кодрянские.

Будьте здоровы. *К. Г.*

Л. А. ЛЕВИЦКОМУ

15 октября 1965 г.

Roma («Roma a morte»,— как говорил Гарибальди — «Рим или смерть»). Пока Вы, дорогой Левушка, мотаетесь по Москве, над нами горит божественное небо Италии и мы едим удивительные булочки, где одни только поджаренные корки, а мякоти нет,— чудо! Завтра должны ехать на Капри, что во многих отношениях приятно. Едем до Неаполя в авто. По этому случаю мы Вас целуем, а также целуют Кодрянские и Лидия Николаевпа.

К. Паустовский.

А. К. ПАУСТОВСКОМУ

15 октября 1965 г.

Алеша-балабоша, здесь пишут письма на бумаге всех цветов радуги, такая уж страна!

Учи или французский, или английский язык, чтобы потом не чувствовать себя круглым идиотом, когда ты попадешь в Европу. Совершенно иначе (ярче, интереснее, богаче) воспринимаешь страну, людей и пейзаж, когда знаешь язык.

Pronto Sigvioro.

Мы живем в гостинице (albergo) — это по-итальянски в «гостинице», тогда как вы, хмурыс северяне, называете это учреждение отелем. Кстати, ресторанов здесь нет, а есть «траттории» — от этого слова и произошел, должно быть, наш русский трактир. Вчера в одной из тратторий нас кормили раковыми шейками, жаренными на вертеле.

Народ веселый, шумный, и, можешь себе представить, все хорошо (певуче) говорят по-итальянски, не хуже, чем Леонид Исидорович. Все девушки похожи на Таню Алигер. Битников нет — их сразу же (uno momento!!) забирают в полицию.

Архитектура Рима гениальная (розовый и желтоватый мрамор), за исключением памятника Виктору-Эммануилу, похожего на свадебный торт.

Жара. Похоже на крымское лето.

Мы были в Ватикане, где происходит какой-то всемирный съезд католических аббатов и монахов.

Много ездили в такси, или, как говорят в Риме, в «тасси». Кое-что покупаем для наших детей.

Послезавтра едем на машине в Неаполь, а оттуда на пароходе — на Капри. Там в альберго «Белый кот» уже заказали для нас комнаты. Там передохнем и будем возвращаться в Москву.

Скажи Виктору Абрамовичу, что у меня ни разу не болело сердце (тьфу-тьфу!) и что я нашел чудное итальянское лекарство одновременно от астмы и стенокардии. Называется оно «тефадрина» (tefadrina). Я накупил его и привезу в Москву.

Рим сверкает. Небо густое, как синька.

Я много снимаю.

Как вы там живете?

Только что я вернулся из музея Боргезе (древняя скульптура), затерянного среди тенистого и душистого парка, а парк затерян среди города,— новых домов, руин, обвитых глицинией, и акведуков.

Звони Боре, Леве, всем. Очень тебя целую, мой мальчик. Поцелуй Галю и Володю. Привет дяде Вале и тете Марине.

Твой *К. Г. (папа).*

С Капри тотчас напишем.

Для тебя ищут джинсы, они вышли из моды, и к тому же их запрещено носить, т. к. они вредно влияют «на молодые организмы».

А. К. ПАУСТОВСКОМУ

19 октября 1965 г. Капри

Алешенька,— это снимок колокольни на пьяцетте (маленькой площади), где мы часто пьем чай и кофе. Сегодня на Капри холодно. Я зябну, и все меня ругают. Ездили в крошечный и прелестный городок Анакапри в глубине острова, где такая тихая жизнь, какая была сто лет назад. Лошади все в лентах и бубенцах. Цветут огромные розы и особенно пунцовые цветы — бугенвилии. Мама очень довольна. Целуем тебя, Галку, всех.

Папа.

А. К. ПАУСТОВСКОМУ

23 октября 1965 г. Капри

Алешенька, Галочка, Володя,— всех очень целуем. Такой остров, как Капри, мог придумать только гений или Александр Грин. 5-го возвращаемся в Рим. Здесь такой воздух, что самое дыхание — огромное наслаждение. Вчера подымался в люльке по проволочному канату на гору высотой в 1000 с чем-то метров.

Жди! Скоро увидимся.

Твой *папа.*

Г. А. АРБУЗОВОЙ

29 октября 1965 г. Капри

Галочка, милая, мама очень волнуется, когда от вас нет известий. Вчера говорила с Мариной и успокоилась. Вчера же с Кодрянскими и Лидией Николаевной объезжали на рыбачьей шлюпке весь остров,— красота такая, что захватывает дух. Мама ездила в лазурный грот, а сегодня все (кроме меня и Л. Н.) уехали на летучем пароходе (на «крыльях»), здесь он называется «Алискафа», в Сорренто и Помпею. Я там был и поэтому остался, чтобы поработать. Скажи Виктору Абрамовичу, что сердце у меня замолчало, как Везувий (он уже несколько лет пе дымит). Пишу на террасе среди цветущих бугенвилий (дерево с огненными цветами). Звонят колокола. Но для меня все отравлено тем, что тебя нет с нами. Целую тебя нежно, маленькая моя. Тебя, и Володю, и Алешу. 2-го уезжаем в Рим, а 5-го из Рима — в Москву. Привет всем.

Твой *К. Г.*

Этот маленький порт Марина Пиккола (очевидно, так назван в честь нашей Марины). Почти каждый день я хожу туда пешком, пересекая весь остров по гриновской горной дороге (но без подъемов).

В. С. и Р. И. ФРАЕРМАНАМ

1 ноября 1965 г.

Дорогие Рувцы, на днях вернемся в Москву. И все расскажем. Были в Риме, потом две недели на Капри. Остров для сердца целебный — у меня совершенно исчезли боли. В общем, весь остров являет собой некое подобие земного рая, хотя жизнь на нем очень точно изображена у Бунина в «Господине из Сан-Франциско».

Едем в Москву поездом,— через Вену.

Привет всем вашим, Осипу, и всем, всем.

Целуем. *Т.* и *К. Паустовские.*

ВИГОРЕЛЛИ

5 декабря 1965 г. Москва

Дорогой синьор Вигорелли!

Я очень благодарен Вам за дружеское письмо. Я обязательно напишу свои впечатления о нашем конгрессе и о пребывании в Риме и пришлю их Вам, но несколько позже, так как я сейчас болен и пишу Вам из госпиталя. Думаю недели через две выйти отсюда.

Надеюсь, что мы еще встретимся в прекрасной Италии или еще где-нибудь, но встретимся обязательно и я лично смогу выразить Вам ту глубокую симпатию, которую я к Вам чувствую.

Примите мой сердечный привет. Прошу Вас передать синьору Унгаретти мои лучшие чувства.

К. Паустовский.

Е. Г. и Ю. К. СМОЛИЧАМ

18 января 1966 г. Москва

Дорогие Смоличи! Спасибо за письма. Мы с вами работаем на пару — вы провалялись два месяца в больнице, а я тотчас после Италии попал в больницу со спазмами головного сосуда (какая-то ишемия). Только сейчас выбираюсь из этой переделки.

Сейчас я уже дома и даже мечтаю о Ялте. Но работать еще не могу. Ишемия — это потеря связной речи, и выглядит это противно, но сейчас все, к счастью, прошло бесследно. Врачи объясняют эту болезнь резкой сменой климата (в Риме, когда мы выехали, было 36 градусов тепла и дул сирокко, а в Москве — 10 градусов мороза и снег). Я подозреваю, что это какие-то атомные штучки.

Но Италия стоит ишемии, как и Париж стоит обедни. Удивительная страна, темно-розовый мраморный Рим, акведуки, мгла тысячелетий и вилла Боргезе, любовь к которой мне внушил Бажан. Передайте ему большой привет. Потом чудовищно грязный и красивый Неаполь, Сорренто и Капри — сплошная ослепительная лазурь Средиземья, реки алой бугенвилии, падающие, как водопады, с гор до самого моря, добрые ослы, красивые итальянки, ла-

зурпые гроты и неслыханный крик и ажиотаж совершенно мирпых итальянцев. По пути останавливались в Вене — стандартно-элегантном, скучном городе. И в Венеции, где гондолы подходят к перрону вокзала и все кажется нереальным, нарочным.

Завидую Вашей Конче-Заспе, воздуху, тишине, завидую мирной жизни Каштана. Когда же «мы отдохнем и увидим небо в алмазах»? Это письмо — не в счет, оно очень короткое. Немного отдохну и напишу еще. О чем заботится Елена Григорьевна? Как Панч? Привет ему от щирого сердца. Пишите, я очень люблю Ваши письма, ваш юмор, вообще все, что связано с вами.

Все вас целуют. Крепко целую Елену Григорьевну, Вас,— слишком надолго мы расстаемся.

Ваш *К. Паустовский.*

В. А. КАВЕРИНУ

16 апреля 1966 г. Крым, Нижняя Ореанда

«Здравствуй, брат, писать очень трудно».

Но читать написанное Вами легко и радостно. Спасибо за новую превосходную книгу. В ней есть необыкновенная свежесть и чистота красок, и вся она написана как бы «перстами легкими, как сон».

Я сижу со своим мечущимся сердцем в Ореанде. Крым в тумане, море зелено-бутылочное, тяжелое. Здесь Леонов, а в Ялте — Арбузов и Шагинян. Не приедете ли Вы? Мы проживем здесь долго, до половины мая. Перечитали всего Тынянова. Как Вы? Где Вы? Что делаете? Как Лидия Николаевна, черкните несколько слов. Из Москвы новости доходят глухо, да и не ждешь приветливых новостей.

Какие планы? Привет всем Вашим, Степанову, Маргарите, когда ее увидите, Льву Александровичу, Наташе!

Вы, должно быть, меня забываете (обычная мнительность стариков). Но я надеюсь напомнить всем о своем существовании очень скоро.

Обнимаю Вас обоих. Татьяна Алексеевна кланяется.

Ваш *К. Паустовский.*

Е. Г. и Ю. К. СМОЛИЧАМ

29 апреля 1966 г. Ялта

Смоличи, дорогие, родные, мы оказались перед Вами совершенно махровыми свиньями и хамами. Я нахожу для нас слабое оправдание в болезни, я пролежал в больнице с третьим инфарктом и какой-то ишемией (?) — сужением мозговых сосудов, которое мне нужно как мертвому припарки. Теперь все прошло бесследно. Я начал работать. Но в больнице я не мог написать ни строчки, так как вообще не могу писать лежа.

Мой доктор старик Каневский не пускал меня в Италию, боялся «климатического скачка» и оказался прав. Мы выехали из Рима в жару, а в Москву приехали в снег и мороз, и тогда и случилась эта дурацкая ишемия (временная потеря речи). Боюсь только того, что мне запретят ездить, остальное все чепуха. Месяц мы с Татьяной Алексеевной прожили на Капри — действительно лазурном острове, тонущем в средиземноморском воздухе, в запахе пиний и бугенвилий. Это вьющиеся алые цветы, которые падают со скал и с вершин гор целыми Ниагарами.

Старик Горький понимал, что к чему и где лучше всего жить. Жили мы в гостинице «Белый кот» («Гатто бьянко») с неслыханной красоты фаянсовыми полами. В маленьком приморском ресторане нас кормили осьминогами (по вкусу как крабы) и фасолью. Перед Капри разворачивалась, как говорится, «роскошная панорама» — Везувия, Сорренто, Помпеи и всяких Амальфи и Кастелямарре и, конечно, Неаполя — самого красивого, грязного и беспорядочного города в мире. Изобретательность неаполитанцев не поддается описанию. В Неаполе стоит американская эскадра.

Когда американские матросы сходят на берег, их ждут толпы отчаянных мальчишек. Каждый мальчишка ведет матроса к «девушке» за 5000 лир, но на первом же перекрестке передают матроса другому мальчишке за 200 лир, тот перепродает матроса третьему тоже за 200 лир. И все эти «продавцы матросов» идут следом, чтобы не упустить при дележке своих двухсот лир. Вы понимаете, что драки не прекращаются, причем итальянцы дерутся очень смешно,— быстро и незаметно, как кошки, дают друг другу пощечины.

В Рим я ездил в качестве гостя Европейского сообщества писателей. Виделись там с Бажаном и его женой.

После Рима я болел, потом меня послали в санаторий Нижняя Ореанда в Крыму, а оттуда мы приехали в наш ялтинский дом отдыха, и тут начал поправляться, должно быть, от некоторого количества хороших людей. Проживем здесь, может быть, еще месяца два. Может быть, приедете, а?

Спасибо, Юра, за Вашу замечательную статью обо мне. Вы меня потрясли и растрогали, и я никак не могу принять на себя те высокие вещи, которые Вы пишете.

Литературную суетню знаете из «Литгазеты» (недоброй памяти).

Здесь беспокойная Мариэтта Шагинян, Арбузов, Маргарита Алигер, приехавшая из Чили (?!), на днях приедет Каверин. Здесь Рыбаков. Если не читали его повесть «Лето в Сосняках», то обязательно прочтите. Очень сильная вещь.

Что пишете? Не пугайтесь автобиографического жанра и воспоминаний,— сейчас это, может быть, нужнее всего.

Алешка начудил и теперь ходит в вечернюю школу и работает наборщиком в типографии Ленинской библиотеки. Постепенно выправляется.

Галка вышла замуж за милого человека — простого и работящего, оформителя книг и художника Медведева...

Завидую вашей жизни в Конче-Заспе, Днепру и рыбной ловле. В Оке рыба пахнет мазутом и одеколоном и быстро дохнет.

Очень иногда хочется в Киев, но доктора не пускают. Когда Вы будете в Москве? Из-за чего сейчас волнуется и о чем заботится Елена?

Привет всем, кто помнит. Как живут Петро Панч и Левада?

Обнимаю крепко Вас и Елену. Таня тоже. И Галка тоже. А Алешка все время вспоминает Конче-Заспу — время своей вольности. Пишите.

Ваш *К. Паустовский.*

В. А. БОРИСОВОЙ

25 июня 1966 г. Ялта

Дорогой товарищ Борисова, из-за своего проклятого склероза я не смог припомнить Ваше отчество и поэтому пишу так «казенно»,— простите меня за это.

Проспект собрания я получил, изучил и принял, о чем я на проспекте сделал соответствующую надпись.

Все в порядке. Мне, конечно, не очень бы хотелось, чтобы «Героический юго-восток» стоял рядом с «Золотой розой» и «Повестью о лесах» — жанр жанром, но по своей поэтической сути он все же рядом с ними кажется несколько инородным телом. Но ничего не поделаешь. Вообще я не придаю кардинального значения жанру, и меня, признаться, не волнует, что из себя представляет в смысле жанра «Хаджи Мурат» или «На воде» Мопассана. А между тем мой друг и эрудит Виктор Борисович Шкловский может даже написать целую книгу о том, к какому жанру отнести какую-либо книгу, целое остроумное исследование. А я, когда читаю, не слежу за жанром, а только за своим, как говорил Багрицкий, писательским сердцебиением.

Но это — досужие рассуждения.

Проспект хорош, и в него следует только добавить («В раздел очерков») «Виллу Боргезе», взяв ее из «Известий».

Что касается «Музыки Верди», то я с Вами согласен, равно как и с «Приморскими встречами». Эти вещи надо изъять из собрания.

«Стального колечка» мне жалко, так как пьеса грубее рассказа, но тут тоже ничего не поделаешь.

«Соль земли» снимайте без зазрения совести.

Некролог о Горьком, заметку об Алексее Толстом, Киплинге и Ван Гоге (о нем есть в «Золотой розе») тоже можно снять. Что же касается «Лаврового венка» (о Цветаевой) и заметки о Пастернаке, то — я заклинаю Вас — боритесь за них до последней возможности. Когда наконец люди поймут, что оба эти поэта — это наша национальная гордость. Предисловие я послал, Вы его теперь, должно быть, уже и получили.

Я вернусь в Москву к 9, 10 июля и тотчас Вам позвоню, а если Вы будете в отпуску, то Вашей заместительнице. Я отберу несколько фото разных годов и покажу их Вам. Особой надобности в комментариях, конечно, нет, поскольку есть комментарии к первому собранию сочинений.

В Ялте дышится легче, чем в Москве, несмотря на невиданные грозы. Погода скачет: холода сменяются жарой.

Примите мой сердечный привет.

Ваш *К. Паустовский.*

Г. А. АРБУЗОВОЙ и В. В. МЕДВЕДЕВУ

20 сентября 1966 г. Ялта

Дорогие Галка и Володя!

Не сердитесь, что я ни разу не написал из Ялты,— просто мне временами трудновато писать (все же физический труд) и я берегу силы для рассказа. На днях его закончу.

Здесь Шкловский — весьма прелестный и очень нежный человек. Здесь Сима и Ольга Густавовна <...> Погода великолепная. Я в Крыму еще не видел такой небывалой осени.

Сначала о деле, пока еще нет жары.

Для «выставки» книг надо бы собрать большинство заграничных изданий. Издания есть польские, французские (Галлимар), английские (Колинз), итальянские (Фельтринелли), ФРГ (Мюнхен), США — нью-йоркское, Демократической Германии, китайские, израильские, болгарские, вьетнамские, чешские, венгерские, румынские. Всех я не помню, но есть издания и на других языках. Книги или в книжном шкафу, или, может быть, на развале за письменным столом, а, может, одна-две книги есть и в Тарусе.

Кроме того, надо посмотреть журналы иностранные. Там попадаются статьи обо мне, в частности в «Леттр франсэз». Но, в общем, не трать на это много времени,— что найдется, то и хорошо.

Наши русские издания собрать легче. Извини, что я наваливаю на тебя такую обузу, но мама и я отсюда не сможем «руководить» этой работой, а ты, Галка, и Володя — мои единственные «душеприказчики» в Москве. Можно собрать еще и издания на языках народов СССР.

Еще одно маленькое дело. К Володе или к тебе, Галка, позвонит одесский журналист из «Моряка» Григорий Кравцов. Дайте ему перепечатать из сборника «Очерков и заметок» (того, что пойдет в «Советском писателе») 3—4 небольших рассказа или очерка, которые печатались в «Моряке». Это им нужно для юбилейного номера газеты. Я, конечно, злюсь на эту возню со старьем, когда надо писать новое <...>

Пишу коротко, трудно осилить большое письмо. Вчера мы ездили к Анне Наумовне, она отдыхает в санатории за Партенитом, в великолепном месте. Прибой подходит к порогу ее комнаты.

Не болейте, не тревожьтесь ни о чем. Я и, конечно, мама очень соскучились по всех вас, а время, которое, по словам Шкловского, «мы взяли в аренду у жизни», быстро проходит.

Я хочу написать вам еще настоящее (не деловое) письмо. Попробую. Скажите Алянскому, что я получил его письмо и одобряю его за то, что он так аккуратно ходит «в должность», и поздравляю с путешественницей Ниной,— в этом есть и моя маленькая заслуга.

И скажите ему, что я люблю Ленинград так же, как и он, но я этим не хвастаюсь. Поцелуйте его и Нину.

Целую вас обоих очень. И целую «растущую нашу личность», нашего «бедного маленького мальчика».

Ваш *К. Г.*

Ю. П. КАЗАКОВУ

Октябрь 1966 г. Ялта

Юра, дорогой, не знаю, где Вы — в Москве или Тарусе. Пишу наугад. Володя Кобликов рассказывал мне о маленькой вечеринке у нас в доме в Тарусе,— я очень жалел, что меня не было.

Юра, к Вам обратится с письмом вдова Всеволода Иванова. После него остался неопубликованный роман «Кремль». Вещь, как и почти все вещи Иванова, замечательная. К Вам большая просьба,— прочесть этот роман и дать свой письменный отзыв в «Советский писатель» — через Лесючевского. Тогда роман будет напечатан.

Сделайте это, Юра, пожалуйста.

Я — в Ялте и пробуду здесь долго.

Пишите, спасибо Вам «от всей русской земли» за Соловки. Мне так бы хотелось попасть туда, но вряд ли я уже успею. Сердце держит меня крепко.

Обнимаю Вас. Привет всем.

Поклонитесь от меня тарусянам и Тарусе, Ладыжину, тому месту, где происходила «Осень в дубовых лесах».

Всегда любящий Вас

К. Паустовский.

Л. Н. ДЕЛЕКТОРСКОЙ

19 декабря 1966 г. Ялта

Виктор Борисович Шкловский сказал, что мы получили жизнь в аренду, арендатор каждый день может потребовать ее обратно, а потому живите и не теряйте даром времени — не отказывайтесь от своих планов.

Очень соскучились, как там Кодрянские? Где они? Мы даже этого не знаем. Я, как говорят моряки, «дал слабину» — быстро устаю и не могу много работать.

Что-то Вы перестали писать свои обстоятельные письма? Мы тщетно их ждем. Вас все вспоминают, особенно милый и тихий Володя Кобликов. Таких во Франции нет.

Я пишу, но меньше и труднее, чем раньше. Не попадался ли Вам мой очерк «Вилла Боргезе».

Сейчас я пишу нечто вроде рассказа или эссе о том, как мы хотели переименовать дорогу Круппа на Капри в дорогу Гейне. Скоро его окончу и, если напечатают, пришлю Вам.

Как Леля? И Анлис? И тоненькая Поль, с которой мы так и не половили рыбу на Луаре. Привет всем и строгому Кану. Прислали из Парижа 5-ю книгу с весьма лестным послесловием Арагона. Я посылал Эльзе Триоле поздравительную телеграмму, но она не ответила — должно быть, не получила.

Это не письмо, а записка, письмо будет позже. Обнимаю Вас и Лелю, пишите, не кружитесь в вихре европейской жизни.

Таня, Галка и все целуют Вас. И я, конечно.

Ваш *К. Паустовский.*

А. Е. КОРНЕЙЧУКУ

1966 г.

Дорогой Александр Евдокимович, если бы Вы только знали, как мне неловко беспокоить Вас личной просьбой.

Одно извиняет — здоровье, я очень болен, и сил так мало, что сам я ничего не могу для себя сделать.

Прошу Вас, если можно, конечно, помогите мне.

Дело в том, что я должен жить в Ялте большую часть года. В доме творчества, где я сейчас живу с семьей, не только неудобно для моего возраста и состояния здоровья, но по многим мелочам просто очень трудно.

Я решил продать тарусский домик и построить дом в Ялте из двух маленьких комнат и террасы — которая одновременно будет служить гостиной, столовой и кухней. Весь дом площадью 8,5 на 9 кв. м. Нужен небольшой участок. Вот в участок все и упирается. Участок может дать только Совет Министров УССР. Я разговаривал с ялтинскими властями — они говорят, что 5—6 соток земли, негодной для городского строительства, конечно, найти можно, сделать это без указания Совета Министров Украины они не имеют права.

Союз писателей высылает ходатайство об этом на имя Председателя Совета Министров УССР т. Щербицкого.

Прошу Вас, поддержите мою просьбу. Вряд ли я смогу сам чем-нибудь за это отплатить и говорю просто — спасибо.

Уважающий Вас

К. Паустовский.

Привет от Татьяны Алексеевны и от Галки.

Как у вас клюет на Днепре и в Скризнеке?

В. Б. ШКЛОВСКОМУ

Февраль 1967 г. Ялта

Витя, милый, очень радовался твоему письму. И завидовал, я не умею писать таких писем. Трудно здесь одним без друзей и дыхания. Ялта по уши ушла в косматый и цепкий морозный туман. В Москву ехать боюсь.

Писать пока что трудно.— Таня очень устала со мной. Отъезд в Москву отложен до 15 марта.

Сегодня наконец стало чуть легче дышать,— пошел дождь.

Воробьи с ночи собираются стаями и спрашивают про тебя,— им не нравится, что тебя здесь нет. Стучат клювами в стекло.

Пишу наспех, а собраться для большого письма не хватает сил.

Целую тебя, Симу, очень. Симу мы все хвалим каждый день за европейство, за то, что она «венка». Привет Оле и Лиде.

Держитесь!

Ваш *Паустовский.*

Здесь какая-то смутная и потертая молодежь. Пиши. Скоро увидимся.

Волнуемся за Галку.

КОМИТЕТУ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ ИМЕНИ ВЛОДЗИМЕЖА ПЕТШАКА

24 ноября 1967 г. Москва

Дорогие друзья!

Шесть лет назад, покидая Польшу, я с чувством грусти, хорошо знакомым всем скитальцам, думал о том, что оставляю часть своего сердца в стране, с которой у меня связано так много.

Мне было девять лет, когда меня привезли в Ченстохов. Во время первой мировой войны я вместе с польскими беженцами отступал на Восток. А что может сблизить людей больше, чем общее горе и общие надежды.

И наконец в 1961 году я приехал в Польшу — и увидел прекрасную страну, возродившуюся после самой разрушительной войны, какую знало когда-либо человечество.

И я с небывалой остротой вдруг ощутил, что не только оставляю часть своего сердца в Польше, но и что Польша стала неотъемлемой частью моего существа.

Польша дорога мне своим вольнолюбием, которое не умирало в самые мрачные и безысходные годы ее истории. Мало найдется народов в Европе, на долю которых выпало столько трагических испытаний, сколько пришлось пережить польскому народу.

Я горжусь, что меня удостоили премии имени Влодзимежа Петшака, в дни героического варшавского восстания отдавшего жизнь за то, чтобы Польша была Польшей.

И лишь одно омрачает мою радость: болезнь, приковавшая меня к постели, не дает мне возможности сегодня быть с вами.

Ваш *Константин Паустовский.*

РОБЕРТУ Ф. КОЭНУ

31 марта 1968 г. Москва

Дорогой господин Коэн,
я получил Ваше письмо от 19 января 1968 года, а также письмо Секретаря Вашего Университета господина Финч от 11 марта.

Сожалею, что тяжелая болезнь не позволила мне своевременно ответить Вам, господин Президент, и с опозданием приношу свои извинения.

Из письма с признательностью узнал о том, что Ваш Университет предлагает мне высокую честь принять степень Доктора Литературы, honoris causa.

Я был бы рад лично присутствовать в Принстоне в день присуждения, но врачи еще не разрешают мне длительных путешествий — и, если мое вынужденное отсутствие не нарушит установленного порядка, я буду счастлив принять Ваше столь лестное для меня присуждение.

С искренним и глубоким уважением

К. Паустовский.

ВИЛЬЕРС

31 марта 1968 г. Москва

Дорогая госпожа Вильерс!

Я получил Ваше письмо от 16 мая 1967 года. Уже не помню, ответил ли. Я очень тяжело болен, и, если задержал ответ, простите великодушно.

Конечно, я не имею никаких возражений против издания моей книги для слепых. Если это не потеряло смысла, то делайте все так, как Вам нужно.

Прошу Вас, если это необходимо, передайте мое согласие Национальному Институту Слепых.

Еще прошу Вас передать привет господину Коллинзу и его жене, а Мане доброго здоровья и хорошего настроения.

С глубоким уважением к Вам

К. Паустовский.

А. Я. ЯШИНУ

2 мая 1968 г.

Милый Яшин, я тоже болен и поэтому не могу прийти к Вам сейчас, чтобы немного утешить Вас. Держитесь.

Нас осталось мало — лес редеет и мы должны беречь каждое дерево, беречь себя и верить, что все будет хорошо.

Целую Вас, привет Злате Константиновне и детям.

Ваш *К. Паустовский.*

Примечания

Девятый том, заключающий первое посмертное Собрание сочинений К. Г. Паустовского, принципиально отличается от предыдущих восьми. Он состоит из писем. Если в предшествовавших томах опубликованы произведения, предназначавшиеся для печати, то в этот том входят вещи, бо́льшая часть которых была обращена не к широкой публике, не к *читателю*, а к отдельным конкретным лицам и не преследовала решительно никаких литературных целей.

Письма, особенно в тех случаях, когда они принадлежат перу писателей, принято называть эпистолярным жанром. Из этого как бы следует, что они представляют собой один из видов литературы, аналогичный другим жанрам,— скажем, рассказу или стихотворению. Термином «жанр» в данном случае пользоваться можно крайне осторожно. Если повесть или роман, развертывающиеся в форме писем, по праву принадлежат, как говаривали в старину, к изящной словесности, то вряд ли то же самое можно сказать о частной переписке, идущей между писателем и многоликими его корреспондентами. Соотношение между письмами и художественными произведениями приблизительно такое же, как между моментальным фотографическим снимком и портретом живописца. Случается, конечно, что моментальная фотография вернее и глубже передает характер человека, чем иные портреты, но это доказывает лишь, что исключения подтверждают правило.

В ничем не стесненной свободе, с какой автор писем обращается к адресату, посвящая его в сокровенные обстоятельства своего бытия, нимало не опасаясь, что доверительные признания, которые он делает, станут в скором времени достоянием гласности, таится одна из самых привлекательных особенностей эпистолярного наследия писателя. Подспудно автор писем, если он снискал признание и имя его приобрело известность, отдает себе отчет, что рано или поздно, когда его уже не будет в живых, все, написанное им, может удостоиться общественного внимания и, стало быть, не избежать этой участи и письмам, но соображения об их про-

блематичной судьбе не могут не отступать на задний план, вытесняясь ближайшими насущными мотивами, побуждающими его каждый раз вступать в эпистолярное общение с окружающими. Раскованность и непринужденность, откровенность и прямота, стихийно проявляющаяся потребность выразить то, что он думает и чувствует, не прибегая ни к каким литературным ухищрениям, не ориентируясь на художественный замысел, не оглядываясь на сюжет и композицию, делают письма (равно как и дневники) бесценным документом, проливающим свет на течение жизни и художественное творчество их автора. Следуя друг за другом в хронологической последовательности, они образуют летопись его дел и дней, давая нам возможность, понять, как складывалась и развивалась его личность, характер, судьба.

По первому впечатлению может показаться, что для К. Паустовского, постоянно возвращавшегося в своих книгах к воссозданию собственного жизненного пути, значение писем как автобиографического свидетельства не так существенно, как для других писателей, тяготевших к объективной манере письма и избегавших лирических вторжений на «территорию» своих повествований. Впечатление это обманчиво. Несмотря на то что пережитое и испытанное им легло в основу большей части того, что он написал; несмотря на то что «романические» сюжеты занимали его неизмеримо меньше, чем собственный опыт; несмотря на его активное вмешательство в повествование, где он чаще всего выступал в качестве лирического героя, не только шедшего бок о бок со своими персонажами, но и комментировавшего их мысли, чувства, поступки, произведения Паустовского, включая и автобиографический цикл, никогда не были простым слепком действительности. Обращаясь к событиям и обстоятельствам своего жизненного пути, автор не копировал, а художественно преображал их. Недаром он определял «Повесть о жизни» как «биографию своего современника». И хотя этот современник вобрал в себя характерные черты и свойства его автора, опрометчиво было бы отождествлять их друг с другом. Автор, такой, каким он был в действительности, связан с рассказчиком автобиографического цикла, как прототип к созданному на его основе герою романа или повести.

Нам нет никакого резона сокрушаться по поводу того, что в книгах Паустовского факты изложены и освещены не совсем так, как в его письмах. Сопоставление последних с первыми (и там, где между ними явственно ощутима перекличка, и там, где они обнаруживают несходство) открывает дверь в творческую лабораторию писателя, позволяя увидеть, каким путем он шел, чем руководствовался при создании своих вещей, где строго придерживался фактов и где давал волю воображению, трансформируя их в соответствии с замыслами.

В эпистолярном наследии Паустовского велика доля писем, адресованных родным и близким. Бытует убеждение (точнее было бы назвать его предубеждением), что внимания заслуживают только те письма, в которых отразились значимые общественные события и литературные явления, а все личное, частное, связанное с любовью, размолвками, семейными происшествиями, бытом надо оставлять за бортом эпистолярных изданий. Пушкин придерживался на этот счет другого мнения. Прочитав письма Вольтера, касавшиеся такой далекой от поэзии материи, как покупка земли, он писал: «Всякая строчка великого человека становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной книги или записка к портному об отсрочке платежа».

Пушкинские слова приложимы не только к тем, кто составил эпоху в истории мирового искусства, но и к писателям меньшего масштаба — в том случае, понятно, если книги пережили их создателей. Без постижения всей суммы житейских обстоятельств, сопутствовавших писателю, трудно понять и его человеческое своеобразие, и истоки его творчества. Сторонники отсечения от читателя информации, касающейся частных и личных сторон писательского существования, в оправдание своей позиции любят ссылаться на цитату из Маяковского: «Я — поэт. Этим и интересен». Только по недоразумению Маяковский может считаться союзником подобной позиции. Во-первых, не стоит забывать, где и когда сказал эти слова Маяковский. Во-вторых, он ведь не сказал: только этим интересен. Что и говорить, если бы поэт не был нам интересен своими стихами, он не имел бы ни малейшего шанса завладеть нашим вниманием. Но именно потому, что писатель своими книгами завладел нашим вниманием, он интересен нам и другим. И каким человеком был. И какой образ жизни вел. И чем увлекался. И кого любил. И на ком был женат. И кто были его друзья. И что его с ними связывало. Когда эта жажда, естественно возникающая у читателя, утоляется, он, не забывая о расстоянии, отделяющем его от писателя, чувствует свою человеческую соизмеримость с ним. А это ведь тоже не последнее дело.

Публикация писем делает необходимым нарушить молчание, какое обычно окружает семейные обстоятельства недавно умерших писателей. В данном случае положение облегчается тем, что молчание уже нарушил Н. Оттен («Издали и рядом. Из книги о К. Г. Паустовском», журнал «Октябрь», 1983, № 6), рассказавший о том, что Паустовский был трижды женат. Сын писателя от первого брака В. К. Паустовский в книге об отце, над которой он сейчас работает, пишет: «В зарубежных исследованиях о жизни и творчестве отца уделено внимание всем трех бракам. До сих пор я не совсем ясно представляю себе, где и как авторы этих работ доста-

вали сведения, фотографии, что они передали верно и что напутали? Скорее всего, они пользовались косвенными данными и расспросами, так как в нашем литературоведении такого рода личные обстоятельства стыдливо игнорируются. Исключение делается лишь для иностранных писателей. Вот о четырех браках Хемингуэя сообщается вполне свободно. Между тем для писателя эти вопросы совсем не праздные и очень тесно связанные с творчеством. Отец, например, был человеком далеко не легкомысленным, и все его браки были внутренне обоснованы». К выводу, что нет никаких оснований игнорировать «такого рода личные обстоятельства», остается только присоединиться. Нет сомнений, что лучше всего услышать об этих обстоятельствах из первых уст.

Из семидесяти шести лет, прожитых Паустовским, письмами представлены пятьдесят три. Самые ранние из писем были написаны двадцатитрехлетним молодым человеком, который мучительно искал свою дорогу в жизни. Хотя он успел уже вкусить от литературы, хотя два рассказа его были напечатаны, хотя в глубине души он уже сделал выбор, его писательское самоосуществление шло куда медленнее, чем это ему виделось в мечтах. Временами его охватывало отчаяние, и ему казалось, что напрасно он понадеялся на возможность стать художником слова. Ранние письма были для него не только единственным способом общения с близкими, с которыми его разлучили обстоятельства. Они были пробой пера, тренировкой литературных мышц. В письмах он воплощал то, что ему еще не удавалось воплотить в творчестве.

Застенчивый и замкнутый, К. Паустовский не склонен был перед каждым распахивать душу. Заветное он держал про себя, и единственный человек, которому он без оглядки открывал свое тайная тайных и святая святых, была его невеста, а потом жена — Екатерина Степановна Загорская, свидетельница его творческих мук. Ей он поверял свои надежды и мечты, с ней делился горестями и разочарованиями, ее знакомил с тем, что только что сочинил. Восторги в них перемежаются с туманностями, подлинные события — с литературными реминисценциями. Письма были искренние, но их автор как бы входил в образ, созданный его воображением и навеянный чтением любимых книг. Паустовский не рисовался перед своей избранницей. Он на самом деле был в ту пору во власти мечтаний. Вымышленная жизнь, которой он отдавался всей душой, была для него реальнее самой реальности, а последняя вызывала у него чувство холодной отчужденности. Этот образ, образ человека, отрешенного от повседневности и ищущего духовной гармонии, ставший второй его натурой, предвосхитил романтических героев прозы писателя двадцатых годов. Если, исповедуясь в том, что делается у него на душе, автор писем воспарял над действительностью, то в описаниях происходящего вокруг него, рассказывает

ли он о страшной сцене прифронтовой бомбежки или о литературном вечере, собравшем цвет московской художественной интеллигенции, или об одном из первых после Февральской революции заседаний Исполнительного комитета, он строго придерживается фактов и воспроизводит каждую подробность обстановки с предельной точностью. И эта особенность его ранних писем становится устойчивым свойством его прозы, в которой герои могут совершать самые неожиданные и причудливые поступки, но фон, на каком они действуют, выписан тщательно и достоверно, во всей его конкретности.

Последующие письма, начиная с середины двадцатых годов и кончая теми, что были написаны незадолго до смерти автора, отличаются от писем молодого Паустовского. В них нет уже попыток, так сказать, взять реванш за то, что не получилось в творчестве. В книги, которые он писал одну за другой, Паустовский открыл дорогу всему, что его переполняло, и не было уже надобности, когда ему хотелось излить душу, прибегать к некогда спасительной эпистолярной форме. За редкими исключениями — самое значительное из них относится к середине сороковых годов, когда он увлекся Татьяной Алексеевной Арбузовой (Евтеевой), мечтая соединиться с ней и видя на пути к этому одни препятствия, когда он был поглощен охватившим его чувством, делиться которым мог только с той, кого полюбил,— письма Паустовского становятся менее исповедническими и все больше насыщаются самой разнообразной информацией. В том, когда и как они пишутся, наличествуют определенные закономерности. Как это ни странно, оседлая жизнь в Москве не способствовала эпистолярной активности. С трудом удавалось бесперебойно работать. Зато положение круто менялось, когда Паустовский путешествовал или перебирался в Солотчу или в Тарусу. Во время поездок было не до осуществления замыслов, и он во время остановок охотно обращался к письмам, благо впечатлений было хоть отбавляй, и он испытывал потребность поделиться с близкими людьми тем, что ему посчастливилось повидать. Мало что доставляло Паустовскому такую радость, как поселиться в глуши, отдаваться писанию, чередуя работу с рыбной ловлей и чтением. Равнодушный к комфорту, неприхотливый во вкусах и в привычках, он в деревенской избе, где никто и ничто не нарушали его уединения, чувствовал себя вольготнее, чем в оборудованной всеми удобствами городской квартире. Его не смущали ни непроглядная темень за окнами, ни вой свирепого осеннего ветра, ни керосиновая лампа, при свете которой приходилось проводить долгие вечера. Одного ему не хватало в этой блаженной оторванности от мира — близких и друзей. За отсутствием привычных собеседников он, повинуясь потребности в общении, волей-неволей вынужден был обращаться к «эпистолярному жанру».

Настаивая на том, что частные письма не являются принадлежностью художественной литературы, надо подчеркнуть, что, написанные писателями, они существенно отличаются от писем людей, далеких по роду своих занятий от литературы. И совсем не потому, что писатель в каждом своем письме одержим стремлением видеть средство художнического самовыражения, а потому, что его природа, присущие ему черты, независимо от того, думает он об этом или нет, проявляются во всем, к чему прикасается его перо. Это подтверждают письма К. Паустовского. Они, пользуясь выражением Пушкина, оживлены его слогом. Известно, какую роль в прозе Паустовского играла природа. Не меньшую роль играет она в его письмах. Сколько в них пейзажей, беглых и обстоятельных, отмеченных свежестью и зоркостью взгляда. Элементы жанров — новелла и эссе, жанровая сценка и проникновенная акварель,— к которым К. Паустовский обращался в своем творчестве, присутствуют и в его письмах.

Приведя в своих воспоминаниях письмо к нему Паустовского из Тарусы, драматург Александр Гладков заметил, что Таруса в нем описана так, как Том Сойер красил забор — сразу хочется туда поехать. Это верное наблюдение относится к подавляющему большинству писем Паустовского, писем заразительных, рождающих желание быть там, где находится их автор. Можно было бы сказать, что письма Паустовского свидетельствуют о его эпистолярном мастерстве. Но это само по себе верное утверждение мало что объясняет. Это мастерство коренилось в таланте общения, которым наделен был Паустовский. Он безошибочно находил ключ к тем, с кем переписывался. Здесь ему никогда не изменяло психологическое чутье. Он умел быть нежным и гневным, добродушным и насмешливым, терпимыми и непреклонным. И при этом всегда оставался самим собой. Круг его интересов, привычки и пристрастия, симпатии и отталкивания — все это отражается в его письмах.

В настоящий том входят не все письма, которые на протяжении своей жизни написал К. Паустовский.

Прежде всего следует сказать, что не все письма до нас дошли. Зная, что Паустовский еще подростком разлучался с матерью, можно смело предположить, что он от времени до времени переписывался с ней. Эти письма не обнаружены. Едва ли в эпоху революции и гражданской войны Паустовский был так эпистолярно пассивен, как это явствует из ничтожного количества писем, дошедших до нас. Скорее всего, они пропали. Паустовский писал Бунину и собирался писать Горькому. Письмо или письма (если во втором случае он осуществил свое намерение) разыскать не удалось. Будем надеяться, что эти и другие, пока не нашедшиеся письма когда-нибудь впоследствии отыщутся.

Рамки настоящего издания не позволили включить в том все дошедшие до нас письма К. Г. Паустовского. Мы были вынуждены отобрать для публикации те из них, которые представляют наибольший интерес, стараясь при этом сохранить характерные особенности, присущие эпистолярному наследию писателя. Для некоторых писем, имеющихся в нашем распоряжении, не пришла еще пора опубликовать их. Отдельные письма по тем или иным обстоятельствам печатаются в сокращенном виде. Сокращения обозначены скобками и отточиями.

Письма печатаются в хронологической последовательности. Даты, которые автор ставил то в начале, то в конце писем и обозначал то цифрами, то словами, унифицированы по форме и поставлены в начале письма. Если на письме нет даты, оно, исходя из содержания, отнесено к тому времени, когда скорее всего было написано. Если в один и тот же день было написано несколько писем, они даются в алфавитном порядке их адресатов.

Этот том не мог бы появиться в свет без помощи тех, кто представил нам имеющиеся у них письма К. Г. Паустовского. Всем им (С. М. Навашину, Н. К. Фединой, Т. В. Ивановой и др.) составитель выражает признательность. Особую благодарность заслуживают Г. А. Арбузова, проделавшая огромную работу по сбору, расшифровке и систематизации писем, адресованных как ей самой и ее близким, так и другим корреспондентам К. Г. Паустовского, и В. К. Паустовский, собравший письма отца 1915—1936 годов.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР.

ИРЛИ — Институт русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом).

ИХЛ — Издательство «Художественная литература».

Е. С. Загорской, 15 апреля 1915 г. (с. 6).

Печатается по подлиннику, хранящемуся у В. К. Паустовского[1]. Опубликовано в книге: К. Паустовский. Поэтическое излучение. Повести, рассказы, письма. М., 1976.

Загорская Екатерина Степановна (1892—1969) — журналистка и художница.

Демб.— Дембица.

[1] Письма К. Г. Паустовского к Е. С. Загорской-Паустовской, М. Г. Паустовской, В. К. Паустовскому, С. Н. Высочанскому публикуются по подлинникам, хранящимся у В. К. Паустовского, что в дальнейшем не оговаривается.

Романин Алексей — аптекарь санитарного поезда Союза городов и санитар полевого санитарного отряда, в которых служил К. Г. Паустовский. О нем рассказывается в «Беспокойной юности».

Таня — очевидно, сестра милосердия полевого санитарного отряда.

Мар. Сев.— Мария Севастьяновна — сестра милосердия, служившая вместе с автором в полевом санитарном отряде. В «Беспокойной юности» названа Верой Севастьяновной.

Е. С. Загорской, 18 апреля 1915 г. (с. 7).

Опубликовано в «Поэтическом излучении».

Е. С. Загорской, 23 мая 1915 г. (с. 9).

Опубликовано в «Поэтическом излучении».

...брат ушел...— очевидно, Вадим Георгиевич Паустовский.

В Брянске я заехал к своим...— в семью Николая Григорьевича Высочанского, дяди К. Г. Паустовского.

«Какою нежностью неизъяснимою...» — Из стихотворения Игоря Северянина «К черте черта».

Кудрино — название местности на западе Москвы между Садовым кольцом, Баррикадной улицей и Большим Девятинским переулком.

Е. С. Загорской, 29 мая 1915 г. (с. 10).

Опубликовано в «Поэтическом излучении».

...все улицы затянуты гарью...— 28 мая 1915 г. в Москве произошли беспорядки. Толпы людей били стекла магазинов, владельцы которых носили иностранные фамилии. В городе возникли пожары и грабежи. В Москве был введен комендантский час.

Софийка.— Так до 1922 г. называлась Пушечная улица.

Е. С. Загорской, 29 августа 1915 г. (с. 11).

Опубликовано в «Поэтическом излучении».

Хати-дже, Хатидже.— Так, по свидетельству В. К. Паустовского, называли Екатерину Загорскую в татарской деревне в Крыму, где она проводила предвоенное лето («Поэтическое излучение», с. 390).

Е. С. Загорской, 4 ноября 1915 г. (с. 13).

Эмма — Эммануил Исаакович Шмуклер — художник, гимназический товарищ К. Г. Паустовского.

Флибустьеры — пираты, морские разбойники, контрабандисты XVII — начала XVIII вв.

Осветозарено.— К. Г. Паустовский пользуется здесь неологизмом Игоря Северянина.

Николаши нет в Смоленске...— Николай Николаевич Руднев (1892—1978) — сослуживец К. Г. Паустовского по санитарному поезду и полевому санитарному отряду, о нем рассказывается в «Повести о жизни».

Е. С. Загорской, 5 ноября 1915 г. (с. 13).

...искал лазарет Сабашниковского отряда.— Русский изда-

тель Михаил Васильевич Сабашников писал: «Среди явлений нашей общественной жизни, вызванных войною, особо выделялись возникшие тогда самочинно организации помощи армии — Земской союз, Городской союз, Земгор (объединение обоих союзов), Военно-промышленные комитеты. Я принял участие в работе «Союза городов». Летом 1915 года я отправился во главе Сибирского медико-санитарного отряда (Бурятского — как назывался он потому, что оборудован был частично на средства бурят) па фронт, в распоряжение X армии. Отряд там работал в районе Шестаково, развернув в зданиях этой эвакуированной железнодорожной станции свой лазарет. Затем мы были передвинуты на шлях Вилькомир — Вильно. С падением Ковно армия отступила, Вилькомир был оставлен, и наш лазарет развернулся в Вильно, а с отступлением из Вильно расположился в Молодечно». (М. В. Сабашников. Воспоминания. М., «Книга», 1983, стр. 338—340).

Е. С. Загорской, 11 ноября 1915 г. (с. 14).

Опубликовано в «Поэтическом излучении».

Ляхман Гуго — санитар полевого санитарного поезда, на котором служил К. Г. Паустовский.

Е. С. Загорской, 16 ноября 1915 г. (с. 16) и **26 ноября 1915 г.** (с. 19). Опубликованы в «Поэтическом излучении».

С. Н. Высочанскому, ⟨ноябрь — декабрь⟩ 1915 г. (с. 20).

Опубликовано в «Поэтическом излучении».

Сергей Николаевич Высочанский (1900—1982) — двоюродный брат К. Г. Паустовского, сын Николая Григорьевича Высочанского. В Первой мировой войне не участвовал. В 1918 году вступил добровольцем в Красную Армию, в которой служил до 1923 г. Впоследствии работал в Госплане СССР и в Московском финансово-банковском институте.

Дядя Коля — Высочанский Николай Григорьевич (1875—?) — дядя К. Г. Паустовского, младший брат его матери. Военный инженер, полковник артиллерии. После февральской революции был начальником Брянского арсенала, с 1918 г. работал в Москве в Главном управлении военной промышленности.

...привет маме — Марии Ивановне Высочанской (1879—1966) — жене Н. Г. и матери С. Н. Высочанского («тетя Маруся» в «Повести о жизни»).

Тетя Аня — Анна Ивановна Теннова — сестра М. И. Высочанской (1875—1932) — педагог.

Муська — Мария Николаевна Высочанская — дочь Н. Г. и М. И. Высочанских.

Е. С. Загорской, 14 декабря 1915 г. (с. 21).

Опубликовано (с сокращениями) в «Поэтическом излучении».

«*Ты победил, Галилеянин!*» — восклицание, приписываемое римскому императору Юлиану Отступнику, который, борясь с

христианством, стремился восстановить в Римской империи языческий культ, но, смертельно раненный в сражении с персами, признал правоту христианства (Христос был уроженцем Галилеи).

Елена Степановна — старшая сестра Екатерины Степановны Загорской.

Е. С. Загорской, 12 января 1916 г. (с. 25).

Опубликовано (с сокращениями) в «Поэтическом излучении».

Кусевицкий Сергей Александрович (1874—1951) — русский дирижер и контрабасист-виртуоз. С 1920 г. жил за рубежом. Возглавлял Бостонский симфонический оркестр (1924—1949).

Дебюсси Клод (1862 — 1918) — французский композитор, основоположник импрессионизма в музыке.

Рильке Райнер Мария (1875—1926) — австрийский поэт.

Сен-Санс Камиль (1835—1921) — французский композитор, пианист, дирижер.

Ван Бетховен — голландец.— Предки Бетховена были фламандцами. Его дед по отцовской линии родился в Антверпене.

Альтенберг Петер (псевдоним Рихарда Энглендера; 1859—1919) — австрийский поэт-импрессионист.

Е. С. Загорской, 18 февраля 1916 г. (с. 28).

Хокусаи Капусика (1760—1849) — японский живописец и рисовальщик, мастер цветной ксилографии.

Е. С. Загорской, 3 марта 1916 г. (с. 33).

Опубликовано в «Поэтическом излучении».

Е. С. Загорской, 22 марта 1916 г. (с. 34).

Голгофа — холм в окрестностях Иерусалима, на котором, согласно Евангелию, был распят Иисус Христос.

Multatuli — Мультатули (от латинского «я много перенес») — псевдоним Эдуарда Дауэса Деккера (1820—1887), нидерландского писателя.

Шелли Перси Биш (1792—1822) — английский поэт-романтик.

Е. С. Загорской, 1 апреля 1916 г. (с. 37), **20 апреля 1916 г.** (с. 42).

Опубликованы в «Поэтическом излучении».

Е. С. Загорской, 10 апреля 1916 г. (с. 39).

...не могу забыть Диму и Борю...— Д. Г. и Б. Г. Паустовских, братьев Константина Георгиевича, погибших во время Первой мировой войны.

Е. С. Загорской, 27 апреля 1916 г. (с. 43).

Опубликовано в «Поэтическом излучении».

Гумилев Николай Степанович (1886 — 1921) — русский поэт-акмеист. Сборник Н. Гумилева «Чужое небо» вышел в Петербурге в 1912 г. Расстрелян как участник контрреволюционного заговора.

Дорошевич Влас Михайлович (1864—1922) — русский журналист, публицист, театральный критик. С 1902 по 1918 г. редактировал газету «Русское слово».

Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861—1928) — русская писательница.

Барков Иван Семенович (по другим данным — Степанович; ок. 1732—1768) — русский поэт, снискавший известность скабрезными стихами, расходившимися в списках.

Е. С. Загорской, 1 мая 1916 г. (с. 45).

«*Ингеборг*» — роман немецкого писателя Бернгарда Келлермана (1879—1951).

Е. С. Загорской-Паустовской, 31 января 1917 г. (с. 47).

Опубликовано в «Поэтическом излучении».

В конце 1916 г. К. Г. Паустовский обвенчался с Е. С. Загорской, и она стала носить фамилию Загорская-Паустовская.

Введенские горы — возвышенная местность на левом берегу Яузы, в восточной части Москвы, к югу от Семеновского, которое в XVII в. называлось Введенским. В XIX в. местность слилась с Лефортовом.

Е. С. Загорской-Паустовской, 1 февраля 1917 г. (с. 49).

Опубликовано в «Поэтическом излучении».

«*И стих расцветает венком гиацинта...*» — Из стихотворения Максимилиана Волошина «Рождение стиха». В оригинале: «И стих расцветает цветком гиацинта».

Е. С. Загорской-Паустовской, 2 февраля 1917 г. (с. 49).

Опубликовано в «Поэтическом излучении».

Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949) — русский поэт, драматург, историк, один из теоретиков русского символизма.

Леметр Жуль Франсуа Эли (1853—1914) — французский критик, поэт, драматург, романист.

Гурмон Реми де (1858—1915) — французский поэт и критик.

Рэдон Одилон (1840—1916) — французский художник.

Е. С. Загорской-Паустовской, 12 февраля 1917 г. (с. 51).

Опубликовано в «Поэтическом излучении».

Бунину стихи я послал... — В архиве писателя находится черновик сопроводительного письма К. Г. Паустовского к И. А. Бунину: «Мн. Ив. Ал. Простите, что, быть может, слишком смело то, что я пишу Вам. Моей давнишней мечтой было послать несколько стихотворений для того, чтобы Вы сказали, что Вы думаете о них. Я буду Вам несказанно благодарен, если Вы найдете время прочесть их и написать мне несколько слов. Я их никому не показывал, нигде не печатался. Я далек от литературной среды, живу жизнью бродячей. Мне бы хотелось, чтобы Вы поверили, как трудно мне было обратиться к Вам из опасения, что Вы сочтете это выступление примером той навязчивости и бесцеремонности, от которой, я думаю, Вам приходится страдать».

По свидетельству В. К. Паустовского, Константин Георгиевич получил от Бунина ответную открытку, содержавшую несколько

фраз: «Стихи, безусловно, осуждались как подражательные, но был там настойчивый совет серьезно попробовать себя в прозе, данный в таких выражениях: «Думается... Ваша настоящая поэзия — в прозе. Именно здесь, если сумеете проявить достаточно упорства, уверен, сможете достичь чего-нибудь значительного...»

Шмелев Иван Сергеевич (1873—1950) — русский прозаик. После революции — эмигрант.

Телешов Николай Дмитриевич (1867—1957) — русский прозаик.

Сумбатов (псевдоним Южин) Александр Иванович (1857—1927) — русский актер, драматург, театральный деятель.

Е. С. Загорской-Паустовской, 16 февраля 1917 г. (с. 52).

Опубликовано в «Поэтическом излучении».

Потемкин Петр Петрович (1886—1926) — русский поэт, один из главных сотрудников «Сатирикона» и «Нового сатирикона». После революции эмигрировал.

Это Короленко.— По утверждению А. В. Храбровицкого, В. Г. Короленко в это время в Москве не было, и он не мог присутствовать на лекции о русском писателе. Очевидно, Паустовский принял за него кого-то другого.

Лилина Мария Петровна (1866—1943) — русская драматическая актриса. Жена К. С. Станиславского.

Бурджалов Георгий Сергеевич (1869—1924) — артист Московского Художественного театра со дня его основания.

Осоргин (псевдоним; настоящая фамилия — Ильин) Михаил Андреевич (1878—1942) — русский прозаик, автор перевода на русский язык пьесы К. Гоцци «Принцесса Турандот», С 1922 г. находился в эмиграции.

Черт меня дернул родиться в России с душою и талантом.— Парафраз слов из письма А. С. Пушкина Н. Н. Пушкиной, 18 мая 1836 г. У Пушкина: «Черт догадал меня...»

Е. С. Загорской-Паустовской ⟨начало марта⟩ 1917 г. (с. 54).

Число и месяц не указаны. Но поскольку Февральская революция произошла 23—27 февраля (по старому стилю) 1917 года, а письмо написано вскоре после этого, есть основание датировать его началом марта.

В доме генерал-губернатора...— здание Моссовета. После Февральской революции в нем помещался комиссар Временного правительства в Москве со своей канцелярией.

Кишкин Николай Михайлович (1864—1930) — врач, один из лидеров конституционно-демократической партии, министр Временного правительства.

Е. С. Загорской-Паустовской, 17 марта 1917 г. (с. 56).

Опубликовано в «Поэтическом излучении».

Конвент — высший законодательный и исполнительный орган Первой Французской республики, действовавший с 1792 по 1795 г.

Е. С. Загорской-Паустовской, 25 января 1922 г. (с. 57).

Опубликовано в «Поэтическом излучении».

О переходе из Одессы в Севастополь на пароходе «Димитрий» К. Г. Паустовский писал в «Черном море» и во «Времени больших ожиданий» (глава «Одиннадцать баллов»).

Фраерман Рувим Исаевич (1891—1972) — русский советский писатель.

Коле... — очевидно, Харджиеву. Николай Иванович Харджиев (р. 1903 г.) — русский советский литературовед и искусствовед.

Е. С. Загорской-Паустовской, 11 февраля 1922 г. (с. 60).

Опубликовано в «Поэтическом излучении».

Варламов Константин Александрович (1849—1915) — русский актер.

Е. С. Загорской-Паустовской, 19 февраля 1922 г. (с. 62).

Опубликовано в «Поэтическом излучении».

Н. Г. Высочанскому, 21 июля 1922 г. (с. 63).

Конец письма не сохранился.

...уехать в Одессу — сдать экзамен на штурмана дальнего плавания. — Этот замысел не осуществился.

О Проскурах... ни слуху, ни духу. — Речь идет о семье сестры М. Г. Паустовской Веры Григорьевны Проскура.

М. Г. Паустовской, 17 декабря 1923 г. (с. 64).

Мария Григорьевна Паустовская (1860—1934) — мать К. Г. Паустовского.

На днях... будет мой рассказ в «Красной ниве». — В «Красной ниве» ни в 1923, ни в 1924 г. Паустовский не публиковался.

Пильняк (псевдоним; настоящая фамилия — Вогау) Борис Андреевич (1894—1937) — русский советский прозаик.

М. Г. Паустовской, 2 апреля 1924 г. (с. 67).

«Накануне» — газета, выходившая в Берлине в первой половине двадцатых годов. Издавалась русскими эмигрантами сменовеховского направления, искавшими пути возвращения на родину.

Е. С. Загорской-Паустовской, 8 июля 1925 г. (с. 68).

О вишневом потопе на нижнем Днепре К. Паустовский рассказал в очерке «Вишня и степь» (том 7, с. 71).

Алексей Николаевич Руднев (1896—1975) — художник, младший брат Николая Николаевича Руднева.

Видел Багрицкого и Колю... — Коля — Н. И. Харджиев. По его свидетельству, он познакомил К. Г. Паустовского с Э. Г. Багрицким.

Е. С. Загорской-Паустовской, 27 июля 1925 г. (. 69).

«Лихорадка» — рассказ К. Г. Паустовского. Под названием «Минетоза» опубликован в журнале «Сибирские огни», 1925, № 2. Начиная с 1928 г. печатался под названием «Лихорадка».

Е. С. Загорской-Паустовской, 5 августа 1925 г. (с. 70).

Эти 25 р., очевидно, из «Моряка», — В 1925 г. в «Моряке»

были опубликованы очерки «Вишня и степь», «На предгорьях Крыма» и рассказ «Судебный приговор».

М. Г. Паустовской, 19 августа 1925 г. (с. 71).

...в память Димы — брата К. Г. Паустовского.

«В декабре будет готов дом...» — кооперативный дом на Большой Дмитровке, в который Паустовские въехали в начале 1926 г.

Е. С. Загорской-Паустовской, 4 июня 1926 г. (с. 72).

Лежнев (псевдоним; настоящая фамилия — Горелик) Абрам Захарович (1893—1938) — русский советский литературовед.

...в «Нови» — «Красная новь» — литературно-художественный и научно-публицистический журнал, выходивший в Москве в 1921—1942 гг.

«Мертвая зыбь» — первое название повести «Романтики».

Гехт Семен Григорьевич (1903—1963) — русский советский прозаик.

Регинин Василий Александрович (1883—1952) — русский советский журналист.

Мальвина Климентьевна Синявская — жена М. И. Синявского, прототип Люсьены в «Повести о жизни».

Е. С. Загорской-Паустовской, 9 июня 1926 г. (с. 73).

Синявский Михаил Исаакович (1895—1979) — архитектор, многолетний друг К. Г. Паустовского.

Кипен Александр Абрамович (1870—1938) — русский прозаик.

Югов Алексей Кузьмич (1902—1979) — русский советский прозаик.

Соболь Андрей (настоящее имя — Юлий Михайлович; 1888—1926) — русский прозаик.

Мрозовский Владимир Семенович — журналист, сотрудник РОСТА и ТАСС, один из организаторов театра «Синяя блуза».

Софья Владимировна — жена В. С. Мрозовского.

Е. С. Загорской-Паустовской, 14 августа 1926 г. (с. 75).

Тарасов-Родионов Александр Игнатьевич (1885—1938) — русский советский прозаик.

Воронский Александр Константинович (1884—1943) — русский советский литературный критик, публицист, прозаик, в 1921—1927 гг. редактировал «Красную новь».

Зозуля Ефим Давыдович (1891—1941) — русский советский прозаик.

Е. С. Загорской-Паустовской, 30 августа 1926 г. (с. 76).

«Этикетки для колониальных товаров» в «Красной нови» опубликованы не были. Скорее всего, потому, что сменилось руководство журнала. «Этикетки» увидели свет в литературно-художественном альманахе «Пролетарий», книга 2, Харьков, 1928 г. В примечаниях к шестому тому настоящего Собрания сочинений вкралась опечатка: вместо 1928 стоит 1927 г.

Е. С. Загорской-Паустовской, 23 июля 1927 г. (с. 77).

Верочка — очевидно, Вера Михайловна Синякова, жена С. Г. Гехта.

Бондарин Сергей Александрович (1903—1978) — русский советский прозаик.

Замятин Евгений Иванович (1884—1937) — русский прозаик, драматург, эссеист. В 1932 г. уехал за границу.

Е. С. Загорской-Паустовской, ⟨август⟩ 1928 г. (с. 78).

Число и месяц не указаны, но судя по содержанию письма («вчера получил твою открытку от 24-го...», «Я писал тебе уже, что в «Мол. гвардии» вышли пробные экземпляры моей книги...»), оно было написано в конце августа.

Шторм Георгий Петрович (1898—1978) — русский советский писатель.

Е. С. Загорской-Паустовской, 12 сентября 1928 г. (с. 79).

На Толстовском торжестве.— 9 сентября 1928 г. исполнилось сто лет со дня рождения Л. Н. Толстого. Газета «Известия» 11 сентября 1928 г. сообщала: «Вчера в Большом театре состоялось торжественное заседание, посвященное чествованию памяти Л. Н. Толстого. Заседание собрало несколько тысяч человек, в том числе большое количество представителей иностранной литературы и науки. Основной доклад на тему «Толстой и революция» сделал тов. Луначарский... Прибывший на торжества австрийский писатель Стефан Цвейг сделал доклад о влиянии Толстого за границей. Приветствие от германской литературы произнес немецкий писатель Бернгард Келлерман».

Р. И. Фраерману, 3 июля 1929 г. (с. 80).

Письма Р. И. и В. С. Фраерманам публикуются по ксерокопиям. Подлинники в ИРЛИ.

Письмо 3 июля начато Е. С. Загорской-Паустовской. Здесь публикуется только вторая часть его, написанная К. Г. Паустовским.

Е. С. Загорской-Паустовской, 2 сентября 1929 г. (с. 82).

...пишу даже рассказ...— рассказ «Морская прививка».

...новая книга — «Коллекционер»...— В конце двадцатых годов Паустовский работал над романом «Коллекционер», который, по его свидетельству, был закончен в 1930 году. Позже он писал: «С «Коллекционером» произошла странная история. Не знаю, хорошо это или плохо, но я сам ограбил свой роман. Даже не пытаясь напечатать его целиком, я начал вынимать из него отдельные главы и эпизоды, и превращать их в рассказы и даже в такие большие повести, как, скажем, «Кара-Бугаз» (Константин Паустовский. Потерянные романы. Калуга, 1962).

Кончаловский Петр Петрович (1876—1956) — русский советский живописец.

Е. С. Загорской-Паустовской, 17 мая 1931 г. (с. 85).

Посылаю... очерк.— Очерк «Один из 518 (Завод комбайнов под Саратовом)» был напечатан в журнале «Комбайн», 1931, № 14.

Роскин Александр Иосифович (1898—1941) — русский советский литературный и театральный критик.

Е. С. Загорской-Паустовской, 24 мая 1931 г. (с. 87).

...пишу очерк о Калмыкии для «Н. дост.».— Очерк «По калмыцкой степи» был опубликован в «Наших достижениях», 1931, № 7—8.

Корбюзье — ле Корбюзье Шарль Эдуар (1887—1965) — французский архитектор и теоретик архитектуры.

Е. С. Загорской-Паустовской, 14 сентября 1931 г. (с. 92).

Нина — Нина Дмитриевна Нацкая, врач железнодорожной поликлиники, сестра Александра Дмитриевича Нацкого, прототипа Шацкого из «Кара-Бугаза».

Посылаю конец рукописи... сдай или в «Нов. мир», или «Красную новь», или в журнал «Октябрь».— Из названных трех журналов только в «Красной нови» (1932, № 4) был напечатан материал К. Паустовского — очерк «Подводные ветры».

Позвони Регинину насчет «Снегов».— Рассказ «Снега» был напечатан в журнале «Тридцать дней», 1931, № 9. В дальнейшем назывался «Пятый день», «Московское лето».

Е. С. Загорской-Паустовской, 7 ноября 1931 г. (с. 98).

Костерин Алексей Евграфович (1896—1968) — русский советский журналист и писатель.

Е. С. Загорской-Паустовской, 7 декабря 1931 г. (с. 101).

Замошкин Николай Иванович (1896—1960) — русский советский литературный критик.

Старов Николай Николаевич — журналист, работавший в журнале «Наши достижения», в газетах «Труд», «За индустриализацию» и др.

«Унтиловск» — пьеса Л. М. Леонова, шедшая на сцене МХАТа.

Е. С. Загорской-Паустовской, 13 мая 1932 г. (с. 104).

Отвезла ли вчера Димушку? — Летом 1932 года сын писателя находился в детском санатории в Болшево.

Е. С. Загорской-Паустовской, 20 мая 1932 г. (с. 105).

Нексе Мартин (настоящая фамилия — Андерсен; 1869—1954) — датский прозаик.

Мариинская система (Волго Балтийский водный путь) соединяет Волгу с Балтийским морем, а через Беломорско-Балтийский канал — с Белым морем.

Р. И. Фраерману, 4 сентября 1932 г. (с. 105).

Эйхлер Генрих Леопольдович (1901—1953) — редактор «Молодой гвардии» и Детгиза. Живущий на Урале инженер и литератор Б. С. Вайсберг, предоставивший в наше распоряжение ксерокопии писем Паустовского к Эйхлеру, писал в статье «Дорогой

учитель» (автор статьи учился в школе в Караганде, где Г. Л. Эйхлер преподавал в старших классах литературу): «Родился в 1901 году, жил и учился в Петрограде. Участвовал в штурме Зимнего, был комиссаром на корабле. Защищал Петроград от Юденича, боролся с бандитами на Украине. Работал в Наркомпросе при Н. К. Крупской... Стал редактором в издательстве «Молодая гвардия», затем — в Детгизе. Об Эйхлере рассказывается в «Книге скитаний».

Валя — Валентина Сергеевна Фраерман.

«*Зола*» — прозвище редактора РОСТа Мурова.

Разумовская Софья Дмитриевна — литературный редактор, работавшая до войны в Детгизе.

Знаете-понимаете — прозвище технического редактора РОСТа А. В. Колко.

Бобрышев Василий Тихонович — заведующий редакцией журнала «Наши достижения».

Дом Герцена — дом (Тверской бульвар, 25), в котором родился А. И. Герцен. В конце 20-х — начале 30-х гг. в нем размещались руководящие органы литературных объединений (РАПП, Всероссийский Союз писателей, Всероссийский Союз поэтов и т. д.). К. Г. Паустовский был членом Союза писателей. В настоящее время в этом доме — Литературный институт им. А. М. Горького.

«*И каждой осенью я расцветаю вновь...*» — из стихотворения Пушкина «Осень». В оригинале: «И с каждой осенью я расцветаю вновь».

Рейснер Лариса Михайловна (1895—1926) — русская советская писательница.

Е. С. Загорской-Паустовской, 11 марта 1933 г. (с. 108).

Тихонов (псевдоним — А. или Н. Серебров) Александр Николаевич (1880—1956) — русский советский писатель и литературный деятель.

Колбасьев Сергей Адамович (1898—1942) — русский советский писатель.

В. С. Фраерман, 1 июля 1934 г. (с. 109).

...в доме Грина и его жены.— Речь идет о доме писателя Грина Александра Степановича (1880—1932). Его жена — Нина Николаевна Грин (1894—1970).

Рудерман Михаил Исаакович (1905—1984) — русский советский поэт.

...к М. Г.— Марии Григорьевне Паустовской.

Е. С. Загорской-Паустовской, 18 июля 1934 г. (с. 109).

Михаил Сергеевич Навашин (1896—1975) — ученый-биолог.

Валерия Владимировна Навашина (1895—1975) — художница.

Е. С. Загорской-Паустовской, 7 декабря 1934 г. (с. 111).

...исправил первую часть сценария...— сценария, написанного по мотивам «Кара-Бугаза».

Е. С. Загорской-Паустовской, 16 февраля 1935 г. (с. 112).

Нарбут Владимир Иванович (1888—1944) — русский советский поэт.

Шкловский Виктор Борисович (1893—1984) — русский советский литературный критик, прозаик, эссеист.

Р. И. Фраерману, 2 июня 1935 г. (с. 114).

...в Киваче, воспетом Державиным...— развернутое описание водопада Кивача Г. Р. Державин дал в оде «Водопад».

Е. С. Загорской-Паустовской, ⟨начало июня⟩ 1935 г. (с. 114).

Письмо не датировано, но судя по его содержанию (в предыдущем письме речь шла о том, что в Петрозаводске «холод собачий», а в настоящем говорится о том, что потеплело), оно написано после 2 июня.

Гюллинг Эдвард (1881—1944) — председатель социал-демократической партии Финляндии в 1917—1918 гг. В 1920 г. прибыл в Советский Союз; в 1923—1935 гг.— председатель Совнаркома Карельской АССР.

Написал для «Правды» очерк о Карелии...— В «Правде» в 1935 г. Паустовский не публиковался.

Е. С. Загорской-Паустовской, ⟨июнь⟩ 1935 г. (с. 115).

Письмо не датировано, но судя по тому, что вскоре после возвращения из Петрозаводска Паустовский уехал в Солотчу, где он получил известие, что печатаются «Романтики», оно было написано в июне.

Е. С. Загорской-Паустовской, 7 июля 1935 г. (с. 116).

«Колхознику» я осенью дам рассказ.— Намерение это, по-видимому, не осуществилось.

В сборник «Романтики», вышедшем в 1935 г. в Гослитиздате, как и хотел автор, не была включена «Морская прививка» и вошли «Соранг», «Тост» и «Доблесть».

Е. С. Загорской-Паустовской, 1 ноября 1935 г. (с. 117).

Томпсон — Сетон-Томпсон Эрнест (1860—1946) — канадский писатель, художник-анималист, естествоиспытатель.

Г. Л. Эйхлеру, 2 декабря 1935 г. (с. 117).

Письма Г. Л. Эйхлеру печатаются по ксерокопиям. Подлинники — у вдовы адресата — Нины Федоровны Ходня.

Цыпин Григорий Евгеньевич — директор Детгиза.

Солнцева — редактор Детгиза.

Н. Н. Грин, 15 мая 1936 г. (с. 118).

Письма Н. Н. Грин печатаются по ксерокопиям. Подлинники в ЦГАЛИ.

В. В. Навашиной, 6 сентября 1936 г. (с. 120).

Печатается по рукописи, хранящейся у С. М. Навашина [1],

---

[1] Это относится ко всем письмам, адресованным В. В. и С. М. Навашиным, что в дальнейшем не оговаривается.

В 1936 г. К. Г. Паустовский разошелся с Е. С. Загорской-Паустовской и женился на Валерии Владимировне Навашиной.

...живем с Мишей — Михаилом Сергеевичем Навашиным.

В. В. Навашиной, 13 сентября 1936 г. (с. 122).

«Вторая родина» была целиком напечатана в одном номере «Пионера» (№ 11, 1936 г.).

Андерсон Шервуд (1876—1941) — американский прозаик.

В. В. Навашиной, 24 сентября 1936 г. (с. 123).

...предисловие к книге рассказов.— Речь идет, очевидно, о «Предательской осени», которой предназначалась роль лирического вступления к сборнику «Летние дни».

С. М. Навашину ⟨конец сентября⟩ 1936 г. (с. 124).

Навашин Сергей Михайлович (р. 1924) — ученый-микробиолог, академик Академии Медицинских наук. В январе 1941 г. был усыновлен К. Г. Паустовским.

Н. Н. Грин, 10 октября 1936 г. (с. 124).

...была статья о «Черном море» — статья Н. Коварского «Оправдание романтики» («Литературный Ленинград», 29 сентября 1936 г.).

Р. И. Фраерману, 15 декабря 1936 г. (с. 126).

Опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1985 г., № 9.

Письмо представляет собой своего рода шутливую имитацию «потока сознания», распространенного в ту пору в прозе западноевропейских и американских писателей.

Р. И. Фраерману, 27 декабря 1936 г. (с. 128).

Цыпин забрасывает меня телеграммами о совещании...— С 27 по 30 декабря в Москве в ЦК ВЛКСМ проходило второе Всесоюзное совещание по вопросам детской литературы, в котором приняли участие Фадеев, Маршак, Чуковский, Барто, Катаев, Кассиль, Шкловский, Михалков.

Атаров Николай Сергеевич (1907—1978) — русский советский прозаик.

Ермилов Владимир Владимирович (1904—1965) — советский критик и литературовед.

Чулков Георгий Иванович (1879—1939) — русский поэт, прозаик, драматург, критик.

Г. Л. Эйхлеру, 4 января 1937 г. (с. 129).

Опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1985 г., № 9.

...после статьи Лежнева.— 15 декабря 1936 г. в «Правде» появилась статья И. Лежнева «Вакханалия переизданий», в которой резко критиковались писатели (И. Бабель, Л. Леонов, Вс. Иванов, В. Лидин), слишком часто переиздающие свои книги.

Р. И. Фраерману, 7 января 1937 г. (с. 130).

...«конотопцам».— «Конотопами» (большими и малыми) назывались ежедневные встречи у Фраерманов, на которых, помимо хозяев дома, собирались К. Паустовский, А. Роскин, А. Гайдар,

М. Лоскутов, Г. Шторм, В. Гроссман и другие московские литераторы.

А. А. Фадееву, 15 января 1937 г. (с. 131).

Письма А. А. Фадееву печатаются по авторским машинописным копиям, хранящимся у Г. А. Арбузовой.

В. В. Навашиной, 17 января 1937 г. (с. 132).

Белявский Сергей Иванович (1883—1953) — советский астроном, член-корреспондент Академии наук СССР.

Нехода Иван Иванович (1910—1963) — украинский советский поэт.

...чтобы я дал Кипренского в «Красную новь».— Повесть «Орест Кипренский» была напечатана в «Красной нови» (1937, № 2).

Рыбак Натан Самойлович (1912/13—1978) — украинский советский писатель.

Даниель (псевдоним; настоящая фамилия — Меерович) Марк Наумович; 1900—1940) — еврейский советский писатель

Арбузов Алексей Николаевич (р. 1908 г.) — современный советский драматург.

Павленко Петр Андреевич (1899—1951) — русский советский писатель. Его роман «На Востоке» был опубликован в журнале «Знамя».

В. В. Навашиной, 20 января 1937 г. (с. 134).

Книпович Евгения Федоровна (р. 1898) — русский советский критик и литературовед.

...статья Палея обо мне.— А. Палей. Мастер научно-художественного жанра (О творчестве Паустовского). «Новый мир», 1936, № 11.

Послали приветственную телеграмму Вересаеву.— 16 января 1937 г. русскому прозаику Викентию Викентьевичу Вересаеву исполнилось 70 лет.

Никандров Николай Николаевич (1878—1964) — русский советский писатель.

Г. Л. Эйхлеру, 24 января 1937 г. (с. 135).

Опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1985, № 9.

Артем Веселый (псевдоним; настоящее имя — Николай Иванович Кочкуров; 1899—1939) — русский советский прозаик.

В. В. Навашиной, 27 января 1937 г. (с. 137).

Гершель Уильям (Фридрих Вильгельм (1738—1822) — английский астроном, основоположник звездной астрономии.

Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931) — русский литературовед, историк революционного движения.

Н. Н. Грин, 20 мая 1937 г. (с. 137).

Опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1985 г., № 9.

Сдал... рассказ — рассказ «Потерянный день», опубликованный в журнале «Знамя» (1937, № 6),

Ал. Ст.— А. С. Грин,

Р. И. Фраерману, 4 июля 1937 г. (с. 139).

Что слышно с экспедицией...— Задуманное Паустовским, Фраерманом и Некрасовым лодочное плавание по Десне школьников, участвовавших в работе литературной студии Московского городского Дома пионеров и в литературном кружке при журнале «Пионер».

Некрасов Андрей Сергеевич (р. 1907) — русский советский писатель, автор книг для детей.

В. В. Навашиной, 5 сентября 1937 г. (с. 142).

Лангобардами Паустовский шутливо называл местных колхозников.

В. В. Навашиной, 13 сентября 1937 г. (с. 143).

Вал. Кир.— Валентина Кирилловна Зданевич (о ней рассказывается в главе «Намек на зиму» повести «Бросок на юг»).

В. В. Навашиной, 17 сентября 1937 г. (с. 145).

Рассказ «*Австралиец*» (впоследствии печатается под названием «Австралиец со станции Пилево») был опубликован в журнале «Пионер», 1937, № 10.

Н. Н. Грин, 9 октября 1937 г. (с. 147).

Накоряков Николай Никандрович (1881—1970) — один из организаторов книгоиздательского дела в СССР, в 1930—1937 гг. заведующий Государственным издательством художественной литературы.

Читали ли Вы статью Олеши.— 25 августа 1937 г. в «Литературной газете» появилось «Письмо писателю Паустовскому» Юрия Олеши. Олеша писал: «Мне приятно, что у нас общая любовь к Грину... Я несколько раз встречал в ваших произведениях упоминание имени Грина... Грин — автор фантастических рассказов. Это — редкое явление. Причем фантастические рассказы Грина необычайно стройны, прозрачны... Но Грин не изображает живых людей. Во всех его рассказах действует один и тот же герой. Это человек, который может сделать все, несмотря на преграды, которые ему ставят злые люди. Всегда у Грина хороший,— с его, Грина, точки зрения,— человек борется с группой злых. Или, наоборот, группа хороших борется со злым. Кто же хороший, по мнению Грина? Тот, кто любит цветы, животных. А злой — это черствый, сухой человек, нечувствительный к природе .. Ничего нового я не выражу, сказав, что персонажи Грина нереальны. Мне кажется, что Грин когда-то обиделся на людей, резко отграничил себя от них, замкнулся, стал хмурым... Я как бы защищаю вас, товарищ Паустовский, от увлечения Грином. Что мне хочется доказать вам? Послушайте: Грин не великий писатель. Это совсем особое явление, я согласен, Грином можно восторгаться, но в Грине нет того, что отличает великих писателей. Все они отражают в своих произведениях то, что является для них современностью... Этого у Грина нет... Вы очень любите Грина, но как раз там, где вы далее всего уходите от него, вы проявляетесь лучше всего...»

В. В. Навашиной, 8 апреля 1938 г. (с. 148).

Горюнов (псевдоним; настоящая фамилия — Бендель) Анатолий Иосифович (1902—1951) — драматический актер.

...статья Гоффеншефера... — «Критические заметки» В. Гоффеншефера опубликованы в «Литературной газете» 5 апреля 1938 г.

Никитин Николай Николаевич (1895—1963) — русский советский прозаик.

Арон Исаевич Эрлих (1896—1967)—русский советский прозаик.

С. В. Мрозовской, 21 мая 1938 г. (с. 153).

Печатается по авторской машинописной копии. Подлинник у А. В. Мрозовской.

Аэлла — дочь С. В. и В. С. Мрозовских.

В. В. Навашиной, 4 августа 1938 г. (с. 155).

...к сотой годовщине смерти... Шевченко. — В 1939 году исполнялось не сто лет со дня смерти, а 125 лет со дня рождения Т. Г. Шевченко (1814—1861).

В. К. Паустовскому, 6 августа 1938 г. (с. 156).

Эрдман Борис Робертович (1899—1960)—театральный художник.

В. В. Навашиной, 7 августа 1938 г. (с. 157).

Халтурин Иван Игнатьевич (1901—1969) — литератор и редакционный работник.

С. Д. Разумовской, 31 августа 1938 г. (с. 160).

Печатается по авторской машинописной копии.

Игнатий — Игнатий Петрович Магидович, был главным редактором Детгиза, муж С. Д. Разумовской.

В. В. Навашиной, 13 сентября 1938 г. (с. 160).

Сушкевич Борис Михайлович (1887—1946) — советский театральный режиссер.

Н. Н. Никитину, 21 февраля 1939 г. (с. 161).

Письма Н. Н. Никитину печатаются по ксерокопиям. Подлинники в ЦГАЛИ.

«*Резец*» — русский советский двухнедельный литературно-художественный журнал, выходивший в Ленинграде с 1924 по 1939 г.

Пьеса М. А. Светлова «*Сказка*» была поставлена Пыжовой и Бибиковой в Московском театре юных зрителей.

Брянцев Александр Александрович (1883—1961) — советский театральный режиссер, один из создателей и руководителей Ленинградского театра юных зрителей.

Рэнэ Ароновна — жена Н. Н. Никитина.

В. В. Навашиной, 4 апреля 1939 г. (с. 162).

Козачинский Александр Владимирович (1903—1943) — русский советский прозаик.

Найденов (псевдоним; настоящая фамилия — Алексеев) Сергей Александрович (1868—1922) — русский драматург.

Арцыбашев Михаил Петрович (1878—1927) — русский прозаик.

Федоров Александр Митрофанович (1868—1949) — русский поэт, прозаик, переводчик.

В. В. Навашиной, 12 апреля 1939 г. (с. 165).

...не волнуйся из-за рецензий...— Имеется в виду статья Е. Мара «Две переделки одной повести («Созвездие Гончих Псов» на сцене)», «Вечерняя Москва», 1939, 2 апреля.

В. В. Навашиной, 15 апреля 1939 г. (с. 166).

Маврина Татьяна Алексеевна (р. 1902) — советский график.

Не пришел ли альманах...— В Альманахе 15 «Год XXII» была напечатана статья К. Паустовского «Александр Грин».

Рошаль Григорий Львович (1899—1983) — советский кинорежиссер.

В. В. Навашиной, 17 апреля 1939 г. (с. 167).

Рыльский Максим Фаддеевич (1895—1964) — украинский поэт.

Лежнев И. (псевдоним; настоящее имя — Исай Григорьевич Альтшулер; 1891—1955) — русский советский литературовед и публицист, в пору письма — заведующий отделом литературы и искусства газеты «Правда».

Сергеев-Ценский Сергей Николаевич (1875—1958) — русский советский писатель.

Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846—1888) — русский путешественник и этнограф.

В. В. Навашиной, 23 апреля 1939 г. (с. 170).

Соловьев Владимир Александрович (1907—1978) — русский советский поэт и драматург.

Крамов Алексей Григорьевич (1884/85—1951) — советский актер, режиссер.

В. В. Навашиной, 26 апреля 1939 г. (с. 171).

Ардов Виктор Ефимович (1900—1967) — русский советский прозаик, автор юмористических и сатирических произведений.

На днях был... у М. П. Чеховой — она очень просит прислать ей книгу о Левитане.— В библиотеке Марии Павловны Чеховой хранится книга К. Паустовского «Исаак Левитан» с дарственной надписью: «Глубокоуважаемой Марии Павловне Чеховой. К. Паустовский. 20. V—39 г.».

А. А. Кулешову, 30 мая 1939 г. (с. 172).

Печатается по подлиннику, хранящемуся у Г. А. Арбузовой

Кулешов Александр Александрович (р. 1915) — советский искусствовед.

Р. И. Фраерману, 1 октября 1940 г. (с. 174).

Омэ — фамилия аптекаря в романе Флобера «Мадам Бовари».

В. В. Навашиной, 7 октября 1940 г. (с. 175).

Вирту ругают всюду...— Осенью 1940 г. на писательских собраниях и в печати резко критиковалась пьеса Николая Вирты «В старой фактории».

Леонова жаль...— 22 сентября 1940 г. в «Литературной газете» появилась статья В. Фоменко «Клеветническая пьеса», в которой были выдвинуты обвинения против пьесы Леонида Леонова «Метель». Обвинения эти повторялись и в передовой статье газеты «Идейное воспитание советского писателя». Впоследствии эти обвинения были признаны неосновательными.

Н. Н. Грин, 30 ноября 1940 г. (с. 177).

...в Большом театре идет подготовка к постановке балета «Алые паруса».— Балет «Алые паруса» (композитор — В. М. Юровский, либретто А. В. Таланова) был поставлен в Большом театре балетмейстерами А. И. Радунским, Н. М. Попко, Л. А. Поспехиным (премьера состоялась 30 декабря 1942 г. в Куйбышеве и была повторена 5 декабря 1943 г. в Москве).

Серебрянский Марк Исаакович (1900/1901—1941) — русский советский критик и литературовед.

Зелинский Корнелий Люцианович (1896—1970) — русский советский критик и литературовед.

Д. Б. Кабалевскому, 2 февраля 1941 г. (с. 178).

Печатается по ксерокопии. Подлинник — в ЦГАЛИ. Опубликовано в газете «Советская Россия» 29 декабря 1983 г.

Кабалевский Дмитрий Борисович (р. 1904 г.) — советский композитор.

С. М. Навашину, 8 апреля 1941 г. (с. 179).

Сегодня в «Правде».— 8 апреля 1941 г. в «Правде» появилась заметка: «Фильм о Лермонтове»: «В киностудии «Союздетфильм» снимается новый звуковой художественный фильм «Лермонтов», приуроченный к столетию со дня гибели поэта. Сценарий, написанный К. Паустовским, рассказывает о последних годах жизни поэта...»

Бродский Николай Леонтьевич (1881—1951) — русский советский литературовед.

Левидов Михаил Юльевич (1891—1942) — русский советский писатель.

С. М. Навашину, 18 апреля 1941 г. (с. 180).

Альберт...— А. А. Гендельштейн, постановщик фильма о Лермонтове.

Юткевич Сергей Иосифович (1904—1984) — советский режиссер, теоретик кино, художник.

...из-за хвалебной статьи в «Правде».— 16 апреля 1941 г. в «Правде» появилась рецензия Л. Соловьева на роман А. Эрлиха «Обновление».

Вовка пишет...— Владимир Павлович Толстой, искусствовед.

С. А. Бондарину, 6 мая 1941 г. (с. 181).

Печатается по фотокопии. Подлинник в Литературном музее г. Одессы.

В. В. Навашиной, 2 июля 1941 г. (с. 183).

Ной — Ноях Гершелевич Лурье (1886—1960) — еврейский советский писатель.

Гозенпуд Абрам Акимович (р. 1908) — русский и украинский советский литературовед и музыковед.

Тардов Михаил Семенович (1892—1948) — русский и украинский советский писатель.

В. В. Навашиной, 7 июля 1941 г. (с. 185).

Колосов Марк Борисович (р. 1904)—русский советский писатель.

В. В. Навашиной, 30 июля 1941 г. (с. 187).

Кружков Николай Николаевич (1900—1979) — журналист и литератор.

Горбатов Борис Леонтьевич (1908—1954) — русский советский писатель.

В. В. Навашиной, 8 августа 1941 г. (с. 188).

Ляшко (псевдоним; настоящая фамилия — Лященко) Николай Николаевич (1884—1953) — русский советский писатель.

Ротницкий Арий Давыдович — многолетний сотрудник Литературного фонда СССР.

Р. И. Фраерману, 9 октября 1941 г. (с. 189).

Опубликовано (с сокращениями) в воспоминаниях Р. И. Фраермана «Любимый друг» («Воспоминания о Константине Паустовском». М., «Советский писатель», 1975).

...*«увидим небо в алмазах»*.— Слова Сони из пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня». В оригинале — «все небо».

Ауэзов Мухтар Омарханович (1897—1961) — казахский советский писатель.

Мидяне — народность, жившая в исторической области в северо-западной части Иранского нагорья.

Астангов Михаил Федорович (1900—1965) — русский советский актер.

Р. И. Фраерману, 27 декабря 1941 г. (с. 190).

Опубликовано в газете «Советская Россия» 25 декабря 1983 г.

Лозовский Соломон Абрамович (1878—1952) — советский государственный и партийный деятель, в годы Великой Отечественной войны был начальником Совинформбюро.

Квитко Лев Моисеевич (1890—1952)—еврейский советский поэт.

Ильин М. (псевдоним; настоящее имя — Маршак Илья Яковлевич; 1895/96—1953) — русский советский писатель.

Ужасно все то, что Вы пишете о Роскине и Василии Тихоновиче.— А. И. Роскин (был слух, что он в плену) и В. Т. Бобрышев погибли на фронте осенью 1941 г.

А. Я. Таирову, 5 февраля 1942 г. (с. 191).

Письма А. Я. Таирову печатаются по ксерокопиям. Подлинники — в ЦГАЛИ. Опубликованы в журнале «Простор», 1972, № 4.

Таиров Александр Яковлевич (1885—1950) — советский театральный режиссер, основатель и руководитель Камерного театра.

Богатырев Александр Зиновьевич (1903—1971) — режиссер, театральный деятель. В годы войны директор Камерного театра.

Храпченко Михаил Борисович (р. 1904) — советский литературовед, академик. В годы войны был председателем Комитета по делам искусств.

В. К. Паустовскому, 16 февраля 1942 г. (с. 192).

Опубликовано в журн. «Простор», 1985, № 11.

Любимова Валентина Александровна (1895—1968) — русский советский драматург.

Каплер Алексей Яковлевич (1904—1979) — русский советский кинодраматург.

М. Ф. Рыльскому, 17 февраля 1942 г. (с. 193).

Опубликовано в журн. «Простор», 1985, № 11.

Печатается по нотариально заверенной машинописной копии. Подлинник в рукописном отделе Института литературы имени Шевченко Академии наук УССР.

Забила Наталья Львовна (р. 1903) — украинская советская писательница, писавшая для детей.

Ю. И. Яновскому, 17 февраля 1942 г. (с. 194).

Печатается по нотариально заверенной машинописной копии. Подлинник хранится в рукописном отделе Института литературы имени Шевченко Академии наук УССР.

Г. Л. Эйхлеру, 2 мая 1942 г. (с. 195).

Опубликовано в журн. «Простор», 1985, № 11.

Только сейчас узнал, где Вы и что с Вами...— В связи с наступлением немецкой армии Г. Л. Эйхлер, как немец, был выслан из Москвы в Среднюю Азию.

Наташа Михалкова — Наталья Петровна Кончаловская — русская советская писательница, автор стихов и прозы.

Семынин Петр Андреевич (1909—1984)—русский советский поэт.

Штерн Лина Соломоновна (1878—1968) — советский физиолог, академик.

Р. И. Фраерману, 8 мая 1942 г. (с. 197).

Ортенберг Давид Иосифович (псевдоним — Д. Вадимов) — главный редактор газеты «Красная звезда» в 1941—1943 гг.

Р. И. Фраерману, 2 июля 1942 г. (с. 199).

Опубликовано в журн. «Простор», 1985, № 11.

Выслал... маленькую книгу, она вышла в Ташкенте.— В 1942 г. в Ташкенте в издательстве «Советский писатель» вышел сборник рассказов К. Паустовского «Наши дни».

С. М. Навашину, 11 июля 1942 г. (с. 201).

Завадский Юрий Александрович (1894—1977)—советский актер, с 1940 по 1977 г. был главным режиссером театра им. Моссовета.

Мордвинов Николай Дмитриевич (1901—1966) — советский актер, с 1940 г. до конца жизни играл в театре им. Моссовета.

А. Я. Таирову, 1942 г. (с. 202).

Нет числа и месяца, но судя по содержанию («работать трудно из-за поистине экваториальной жары»), письмо написано летом.

Алиса Георгиевна Коонен (1889—1974) — русская советская актриса, жена А. Я. Таирова.

Оттен Николай Давыдович (1907—1983) — прозаик, сценарист, критик, в годы войны заведовал литературной частью Камерного театра.

Е. Н. Михайловой, 16 июля 1942 г. (с. 203).

Печатается по авторской машинописной копии. Подлинник — в ЦГАЛИ.

Михайлова Екатерина Николаевна (1897—1952) — литературовед и редакционный работник. В годы войны работала в журнале «Знамя».

С. М. Навашину, 17 июля 1942 г. (с. 204).

Китя—Никита Викторович Шкловский—сын В. Б. Шкловского.

С. М. Навашину, 13 августа 1942 г. (с. 205).

Опубликовано в журн. «Простор», 1985, № 11.

...напечатан мой рассказ...— 4 августа 1942 г. в «Известиях» увидел свет рассказ К. Паустовского «Кружевница Настя».

Дунина Софья Тихоновна — театральный критик.

Арнштам Лео Оскарович (1905—1979) — советский кинорежиссер и сценарист. В 1944 г. на экраны страны вышел фильм «Зоя», снятый по его сценарию.

Р. И. Фраерману, 16 августа 1942 г. (с. 206).

Опубликовано в «Советской России» 25 декабря 1983 г.

Мальву, *Бубку*, *Пайку* — М. К., Е. М. и М. И. Синявских.

Мишу — М. С. Навашина.

Петра Андреевича — Семынина.

С. М. Навашину, 10 октября 1942 г. (с. 207).

Юзовский Иосиф Ильич (1902—1964) — русский советский театральный и литературный критик.

Лишин Михаил Ефремович — актер Камерного театра.

А. Я. Таирову, 12 ноября 1942 г. (с. 209).

Румнев Александр Александрович — режиссер, профессор ВГИКа.

Тяпкина Елена Александровна — актриса театра и кино.

Нина Станиславовна — племянница А. Г. Коонен.

...художникам — Евгению Кондратьевичу Коваленко и Валентине Федоровне Кривошеиной, оформлявшим спектакль «Пока не остановится сердце».

Р. И. Фраерману, 17 января 1943 г. (с. 209).

Опубликовано в журн. «Простор», 1985, № 11.

Серафима Густавовна — Нарбут.

Скосырев Петр Георгиевич (1900—1960) — русский советский прозаик, в годы войны работал в аппарате Союза писателей.

Виноградская Екатерина Николаевна (1905—1973) — советский кинодраматург.

Поспелов Петр Николаевич (1898—1979) — советский государственный и партийный деятель. В 1940—1949 гг. был главным редактором газеты «Правда».

А. Я. Таирову, 4 февраля 1943 г. (с. 212).

Елизавета Яковлевна — сестра А. Я. Таирова.

Н. Д. Оттену, 8 февраля 1943 г. (с. 213).

Печатается по ксерокопии. Подлинник в ЦГАЛИ.

Николай Аркадьевич — Коварский.

Михаил Яковлевич — Шнейдер.

С. М. Навашину, 2 марта 1943 г. (с. 214).

...большая Берта—шутливое прозвище жены И. Л. Сельвинского.

Жаров Александр Алексеевич (1904—1984) — русский советский поэт.

С. М. Навашину, 4 апреля 1943 г. (с. 215).

Федюкин — шутливое прозвище К. А. Федина.

...пишут, что премьера...— Премьера пьесы К. Паустовского «Пока не остановится сердце» состоялась в Камерном театре в Барнауле 4 апреля 1943 г.

В морском издательстве выходит книга рассказов.— В 1943 г. в Военмориздате вышла книга К. Паустовского «Ленинградская ночь», в которую вошли рассказы: «Ленинградская ночь», «Держимся, товарищ Нахимов!», «Томик Пушкина», «Робкое сердце», «Струна».

С. М. Навашину, 29 апреля 1943 г. (с. 217).

Дзиган Ефим Львович (1898—1981) — советский кинорежиссер.

«*Севастопольский рассказ*».— 21 апреля 1943 г. в «Красной звезде» был напечатан рассказ К. Паустовского «Держимся, товарищ Нахимов!».

С. М. Навашину, 6 мая 1943 г. (с. 218).

«*Жильцы старого дома*».— Изданная в 1941 г. книга рассказов К. Паустовского.

К. А. Федину, 4 августа 1943 г. (с. 221).

Письма К. А. Федину печатаются по авторской машинописной копии. Подлинники у Н. К. Фединой.

А. А. Кулешову, 18 сентября 1943 г. (с. 222).

Печатается по авторской машинописной копии. Подлинник у адресата.

С. М. Навашину, 18 октября 1943 г. (с. 223).

...книжку Анны Ахматовой.— Анна Ахматова. Избранное. Стихи. Ташкент, 1943.

...жена Булгакова — Елена Сергеевна Булгакова,

С. М. Навашину, 12 декабря 1943 г. (с. 224).

После событий в столице шах-ин-шаха стало легче на душе.— 28 ноября — 1 декабря 1943 г. в столице Ирана, которым тогда правил шах-ин-шах Реза Пахлеви, Тегеране состоялась конференция руководителей трех союзных держав, воевавших против нацистской Германии: Великобритании (У. Черчилль), СССР (И. Сталин), США (Ф. Рузвельт). Конференция приняла Декларацию о совместных действиях в войне против Германии и о послевоенном сотрудничестве трех держав, решения об открытии не позднее 1 мая 1944 г. второго фронта в Европе, о послевоенных границах Польши и другие. Руководители СССР взяли на себя обязательство объявить войну Японии после разгрома германской армии.

С. М. Навашину, 2 января 1944 г. (с. 225).

Шварц Антон Исаакович (1896—1954) — мастер художественного слова.

Н. Н. Никитину, 2 февраля 1945 г. (с. 228).

«Серапионовы братья» — литературная группа (название группы от одноименной книги немецкого писателя Т. Э. Гофмана) возникла в начале 1921 г. в Петрограде при издательстве «Всемирная литература». В группу входили: И. Груздев, М. Зощенко, Вс. Иванов, В. Каверин, Л. Лунц, Н. Никитин, Е. Полонская, М. Слонимский, Н. Тихонов, К. Федин.

...юбилей Камерного театра.— Тридцатилетие Камерного театра исполнилось 25 декабря 1944 г. Вечер, посвященный юбилею, состоялся 4 февраля 1945 г.

Н. Н. Никитину, 24 февраля 1945 г. (с. 229).

Опубликовано в газете «Советская Россия» (25 декабря 1983 г.).

Лазаренко Виталий Витальевич (1914—1948) — артист цирка.

«Так и будет» — пьеса К. Симонова.

Костя Федин... трудится над романом.— Романом «Первые радости».

Теперь ругает Книпович.— В «Знамени» (1944, № 9—10) была напечатана статья Е. Ф. Книпович «Красивая неправда о войне», критиковавшая рассказы К. Паустовского о войне.

Т. А. Евтеевой, 13 мая 1945 г. (с. 231).

Печатается по подлиннику, хранящемуся у Г. А. Арбузовой [1]. Опубликовано (с сокращениями) также, как и письма Т. А. Евтеевой от 19 мая, 6 октября, 15 октября, 13 декабря 1945 г., в еженедельнике «Литературная Россия» 26 февраля 1982 г.

Евтеева Татьяна Алексеевна (1910—1978) — актриса, с 1949 г. жена К. Г. Паустовского,

[1] Письма К. Г. Паустовского к Т. А. Паустовской (Евтеевой), А. К. Паустовскому и Г. А. Арбузовой публикуются по подлинникам, хранящимся у Г. А. Арбузовой, что в дальнейшем не оговаривается.

Н. Н. Никитину, 10 октября 1945 г. (с. 236).

Меншиков Александр Данилович (1673—1729) — сподвижник Петра I, светлейший князь, генералиссимус. Императором Петром II был сослан в Березов (ныне Березово Тюменской области). В. И. Суриков написал картину «Меншиков в Березове».

Н. Н. Никитину, 30 октября 1945 г. (с. 239).

Опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1985, № 9.

Н. Н. Никитину, 15 ноября 1945 г. (с. 240).

Куинджи Архип Иванович (1841—1910) — русский живописец-передвижник. «*Березовая роща*» — одна из его картин. У И. И. Левитана есть картина того же названия.

«*Рассказы разных лет*» — книга Н. Никитина, вышедшая в 1945 г. в ленинградском отделении «Советского писателя».

Н. Н. Никитину, 9 декабря 1945 г. (с. 243).

Опубликовано в газете «Советская Россия» (25 декабря 1983 г.).

Трегуб Семен Адольфович (1907—1975) — советский литературный критик.

Зоя Александровна Никитина — первая жена Н. Никитина, литературный работник, в конце войны и в послевоенные годы была заместителем директора и директором ленинградского отделения Литфонда СССР.

К. А. Федину, 25 декабря 1945 г. 1946 г. (с. 246).

«*Санаторий Арктур*» — роман К. Федина, вышедший в 1940 г.

С. М. Навашину, 29 декабря 1945 г. (с. 248).

Леон Абгарович Орбели (1882—1958) — советский физиолог, академик.

«*Далекие годы*» (отрывок) были напечатаны в журнале «Новый мир» (1945, № 10).

...*биографии Эдгара По.*— Статья об Эдгаре По появилась в книге: Эдгар По. Золотой жук (Рассказы). М.— Л., Детгиз, 1946.

...*должна выйти книжка...*— В 1946 г. в библиотеке «Огонька» вышла книжка К. Паустовского «Дождливый рассвет».

«*Брянские леса*» (отрывок из «Далеких годов») были напечатаны в журнале «Ленинград» (1945, № 21—22).

Н. Н. Никитину, 18 января 1946 г. (с. 249).

Слова, выделенные шрифтом, представляют собой вырезки из «Вечерней Москвы», наклеенные на страницу, на которой писалось это шутливое письмо.

...*Бобров... написал... книгу о своем детстве.*— Речь идет о лирической повести Сергея Павловича Боброва (1889—1971) «Мальчик», впервые опубликованной в 1966 г.

Герасимов Сергей Васильевич (1885—1964) — советский живописец.

Чарушин Евгений Иванович (1901—1965) — советский график и писатель.

Серов Владимир Александрович (1910—1968) — советский живописец.

«Тегеранская конференция» — картина художника Ефанова Василия Прокофьевича (1900—1978).

Л. И. Борисову, 23 марта 1946 г. (с. 250).

Письма Л. И. Борисову печатаются по ксерокопии. Подлинники в ЦГАЛИ.

Опубликовано в журнале «Кодры» (1972, № 5) по машинописной копии, сделанной адресатом и снабженной им следующим комментарием: «В январе 1946 года в Ленинградском областном издательстве вышла книжка моя — повесть об Александре Грине «Волшебник из Гель-Гью». Книжку эту я отправил К. Г. Паустовскому. От него два месяца спустя получил ответ».

Л. И. Борисову, 8 апреля 1946 г. (с. 251).

Опубликовано в журнале «Кодры» (1972, № 4). В публикации письму было предпослано следующее объяснение адресата: «В марте 46 года я начал работать над второй повестью о Грине — «Спящая красавица» и, предполагая, что К. Г. что-то знает о Грине такое, чего не знает никто,— обратился к нему с просьбой сообщить мне те факты, которые ему известны из жизни Грина. К. Г. ответил мне.

Л. И. Борисову, 23 апреля 1946 г. (с. 253).

Опубликовано в журнале «Кодры» (1972, № 5).

К. А. Федину, 27 июня 1946 г. (с. 253).

Опубликовано в журнале «Новый мир» (1982, № 7).

Эртель Александр Иванович (1855—1908) — русский писатель, автор романов «Гардепины, их дворня, приверженцы и враги», «Смена» и многочисленных повестей.

К. А. Федину, 12 августа 1947 г. (с. 256).

Опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1985 г., № 9.

О боях под Плевной.— Плевен (Плевна) — город в Болгарии, под которым во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. шли ожесточенные бои, закончившиеся капитуляцией турецкого гарнизона.

К. А. Федину, 3 сентября 1947 г. (с. 257).

Опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1985 г., № 9.

Стихотворение *«Легкой жизни я просил у бога...»*, вопреки распространенному мнению, будто оно принадлежит И. А. Бунину, написано русским поэтом и переводчиком Иваном Ивановичем Тхоржевским (1878—1951).

Саммир — Самуил Миронович Алянский.

Воронежскому критику ⟨М. Сергеенко⟩, 1947 г. (с. 258).

Печатается по книге: «Воспоминания о Константине Паустовском», М., «Советский писатель», 1983 г. (первое издание — 1975 г.). Согласно свидетельству Ю. Гончарова (автора воспоминаний «Сердце, полное света»), подлинник находится в архиве альманаха «Литературный Воронеж». Письмо является ответом на опубликованную в

альманахе («Литературный Воронеж», 1947, № 1) статью М. Сергеенко «Константин Паустовский. «Воронежское лето». Из дневника».

В. В. Навашиной, 8 сентября 1947 г. (с. 260).

...написал одну маленькую сказку...— Речь идет, очевидно, о сказке «Дремучий медведь».

Массалитинов Константин Ираклиевич (1905—1979) — советский хоровой дирижер, композитор.

В. В. Навашиной, 23 октября 1947 г. (с. 261).

Рассказ «*Утренник*» был напечатан в № 48 «Огонька» за 1947 г.

Ступникер Александр Максимович — редактор, сотрудник журнала «Огонек».

К. А. Федину, 5 июля 1948 г. (с. 263).

Перфильева Анастасия Витальевна — русская советская писательница.

Дик Иосиф Иванович — русский советский писатель. И. Дик в своих воспоминаниях о годах, проведенных в Литературном институте, вспоминает: «За день до получения дипломов мы дали Паустовскому телеграмму, в которой сердечно благодарили его за творческие наставления. Ответ пришел незамедлительно: «3.7. 48. МОСКВА ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР, 25. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ. ПЕРФИЛЬЕВОЙ, ДИКУ. СОЛОТЧИ. ГОРЯЧО ПОЗДРАВЛЯЮ ГЛУБИНЫ МЕЩОРСКИХ ЛЕСОВ. ВЕРЮ ВАШИ НОВЫЕ ПРЕКРАСНЫЕ КНИГИ. БЛАГОДАРЮ ТЕЛЕГРАММУ. ПРИВЕТ ВСЕМ. ПАУСТОВСКИЙ».

К. А. Федину, 20 августа 1948 г. (с. 264).

Опубликовано в «Литературной газете» (9 июня 1982 г.).

Н. С. Алянской, 31 августа 1948 г. (с. 265).

Печатается по подлиннику, хранящемуся у адресата.

К. А. Федину, 12 ноября 1948 г. (с. 266).

...юбилей МХАТ'а.— В 1948 году исполнилось 50 лет со дня основания театра.

Трифонов Юрий Валентинович (1925—1981) — русский советский прозаик.

...от Ивана Сергеевича — Соколова-Микитова.

Р. И. Фраерману, 9 июля 1949 г. (с. 267).

Пермяк Евгений Андреевич (1902—1981) — русский советский писатель.

К. А. Федину, 18 октября 1949 г. (с. 269).

Опубликовано в журнале «Новый мир» (1972, № 7).

Слишком много ворвалось в жизнь за последние месяцы.— Паустовский имеет в виду развод с В. В. Навашиной и женитьбу на Татьяне Алексеевне Паустовской.

Т. А. Паустовской, 24 марта 1950 г. (с. 270).

Опубликовано в еженедельнике «Литературная Россия» (26 февраля 1982 г.).

В Ленинград К. Г. Паустовский ездил в связи с тем, что писал сценарий научно-популярного фильма о Пушкине. Сценарий был написан, но фильм по нему поставлен не был.

Орбели Иосиф Абгарович (1887—1961) — советский востоковед, академик, с 1934 по 1951 г. директор Эрмитажа.

З. Н. Александровой, 27 сентября 1950 г. (с. 277).

Печатается по ксерокопии, предоставленной адресатом.

Т. А. Паустовской, 29 апреля 1951 г. (с. 278).

Опубликовано (в сокращенном виде) в «Литературной России» (26 февраля 1982 г.).

Ю. К. Смоличу, 12 августа 1951 г. (с. 286).

Письма Ю. К. и Е. Г. Смоличам публикуются по ксерокопиям. Подлинники у Е. Г. Смолич.

Опубликовано в журн. «Радуга», 1981, № 10

В. С. и Р. И. Фраерманам, 15 марта 1952 г. (с. 287).

Осип — О. Е. Черный.

Екатерина Степановна — Загорская-Паустовская.

Т. А. Паустовской, 20 декабря 1952 г. (с. 289).

«*У стен Малапаги*»— фильм французского режиссера Рене Клемана.

Т. А. Паустовской, 18 мая 1953 г. (с. 295).

Гордиенко Константин Алексеевич (р. 1899) — украинский советский прозаик.

Крылов Александр Николаевич (1863—1945) — советский кораблестроитель, механик и математик, академик.

Молодым писателям, 27 декабря 1953 г. (с. 297).

Печатается по ксерокопии. Подлинник в ЦГАЛИ. Опубликовано в журнале «Юность», 1982, № 6.

Б. С. Евгеньеву, 6 февраля 1954 г. (с. 297).

Письма Б. С. Евгеньеву печатаются по ксерокопиям. Подлинники у адресата.

С Вашими поправками...— Речь идет о поправках в рукописи книги «Бег времени», которая в том же году вышла в издательстве «Советский писатель».

А. П. Довженко, 27 ноября 1954 г. (с. 302).

Печатается по авторской машинописной копии, хранящейся у Г. А. Арбузовой.

Юлия Ипполитовна Солнцева — советская актриса и кинорежиссер, жена А. П. Довженко.

В. А. Каверину, 5 февраля 1955 г. (с. 302).

Письма В. А. Каверину печатаются по ксерокопиям. Подлинники у адресата.

...присмотрите... за секцией...— К. Г. Паустовский был в это время председателем секции прозаиков московского отделения Союза писателей,

Антонов Сергей Петрович (р. 1915) — современный русский прозаик.

Либединский Юрий Николаевич (1898—1959) — русский советский прозаик.

Лидия Николаевна Тынянова (1902—1984) — русский советский прозаик, жена В. А. Каверина.

Т. А. Паустовской, 6 февраля 1955 г. (с. 303).

Андерсена... дать в «Огонек» к юбилею (в апреле).— Речь идет о рассказе «Ночной дилижанс», ставшим частью «Золотой розы» и впервые опубликованном в журнале «Огонек», 1955, № 13.

Н. И. Замошкину, 20 марта 1955 г. (с. 306).

Письма Н. И. Замошкину печатаются по ксерокопиям. Подлинники в ЦГАЛИ.

Ратнер Евгений Ильич — русский советский прозаик.

М. Л. Слонимскому, 13 апреля 1955 г. (с. 307).

Письма М. Л. Слонимскому печатаются по ксерокопиям. Подлинники — у И. И. Слонимской.

Добин Ефим Семенович (1901—1977) — русский советский критик и литературовед.

...жрала шоколад «Миньон»...— парафраз строки поэмы А. Блока «Двенадцать» («Гетры серые носила, Шоколад «Миньон» жрала...»).

...я слышал столько похвал Вашему сыну...— Сергею Михайловичу Слонимскому (р. 1932), композитору и пианисту.

Ю. Г. Саушкину, 21 апреля 1955 г. (с. 308).

Печатается по подлиннику, хранящемуся у Л. А. Левицкого.

...о «Родных просторах» — Речь идет о книге К. Паустовского «Родные просторы» (М., Географгиз, 1954), вышедшей под редакцией и со вступительной статьей доктора географических наук Саушкина Юлиана Глебовича (1911—1982).

А. К. Гладкову, 27 апреля 1955 г. (с. 308).

Письма А. К. Гладкову печатаются по ксерокопиям. Подлинники в ЦГАЛИ. Опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1985 г., № 9.

Гладков Александр Константинович (1912—1976) — русский советский драматург и эссеист.

Н. И. Замошкину, 24 июля 1955 г. (с. 309).

Михаил Борисович — Храпченко, в ту пору главный редактор «Октября».

Б. С. Евгеньеву, 26 июля 1955 г. (с. 310).

...затягиваю сдачу «Золотой розы».— После публикации в «Октябре» (1955, № 9, 10) «Золотая роза» вышла отдельным изданием в «Советском писателе» (М., 1956).

Как дела с «Повестью о жизни».— Книга «Повесть о жизни», в которую вошли «Далекие годы» и «Беспокойная юность», вышла в издательстве «Советский писатель» в 1955 г.

Ю. К. Смоличу, 3 августа 1955 г. (с. 311).

Опубликовано в журн. «Радуга», 1981, № 10.

Ванда Львовна Василевская (1905—1964) — польская и советская писательница.

Панч Петро (псевдоним; настоящее имя — Петр Иосифович Панченко; 1891—1978) — украинский советский прозаик.

А. А. Степановой. 20 сентября 1955 г. (с. 313).

Печатается по авторской машинописной копии. Подлинник у адресата. Опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1985 г., № 9.

В письме к Г. А. Арбузовой А. А. Степанова писала: «В детстве я потеряла зрение, но закончила школу, институт, аспирантуру, защитила диссертацию и уже двадцать семь лет работаю в пединституте, преподаю литературу. В моей нелегкой жизни мне помогали и помогают многие и многое, и, конечно же, книги... но, пожалуй, больше всех других книг мне нужны добрые, светлые книги Константина Георгиевича. Они мне помогают *видеть* мир, насколько это возможно, заменяют зрение. В 1955 г. я написала об этом взволнованно и благодарно Константину Георгиевичу... Писала сама карандашом, поэтому, извиняясь, объяснила ему, почему прочитать мое письмо, может быть, будет нелегко. Вот чем вызваны слова Константина Георгиевича о том, что прочел он мое письмо без труда...»

В редакцию альманаха «Молодая гвардия», 18 декабря 1955 г. (с. 314).

Печатается по ксерокопии. Подлинник в Литературном музее. Опубликовано в журнале «Юность» (1982, № 6).

Балтер Борис Исаакович (1919—1974) — русский советский писатель, автор повести «До свидания, мальчики», посвященной К. Г. Паустовскому.

А. К. Паустовскому, 5 января 1956 г. (с. 315).

Борис Петрович Свешников—современный живописец и график.

Г. А. Арбузовой, 12 января 1956 г. (с. 316).

Опубликовано в журнале «Пионер» (1982, № 6).

К. А. Федину, 27 февраля 1956 г. (с. 318).

...да живет новая традиция...— 20 февраля 1956 г. К. Федин писал Паустовским: «Дорогие Татьяна Алексеевна и Костя, у меня к Вам большая просьба: если Вы хотите доставить мне большую радость, соберитесь к нам — провести вечер 24-го февраля у нас в Лаврушинском. Это будет возобновлением старой традиции и вместе — началом новой. Пожалуйста, не отказывайтесь...» 24 февраля — день рождения К. Федина.

Э. Г. Казакевичу, 11 апреля 1956 г. (с. 318).

Письма Э. Г. Казакевичу печатаются по ксерокопиям. Подлинники в ЦГАЛИ. Опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1985 г., № 9.

«Литературная Москва» — литературно-художественный сбор-

ник московских писателей (М., ГИХЛ, 1956), вышедший под редакцией М. И. Алигер, А. А. Бека, Г. С. Березко, В. А. Каверина, Э. Г. Казакевича, А. К. Котова, К. Г. Паустовского, В. А. Рудного, В. Ф. Тендрякова.

...на первом месте Ваша повесть.— В сборнике был опубликован роман Э. Г. Казакевича «Дом на площади».

...очерк Злобина.— Очерк Анатолия Злобина «Правда, которую я скрывал (Записки главного инженера)».

...статья Пастернака — «Заметки к переводам шекспировских трагедий» Бориса Пастернака.

Федин несколько...— В сборнике напечатана глава «В Ясной поляне», вошедшая в роман К. Федина «Костер».

Совершенно поразительный Заболоцкий.— В сборнике были напечатаны следующие стихотворения Николая Заболоцкого: «Ходоки», «Уступи мне, скворец, уголок...», «Некрасивая девочка», «Осенние пейзажи», «Журавли», «Лебедь в зоопарке».

...молодой Рождественский.— В сборнике были напечатаны стихотворения Роберта Рождественского: «Речка Иня», «Ожидание», «Утро».

А. Я. Бруштейн, 5 мая 1956 г. (с. 319).

Письма А. Я. Бруштейн печатаются по ксерокопиям. Подлинники в ЦГАЛИ.

Бруштейн Александра Яковлевна (1884—1968) — русская советская писательница.

Н. Д. Крючковой, 22 августа 1956 г. (с. 320).

Письма Н. Д. Крючковой печатаются по подлинникам, хранящимся в архиве ИХЛ.

Крючкова Надежда Дмитриевна — редактор шеститомного собрания сочинений К. Г. Паустовского.

...моя поездка на «Победе».— Осенью 1956 г. К. Г. Паустовский совершал круиз вокруг Европы на теплоходе «Победа».

Т. А. Паустовской, 7 сентября 1956 г. (с. 320).

Опубликовано (с небольшими сокращениями) в «Литературной России» (26 февраля 1982 г.).

Акимов Николай Павлович (1901—1968) — советский театральный режиссер и художник, руководитель Ленинградского театра комедии.

Рахманов Леонид Николаевич (р. 1908) — русский советский драматург и прозаик.

Катерли Елена Иосифовна (1902—1958) — русская советская писательница.

А. К. Бабореко, 20 ноября 1956 г. (с. 324).

Печатается по ксерокопии. Подлинник в ЦГАЛИ.

Бабореко Александр Кузьмич (р. 1913 г.) — русский советский литературовед, исследователь жизни и творчества И. А. Бунина.

Вера Николаевна Муромцева-Бунина (1881—1961) — жена И. А. Бунина.

Юлий Алексеевич *Бунин*, *Евгений* Алексеевич Бунин — братья И. А. Бунина.

А. Я. Бруштейн, 24 ноября 1956 г. (с. 324).

Опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1985 г., № 9.

«*Дорога уходит в даль*» — первая часть автобиографической трилогии А. Я. Бруштейн.

Турков, оказывается, молодец.— К. Г. Паустовский имеет в виду высокую оценку книге А. Я. Бруштейн «Дорога уходит в даль» в рецензии А. М. Туркова «Знакомство с Пуговицей» («Литературная газета», 17 ноября 1956 г.).

Л. Н. Рахманову, 24 ноября 1956 г. (с. 325).

Письма Л. Н. Рахманову печатаются по ксерокопиям. Подлинники у адресата. Опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1985 г., № 9.

...произнести некую речь...— 23 октября 1956 г. на обсуждении романа В. Д. Дудинцева «Не хлебом единым» Паустовский произнес речь, которая подверглась резкой критике.

Гранин Даниил Семенович (р. 1918) — русский советский прозаик.

Т. А. Паустовской, 12 марта 1957 г. (с. 326).

Райнис (настоящая фамилия — Плиекшанс) Янис (1865—1929) — латышский поэт и драматург.

Э. Г. Казакевичу, 14 марта 1957 г. (с. 327).

Опубликовано в журнале «Юность» (1982, № 6).

Казаков Юрий Павлович (1927—1982) — русский советский прозаик.

Куранов Юрий Николаевич (р. 1931) — русский советский прозаик.

А. К. Паустовскому, 14 марта 1957 г. (с. 328).

Опубликовано в журнале «Пионер» (1982, № 6).

М. И. Сизовой, 8 июля 1957 г. (с. 329).

Печатается по ксерокопии. Подлинник в Библиотеке имени Ленина.

Борис Сергеевич Евгеньев был не главным редактором, а заместителем главного редактора журнала «Москва».

З. А. Никитиной, 25 сентября 1957 г. (с. 330).

Печатается по ксерокопии. Подлинник в ЦГАЛИ.

Мое мнение о рукописях.— Отзывы о рукописях для третьего (не состоявшегося) сборника «Литературная Москва».

Шаров Александр Израилевич (1909—1981) — русский советский прозаик.

Равич Николай Александрович (1899—1971) — русский советский прозаик, драматург, публицист, переводчик.

Что слышно о Коле? — Н. Н. Никитине, первом муже З. А. Никитиной.

Т. А. Паустовской, 10 октября 1957 г. (с. 331).

Опубликовано в «Литературной России» (26 февраля 1982 г.).

Данин Даниил Семенович (р. 1914) — русский советский прозаик и критик.

Малюгин Леонид Антонович (1909—1968) — русский советский драматург и критик.

О. П. Вороновой, 6 января 1958 г. (с. 333).

Печатается по подлиннику, хранящемуся у Г. А. Арбузовой.

Воронова Ольга Порфирьевна — литературовед и искусствовед.

Спасибо Вам... за превосходную статью.— 17 декабря 1957 г. в «Пятигорской правде» была опубликована статья О. Вороновой «Константин Паустовский».

Л. Н. Делекторской, 17 февраля 1958 г. (с. 334).

Письма Л. Н. Делекторской публикуются по подлинникам, хранящимся у Г. А. Арбузовой.

Опубликовано в журнале «Новый мир» (1982, № 7).

Лидия Николаевна *Делекторская* — переводчица произведений Паустовского на французский язык.

В Художественном театре идет его пьеса.— Пьеса Л. Рахманова «Беспокойная старость».

Два из этих рассказов...— В журнале «Москва» (1958, № 3) были опубликованы рассказы К. Паустовского «Толпа на набережной», «Умолкнувший звук».

Форш Ольга Дмитриевна (1873—1961) — русская советская писательница, автор исторических романов.

Л. Н. Рахманову, 15 марта 1958 г. (с. 335).

Опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1985 г., № 9.

Встречаете ли Веру Федоровну...— Панову.

Орлов Сергей Сергеевич (1921—1977) — русский советский поэт.

Цимбал Сергей Львович (1907—1978) — русский советский театральный критик.

Э. Г. Казакевичу, 25 марта 1958 г. (с. 337).

Опубликовано в «Литературной газете» (9 июня 1982 г.).

...размаху романа.— По-видимому, речь идет о повести Э. Казакевича «Синяя тетрадь».

Е. И. Балашовой, 22 апреля 1958 г. (с. 338).

Печатается по фотокопии. Подлинник у адресата.

Елена Ивановна *Балашова* — художник и художественный редактор издательства «Советский писатель».

Что касается титула... — Речь идет об оформлении книги «Начало неведомого века», которая вышла в издательстве «Советский писатель» в 1958 г.

...оформлением «Записных книжек» Ильфа...— Книгу И. Ильфа оформил С. Б. Теленгатер.

Л. Н. Рахманову, 22 мая 1958 г. (с. 339).

«Базиль» — повесть Л. Рахманова.

Я был потрясен этой смертью...— Елена Иосифовна Катерли умерла 28 апреля 1958 г. в Ленинграде.

Магалифу, 30 июня 1958 г. (с. 340).

Печатается по авторской машинописной копии, хранящейся у Г. А. Арбузовой. Как явствует из письма Паустовского, Магалиф протестовал против того, что автор «Начала неведомого века» изобразил его внешность не такой, какой она была в действительности. При переиздании повести Паустовский учел замечания Магалифа.

В издательство «Советская Россия», 11 августа 1958 г. (с. 341).

Печатается по машинописной копии, хранящейся у В. К. Паустовского. К письму был приложен отзыв о рукописи Е. Загорской «Анна Голубкина».

С. М. Алянскому, 14 августа 1958 г. (с. 342).

Письма С. М. Алянскому печатаются по подлинникам, хранящимся у Н. С. Алянской. Опубликовано в «Новом мире» (1982, № 7).

Микулин Александр Александрович (1895—1985) — советский конструктор авиационных моторов, академик.

С. М. Алянскому, 26 августа 1958 г. (с. 344).

Опубликовано в «Новом мире», 1982, № 7.

Слуцкий Борис Абрамович (р. 1919)— русский советский поэт.

Зденка — Здена Псуткова, переводчица на чешский язык произведений русских писателей, в частности Паустовского.

Знаете ли Вы о похоронах Михаила Михайловича? — Михаил Михайлович Зощенко умер 22 июля 1958 г. в Ленинграде. Когда шла гражданская панихида, пад гробом покойного возникла резкая полемика, столь неуместная во время траурной церемонии.

Я сейчас как раз читаю Фейнберга о Пушкине.— Речь идет о втором, дополненном издании книги «Незавершенные работы Пушкина» советского литературоведа Ильи Львовича Фейнберга (1905—1979),

А. К. Гладкову, 14 сентября 1958 г. (с. 345).

Недаром Бек выбрал его героем своей книги...— Имеется в виду роман «Жизнь Бережкова», увидевший свет в 1956 г.

Патошинский — фамилия Н. Д. Оттена (Оттен — псевдоним).

...дочь Марины Цветаевой.— Ариадна Сергеевна Эфрон (1912—1975) — русская советская переводчица и автор воспоминаний о матери.

Спасибо за... Джозефа Конрада.— А. К. Гладков послал Паустовскому вышедшую в 1958 г. книгу Джозефа Конрада «Зеркало морей. Воспоминания и впечатления».

В. А. Каверину, 16 сентября 1958 г. (с. 346).

Зоя — З. А. Никитина,

Привет... Николаю Леонидовичу.— Н. Л. Степанов (1902—1972) — русский советский литературовед.

Р. М. Достян, 20 сентября 1958 г. (с. 348).

Письма Р. М. Достян печатаются по ксерокопиям. Подлинники у адресата. Опубликовано в журнале «Юность» (1982, № 6).

...прочел «Кто идет?».— Цикл новелл, составивших книгу Р. Достян «Кто идет?», вышедшей в 1958 г.

Читали ли вы Могема «Подводя итоги»? — Книга английского писателя В. Сомерсета Моэма (1874—1965) «Подводя итоги», которую Паустовский читал с большим интересом.

Обществу польско-советской дружбы, 2 ноября 1958 г. (с. 349).

Печатается по авторской машинописной копии, хранящейся у Г. А. Арбузовой.

В 1958 г. К. Г. Паустовскому Обществом польско-советской дружбы была присуждена премия за развитие дружбы между народами Польши и СССР.

Красиньский Зыгмунт (1812—1859) — польский прозаик и поэт.

А. Т. Твардовскому, 1958 г. (с. 350).

Письмо не датировано, но судя по содержанию, оно было отправлено незадолго до следующего письма, скорее всего в ноябре. Печатается по авторской машинописной копии, хранящейся в архиве К. Г. Паустовского.

Редакционной коллегии журнала «Новый мир».

А. Т. Твардовскому, А. Г. Дементьеву, 7 декабря 1958 г. (с. 351).

Печатается по авторской машинописной копии, хранящейся у Г. А. Арбузовой. Является ответом на письмо, подписанное главным редактором «Нового мира» и его заместителем (А. Т. Твардовский. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 6. М., «Художественная литература», 1983 г., с. 88—90). Автор примечаний М. И. Твардовская сообщает, что черновик написан рукой А. Т. Твардовского. Твардовский писал:

«Мы были очень обрадованы встречей с Вами в редакции после первого чтения «Времени больших ожиданий». Более того, мы с особым удовлетворением вспоминали и ставили в глаза и за глаза в пример некоторым молодым, да ранним Вашу исполненную достоинства скромность, готовность и способность спокойно выслушать даже и не очень приятные редакторские замечания, по-деловому заключить нелегкий разговор согласием «перепахать» еще раз рукопись, сделать все, что необходимо для беспрепятственного ее опубликования.

И нам, право, жаль, что покамест — так уж оно получилось — результаты «перепашки» оказались, мягко выражаясь, малопродуктивными... внесенные Вами исправления нимало не меняют общего духа, настроения и смысла вещи. По-прежнему в ней нет мотивов труда, борьбы и политики, по-прежнему в ней есть поэтическое одиночество, море и всяческие красоты природы, самоцен-

ность искусства... последние могикане старой и разные щелкоперы новой прессы, Одесса, взятая с анекдотически-экзотической стороны. Не может не вызвать по-прежнему возражений угол зрения на представителей «литературных кругов»: Бабель, апологетически распространенный на добрую четверть повести; юродствующий графоман Шенгели в пробковом шлеме, которого Вы стремитесь представить как некоего рыцаря поэзии; Багрицкий — трогательно-придурковатый,— Вы не заметили, как это получилось,— придурковатый стихолюб и т. п. И главное, во всем — так сказать, пафос безответственного, в сущности, глубокоэгоистического «существовательства», обывательской, простите, гордыни, коей плевать на «мировую историю» с высоты своего созерцательского, «надзвездного» единения с вечностью. Сами того, может быть, не желая, Вы стремитесь литературно закрепить столь бедную биографию, биографию, на которой нет отпечатка большого времени, больших народных судеб, словом, всего того, что имеет непреходящую ценность... Мы искренне хотим быть понятыми правильно, мы хотим напечатать Вашу вещь, имея в виду и вообще интерес читателя ко всему, что принадлежит Вашему перу, и, в частности, интерес журнала, который никак не хотел бы утратить и в данном, затруднительном случае контакт с таким автором, каким являетесь Вы.

Не откажите откликнуться на это письмо».

Паустовского глубоко огорчило, что его рукопись была отклонена Твардовским, которого он высоко ценил и как поэта, и как редактора журнала. Не было недостатка в предложениях напечатать «Время больших ожиданий» в других органах печати, но его автор стремился опубликовать повесть в «Новом мире», в журнале, литературная позиция которого ему была близка.

По просьбе К. Г. Паустовского рукопись «Времени больших ожиданий» была ему редакцией возвращена, опубликована в журнале «Октябрь», 1959, № 3—5, в дальнейшем вошла как книга пятая «Повести о жизни», неоднократно переиздавалась.

Через три года после того, как «Новый мир» отклонил повесть Паустовского, главный редактор журнала А. Т. Твардовский, оценивая начало третьей части мемуаров И. Г. Эренбурга, писал его автору: «Хорош и Бабель, хотя страницы, посвященные памяти этого писателя, не обладают особой новизной содержания — был уже похожий Бабель у Паустовского и еще у кого-то» (Письмо А. Т. Твардовского И. Г. Эренбургу от 17 августа 1961 г. «Встречи с прошлым», выпуск 4, М., «Советская Россия», 1982).

С. М. Алянскому, 8 декабря 1958 г. (с. 353).

Ковалевский Вячеслав Александрович (1897—1971) — русский советский писатель.

Что на съезде...— на Учредительном съезде писателей РСФСР, состоявшемся в декабре 1958 г.

Видели ли Вы картину «Главная улица».— Фильм испанского кинорежиссера Хуана Антонио Бардема Муньоса.

В. Б. и С. Г. Шкловским, 19 декабря 1958 г. (с. 354).

Письма В. Б. и С. Г. Шкловским печатаются по ксерокопиям. Подлинники в ЦГАЛИ.

Опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1985 г., № 9.

«А к полночи восходит на востоке...» — из стихотворения И. А. Бунина «Сатурн». В оригинале — «Но к полночи».

В Государственное издательство художественной литературы, 7 января 1959 г. (с. 357).

Печатается по машинописной копии, пересланной в ИХЛ из «Литературной газеты» вместе с письмом деятелей украинской культуры. Хранится в архиве ИХЛ.

А. Е. Бэкону, 12 февраля 1959 г. (с. 359).

Печатается по авторской машинописной копии, хранящейся у Г. А. Арбузовой.

А. Е. Бэкон — сотрудник лондонского издания «Who's Who» («Кто есть кто»).

Ф. И. Панферову, 18 февраля 1959 г. (с. 359).

Печатается по ксерокопии. Подлинник в ЦГАЛИ.

Панферов Федор Иванович (1896—1960) — русский советский прозаик и драматург, с 1931 г. до конца жизни (с небольшими перерывами) — главный редактор журнала «Октябрь».

Лев Романович Шейнин (1906—1967) — русский советский прозаик и драматург, много лет работавший в суде и в Прокуратуре СССР, в пору, когда писалось письмо,— заместитель главного редактора журнала «Октябрь».

Антонина Дмитриевна Коптяева (р. 1909) — русская советская писательница, жена Ф. И. Панферова.

В Ленфильм, 18 марта 1959 г. (с. 360).

Опубликовано в воспоминаниях Евг. Андриканиса «Бесконечно близкий человек» («Воспоминания о Константине Паустовском». М., «Советский писатель», 1983 г.). Печатается по тексту книги.

Андриканис Евгений Николаевич (р. 1909) — советский кинооператор и кинорежиссер.

С. М. Алянскому, 20 апреля 1959 г. (с. 360).

Чуковский Николай Корнеевич (1904—1965) — русский советский поэт, прозаик, переводчик.

Финн Константин Яковлевич (1904—1975) — русский советский драматург и прозаик.

Иванов (Кома — прозвище) Вячеслав Всеволодович (р. 1929) — русский советский литературовед, лингвист, переводчик, сын Всеволода Вячеславовича Иванова.

А. К. Гладкову, 22 апреля 1959 г. (с. 362).

Опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1985 г., № 9.

Написал... большую статью...— Статья Паустовского «Бесспорные и спорные мысли» была опубликована 20 мая 1959 г. в «Литературной газете».

С. Сивриеву, 14 ноября 1959 г. (с. 367).

Письма С. Сивриеву печатаются по ксерокопиям. Подлинники у адресата.

Сивриев Станислав Стефанов (р. 1924) — болгарский писатель.

Ангел Каралийчев (1902—1972) — болгарский прозаик.

Славчо Черны́шев — Черни́шев Славчо Иванов (р. 1924) — болгарский писатель.

Веселин Андреев (р. 1918) — болгарский поэт и очеркист.

С. Сивриеву, 18 ноября 1959 г. (с. 367).

К письму приложено обращение к болгарским писателям: **Товарищам писателям Болгарии, 18 ноября 1958 г.** (с. 368)

Печатается по ксерокопии. Опубликовано в журнале «Новый мир» (1982, № 7).

И. Г. Эренбургу, 21 ноября 1959 г. (с. 370).

Печатается по авторской машинописной копии, хранящейся у Г. А. Арбузовой. Опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1985 г., № 9.

Габе Дора Петрова (1888—1982) — болгарская поэтесса.

Любовь Михайловна — жена И. Г. Эренбурга.

Т. А. Паустовской, 24 декабря 1959 г. (с. 372).

Келлерман Марк Александрович — юрист, специалист по вопросам авторского права, бывший одно время секретарем К. Г. Паустовского.

С. Сивриеву, 16 января 1960 г. (с. 372).

«*Войной взволнованный Кавказ*» — окончательное название пятой автобиографической книги — «Бросок на юг».

...накануне чеховских дней.— В январе 1960 г, отмечалось столетие со дня рождения А. П. Чехова.

Е. Н. Андриканису, 17 января 1960 г. (с. 373).

Письма Е. Н. Андриканису опубликованы в книге: «Воспоминания о Константине Паустовском». М., «Советский писатель», 1983, по тексту которой и печатаются. Подлинники у адресата.

С. Чернышеву, 22 февраля 1960 г. (с. 377).

Письма С. Чернышеву печатаются по ксерокопиям. Подлинники у адресата.

«*А внизу на стареньком балконе...*» — из стихотворения Н. А. Заболоцкого «Поэт».

В. Ф. и А. М. Борщаговским, 26 февраля 1960 г. (с. 378).

Письма А. М. и В. Ф. Борщаговским печатаются по ксерокопиям. Подлинники у адресатов.

Скво-Вели.— В этом городе проходили в 1960 г, зимние Олимпийские игры.

Л. Н. Делекторской, 9 апреля 1960 г. (с. 381).

Поль Мартен — сопереводчица Л. Н. Делекторской произведений К. Г. Паустовского на французский язык.

З. Ф. Коцюбинской, 9 мая 1960 г. (с. 384).

Печатается по ксерокопии. Подлинник у адресата.

Коцюбинская-Ефименко Зоя Фоминична — племянница украинского писателя Михаила Михайловича Коцюбинского (дочь его брата), автор многих книг о М. Коцюбинском.

О. В. Риссу, 9 мая 1960 г. (с. 384).

Печатается по фотокопии. Подлинник у адресата.

Крачковский Игнатий Юлианович (1883—1951) — советский востоковед, один из основателей советской арабистики, академик.

Нейгауз Генрих Густавович (1888—1964) — советский пианист.

Л. И. Борисову, 8 июня 1960 г. (с. 385).

...неправильно написал Ваше отчество.— Отчество Борисова было не «Николаевич», а «Ильич».

Я. Г. Кравцову, 4 августа 1960 г. (с. 385).

Печатается по ксерокопии. Подлинник в семье адресата.

Кравцов Яков Григорьевич — журналист, многолетний сотрудник газеты «Моряк» (Одесса).

Л. Н. Делекторской, 9 сентября 1960 г. (с. 386).

Опубликовано в журнале «Новый мир», 1982, № 7.

Леля — Helene Adant, двоюродная сестра Л. Н. Делекторской.

С. Сивриеву, 9 октября 1960 г. (с. 388).

Мефодиев — имеется в виду Методиев Димитр Христов (р. 1922) — болгарский поэт и общественный деятель.

«Амфора» была опубликована в журнале «Октябрь» (1961, № 2).

И. А. Гофф, 22 октября 1960 г. (с. 389).

Печатается по ксерокопии. Подлинник у адресата. Опубликовано в журнале «Юность» (1982, № 6).

Гофф Инна Анатольевна — русская советская писательница.

Т. А. Паустовской, 1960 г. (с. 390).

Число и месяц не указаны, но поскольку в письме говорится о вышедшем десятом номере «Октября», в котором напечатан «Бросок на юг», оно было написано не раньше октября.

Л. Н. Делекторской, 11 февраля 1961 г. (с. 390).

Опубликовано в журнале «Новый мир» (1982, № 2).

Арагон Луи (1897—1982) — французский поэт, прозаик, эссеист.

После Неаполя я написал рассказ.— «Толпа на набережной».

«Блоковские дни».— В 1960 г. исполнилось восемьдесят лет со дня рождения А. А. Блока (Блок родился 16(28) ноября 1880 г.).

Это была женщина, о которой Блок написал стихи «Никогда не забуду...» — Стихотворение «В ресторане» («Никогда не забуду...»), по свидетельствам исследователей Блока, было напи-

сано о Марии Дмитриевне Нелидовой, умершей в 1951 г. и с которой, следовательно, Паустовский не мог встретиться в 1960 г. в Ленинграде. Скорее всего, женщина, упоминаемая Паустовским,— это Валентина Петровна Веригина (1882—1974) — русская драматическая актриса, учившаяся в школе Московского Художественного театра, выступавшая на сцене театра В. Ф. Комиссаржевской, приятельница Л. Д. Блок.

«*Ты вернулся сюда...*» — из стихотворения О. Э. Мандельштама «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...».

Р. М. Достян, 11 февраля 1961 г. (с. 393).

Опубликовано в журнале «Юность» (1982, № 6).

«*В дачном кресле, ночью на балконе...*» — первая строфа стихотворения И. А. Бунина (без названия).

«*...на сердце не скудеет нежность...*» — из стихотворения Ф. И. Тютчева «Последняя любовь» («О, как на склоне наших лет...»). В оригинале — «Но в сердце не скудеет нежность».

Т. А. Паустовской, 14 февраля 1961 г. (с. 394).

Опубликовано в «Литературной России» (26 февраля 1982 г.).

Родов Семен Абрамович (1893—1968) — русский советский поэт, критик, переводчик.

«*Я забываю мир...*» — из стихотворения А. С. Пушкина «Осень».

«*Я люблю этот сумрак восторга...*» — из стихотворения Н. А. Заболоцкого «Гроза».

Бобович Борис Владимирович (1896—1975) — русский советский поэт и критик.

А. М. Борщаговскому, 18 февраля 1961 г. (с. 396).

Канович Григорий (настоящее имя — Яков Семенович; р. 1929)— литовский советский писатель, пишущий на русском и литовском языках.

Премия Гонкуров — ежегодная литературная премия во Франции, которую 10 видных литераторов (Академия Гонкуров) присуждают авторам лучших литературных произведений.

В Детгиз, май 1961 г. (с. 398).

Печатается по подлиннику, хранящемуся у Н. С. Алянской.

Предназначалось для юбилейного сборника, посвященного семидесятилетию со дня рождения С. М. Алянского. Паустовский прочел это письмо на вечере юбиляра.

«*Алконост*» — частное издательство, существовавшее в 1918—1923 гг. в Петрограде, основанное Алянским. Издательство выпустило почти все послереволюционные издания Блока, книги А. Белого, Вяч. Иванова, А. Ахматовой, А. Ремизова.

К. А. Федину, 8 июня 1961 г. (с. 401).

...с Иваном Сергеевичем — И. С. Соколовым-Микитовым.

Вера Николаевна Муромцева-Бунина умерла 3 апреля 1961 г. в Париже, Русский писатель-эмигрант Леонид Федорович Зуров,

долгие годы проживший в доме Буниных, не был приемным сыном И. А. Бунина.

Т. А. Паустовской, 12 июля 1961 г. (с. 405).

Опубликовано в «Литературной России» (26 февраля 1982 г.).

Да, я говорил еще на конгрессе о Хемингуэе...— 2 июля 1961 г. покончил с собой американский прозаик Эрнест Миллер Хемингуэй.

А. Г. Дементьеву, 2 октября 1961 г. (с. 406).

Печатается по авторской машинописной копии. Опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1985 г., № 9.

Дементьев Александр Григорьевич (1904—1986) — русский советский критик и литературовед, в пору письма заместитель главного редактора журнала «Новый мир».

А. К. Гладкову, 24 ноября 1961 г. (с. 407).

...Ваш «Мейерхольд».— Записи «Мейерхольд говорит» были опубликованы в «Новом мире» (1961, № 8).

Н. Я. Москвину, 15 декабря 1961 г. (с. 407).

Печатается по ксерокопии. Подлинник в ЦГАЛИ.

Москвин (настоящая фамилия Москвин-Воробьев) Николай Яковлевич (1900—1968) — русский советский прозаик.

«Два долгих дня» — повесть Н. Я. Москвина, вышедшая в 1961 г.

Зине — З. Н. Александровой, первой жене Москвина.

Арону — А. И. Эрлиху, мужу З. Н. Александровой.

В. А. Каневскому, 19 февраля 1962 г. (с. 409).

Письма В. А. Каневскому печатаются по подлинникам, хранящимся у Г. А. Арбузовой.

Каневский Виктор Абрамович — врач, лечивший К. Г. Паустовского.

Н. П. Раздоровой, 10 апреля 1962 г. (с. 410).

Печатается по машинописной копии. Подлинник у адресата.

Раздорова-Гусарова Нина Павловна — лингвист, кандидат филологических наук. В мае 1962 г. в Ленинградском университете защитила диссертацию на тему: «Наблюдения над словоупотреблением К. Г. Паустовского».

Брагин Сергей Георгиевич — сотрудник музея А. П. Чехова в Ялте.

Э. Г. Казакевичу, 9 июня 1962 г. (с. 411).

Опубликовано в сборнике «Воспоминания о Константине Паустовском».

Является ответом на письмо, написанное Казакевичем в связи с семидесятилетием Паустовского.

В. Ф. Пановой, 10 июля 1962 г. (с. 411).

Печатается по ксерокопии. Подлинник в ЦГАЛИ.

Спасибо Вам... за... статью.— 31 мая 1962 г. «Известия» опубликовали статью В. Пановой «Воспитание сердец», посвященную семидесятилетию со дня рождения Паустовского.

Н. Хикмету, 11 июля 1962 г. (с. 412).

Опубликовано в «Новом мире» (1982, № 7). Печатается по подлиннику, хранящемуся у Г. А. Арбузовой.

Назым Хикмет Ран (1902—1963) — турецкий поэт, с 1951 г. живший в СССР. 31 мая 1962 г. «Московская правда» поместила статью Хикмета «Щедрость таланта».

А. К. Паустовскому, 14 октября 1962 г. (с. 415).

Письмо написано в связи с тем, что А. К. Паустовский учился в это время в Киеве.

Борис Исакович — Балтер.

Лева — Л. А. Левицкий.

Самуил Миронович — Алянский.

Валя — В. Т. Овчинников.

Аркадием Акимовичем — Штейнбергом.

А. А. Севастьяновой, 24 октября 1962 г. (с. 416).

Печатается по ксерокопии. Подлинник хранится у адресата.

Севастьянова Алла Александровна, кандидат исторических наук, преподаватель пединститута в г. Орле.

По свидетельству А. Севастьяновой, она, когда ей было пятнадцать лет, написала письмо Паустовскому, которого знала только по его книгам, и вскоре получила ответ на него.

С. П. Теодорович, 5 ноября 1962 г. (с. 416).

Печатается по авторской машинописной копии, хранящейся у Г. А. Арбузовой.

К. Я. Голейзовскому, 17 ноября 1962 г. (с. 417).

Печатается по авторской машинописной копии, хранящейся у Г. А. Арбузовой.

Голейзовский Касьян Ярославович (1892—1970) — советский танцовщик и балетмейстер.

Валерия Ивановна — сестра М. И. Цветаевой.

С. М. Алянскому, 9 декабря 1962 г. (с. 418).

Моруа Андре (настоящее имя — Эмиль Эрзог; 1885—1967) — французский прозаик.

Мориак Франсуа (1885—1970) — французский прозаик.

...«моим» издателем Галлимаром.— «Гастон Галлимар» — крупное издательство во Франции, выпустившее большинство переводов книг Паустовского на французский язык.

Д. С. Данину, 8 апреля 1963 г. (с. 421).

Печатается по авторской машинописной копии. Подлинник у адресата. Опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1985 г., № 9.

Письмо является ответом на просьбу Д. С. Данина написать воспоминания для сборника, посвященного Казакевичу. На смерть Казакевича Паустовский отозвался статьей «О человеке и друге» («Новый мир», 1962, № 10).

Но есть одно письмо...— Письмо это опубликовано в сборнике «Воспоминания о Константине Паустовском».

Туся — Софья Дмитриевна Разумовская, жена Д. С. Данина.

Я. Ивашкевичу, 12 апреля 1963 г. (с. 422).

Печатается по авторской машинописной копии, хранящейся у Г. А. Арбузовой. Опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1985 г., № 9.

Находясь в Севастополе, Паустовский, вероятно, не знал еще, что его очерк о поездке в Польшу («Третье свидание») опубликован в мартовском номере «Нового мира» за 1963 г.

И. А. Антоновой, 26 апреля 1963 г. (с. 423).

Печатается по подлиннику, хранящемуся у В. К. Паустовского. Опубликовано в газете «Слава Севастополя», 2 ноября 1980 г.

Антонова Инна Анатольевна — зам. директора Херсонесского историко-археологического заповедника.

А. Е. Корнейчуку, 19 мая 1963 г. (с. 424).

Печатается по авторской машинописной копии, хранящейся у Г. А. Арбузовой.

«*Не давать червей Марьямову*».— Как не раз рассказывал автор письма, русский советский прозаик А. М. Марьямов (1909—1972) был азартным рыболовом, но не любил копать червей, и его дачные друзья из-за этого постоянно подтрунивали над ним.

М. А. Келлерману, 24 июня 1963 г. (с. 425).

Письма М. А. Келлерману печатаются по подлинникам, хранящимся у Г. А. Арбузовой.

Л. Н. Делекторской, 3 июля 1963 г. (с. 425).

«*На медленном огне*» — первое название повести, получившей название «Книги скитаний».

С. Г. Брагину, 22 июля 1963 г. (с. 428).

Печатается по ксерокопии. Подлинник у вдовы адресата — М. В. Гулида.

...*воспоминания о ней я напишу*.— Паустовский не успел написать воспоминаний о Марии Павловне Чеховой.

В. М. Кожевникову, 27 августа 1963 г. (с. 428).

Печатается по ксерокопии. Подлинник в ЦГАЛИ.

...*поговорить о книге*.— Шестая часть автобиографической книги была сдана в журнал «Знамя», где напечатана не была. «Книга скитаний» увидела свет на страницах «Нового мира».

В Союз писателей СССР, ноябрь 1963 г. (с. 429).

Печатается по авторской машинописной копии, хранящейся у Г. А. Арбузовой.

Л. Н. Делекторской, 10 ноября 1963 г. (с. 430).

...*история... с библиотеками*...— По предложению Л. Н. Делекторской, издательство «Галлимар» разослало бесплатно во все публичные библиотеки предместий Парижа перевод книги Па-

устовского. Впоследствии так же были разосланы все 13 томов собрания сочинений Паустовского, вышедшие в этом издательстве.

Швейцер Альберт (1875—1965) — немецко-французский мыслитель, миссионер, врач, музыковед и органист.

Лакснесс Хальдоур Кильян (р. 1902) — исландский прозаик.

Белль Генрих (1917—1985) — немецкий прозаик.

Колдуэлл (1903—1984) — американский прозаик.

Неруда Пабло (настоящее имя — Нефтали Рикардо Рейес Басуальто; 1904—1973) — чилийский поэт.

Рассел Бертран (1872—1970) — английский философ, логик, математик, общественный деятель.

С. М. Алянскому, 6 декабря 1963 г. (с. 432).

Не знаю, сколько раз тебе надо говорить, чтобы ты бросил курить.— Фраза эта носит иронический характер. С. М. Алянский, давно бросивший курить, настоятельно уговаривал Паустовского последовать его примеру. Паустовский соглашался с ним, делал вид, что не курит, но потихоньку нет-нет да покуривал.

...убийство Кеннеди.— Президент США Джон Фицджералд Кеннеди (1917—1963) был убит 2 ноября 1963 г. в городе Далласе.

В. С. и Р. И. Фраерманам, 26 апреля 1964 г. (с. 434).

Осип Евсеевич — Черный О. Е.

«Золотой Василек» — роман Р. И. Фраермана, посвященный событиям революции и гражданской войны на Дальнем Востоке.

...о Вас. Семеновиче — В. С. Гроссмане.

Л. Н. Делекторской, 7 мая 1964 г. (с. 435).

Мальро Андре (1901—1976) — французский прозаик, государственный деятель, в 1959—1967 гг.— министр культуры Франции.

В. А. Косолапову, 10 мая 1964 г. (с. 436).

Печатается по авторской машинописной копии, хранящейся у Г. А. Арбузовой.

Косолапов Валерий Алексеевич (1910—1982) — журналист, литератор, в пору письма — директор издательства «Художественная литература».

Коллинзу, 2 июля 1964 г. (с. 437).

Печатается по авторской машинописной копии, хранящейся у Г. А. Арбузовой.

Коллинз — английский издатель.

Т. В. Ивановой, 8 июля 1964 г. (с. 438).

Письма Т. В. Ивановой печатаются по авторской машинописной копии. Подлинники у адресата.

Иванова Тамара Владимировна — переводчица, жена Всеволода Вячеславовича Иванова.

...первую книгу «Дневника».— Речь идет об издании дневников В. В. Иванова.

Теперь Маршак.— С. Я. Маршак умер 4 июля 1964 г.

Таня, Кома, Миша — дети Т. В. Ивановой.

Л. Н. Делекторской, 29 июля 1964 г. (с. 441).

...мадам Ляншон — сотрудница французского министерства иностранных дел, ведавшая связями в области культуры с Советским Союзом и социалистическими странами.

Андроников Константин Евсеевич — переводчик де Голля и Помпиду.

Т. В. Ивановой, июль 1964 г. (с. 443).

Худяков Кондратий Кузьмич (1886—1920) — русский поэт. Единственный сборник стихов его «Сибирь» был издан в 1916 г. при активном участии Всеволода Иванова.

Ставский (настоящая фамилия Кирпичников; 1900—1943) — русский советский прозаик и журналист, занимавший руководящие должности в РАПП и в Союзе писателей СССР.

М. А. Келлерману, 29 августа 1964 г. (с. 445).

Посылаю «Предисловие».— В предисловии «От автора» (оно не вошло ни в предыдущее, ни в настоящее Собрание сочинений) Паустовский писал:

«Писать о своих книгах, о себе и своих писательских планах — занятие трудное и неблагодарное. В нем есть какой-то привкус нескромности. Это пугает авторов.

Что касается меня, то писать предисловие к собственной книге мне трудно еще и потому, что сравнительно недавно я по просьбе издательства написал довольно подробное предисловие к шеститомному собранию своих сочинений (1957—1958 гг.).

Сообщать вкратце свою биографию, как это обычно делается в предисловиях, вряд ли стоит, так как уже вышли в свет пять книг моего автобиографического цикла — «Далекие годы», «Беспокойная юность», «Начало неведомого века», «Время больших ожиданий», «Бросок на юг»,— и вскоре выходит шестая: «Книга скитаний».

В этом цикле я стараюсь рассказать биографию своего современника и, если можно так выразиться, биографию его времени.

Большинство писателей хорошо знает, иной раз скрывая это от самих себя, приблизительную цену тому, что ими написано.

Нет такого писателя, который, положа руку на сердце, не признался бы в том, что сам знает все свои сильные и слабые стороны, свои удачи и неудачи, свои справедливые и несправедливые пристрастия.

Писатель может быть беспощадным собственным критиком и судьей, но в жизни все же редко бывает им. Каждую новую книгу он начинает писать как будто впервые, будучи уверен, что не повторит в ней прошлых ошибок, а старые ошибки, может быть, не заметят или простят.

Все это я говорю в связи с выходом в свет этого однотомника. В нем есть одна особенность. О ней, мне кажется, следует упомянуть.

В однотомник входят некоторые старые мои вещи («Черное море», «Золотая роза» и ряд других), а также рассказы последних лет.

Из этих рассказов я хотел бы выделить такие, как «Итальянские записи», «Третье свидание», «Наедине с осенью» и «Ильинский омут». Выделить их для того, чтобы всмотреться (вернее, вчитаться) в них и найти то новое, чего не было в прежних рассказах. А если и было, то в относительно небольшой степени.

Это новое, на мой взгляд, заключается во внутренней свободе названных рассказов, не связанных ни сюжетом, ни той или иной обязательной композицией, ни необходимостью быть поучительным и нравоучительным и тем самым — несколько скучноватым и оторванным от читателя.

Давным-давно, должно быть с первых дней зарождения литературы, возникли разговоры о «свободной прозе». Недавно один пылкий прозаик сказал, волнуясь, что проза должна быть «божественно свободна и прекрасна».

Да, очевидно, это так! Свобода в трактовке материала и ясность, «выпуклость» языка — вот к чему должен стремиться писатель.

Самым лучшим помощником писателю в его работе является непрерывное, никогда не угасающее чувство преклонения перед красотой своей страны и всей нашей многострадальной Земли.

Как определить жанр тех вещей, о которых я упомяну?

Не знаю. Это — не рассказы в точном смысле слова, не очерки и не статьи. Это — не стихотворения в прозе.

Это — записи размышлений, простой разговор с друзьями.

Это — признание в любви нашей природе и всей России.

В этом — мой труд, мое неотъемлемое право и мое счастье».

Л. А. Левицкому, 8 сентября 1964 г. (с. 446).

Письма Л. А. Левицкому печатаются по подлинникам, хранящимся у адресата. Опубликовано в сборнике «Воспоминания о Паустовском».

В. П. Стеценко, 21 сентября 1964 г. (с. 446).

Печатается по подлиннику, хранящемуся у В. К. Паустовского.

Стеценко Владимир Пантелеевич — в то время — сотрудник журнала «Вокруг света».

Дим — В. К. Паустовский, опубликовавший несколько материалов в журнале «Вокруг света».

Сапарин Виктор Степанович — главный редактор журнала «Вокруг света».

В. А. Каневскому, 27 сентября 1964 г. (с. 447).

Печатается по подлиннику, хранящемуся у Г. А. Арбузовой.

Конференция «Литературная Одесса 20-х годов», 18 ноября 1964 г. (с. 448).

Печатается по авторской машинописной копии. Опубликовано в «Литературной газете» (9 июня 1982 г.).

Шишова (Брухнова) Зинаида Константиновна (1898—1977) — русская советская писательница.

Е. Г. и Ю. К. Смоличам, 17 июля 1965 г. (с. 450).

Бесконечно благодарные...— В это время у Смоличей гостил А. К. Паустовский.

В. Т. Овчинникову, 13 октября 1965 г. (с. 453).

Печатается по подлиннику, хранящемуся у Г. А. Арбузовой.

Овчинников Валентин Тимофеевич — шофер К. Г. Паустовского.

Л. А. Левицкому, 15 октября 1965 г. (с. 453).

Опубликовано в сборнике «Воспоминания о Паустовском».

А. К. Паустовскому, 15 октября 1965 г. (с. 454).

Леонид Исидорович — директор школы, в которой учился А. К. Паустовский.

Таня Алигер — дочь М. И. Алигер.

Вигорелли, 5 декабря 1965 г. (с. 457).

Печатается по авторской машинописной копии, хранящейся у Г. А. Арбузовой.

Вигорелли Джан Карло — секретарь Европейского сообщества писателей.

Унгаретти Джузеппе (1888—1970) — итальянский поэт, с 1962 г. был президентом Европейского сообщества писателей.

Е. Г. и Ю. К. Смоличам, 18 января 1966 г. (с. 457).

Опубликовано в журн. «Радуга», 1981, № 10.

В. А. Каверину, 16 апреля 1966 г. (с. 458).

«Здравствуй, брат, писать очень трудно» — книга портретов, писем о литературе, воспоминаний В. А. Каверина («Советский писатель». М., 1966 г.). По свидетельству автора, А. М. Горький в статье о «Серапионовых братьях» рассказывал, что участники этого литературного объединения, встречаясь друг с другом, якобы обменивались такой фразой.

Лев Александрович Зильбер (1894—1966) — советский микробиолог и иммунолог, академик Академии медицинских наук, брат В. А. Каверина.

Е. Г. и Ю. К. Смоличам, 29 апреля 1966 г. (с. 459).

Опубликовано в журн. «Радуга», 1981, № 10.

Рыбаков Анатолий Наумович (р. 1911) — русский советский прозаик.

В. А. Борисовой, 25 июня 1966 г. (с. 460).

Печатается по подлиннику, хранящемуся в архиве издательства «Художественная литература».

Борисова (Гринькова) Валентина Александровна — редактор Собрания сочинений К. Паустовского в 8-ми томах.

Письмо является ответом на замечания и предложения В. А. Борисовой по проспекту Собрания сочинений Паустовского, выходившего с 1967 по 1970 г.

Г. А. Арбузовой и В. В. Медведеву, 20 сентября 1966 г. (с. 462).

Сима и Ольга Густавовны — Серафима Густавовна Шкловская и ее сестра Ольга Густавовна Олеша.

Анна Наумовна Голодец — врач поликлиники Литфонда.

Ю. П. Казакову, октябрь 1966 г. (с. 463).

Печатается по ксерокопии. Подлинник в Литературном музее. Опубликовано в журнале «Юность» (1982, № 6).

Лесючевский Николай Васильевич — литератор, был директором издательства «Советский писатель».

«Осень в дубовых лесах» — рассказ Ю. П. Казакова.

А. Е. Корнейчуку, 1966 г. (с. 464).

Печатается по авторской машинописной копии, хранящейся у Г. А. Арбузовой.

В. Б. Шкловскому, февраль 1967 г. (с. 465).

Лида — Лидия Густавовна Багрицкая, сестра Серафимы Густавовны Шкловской.

Комитету по присуждению премии имени Влодзимежа Петшака, 24 ноября 1967 г. (с. 466).

Опубликовано 5 декабря 1967 г. в «Литературной газете», по тексту которой и печатается.

Влодзимеж Петшак (1913—1944) — польский поэт и критик, участник антигитлеровского подполья, погибший во время Варшавского антифашистского восстания. Премия его имени учреждена в 1947 г. культурно-политической организацией «ПАКС», ею отмечаются выдающиеся польские и зарубежные деятели науки и искусства. В 1967 г. эта премия была присуждена польскому писателю Войцеху Жукровскому и советскому писателю Константину Паустовскому.

Роберту Ф. Коэну, 31 марта 1968 г. (с. 467).

Печатается по авторской машинописной копии, хранящейся у Г. А. Арбузовой.

Письмо является ответом на сообщение президента Принстонского университета (США) о присуждении К. Г. Паустовскому степени доктора литературы этого университета.

Вильерс, 31 марта 1968 г. (с. 467).

Печатается по авторской машинописной копии, хранящейся у Г. А. Арбузовой.

А. Я. Яшину, 2 мая 1968 г. (с. 468).

Печатается по подлиннику, хранящемуся у Г. А. Арбузовой.

Злата Константиновна — жена А. Я. Яшина.

Л. Левицкий

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН[1]

Авдеенко А. О.— 269
Адалис А. Е.— 190, 448
Айхенвальд Ю. И.— 42
Акимов Н. П.— 321, 325
Аксаков С. Т.— 194, 218
Александрова З. Н.— 262, 263, *277*, 303, 408
Алигер М. И.— 319, 338, 403, 411, 458, 460
Альвинг — 26
Альтенберг П.— 26, 45
Алянская Н. С.— 254, *265*, 332, 343, 353, 354, 361, 433, 447, 448, 452, 453, 462
Алянский С. М.— 230, 255, 258, 265, 267, 332, *342*, *344*, 346, *353*, *360*, 363, 364, 377, 398, 399, 401, 415, *418*, *432*, 439, *447*, *448*, *452*, 463
Андерсен Г. Х.— 304, 316, 359
Андерсен-Нексе М.— 105
Андерсон Ш.— 123
Анджиевский Е.— 423
Андреев В.— 367, 368, 373, 378, 381, 414
Андриканис Е. Н.— 360, *373*, *375*, *397*, *418*
Антонов С. П.— 302
Антонова И. А.— 423
Арагон Л.— 391, 399, 400, 415, 419, 427, 431, 433—435, 442, 452, 464
Арбузов А. Н.— 133—135, 238, 296, 300, 307, 361, 362, 458, 460
Арбузова Г. А.— 227, 235, 239, 246, 272, *274*, 277, 278, 280, 281, 290—292, 297, 298, 300, 301, 303, 304, 306—308, *315*, *316*, 318, 320—323, 326, 328, 329, 333, 360—363, 394, 403, *404*, 408—410, 413—415, 419—423, 425, 427, 432, 437, 442, 443, 445, 446, 448, 452, 455, *456*, 460, *462*, 464, 465
Ардов В. Е.— 172, 289
Аренберг А. А.— 68, 77
Арнштам Л. О.— 205
Арцыбашев М. П.— 163
Асеев Н. Н.— 73, 74, 100, 151, 228
Астангов М. Ф.— 190, 201, 228, 363
Атаров Н. С.— 128, 132, 133, 305, 361
Ауэзов М. О.— 189, 192
Ахматова А. А.— 52, 223, 235, 252, 403

Бабель И. Э.— 113, 129, 342, 343, 345, 348, 352, 355, 436, 448
Бабореко А. К.— *324*
Багрицкий Э. Г.— 68, 69, 76, 113, 157, 342, 343, 348, 352, 436, 448, 461
Бажан Н. П.— 457, 459
Балаш Б. С.— 196
Балашова Е. И.— *338*
Байрон Д. Г.— 139, 141
Балтер Б. И.— 314, 389, 415, 420, 432, 443, 446, 452, 455
Бальзак О.— 395
Бальмонт К. Д.— 49, 311
Бек А. А.— 303, 337, 345, 347, 379

[1] В указатель вошли имена, встречающиеся в текстах писем девятого тома. Курсивом выделены страницы, на которых помещены письма данному адресату.

Белый А.— 330
Белль Г.— 430
Белявский С. И.— 132, 133
Бем Е. М.— 357
Бетховен Л.— 26, 392, 399
Блок А. А.— 78, 264, 326, 342, 392, 399, 447
Бобович Б. В.— 396
Бобров С. П.—250
Бобрышев В. Т.— 106, 189, 191, 197
Богатырев А. З.— 191, 192, 203
Бондарин С. А.— 77, *181*, 448
Борисов Л. И.— *250*, *251*, *253*, *385*
Борисова В. А.— *460*
Борисов-Мусатов В. Э.— 311
Борщаговская В. Ф.— *378*, 379, 396, 397
Борщаговский А. М.— *378*, *396*
Брагин С. Г.— 410, *428*
Брайнина Б. Я.— 250
Бродский Н. Л.— 179
Бруштейн А. Я.— *319*, *324*, 331
Брюсов В. Я.— 439
Брянцев А. А.— 161
Булгаков М. А.— 451
Булгакова Е. С.— 224, 257
Бунин И. А.— 49, 51—53, 94, 149, 163, 180, 355, 378, 392, 394, 399, 401, 414, 429, 456
Бунина-Муромцева В. Н.— 324, 401
Бурджалов Г. С.— 53
Бэкон А. Е.— *359*

Валишевский З.— 349
Ванаг Ю. П.— 303, 342
Ван Гог В.— 25, 29, 321, 419, 461
Василевская В. Л.— 311
Ватагин В. А.— 311
Вербицкая А. А.— 44
Вересаев В. В.— 134, 167
Вертинский А. Н.— 419, 451
Верхарн Э.— 36, 49, 50
Веселый А.— 136
Вигорелли Д.— *457*
Вийон Ф.— 383
Вильерс — 467
Вильямс П. В.— 241
Виноградская К. Н.— 210
Вирта Н. Е.— 176, 332
Вишневский В. В.— 242
Волков Н. Д.— 241
Волошин М. А.— 49, 50
Воронова О. П.— *333*
Воронский А. К.— 23, 75—77
Врубель М. А.— 26, 243, 358
Высочанская М. Н.— 21
Высочанский Н. Г.— 20, 40, 47, 51, 52, 54, *63*, 95
Высочанский С. Н.— *20*

Габе Д.— 370
Гай Ю. М.— 196
Гайдар А. П.— 142—147, 152, 193, 196, 197, 214
Галина Л.— 367, 368, 381
Галлимар — 419, 427, 431, 433, 449, 452, 462
Гамсун К.— 108
Ганнибал А. П.— 140
Гарибальди Д.— 453
Гейне Г.— 316, 464
Гендельштейн А. А.— 180, 200, 201
Герасимов С. В.— 250
Гершель У.— 137
Гехт С. Г.— 73, 74, 77, 84, 100, 128, 130, 133, 134, 136, 149, 150, 157, 162—168, 170—172, 176, 184, 185, 187, 211, 436, 437, 448
Гладков А. К.— 230, *308*, *345*, *362*, *407*
Глебов А. Г.— 371
Гоголь Н. В.— 272, 316
Гозенпуд А. А.— 183
Гойя Ф.— 215
Голейзовский К. Я.— *417*

Голубкина А. С.— 341
Горбатов Б. Л.— 187, 189
Гордиенко К. А.— 296
Горький А. М.— 49, 126, 216, 326, 438—440, 443, 444, 459, 461
Горюнов А. И.— 148, 171
Гофф И. А.— *389*
Гоффенштефер В. Ц.— 148
Гранин Д. А.— 325, 326, 328, 334, 335, 337, 339, 348, 366, 382, 393
Грин А. С.— 109, 113, 119, 125, 129, 137, 138, 147, 148, 167, 173, 177, 251, 294, 313, 314, 385, 397, 408, 455
Грин Н. Н.— *118*, *124*, 136, *137*, *147*, 173, *177*, 222, 251, 313, 314, 385
Гроссман В. С.— 162, 165, 166, 211, 268, 434
Гумилев Н. С.— 43
Гурвич А. С.— 228
Гурмон Р.— 50
Гюго В.— 269
Гюллинг Э.— 114
Гюль-Назаров А. М.— 65

Даниель М. Н.— 133
Данин Д. С.— 332, *421*
Данте Алигьери — 46
Дебюсси К.— 25
Дега Э.— 392
Делекторская Л. Н.— *334*, 336, *364*, *381*, *382*, *386*, *390*, *399*, *414*, *426*, *430*, *433*, *435*, *441*, *449*, *451*, 453, 456, *464*
Дементьев А. Г.— *351*, *406*
Дерман А. Б.— 148, 149, 151, 162, 163, 165, 166, 168, 170—172, 189
Дзиган Е. Л.— 217, 219
Дик И. И.— 263
Диккенс Ч.— 194, 437
Димитров Г.— 369
Дмитриев Г. И.— 250
Добин Е. С.— 307
Довженко А. П.— 268, *302*, 357
Долматовский Е. А.— 279, 282
Дорошевич В. М.— 44
Достян Р. М.— *348*, 389, *393*
Дроздов А. М.— 362
Дудин В. Ф.— 155, 159, 165, 173—175, 180, 187, 189, 190, 242, 269
Дудинцев В. Д.— 325
Дунаевский И. О.— 169
Дунина С. Т.— 205, 209
Дюма А.— 243

Евгеньев Б. С.— *297*, *301*, *310*, *312*, *317*, 330, *343*, *350*
Ермилов В. В.— 128, 130, 133, 136, 138, 148, 161
Есенин С. А.— 271

Жаров А. А.— 215
Жеромский С.— 349
Жорес Ж.— 50

Забила Н. Л.— 194
Заболоцкий Н. А.— 319, 343—345, 347, 348, 366, 378, 395
Завадский Ю. А.— 201, 204, 205, 210—213, 217—219
Загорская-Паустовская Е. С.— *6*, *7*, *9*, *10*, *11*, *13*, *14*, *16*, *19*, *21*, *23*, *25*, *27—29*, *31*, *33*, *34*, *36—40*, *42—45*, *47*, *49*, *51*, *52*, *54*, *56*, *57*, *60*, *62*, *63*, *65*, *68—73*, *75—79*, *81—87*, *89*, *91—96*, *98*, *99*, *101*, *103—105*, *108*, *109*, *111*, *112*, *114—117*, 288, 341
Загорская Ел. С.— 22, *27*, 33, *57*
Замошкин Н. И.— 101, *306*, *309*, 310, 353, 362
Замятин Е. И.— 78
Зданевич В. К.— 144, 145
Зданевич К. М.— 150
Зеленцова М.— 31, 44, 51, 54, 55

Зелинский К. Л.— 177
Злобин А. П.— 319
Зозуля Е. Д.— 75
Зощенко М. М.— 191, 192, 194, 195, 198, 211, 218, 224, 228, 238, 271, 344, 345
Зубов К. А.— 268

Иванов Вс. В.— 129, 241, 343—345, 438—441, 443, 444, 450, 451, 463
Иванов В. В.— 361, 440, 441
Иванов В. И.— 49
Иванова Т. В.— *438—440*, *443*, *444*
Ивашкевич Я.— 377, 404—406, *422*
Ильин М.— 191, 192, 194
Ильф И. А.— 338, 436, 448
Инбер В. М.— 113, 244, 361, 362

Кабалевский Д. Б.— *178*
Каверин В. А.— *302*, *346*, 362, 379, *458*, 460
Казакевич Э. Г.— 290, 291, *318*, *327*, *337*, 345, 361, *411*, 412, 421
Казаков Ю. П.— 327, 338, 348, 379, 389, *463*
Калинин М. И.— 76
Калицкая В. П.— 253
Каневский В. А.— 372, *409*, *419*, *447*, 452, 454, 456, 459
Канович Я. С.— 396, 397
Каплер А. Я.— 192, 197
Каралийчев А.— 367, 368, 371, 373, 378—381, 409, 413, 414
Катаев В. П.— 74, 436
Каталя Ж.— 391, 400
Катерли Е. О.— 321, 326, 334, 337, 339
Катинов В. В.— 428, 429
Квитко Л. М.— 191, 194, 195, 198, 215
Келлерман Б.— 80
Келлерман М. А.— 372, *425*, *445*
Кеннеди Д.— 433
Кипен А. А.— 74
Киплинг Р.— 133, 359, 461
Кипренский О. А.— 133, 153, 158, 160, 426, 428
Кирсанов С. И.— 77, 242
Кишкин Н. М.— 55
Книпович Е. Ф.— 134, 230
Книппер-Чехова О. Л.— 266, 356
Кобликов В. В.— 463, 464
Ковалевский В. А.— 353
Ковальчик Е. И.— 250
Коварский Н. А.— 213, 218, 219
Кодрянская Н. В.— 427, 429, 431, 434, 435, 443, 452, 453, 456, 464
Кожевников В. М.— *428*
Козачинский А. В.— 162, 163, 320
Козловский И. С.— 266
Колбасьев С. А.— 109
Колдуэлл Э.— 430
Коллинз — *437*, 442, 447, 462, 467
Колосов М. Б.— 185
Кольцов М. Е.— 331
Конан-Дойль А.— 261
Конрад Д.— 346
Кончаловская Н. П.— 196, 210
Кончаловский П. П.— 82, 223
Коопен А. Г.— 203, 205—209, 213, 216, 224, 229
Коптяева А. Д.— 359
Корбюзье—88, 419
Корнейчук А. Е.— 301, 312, *424*, *464*
Короленко В. Г.— 53
Корольков Ю. М.— 261
Космодемьянская З. А.— 205
Косолапов В. А.— *436*
Костерин А. Е.— 98
Коцюбинская З. Ф.— *384*

Коцюбинский М. М.— 384
Коэн Р. Ф.— *467*
Кравцов Я. Г.— *385*, 462
Крамов А. Г.— 171
Красинский З.— 349
Крачковский И. Ю.— 384
Кружков Н. Н.— 187
Крылов А. Н.— 296
Крымов Н. П.— 311
Крючкова Н. Д.— *320*, *323*, *329*, *333*
Кузмицкая С. А.— 290, 300, 303, 329, 344, 360, 362
Кузя В. В.— 164
Куинджи А. И.— 240
Кулешов А. А.— *172*, 177, 178, *222*
Куприн А. И.— 334
Куранов Ю. Н.— 327
Кусевицкий С. А.— 25

Лавренев Б. А.— 170, 172, 224, 231
Лавровский Л. М.— 255
Лазаренко В. В.— 229
Лакснесс Х.— 430
Леви Д.— 405
Леви К.— 431
Левидов М. Ю.— 113, 179
Левитан И. И.— 120, 123, 130, 153, 160, 166, 172, 241, 311
Левицкий Л. А.— 415, 419, 420, 432, *446*, 452, *453*, 455
Лежнев А. З.— 72—75
Лежнев И. Г.— 129, 168, 171
Леметр Ж. Ф.— 50
Лемешев С. Я.— 266
Леонардо да Винчи — 109, 273, 392, 399, 452
Леонов Л. М.— 94, 102, 176, 241, 458
Лермонтов М. Ю.— 177, 179—181, 200—202, 217, 220, 222, 263, 272, 289, 298, 352, 397, 418
Лесючевский Н. В.— 463
Либединский Ю. Н.— 332, 335, 361, 362
Лидин В. Г.— 228, 244
Лилина М. П.— 53
Лобанов В. М.— 372
Лобачевский Н. И.— 330
Лозовский С. А.— 190
Луговской В. А.— 166, 202, 204, 225, 237, 337
Лурье Н. Г.— 183, 217, 226
Любимова В. А.— 192
Ляшко Н. Н.— 188

Маврина Т. А.— 167
Магалиф — *340*
Магидович И. П.— 160, 191, 196
Макаренко А. С.— 162
Малышкин А. Г.— 157, 168
Мальро А.— 435
Малюгин Л. А.— 332, 379
Мандельштам О. Э.— 66, 393
Мар Е. П.— 165
Маршак С. Я.— 191, 195, 196, 198, 241, 440
Марьямов А. М.— 182, 423
Марьямов Г. Б.— 110, 116, 117
Массалитинов К. И.— 260
Матисс А.— 365, 387, 400, 431, 432, 442
Маяковский В. В.— 181
Медведев В. В.— 451, 455, 456, 460, *462*
Мейерхольд В. Э.— 363, 407
Меншиков А. Д.— 236
Миклухо-Маклай Н. Н.— 169
Микулин А. А.— 342, 343, 345, 347, 363, 364
Миндлин Э. Л.— 326
Михайлова Е. Н.— *203*
Михайловский Н. К.— 53
Михалков С. В.— 186—189, 191, 194—196
Мицкевич А.— 349

Монэ К.— 392
Моравиа А.— 431
Мордвинов Н. Д.— 201
Мориак Ф.— 419, 420
Моруа А.— 419, 420
Москвин Н. Я.— 278, *407*
Моэм С.— 349
Мрозовская С. В.—74, 90, *153*
Мрозовский В. С.—74, 84, 90, 154, 155
Муканов С.—286
Мурильо Б.—109
Мурниеце Е.—357, 397

Навашин М. С.—110, 116, 120, 121—124, 133, 137, 139, 142—147, 152, 155—161, 164, 170, 187—189, 191, 198, 205, 207, 211, 223, 226—228
Навашин С. М.—*124*, 133, *140*, 143, 145, 147, 149, 150, 151, *152*, 153, 155, 157—169, 171—176, *179*—189, 191, 193, 194, 198, 199, *201*, *204*, *205*, *207*, *214*, *215*, *217—219*, *223—225*, *227*, 230, 231, 236, 239, 242, *243*, *248*, 252, 257, 261, 263, 264, 267
Навашина В. В.—110, *120*, *122*, *123*, 130—*132*, *134*, *135*, *137*, 140, *142*, *143*, *145*, *146*, *148—150*, 153, *155*, *157*, *158*, *160*, *162—167*, *169—171*, *173*, *175*, 177, 179—191, 194, 196, 198—200, 206, 207, 209—211, 213, 217, 221, 222, 224, 229—232, 234, 239, 240, 242, 245—247, 249, 252, 254—257, *260—262*, 264, 267
Накоряков Н. Н.—147
Найденов С. А.—162
Нарбут В. И.—113
Нарбут (Шкловская) С. Г.—210, 234, 238, 354, 355, 462, 466
Нацкая Н. Д.—92
Нейгауз Г. Г.—384
Некрасов А. С.—139
Некрасов Н. А.—53, 257
Немирович-Данченко В. И.—218, 266
Неруда П.— 430
Нехода М. И.— 132
Никандров Н. Н.— 133, 134, 157
Никитин И. С.— 260
Никитин Н. Н.— 149, 151, *161*, 165, 180, 215—219, 221, 223, 225, 227—*229*, *231*, *236*, *239*—241, *243*, *249*, 250, *252*, 258, 331
Никитина З. А.— 243, 244, *330*, 331, 347
Никитина Р. А.— 162, 217, 219, 223, 229, 231, 236, 240, 241, 242, 245, 249, 250, 252
Новиков-Прибой А. С.— 218

Овчинников В. Т.— 353, 361, 390, 415, *420*, 426, 452, *453*, 455
О. Генри — 362
Олеша Ю. К.— 94, 113, 143, 147, 184, 187, 189, 396, 436, 448
Орбели И. А.— 272
Орлов С. С.— 337
Ортенберг Д. О.— 197, 200, 210, 217
Осоргин М. А.— 53
Оттен Н. Д.— 203, 206, 209, 212, *213*, 344, 345, 356, 426

Павленко П. А.— 133, 267
Паганини Н.— 316
Палей А. Р.— 134
Панова В. Ф.— 336, *411*
Панферов Ф. И.— 192, 195, 196, *359*, 411
Панч П. И.— 312, 457, 460
Парпулова М.— 370
Пастернак Б. Л.— 113, 135, 224, 228, 252, 319, 378, 439, 461
Паустовская Г. Г.— 66—68, 71, 72, 81, 95, 96

Паустовская М. Г.— 11, 12, 24, 31, 32, 38, 39, 48, *64*, *67*, *71*, *81*, *94*
Паустовская (Евтеева) Т. А.— 211, 218, 223, 226, 227, *231*, *233*, 235, *237*, 239, *245*, 269, *270*, *272*, *273*, *275*, 277, *278*, *280*, *282*, *284*—295, 299—308, 310—312, 317, 318, *320—322*, *326*, *331*, 333, 346, 353—355, 360, 362, 364, 365, 367, 368, 370—373, 375, 377, 380, *381*, 383, 385, 388—*390*, 392, *394*—396, 401, 403—406, 408—*410*, 413—415, 419—425, 427, 431—433, 437, 441—443, 448, 451, 458—460, 464, 465
Паустовский А. К.— 274—278, 280—283, 285, 286, 290, 291, 293, 295, 297—301, 303—*306*, *315*, *317*, 320—323, 326—*328*, 331, 335, 336, *355*, 368, 372—374, 377, 380, 381, 386, 388, 393, 396, 400, 404, 410, 414, *415*, 419, *420*, 427, 447, 450, *452*, *454*—456, 460
Паустовский В. К.— 71—86, 88—96, 98—105, 108—117, *125*, *127*, *141*, *142*, *150*, *156*, *192*, *285*, 446
Первенцов А. А.— 317
Пермяк Е. А.— 268
Перфильева А. В.— 263
Петров Е. П.— 163, 436, 448
Петров-Водкин К. С.— 296
Петшак В.— 466
Пикассо П.— 430
Пильняк Б. А.— 66, 111
Пимоненко Н. К.— 357, 358
Пиросманишвили Н.— 150
Пискунов К. Ф.— 288
Платонов А. П.— 268
По Э.— 245, 248, 359
Поленов В. Д.— 311, 418
Попов И. Ф.— 111
Поспелов П. Н.— 210
Потемкин П. П.— 53
Пришвин М. М.— 305, 340, 444
Прокофьев С. С.— 202, 241
Проскуры — 64, 66, 81, 96
Пудовкин В. И.— 194
Пушкин А. С.— 134, 136, 137, 139—141, 218, 228, 260, 263, 267, 268, 271—273, 344, 356, 392, 401

Равич Н. А.— 331
Раздорова Н. П.— *410*
Разумный А. Е.— 111
Разумовская С. Д.— 105, 123, 128, 130, *160*, 191, 196, 332, 421
Райнис Я.— 326
Раковская В. Д.— 390
Ратнер Е. И.— 306
Рафаэль Санти — 109, 273
Рахманинов С. В.— 451
Рахманов Л. Н.— 321, *325*, 326, 334, *335*, *339*, 366, 382, 393, 412
Регинин В. А.— 73, 79, 93
Рейснер Л. М.— 107
Ремизов А. М.— 429, 430
Рильке Р. М.— 26
Рисс О. В.— *384*
Роговин А. В.— 258, 263—265, 267, 270, 314, 318, 377
Родов С. А.— 395, 396
Рождественский Р. И.— 319
Романин А.— 6, 7, 12, 14—16, 33, 48, 50
Ромм М. И.— 375
Роскин А. И.— 86, 89, 100, 103—109, 114, 129, 130, 133, 134, 136, 144, 148, 166, 169, 170, 172, 175, 181, 189, 191, 193, 196, 197, 211, 214, 288
Ротницкий А. Д.— 188
Рошаль Г. Л.— 167

Рубенс П.— 108
Рудерман М. И.— 109
Руднев А. Н.— 68, 69—71, 74
Руднев Н. Н.— 13, 32
Рудный В. А.— 328
Рузвельт Ф.— 316
Рыбак Н. С.— 133, 317
Рыбаков А. Н.— 460
Рыльская Е. Н.— 183, 194
Рыльский М. Ф.— 168, 172, 183, *193*, 195, 358
Рэмбо А.— 383

Саади — 37, 297
Саррот Н.— 431, 443
Сартр Ж. П.— 420
Саушкин Ю. Г.— *308*
Светлов М. А.— 161, 383, 403, 434
Свешников Б. П.— 315
Севастьянова А. А.— *416*
Северняк С.— 367, 368, 371, 373, 378, 381, 383, 388, 403, 408, 414
Северянин И. В.— 9, 48
Сельвинский И. Л.— 214, 218, 228, 242, 289
Семынип П. А.— 196, 198, 207, 216
Сенкевич Г.— 349
Сен-Санс К.— 26
Серафимович А. С.— 52, 53
Сергеев-Ценский С. Н.— 168
Сергеенко — 258
Серебрянский М. И.— 177
Сивриев С.— *367*, 368, *370*, *372*, *380*, *388*, 403, 408, 414
Сизова М. И.— *329*
Симонов К. М.— 149, 161, 164, 168, 170
Синявская Е. М.— 191, 198, 207
Синявская М. К.— 73, 78, 105, 106, 108, 175, 180, 181, 187, 190, 191, 198, 204, 207, 223, 262
Синявский М. И.— 74—78, 80, 191, 198, 207, 223
Скосырев П. Г.— 210
Скотт В.— 437
Славин Л. И.— 75, 320, 436, 448
Славятинский Н. А.— 402
Слонимский А.— 423
Слонимский М. Л.— 252, *307*, *313*, 326, *363*
Слуцкий Б. А.— 344, 346
Смирнов В. А.— 289
Смирнов С. С.— 362
Смолич Е. Г.— 287, *300*, 312, *450*, *457*, *459*, 460
Смолич Ю. К.— 194, 195, 204, 214, 218, 223, 227, 228, *286*, 298, 299, *300*, 302, *311*, *450*, *457*, 458, *459*, 460
Соболь А.— 74
Соколов-Микитов И. С.— 253, 267, 332, 377, 401
Солнцева Ю. И.— 302
Соловьев В. А.— 171
Сологуб Ф. К.— 234
Ставский В. П.— 443
Станиславский К. С.— 53, 266
Станчев С.— 373, 381
Стендаль — 144
Степаненко В. И.— 224
Степанов Н. Л.— 348, 458
Степанова А. А.— *313*
Стефанова Л.— 414
Стеценко В. П.— 446
Стивенсон Р. Л.— 128
Ступникер А. М.— 261, 332
Суворов А. В.— 316
Сумбатов-Южин А. И.— 52, 53
Сурова Л. А.— 390
Сушкевич Б. М.— 160

Тагор Р.—17, 19
Таиров А. Я.— *191*, 199, 201, *202*, 204—*209*, 211—213, 216, 219, 223, 224, 229

Тарасов-Родионов А. И.— 75
Тарасова А. К.— 266
Тардов М. С.— 182, 183, 195
Твардовский А. Т.— *350*—353, 355
Телешов Н. Д.— 52, 53
Тендряков В. Ф.— 327
Теодорович С. П.— *416*
Тихонов А. Н.— 108
Тициан — 273
Толстой А. Н.— 52, 66, 223, 331, 461
Толстой В. П.— 180, 214, 217, 223, 226
Топырчану Д.— 381
Трегуб С. А.— 156, 244
Триоле Э. Ю.— 400, 419, 427, 431, 433, 442, 452, 464
Трифонов Ю. В.— 267
Тропинин В. А.— 141
Тургенев И. С.— 160
Турков А. М.— 325
Турчанинова Е. Д.— 268
Тынянов Ю. Н.— 458
Тынянова Л. Н.— 303, 458

Уайльд О.— 35, 44, 46, 157, 359
Уланова Г. С.— 218
Унгаретти Д.— 456
Устинов Л. Е.— 381

Фадеев А. А.— *131*, 138, 155, 161, 171, 186, 190, 228, 291
Федин К. А.— 180, 216, 218, 219, *221*, 223, 225—231, 239, 241, 243, 244, *246*, 252—*257*, 262—*264*, *266*, 268, *269*, *314*, *318*, 319, 344, 354, *371*, *376*, *401*
Федина Д. С.— 189, 202, 214—217, 222, 227, 230, 239, 241, 243, 244, 247, 252, 254, 255, 258, 263, 264, 266, 267, 270
Федина Н. К.— 214, 217, 221—223, 225, 226—230, 241, 243, 244, 246, 247, 252, 254, 256, 258, 263, 264, 266, 270, 314, 318, 377, 402
Фейнберг И. Л.— 344
Финн К. Я.— 361, 362
Фицовский Е.— 423
Фиш Г. С.— 291
Фогель Б. А.— 225
Фомина В. А.— 254—256, 263, 264, 270
Форш О. Д.— 335
Фраерман В. С.— 80, 93, 96, 105, 106, *109*, 121—123, 129, 131, 143, 153, 157, 160, 175, 189, 190, 196—199, 206, 211, 256, 262, 268, *287*, *420*, *434*, *456*
Фраерман Р. И.— 58, 73, 78—*80*, 89, 90, 92, 93, 96, 100, 102, 104—107, 109, *114*, 116, 120—123, *126*, *128*, *130*, 132—134, 136, *139*, 142—147, *152*, 155, 157, 160, 170, *174*, 176, 179—181, 187, *189*—191, 193, 196—203, 205, *206*, 208, *209*, 214, 215, *217*—220, 237, 255, 256, 261—263, 265, *267*, 269, 273, *287*, 288, 416, *420*, 421, *434*, *456*
Фридриховский К.— 15
Фролов В. В.— 423
Фурманский П. Н.— 300

Халтурин И. И.— 157, 188, 191, 196, 197, 211, 215, 223, 228, 269
Харджиев Н. И.— 58, 68, 78, 191, 192, 196, 198, 202, 204, 207, 211, 214, 268
Хемингуэй Э.— 383, 406
Хикмет Н.— *412*
Хлебников В. В.— 202
Хокусаи К.— 29
Хохлов Я. Ф.— 356, 371, 425
Храпченко М. Б.— 192, 193, 250,310,424

Хрисопулос Я.— 378, 383, 404, 408
Худяков К. К.— 443

Царев М. И.— 268
Цвейг С.— 80, 316
Цветаева М. И.— 418, 461
Цимбал С. Л.— 337
Цыпин Г. Е.— 118, 125, 128, 130, 131, 136, 137, 147

Чагин П. И.— 252
Чарушин Е. И.— 250
Черны́шев С.— 367, 368, 371, 373, *377*, 380, *383*, 388, *402*, 404, *408*, *413*
Черный О. Е.— 288, 434
Чехов А. П.— 44, 163, 226, 311, 326, 356, 428
Чехова М. П.— 172, 428
Чуковский К. И.— 268
Чуковский Н. К.— 361
Чулков Г. И.— 128, 130, 132—136, 152

Шагал М. З.— 430, 435, 442
Шагинян М. С.— 271, 458, 460
Шаров А, И.— 330
Шварц Е. Л.— 230
Швейцер А.— 430
Шевченко Т. Г.— 155, 161, 357, 426, 451
Шейнин Л. Р.— 359, 360, 362, 372, 411
Шенгели Г. А.— 48, 49
Шехтер М. А.— 319
Шишков В. Я.— 226
Шишова З. К.— 448
Шкловский В. Б.— 113, 191, 192, 194, 195, 197, 198, 201, 204, 208, 210, 212, 215, 216, 218, 223, 231, 234, 244, 246, 250, 307, 336, *354*, 356, 440,461—*465*
Шмелев И. С.— 52, 53
Шмидт П. П.— 118, 150, 155, 397
Шмуклер Э. И.— 13, 14, 22, 31, 47, 55, 67, 81
Шнейдер М. Я.— 201, 213, 227, 228
Шолом-Алейхем — 364
Шолохов М. А.— 248
Шопен Ф.— 316, 349
Шостакович Д. Д.— 242
Шпанов Н. Н.— 165
Штейнберг А. А.— 326, 346, 356, 381, 415
Штерн Л. С.— 196
Шторм Г. П.— 78, 108, 126, 191, 192, 196, 198, 199, 203, 204, 206, 208, 209, 214, 228, 258

Щеголев П. Е.— 137
Щедрин М. Е.— 53

Эйзенштейн С. М.— 192, 194—196
Эйхлер Г. Л.— 107, *117*, 125, 128—130, *135*, 147, 177, 178, *195*, 196
Эйнштейн А.— 316
Эль Греко — 273
Эрдман Б. Р.— 157
Эренбург И. Г.— 74, 318, *370*, 440
Эрлих А. И.— 149, 151, 153, 156, 161, 168, 176, 180, 188, 261—263, 277, 278, 408
Эртель А. И.— 254
Эфрон А. С.— 418

Югов А. К.— 74, 100, 107, 108
Юзовский И. И.— 207
Юткевич С. И.— 180, 201

Яковлев А. С.— 66
Яновский Ю. И.— 183, *194*, 299
Яшин А. Я.— *468*

СОДЕРЖАНИЕ

ПИСЬМА
1915—1968

Е. С. Загорской, *15 апреля 1915 г.* 6
Е. С. Загорской, *18 апреля 1915 г.* 7
Е. С. Загорской, *23 мая 1915 г.* 9
Е. С. Загорской, *29 мая 1915 г.* 10
Е. С. Загорской, *29 августа 1915 г.* 11
Е. С. Загорской, *4 ноября 1915 г.* 13
Е. С. Загорской, *5 ноября 1915 г.* 13
Е. С. Загорской, *10 ноября 1915 г.* 14
Е. С. Загорской, *11 ноября 1915 г.* 14
Е. С. Загорской, *16 ноября 1915 г.* 16
Е. С. Загорской, *26 ноября 1915 г.* 19
С. Н. Высочанскому, *<ноябрь — декабрь> 1915 г.* 20
Е. С. Загорской, *14 декабря 1915 г.* 21
Е. С. Загорской, *8 января 1916 г.* 23
Е. С. Загорской, *12 января 1916 г.* 25
Ел. С. Загорской, *2 февраля 1916 г.* 27
Е. С. Загорской, *18 февраля 1916 г.* 28
Е. С. Загорской, *20 февраля 1916 г.* 31
Е. С. Загорской, *25 февраля 1916 г.* 33
Е. С. Загорской, *3 марта 1916 г.* 33
Е. С. Загорской, *22 марта 1916 г.* 34
Е. С. Загорской, *25 марта 1916 г.* 36
Е. С. Загорской, *1 апреля 1916 г.* 37
Е. С. Загорской, *10 апреля 1916 г.* 39
Е. С. Загорской, *20 апреля 1916 г.* 42
Е. С. Загорской, *27 апреля 1916 г.* 43
Е. С. Загорской, *1 мая 1916 г.* 45

Е. С. Загорской-Паустовской, *31 января 1917 г.* . . . 47
Е. С. Загорской-Паустовской, *1 февраля 1917 г.* . . . 49
Е. С. Загорской-Паустовской, *2 февраля 1917 г.* . . . 49
Е. С. Загорской-Паустовской, *12 февраля 1917 г.* . . . 51
Е. С. Загорской-Паустовской, *16 февраля 1917 г.* . . . 52
Е. С. Загорской-Паустовской, *<начало марта> 1917 г.* 54
Е. С. Загорской-Паустовской, *17 марта 1917 г.* . . . 56
Ел. С. Загорской, *25 апреля 1917 г.* 57
Е. С. Загорской-Паустовской, *25 января 1922 г.* . . . 57
Е. С. Загорской-Паустовской, *11 февраля 1922 г.* . . . 60
Е. С. Загорской-Паустовской, *19 февраля 1922 г.* . . . 62
Н. Г. Высочанскому, *21 июля 1922 г.* 63
М. Г. Паустовской, *17 декабря 1923 г.* 64
М. Г. Паустовской, *2 апреля 1924 г.* 67
Е. С. Загорской-Паустовской, *8 июля 1925 г.* 68
Е. С. Загорской-Паустовской, *27 июля 1925 г.* . . . 69
Е. С. Загорской-Паустовской, *5 августа 1925 г.* . . . 70
М. Г. Паустовской, *19 августа 1925 г.* 71
Е. С. Загорской-Паустовской, *4 июня 1926 г.* 72
Е. С. Загорской-Паустовской, *9 июня 1926 г.* 73
Е. С. Загорской-Паустовской, *14 августа 1926 г.* . . . 75
Е. С. Загорской-Паустовской, *30 августа 1926 г.* . . . 76
Е. С. Загорской-Паустовской, *23 июля 1927 г.* . . . 77
Е. С. Загорской-Паустовской, *<август> 1928 г.* . . . 78
Е. С. Загорской-Паустовской, *12 сентября 1928 г.* 79
Р. И. Фраерману, *3 июля 1929 г.* 80
М. Г. Паустовской, *1929 г.* 81
Е. С. Загорской-Паустовской, *2 сентября 1929 г.* . . . 82
Е. С. Загорской-Паустовской, *1 августа 1930 г.* . . . 83
Е. С. Загорской-Паустовской, *14 мая 1931 г.* 84
Е. С. Загорской-Паустовской, *16 мая 1931 г.* 85
Е. С. Загорской-Паустовской, *17 мая 1931 г.* 85
В. К. Паустовскому, *17 мая 1931 г.* 86
Е. С. Загорской-Паустовской, *18 мая 1931 г.* 86
Е. С. Загорской-Паустовской, *20 мая 1931 г.* 87
Е. С. Загорской-Паустовской, *24 мая 1931 г.* 87
Е. С. Загорской-Паустовской, *30 мая 1931 г.* 89
Е. С. Загорской-Паустовской, *1 июня 1931 г.* 91
Е. С. Загорской-Паустовской, *14 июня 1931 г.* . . . 91
Е. С. Загорской-Паустовской, *14 сентября 1931 г.* . . . 92
Е. С. Загорской-Паустовской, *19 сентября 1931 г.* . . . 93
М. Г. Паустовской, *26 октября 1931 г.* 94
Е. С. Загорской-Паустовской, *29 октября 1931 г.* . . . 96
Е. С. Загорской-Паустовской, *1 ноября 1931 г.* . . . 96

Е. С. Загорской-Паустовской, *7 ноября 1931 г.* 98
Е. С. Загорской-Паустовской, *28 ноября 1931 г.* 99
Е. С. Загорской-Паустовской, *7 декабря 1931 г.* 101
Е. С. Загорской-Паустовской, *12 декабря 1931 г.* 103
Е. С. Загорской-Паустовской, *13 мая 1932 г.* 104
Е. С. Загорской-Паустовской, *20 мая 1932 г.* 105
Р. И. Фраерману, *4 сентября 1932 г.* 105
Е. С. Загорской-Паустовской, *11 марта 1933 г.* 108
В. С. Фраерман, *1 июля 1934 г.* 109
Е. С. Загорской-Паустовской, *18 июля 1934 г.* 109
Е. С. Загорской-Паустовской, *7 декабря 1934 г.* 111
Е. С. Загорской-Паустовской, *13 декабря 1934 г.* 111
Е. С. Загорской-Паустовской, *16 февраля 1935 г.* 112
Р. И. Фраерману, *2 июня 1935 г.* 114
Е. С. Загорской-Паустовской, <*Начало июня*> 1935 г. 114
Е. С. Загорской-Паустовской, <*июнь*> *1935 г.* 115
Е. С. Загорской-Паустовской, *7 июля 1935 г.* 116
Е. С. Загорской-Паустовской, *1 ноября 1935 г.* 117
Г. Л. Эйхлеру, *2 декабря 1935 г.* 117
Н. Н. Грин, *15 мая 1936 г.* 118
В. В. Навашиной, *6 сентября 1936 г.* 120
В. В. Навашиной, *10 сентября 1936 г.* 120
В. В. Навашиной, *13 сентября 1936 г.* 122
В. В. Навашиной, *24 сентября 1936 г.* 123
С. М. Навашину, <*Конец сентября*> *1937 г.* 124
Н. Н. Грин, *10 октября 1936 г.* 124
В. К. Паустовскому, *3 ноября 1936 г.* 125
Р. И. Фраерману, *15 декабря 1936 г.* 126
В. К. Паустовскому, *24 декабря 1936 г.* 127
Р. И. Фраерману, *27 декабря 1936 г.* 128
Г. Л. Эйхлеру, *4 января 1937 г.* 129
Р. И. Фраерману, *7 января 1937 г.* 130
А. А. Фадееву, *15 января 1937 г.* 131
В. В. Навашиной, *17 января 1937 г.* 132
В. В. Навашиной, *20 января 1937 г.* 134
В. В. Навашиной, *21 января 1937 г.* 135
Г. Л. Эйхлеру, *24 января 1937 г.* 135
В. В. Навашиной, *27 января 1937 г.* 137
Н. Н. Грин, *20 мая 1937 г.* 137
Р. И. Фраерману, *4 июля 1937 г.* 139
С. М. Навашину, *8 июля 1937 г.* 140
В. К. Паустовскому, *8 июля 1937 г.* 141
В. К. Паустовскому, *9 августа 1937 г.* 142
В. В. Навашиной, *5 сентября 1937 г.* 142
В. В. Навашиной, *13 сентября 1937 г.* 143

В. В. Навашиной, *17 сентября 1937 г.* 145
В. В. Навашиной, *21 сентября 1937 г.* 146
Н. Н. Грин, *9 октября 1937 г.* 147
В. В. Навашиной, *8 апреля 1938 г.* 148
В. В. Навашиной, *11 апреля 1938 г.* 149
В. К. Паустовскому, *14 апреля 1938 г.* 150
В. В. Навашиной, *18 апреля 1938 г.* 150
С. М. Навашину, *18 апреля 1938 г.* 152
Р. И. Фраерману, *11 мая 1938 г.* 152
С. В. Мрозовской, *21 мая 1938 г.* 153
В. В. Навашиной, *4 августа 1938 г.* 155
В. К. Паустовскому, *6 августа 1938 г.* 156
В. В. Навашиной, *7 августа 1938 г.* 157
В. В Навашиной, *29 августа 1938 г.* 158
С. Д. Разумовской, *31 августа 1938 г.* 160
В. В. Навашиной, *13 сентября 1938 г.* 160
Н. Н. Никитину, *21 февраля 1939 г.* 161
В. В. Навашиной, *4 апреля 1939 г.* 162
В. В. Навашиной, *6 апреля 1939 г.* 163
В. В. Навашиной, *9 апреля 1939 г.* 164
В. В Навашиной, *12 апреля 1939 г.* 165
В. В. Навашиной, *15 апреля 1939 г.* 166
В. В. Навашиной, *17 апреля 1939 г.* 167
В. В. Навашиной, *20 апреля 1939 г.* 169
В. В. Навашиной, *23 апреля 1939 г.* 170
В. В. Навашиной, *26 апреля 1939 г.* 171
А. А. Кулешову, *30 мая 1939 г.* 172
В. В. Навашиной, *26 сентября 1940 г.* 173
Р. И. Фраерману, *1 октября 1940 г.* 174
В. В. Навашиной, *7 октября 1940 г.* 175
Н. Н. Грин, *30 ноября 1940 г.* 177
Д. Б. Кабалевскому, *2 февраля 1941 г.* 178
С. М. Навашину, *8 апреля 1941 г.* 179
С. М. Навашину, *18 апреля 1941 г.* 180
С. А. Бондарину, *6 мая 1941 г.* 181
В. В. Навашиной, *29 июня 1941 г.* 182
В. В. Навашиной, *1 июля 1941 г.* 182
В. В. Навашиной, *2 июля 1941 г.* 183
В. В. Навашиной, *4 июля 1941 г.* 184
В. В. Навашиной, *7 июля 1941 г.* 185
В. В. Навашиной, *12 июля 1941 г.* 185
В. В. Навашиной, *18 июля 1941 г.* 186
В. В. Навашиной, *30 июля 1941 г.* 187
В. В. Навашиной, *8 августа 1941 г.* 188
Р. И. Фраерману, *9 октября 1941 г.* 189

Р. И. Фраерману, *27 декабря 1941 г.* 190
А. Я. Таирову, *5 февраля 1942 г.* 191
В. К. Паустовскому, *16 февраля 1942 г.* 192
М. Ф. Рыльскому, *17 февраля 1942 г.* 193
Ю. И. Яновскому, *17 февраля 1942 г.* 194
Г. Л. Эйхлеру, *2 мая 1942 г.* 195
Р. И. Фраерману, *8 мая 1942 г.* 197
Р. И. Фраерману, *2 июля 1942 г.* 199
С. М. Навашину, *11 июля 1942 г.* 201
А. Я. Таирову, *1942 г.* 202
Е. Н. Михайловой, *16 июля 1942 г.* 203
С. М. Навашину, *17 июля 1942 г.* 204
С. М. Навашину, *13 августа 1942 г.* 205
Р. И. Фраерману, *16 августа 1942 г.* 206
С. М. Навашину, *10 октября 1942 г.* 207
А. Я. Таирову, *12 ноября 1942 г.* 209
Р. И. Фраерману, *17 января 1943 г.* 209
А. Я. Таирову, *4 февраля 1943 г.* 212
Н. Д. Оттену, *8 февраля 1943 г.* 213
С. М. Навашину, *2 марта 1943 г.* 214
С. М. Навашину, *4 апреля 1943 г.* 215
С. М. Навашину, *29 апреля 1943 г.* 217
С. М. Навашину, *6 мая 1943 г.* 218
С. М. Навашину, *20 мая 1943 г.* 219
К. А. Федину, *4 августа 1943 г.* 221
А. А. Кулешову, *18 сентября 1943 г.* 222
С. М. Навашину, *18 октября 1943 г.* 223
С. М. Навашину, *12 декабря 1943 г.* 224
С. М. Навашину, *2 января 1944 г.* 225
С. М. Навашину, *15 января 1944 г.* 227
Н. Н. Никитину, *2 февраля 1945 г.* 228
Н. Н. Никитину, *24 февраля 1945 г.* 229
Н. Н. Никитину, *15 апреля 1945 г.* 231
Т. А. Евтеевой, *13 мая 1945 г.* 231
Т. А. Евтеевой, *19 мая 1945 г.* 233
Т. А. Евтеевой, *6 октября 1945 г.* 233
Н. Н. Никитину, *10 октября 1945 г.* 236
Т. А. Евтеевой, *15 октября 1945 г.* 237
Н. Н. Никитину, *30 октября 1945 г.* 239
Н. Н. Никитину, *15 ноября 1945 г.* 240
С. М. Навашину, *9 декабря 1945 г.* 243
Н. Н Никитину, *9 декабря 1945 г.* 243
Т. А. Евтеевой, *13 декабря 1945 г.* 245
К. А. Федину, *25 декабря 1945 г.* 246
С. М. Навашину, *29 декабря 1945 г.* 248

Н. Н. Никитину, *18 января 1946 г.* 249
Л. И. Борисову, *23 марта 1946 г.* 250
Л. И. Борисову, *8 апреля 1946 г.* 251
Н. Н. Никитину, *13 апреля 1946 г.* 252
Л. И. Борисову, *23 апреля 1946 г.* 253
К. А. Федину, *27 июня 1946 г.* 253
К. А. Федину, *7 июня 1947 г.* 254
В. В. Навашиной, *26 июня 1947 г.* 255
К. А. Федину, *12 августа 1947 г.* 256
К. А. Федину, *3 сентября 1947 г.* 257
Воронежскому критику [т. Сергеенко], *1947 г.* . . . 258
В. В. Навашиной, *8 сентября 1947 г.* 260
В. В. Навашиной, *23 октября 1947 г.* 261
Р. И. Фраерману, *23 октября 1947 г.* 262
В. В. Навашиной, *3 ноября 1947 г.* 262
К. А. Федину, *5 июля 1948 г.* 263
К. А. Федину, *20 августа 1948 г.* 264
Н. С. Алянской, *31 августа 1948 г.* 265
К. А. Федину, *12 ноября 1948 г.* 266
Р. И. Фраерману, *9 июля 1949 г.* 267
К. А. Федину, *18 октября 1949 г.* 269
Т. А. Паустовской, *24 марта 1950 г.* 270
Т. А. Паустовской, *25 марта 1950 г.* 272
Т. А. Паустовской, *26 марта 1950 г.* 272
Т. А. Паустовской, *29 марта 1950 г.* 273
Г. А. Арбузовой, *14 сентября 1950 г.* 274
Т. А. Паустовской, *18 сентября 1950 г.* 275
З. Н. Александровой, *27 сентября 1950 г.* 277
Т. А. Паустовской, *29 апреля 1951 г.* 278
Т. А. Паустовской, *1 мая 1951 г.* 280
Т. А. Паустовской, *2 мая 1951 г.* 280
Т. А. Паустовской, *6 мая 1951 г.* 282
Т. А. Паустовской, *8 мая 1951 г.* 284
В. К. Паустовскому, *25 июля 1951 г.* 285
Ю. К. Смоличу, *12 августа 1951 г.* 286
В. С. и Р. И. Фраерманам, *15 марта 1952 г.* 287
Т. А. Паустовской, *20 декабря 1952 г.* 289
Т. А. Паустовский, *10 мая 1953 г.* 292
Т. А. Паустовской, *13 мая 1953 г.* 294
Т. А. Паустовской, *18 мая 1953 г.* 295
Молодым писателям, *27 декабря 1953 г.* 297
Б. С. Евгеньеву, *6 февраля 1954 г.* 297
А. К. Паустовскому, *16 февраля 1954 г.* 298
Т. А. Паустовской, *26 февраля 1954 г.* 299
Е. Г. и Ю. Г. Смоличам, *30 марта 1954 г.* 300

Б. С. Евгеньеву, *2 июня 1954 г.* 301
Л. П. Довженко, *27 ноября 1954 г.* 302
В. А. Каверину, *5 февраля 1955 г.* 302
Т. А. Паустовской, *6 февраля 1955 г.* 303
Л. К. Паустовскому, *16 февраля 1955 г.* 304
Т. А. Паустовской, *25 февраля 1955 г.* 305
А. К. Паустовскому, *3 марта 1955 г.* 306
Н. И. Замошкину, *20 марта 1955 г.* 306
М. Л. Слонимскому, *13 апреля 1955 г.* 307
Ю. Г. Саушкину, *21 апреля 1955 г.* 308
А. К. Гладкову, *27 апреля 1955 г.* 308
Н. И. Замошкину, *3 июня 1955 г.* 309
Н. И. Замошкину, *24 июля 1955 г.* 309
Б. С. Евгеньеву, *26 июля 1955 г.* 310
Ю. К. Смоличу, *3 августа 1955 г.* 311
Б. С. Евгеньеву, *9 августа 1955 г.* 312
А. А. Степановой, *20 сентября 1955 г.* 313
М. Л. Слонимскому, *29 ноября 1955 г.* 313
В редакцию альманаха «Молодая гвардия», *18 декабря 1955 г.* 314
К. А. Федину, *1 января 1956 г.* 314
А. К. Паустовскому, *5 января 1956 г.* 315
Г. А. Арбузовой, *6 января 1956 г.* 315
Г. А. Арбузовой, *12 января 1956 г.* 316
Б. С. Евгеньеву, *17 января 1956 г* 317
А. К. Паустовскому, *18 января 1956 г.* 317
К. А. Федину, *27 февраля 1956 г.* 318
Э. Г. Казакевичу, *11 апреля 1956 г.* 318
А. Я. Бруштейн, *5 мая 1956 г.* 319
Н. Д. Крючковой, *22 августа 1956 г.* 320
Т. А. Паустовской, *7 сентября 1956 г.* 320
Т. А. Паустовской, *20 сентября 1956 г.* 322
Н. Д. Крючковой, *16 ноября 1956 г.* 323
А. К. Бабореко, *20 ноября 1956 г.* 324
А. Я. Бруштейн, *24 ноября 1956 г.* 324
Л. Н. Рахманову, *24 ноября 1956 г.* 325
Т. А. Паустовской, *12 марта 1957 г.* 326
Э. Г. Казакевичу, *14 марта 1957 г.* 327
А. К. Паустовскому, *14 марта 1957 г.* 328
Н. Д. Крючковой, *21 марта 1957 г.* 329
М. И. Сизовой, *8 июля 1957 г.* 329
З. А. Никитиной, *25 сентября 1957 г.* 330
Т. А. Паустовской, *10 октября 1957 г.* 331
О П. Вороновой, *6 января 1958 г.* 333
Н. Д. Крючковой, *21 января 1958 г.* 333

Л. Н Делекторской, *17 февраля 1958 г.* 334
Л. Н Рахманову, *15 марта 1958 г.* 335
Э. Г. Казакевичу, *25 марта 1958 г.* 337
Е. И. Балашовой, *22 апреля 1958 г.* 338
Л. Н. Рахманову, *22 мая 1958 г.* 339
Магалифу, *30 июня 1958 г.* 340
В издательство «Советская Россия», *11 августа 1958 г.* 341
С. М. Алянскому, *14 августа 1958 г.* 342
Б. С. Евгеньеву, *23 августа 1958 г.* 343
С. М. Алянскому, *26 августа 1958 г.* 344
А. К. Гладкову, *14 сентября 1958 г.* 345
В. А. Каверину, *16 сентября 1958 г.* 346
Г. М. Достян, *20 сентября 1958 г.* 348
Обществу польско-советской дружбы, *2 ноября 1958 г.* 349
Б. С. Евгеньеву, *8 ноября 1958 г.* 350
А. Т. Твардовскому, *1958 г.* 350
Редакционной коллегии журнала «Новый мир» А. Т. Твардовскому, А. Г. Дементьеву, *7 декабря 1958 г.* 351
С. М. Алянскому, *8 декабря 1958 г.* 353
В. Б. и С. Г. Шкловским, *19 декабря 1958 г.* 354
А. К. Паустовскому, *28 декабря 1958 г.* 355
В Государственное издательство художественной литературы, *7 января 1959 г.* 357
А. Е. Бэкону, *12 февраля 1959 г.* 359
Ф. И. Панферову, *18 февраля 1959 г.* 359
В Ленфильм, *18 марта 1959 г.* 360
С. М. Алянскому, *20 апреля 1959 г.* 360
А. К. Гладкову, *22 апреля 1959 г.* 362
М. Л. Слонимскому, *22 июля 1959 г.* 363
Л. Н. Делекторской, *9 сентября 1959 г.* 364
С. Сивриеву, *14 ноября 1959 г.* 367
С. Сивриеву, *18 ноября 1959 г.* 367
Товарищам — писателям Болгарии, *18 ноября 1959 г.* 368
И. Г. Эренбургу, *21 ноября 1959 г.* 370
С. Сивриеву, *26 ноября 1959 г.* 370
К. А. Федину, *14 декабря 1959 г.* 371
Т. А. Паустовской, *24 декабря 1959 г.* 372
С. Сивриеву, *16 января 1960 г.* 372
Е. Н. Андриканису, *17 января 1960 г.* 373
Е. Н. Андриканису, *8 февраля 1960 г.* 375
К. А. Федину, *8 февраля 1960 г.* 376
С. Чернышеву, *22 февраля 1960 г.* 377

В. Ф. и А. М. Борщаговским, *26 февраля 1960 г.* . 378
С. Сивриеву, *26 февраля 1960 г.* 380
Т. А. Паустовской, *4 марта 1960 г.* 381
Л. Н. Делекторской, *9 апреля 1960 г.* 381
Л. Н. Делекторской, *13 апреля 1960 г.* 382
С. Чернышеву, *26 апреля 1960 г.* 383
З. Ф. Коцюбинской, *9 мая 1960 г.* 384
О. В. Риссу, *9 мая 1960 г.* 384
Л. И. Борисову, *8 июня 1960 г.* 385
Я. Г. Кравцову, *4 августа 1960 г.* 385
Л. Н. Делекторской, *9 сентября 1960 г.* 386
С. Сивриеву, *9 октября 1960 г.* 388
И. А. Гофф, *22 октября 1960 г.* 389
Т. А. Паустовской, *1960 г.* 390
Л. Н. Делекторской, *11 февраля 1961 г.* 390
Р. М. Достян, *11 февраля 1961 г.* 393
Т. А. Паустовской, *14 февраля 1961 г.* 394
А. М. Борщаговскому, *18 февраля 1961 г.* 396
Е. Н. Андриканису, *4 марта 1961 г.* 397
В Детгиз, *май 1961 г.* 398
Л. Н. Делекторской, *6 июня 1961 г.* 399
К. А. Федину, *8 июня 1961 г.* 401
С. Чернышеву, *10 июня 1961 г.* 402
Т. А. Паустовской, *10 июля 1961 г.* 404
Г. А. Арбузовой, *11 июля 1961 г.* 404
Т. А. Паустовской, *12 июля 1961 г.* 405
А. Г. Дементьеву, *2 октября 1961 г.* 406
А. К. Гладкову, *24 ноября 1961 г.* 407
Н. Я. Москвину, *15 декабря 1961 г.* 407
С. Чернышеву, *27 января 1962 г.* 408
В. А. Каневскому, *19 февраля 1962 г.* 409
Т. А. Паустовской, *февраль 1962 г.* 410
Н. П. Раздоровой, *10 апреля 1962 г.* 410
Э. Г. Казакевичу, *9 июня 1962 г.* 411
В. Ф. Пановой, *10 июля 1962 г.* 411
Н. Хикмету, *11 июля 1962 г.* 412
С. Чернышеву, *27 июля 1962 г.* 413
Л. Н. Делекторской, *3 сентября 1962 г.* 414
А. К. Паустовскому, *14 октября 1962 г.* 415
А. А. Севастьяновой, *24 октября 1962 г.* 416
С. П. Теодоровичу, *5 ноября 1962 г.* 416
К. Я. Голейзовскому, *17 ноября 1962 г.* 417
Е. Н. Андриканису, *27 ноября 1962 г.* 418
С. М. Алянскому, *9 декабря 1962 г.* 418
В. А. Каневскому, *19 декабря 1962 г.* 419

В. Т. Овчинникову, *20 декабря 1962 г.* 420
А. К. Паустовскому, *20 декабря 1962 г.* 420
В. С. и Р. И. Фраерманам, *20 декабря 1962 г.* 420
Д. С. Данину, *8 апреля 1963 г.* 421
Я. Ивашкевичу, *12 апреля 1963 г.* 422
И. А. Антоновой, *26 апреля 1963 г.* 423
А. Е. Корнейчуку, *19 мая 1963 г.* 424
М. А. Келлерману, *24 июня 1963 г.* 425
Л. Н. Делекторской, *3 июля 1963 г.* 426
С. Г. Брагину, *22 июля 1963 г.* 428
В. М Кожевникову, *27 августа 1963 г.* 428
В Союз писателей СССР, *ноябрь 1963 г.* 429
Л. Н. Делекторской, *10 ноября 1963 г.* 430
С. М. Алянскому, *6 декабря 1963 г.* 432
Л. Н. Делекторской, *24 апреля 1964 г.* 433
В. С. и Р. И. Фраермапам, *26 апреля 1964 г.* 434
Л. Н. Делекторской, *7 мая 1964 г.* 435
В. А. Косолапову, *10 мая 1964 г.* 436
Коллинзу, *2 июля 1964 г.* 437
Т. В. Ивановой, *8 июля 1964 г.* 438
Т. В. Ивановой, *14 июля 1964 г.* 440
Л. Н. Делекторской, *29 июля 1964 г.* 441
Т. В. Ивановой, *июль 1964 г.* 443
Т. В. Ивановой, *9 августа 1964 г.* 444
М. А. Келлерману, *29 августа 1964 г.* 445
Л А. Левицкому, *8 сентября 1964 г.* 446
В. П. Стеценко, *21 сентября 1964 г.* 446
В. А. Каневскому, *27 сентября 1964 г.* 447
С. М. Алянскому, *29 сентября 1964 г.* 447
С. М. Алянскому, *4 октября 1964 г.* 447
С. М. Алянскому, *9 октября 1964 г.* 448
Конференции «Литературная Одесса 20-х годов», *18 ноября 1964 г.* 448
Л Н. Делекторской, *5 апреля 1965 г.* 449
Е. Г. и Ю. К. Смоличам, *17 июля 1965 г.* 450
Л. Н. Делекторской, *22 июля 1965 г.* 451
А. К. Паустовскому, *11 октября 1965 г.* 452
С. М. Алянскому, *12 октября 1965 г.* 452
В. Т. Овчинникову, *13 октября 1965 г.* 453
Л. А. Левицкому, *15 октября 1965 г.* 453
А. К. Паустовскому, *15 октября 1965 г.* 454
А. К. Паустовскому, *19 октября 1965 г.* 455
А. К. Паустовскому, *23 октября 1965 г.* 455
Г. А. Арбузовой, *29 октября 1965 г.* 456
В. С. и Р. И. Фраерманам, *1 ноября 1965 г.* 456

Вигорелли, *5 декабря 1965 г.* 457
Е. Г. и Ю. К. Смоличам, *18 января 1966 г.* 457
В. А. Каверину, *16 апреля 1966 г.* 458
Е. Г. и Ю. К. Смоличам, *29 апреля 1966 г.* 459
В. А. Борисовой, *25 июня 1966 г.* 460
Г. А. Арбузовой и В. В. Медведеву, *20 сентября 1966 г.* 462
Ю. П. Казакову, *октябрь 1966 г.* 463
Л. Н. Делекторской, *19 декабря 1966 г* 464
А. Е. Корнейчуку, *1966 г.* 464
В Б. Шкловскому, *февраль 1967 г.* 465
Комитету по присуждению премии имепи Влодзимежа Петшака, *24 ноября 1967 г.* 466
Роберту Ф. Коэну, *31 марта 1968 г.* 467
Вильерс, *31 марта 1968 г.* 467
А. Я. Яшину, *2 мая 1968 г.* 468

Примечания 470

Указатель имен 525

Паустовский К. Г.

П21 Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 9. Письма, 1915—1968/Сост., подгот. текста и примеч. Л. Левицкого.— М.: Худож. лит., 1986.—542 с.

В том вошли письма, написанные К. Г. Паустовским с 1915 по 1968 год и отразившие все этапы его жизни и творчества.

П $\frac{4702010200-274}{028(01)-86}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

Константин Георгиевич

ПАУСТОВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 9

Редактор **Л. Полосина**

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
С. Ефимова

Корректоры
О. Стародубцева
М. Чупрова

ИБ № 3525

Сдано в набор 01 08 85. Подписано в печать А 10526 19 02 86. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновеп-ная новая». Печать высокая. Усл. печ. л.28,56 Усл. кр.-отт. 28,56 Уч.-изд. л. 29,71 Тираж 50 000 экз. Заказ № 1457.Изд. № III-145. Цена 2 р. 20 к.

Ордена Трудового Крас ого Знамени издательство «Художествеп-ная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, поли рафии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28

